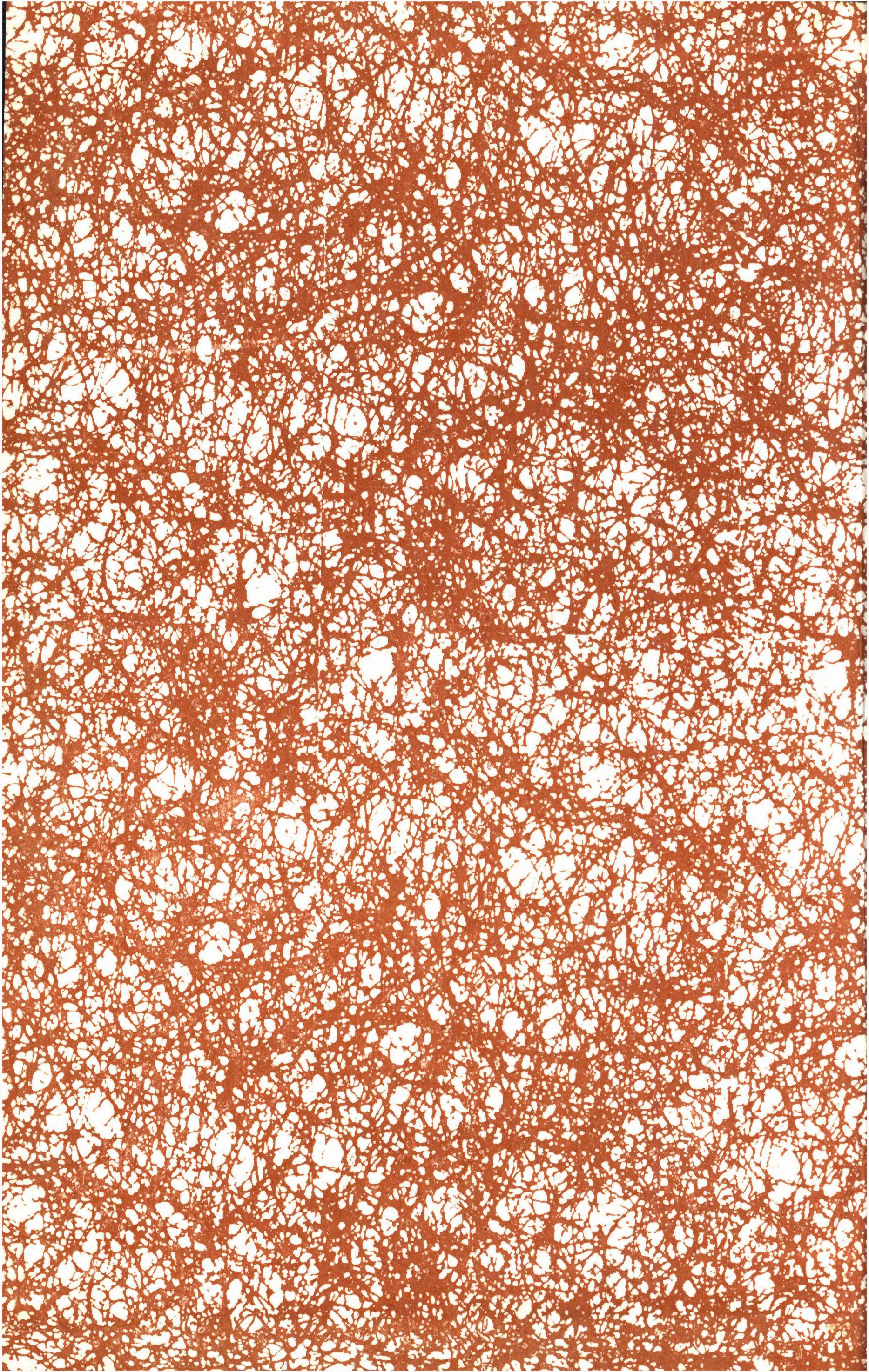
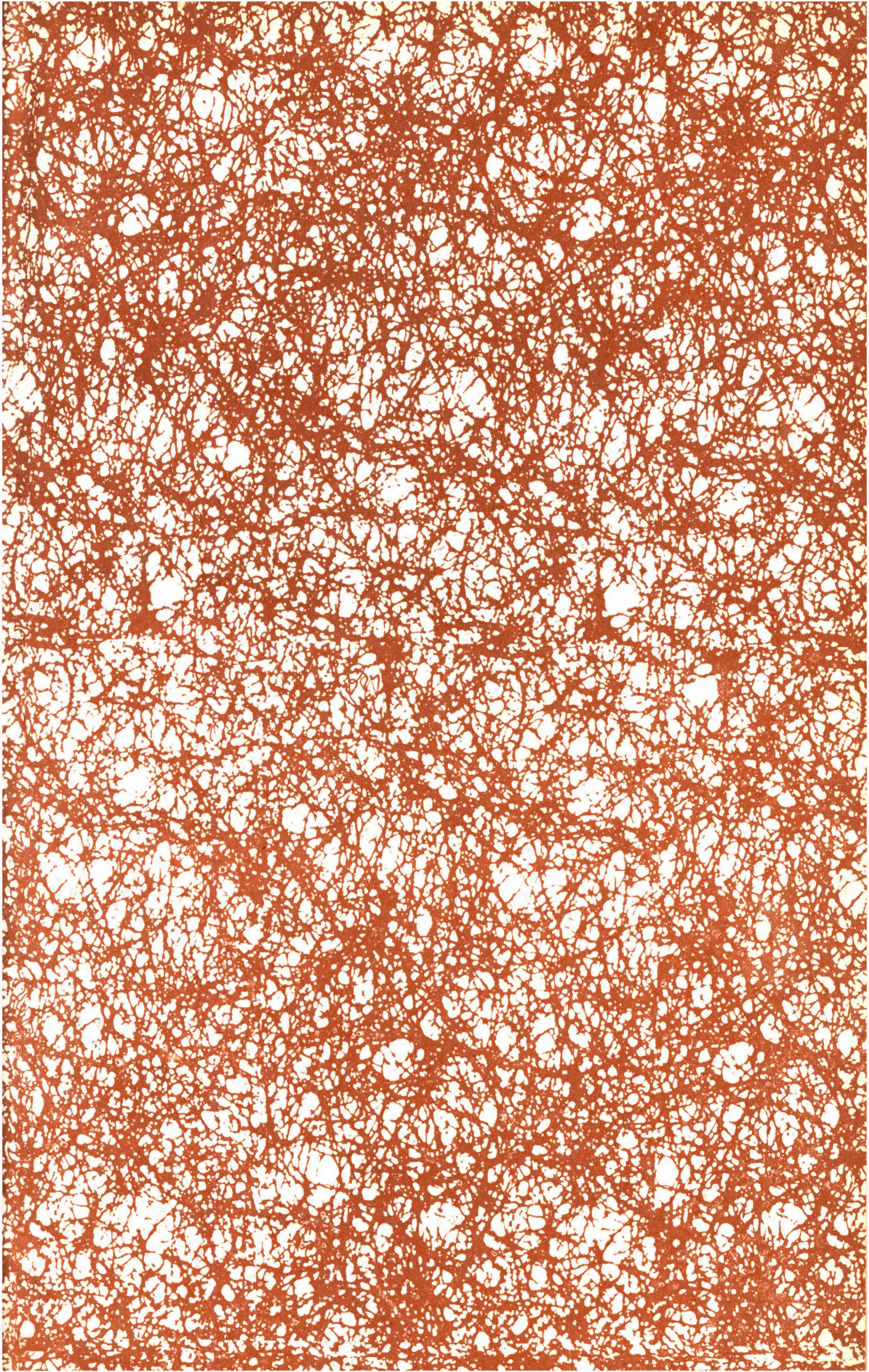
Вардгес Петросян

ОДИНОКАЯ ОРЕШИНА





БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

ВАРДГЕС ПЕТРОСЯН

ОДИНОКАЯ ОРЕШИНА

ПЕРЕВОД С АРМЯНСКОГО

«ИЗВЕСТИЯ»

МОСКВА ● 1984

ББК 84Арм. 7
П30

Художник Б. МЕСРОПЯН

П $\frac{4702080000-059}{074(02)-84}$ —71—84 подписное

Вардгес Петросян

АРМЯНСКИЕ ЭСКИЗЫ

ПОВЕСТЬ-ЭССЕ

КНИГА ПЕРВАЯ

О родина — сладкая и горькая!
Ваан Терьян.

1

Страной камней называют Армению. Услышишь это — и представляются скалы, ущелья, нагромождения горных массивов. Если дерево где-то растет, то вцепившись корнями в камни, виноградная лоза, конечно же, пробивает себе путь в кремнистой почве, а полоска земли говорит лишь о том, что скалы на миг устали и земля этим воспользовалась.

Многоцветье тысяч и тысяч камней, больших и малых. Иные скалы как из меди. И в них, словно некими гигантскими пальцами прорытые, ущелья. Зангезур — причудливый мир исполинских утесов; Арагац — край камней, дающий начало бессчетным родникам; Цахкеванк — исполненное строгих пропорций рукотворное чудо из камня; и, наконец, Арарат — два каменных всплеска над равниной.

Так и поэт воспел:

Страна веков
И гор страна,
Страна камней — мой Айастан... [1]

Из камня стены наших домов.
Наши мосты.
Храмы и крепости.
Кладбища.
Воистину каменный Айастан.
Каменный?..

[1] Айастан — Армения.

Лучше б сказать — окаменевший, обращенный в камень. Будь я ребенком, верящим в сказки, легко представил бы себе того страшного колдуна, который в незапамятные времена пришел к нам, увидал нашу землю, и одолела его зависть. Поднял он волшебный посох, ударил им оземь и крикнул:

— Закаменейте!

И замерли изумрудные холмы и поля. Миллионы цветов, обернувшись камнем, градом осыпались на землю, застыли леса, затвердела земля. И тучи, громоздившиеся над страной, тоже отяжелели, и пошел из них каменный дождь.

Довольно захохотал колдун. И хохот его брызнул камнями во все стороны.

Прошли века.

Родился мой народ, чтобы жить здесь. Бог не одарил его волшебным посохом, способным разрушить колдовские чары, но дал руки, дал светлый разум и каменное терпение. И стал мой народ пядь за пядью разматывать колдовской клубок, возвращая земле ее нежность, цветам краски, лесам шум.

Корчевать из земли глыбы.

Строить храмы.

Дома и мосты.

И увы, кладбища.

Грубые и гениальные пальцы мастеров словно вышивали по камню, вырезая тончайшие узоры.

На моей земле жили землепашцы, строители и зодчие.

Вторглись враги, разрушили города, умножили нагромождения бесплодных камней, вынудили народ взять в руки меч, хотя рукам его больше пристало держать молот. Радостно захохотал злой колдун, ибо пришельцы, с виду казавшиеся людьми, творили то же, что и он, только более варварски и безжалостно. «Камни пали на наши головы»,— вздыхали в разные века армянские старухи, и в наших песнях сохранились отголоски их стенаний.

Так продолжалось веками, с короткими передышками.

Но мой народ даже в этих коротких передышках расчищал родную землю от камней.

И настал день, когда люди получили возможность продолжить и завершить начатое в веках.

И проходят годы, равные столетьям.

Распахните окна.

Пройдите по дорогам, тропам.

Пробуждается каменный Айастан.

Еще не во всю свою исполинскую мощь, но пробуждается.

Я знаю, снова зашумят все наши леса, воспрянут от каменного сна цветы в полях, обретут легкость облака. Камни станут водой, и снова заструится она по жилам земли, скованные родники пробьются сквозь скалы и выйдут на поверхность земли.

А остальные камни?

Из них мы высечем скульптуры.

Построим дома.

И увы... новые кладбища.

2

У родника на камнях сидели женщины. Ждали своей очереди. А вода вытекала тоненькой струйкой, похожей на белую шерстяную нить в клубке моей бабушки.

— Пришла бумага и на сына Еран,— подсела к ним старуха,— сейчас только Акоп отнес.

Слова «похоронка» она постаралась избежать. «Похоронка» на Арама третья в селе, хотя был всего ноябрь тысяча девятьсот сорок первого года. Значит, Акоп, Андраник, а теперь Арам. Женщины понурились еще больше. Издали посмотреть — большие камни прилегли на маленькие. Когда плачет камень, он зарастает мхом, от слез же людей возникает пустота, и ничем ее не заполнишь. Вода переливалась через край кувшина, терялась в траве и земле.

Всем троим, если бы не война, обручиться в ноябре. А теперь уж никогда им не обручиться, не обзавестись семьей. Зато если прежде кто и не знал их невест, сейчас все знают: три девушки стали ходить в черном. Каждый день под вечер, точно сговорившись, вместе шли они за водой. Не разговаривали, не плакали, не утешали друг друга. Только уж очень долго стояли их кувшины под струей. Девушки глядели на уставшие тополя. Голые, озябшие тополя, они будто босыми ногами уперлись в землю, а вытянутыми вверх руками поддерживали небо, чтоб не рухнуло.

Год за годом по молчаливому уговору ходили к роднику девушки. Кончилась война, и воротились кому суждено было, а девушки все ходили.

И как-то поутру...

Увидели люди в поле: поставили девушки пустые кувшины у ног; тоненькими, не видевшими мужской ласки плечами припали друг к другу, отвернувшись от дороги. Осознали, видно: никогда не вернутся их суженые...

Люди вечером разошлись по домам, а девушки все не возвращались. Так и остались стоять, обиженные на мир и обманувших их надежды женихов. И кувшины стояли рядом — тяжелые, полные камней.

Застыли навеки окаменевшие девушки...

Тоненькая, с нитку, струя промыла себе бассейн, треугольный, как солдатское письмо, которое так и не пришло. На стенах каменного бассейна есть имена и фамилии трех парней, но без адреса. Обратных адресов не стало. Вода в бассейне всегда обильна и холодна.

А девушки не состарились, как и их женихи, что остались на полях сражений. Еще и теперь, через двадцать пять лет, стоят они у родника — скорбные, юные, недоступные. Всякий раз, когда бываю там, останавливаюсь у треугольного бассейна, кланяюсь девушкам. Они не отвечают. Не поднимают головы. А я горжусь ими. Благодарю их от имени всех армянских парней, оставшихся на безвестных дорогах мира, и тех, которые могут еще остаться, как знать? И пью воду из «треугольника», похожего на солдатское письмо.

Все, что вы здесь прочли,— правда. Есть и окаменевшие девушки у родника, и ребята, оставшиеся лежать на дорогах войны, и село — одно из многих армянских сел. У людей здесь грубые, мозолистые руки, они по-прежнему бреются только по праздникам. Они часто забывают даже взглянуть на Арарат, в жизни прочли всего несколько книг, а вот задумали же построить такой памятник своим погибшим сыновьям!

3

На столе стоят бутылки с вином, раскрыта книга с изображением отрубленных голов, надетых на колья.

— Выпьем?— предложил Рубен, который пришел позже всех.

— Пусть сначала Алла доскажет анекдот,— сказал я.

Алла поставила стакан на стол.

— На чем же это я остановилась?

— Какой-то прохожий говорит: «Зачем бьешь?» — напомнил я.

— Да, значит, прохожий спрашивает: «За что ты дубасишь этого человека?» Тот отвечает: «Какое твое дело?» Прохожий опять спрашивает: «Ну, объясни хотя бы

причину». А тот: «Если бы я знал причину, я бы убил его».

Мы смеемся.

— Просто так колотит, для собственного удовольствия,— объясняет Алла.

— Понятно,— произносит Рубен.— Выпьем.

Левон наигрывает на рояле старинную мелодию. Алла клубочком свернулась в кресле и гибкими движениями изображает кошку.

— Ты и без того кошечка,— говорит Рубен.— Потанцуем?

Мы выпили, потом стали листать книгу. Снова трупы и турецкие палачи, лица некоторых знакомы тем, кто называет себя армянином. Почему-то в эту минуту я замечаю, что платье у Аллы коротковато. Рубен поворачивается ко мне.

— Кто это на фотографии? — Он плохо читает по-армянски.

Я смотрю. Священник в черном стоит во весь рост среди песков пустыни. Подпись под фотографией: «Необычная панихида. 1915 год, пустыня Тер-Зор [1], из фотографий, сделанных немецким офицером». Я вижу в песках какие-то кости, объясняю Рубену, чьи они, а он в это время что-то говорит Левону, и тот смеется.

— Ты что, не слышишь? — Я с трудом удерживаюсь от резких слов.

Рубен оборачивается.

— Вот ты послушай. Несколько дней назад зашел я в институт...— Он называет фамилию важного ответственного работника.— Мы ему показали наш электронный ускоритель. Ханян все объясняет и объясняет, а на лице нашего слушателя ничего не отражается. Словом, вдруг видим — Ханян забегал вокруг ускорителя. «Допустим, я атом»,— говорит он, останавливаясь и с трудом переводя дыхание. «Понял,—улыбается наконец ответственное лицо и говорит:— Сколько у вас женатых ребят?» Ханян не отвечает на вопрос и не без желчи говорит, что ускоритель этот в нашей стране единственный.

Мы хохочем. А монах на фотографии продолжает служить панихиду. Это Комитас. Или мне так кажется.

---

[1] Тер-Зор — пустыня в Сирии, куда в апреле 1915 года пантюркистские реакционеры согнали сотни тысяч армян и предали смерти.

4

Кафе на пятнадцатом этаже гостиницы «Москва». Мы с Рубеном пьем. С нами за столом московский армянин, живет он здесь уже тридцать три года. Подошел к нам, заслышав армянскую речь.

— Когда возвращаетесь в Ереван? Я не был там тридцать три года.

— Значит, вообще не бывали,— с ехидцей заметил я.— Будем там двадцать четвертого апреля, через три дня.

— Вы в командировке?— полюбопытствовал он.

— А что за день двадцать четвертого апреля [1], а? — спросил его Рубен.

Наш новый знакомый произвел в уме какие-то вычисления и сказал:

— Воскресенье.

Рубен взглянул на него с упреком:

— А еще?

— Ну, весенний день, у меня сын женился в прошлом году в этот день. Хороший у меня сын.

— Пусть он будет счастлив,— залпом выпил Рубен.

— Спасибо,— сказал мужчина.— Хочу вас кое о чем попросить.

Мы кивнули.

— Спойте по-армянски, давно не приходилось слышать.

— Что, приемника нет?— спросил Рубен.— Могу указать волну Еревана.

— Ну, вы же знаете...— Мужчина, видно, понял не высказанные нами слова.— Спойте, а?

Рубен затянул:

Сердце мое, как развалившийся дом...

Я присоединился. Пели мы фальшиво, пели прекрасно. Из-за соседнего стола белокурая женщина с мягкой улыбкой взглянула на нас. Мы кончили.

— Простите,— Рубен повернулся к женщине,— может, здесь нельзя?

— Что вы,— она вновь улыбнулась,— очень хорошая мелодия, такая грустная.

---

[1] 24 апреля 1915 года Османская империя начала геноцид, жертвами которого в течение 1915—1920 годов стали около двух миллионов армян.

— Поповская песня, да?— сказал наш знакомый, видимо, хотел сказать — церковная.— В детстве, помню, мать водила меня в церковь, в Конде мы жили, там еще есть церковь?

— Есть,— сказал Рубен.

5

...Веселье оборвалось. Звонок из милиции. Кого-то убили. Нас было четверо: Рубен, Хорен, Вреж и я. Хорен с Врежем, школьные друзья Рубена, работают помощниками прокурора. Сегодня воскресенье, а Хорен дежурный прокурор по городу. Рубен их встретил на улице и привел к нам. Мы успели только выпить по стаканчику и даже еще не начали спорить.

Мы отправились. Улица Барекамутян [1], дом номер... Сосед убил соседку. На улице Барекамутян. С горькой усмешкой произношу в уме эту фразу. Что поделаешь, такая у меня специальность.

Квартира находится в подвальном этаже. Уже собираются родственники и друзья. Из соседней комнаты доносится какой-то звук. Входим в кухню. На полу лужа крови. На столе корыто, вода в нем еще горячая, идет пар. Я не могу долго смотреть. Возле корыта лежат выстиранные чулки.

— Надо взять пробу крови,— говорит Хорен.

Это относится к Врежу. Хорен просит бумагу, сворачивает ее в кулек и, взяв ложкой кровь, наливает в него. Мы с Рубеном выходим в коридор. Появляется Вреж, берет у меня авторучку и начинает записывать первые показания. Говорит молодая женщина, невестка убитой: «Когда я вошла в кухню, она лежала на полу, говорит: не знаю, ударили или толкнули,— женщина плачет,— я ее невестка, в разводе с ее сыном, но живем вместе, она мне как мать».

Из соседней комнаты, откуда доносится плач, выходит сын старухи, у которого сейчас другая жена и живут они в другом месте. Лицо заросшее, словно еще неделю назад он знал, что убьют его мать, и потому не стал бриться. Ни на кого не глядя, с сигаретой во рту выходит в коридор.

---

[1] Барекамутян — дружба.

Дверь в комнату убийцы заперта. Хорен долго подбирает ключи, он и у меня просит, но ни один не подходит. Наконец дверь взламывают. В ту же минуту я замечаю, что над дверью прибита подкова: в этом доме собирались жить счастливо. В комнате несколько ветхих кроватей, на одной раскрытая книга. На обложке написано: «Родная речь, четвертый класс». Читаю на раскрытой странице: «Девочка и пчела». Наверное, дочка убийцы учится в четвертом классе. На стене, очень высоко, прибит портрет Андраника[1], рядом богоматерь и Комитас. Голову Комитаса, как у святых, украшает нимб, сделанный на фотографии желтым карандашом. Роются в шкафах, ящиках, извлекают какие-то бумаги, рецепты, паспорт. В углу валяются две трости.

— Трости возьмите,— говорит Хорен,— одна из них алюминиевая.

На столе хлебные крошки, бутылка из-под мацуна, наполненная водой. Я перевожу взгляд на нимб, нарисованный от руки вокруг головы Комитаса.

Мы выходим на улицу. Все по-прежнему: жизнь, мир, люди.

— Когда мы помрем, в мире тоже ничего не изменится,— говорю я.

Садимся в машину для преступников, едем в милицию, где находится убийца, его уже забрали. Едем молча, думаем, наверное, о разном, хотя, казалось бы, всем полагается думать о преступнике. Я думал о портрете Комитаса.

...Вот и он, убийца. Мы сидим в комнате следователя и курим. Он еле передвигает ноги. Глаза блестят каким-то лихорадочным блеском. Он рассказывает... Родился в Западной Армении, не помнит, в каком селе или городе. Двадцать лет не имел дома, эту комнату дали года два назад. А до этого снимал. Был женат три раза. Первая жена умерла и вторая тоже. От третьей у него трое детей, младшая дочь в четвертом классе.

— Армянин?— задает дежурные вопросы Хорен.— Партийность? Подданство?

Мужчина отвечает с трудом, последнего вопроса о подданстве он не понимает, и Хорен повторяет. А он все твердит свое:

---

[1] Андраник Озанян (1865—1927) — народный герой времен первой мировой войны.

— Я ничего не сделал, я обедал, а приемник был включен. Два дня как его купили, старуха из коридора крикнула, что мы зря переводим электричество, но я ничего не ответил, потому что обедал...

Потом он подробно рассказывает, что ждал жену, что десять лет назад в трамвае его ударило током. Он инвалид, сторож. Не виновен. Потом покорно подписывает все страницы составленных Хореном показаний, вернее, рисует свою подпись — «Погос». Я не верю, что он убийца, скорее всего его самого убили. Кто же убийца? Вспоминаю убогую комнату, кровати, хлебные крошки на столе и подкову над дверью.

— Ты верующий?— спрашивает Вреж.

— Только вчера был в церкви.

— Ну, так перекрестись и скажи, что рассказал всю правду.

Он тотчас крестится и с удивительной быстротой говорит:

— Принесите Библию, поклянусь на ней, что не виновен.

Выходим. В коридоре к нам подходит капитан со счастливым лицом, тот, что задержал убийцу.

— Ночь пусть побудет тут, завтра посмотрим,— говорит Хорен.

— Ночь просидит — помрет,— качает головой капитан.— Двадцать лет служу, ничего такого не было, а теперь из-за этого вдруг... Мне ведь скоро на пенсию идти.

Капитан думает не о том, что старик помрет, о себе думает.

Потом рассказывает не то анекдот, не то быль, и мы смеемся. А наверху сидит человек, который совсем не похож на убийцу.

Выбираемся на улицу.

— По-моему, просто несчастный случай,— говорит Вреж,— старуха рассердилась, стало плохо с сердцем, и она упала.

Мы единодушно соглашаемся. Честно говоря, и я так думал, но ждал, что скажут прокуроры. Они усталые и равнодушные, им просто хочется поскорее спихнуть это дело. Мы все четверо это чувствуем. Надо бы выпить, но ближайшее кафе закрыто, и мы расходимся по домам. Там всех нас ждут неприятные объяснения с женами, которые не сомневаются, что мы сейчас у любовниц. Но никто из нас четверых не станет сегодня спорить или

пускаться в объяснения, где были. Мне вдруг представляется, что устают и платье, и обувь людей, но та усталость именуется износом, а усталость людей называется смертью. В этом и разница. Нет, я больше не вспоминаю портрет Комитаса, ничего не помню, ничего.

6

По дороге в Арташат, где-то в деревне, стоит церковь, с нее сняли крест, а вместо креста сейчас там гнездо аиста — большое, просторное. Аистиха стоит, как изваяние, и смотрит вдаль.

— В этих местах будут строить атомную станцию,— говорит Рубен.— На аиста смотришь?

— Да,— отвечаю я, но не хочется мне петь ни «Антуни», ни «Крунк» [1], просто интересно знать, с чего это не сводит глаз аист. Я думаю, что мы, армяне, все-таки сентиментальный народ, ищем смысла в деревьях, даже птиц хотим понять, тогда как друг друга понимать не научились. Хотим невозможного, а потом сокрушаемся, что невозможное недоступно. В голове вертятся всякие глупости, а физик Рубен в это время скучно поясняет, что бояться атомной станции нечего, что в Англии, например, близ Лондона, есть несколько таких станций.

Когда же мы, армяне, научимся трезво и реально смотреть на мир, видеть то, что есть, и перестанем выдумывать мир аистов и журавлей?

А аист уже взлетел, и гнездо его опустело.

Никаких сантиментов, просто аист взлетел, и гнездо его пустует.

7

...В Аштаракском ущелье растет большой орешник. Детьми, выкупавшись в реке, мы часто отдыхали под ним или взбирались на его ветви. Здесь, в соседстве с огромными листьями, мы и сами казались орехами. Такие же голые и зеленые, до тех пор, пока жизнь не расколола нашей юношеской скорлупы. Но не о том я хочу рассказать, просто воспоминания детства подобны снам, и иной раз трудно не поддаться их обаянию. Я хочу рассказать о роднике, бьющем из-под корней орешника, об

---

[1] «Антуни», «Крунк» — армянские народные песни.

удивительно холодной воде, к которой мы припадали, как телята, и пили, пили... Старшие не позволяли нам пить холодную воду сразу после купания, но к тому времени мы уже успели вкусить сладость непослушания. Под родничком — мелкий песок. Немного отстоявшись в нем, вода оттуда вытекает в реку Касах, у истока еще ощущается холодная жилка родника, потом все растворяется в реке.

И вот спустя годы я снова в нашем ущелье. Скалы все те же — по их отсчету времени прошел всего миг-другой. А речка обмелела, может, потому, что осень. Под орешником полно скорлупы и целых орехов, я тут же колю их и съедаю. Захотелось пить, пошел к роднику, но под корнями, там, где я его видел раньше, родника не было, он вытекал немного ниже, мешаясь с мутной речной водой. Между корнями выложен небольшой цементный бассейн. Я читаю: «На память от Мартироса тем, кто выпьет отсюда». И дата — 1954 год. (Кто он, этот Мартирос, и почему родник должен быть связан с его именем? Не могу понять. Этот родник был здесь по воле природы гораздо раньше 1954 года.) В цементном бассейне вместо прозрачной воды окурки, битое стекло, мусор. А вода течет понизу, она словно обиделась, или это только мне так кажется — в местах, где проходило детство, невозможно не впасть в сентиментальность...

Кто же этот Мартирос? Захотел исправить природу, построил цементный бассейн, полагая, что это лучше, чем песок, который скрипит на зубах или остается на лице после того, как напьешься воды. Построил — это еще ничего, но решил к тому же увековечить свое имя хотя бы на цементе, ведь у родника всегда бывают люди. И вот построил бассейн, принудил воду течь по металлической трубе, но родник изменил русло, ему подавай песок. Может, этот Мартирос простой и добрый человек, только, как истинный армянин, слишком любит свое имя. Я наклоняюсь, пью воду и грущу. Нет, не о детстве и не об этом ущелье, а о Мартиросе, чье имя останется на бортике бассейна, наполненного окурками, битым стеклом, из заржавелой металлической трубы которого никогда не потечет вода.

Мне грустно. Немного поодаль безвестная могила. Я здесь бывал часто, тщетно пытаясь прочесть стершиеся буквы. Но историю этой плиты я знаю, слышал ее от отца, а он — от своего отца.

...Когда-то, давным-давно, спасаясь от врага, люди нашли прибежище среди скал. Но враг жаждал крови и разъярился: куда могло подеваться целое селение? А село приютилось в пещерах, высоко в горах, и жило по-мужски, молча. Труднее всего было бороться с жаждой и, облизывая пересохшие губы, глядеть сверху на воды Касаха, на орешник, под которым журчал лучший в мире родник. Взрослые кое-как крепились, но дети плакали. Им зажимали рты ладонью, чтобы не услыхал враг. И вот неизвестная девушка ночью спустилась в ущелье, ведь на ее глазах умирали от жажды трое детей. Она нашла родник и, наполнив кувшин, тихо двинулась среди высокой травы. И тут она лицом к лицу столкнулась с врагом — тремя одичавшими аскерами. Долго мучили они девушку в тиши ущелья, обнажили ее тело — чистое и непорочное, как вода, что вытекала из-под корней дерева. Она молчала и лишь в последние минуты, в преддверии смерти, запела:

Эй, люди гор, эй, люди ущелья!..

Ее тоненький голосок не затерялся в шуме ущелья, донесся наверх, до пещер, люди поняли все и вконец приуныли, а тело девушки белой раной осталось лежать в траве, воду из разбитого кувшина, перемешанную с кровью, выпила земля. Было это на самом деле или выдумали? Есть могила, есть и пещеры — древние и удивительные, и бьющий из-под орешника родник. А на могиле не прочесть ни одной буквы.

8

Два года назад из Польши приезжал к нам журналист. Мы побывали в селе Ошакан, на могиле Месропа Маштоца [1]. Когда мы вышли из церкви и священник, попрощавшись, ушел, Войтек сказал:

— Я хочу есть.

— Здесь нет ресторана, потерпи, минут через двадцать будем в Ереване.

— А мне хотелось еще немного побродить по здешним улицам, сходить на кладбище, побывать на виноградниках.

---

[1] Месроп Маштоц (361—440) — ученый-просветитель, создатель армянского алфавита (393 г.).

— В таком случае тебе придется поголодать.

— Исключается. Если в Варшаве мать узнает, что я не ел до трех часов дня, на другой же день прилетит в Ереван. Постучись к кому-нибудь, купи хоть хлеба с сыром, на ходу перекусим. Это удобно?

Что поделаешь? В конце сентября, в сезон сбора винограда, улицы здесь пустуют, можно встретить лишь детей и стариков, но если к ним обратиться, они сначала расскажут о победах полководца Андраника, потом постараются угадать, кто из односельчан приходится Войтеку отцом, затем упрекнут его, что не говорит по-армянски.

И вдруг... В деревне запах свежеиспеченного лаваша — это как приглашение к столу. Я учуял этот запах и открыл калитку. Женщина лет тридцати пяти, разгоряченная от огня и работы, склонилась над тониром [1]. Рядом с ней сидела девочка.

— Здравствуй, сестрица, — сказал я.

— Здравствуй, братец.— Женщина взглянула на меня как на старого знакомого.

Я объяснил, зачем пришел, и сказал, что со мной иностранец.

— Сколько следует, заплатим, сестрица.

Ничего не ответив мне, женщина обратилась к дочери:

— Асмик, позови тетушку, да живей...

Через минуту появилась тетушка, истинно ошаканская старуха с добрым морщинистым лицом.

— Пригласи гостя в дом, братец,— сказала женщина, поднимаясь от тонира,— а ты, дзало [2], вытащи пару хлебов, я сейчас приду...

Я подозвал Войтека, решив, что ему будет интересно. И в самом деле, он с детским любопытством разглядывал румяную дзало, раскаленный тонир, лаваши — точь-в-точь загорающие на солнце тела.

Вскоре вышла хозяйка.

— Пожалуйста, скажи, братец,— обратилась она ко мне, — гость говорит по-армянски?

— Нет,— ответил я,— в их стране армянского в школах не учат.

— Вон что!— удивилась женщина.

---

[1] Тонир — вырытая в земле и выложенная камнем печь.

[2] Дзало — тетушка.

Мы вошли в просторную комнату деревенского дома, описание которой легко найти в любой современной повести. На столе чего только не было: соленья, хлеб, сыр, масло, варенье, лоби. Войтек удивленно посмотрел на меня.

— Что ж, поедим,— сказал я.

Не знаю, еда ли была вкусной или очень проголодались, но уплетали мы за обе щеки. Между тем во дворе послышался мужской голос, и вслед за тем в комнату вошел мужчина лет сорока.

— Добро пожаловать,— сказал он, протягивая руку.— Мясо принес ей, сейчас приготовит... Ну, смотрите-ка, и маджара [1] не подала, чертова баба!

Короче, вскоре принесли и маджар и мясо, застолье разгоралось. Войтек пил и то и дело испытующе поглядывал на меня и на хозяина.

В Ереван добрались уже к ночи. Дорогой подвыпивший Войтек утверждал, что хозяева конечно же мои знакомые и я с ними заранее сговорился. Поначалу я не обращал внимания на его слова, но он повторял то же самое и на следующее утро, уже трезвый! И даже в аэропорту сказал:

— А здорово ты провел меня в Ошакане...

...Всякий раз, вспоминая Войтека, я думаю о другом случае, из времен моего студенчества.

Я учился в Москве, это было после войны, в тысяча девятьсот сорок девятом году. Мы с Рубеном увидели на улице девочку лет восьми в рваной обуви, из одного ботинка вылезал большой палец. Мы повели ее в магазин и купили красные туфельки. Тогда кто-то из толпы сказал:

— Чего не купить, деньги небось шалые, незаработанные...

Мы взглянули на говорившего, но смолчали. В тот день мы получили стипендию... А в мире не должно быть ни одного босого ребенка, это нам завещали деды и прадеды, прошагавшие дорогами беженства стертыми в кровь ногами.

А девочка еще долго улыбалась нам, зажав под мышкой коробку со старой обувкой.

---

[1] Маджар — молодое виноградное вино.

9

— Здравствуй,— говорит он мне.

— Здравствуй.

— Ничего не случилось? Ты какой-то не в себе...

— Дочка немного простыла,— отвечаю я.

На его лице появляется озабоченность и сочувствие.

— Лекарств никаких не надо?— спрашивает он, хотя работает в тюрьме.— А?

— А что, вы аптекаря забрали?— пытаюсь шутить я.

— Ты только скажи, чего надо.— Он или не слышит меня, или не чувствует иронии.

— Что вообще новенького?

— Все только собираемся, но так ни разу еще не встретились и не посидели. Мать моя знает, что ты был в Карсе. Когда зайдешь?

Он говорит, а я вижу перед собой наголо остриженного мальчика.

Несколько месяцев назад на пути в Анкару я побывал в Карсе, где родились этот человек и его мать. Помню, когда я ему об этом рассказывал, он плакал, хотя и работает в тюрьме. Плакал... А остриженный мальчик, который несколько дней назад побывал у него в «гостях», рассказывал другое — какие получил от него оплеухи и сколько брани наслушался.

— До свидания,— говорю ему и перехожу улицу.

Я вдруг становлюсь противен сам себе за то, что стоял и слушал его спокойный, такой обыденный голос. Потому-то я обратился в бегство, опасаясь, что вдруг выложу ему все это. Убегаю от своей возможной смелости. Между нами невидимо стоит стриженный наголо мальчик, и втроем находиться на одном и том же квадратном метре асфальта нам нельзя.

Я направился в сад Комитаса.

10

Нет, не пошел в сад Комитаса. Вспомнил одну встречу в ереванском банке, у застекленного окошка в общем зале. Знакомый турист из Алеппо попросил меня зайти с ним обменять сирийскую валюту. Пока мой знакомый беседовал со служащим, к окошку подошел пожилой человек. Он обменивал наши деньги на доллары.

—В Америку едете?— спросил я.

— В Турцию.

— Когда?

— Завтра утром.

— Красивый город Стамбул, я был там несколько месяцев назад.

Мужчина посмотрел задумчиво и, как мне показалось, с оттенком сомнения.

— Туристом едете или к родным?— спросил я.

— Навсегда.

— Навсегда?

— Да, хватит, пожили в вашей стране два года, сыты по горло.

Сыты? Человек смотрел на меня спокойно и зло. Сыты. Значит, сыты родиной, Ереваном, Араратом, Цицернакабердом, где стоит обелиск памяти двух миллионов погибших? Словно родина — шашлык, пиво или песня, которую слышишь в тысячный раз.

Я не нашел нужных слов, закурил папиросу, затянулся. А он равнодушно посмотрел мне прямо в глаза.

Спроси я его, почему возвращается в Турцию, он мог бы сказать, что в его новой квартире двери не открываются или не закрываются, что на ереванском рынке по субботам трудно достать мясо, что по утрам трамваи переполнены или что его сосед два дня назад бил жену. Он бы, наверное, многое рассказал, и какая-то доля правды в этом была бы. Что делать: спорить с ним, доказывать обратное или придумывать оправдания?..

Я ничего не сказал, только мысленно пожелал, чтобы этот человек там, на берегу Босфора, никогда бы не пел «Антуни», не поминал Месропа Маштоца, забыл бы, что Комитас похоронен в Ереване, чтоб не вешал у себя в доме на стене цветную фотографию Арарата. Я смотрел на него и думал, что никогда не смогу простить его. Говорят — родина простит, но это неверно, родина никогда не прощает, люди могут простить родину, если она в чем-то перед ними провинилась. Люди живут несколько десятков лет. Родина вечна.

Я представил, как спустя несколько лет этот человек в какой-нибудь армянской церкви в Стамбуле, полуприкрыв глаза, будет бормотать «Господи, помилуй» Комитаса, и Комитас вдруг услышит и еще раз сойдет с ума. Снова? В который уж раз?..

Я в упор смотрел на него, стараясь запомнить черты, а он спросил:

— Что, тоже не одобряете моего решения?

— Ваша очередь,— сказал я.

Он глянул мне в лицо, криво улыбнулся и подошел к окошку.

11

Мастер-каменотес пел. Пел грустную песню: «Если смолкла лира наших певцов, пусть ангелы спустятся с неба и благословят армянских храбрецов. Орлы, ястребы, аисты, храните нашу страну, наследуйте дом армянский. Опуститесь на пепелище, гнездитесь в руинах, ждите, пока придет наша весна».

Я сидел на согретом солнцем камне и слушал песню.

Чуть поодаль другой мастер медленно, терпеливо шлифует машиной базальтовый пол. Внизу, в огромном котловане, рассевшись на камнях, завтракают несколько человек. Лет через пять эти камни будут считать священными, к ним станут прикладываться и ставить здесь свечи. Мастера чему-то смеются. На меня они не смотрят. Скоро туда подведут газ, и внизу зажжется Вечный огонь. А потом мы будем смотреть на горящий газ, на тот самый, на котором дома жарим яичницу, и нам станет казаться, что это горят алым пламенем души двух миллионов. Камни памятника скрепляет цементный раствор, который употребляется и в строительстве гостиниц, домов и бань. И он тоже потом станет священным. Помню, какой-то армянин в Марокко показал мне кусок извести, отодранный от стен Звартноца,— он его хранил в хрустальной вазе.

Мастер продолжал петь.

— Что ты поешь, варпет?— спрашиваю.

— Старая песня, от бабушки еще помнится.

Я впервые ее слышу.

— Что, взгрустнулось?

...Я иду по улице. С балкона семиэтажного дома маленький мальчик облил меня водой. Я сердито смотрю вверх, а он смеется. Он в маечке, без штанишек и никого не стесняется — ни людей, ни солнца, ни города. Я не могу сердиться, да и что толку, ему ведь только смешнее станет. На перекрестке затор — троллейбусы, люди, автомашины. Ругается водитель, я по акценту узнаю своего земляка, аштаракца, может, он даже из нашей школы. Возле милиционера собралась целая толпа, все что-то говорят наперебой, никто ничего не слышит, никто не виноват. Здесь стоят и пенсионеры, оторвавшиеся на минуту

от игры в шашки. На возвышении перед чистильщиком обуви сидит молодой человек в дымчатых очках и очень близко к глазам держит газету «Летр франсез», но я бы поклялся, что по-французски он не читает.

...Вскоре меня увозит, заглушая все звуки улицы, трамвай. Я отыскиваю вдали Цицернакаберд — место будущего памятника, и словно громче доносится ко мне старая песня:

> Опуститесь на пепелище, гнездитесь в руинах,
> Ждите, пока придет наша весна...

12

Вхожу в застекленное кафе, в самом его дальнем углу, у стены, сидит очень молодая пара.

— Свободно?— спрашиваю.

— Пожалуйста,— отвечает девушка. Не удивляется, не негодует и не указывает на свободные столики кругом.

Оттуда, где я сижу, видна телевышка, недавно выкрашенная в три цвета — черный, белый и желтый. Несмотря на это, она мне ничего, кроме самой телевизионной башни, не напоминает. Девушке, наверно, лет восемнадцать, а парню около двадцати. Я медленно глотаю жидкость цвета кофе, стараюсь удержать на кончике языка кусочки плохо смолотых кофейных зерен. Девушка опрокинула вверх дном пустую чашку — собирается погадать. Парень обхватил правой рукой ее тонкую талию, они склонились над чашкой и мысленно что-то отыскивают в кофейной гуще. Глаза у девушки голубые и кажутся удлиненными из-за черной краски под веками, она говорит скороговоркой, обрывки доходят до меня.

— ...Вот смотри, у тебя дальняя дорога, а в конце — девушка. Кто она, а?..

— Ты, кто же еще...

— И глаза и волосы у нее черные...

Я думаю, каким образом в черной гуще виден цвет глаз, а тем временем к соседнему столику подходит еще одна пара. У мужчины на голове меховая папаха, хоть сейчас и октябрь. Женщина в простом ситцевом платье, в накинутой на плечи шали. Видимо, приехали навестить сына-первокурсника или привезли фрукты на ереванский рынок. Они робко озираются, осторожно садятся и молчат. Я вскоре догадываюсь, в чем дело.

— Папаша,— говорю,— здесь самообслуживание, каждый сам берет что надо вон оттуда.

— Конечно,— отвечает человек в папахе, будто он все знал и только на минуту задумался.

Жена встает и неуверенно идет к стойке. Мне приятно видеть, как ребята в очереди уступают ей место. А муж между тем снимает папаху, кладет на стол. По количеству воротничков я догадываюсь, что на нем надето не меньше трех рубашек. Возвращается жена, неся на тарелке хлеб и колбасу.

— Помидорчиков соленых нет? — спрашивает муж.

— Не знаю.

— Узнай. И насчет чая тоже.

Жена уходит, и я снова слышу тихий голос девушки:

— На сердце у тебя печаль, какая-то тайна.— Потом громко и серьезно:— Да?

— Какая тайна?— говорит парень, и они целуются.

— Вот те на,— слышу я и, обернувшись, вижу, как удивленно округлились у старика глаза, а жена его забыла даже сесть.

— Вай, прости господи, бесстыжие какие! Скорее ешь, уйдем отсюда. Куда мы попали?

— Помидоры принесла?

— Нету, есть сыр, а вместо чая вот это,— и показывает на чашечки с кофе.

Старик, освобождая стол, взял в руку папаху, но не найдя куда ее положить, надел на голову и начал торопливо есть. Жена к еде не притрагивается. Я внезапно ощущаю какое-то доброе чувство к этим незнакомым людям, напоминающим мне отнюдь не родителей Гикора [1], а скорее моих родителей. Я гляжу на целующуюся парочку, для которой мы вообще не существуем, и даже не хочется брюзжать, что я в их годы не посмел бы пригласить девушку в кафе (их, кстати, тогда еще и не существовало), потому что даже после шести месяцев ухаживания любимая девушка позволяла брать себя под руку только в темноте. Не сетую, а скорее рад, что стены кафе стеклянные и отсюда видна телевышка, что мои соседи удивленные старики и эта юная пара, которая ничего не замечает, кроме себя. Хорошо, что вместо чая старик отхлебывает кофе, и если он вдруг поднимется и, подойдя

---

[1] Гикор — герой одноименного рассказа классика армянской литературы Ованеса Туманяна (1869—1920).

к буфетной стойке, купит жене шоколад или мороженое, я сочту себя счастливым. Но он ест, опустив голову.

— Скорее, скорее,— торопит жена,— опаздываем!

Но он что-то не спешит, и я с изумлением и радостью замечаю, как из-под кустистых своих бровей он особенным взглядом смотрит на целующуюся парочку. Тут уж наступает моя очередь: «Вот те на!»

13

Я почему-то вдруг задумываюсь о том, что было бы, если бы тротуар перед гостиницей «Армения» стал бы магнитофонной лентой и записывал шаги, голоса и плач людей.

— Овик, жизнь моя,— говорит седовласая женщина мужчине, тоже седому, который дрожащей рукой обнимает ее,— братик мой родной...

— Айкануш, сестра, как вы? Как Срап? Что слышно о Григоре?

— Здравствуйте, дядя Ованес,— говорит мальчик лет четырнадцати.— Папа много о вас рассказывал. Я — Карен.

— Карен, родной, нос у тебя точь-в-точь как у Саргиса. Ну, как живешь? И на Гарегина, нашего старшего брата, тоже похож, отец не говорил тебе о нем? В Адане его убили...

— Ну, расскажи, Гарник, как здесь, на родине? Как жена?

— Э, ничего, хорошо... Живем на пятом этаже, вода не доходит, в магазинах приличной обуви нет, скучаю по Парижу...

— Разве ты помнишь Париж? Тебе ведь тогда было четыре года. Детям я обувь привезла и чулки. Какая красивая площадь! Жарко, может, возьмем такси — и домой?

— Асканаз ничего не прислал с тобой? Я ему писал, просил лезвия.

— Прислал, прислал. Здесь что, лезвий нет?

— По Марселю соскучился. Французские лезвия — совсем другое дело. Мама не захотела, чтоб мы вернулись туда. ОВИР уже и бумаги приготовил.

— Кто это ОВИР?

— У меня в Алеппо было пять магазинов. Но дали бы здесь хоть какую работу, и я доволен. О детях надо думать, понимаешь?

— Правильно поступил, Левон.

— Это наше, понимаешь? Впрочем, не поймешь. Ты здесь родился, не поймешь. Как-то мой Нерсесик прибегает с плачем: «Отец, говорит, поедем на родину сейчас же. Ахмед сказал: «Убирайтесь из нашей страны». Мы играли в футбол, а он говорит: «Вы бродячие собаки, никто вас не любит...» Ахмед — соседский мальчик. Неплохой вроде мальчишка, но вот как-то Нерсес загнал мяч в их ворота, ему и припомнили, что он армянин. Понимаешь? Нет, не поймешь...

Вы ничего на слышите? Внимание. Не слышите стука колес инвалидной коляски? Это восьмидесятичетырехлетний инвалид Овaким Тутунджян. Его привезли из Лос-Анджелеса прямо в этой коляске. Ходить не может, его доставили, как багаж, самолетом, поездом, а сейчас он находится перед гостиницей «Армения». Направляемые рукой колеса ведут его вперед, назад, вбок. Прохожие смотрят с недоумением, что-то спрашивают, потом качают головами — грустно-потрясенные. А старик ничего не говорит, только разглядывает здания, людей, небо...

Нет, лучше выключить магнитофон, тем более что это и не магнитофон, а обычный асфальт, а в каждом номере газеты «Голос родины» сотни армян ищут родных. И лишь изредка появляется сообщение: «Нашли...»

14

— Выпьем за наш народ,— сказал хозяин дома, покачиваясь,— выпьем за наш исстрадавшийся народ...

Все встали.

Кто-то поднял бокал, затянул: «Имя твое святое останется в веках». Это о полководце Андранике. Я очень люблю эту песню. Певец заливается на турецкий манер, а руки держит близ лица, будто бьет в бубен. Видимо, он из тех, что поют на похоронах или на свадьбах.

Кто-то провозглашает тост:

— Я готов умереть за наш народ! Кто не любит свой народ больше других, тот не человек!

Другие тоже говорят.

Я не слушаю их. Не встаю. Не хочу пить за здоровье нашего народа, который, мол, выше других. Я устал от этого тоста, и для меня, чего греха таить, мой народ не выше других. Он просто мой, как глаза, как мать, как болезнь, как память, радость и горе. Но кто же пьет за свои глаза, за болезнь? Я побывал в Тер-Зоре, в Карсе, смотрел на гору Муса [1], сидел опустошенный на берегу Евфрата, и не мне учиться патриотизму. А этот тост не поддерживаю. Тамада видит, что я не пью, не встаю. Тот, что пел «Андраника», теперь заливисто тянет мугам, а оратор упрямо продолжает застольную речь.

Осторожно ставлю на стол нетронутый бокал и выхожу. На улице я вижу свой «многострадальный» народ: чудо-девушек, одетых, словно парижанки, деловитых мужчин, вечно спешащих юношей, неторопливых стариков, беременных женщин. На днях попались мне на глаза мои старые школьные фотографии, и вдруг я обратил внимание, что четыре года подряд фотографировался в одной и той же рубашке. Ведь была война. Но я не хочу вспоминать про это каждый день, рассказывать своей дочери и убеждать ее, что она счастливее меня. Я смотрю на Арарат, который армянские поэты с чем только не сравнивали, отчего он мало-помалу утратил свою каменность. Все старики были когда-то молоды, в трудные минуты они вспоминают свою молодость. Старики не любят говорить о старости. Мы старый народ, даже усталый, на нашем челе морщины, наше сердце перенесло тысячи инфарктов, но надо ли ежедневно вспоминать это, говорить тосты, вздыхать? Мне бы хотелось, чтобы случилось чудо и наш народ потерял свою память лет хотя бы на пятьдесят, забыл бы, что он построил Гарни, что нашему театру две тысячи лет, что был 1915 год, что Арарат самая красивая в мире гора. И, наоборот, подумал бы, будто он только что родился, что все еще надо создавать, надо рыть первый канал, класть первый камень, писать первую фразу на своем языке, рожать первого талантливого сына.

И все-таки я вхожу в кафе и выпиваю рюмку за свой народ.

---

[1] Муса — гора в Западной Армении, славная героической обороной в 1915 году.

15

Водку я пью глотками, хотя у нас не принято так пить. Вспоминаю лица собравшихся. Я уже безошибочно определяю, после какой бутылки на подобных сборищах выпьют за здоровье нашего народа, какую споют песню, что скажут до и после тоста. И на сей раз тоже. Из соседней комнаты, где к шестнадцатилетней дочке хозяина зашли две ее подруги, доносится магнитофонная запись: «Мир кончается у какой-то стены, и какой бы круглой ни была земля, нам двоим хватит места, чтоб устоять...» Это Жак Брель или Азнавур? Хозяин дома, предложивший тост, говорит долго. На миг мне представляется, будто на столе под бутылками с водкой и шашлыком расстелена историческая карта Армении, с которой он считывает названия гор, рек и городов. Сидящие за столом молча слушают, качают головами, глаза у них грустные. Входит дочь хозяина, что-то шепчет на ухо отцу. «Что?» — вслух переспрашивает он, ему трудно сразу выключиться из волнения, порожденного собственным тостом. «Мы уходим,— говорит дочь,— приду поздно, не беспокойся». Хозяин машет рукой, дескать, понял, и продолжает речь с полуслова, там, где его прервали. Он с грустью говорит о том, что в нынешнем году в Сирии, в городе Алеппо, закрылись две армянские школы. Слова его пронизаны искренней болью. Гости приводят другие примеры из жизни армян во Франции, в Египте, вздыхают.

— Если так дальше пойдет,— расстроенно говорит кто-то,— через пять—десять лет...

Но немного погодя кто-то хвастается, что устроил внука в английскую школу, другой сожалеет: «В нашем районе нет английской, пришлось отдать в армянскую». Третий со стуком ставит на стол рюмку: «Не буду пить, не люди вы, не армяне». А певец все еще заливается, тянет мугам за здоровье армянского народа.

Кому все это они говорят? И кто они сами? Надо полагать, сыновья и внуки карсских, ванских, мушских армян, а то и сами бывшие жители этих провинций. Что же им надо? Вдруг вспоминаю Фрезно, кафе «Аракс», Вильяма Сарояна, и мне кажется, будто его герои каким-то чудом еще продолжают играть все эти пятьдесят лет в старой, затасканной пьесе...

Когда же, наконец, опустится занавес?..

Я сижу в кафе. Пью глотками, это труднее, чем сразу. Я выпиваю глотками твою горечь, мой народ, и никому не надо знать, как я люблю тебя. Молодежь шумит, хлопает в ладоши, а я мысленно в другом месте. Двадцать восьмого августа 1965 года я шел по одной из карсских улиц, бывшей Лорис-Меликовской. Старый Наирянский [1] город, крепость и апостольская церковь в утренней дымке казались каким-то бредовым видением, болью сердца. Это слова Чаренца. Я шел как во сне, хотя церкви и крепость, мостовая и здания реальны, выстроены руками моего народа. Теперь, через два года, когда пытаюсь представить себя идущим по этой улице, кажется, будто показывают кадры из фильма 1914 года, куда я чудом вмонтирован.

Я шагал сквозь мираж. Сорок пять лет назад был в этом городе Чаренц, но и в то время еще стоял в густом воздухе Карса, на усталых, древних камнях в тишине обмелевшего Карсачая, подобно столбу пыли, все тот же вопрос: «Что такое Наири?» Я попытался представить «наирян» — Мазута Амо, Гробовщика Енока [2] и других. Мне они не казались забавными, а творение Чаренца — сатирой или памфлетом, как принято толковать его в школьных хрестоматиях. Это трагедия, и Мазуты Амо — действующие лица трагедии, а точнее, ее бездействующие лица. Когда был поднят занавес первого действия? Должно быть, в том самом веке, в коем мы впервые утратили нашу государственность, стали уповать на мученический венец, безумную отвагу, «устный патриотизм» и бесплодные фантазии, когда стали жить не той землей, что была у нас под ногами, а утерянной, и потому лишились еще большего.

Должно быть, тогда и родился мираж страны Наири, потому что Наири — это то, чего нет, нечто ирреальное, неощутимое. Она не может быть земной, состоящей из жилых домов, распаханного чернозема, беременных женщин, дымящихся очагов, ручьев. Наири — развалины, надежды, игра в нарды, тосты, гимнастика ума, бесконечная тема для бесед.

Я устал.

---

[1] Наири — одно из древних названий Армении.

[2] Мазут Амо, Гробовщик Енок — персонажи из «Страны Наири» Егише Чаренца (1897—1937), крупнейшего советского армянского поэта.

Когда, миновав Карс, въезжали в Ахурян, сердце мое странно затрепетало, я подумал, что оставшееся позади и в самом деле бред, болезнь сердца. И пусть простят мне города Тигранакерт, Ани, Карс [1], что я именно ее, трепещущую, живую Наири, считаю самым своим первым делом, святыней, опорой. Эта новая Наири глядит на меня не со старинных карт, не из развалин или глубин памяти. Она глядит дымоходами своих домов, стеклянными глазами телескопов, погонами маршалов-армян и милиционеров, травами, камнями — всем тем, что есть на этой земле в тридцать тысяч квадратных километров.

Вторую рюмку я залпом выпиваю за тридцать тысяч квадратных километров, за живую, здравствующую страну Наири.

16

Близ села Арцваник в Зангезуре под одиноким орешником есть могильный холмик. Я много раз проезжал недалеко от тех мест, и почти всегда меня подводили к нему:

— Это могила предателя Франгюла.

Историческую справку сопровождала брань, все равно, был ли мой гид водителем или заведующим отделом народного образования. Затем с презрением плевали на могилу, советуя и мне проделать то же: таков обычай, идущий из двухсотлетней давности. Я ни разу не видел на могиле цветов, здесь не растет трава, только осенью орех роняет листву.

Кому знакомо имя великого Давид-Бека, тот знает и Мелика Франгюла: не будь таких, как Франгюл, может, и победил бы Давид, может... Насколько я знаю, на земле сегодняшней Армении не сохранилось другой могилы изменника, нет такой. Было бы неплохо, не раз думалось мне, чтобы время сровняло с землей и ее, не ведать бы нам, не передавать из поколения в поколение злые деяния и имя этого человека. Ну, а что, если она нужна? И мало одних героев и мучеников, чтобы не угасла память народная? Может, именно понимание этого заставляет людей годами и веками все прибавлять землю на холмик, обрекая ее на странную и долгую жизнь.

Всего лишь одна могила.

---

[1] Тигранакерт, Ани, Карс — города в Западной Армении.

Но полистаем страницы нашей истории: сколько там таких могил и сколько писателей и историков от древних времен и до наших дней неутомимо добавляют на них земли. Закрыв глаза, я вижу холмы, холмы, а под ними кости предателей. Порой это кажется кошмарным наваждением, вымыслом, как анонимка, написанная поэтом.

Иногда не верю даже историку Егише, хотя книга его похожа на молитву, рыдание и заповедь. Порой не верю и Раффи. Не верю ни древним, ни новым историкам, возродившим трагическое прошлое нашего народа. Эти книги я читал подростком, перечитывал юношей, а сейчас не читаю. Не хочу мучиться сознанием, что все важные вехи истории нашего народа помечены предательством. Уж если герой Вардан, то непременно рядом изменник Васак, если Самвел, то Меружан Арцруни, царь Гагик — Вест-Саркис, Мхитар Спарапет — сотник Мигран, и так без конца. Многие поколения учились на этих книгах и вместе с молоком матери проглатывали, как таблетку, печальный факт, будто армянская история невозможна без предательства. Сколько поколений мирилось с этим, принимая в свой адрес упреки от других народов и не находя слов для оправдания. Мне кажется, многих изменников выдумали наши крупные и мелкие историки: без предателей трудно было бы объяснить наши невзгоды. Упростив дело, превратили они нашу историю в уравнение с одним неизвестным. И пусть не посетует на меня Егише, если спустя тысячу пятьсот лет я с сомнением листаю страницы столь священной книги и пытаюсь, призвав на помощь великого Демирчяна, подобрать иной ключ к пониманию Васака Сюнеци, чье имя благодаря Егише стало нарицательным для всех предателей...

— Что ты,— возражает Рубен,— многие предатели исторические личности, и мы знаем даже, где они похоронены. История не школьная доска, чтобы стирать с нее не понравившееся тебе слово...

Если так, не верю истории, ее ведь тоже пишут люди. Да и другая она у нас, книга истории. Не стала еще книжкой с верхней полки, которую вытаскиваешь для справки раз в несколько лет: это настольная и даже карманная книга, она всегда с нами, как наш ревматизм, наша тень. Надо быть осторожным. Пусть подросток, листающий ее впервые, не запутается в паутине предатель-

ства. Пусть он не верит мрачным теням, и даже если увидит могилу Мелика Франгюла и ему объяснят смысл слова «предательство», пусть скажет:

— Не верю!

17

Однажды я задумал проверить, что имеется, скажем, на площади в пять квадратных километров в одном районе близ Еревана. Оказалось, там есть деревня, где супруги ни за что на свете не пройдутся рядом по улице — что скажут люди, стыдно. Там есть обычай оставлять покойников в первую ночь в развалившейся часовне. Там невестки не имеют права разговаривать с мужской частью своей родни. На тех же пяти квадратных километрах имеется подземная гидростанция, и девушки в купальниках целуются с юношами на берегу искусственного озера, не стесняясь людей и своей наготы... Есть церквушка со стершейся надписью на стене по меньшей мере тысячелетней давности и новый, строящийся город, пока безымянный. Есть деревни с кизячными пирамидами перед домишками, кое-где в пирамиды воткнуты метлы, что означает: здесь есть невесты на выданье. Из этой же самой деревни была, говорят, похищена девушка, которая дала следующее показание в милиции: «Да какое похищение? Позвонил, заехал за мной на машине, вот и все». На этих пяти квадратных километрах строят громадную теплоэлектростанцию, а старухи и по сей день крестятся, когда гремит гром, бормоча про себя: «Илья-пророк проехал по небу на колеснице».

На этих пяти квадратных километрах работает директором завода мой школьный товарищ. Они выпускают полупроводники. Однажды директор завода показал мне крохотные таинственные стержни, в которых заключена целая нервная система. Для меня это как китайская грамота.

— Не понимаю я вас, писателей,— сказал он как-то,— что вы все твердите — национальное да национальное? Народ — экономическая единица, производительная сила. Я бы вычеркнул из анкет графу «национальность». Половина моих сотрудников не армяне. И очень хорошо.

Я ничего не ответил.

Другой мой товарищ, тоже окончивший нашу школу и работающий в карьере, что расположен в пределах

этих пяти километров, проспорил с ним весь день. Он назубок знает биографии всех армянских царей, а развалины наших памятников ему дороже родного дома.

Как-то в нашем селе я сфотографировался на фоне хачкара [1], и моя девяностосемилетняя бабушка, глядя на эту мою фотографию, радостно прошептала:

— Слава тебе господи, и молодые тоже стали верить...

Ну что еще рассказать об этих пяти километрах? И разве вся наша земля не пять километров, дважды пять или дважды пятнадцать тысяч квадратных километров?.. Весь этот коктейль, по-нашему, простите, букет, называется армянин и Армения! Только вместе. В отдельности ничто из этого не Армения.

18

Я у могилы Комитаса. Цветов не принес. Хочу поведать ему то, что прочувствовал за последние дни, только очень боюсь, как бы он снова не сошел с ума. Изваяния не сходят с ума. Они не стареют, не ощущают ни ненависти, ни любви. Однако счастливыми бывают люди, а не изваяния. И несчастными тоже. Помоги мне, Комитас, понять не мир, а самого себя, свой народ.

19

Люблю я ходить по заброшенным кладбищам.

Старые надгробья, едва различимые эпитафии не печалят, просто напоминают о том, что человек для природы совсем как степная трава, как колючка, или мох, постепенно разъедающий лоно каменной плиты, или вот эти копошащиеся в траве букашки.

Сидя на такой могиле, мой друг, физик Рубен, который, как всегда, обвиняет меня в сентиментальности, спокойно рассуждает:

— По данным науки, на земле за все века до наших времен жило семьдесят миллиардов человек. Мы с тобой входим в восьмидесятый миллиард. Ерунда все это.

Рубен может жевать бутерброд с сыром на древней

---

[1] Хачкар — крест-камень, мемориальная каменная плита, украшенная тонкой резьбой.

могильной плите, а захочется — и поспит. А я все пытаюсь что-то постичь. Что? Не знаю.

— Рубен!

— Да?

— Вообрази, что через сотню лет на твоей могиле кто-то будет жевать бутерброд с сыром. А?

— Что ж. Впрочем, вряд ли. Во-первых, она будет обнесена железной оградой, с калиткой на запоре,— ведь памятник поставит не народ, а мои родные. Не очень-то посидишь. Так что подумай лучше о себе...

Мы часто ходим на старое кладбище села Аштарак. Оно начинается прямо со двора церкви Кармравор («Кармравор построили в седьмом веке»,— непременно сообщил бы Рубен). Если заговорить про мост, последует справка:

— Мост действующий, построен в семнадцатом веке, а вон та осевшая в воде стена — след строения тринадцатого века.

Одним крылом наше старое кладбище соединяется с новым, а другое теряется среди домов и улиц. Подходим к селу. Очень древняя могильная плита положена через ручей, как мост. Рубен с превеликим удовольствием меняет свой путь и проходит через плиту-мост. Мне делается грустно.

— Да здравствует жизнь!— смеется он.— Гляди-ка! Во дворе одного дома стоит хачкар, самый настоящий. Вглядись как следует,— настаивает Рубен.

Бельевая веревка одним концом привязана к хачкару, другим к тутовому дереву. Висят пеленки. Рубен в восторге.

— Куда только смотрят наши художники? Изумительное получится полотно. А подпись к нему: «Да здравствует жизнь!»

— Ты повторяешься.

— Ничто в мире уже не говорится впервые. Люди просто слышат впервые. Помнишь анекдот о человеке, который отправился с ножом зарезать Иуду? Запоздалость своего действия он объяснил тем, что лишь недавно узнал о том, что Иуда предал Христа...

— Браво!

Подходим, заглядывая в калитку. Тонкой, филигранной работы хачкар.

— Что-нибудь около семнадцатого века,— говорит Рубен.

Мы уходим, то и дело оглядываясь на хачкар, и вдруг...

На каменном заборе двора явственно видны буквы. Подходим. Да, так оно и есть, читаем: «Здесь покоится Маргарит, супруга...» Чья именно супруга, не разобрать, остальная часть надписи под землей, потому что плиту использовали как фундамент ограды. Молчит даже Рубен. Он вдруг задумывается, видно, не о веселом. Итак, сложили на могильных камнях ограду, и жизнь продолжается. Проходят мимо люди, и никто не взглянет на камень. Все так обычно. Мы уходим, и я еще раз оглядываюсь на надпись: «Здесь покоится Маргарит, супруга...»

20

В Ереван через Турцию приехала группа армян из Америки. Побывали они также в Западной Армении, искали места, откуда они родом. Рассказывали очень горькие и трогательные истории. Кто-то встретил родного брата, которого не видел пятьдесят три года. Брат этот уже давным-давно совершает по пять намазов в день, он мусульманин и лишь смутно помнит, что предками его были армяне. И больше ничего. Добравшийся до родной земли из Лос-Анджелеса другой брат был потрясен: встретились и снова потеряли друг друга, теперь уже безвозвратно.

Но это еще ничего.

В селе Гусейник близ Харберда к туристской группе подходит дряхлая старуха. Узнав, что прибыли армяне, говорит, что сама она армянка и большинство ее односельчан тоже. Вскоре собираются и остальные, давно уже отуречившиеся. Им долго не верится, что приезжие армяне. Они расспрашивают, трогают прибывших руками, выражают на турецком языке сомнение, обмениваются впечатлениями. Наконец кто то из них говорит: «А мы были уверены, что после пятнадцатого года на свете, кроме нас, не осталось других армян». Туристы обходят все дома, кое-кто даже узнает свой родной очаг, фотографирует, берет на память о родине камушек или горсть земли.

Тяжелым было расставание. Ужасным — признание отуреченного армянина! «А мы были уверены, что после пятнадцатого года на свете, кроме нас, не осталось армян...»

Кто поверит в эту историю, которая действительно случилась, в существование деревни Гусейник, которая в самом деле есть на карте?

21

Нет, мне не кажется, будто я видел его на барельефах капителей Звартноца — эти руки, сжимающие молот, и немигающие каменные глаза. Я видел его у себя дома, потом в Ванадзоре, у него даже не армянское имя — Мeграб, живет он сейчас в Лори — могу сообщить адрес. Но ему и ему подобным я бы ставил памятники и ничуть не удивился бы, если бы его барельефы украшали камни Звартноцев наших дней.

Много написано о нем, о первом сооруженном им роднике-памятнике, который так и называется «родник Мeграба». Он построил этот памятник, когда ему было шестьдесят лет. Мастер прошел долгий путь, следы его пальцев остались на камнях прекрасных сооружений: здания Оперы, Дома правительства, постамента памятника Ленину — всего не перечислишь. Казалось бы, пора и на отдых, можно ходить по улицам, с законной гордостью любоваться построенными тобой зданиями, как это делает писатель, читая на закате дней написанную им книгу. Тем более что недавно парализовало левую руку. Но не таков мастер. Приволок вдруг с каменоломни базальтовую глыбу, за несколько месяцев соорудил родник-памятник и установил его в Ванадзорском лесу. Достал трубы и сам подвел воду. Помощи ни у кого не просил, на вознаграждение не рассчитывал. И народ принял дар мастера. Имя его передавалось из уст в уста. Дело мастера заставило людей задуматься о том, чего не сделали они. Между тем во дворе своего дома мастер обтачивал новую глыбу. И соорудил второй, третий родник. Люди перестали удивляться: ведь мастер все равно не мог увидеть их удивления, он просто продолжал жить, а жить для него значило делать доброе для людей.

Он не оставил своего имени ни на одном роднике, но я знаю: годы — надежная сберкасса, они надолго сохранят имя мастера и с процентами передадут его потомкам. О нем сложат легенды. А может, нет, не вспомнят? Если не вспомнят, то лишь так, как не помнят, кто написал слова «Крунка» или кто посадил на берегу Севана первое дерево.

Сейчас деревня называется Дзорап.

Раньше она называлась Ахс, а на карте IV века исторической Армении значится как Ахцк.

Я осмеливаюсь называть село Ахцк, призвав в защитники не только историческую карту, но и Мовсеса Хоренаци, Павстоса Бюзанда [1], а также династию армянских царей Аршакуни, захороненных в этом селе.

Если случится вам когда-нибудь проезжать поблизости и понадобятся спички или какая-нибудь мелочь, зайдите в сельмаг. Здание из красного туфа построено недавно, обе вершины Арарата отсюда, с возвышенности, видны ясно и четко. Купив спички, не торопитесь садиться в машину, кто знает, когда еще случится вам побывать в этих местах, лучше сверните вправо. Вы увидите развалины, остатки древних капителей и какие-то странные земляные насыпи. Потом перед вами окажется дверь, каких теперь не бывает в нашем селе даже на амбарах. Не смущайтесь, открывайте ее, спускайтесь по ступенькам вниз. Вскоре вам покажется, будто вы в склепе. Возвращайтесь в сельмаг за свечами. Купите штук пять и, вновь спустившись, зажгите все сразу. В этом скупом свете вы обнаружите себя в усыпальнице. Вы сможете увидеть и нащупать пальцами барельеф, которому тысяча шестьсот лет.

А если кто-либо из вас знает армянскую историю хотя бы в объеме программы средней школы, вы узнаете, что находитесь в усыпальнице царей Аршакуни.

Терпеливая пила проносящихся веков этой истории спилила многое, но основное пощадила. Это было примерно в 363—364 годах, в последние годы царствования Аршака II. Орды персидского царя Шапуха разграбили и разрушили Тигранакерт и, перейдя реку Арацани, поднявшись вверх по течению Евфрата, заняли Ани-Камах. Здесь, в крепости Ани, они проникли в мавзолей армянских царей Аршакидов и извлекли кости, чтобы увезти в Персию. По свидетельству Павстоса Бюзанда, персы говорили: «Мы перевозим кости армянских царей в свою страну для того, чтобы слава, удача и отвага, им сопутствующие, перешли в нашу страну». Так и сделали:

[1] Мовсес Хоренаци, Павстос Бюзанд — великие армянские историки V века.

кости извлекли, заперли в прочных сундуках, но... налетевшая внезапно конница спарапета Васака Мамиконяна помешала осуществлению этих планов. «А царские кости,— пишет Павстос Бюзанд,— унесли и захоронили в укрепленной деревне Ахцк, что в провинции Айрарат, в одном из узких и труднодоступных ущелий горы Арагац».

Именно этот Ахцк впоследствии стали произносить как Ахц или Ахс, а позднее, вероятно под влиянием турецкого языка,— Гахс, и уже в наше время село переименовали в Дзорап. Ни один из именователей не потрудился подумать, какой смысл в старом названии села, не удосужился взять в сельской библиотеке, к примеру, книгу Павстоса и перелистать несколько страниц. Гахс и в самом деле звучал чуждо, совсем как мусульманский рисунок поверх росписи на христианском храме. Но ведь можно же было соскоблить чуждое слово, под которым крылось старое название. Однако этого не сделали, просто вынули из стены, выкинули старый гладкотесаный камень, заменив его шаблонным кирпичом Дзорап (в Армении сел с таким названием больше десятка).

В склепе я остаюсь долго, пытаюсь в свете свечей нащупать барельефы тысячешестисотлетней давности. Выхожу. Снаружи палящее солнце, копошатся куры, девочки играют в камушки, с грузовика возле сельмага сгружают капусту. Я с грустью думаю о странствующих останках армянских царей. Потом меня вдруг осеняет, что это один из редких царских мавзолеев, сохранившихся на земле сегодняшней Армении (да еще, если не ошибаюсь, несколько царей из династии Багратуни захоронены в Агарцине). Итак, это уникальный документ, удостоверяющий факт существования у нас государственности в древние времена, если хотите, одно из свидетельств о рождении. Роющимся в земле курам и петухам, девочкам, играющим в камушки, это невдомек. Цари и для меня уже давно только герои исторических романов, однако я с грустью смотрю на печальные холмики, скрывающие мавзолей.

Отчего с грустью?

Нет, у меня не навязла на зубах дешевая философия о том, как здоровый желудок неумолимого времени переваривает все, не хочу я произносить и трескучих фраз о том, что, мыслимо ли, куры беспрепятственно роются в царском склепе. Нет, о другом я размышлял — о соби-

рательной памяти народа. Вспоминаю, как недавно на ереванском стадионе под звуки государственного гимна сегодняшней Армении продолжали сидеть или просто лузгать семечки.

Почему я вспомнил стадион? Не знаю. Но хотелось бы, чтобы возле царской усыпальницы установили хотя бы скромную мемориальную доску с соответствующими выдержками из Павстоса Бюзанда не во имя царей Аршакуни, а во имя нас, особенно девочек, что играли в камушки. Кстати, существует достаточно обоснованное предположение, что в Ани-Камахе были захоронены представители не только династии Аршакидов, но и Арташесидов, таким образом, может статься, усталые холмики мавзолея Ахцк-Дзорап скрывают в своих недрах также останки Тиграна II.

...Вокруг мавзолея пустынно, если не считать двух цистерн с нефтью у входа, а холмики, укрывающие руины, ничего не говорят.

Если будете в гостях у руководителей села, вас пригласят к столу и после нескольких рюмок пригорюнятся, поглядев в сторону Масиса[1], предложат стоя выпить за армянский народ. Не пейте с ними. В ответ на их удивление поясните: «Несколько лет назад, когда рыли котлован под фундамент сельпо, строители наткнулись на остатки стены из гладкотесаного камня. Было яснее ясного, что это основание древнего храма. Прораб вызвал сельских руководителей, показал на раскопки и предложил построить магазин несколько дальше. «Зачем? — ответили ему.— На этом готовом фундаменте и построим, крепче будет, если уж он выстоял века». И сельмаговские стены сложили на царском мавзолее.

23

Ваган Паскаль (наверное, Паскалян). Я встретил его в 1963 году в ресторане бейрутской гостиницы «Стафхауз». У него продолговатое лицо философа, рассеянный взгляд голубых глаз. Голубые жилки на руках, и кажется, будто они начинаются у самых глаз. «Вы из Армении?» — спросил он. «Да, и вы армянин?» — обрадо-

---

[1] Масис — одно из названий Арарата.

вался я. «Из настоящей Армении?» — «На свете есть всего одна Армения»,— сказал я. «Я там не бывал, так что не знаю, но говорят, сейчас в Армении хорошо». Пока он говорит, я фиксирую в мозгу его данные: восемьдесят два года, родился в Иерусалиме, жил в различных городах Европы, проработал сорок пять лет врачом, братья и сестры умерли, последний родной человек — жена скончалась три года назад. Уже с год он проживает в этой гостинице.

«Вы долго пробудете в Бейруте?» — спрашиваю я, а старик грустно и безмолвно смотрит на меня. Вдруг понимаю всю бестактность своего вопроса: старый врач, должно быть, ожидает здесь своего последнего посетителя, который войдет не постучавшись. Он свел все счеты с жизнью и только ждет. Я представил себе этот день: он умрет ночью, и об этом узнают лишь наутро, когда войдет к нему уборщица. Хозяин гостиницы позвонит куда надо (я уверен, что старик своевременно уплатил за свои похороны), приедет катафалк, явится армянский священник (и его тоже оплатил старик), и тело увезут. Увезут, и последняя ветвь генеалогического древа Паскалянов будет подрезана. Все это проносится в моей голове за несколько секунд, хочу заговорить о другом, о веселом, а старик смотрит на меня ускользающим взглядом, как из окна вагона, уносящего его на тот свет. «У меня все кончено,— говорит он,— отправлюсь к жене. Моя жизнь прошла в гостинице, ведь чужая сторона всегда гостиница, плохая или хорошая, не все ли равно? А человеку нужен дом, я поздно это понял». Старик устает, я вдруг ощущаю себя армянским священником, слышу исповедь покидающего этот мир, хочу утешить, сказать что-нибудь, но что?

С тех пор прошли годы, а я не могу забыть эту встречу. В позапрошлом году приезжий из Бейрута сообщил мне, что старик умер. Хотелось бы, чтобы весть эта оказалась ложной, но что бы от этого изменилось? Как рубцы после операции, я ношу в себе лицо, глаза, грусть и смерть Вагана Паскаля. Слышу его голос: «Человеку нужен дом». Я бы отлил из этих слов колокол, поднял бы над планетой и звонил — порой мягко, а иногда бешено и тревожно. Пусть простят меня мои соотечественники, но это тревога Вагана Паскаля, жившего и умершего в гостинице, хорошей или скверной, не все ли равно?

Всякий раз, приезжая в наше село, я спускаюсь в ущелье, к старому мосту, где мельница. Чем ближе к цели, тем больше мной овладевает тревога: а вдруг остановили мельницу и не вертятся жернова?.. А более грустной вещи, чем остановившаяся мельница, я не знаю.

Я вычитал где-то, что на Скандинавском полуострове есть десять—двенадцать тысяч мельниц, многие из них действующие. Народ хранит эту традицию, хотя одна-две современные мукомольные фабрики вполне могли бы заменить все десять тысяч мельниц. Мне довелось увидеть ветряные мельницы, правда, сверху. Несколько лет назад, пролетая по пути в Африку над Испанией, я увидел сотни мельниц, сверху они походили на великанов из мультипликационных фильмов. Сейчас, когда я пишу эти строки, мне кажется, будто тогда я ясно увидел на обожженной земле доброго гидальго, столько веков продолжающего вести безнадежную борьбу с ветряными мельницами во имя любви и, что печальнее всего,— во имя справедливости.

Ветряных мельниц в Армении нет, есть водяные, сколько их, не знаю; одна находится в нашей деревне. Недавно я снова побывал там. Из пяти жерновов крутился только один, все прочее оставалось без изменений, как в дни моего детства и детства моего отца. Но даже один жернов производил страшный шум, люди кричали друг другу в ухо, воздух был белым, как в пейзажах импрессионистов, свисающая с потолка паутина была точно покрыта налетом муки. Поздоровавшись, мельник спросил меня: «Это ты писал, да? (Я однажды написал в газету очерк о вечере в сельском кафе «Цицернак», где джаз играл Комитаса, Жака Бреля, Азнавура, а сын мельника танцевал твист с девушкой-радиофизиком.) Кое-что у тебя там было неточно».— «А что, может, это был не твой сын?» — «Мой. И девушка — моя дочь, об этом почему не написал?» — «Физик?» — «Она самая». Вот как: мельник, твист, радиофизик. Интересно. Я пообещал исправить свою ошибку.

Институт радиофизики отсюда не виден. Он находится вблизи нового моста через Касах, надо немало пройти по оврагу, чтобы он показался. Зато мне видна маленькая часовня святого Саргиса, приютившаяся на склоне утеса, небольшой, с виду обыкновенный домик, внутри

изображения святых. В годы войны мать поднималась в часовню помолиться за брата и брала меня с собой. Я целовал иконы. Наверное, и там тоже, как и на мельнице, все осталось по-прежнему, только свечи зажигают уже бабушки: дети нынешних мамаш растут в безопасности, это сыновья бабушек не вернулись с войны. Может, вместе с бабушками входят в часовню их внуки, удивленно смотрят на святых, и им хочется задуть свечи, как мне в детстве. «Сейчас в часовню ходят?» — спросил я у мельника. «Отчего же, ходят, вот моя мать...».— «А много ли зерна привозят на помол?» — «Да. При всех домах — старых ли, новых ли — есть тониры, в них пекут лаваш».— «И при новых домах тоже?» — «А как же? Теперь тониры цементируют, тысячу лет продержатся. Зайди хоть ко мне, погляди». Я выпил стакан воды, холодной, с примесью муки. Огромные жернова без устали крутились, превращая зерно в муку. Я был доволен мельником, его детьми, и мельницей, и институтом радиофизики, даже часовней святого Саргиса,— все это разноцветными бусами нанизано на нить реки Касах (скорее — времени), нигде не обрывающейся, не имеющей узлов. Над ущельем, широко расставив ноги, подобно великанам, тянулись, никуда не приходя, столбы высоковольтных линий. Они представились мне ветряными мельницами, и я поискал взглядом аштаракского Дон-Кихота.

— Ну, все в одну кучу свалил,— сказал бы Рубен.

25

— Это я-то? — удивился бы я.— Хочешь, сходим к какому-нибудь однокласснику в гости?

Конечно, Рубен согласился бы, и мы навестили бы Сурика. В детстве его так звали, и теперь тоже.

Пока жарился бы шашлык, Сурик показал бы нам дом.

Да, кое-что я заметил бы. Сурик не то чтобы сломал старый и построил новый дом, но старый как бы остался внутри нового, поглощенный им. С первого взгляда все выглядело невероятно странно: в доме ни одного прямого угла, ни одной квадратной комнаты. Французские кубисты могли бы позавидовать Сурику, хотя он сам о кубизме и понятия не имеет.

Но главное он приберег бы к концу. Как только мы спустились бы на первый этаж, он бы торжественно от-

крыл дверь, за которой находится утопающий в неоновом свете суперсовременный зал с немецкими кушетками, телефоном и телевизором, и попали бы мы оттуда прямо в типичный аштаракский подвал, описанный еще Перчем Прошяном. На цементном полу карасы [1], к почерневшим балкам подвешены гроздья винограда и другие фрукты.

— Оставил, как при дедушке,— объяснил бы Сурик.— Что будем пить? Коньяк? Водку? Виски? Есть бутылка мартини.

Я смотрю на пустые карасы, они вот так и простоят, пока... Пока не сгниют подпорки, и тогда карасы рухнут на холодный пол, либо сын Сурика уберет их, набьет на цемент паркет и станет танцевать в зале шейк с друзьями (потолок не тронет, и стены тоже, сейчас моден возврат к старине).

...Вспоминаю Суренова деда — с печальными руками, с лицом как на средневековой армянской миниатюре, вынесенной из огня, но обугленной. Нынешний десятилетний ловкий пацан мог бы его, как говорится, вокруг пальца обвести, а он умер, так и не поверив в то, что можно жить, не обрабатывая землю. Помню, в последние дни старик любил сиживать под большой чинарой, видимо, ровесницей нашего села (срубили ее несколько лет назад, она «мешала» генплану села, переименованного решением извне в город), и молча, часами перебирать четки: добро, зло или бог... Костяшек было не много — штук пятнадцать персиковых косточек, а мыслей тьма, и все они бегали по одной и той же нитке...

Старика давно нет. А карасы — вот они, словно декорации районного театра и пустые, как взгляд самоубийцы. Мне грустно за карасы, они жаждут вина, молодого, пенящегося, густого. И мечтают принять в свое холодное глиняное лоно виноградный сок, а не пыль, что оседает в нем слоями, становясь паутиной... Мечтают растрескаться от буйного брожения жидкого солнца внутри них. Карасы плохо переносят пустоту, не то что люди...

— Давай виски,— сказал бы я Сурику. Я скорблю, карасы, наверное, лопнут от пустоты. Кто знает, увижу ли их снова такими же, смирившимися со своей судьбой...— Выпьем виски. Дед твой, помню, делал хорошее вино.

---

[1] Карас — большой глиняный кувшин для хранения вина.

При этих словах Сурик замолчит, проглотит с дымом сигареты какую-то невысказанную мысль, потом мы поднимемся наверх выпить виски за деда и за чинару, чьи корни однажды пробились сквозь асфальт, но остались погребенными под вторым его слоем. Мы выпьем домашнего вина, позаимствованного Суриком у соседа, я расскажу о своих канадских впечатлениях, он вспомнит, как мы вместе воровали яблоки, хотя в собственных наших садиках яблок было вдоволь.

— Ну кто же все валит в одну кучу?— спросил бы я, покидая дом Сурика.— А?

26

В Саакянской семинарии в Бейруте я увидел на сцене зала обломок необработанного туфа и с удивлением спросил:

— Что это?

Мне рассказали. Да, это туфовый камень, из Армении, из Артика. В тысяча девятьсот тридцатом году какой-то купец вывез несколько таких обломков и продал местным армянам. С переплатой — потому что желающих было много, — один из камней купила Саакянская семинария. С того дня туф лежит на сцене. Во время торжеств оратор становится на эту плиту, как бы ощущая под ногами родину. Я не смог сдержать слез, когда мне показали камень, и теперь еще не могу думать об этом без волнения. О туфе я по разным поводам рассказывал иностранцам. Они слушали, с сомнением качали головой, не верили... А я им завидовал,— тому, что они не верили. Завидовал, но еще долго буду странствовать с этой историей по свету, то есть столько, сколько проживу.

Нас, наверное, мог бы понять только Антей.

27

Бабушка...

Ей около ста. Она женщина и предпочитает не уточнять, но по крайней мере уже третий год ей девяносто шесть.

Иногда мне удается вызвать ее на разговор.

— Однажды сидели мы, молодухи, во дворе, вдруг видим: едет всадник, за ним другие. Первый при усах,

с бородой, на груди крест, чуть сутуловатый. Потом я узнала, что то был католикос Хримян.

Брат моей бабушки, священнослужитель высокого сана, умер в Эчмиадзине в тысяча девятьсот пятнадцатом году. Город в эти дни полнился больными и умирающими беженцами, и смерть архимандрита прошла незамеченной, и по сей день его могилу трудно сыскать.

Бабушка рассказывала:

— Запечатали его комнату, заперли на большой замок. Все должно было перейти монастырю. И вдруг я вспомнила, что мой большой серебряный пояс остался там, но кому сказать? Наконец решилась, подошла к седовласому человеку с лицом святого. Он выслушал, улыбнулся, улыбка у него была грустная, и, подозвав сына, что-то сказал ему на ухо. Сорвали печать, забрали пояс. После я узнала, что человек с лицом святого был Ованес Туманян.

— Не помню, в каком году,— мне тогда было лет шестнадцать—семнадцать,— брат прислал из Парижа вилки и ножи. Собрался весь Аштарак: что делать с ножом — ясно, а вот для чего вилки — никто не разумел...

Спрашиваю бабушку:

— Ты видела памятник полководцу Андранику? Тот, что поставлен уджанцами?

— Я видела самого Андраника.

— Когда?

— Когда?.. Мы как раз твою мать только замуж выдали.— Я подсчитываю в уме, пятнадцатый или шестнадцатый год.— Да, ночью приехал, ночью и уехал. Вся деревня в тот день праздновала чрахван — это такой праздник, когда в домах зажигают все керосиновые лампы и свечи, а церковь бьет во все колокола. Какой-то силач... как же его звали? Кажется, Епрем. Вот этот Епрем поднял полководца на плечи и понес. Я увидела его совсем близко, даже дотронулась до обувки. А ты спрашиваешь, видела ли памятник.

Помню, бабушка твердила:

— Вот женю этого, тогда спокойно и умру.

Этот — значит я. Теперь у меня уже дочь в четвертом классе, а бабушка говорит:

— Увидеть бы свадьбу Левона, тогда уже...

Левон — мой двоюродный брат, ему четырнадцать лет.

— Бабушка!

Она и сейчас еще поет «Цицернак» и сердится на меня за то, что я не подарил ей ни одной из своих книг.

— Зачем тебе? Ведь ты же не будешь читать, а, бабушка?

— Положу на комод, столько народу заходит, пусть знают, что не забыл ты меня...

В последнее время она часто грустит, вспоминает близких, которые давно уже на том свете. Говорит о смерти. Очень спокойно, будто речь идет о недолгой поездке в Ошакан к замужней дочери.

— Старый человек — что спелый абрикос,— качает головой бабушка,— не сегодня-завтра упадет.

Лишь однажды она была чем-то огорчена и пожаловалась:

— Надо бы, чтоб и смерть продавали за деньги, захотел — купил и умер, а то...

Бабушка... Наши бабушки...

Не будь их, кто бы рассказывал нам голубые сказки нашего детства? Кто бы преподавал первые уроки доброты, удерживал материнские руки, наказывающие нас?..

28

Несколько лет назад я побывал в западном районе Севана, где геологи искали золото. Люди искали его здесь еще два века назад. Нашли, отлили монеты и украшения, а сами исчезли с лица земли, оставив на склоне горы несколько жерновов и два-три упоминания в рукописях. И вот теперь золото снова ищут, уже с помощью современных механизмов, с нервозностью и нетерпением людей двадцатого века. Наверное, опять найдут, отольют какие-нибудь изделия и уйдут. Правда, оставят после себя более зримые следы, более глубокие забои. Но я не о том...

Однажды, выйдя из забоя, я узнал, что вечером в клубе покажут нечто удивительное: из столицы приехал атлет, бывший рекордсмен Навталян, он зубами поднимает восьмипудовые гири, разжевывает гвозди любой толщины. Короче... пошел я в клуб. Они сидели у входа, штангист в широченных брюках, поношенном пиджаке, и какой-то пожилой худой мужчина. Сидели и раскладывали перед собой изрядно пожелтевшие входные билеты. Пожилой очкастый помощник штангиста показался мне

знакомым. Вскоре он сам подошел, и выяснилось, что он знает моего отца. Я вспомнил: это был актер, в нашем клубе он как-то сыграл Отелло. Был он тогда моложе и не носил очков или, может, играя Отелло, снимал их. Вдруг штангист сказал:

— Повесь-ка афиши.

Мой знакомый, вспоминавший в эту минуту, как он в свое время душил разных Дездемон и сколько раз его настоятельно приглашали в труппу театра имени Сундукяна, попытался было изобразить удивление:

— А почему я?

Но вдруг сник и посмотрел на меня.

Я вспомнил, что его зовут Вачаганом и что, когда он играл Отелло, спина у него была более прямая. Пригласив меня на представление, он суетливо засеменил за штангистом, должно быть, вешать афиши, что, как он считал, было не его делом. Я пошел играть в настольный теннис и все время проигрывал, потом понял, что думаю о Вачагане, у которого когда-то были черные волосы, а теперь его галстук лоснится даже в свете скупого севанского солнца.

Вечером пожелтевшие билеты продавал сам Отелло, и я попросил приятеля купить мне билеты...

...В зале скамеек не было видно, одни головы и шляпы разных цветов и фасонов. В первых рядах расселись дети, которых теперь ничем не удивишь. Люди переговаривались. Мне казалось, будто я впервые вижу их. У некоторых лица были серьезными и застывшими, другие хотели выглядеть серьезными. Многие пришли в отглаженных сорочках, с женами.

Наконец появился фокусник и засучил рукава, чтобы всем хорошо были видны «чудеса». На нем все та же поношенная рубашка, и вид очень усталый. Он прошел на середину сцены, улыбнулся уголком губ и объявил, что предстоит выступление рекордсмена Навталяна, а пока он сам покажет несколько фокусов.

Золотоискатель рядом со мной заметил, что грузовик является собственностью Навталяна. Зал гудел громко и неясно. Когда фокусник сливал лимонад из кармана в стакан, с разных мест закричали: «Этому фокусу нашего буфетчика обучи!» Зал удивлялся, смеялся, аплодировал, но у меня было странное ощущение. Зал в целом хохотал, но каждый в отдельности, похоже, грустил, и они как бы играли в панихиду.

Фокусник закончил и снова объявил выступление Навталяна.

В клубе золотоискателей горели всего две лампочки, выписанные в этот день со склада по специальному разрешению первого заместителя начальника экспедиции. Огромный живот Навталяна прикрывали широкие брюки из красного атласа, сшитые, видно, в сороковых годах. Жилет из того же материала казался еще более ветхим и не сходился на груди. Навталян приказал расставить на сцене гири весом по двадцать пять—тридцать килограммов, а сам кратко сформулировал секрет, как стать сильным:

— Мы всегда придерживались советов наших наставников и чистили зубы порошком, другого секрета нет.

В третьем ряду единственный в поселке продавец беспокойно заерзал на стуле и что-то шепнул соседу. Должно быть, радовался, что завтра же все прибегут к нему в ларек покупать зубной порошок. А зал неопределенно загоготал. Вначале штангист, видно, для разминки, поднял и подбросил одну, две, три гири, на которых ясно можно было прочесть: «25 кг». Потом потребовал из зала двух помощников, которых собирался, связав их за руки, покрутить на своих плечах. На сцену вскочили двое парней — Ашот и Маис. Маис во всеуслышание попросил крутить поосторожнее, потому что других брюк, дескать, у него нет. На это рекордсмен снисходительно улыбнулся. А после номера выяснилось, что порвались не только брюки, но даже и пиджаки. Маис приник к стене, в глазах его были смех, печаль и еще что-то, что трудно было разглядеть в свете двух лампочек. По поводу брюк Маиса зал хохотал так, что дрожали фанерные стены клуба. Но опять мне почудилось, что каждый в отдельности плакал. И неизвестно почему я поискал глазами Вачагана — Отелло. Неужели он не выступит? Я представил себе после штангиста на этом деревянном помосте Венецианского Мавра, и сердце сжалось: бедная Дездемона, как, должно быть, зашумит зал, когда тебя будут душить.

А атлет между тем перешел к воспоминаниям:

— В настоящее время мы выступаем совсем по другой программе сравнительно с прежней. Раньше мы, бывало, жевали зубами гвозди и дробили камень у себя на груди. Сейчас такого не делаем. Почему, спросите вы? А потому, что кусочки летят людям в глаза и притом пачкается

пол в зале. Доводилось нам поднимать зубами коня, но конь может и лягнуть, а здесь есть дети...

Зал продолжал слушать, порой и смеялся, но, как мне казалось, смех постепенно угасал. А когда силач заявил, что через два месяца выходит на пенсию, и, поскольку в поселке нет гостиницы, попросил дать им ночлег, все как-то странно замолчали. В тишине из задних рядов раздался голос:

— Фокусника я беру.

Стемнело. Накрапывал дождик. Выходящие из зала громко переговаривались, разгоняя ночную тишину. А темнота не рассеивалась. Люди быстро растворялись в ней, входили в дома — попить чаю и разок прикрикнуть на жену. Ушли, оставив в стенах клуба немного смеха, немного радости, унося с собой старую горечь, заботы и печаль. Оставить в клубе все было бы затруднительно. Может, у него слишком тонкие стены? Но на свете, наверное, и не существует более толстых стен. Огни постепенно погасли, тишина восстановилась. И вдруг я, вспомнив о Вачагане — Отелло, вернулся назад.

Он стоял у дверей клуба, подняв воротник пиджака, с сумкой под мышкой. Без очков. Уже до самого утра ничего не надо было видеть.

— Ладно, я посплю в машине,— сказал он,— не впервой. Ты иди.

Я взял его под руку, и мы двинулись вперед сквозь мрак и безмолвие ночи, а в клеенчатой его сумке лежали афиши и билеты на следующее представление. Расклеивать афиши было не его делом.

Вокруг простирались золотые рудники, где искали золото две тысячи лет назад и будут искать еще две тысячи лет спустя — как знать?..

29

Человек искал песню.

Любимую песню своего отца, потерянную в детские годы.

Похоже на сказку?

Грустных сказок не бывает, их выдумывают, чтобы рассеять скуку жизни. Так что это вовсе не сказка.

У него армянское имя и отчество, но странно видоизмененная фамилия. Дед его родился в Эрзеруме и умер на дорогах беженства... Отец чудом попал в Ташкент,

там и похоронен. Сам он живет в одном из городов европейского севера нашей страны, а в Армению приехал впервые. Выучил на скорую руку несколько слов — «пей», «прошу», «твое здоровье», «здравствуй».

Сидим в ресторане, в небольшом зале, с нами музыканты, и он выразил желание послушать армянские песни. Он уже слегка навеселе, потерял свою серьезность. Когда играют «Крунк», плачет, хотя не понимает ни единого слова. Поем, провозглашаем тосты. Вдруг он встает, подходит к кларнетисту:

— Можешь сыграть вот это? — и что-то напевает под нос.

— Не пойму, что за песня,— говорит кларнетист. И мы тоже не можем взять в толк.

Наш приятель снова и снова напевает что-то неопределенное.

— Эту песню пел еще мой отец, очень любил ее, двадцать лет все пытаюсь узнать, о чем она.

Мы все навеселе, но делаем усердные попытки понять, что же за песня.

Рубен бубнит у меня над ухом, что существует память крови, говорит что-то сложное о генах, кодах, наследственности. Я слушаю его вполуха. А наш друг твердит свое:

— Понимаешь, это песня моего отца, он ее пел в Ташкенте, а я забыл...

И вдруг Рубен напевает:

— Эта?

Поет несколько тактов...

— Она самая! — орет наш приятель. Слезы медленно выкатываются из его глаз. Он садится, закрывает глаза, наверное, мысленно представляет отца.— Ты продолжай, ладно?

Простая старинная песня «Увяла красная роза», помню, мой отец тоже любил ее. Кларнетист играет хорошо, мы напеваем, хоть и не знаем всех слов. По его просьбе повторяем несколько раз.

— Эта!— говорит он.

— Давно сказали бы,— пожал плечами кларнетист.

— Так я ведь не знал названия.

Дед потерял жизнь, отец — родной очаг, сын — отцову песню, внук ничего не потеряет — ему нечего будет терять. Грустная диаграмма, несколько относительная, потому что диаграмма одного рода понятие не адекватное

для целого народа. Но я, кажется, перешел к элементарным истинам. Вне всякой связи с историей этой песни я снова вспоминаю Старую Джугу. Последние дни вспоминаю часто. Удивительный этот город, родившийся после гибели Ани, в самое короткое время расцвел, жадно потянулся к солнцу и, видно, был к нему слишком близко, потому что быстро сгорел. Персидский шах Аббас, восхищенный талантом и умением джугинцев, снял с места целый город и перевез в свою страну, создал близ Исфагана Новую Джугу. Помните, как сказано у Туманяна:

Сзади сабли,
Спереди вода,
Плач, стенания, смятение.

Должно быть, боясь, что люди вернутся обратно, шах до основания разрушил город. Но вот кладбище снести забыл. Оно существует и поныне. На берегу реки Аракс.

От города осталась всего лишь истерзанная стена, а кладбище сохранилось. Мой друг архитектор несколько лет назад побывал на этом необыкновенном кладбище, которое скорее можно назвать лесом чудо-хачкаров. Выжженный лес, давно угасший, испепеленный. Самые старые дубы только и остались.

Увяла красная роза...

Кларнетист играет вот уже в который раз, а я мысленно на староджугинском кладбище, где не довелось бывать. В Африке, в марокканском городе Рабате, я встретил в кафе одного из четырех проживающих там армян, который заквашивал мацун и напевал себе под нос какую-то армянскую мелодию. Может, песню, потерянную его отцом? Не знаю, кажется, я и впрямь становлюсь сентиментальным! Вспоминаю старого учителя из Шамшадина, который случайно увидел нас, нескольких писателей, и насильно затащил к себе домой. И произнес странный тост: «Всегда в мечтах представляю, что у меня в гостях Хоренаци, Кучак, Терьян... Это несбыточно, но вот я принимаю вас».

А на староджугинском кладбище?.. Из двух тысяч трехсот его хачкаров стоят только немногие, но стоят. Город вымер, а кладбище живет. Как хотелось бы, чтоб было наоборот, а ведь для многих народов все так и есть.

Путешественник, артист и археолог Арам Вруйр, посетивший кладбище в тысяча девятьсот пятнадцатом году, приводит в своих воспоминаниях несколько эпитафий. Вот одна: «Сей крест поставлен в память о Мануке, великом и храбром воине. Он и его отец шли издалека, попали в руки чужеземцев, стреляли и победили врага. 1573 год». Итак, они шли с отцом, лениво перебрасываясь словами, потому что шли уже давно. Может, отец хитростью выпытывал у сына, у которого и усы уж пробились и который ночами все беспокойно ворочался, не приглянулась ли ему дочка соседа Мовсеса... А может, они были мирные торговцы и возвращались из ближнего села, подсчитывая невеликий барыш? Кто знает, может, дома их ждали родные, целая куча детей, пылающий очаг, свежеиспеченный хлеб, а Аракс, не ведая ничего, нес свои воды, как всегда, безучастно, ведь нет у него ни ушей, ни нервов, и прячет он в прибрежных камышах равно и друга и врага... Из этих камышей небось и напали враги на отца с сыном, и осталась навсегда незаконченной беседа то ли о дочери Мовсеса, то ли о барышах. И стали отец с сыном безвинно убиенными, а потом стали хачкарами... Время неумолимо, сотрется надпись или новый злодей разрушит хачкар. Останется жить лишь записанная Арамом Вруйром эпитафия...

Увяла красная роза...

Утерянные песни, утерянные города, кладбища...

— Опять ты за свое!— возмутился бы Рубен.— Лучше назови все, что мы нашли. Можешь? Не можешь, потому что нелегко, найденного слишком много. Находить мы считаем естественным, значит, и терять естественно, какой народ не терял? А? — И добавил бы: — Способность помнить дана нам также и для того, чтобы забывать.

Забывать?

Конечно.

Наш знакомый беззвучно плакал, он вспомнил и нашел песню своего отца — немудреную грустную песню — и был счастлив.

30

Эту часть «Эскизов» я бы хотел написать в виде письма. Адрес: Канада, Монреаль, Альберу Мартикяну. Копия — всем армянам, живущим в четырех частях света.

Дорогой Альбер!

Прошел год со дня нашей встречи, и много стерлось в моей памяти, которая, к сожалению, постепенно превращается в тающий на солнце ком снега. Но я не забуду тот день, темную печаль твоих глаз, молчание. Тогда мы почти ни о чем не поговорили, обоим нам было трудно, но я уже целый год переживаю события того дня, думаю, и ты не забыл. Мы ехали к вам домой, были веселы, говорили о родине, заботах нашего народа. На заднем сиденье спал сын твоего приятеля, он устал после уроков в воскресной армянской школе, и мы разговаривали тихо. И вдруг мимо на большой скорости пролетела, коснувшись нас, машина. Мы остановились, ты торопливо вышел, проверил: левое крыло твоей машины было заметно поцарапано.

— Видишь,— сказал ты,— даже не остановилась.

Сердито сел за руль, прибавил скорость. Через минуты три мы догнали машину, заставили ее остановиться, вы оба вышли, и началось... Переругивались вы по-французски, и я, конечно, не мог понять, но смысл был ясен: после такого происшествия во всем мире говорят одно и то же — в Риме, в нашем Артике, на дорогах Америки или Индии. После десятиминутного спора вы оба подбежали к уличному таксофону звонить в полицию. Вскоре показалась желто-черная полицейская машина. Ваш спор возобновился, наверное, с теми же обвинениями, но в более спокойном тоне. Потом вы уселись в полицейскую машину и принялись писать что-то, должно быть, объяснение. Минут через десять полицейские уехали, та машина тоже тронулась, а ты медленно подошел и сел за руль. Ты был бледен, черты лица заострились, в глазах была озабоченность.

— Тебе плохо? — спросил я.

— Он оказался армянином,— сказал ты, глядя перед собой на дорогу.— В документах я прочел его фамилию — Манукян, а имя не успел...

— Армянин? — переспросил я, потом понял, что вопрос был лишний. Армянин — это уже не вопрос, а печаль, вздох, не знаю что...

Значит, встретились два соотечественника на дорогах мира, поругались — на иностранном языке, — оба огорчились и даже не узнали, что они земляки, обломки, вынесенные на берег одной и той же волной. Может, у обоих отцы родились в одних и тех же горах, ходили одними

дорогами беженства, делили глоток воды. Или — разными, какое это имеет значение, если повсюду одинаков этот сфинкс, называемый армянской судьбой? В моих ушах звенят недавние выкрики на французском языке, и я с горечью думаю, что чем дальше, тем больше станет таких встреч на чужих берегах, все чаще будет так, что встретятся соотечественники, поспорят на чужом языке и разойдутся.

Мы молчали всю дорогу, Альбер, но во мне осталась твоя грусть, которую не развеяли ни вино, ни магнитофонные ленты с армянскими песнями. Однако именно такая грусть предохраняет сердце от опустошения, этой грустью человек отличается от мыслящей машины, умеющей запомнить миллионы цифр и делать сотни расчетов в секунду.

Люблю дороги мира, они приводят меня в конце концов на родину. Не будь этих нескольких сотен километров моей земли, и миллионы мировых километров никуда меня не приведут, я это знаю.

31

Нет, дорог мы не любим. Они приводили к нам врагов либо безвозвратно уводили наших дедов на чужбину. Не знаю, где я слышал или вычитал эту странную мысль, но разве не о том свидетельствует наше недавнее прошлое? Все наши провинции, связанные тонкими, обрывающимися, точно нить, тропинками и дорогами печалей, были оторваны друг от друга. Дороги перекрывались с первым же снегом, они скорее разделяли, чем сводили.

Я ликую, когда гляжу с самолета на Армению, на дороги, которые, подобно кровеносным сосудам, обратили нашу землю в дышащее, беспокойное, трепетное тело. Я люблю глядеть на дороги в ночные часы, когда видны не сами дороги, а движущиеся огненные глаза автомашин. Теперь я понимаю значение слов «доброго пути», «провожать в путь» или «пуститься в путь» и десятков подобных фраз.

Нам предстоит открыть много дорог и сократить имеющиеся, мы все еще продолжаем бояться обильных снегов, ливневых дождей. Еще ощущаем недостаток в железных дорогах и мостах, но они у нас будут. Теперь дороги приводят к нам друзей, уводят нас в большой мир, связывают, объединяют. Сейчас можно встретить на ули-

це приятеля, пригласить к себе на завтра, поиграть вечерком в нарды, а он скажет: «Прости, отложим на неделю. Улетаю на Цейлон. Вернусь — непременно зайду». Скажет эдак просто, ты выслушаешь и не удивишься. Расстанемся, как если б и в самом деле чего же особенного — летит человек на Цейлон, вернется, позвонит, и сыграем в нарды.

32

Армянин, турист из Америки, рассказывал:

«Возвращались мы автобусом с Севана. Ехал с нами богатый армянин, живет в Мексике. Напыженный, всем недовольный. Мы с ним то и дело спорили по разным поводам. Вдруг автобус остановился: путь преградило стадо овец. Пастушок, мальчик лет десяти, подгонял овец, торопясь освободить дорогу. Мы вышли из машины. Пастушок окинул нас мимолетным взглядом и продолжал свое дело. Когда путь наконец был свободен и паренек зашагал было за стадом, мексиканец окликнул его. Мальчик приостановился. Мексиканец извлек из кармана горсть конфет в пестрых блестящих бумажках и протянул ему. Мы не слышали, что сказал мальчик, но увидели, как он покачал головой. Тогда иностранец протянул ему пачку жевательной резинки. Мальчик и этого не взял. Мексиканец махнул рукой и поднялся в автобус. Мы тоже сели. Я посмотрел — пастушок шел за своей отарой с палкой на плече. И мне подумалось: идет, как гордый полководец.

— Что сказал тебе мальчик?— спросил я.

— Отказался от угощения,— процедил мексиканец сквозь зубы.— Даже детям запрещают...

— Не запрещают. Тебе трудно понять этого мальчика, гордость у него в крови.

— Гордость? — усмехнулся он.— Ребенок остается ребенком.

Пастушка уже не было видно.

Я был благодарен ему за урок, преподанный чванливому мексиканцу».

И я тоже благодарен.

33

Базилика VII века возле села Талиш еще издали завораживает своим величием. Особенно после недавней реконструкции, когда монастырь обрел свои прежние

формы. Потрясенный, взираешь на это чудо творения из камня. Стоит он в окружении старинных надгробий, коих тут несметно — и во дворе, и на дороге. А чуть поодаль развалины княжеского замка. Могильных камней тысячи, все они из черного и красного туфа, истерты временем, дождем, забвением.

В этих символах безвестных жизней заключены ужасная тоска и покой.

Идет дождь. Он смывает пыль, и камни, наверно, благодарны за это, хотя дождь смывает не только пыль.

Храм тоже казался большим надгробием, надгробием всем этим могилам. Но что это? На фоне эдакой древности — базальтовая скульптура, еще издали производящая впечатление свежей заплаты. Подхожу и вижу: на высоком пьедестале громоздится бюст юноши без имени и фамилии,— наверное, не успели еще высечь. Я скорблю по поводу смерти юноши, но хочется и спросить: что ты здесь делаешь, брат мой? У пьедестала валяются бутылки из-под коньяка и вина, стаканы. Наверное, приходили родичи, выпивали, горевали. И еще придут. Прибавятся новые пустые бутылки, и это должно убедить случайных прохожих, как-де внимательны к безвременно усопшему его близкие. Я снимаю шляпу пред их вниманием, хотя все же не стал бы оставлять на могиле пустых бутылок, да и, говоря по правде, не носил бы сюда и полных. Я-то скорблю, юноша, но при чем тут Талишский монастырь, чем провинились древние могилы и кто дал право попирать века и время? Новый памятник вырос среди такой древности, очень возможно, чтоб освободить ему место, убрали какое-нибудь из старых надгробий, изрыли землю. А ведь это не земля, это сама история. Кто дал право? (Спустя несколько лет я узнал, что юноша был талишцем и, проезжая на мотоцикле, потерпел аварию у монастыря. Скорблю, но... Он мог бы потерпеть аварию, скажем, около Звартноца или языческого храма в Гарни, неужели и тогда...)

Да простят мне родные погибшего эти строки, но... Но от их деяния всего один шаг до вскрытия могилы Мхитара Гоша [1], что и проделали трое армянских мальчишек в Гошаванке. Отсюда всего один шаг до случая, происшедшего в Аштараке, во дворе церкви Кармравор, где

---

[1] Мхитар Гош — известный средневековый писатель и ученый, автор «Судебника».

разломали на две части очень древний хачкар. Всего шаг — и поэтому я не побоялся написать этот горький отрывок: уж лучше пусть мне не простят люди, чем могилы.

34

К этой истории я ничего не добавил. Если что-то не так, значит, не все хорошо запомнилось. Но главное осталось во мне, как не разорвавшаяся мина на зеленом лугу, как осколок снаряда под кожей раненого.

С ним я познакомился случайно. Мы летели из Москвы в Ереван, и наши места оказались рядом. Ему было лет шестьдесят; в двенадцать он бежал из деревни в провинции Эрзерум и чудом добрался до Эчмиадзина. Мы побеседовали о том и о сем, и он, уже не помню по какому поводу, рассказал:

«...В тот день во многих наших домах пекли хлеб, дымили ердики [1]. И вдруг улицы заполнили турецкие войска. Командир, по-ихнему бинбаши, приказал: «Погасить все очаги, чтобы нигде не дымило». Через несколько часов, когда нас гнали вверх по склону, деревня напоминала кладбище, дым из ердиков не вился. Село наше виднелось еще долго, мы удалялись, а оно словно шло с нами. Уже стемнело, когда добрались до вершины, а внизу лежало страшное даже днем ущелье. «Переночуем,— сказал своим бинбаши, видно, его пробирал страх,— утром погоним их дальше». Мы все, стар и млад, легли, прижавшись друг к другу, наверное, уснули. Помню, проснулся от турецкой ругани. Было уже утро, но что случилось? Бинбаши злобно орал: «Гяуры, сыны шайтана, уничтожу, всех вырежу!» Лицо бешеное, страшное. Вдали виднелось наше село, но вот чудеса: из всех ердиков курился дым, как будто пекли хлеб, как вчера утром. Старухи, преклонив колена, молились, потому что только бог мог сотворить подобное чудо. Но кто же на самом деле сделал это? Неужели Маран, полоумная старуха, которую бинбаши не стал убивать, а оставил в селе, чтобы она окончательно свихнулась, глядя на трупы своих родных? Неужели она? Кто же еще? Бинбаши с несколькими аскерами вернулись в село, остальные набросились на нас. Воспользовавшись суматохой, я удрал без оглядки, не разбирая дороги. С противоположного

[1] **Ердик** — отверстие в крыше дома, над очагом.

холма я снова, в последний раз, увидел село — из всех ердиков вился дым... И до сих пор не знаю, Маран ли разожгла очаги или кто другой, но какое это имеет значение».

Что мне добавить к этой истории и зачем?

35

«...И снизошел свет на его могилу».

Кажется, так сказано в Евангелии о могиле Христа.

Он не Христос, но на его могиле давно уже свет, более десяти лет.

Он был простой сельский врач. Были, наверное, на его совести и ошибочные диагнозы, и смерти, но об этом никто не вспоминает. Не потому, что прошло много лет со дня его смерти. Не вспоминали и раньше. К нему в деревню я ездил в 1956 году, через несколько месяцев после его смерти, когда еще не научились говорить о нем в прошедшем времени. Я много расспрашивал об этом человеке и вернулся в Ереван с переполненным сердцем и исписанным блокнотом. Вчера я опять полистал свой блокнот, пытаясь найти хотя бы оттенок укора в его адрес. В 1958 году я и другие написали о нем, и врач Николай Насибян сразу стал известен в Армении. Группа молодых скульпторов вылепила его бюст, установленный сейчас в его родном селе, во дворе больницы, носящей его имя. О нем слагают стихи, собираются снять фильм.

Почему я снова возвращаюсь к его жизни и смерти?

Мне известно, что односельчане провели на эту могилу электричество, свет горит по ночам и в густой тьме напоминает со своего возвышения забытый маяк. Может, от этого веет чем-то языческим, провинциальной сентиментальностью, наивной заявкой на бессмертие, но свет горит и по сей день, хотя миновали годы.

Чем же прославился врач?

Больной и беспомощный, он отправился дождливой ночью в соседнее село к умирающему двенадцатилетнему мальчику. Может, ребенок выжил бы и без него, а врач все равно умер бы, оставайся он дома, в тепле. Никто в целом мире не обвинил бы его, если бы он не пошел. Никто, кроме одного человека — Насибяна. И врач не стал терять времени на решение этого уравнения с двумя неизвестными. Он просто оделся, взял в руку чемоданчик и пошел вслед за исстрадавшейся матерью маль-

чика. Шел пешком, а потом всю ночь боролся за жизнь мальчика, как мог и сколько мог. Через несколько недель, когда выздоровевший мальчик играл в лапту во дворе школы, хоронили врача. Сейчас юноше уже двадцать лет, и не знаю, помнит ли он Насибяна. Забыл, наверное, и это так же естественно, как естественна заживающая рана, а назойливая память схожа с открытой раной.

Выросли сыновья доктора. Старший окончил медицинский институт и не вернулся в родную деревню, хотя это было последним желанием отца. Скоро и дочь окончит, тоже, наверное, осядет в городе. Я не виню их, все это так же естественно, как заживающая рана...

В деревне остались мать и жена врача.

И дом на пригорке.

И могила на горе с горящим над ней светом. Свет не небесный, а земной, его придумали люди.

Конец истории? Может быть. Но я знаю одно: в тысячу раз легче передавать ток по металлическим проводам, чем понять грусть ближнего, и день ото дня это становится все труднее, а вот свет нынче получают путем расщепления атома, а завтра получат из ничего.

Вспоминаю удивительную историю, где-то вычитал ее.

Жили на свете два близких друга, а в соседнем доме жили разделенные стеной еще двое людей, никогда не видевших друг друга, но враждующих через стену. Однажды в минуту гнева они разломали стену и... лицом к лицу оказались близкие друзья. Посмотрели ошеломленно — и опустились сжатые кулаки, склонились головы...

Много подобных стен между людьми, порой даже очень тонких, а врач Насибян был одним из тех, кто ломал стены беспричинной ненависти, он просто не верил в их существование.

Может, из-за этого и зажгли над его могилой свет?

Не знаю.

Если бы я мог, то сделал бы много солнц и зажигал бы их над могилами подобных людей.

36

Мы с Рубеном пробираемся наверх между камнями и колючками старого кладбища. Вот знаменитый Щель-Камень, памятник моему богатому односельчанину; уже более двухсот лет смотрит он своим темным циклопи-

ческим оком на Аштарак. Это надгробие часто фотографируют, не оставляют его в покое и художники. У подножия Щель-Камня похоронены отец и мать католикоса Нерсеса Аштаракеци. Помню, читал я у Перча Прошяна, что Нерсес нередко приходил сюда молиться, и в эти минуты он был не католикосом всех армян, а беззащитным сиротой.

Я смотрю на наше село, раскинувшееся внизу. Видны Кармравор, Циранавор, Приущельный квартал, новые дома с разноцветными крышами, институт радиофизики и новый мост. Может быть, и Нерсес лет сто пятьдесят назад смотрел отсюда на Кармравор, Циранавор, Приущельный квартал, а остального не мог видеть. Но он видел многое из того, что сейчас не могу видеть я, что давно разрушилось, стерлось...

Пройдут годы, кто-то другой будет глядеть с этой возвышенности и не увидит многое из того, что сейчас есть, зато его взору откроются новые крыши, но непременно будут Кармравор, Циранавор и, пожалуй, Приущельный квартал на Касахе с висячими, словно качели, верандами, с усталыми, рушащимися стенами, с курами, роющимися в развалинах строения V века...

Я смотрю на гладкое надгробие отца Нерсеса, и хочется чудом вернуться назад лет на сто пятьдесят и увидеть католикоса юношей, утирающего глаза и нос большим синим (почему непременно синим?) платком. Хорошо, что Рубен не знает моих мыслей, наверняка засмеял бы.

— Послушай,— говорит Рубен,— что это ты привязался к кладбищам? Сходили бы разок в родильный дом.

Садимся у памятника отцу Нерсесу, закуриваем.

— Можно,— говорю,— будет у тебя малыш, схожу поглядеть.

— Долго придется ждать.

— Не спешу.

Поодаль, у могильного холмика, собрались люди, большей частью старухи. Рубен подмигивает мне, мы направляемся к могиле. (Кто сказал, что можно разделить чужое горе? Скорее можно разделить радость или найденные деньги. Но горе? Оно единственная собственность человека в этом зыбком мире.)

— И поп есть,— говорит Рубен,— интересно.

Возле холмика, у изголовья которого лежат засохшие цветы, стоят на коленях женщины. Одна из них безутеш-

но плачет. В банке из-под консервов курится ладан, всего несколько кусочков, а запах дурманящий. Собравшиеся поворачиваются к нам, кто-то здоровается со мной, остальные женщины принимаются плакать. Одна из них плачет, как поет: «Дорогой Маркар, вот в октябре женим Рафика, а тебя нет, кто будет сватом, Маркар-джан? Маркар, родной, сын твоего брата мальчика заимел, а теперь дом построил, дочь в университет поступила...» Она на миг поднимает глаза, чуть медлит и продолжает: «...Дорогой Маркар, встань, погляди, кто пришел,— сын нашего Амазаспа, Маркар-джан...» Я беспокойно двигаюсь на месте, Рубен поглядывает на меня с заговорщическим видом, женщины после этих слов начинают рыдать. (Горе не только единственная, но еще и последняя собственность человека в этом мире, потому что никто и никогда не захочет отнять его у вас, как отнимают все другое.) Но вот священник принимается читать заупокойную. Он высокий, лицо здоровое и красное. Из-под черной рясы видны туфли — шведские (Рубен хотел, но не смог достать такие). Голос у попа приятный, звенящий, он смотрит в Библию, но читает, видно, наизусть, надо думать, никто из присутствующих и не знает, что написано в святой книге. Он читает слова заупокойной, иногда поет, а кто-то другой с кадилом ходит вокруг холмика и подпевает ему. Этот последний в мирской одежде, лицо у него усталое. Я спрашиваю своего соседа о нем. «Не священник,— слышу в ответ,— не знаю, чем занимается, а на похороны и поминки вдвоем ходят. Хорошо в преферанс играет, всех в селе обыгрывает». Я понимаю, отчего лицо у помощника батюшки усталое, но какое это имеет значение для усопшего? Потом они поют вдвоем псалом, а мы с Рубеном уходим, осторожно выбирая дорогу среди новых могил, которые, как приусадебные участки, огорожены металлическим забором. Нас сопровождает благоухание ладана, но вскоре оно растворяется среди прочих запахов. Жизнерадостно звучит мелодия панихиды (батюшка, видно, плотно пообедал перед этим, а я голоден с самого утра), и слышится голос убитой горем женщины (кто она, может быть, мать?).

— Батюшка был бы в Испании отличным матадором,— говорит Рубен и добавляет:— Ты здесь довольно знаменит. Видел, как от тебя посылали привет на тот свет? Узнал, кто умер?

— Нет,— отвечаю.— И болтун же ты!

— Здорово, а?— продолжает он.— В вашей деревне дело с информацией неплохо поставлено. Даже на тот свет вести посылают: Рафик женится, племянник строит дом, дочка поступила в университет... Ничего себе! Жаль только, факультета не назвала.

Мы снова проходим мимо Щель-Камня.

Помню, читал я в дневнике русского декабриста, князя Евдокима Лачинова: 1828 год. Утром двадцать девятого декабря Нерсес навещает могилу отца. Вместе с ним приходят генерал Красовский, офицеры, солдаты, аштаракские богачи, простой народ. Нерсес склоняется над могилой отца и говорит: «Отец, слышишь, наступил наконец час, о котором мечтала твоя светлая душа. Наш народ будет жить, русские ступили на нашу землю. Подними голову, отец, посмотри, кто здесь стоит». Мне вдруг чудится голос Нерсеса, хотя вокруг нет ни души — лишь скромные одинокие надгробья, молчаливые, источенные временем. Я размышляю о государственном уме Нерсеса Аштаракеци, о его храбрости (на груди он носил крест Просветителя, на боку — меч), думаю и о многом другом. Помню, бабушка рассказывала: в старину, когда случалось что-нибудь хорошее, аштаракцы поднимались на кладбищенский холм принести весточку усопшим, которые не успели увидеть, узнать. Любопытный обычай. Я рассказываю о Нерсесе Рубену, он выслушивает в задумчивости, потом перебивает:

— Я поставил бы Нерсесу памятник, а эту историю насчет посещения могилы отца велел бы высечь на мраморе! Когда же мы наконец начнем ценить людей с государственным умом? Нам свойственны только безумная храбрость, устный патриотизм...

— Так долго ты никогда еще не говорил,— смеюсь я.

— Не было надобности,— отрезает Рубен и оборачивается.— Дай-ка еще погляжу.

Я рассматриваю какое-то надгробие. Рубен идет обратно к Щель-Камню, останавливается. Возвращается похоронная процессия, впереди идет священник с помощником, за ними плетутся женщины и несколько мужчин. Рубен машет мне рукой, подзывает к себе. Что он еще надумал? Подхожу к нему.

— Знаешь,— говорит он,— мне вдруг захотелось позвать батюшку, заплатить ему и попросить отслужить панихиду, а?

Внизу раскинулось наше село, на которое смотрел некогда католикос Нерсес, и мне теперь кажется, что он видел отсюда не только Кармравор, Циранавор, Прищельский квартал, но и многое из того, что сейчас у меня перед глазами.

— В другой раз,— говорю Рубену.

Мы спускаемся в селение.

— Ты хоть узнал, кто был покойник и когда он умер?

— Зачем? — отвечаю я.

37

Помню декабрь 1968 года, французский городок Шартр.

У собора остановилась похоронная процессия.

— Давайте посмотрим,— сказал я,— ведь интересно.

Стали расходиться, осталось нас четверо.

У входа в церковь толпились одетые в траур женщины, мужчины, молодежь. Прохожие останавливались, мужчины обнажали головы. Четыре человека в черном спустили из черной автомашины гроб и внесли на плечах внутрь здания. Мы вошли после всех, нас вело любопытство, и мы протолкались вперед. Я вдруг заметил, что идем сразу за родными покойного. В таком порядке мы и разместились в церкви, где на высоком помосте установили гроб. Я надеялся хоть здесь увидеть лицо покойника, но крышку не подняли. Откуда-то полились звуки органа, зажглись тысячи электрических лампочек в форме свечей, кюре подошел к микрофону, и панихида началась. Присутствующие слушали, порой крестились, вставали, то же самое делали и мы. Прошло около часа. Нам удалось узнать имя умершей — мадам Готье. Она была, наверное, главой большого рода. Среди сидящих в первом ряду я попытался угадать ее мужа, определил по своей теории вероятности сыновей, внуков, невесток. Орган звучал мягко и величественно, и где-то, видно, рядом с органом, кто-то вторил кюре. (Я оглядывал французов — как похожи все люди в горе. Мне вдруг померещилось, будто я нахожусь в Эчмиадзине, на панихиде какой-нибудь армянской старухи.) Это был странный диалог, кюре словно беседовал с душой мадам Готье, которая уже не имела ничего общего с этим сложным, беспорядочным, бессмысленным миром.

Наконец он замолчал и осенил гроб кадилом. Подойдя к старику, сидящему в первом ряду, по-видимому, мосье Готье, он подал ему кадило. Все поднялись, постояли, склонив головы. Помахав кадилом, мосье Готье передал его стоящему рядом мужчине средних лет. «Сын, наверное»,— подумал я, между тем как кадило переходило из рук в руки. Каждый из присутствующих броса немного мелочи на серебряный поднос и по очереди п жимал руки всем родным покойной. Нам ничего друго не оставалось, как проделать то же самое. Даже в го родные усопшей смотрели на нас с любопытством. У на был вид заправских туристов (одни фотоаппараты чег стоили!), и мы были немы и беспомощны.

Я подошел к мосье Готье и увидел вблизи его голубые глаза. «Мерси, мосье»,— сказал он, крепко пожав мне руку. По-моему, они жали нам руки с особой теплотой, благодарные за то, что незнакомые люди неизвестно из какой страны разделяют их горе.

Мы вышли из собора, один из нас, потомок ванского армянина, философски заметил:

— Такова наша судьба. Надо же было попасть именно на панихиду.

Дело не в этом. Кстати, в Париже, в другой церкви, мы участвовали в свадебной церемонии, однако запомнил я панихиду по мадам Готье в городке Шартр, горестные глаза родственников и как они с особенной теплотой жали нам руки (а ведь выше я утверждал, что невозможно разделить горе).

38

По возвращении из Парижа я навестил бабушку.

— Я видел могилу полководца Андраника.

— Где?

— Где же еще, в Париже.

— Не болтай чепухи,— перебила меня старуха.

— Но он похоронен в Париже, на кладбище Пер-Лашез!..

Бабушка странно смотрит на меня: слово Пер-Лашез ей непонятно, похоронен — понятно. Она некоторое время молчит, наверное, вспоминает Андраника, молодого, с лихо закрученными усами, на коне. А у меня перед глазами его могила, которую я знал прежде по фотографиям. На них, особенно одной, цветной, отпечатанной на превосходной бумаге, полководец сидел в седле, глядя

вдаль (на Масис, сказал бы поэт Шираз). А скакун, чудилось, готов вознести всадника на небо.

Снова вспоминаю Пер-Лашез, строгие памятники из черного гранита и мрамора.

А бабушка:

— Да разве же Андраник похоронен не в Эчмиадзине?

— Где это в Эчмиадзине?

— Возле Хента [1]. Видел могилу Хента?

Видел, милая бабушка, во дворе церкви святой Гаянэ. Старое надгробие из простого туфа срыли и выкинули. Поставили новое, из синего базальта. На старом кривыми буквами было высечено: «Хент», теперь оно поросло мхом. И было что-то наивное и потрясающее в этой простой могиле. Новая мне не понравилась. И потом: кто позволил сменить могильную плиту, разве могила — квартира или одежда, которую можно менять?

Все это я, конечно, старушке не выкладываю.

— Видел,— говорю,— из черного туфа, во дворе церкви Гаянэ...

— Не то ты видел,— возражает бабушка,— над Хентом часовня стоит, над могилой Андраника тоже...

Я вспоминаю могилу Андраника — уже не по снимкам. Нас было десять человек, мы положили по красной гвоздике к ногам коня, постояли, помолчали, сфотографировались. С нами была русская женщина из нашей туристической группы, она наклонилась, приложилась к плите. Это была жена русского писателя, женщина с ясными и чистыми глазами. Она выучила песни «Проснись, лао», «Ов, сирун, сирун», «Андраник» и подпевала нам в автобусе.

— Уже лет двадцать я не была в Эчмиадзине,— говорит бабушка,— не помню даже, где могила брата. Спроси у католикоса Вазгена...

— О чем? — удивляюсь я.

— Где могила моего брата, священника. Он-то наверняка будет знать.

Я уже рассказывал: брат бабушки умер в тяжелые дни 1915 года, тогда Эчмиадзин наводняли сироты, кому было подумать о плите над могилой архимандрита, об эпитафии?

---

[1] Хент — персонаж одноименного романа Раффи, прототипом которого послужило реальное лицо.

— Да откуда ему знать? Католикос всего десять лет как в Армении.

— Как же быть? Говоришь, и могилы Андраника тоже нет?

— Есть, есть.

— Ты же только что сказал... А я как сейчас помню, это была часовня из красного камня, рядом с Хентом...

Я был крайне подавлен жалким видом памятника полководцу: конь не только не собирался взлететь, наоборот, казалось, он с трудом побрел бы, если б вдруг ожил. И сам Андраник сидел в седле в неудобной позе и совсем не походил на себя. Возле памятника не было цветов, даже засохших. А несколько ранее мы осматривали могилу Эдит Пиаф — надгробный камень был завален живыми цветами, хотя стоял декабрь. На плите вместо имени певицы лишь краткое: «Мы всегда с тобою». Кто эти «мы»? Наверное, те, кто принес цветы и принесут еще... А на могиле полководца все указано подробно на армянском и французском языках, и даже то, что памятник установлен на общенациональные пожертвования...

— Бабушка, а ты знаешь, когда умер Андраник?

— Откуда мне знать? А когда?

— Сорок лет назад. В Америке.

Бабушка с явным недоверием смотрит на меня, мутный старческий взгляд пытается понять, не шучу ли я. А может, в ней просыпаются какие-то воспоминания, как знать? Может, она хочет спросить у меня: «Да ведь ты только что говорил, что похоронен во Франции, а теперь — будто умер в Америке?..» Чтобы рассеять ее сомнения, мне нужно долго и подробно объяснять ей, как в 1929 году, после двухлетнего захоронения, прах полководца отправили на родину и как он застрял в Париже. Я-то объясню, но поверит ли она?

(Внезапно припоминаю и другое. Несколькими годами раньше в Монреале богатый канадец показывал нам свой город. Монреаль огромен и разбросан, его границы трудно установить. И вот на нескольких улицах канадец повторял одни и те же слова: «Здесь у меня особняк, может, заглянем?» Мы вежливо отказывались, и в конце концов эта фраза утомила меня. «Нельзя ли сразу сказать, сколько всего у вас домов в Монреале?» — «Двенадцать, если считать и три домика на реке Святого Лав-

рентия».— «А это хорошо — двенадцать домов в одном городе?» Канадец помолчал, а потом ответил: «Когда наступает ночь, человек может спать только в одном месте».

Почему мне вспомнился канадец?

Сон — разве не временная смерть?

Смерть — не вечный сон?

Значит, человек может умереть только в одном месте, и все надеются, что таким единственным местом будет родина. Но, может, это не имеет никакого значения и все равно, где ты похоронен на этой планете, день ото дня делающейся все меньше? Ведь то же самое подтверждает моя бабушка, много лет назад «видевшая» могилу Андраника в Эчмиадзине...)

Когда же настанет репатриация могил?

39

Все шло хорошо, только музыки не было: деревенские музыканты ушли в соседнее село на похороны.

— Хоть бы аккордеон раздобыть, что ли,— сказал кто-то из молодых.— Есть в клубе один, да поломан. А может, ничего...

Старики переглянулись.

— Был бы сейчас здесь Ованес, сыграл бы нам «Ворскан ахпер»,— сказал один из стариков.

Ованес — потомственный зурначи в деревне, он ушел в соседнее село, как я уже говорил, на похороны.

Опрокинули мы еще по нескольку стаканчиков, развеселились и чуточку взгрустнули. Сидели на слегка влажной траве на берегу реки.

А на той стороне довольно далеко виднелись развалины — стены, дворец, монастыри... На них смотрели в радости и в горе. Смотрели и молодые и старые. Старики потягивали вино и вдыхали табачный дым, молодые только пили и тихонько напевали.

Все эти люди родились здесь, а на другом берегу реки все это время грудились развалины. Люди росли, глядя на эти развалины, и умирали, глядя на них. Во время похорон несущие гроб становились лицом к руинам, обносили покойника семь раз по кругу, как это обычно делают, совершая последнее прощание перед его домом. Только после этого уносили гроб, посчитав, что все в порядке — покойник посмотрел в последний раз...

На том берегу среди развалин вдруг показались люди. До нас донеслись неясные голоса, музыка.

Мы выпили еще. Старики пригорюнились, погрузились в раздумье, сдались на милость печали, тоски. А молодым вино ударило в голову.

— Потанцуем,— предложил кто-то из них.

— Вот только музыки нет...

— Мы вам споем,— сказали девушки.— Ай-та рай-та, рай-та-та...

— Похороны, наверное, уже кончились,— сказал кто-то.

— Четыре часа восемнадцать минут,— взглянул на свои часы заведующий клубом.

На другом берегу реки, среди руин, народу прибывало.

Старики, не будь подвыпившими, безошибочно указали бы, какая стена когда разрушена и какой камень когда раскололся. Все ведь происходило на их глазах.

— Пляшите! — вдруг выкрикнул один из стариков.— Без музыки! Ноги не отвалятся, бездельники!..

— Кочари,— предложил кто-то из ребят.

Парни и девушки встали плечом к плечу, сошлись в два кольца — одно в другом, вот только музыки не было.

И вдруг старики запели — фальшиво, хрипло, яростно. Запели, и цепь заколыхалась, ноги мяли зеленую траву, под которой была мягкая и теплая земля. Молодые танцевали ладно, ноги согласно поднимались и опускались, и, даже танцуя, не отрывали они глаз от руин. Вскоре к хриплым выкрикам стариков присоединились и их голоса.

И вдруг...

Раздались звуки волынки...

Кто? Откуда? Несколько секунд юноши еще продолжали машинально танцевать, потом старики умолкли и молодые тоже. И увидели: волынка играет на той стороне, где развалины. Какой-то человек стоял среди камней, и в его руках волынка визжала пронзительно и победно.

— Армянин,— сказал один из стариков,— видать, армянин, кому же еще быть? Выпьем за его здоровье.

Старики выпили, устремив взоры на странного человека на том берегу, а кочари звучало громко и победно. Старики плохо видели, солнце слепило глаза, они щурились, хотя им хотелось раскрыть глаза пошире.

Трудно сказать, сколько минут длился танец. Может, не минуты даже, а часы. Трудно сказать. Внезапно музыка смолкла. Парни и девушки тоже застыли, сломились. Потом увидели: двое турецких пограничников на том берегу подошли к человеку, что-то ему сказали, один потянул его за руку, волынка упала на землю, а вокруг начали собираться люди.

Все — старики и молодежь — не сводили глаз с другого берега, а пограничники уже уводили волынщика.

— Это армянин был,— сказал старик.— Выпьем.

Выпили. Пригубили и девушки, не стесняясь стариков и своих возлюбленных. Вдали, на другой стороне, были те же руины да еще солдаты, которые уводили незнакомого им человека.

Ну и что?

Ничего.

Теперь я сижу на камне, и перед глазами на другой стороне ущелья развалины. Не знал я, что столь обычной будет моя встреча с городом Ани. С раннего детства Ани был для меня историей, видением, грезой и незахороненным родным существом. А сейчас все в высшей степени обыденно, справа от меня ульи, пчелы наполнили воздух жужжанием. Пасечник без маски обходит ульи, то и дело открывая и закрывая их. Я замечаю — ни разу не посмотрел он в сторону Ани.

Двое неотрывно смотрят в бинокль на развалины города Ани.

Они передают мне бинокль.

— Смотри, как на ладони.

Я прижимаю металл к глазам: вот и Кафедральный собор стоит, как ограбленная королева, вот церковь св. Григора, Гагикашен, вот городские стены...

— Дай и мне посмотреть...

У меня отнимают бинокль.

Ани сразу удаляется, но я уже убедился, что передо мной именно Ани, и я изучаю его спокойно, детально, квадрат за квадратом.

Руины грудятся среди зеленого-зеленого поля.

Они схожи с последними защитниками осажденной крепости — отступать им некуда, нет пути и вперед, ноги в землю вросли...

— Пастушью церковь разрушили,— говорит кто-то.

— В прошлом году разрушили, и следов не видать...

Мне показывают примерно то место, где раньше стоя-

ла Пастушья церковь,— в бинокле это куча камней и больше ничего. Я вновь перевожу взгляд на Кафедральный собор... На выпуклую поверхность линзы садится пчела. Отгоняю ее. Она не улетает.

— Видишь то белое здание? Это гостиница для туристов.

Я смотрю. Перед зданием стоит длинный зеленый автобус. Видимо, туристов привез. Многие из них, вероятно, армяне. Кто же еще может быть? И на том берегу армяне, и на этом.

— А вон здание с зеленой крышей среди камней — это для пограничников.

Смотрю туда. На огороженной площадке играют в волейбол. Мне чудится, будто слышу голоса играющих. Камни ограды гладко обтесаны — откуда взяться в Ани другим камням? В бинокль видна волейбольная сетка, я передаю бинокль соседу, уж лучше смотреть невооруженным глазом — меньше увидишь. Нельзя слишком близко рассматривать раны родного человека.

Ани!..

Ты обернулся красивой двадцатиэтажной гостиницей на улице Саят-Новы, тебе посвящены поэмы, твоим именем названы папиросы, ресторан, твоим именем нарекают армянских девушек.

Ани!..

Я гляжу на твое умирающее тело, уже восемьсот лет простертое перед глазами нашего народа, а пчелы беспрепятственно пролетают через границу. Может, пчела, недавно опустившаяся на стекло бинокля, сидела до того на барельефе Кафедрального собора...

— Гляди, прямо среди развалин построили дом и живут там. Четыре-пять зданий, наверное, для туристов.

Вижу.

Несколько приземистых домов, перед ними разбиты грядки, где, наверное, посеяли лук или капусту. Забор из гладкотесаных камней. Не хочу я смотреть.

— Давно вы здесь? — спрашиваю пасечника.

— С мая. Здешний мед на редкость хорош. Вон какие цветы...

Пасечник нарушает государственную границу, его пчелы вбирают в себя и нектар цветов Ани... Нет, не хочу я быть пчелой. Ничего не хочу. Внезапно мне чудится звук волынки, игравшей кочари...

Говори же, Ани...

Одна из башен городской стены стоит, вытянувшись в струнку: на ней когда-то стояли в дозоре армянские воины. Сейчас оттуда смотрят на нас турецкие аскеры.

— Пошли,— говорит кто-то из наших.

Я снова вбираю глазами город, стены, Кафедральный собор, церковь св. Григора, все эти пока еще живые камни... Пришли мы сюда с восьмисотлетним опозданием...

Эй, кто там, на том берегу?! Кто там есть в этом мире?!

Играйте, прошу вас. Пусть развалины танцуют кочари или другой танец. Все равно. Не станут плясать? Как же это: воевать могут, а танцевать — нет?..

Чуть поодаль находится деревня Харков (от слова «харквел», то есть «обжигать»), солнце беспощадное, злое. По-моему, кочари плясали люди именно из этого селения. Вдруг я подумал: как они могут жить — просыпаются, а в раме окна Ани, засыпают, а луна выглядывает из-за развалин Ани...

— Пошли.

Прощай, Ани...

Пчелы с жужжанием перелетают через границу, чтобы собирать на том берегу цветочный нектар, а пасечник не смотрит ни на нас, ни на Ани.

— Страшно проголодался,— говорю я приятелю.— Когда будем в Ереване?

— В пять или шесть.

Вдали все еще виден Ани...

40

Дерево заметили по весне. Случайно. Купол деревенской церкви был разрушен двадцать два, тридцать два, не то сорок два года назад. Впрочем, обвалился он не весь, а лишь наполовину, даже до сего дня многие любители, вскарабкавшись наверх, пишут на камнях свои бессмертные имена. Обвалившаяся часть купола в летние месяцы покрыта зеленой травкой и цветами, которые пробиваются на свет, прорываясь между камнями.

И вот однажды...

В этой траве люди увидели дерево, настоящее абрикосовое дерево, оно, как сказали бы поэты, возвышалось на куполе, словно юная полунагая девушка, и бесстыдный ветер рвал ее подол.

Вот это да!

Мужчины удивлялись, проходя мимо церкви, а старухи крестились перед закапанным воском ликом Христа. Бабка Маран, которая была в годы войны единственной в деревне гадалкой, извлекла из сундука засаленные, почерневшие карты, разложила их на обеденном столе, прикинула что-то, что-то забормотала и изрекла: «К добру». А учитель истории в тот же день повел учеников к дереву. «Только в Армении,— сказал он,— может произойти подобное чудо. Армянский камень, армянская косточка, армянский абрикос...» Вечером было общее колхозное собрание, и кто-то остроумно заметил: «Чье же теперь будет это дерево — колхозное или приусадебное?» Председатель рассмеялся, остальные тоже, и об этом больше не говорили...

Прошло время. С деревом свыклись.

А нынешним летом маленькие деревенские разбойники вскарабкались по гладкотесаным камням на купол и с жадным нетерпением обобрали первые плоды удивительного дерева. Их было штук пять, на всех даже не хватило, но ребята поделились между собой, съели и ядрышки, жуя их медленно и торжественно, как будто ждали чего-то необыкновенного, глядя друг на друга и жмурясь от солнца. Но никакого чуда не произошло — это был обычный незрелый абрикос, вон сколько их во дворах, садах, на рынке.

И абрикосовое дерево прижилось в селе.

Кто и когда закинул косточку на церковный купол, трудно сказать. Как она застряла между камнями и пустила корни? Но дерево существовало, и люди перестали недоумевать.

А я вспоминаю Аршака Акоповича Гаспаряна, которого встретил случайно в одной из деревень на севере Молдавии. Село называлось Дроки.

Мы завтракали в чайной райцентра. О старике я слышал накануне и поразился, узнав его возраст — сто двадцать один год. Я сказал, что хотел бы увидеть его. И вот он здесь. Живет в этой деревне с 1901 года, прежде проживал на Северном Кавказе, на побережье Черного моря. Фигура старика, особенно когда он стоит, напоминает скобку, но взгляд еще ясен. Он с трудом, но все же находит армянские слова.

— Когда вы выехали из Армении?

— Лет двенадцать — пятнадцать мне было.

— Где жили?

— На берегу какой-то воды, морем называли...
— Ванским?
— Наверное... Кто знает...
— Почему покинули свою родину?
— Не помню...
— Как попали на Кавказ?
— Не помню...
Наливаем старику вина. Ставим перед ним миску с какой-то едой из рубленого мяса. Есть ему трудно, но вино он пьет. С болезненным упорством я ищу что-то в его глазах, вопросами своими хочу пробудить детство, уснувшее в нем более ста лет назад.
— Есть еще армяне в вашей деревне?
— Нет, один я...
— А были?
— В нашей деревне — нет. В Одессе были.
— Почему вы приехали в Дроки?
— Когда провели железную дорогу, я был грузчиком. Много товаров перегрузил...
— Дети есть?
— Четверо. От Марины. Она молдаванка. Пятьдесят два года мне было, когда женился. А ей было двадцать три, царство ей небесное, рано померла. Сын у меня, иногда деньги шлет, лет двадцать я его не видал...
Старик утомляется, скорее оттого, что ему трудно подыскивать армянские слова. А я хочу пробудить в его померкших глазах хотя бы искру — ведь не может там быть одна лишь зола, не может душа умереть окончательно, бесповоротно, бесследно...
И я запеваю «Дле яман».
На дворе девять утра, на столе у нас стоят чайные стаканы, а я пою «Дле яман», песню ванца, песню армянина. Как знать, может, старик слышал ее лет сто, нет, лет сто десять назад... Я вообще пою плохо, в особенности если не под хмельком, но в тот день, по-моему, спел недурно. Это была не песня, просто я продолжал свои расспросы, но иными средствами. «Дле яман» должна стать переводчиком. Я не глядел на старика, он сидел возле меня и, пока я пел, ковырял вилкой в тарелке. Я смотрел на дрожащие пальцы, которые едва держали вилку. Потом я вдруг вижу — пальцы затихли, перестали двигаться,— неужели вспомнил, неужели что-то проснулось?.. И сразу, без паузы, я запел «Киликию», но пальцы его безжизненно лежали на столе — как вилки, ножи,

как ломти хлеба... Мой приятель молдаванин говорил потом, что в глазах у старика что-то изменилось, рассеялся какой-то туман (а молдаванин тоже сын многострадального народа и к тому же поэт...).

Я кончил.

— Не вспомнил, отец?

— Нет.

— И ты не запомнил ни одной армянской песни, ни одного слова? Мотив хотя бы?

— Нет, не припоминаю...

Я пью, все мы пьем — армяне, молдаване,— пьем коньяк, темный, как чай...

Конечно, я мог предвидеть, что и здесь встречу армянина (в каком только краю их нет). Встретимся, поговорим, споем, потоскуем о родине... Но вдруг неожиданно где-то в Молдавии встречаю, может, самого древнейшего армянина земли. Я смотрю на старика, стараюсь увидеть его таким, каким он был сто десять лет назад, когда неизвестно по чьей воле оказался заброшенным на чужбину.

Я продолжал допытываться, а старик не помнил даже имени своей матери. Он давно позабыл прохладу родной воды. Да, но... Но в одном из глубоких колодцев своей души, словно припрятанную на черный день пару золотых, старик хранил несколько родных слов, которые в этот миг вылились, соединились в предложения. (Польский поэт рассказывал мне, что недавно в городе Вроцлаве были выставлены картины некоей шестидесятидвухлетней армянки. Эта женщина впервые взяла в руки кисть года два назад. В 1918 году, покинув Западную Армению, она чудом выжила и попала в Польшу. После этого она не была у себя на родине. Но вот, в шестьдесят лет взявшись за кисть, изобразила на полотне свою утерянную родину, горы, деревню, людей. Проснулся мир, молчавший в ней шестьдесят лет; нарисовала свою бабушку, подруг, которые либо давно уже обратились в прах, либо еще живы, но им тоже по шестьдесят...)

Это похоже на чудо.

Я поражаюсь, ликую, грущу.

Знаю, на куполе и в будущем году зацветет чудо-абрикос. Зацветет, затяжелеет плодами, и очередное поколение деревенских сорванцов вновь не утерпит, заберутся на дерево маленькие разбойники, оборвут недозрелые абрикосы и в спешке поломают несколько веток. Потом,

прижавшись друг к другу, рассядутся на куполе в несуществующей тени дерева.

Дерево стерпит.

И очередной весною снова наденет свой белый свадебный наряд.

Когда и кто посеял зерна нашего народа в этой каменистой стране, именуемой Арменией?

Когда и кто посадил на горстке потрескавшейся, съежившейся среди скал земли абрикосовое дерево нашей истории?

Когда и кто придал корням нежного деревца прочность стальной проволоки, вечность надежды, терпение матери, которые позволили ему пробиться сквозь камень, выжить, зацвести?

Мы выжили.

Наперекор тому, что наши ветви ломали каждой весной, пожирали нас незрелыми, сжигали яркие цветы.

Как выжило ты, абрикосовое дерево?

41

У него бледное лицо, волосы рассыпаны по плечам. Будь я любителем сравнений, сказал бы, что он похож на Петроса Адамяна [1], только ростом повыше. За неделю до этой встречи я побывал в «республике» хиппи в Сан-Франциско, и юноша показался мне одним из них, хотя у него другое выражение глаз, а бледность скорее аристократическая.

Он стоял молча несколько секунд, внутренне готовясь говорить,

Айкарам Мсерян из Лондона. Говорил в Ереване по-армянски с английским акцентом.

«В 1946 году мы жили в Бейруте. Отец тогда впервые собрался ехать в Армению.

«Что тебе привезти, Айкарам?» — спросил он меня. «Ключи от Армении»,— мне было тогда четыре года.

После его возвращения я спросил: «Ну что, привез?» — «Да». Отец протянул мне семейную фотографию, где были сняты отец, мать и я. «Посмотри на обороте». Я посмотрел, но ничего не понял. Отец взял у меня фотографию и торжественно прочел: «Дорогой Айкарам, ключи от Армении — армянский язык. Выучи его, и ты от-

---

[1] Петрос Адамян (1849—1891) — известный армянский трагик.

кроешь здесь все двери». Отец замолчал, как сейчас помню, глаза его увлажнились, и он по буквам прочел имя того, кто написал эти слова,— Аветик Исаакян.

Мне было всего четыре года, и только после, гораздо позднее, я узнал, что отец рассказал обо мне поэту Аветику Исаакяну и поэт собственноручно написал эти две строчки.

И вот я приехал».

Что еще говорил Айкарам, не помню, но эту историю я записал со стенографической точностью.

Зал долго и горячо аплодировал Айкараму, девушка в мини-юбке рядом со мной прослезилась, а Айкарам стоял бледный, растерянный и удивленный...

Ключи от Армении — армянский язык...

Из слов Варпета я бы отлил колокол, чтобы он звенел каждый день для сотен тысяч юношей и девушек, и ныне живущих на чужбине.

42

Маре...

О бабушке я уже писал. Маре для меня тоже как мать или бабушка, хотя она мать моего друга. У нее руки шершавые, как ноздреватый камень, и для меня нет в мире ничего нежнее, чем ноздреватый камень. У Маре голубые глаза, рядом с ней лучше помолчать, потому что все слова, которые могут соединиться в предложения, устали. Маре тоже устала. Маре оставила далеко свой Сасун, теперь живет в деревне, в Талинском районе, и за всю жизнь раза два приезжала в Ереван автобусом.

Если ты сел на мокрую траву, а кто-то подложил под тебя подушку, знай — это Маре...

Если захочется напиться и кто-то протянет стакан холодной воды, знай — это Маре...

Если случится остаться у них ночевать и ты почувствуешь сквозь сон, что кто-то укрывает тебя, знай — это Маре. (Помню, однажды она сказала: «Все в мире проходит, лао [1]. Грустно — придет радость, дела плохи — наладятся. Вот только не простуживайся, лао».)

Если она стоит рядом, непременно обнимет одной рукой, особенно когда ты у них дома впервые. Если доведется тебе еще раз зайти к ним и ты приведешь с собой друга, Маре обнимет и его. Ее доброты хватит, что-

[1] Лао — сынок.

бы примирить две враждующие армии, если только доброту можно поделить на части.

Маре!..

Побывал я как-то у нее с моим московским другом. Маре не знала русского языка, но беседовала главным образом с ним, с Вадимом. Я смотрел, еле сдерживая смех. Но они и в самом деле разговаривали. У Маре два сына, пять дочерей. И все синеглазые. Я посмотрел на Вадима (глаза у него, конечно, тоже не черные) и решил немного подтрунить над ней:

— Матушка, отчего у вас в роду все синеглазые? И ты, и сыновья, и внуки?

— Чего же ты, сынок, удивляешься?

— А как же? Сасунцы, а глаза у вас синие. Может, у Давида Сасунского они тоже были синими?

Маре задумалась, потом спокойно сказала:

— Может быть, лао, отчего же нет... Три синевы на свете...

— Три?

— Да, лао: море, небо и... Русь.

Я перевел Вадиму слова Маре, он удивился, посмотрел на нее круглыми глазами, потом нагнулся, поцеловал руку, похожую на ноздреватый камень.

— Что он делает, лао? — обратилась она ко мне.— Что делаешь, лао? — повернулась она к Вадиму, потом обняла его рыжую голову, как обнимала всех нас.

— Вадим русский,— сказал я.— Мой друг Вадим русский, живет в Москве. И Мушега знает.

— Мушега? — Маре поцеловала синие глаза Вадима.— Умереть мне за Мушега.

Маре...

Не мать мне и не бабушка. Мать Мушега.

Потом она вышла быстрыми, мелкими шагами.

— Парное молоко полезно, лао, вот надою — принесу...

Маре не читает написанных нами книг, не слышит наших жарких споров, она оставила свое детство в высоких Сасунских горах и побывала в Ереване всего три раза — когда Мушег поступал в университет, когда он болел и когда собрался лететь в Москву.

И, может, с Сасунских гор вынесла Маре это изумительное деление синего цвета? Может быть. Ведь с каких еще пор окрасились для нашего народа в синий три добра в мире — море, небо и Русь...

На солдатах были легкие поношенные шинели, а если что и грело их, так это пятиконечные звезды на коммунарках.

Дорога предстояла длинная, но медлить нельзя было: вдали умирала Армения — родина тех, кто шел в передних рядах. Не потому ли идущие впереди так спешили? Спешили, несмотря на мороз, метель и тонкие, потертые шинели.

Одиннадцатая Красная Армия вступала в Армению.

Какой это был день? Один из шагавших впереди вдруг вскинул вверх руку с большой картонной буквой.

— Что это за буква? — громко спросил он.

Те, кто услышал, подняли отяжелевшие от усталости головы. Буква была большая, окрашенная в темно-красный цвет. Ответа не последовало.

— Какая это буква? — снова выкрикнул солдат, подняв картон повыше.

Бойцы, на этот раз и в задних рядах, потянулись вверх. Картон был ясно виден в замерзших пальцах солдата. Но ведь большинство видели школу разве что во сне, и потому откликнулись всего несколько человек:

— Это буква а, айб.

— Кто грамотный, пусть выйдет вперед,— послышался голос.

Из рядов отделилось несколько человек.

Привал.

Шестеро собрались в кружок, а когда начался марш, они стали в первом ряду, хотя трое из них были низкорослые...

И армия двинулась вперед: вдали умирала Армения.

— Какая это буква? — кричал кто-то в первом ряду, подняв над головой картон.

— Б, бен,— слышался ответ опять из первого ряда, отвечали уже несколько человек.

— Какая буква? — снова спрашивал голос.

Теперь отвечали из разных рядов, подсказывая, переспрашивая друг у друга.

— Бен... бен... бен...

Дорога стала короче.

Буран? Ну какой это буран, так, легкий ветерок, он скоро перестанет, а шинели теплые, русские.

— Какая буква?

— Ша... ша... ша...

— Какая?

— Ра... ра... ра...

Так они и вступили в Армению: с винтовкой в руках, заучивая месроповский алфавит, и на тридцати тысячах километров камня, только перемешанного с землей, утвердили право своего народа на продолжение.

Быль это или легенда?

Кто тот безымянный солдат, что придумал в пургу и метель чудо с картонной азбукой? Не знаю. Я верю в легенды, завидую людям, которые могут придумывать легенды, а историю эту я услышал от одного из бойцов Одиннадцатой армии, выучившего азбуку на этом трудном переходе.

44

Вспоминаю монастырь Амараса. По преданию, Месроп Маштоц именно здесь открыл одну из первых армянских школ, наверное первую в Арцахе.

Монастырь обнесен оградой. Ограда цела, а деревянная дверь заперта, висит огромный замок. Внутри дровяной склад. (Первая школа — и вдруг дровяной склад, горестно думаю я. Ничего не поделаешь, такова жизнь...) К нам подходит мужчина лет пятидесяти. «Мосес придет, откроет»,— говорит он. Что за Мосес? И кто знает, где он... Мужчина прикладывает руку к уху, пронзительно и певуче кричит: «Мосес, э-эй, Мосес!» Никакого ответа. Он снова кричит: «Мо-сес, Мо-сес!» Я вдруг теряю ощущение времени, и мне кажется, что он зовет Мовсеса Хоренаци, который где-то там вдали, в травостое, заблудился на перекрестках армянской истории.

Потом я возвращаюсь в весну 1970 года и вижу, что монастырь Амараса окружен со всех сторон обезглавленными тутами. Впрочем, это не то слово. Просто обрубили ветви, обкорнали деревья, и на старых стволах выросли зеленые веточки. Будь я поэтом, я бы сказал, что эти туты совсем как путь, пройденный нашим народом. Нам часто обрубали ветви, но на старом стволе неизменно появлялись зеленые побеги.

А Мосеса все не было.

— Мосес, э-эй, Мосес, тут из района приехали, давай ключи от монастыря! — в последний раз нараспев кричит мужчина, потом, повернувшись к нам, заявляет: — Хотя вообще-то я и сам могу открыть...

Мы смеемся.

Он вынимает из кармана большие ключи и ступает за ограду.

Чуть погодя к нам присоединяется Мосес, веселый краснощекий сторож монастыря (а может, дровяного склада?).

Монастырь называется именем святого Григория, или Григориса. Сторож показывает могильную плиту, на которой можно разобрать: «Могильный камень святому Григорию, поставлен спарапетом Микаэлом Тер-Исраэлом Шушеци — в память о почивших родных. 1885 год, ноябрь».

Ничего не понимаю. Мосес оживленно рассказывает какое-то предание о монастыре и святом Григорисе, не то сыне, не то внуке Григория Просветителя. А мне слышатся шаги Месропа Маштоца. Монастырь безлюден. Во дворе слепяще желтое, словно с картин Ван-Гога, солнце. По высокой траве мы направляемся к старым, усталым лестницам, ведущим в сторожку Мосеса. Прежде здесь, наверное, жил настоятель. Каменные, неоштукатуренные стены «комнаты», доски стола и стульев почернели, глиняная и медная утварь и стаканы. Словно в этой келье много веков назад время совершило самоубийство.

Я смотрю на туфовые стены, осторожно сажусь на этот древний, древний стул, прошу воды, но кувшин пуст...

Пуст...

На дворе все то же сумасшедшее солнце, я бросаю последний взгляд на обрубленные туты, на монастырскую ограду, а вдали, за высокой травой, слышатся голоса детей. Из них непременно кто-то Мовсес Хоренаци. Должен стать им.

45

Развалины Колизея я видел и днем и вечером. И еще ночью, потому что итальянцы считают, что нет ничего чудеснее ночного Колизея.

«Ночью Колизей принадлежит только влюбленным»,— добавляют они. Амфитеатры освещены слабым,

мертвенным светом, сюда не проникает ошеломляющий неон Рима, только шум большого города врывается беспрепятственно. Он соткан из людских голосов и шума автомашин.

Сидя ночью на старом-престаром граните амфитеатра Колизея, я явственно видел внизу, на зеленом поле, поединок гладиаторов. Мне слышался восторженный рев толпы в честь победителя и дикие вопли, когда падал окровавленный гладиатор, кто — неважно, Гладиатор! Мой самый трагичный, самый отверженный и отчаявшийся друг, толпе все одно, победишь ты или умрешь, исторгая безумные вопли. Она в эти минуты лишь забывает о своих будничных заботах.

Нет, ночной Колизей не принадлежит влюбленным. Он принадлежит гладиаторам всех времен, чья кровь пролилась на эту зеленую траву, кто умер, унося с собой крики толпы, расплавленным свинцом заливающие им уши.

Я сидел ночью на холодном граните Колизея, видел зеленые и кроваво-красные тени гладиаторов, слышал рев толпы, записанный на ленты всех времен...

(...К чему я вспомнил Колизей, гладиаторов? Не знаю. Сегодня я снова листал «Историю Армении» Лео [1], и мир вдруг показался мне Колизеем, а трагические эпизоды нашей истории — поединком гладиаторов. То была кроваво-красная иллюзия, туман и страдание, а нашим далеким и близким предкам казалось, что мир поражается нашей безумной отваге, мученичеству и твердости духа. Между тем мы были самыми обыкновенными гладиаторами. Я закрываю книгу Лео, распахиваю окно, смотрю на улицу, и прошлое улетучивается, как туман, как болезнь мозга...)

Последней паре гладиаторов — не бывать.

46

«Здесь покоится прах кузнеца Овакима, сына кузнеца Аракела и отца кузнеца Геворка. Умер в 1851 году». Читаю эпитафию, потом нахожу могилы Аракела и Геворка.

...И я вижу не три могильные плиты, а самих кузнецов. Вот они идут по сельской улице. Впереди шагает

---

[1] Лео (1860—1932) — известный армянский историк.

дед, кузнец Аракел, сын и внук отстают на шаг — так положено. Я вижу их честные, спокойные лица и здороваюсь. «Добрый день»,— откликается кузнец Аракел. «Добрый, отец»,— говорят вместе сын и внук: у нас в селах принято дедов называть отцами. «Девушку присмотрел для Геворка, пора».— «Дело говоришь, отец»,— произносит Оваким. Геворк молча смотрит на чинару, высящуюся на деревенской площади, которую срубят через шестьдесят лет. «Ремеслу обучен, а там как бог даст».— «Тебе решать, отец». Геворк смотрит на улицу, по которой проезжают арбы, на сельчан, на виднеющуюся позади домов церковь Маринэ, а отец Маринэ Шахазизянц притащил сегодня в кузницу колесо чинить. Уж не о Маринэ ли говорит дед, только откуда он мог узнать?.. «Думаю кузницу расширить, на троих сделать. Что скажешь?» — «Да, надо»,— соглашается в уме Геворк, а Оваким произносит это вслух.

Так шагали по улице три кузнеца каждый день.

Потом их стало двое.

Потом много дней Геворк ходил по деревне один, не было у него ни сына, ни дочери. После него погас огонь в кузнице, и это случилось в 1888 году.

И с того времени они опять вместе: дед на шаг впереди, сын и внук идут следом. Так шагают они и будут идти вечно, если даже кладбище скроется под дорожным асфальтом, если даже могильные камни лягут мостами через ручьи или фундаментами под здания. Глядя на плиты, я представляю, с каким достоинством, спокойно и твердо проходят эти трое по деревне — кузнец, его сын и отец.

...Если вам когда-нибудь станет трудно, если небо с овчину покажется, поезжайте в наше село, отыщите могилы кузнецов.

47

Познакомился я с ним в Чикаго.

Это был красивый парень лет двадцати пяти, которого звали Севаном. Он не говорил по-армянски. Переводчиком служил отец. Мы беседовали, он задавал вопросы, я отвечал. И вдруг отец перестал переводить. Они заговорили между собой, сын что-то твердил с горячностью, отец возражал. Потом отец побледнел, и они снова крепко заспорили.

Тут, запинаясь, кое-как заговорила по-армянски мать (не умела или отвыкла). Оказывается, сын ничего не знал об Армении, нашей стране. Его сведения ограничивались тем, чему учили в американском колледже. Относился иронически ко всему, что было свято для меня и его отца. Отец повесил на стену цветной снимок Арарата, на журнальном столике были разложены сувениры из Армении: сигареты, книга, початая бутылка коньяку,— а сын твердил свое: «То твоя Армения, а я американец». Родился он в Бейруте, в Америке всего пять лет, но уже считает себя американцем. Потрясенный отец смотрел на меня. «Я не знал, я думал... Он впервые говорит так. Боже мой, неужели все это было напрасно? И где же — в моей семье! Я уеду из этой страны». Сын, красивый, стройный юноша, хочет казаться американцем больше, чем любой американец, ибо знает, что он все-таки не американец. А отец, прибивший к стене цветное фото, до сего дня был в полной уверенности: его сын растет армянином. Сын, которого зовут Севаном.

Вспоминаю признание другого молодого армянина из Америки на страницах бейрутского еженедельника «Наири». «Конечно, мои родители армяне,— заявил этот парень корреспонденту газеты,— и я тоже по происхождению армянин. Но это последнее просто физиологическая случайность. Считаю лишней тратой времени ломать голову над тем, из какой страны приехал сюда мой отец и что там происходило. Я здесь родился, и я американец. Если в случае войны мне, летчику, прикажут бомбить Ереван, я без колебаний выполню приказ...»

Сколько раз еще сходить с ума Комитасу!..

48

Сколько раз еще сходить с ума Комитасу...

Мысль эта впервые возникла у меня несколько лет назад, в осенний день 1965 года, когда я сидел возле его могилы. В то утро я встретил в ереванском банке армянина, который, прожив в Армении два года, решил вернуться в Турцию. «Сыты по горло вашей страной»,— бросил мне в лицо этот человек, который сейчас, наверное, подает ароматный чай в какой-нибудь чайной Стамбула...

Я вновь у Комитаса. Не хочу рассказывать ему о парне из Америки, готовом бомбить Ереван. И письмо из Бейрута тоже не хотелось бы ему читать. Пишет Жирайр

Даниелян, библиотекарь армянского колледжа. «Я листал ваши «Армянские эскизы». Проглатывал страницу за страницей, и невыразимое, смутное чувство тревожило меня... Вдруг заметил в библиотеке красивую девушку лет восемнадцати. Я видел ее впервые. Подошел. Семья их здесь проездом из Армении. Едут навсегда в Америку... Говорить мне больше не хотелось, горько улыбаясь, я вернулся в свой кабинет продолжить чтение «Армянских эскизов». Случайное совпадение? Не знаю. Но это не выдумка, выдумывать истории я не мастер».

Нет, рассказывать об этом Комитасу не хочется.

Лучше поведать о двух других девушках. Одной семнадцать, другой пятнадцать. Отец против их желания увез дочерей в Аргентину. Наверное, привиделись золотые сны про дальние берега. Но девушки вернулись обратно. Им удалось уговорить отца отпустить их в Армению как туристок. А здесь они твердо заявили: «У нас нет другой родины». Эти хрупкие создания едва не стали причиной дипломатического конфликта. Их уговаривали вернуться или постараться получить согласие отца и визу. Но девушки проявили твердость духа, даже объявили недельную голодовку. Без разрешения, без документов вернулись они в свой бывший класс. Младшая заперлась у дяди в подвале и заявила: «Я остаюсь здесь. Буэнос-Айрес не моя родина».

...И они победили.

Об этих девочках я рассказываю Комитасу, и еще о лорийце Аршаке Панояне, о Сурене Абегяне и о тех, кого встретил на безумных дорогах Америки. Жизнь этих людей еще раз доказывает, что все современные блага — автомашина, холодильник, кондишен и тому подобное — не делают человека счастливым, если у него нет основного. И выдумывает он в рамках стандартного американского счастья свою Армению. Кто-то показал мне свою комнату: одна стена изображала Арарат, другая — Звартноц, третья — Ереван, и это были не картины, нет, а встроенные в стены макеты, изготовленные хозяином за несколько лет. Еще он собрал книги, картины, спички, бутылки из-под коньяка, платки... «Когда очень уж невмоготу, запираюсь здесь, задергиваю занавески, чтобы не видеть Америки... и «уезжаю» в Армению».

Верю, настанет день, когда для того, чтобы попасть в Армению, ему достаточно будет поднять занавеску, потому что... окна дома будут смотреть на Арагац.

Говорю с Комитасом, и мне кажется, будто медный взгляд статуи наполняется улыбкой, одушевляется. В Париже в 1968 году я отказался посетить психиатрическую клинику, в которой остались десять непрожитых лет Комитаса. Неправда, Комитас не сошел с ума! Я вдруг вижу его в селе Ашнак в яростном сасунском плясе, в руках платок, лицо просветленное, струйки пота стекают со лба.

49

Человек в среднем живет каких-нибудь полмиллиона часов, а посаженное им дерево — тысячу лет: ведь за ним могут ухаживать следующие поколения людей. А человеку суждено умереть... самое большее через полмиллиона часов.

К чему я веду?

Вспоминаю гигантский дуб в селе Нижний Агдан, посаженный, по преданию, полководцем Варданом Мамиконяном. Дубу, выходит, по крайней мере тысяча пятьсот лет. По другой версии, Вардан под этим деревом отдыхал, а значит, дуб того старше. Как бы то ни было, но даже ученые полагают, что дубу самое меньшее тысяча лет. Из-под корней его выбиваются целебные холодные роднички. С годами вода размыла корни: дерево словно стоит на подпорках. Оно напоминает мне Эйфелеву башню, но только своими опорами, между которыми гуляет ветер. Хоть почву и размыло, но корни сохранили на мощных своих плечах дерево. С годами просветы между корнями все ширились, и сейчас там свободно умещается человек десять — двенадцать. Когда прошлой весной я увидел дерево, под ним стояли двадцать — тридцать овец. (По преданию, в старину перед уходом на войну парни приходили сюда напиться воды и водили саблями по стволу. Да и сейчас у призывников обычай собираться под деревом.) Попросив прощения у овец, я проникаю в дупло. Оказывается, дерево изнутри обгорело. Огромное обуглившееся пространство представляется мне не то гротом, не то куполом Гегардского монастыря.

Дерево считается священным: его ствол облеплен горящими свечами и огарками. Есть они и внутри. Полагают, что в какой-то из дней горящих свечей оказалось

слишком много и перед уходом их забыли потушить, а ночью постепенно занялся огонь.

По второй версии, неподалеку был пикник. Когда пошел дождь, люди укрылись в дупле и перенесли туда свой костер. Сидели, наверное, довольные, в тепле и сухости, выпили за дерево, за наш народ, а потом начался пожар.

А когда начался...

— Мы позвонили в райцентр, в пожарную охрану,— рассказывали мне,— нас просто на смех подняли: столько, говорят, шуму из-за какого-то дерева, в лесу их сколько угодно. Так и не приехали тушить.

А дерево горело.

Тогда высыпали из домов жители деревни, вышли из автомашин пассажиры. И началась необычная борьба с огнем за жизнь дуба. Дерево спасли. Но во чреве его осталась черная, обугленная рана. Боль этой раны я хотел бы передать всем. К стенам древних памятников мы прибиваем дощечки: «Находится под охраной государства». Реконструируем полуразрушенные храмы и крепости, эту каменную память нашего народа. А разве дуб Вардана не тот же исторический памятник? Хотел было я задать этот вопрос руководителю хозяйства Нижнего Агдана Гамиду Айвазяну, но потом подумалось: а почему только ему?

Человек живет какие-то полмиллиона часов. Дуб этот живет много миллиардов часов, и столько же времени живет в народе человек, который, если верить преданию, тысячу пятьсот лет назад посадил тонкий дубовый росток...

Я призываю бороться за жизнь чудо-дуба, охранять дерево... от нас самих. А также от нашей любви. От любви подчас тоже вспыхивают пожары.

50

Я писал о дереве, а мысли мои все время вертелись вокруг простого человека — Аветиса Едигаряна. Он хоть и односельчанин Казара Парбеци [1], но книг не писал.

В тяжелые дни войны, ранней весной 1943 года, посадил он на пяти гектарах Касахского ущелья сад. До этого там плодовые деревья не росли. На фронте решались судьбы мира, людям доставляла страдание мысль о каждом последующем часе, а он в безлюдном ущелье делал, что мог — сажал деревья. Следующей весной, когда зябко дрожащие ветки светло-зелеными телеграммами возвестили о своем существовании, страна уже отогнала от своих границ коричневую чуму. И с тех самых пор Еди-

[1] Казар Парбеци — армянский историк V века.

гаряна прозвали Патриархом Ущелья. Четыре года назад он отыскал среди сельских земель пустошь в четыре гектара и вновь преобразил ее в сад, посадив шестьсот яблоневых и грушевых деревьев. И снова принес в дар селу.

Сад не книга хотя бы по той же истории армянского народа, на коленкоровом переплете которой золотыми буквами оттиснута фамилия автора, поэтому о Патриархе Ущелья я думал с глубочайшим благоговением и одновременно с глубочайшей грустью. Но ведь сад — та же история народа. Свидетельство этому дуб полководца Вардана, который пусть даже с обугленным нутром, но, я верю, будет жить еще много миллионов часов...

Еще я думаю о той поразительной преданности, с которой относятся к земле, к каменистой пустоши люди, подобные Патриарху Ущелья. К сожалению, даже на ожившей земле нельзя начертать фамилию человека, вдохнувшего в нее жизнь, но разве шестьсот яблонь не увековечат его имя и не передадут его из поколения в поколение?

51

...И старик, который сказал, что пришел на могилу отца, пробормотал:

— Почему бы вам не срыть основание Масиса? Вам-то нужна только вершина.

Я перед тем сетовал на то, что у нас бытует много устаревших обычаев: поминки, семь дней, сороковины...

— Собираются потому, что принято. Есть такие, что имени покойника не знают, но тоже приходят... Сидят подолгу, едят, пьют.

— А какая высота у Масиса?

— Пять тысяч метров. Был я как-то на поминках, под конец там стали уж пить за здравие, а кто-то даже сказал, что рыба, мол, с душком...

— Сколько квадратных метров будет поверхность вершины Масиса? То есть Большого Масиса. На глаз.

— Не знаю. По-моему, у других народов лучше: звонишь куда следует, приезжают в закрытой машине и увозят. Гроб и цветы сами доставляют, родных не больше пяти-шести человек. А возьми нас — после похорон родня

целый час стоит на ногах, пожимая руки всем, кто к ним подойдет. С ума сойти! Скажем, вершина Масиса будет примерно тысячу пятьсот — шестьсот квадратных метров, два гектара. Ну и что?

— А основание, сколько квадратных километров занимает основание, не знаешь? Допустим, снесут Масис, сколько высвободится земли?

— Не знаю, наверное, в тысячу раз больше вершины.

— Скажем, в пятьсот раз. Вот и снесите часть основания и склоны, оставьте только вершину, ведь вам нужна вершина, не так ли?

— А зачем?

— А вот и затем... Как же иначе и встретиться нам всем? Разбежались по белу свету, каждый живет на своей улице, сам по себе. Я спрашиваю: когда нам встретиться, узнать друг друга? Вот и встречаемся во время похорон или сороковин, беседуем, знакомимся.

— При чем тут Масис?

— Ни при чем, если не понял.

— А? — Я взглянул на гору, которая не была видна за дымкой, потом на наши родовые могилы, которые были видны: дед, которого я не видел, прадед и прабабка, которых тем более не видел, отец, которого потерял в шесть лет, брат, сестра...

— Можно снести основание горы, а под вершину подвести бетонные столбы. И не дорого обойдется, да еще видна другая сторона Масиса.

Сейчас не видна была даже эта сторона. Она терялась в тумане.

— Народ и хранит эти самые обычаи, что не нравятся тебе. Не говорю, будто те, кто не придерживается обычаев, плохи. Плохих народов не бывает. У кого нет традиций, есть что-нибудь другое, что их поддерживает. Наши обычаи не повредили нам. Собираемся вместе, ближе узнаем друг друга. Что здесь плохого?

Мглисто, но я знаю: Масис там, рассеется мгла, и я увижу его. Вот надгробие прадеда, это тоже мгла, каменная, и она не рассеется никогда. Но знаю — прадед лежит там. Вспоминаю наши бесконечные тосты, во время которых зеваю в ладонь — тайком или откровенно, тем более что сам не умею произносить тосты. Приходит на память один случай. Однажды в Америке я ощутил ост-

рую тоску, прямо-таки голод по тостам. За несколько дней я уже устал оттого, что ел и пил молча. Мы были в гостях у одного американца в Чикаго. Звали его Дональд Подшильд (по происхождению он был норвежец, о чем вспомнил после пятого бокала). Американцам нравится ужинать при свечах: гасят электричество и возле каждого прибора зажигают свечу. Ели и пили мы, как глухонемые, молча. Мне стало не по себе — ни еда, ни выпивка не шли впрок. Я заявил переводчику, что хочу быть тамадой,— американцы улыбнулись — о'кей («о'кей» у них на кончике языка. Даже в ответ на ругань можно услышать «о'кей», потом уже получить по физиономии). И вот я устроил в Чикаго восточно-кавказско-армянский кутеж. Вначале, как водится, выпил за здоровье родителей, потом, чтобы не усомнились, что я джентльмен, поднял на ноги мужчин и предложил тост за дам и по очереди за всех присутствующих, за детей, за очаг... Я поднимал бокал, произносил тост. Мало того — заставлял и их говорить. Вначале американцев это удивило, потом они стали прислушиваться — я был их гостем,— а под конец они сами рвались предлагать тосты.

К концу обеда все были оживлены, кроме хозяина — ведь мы у него все выпили и съели. (Я шучу, он вспомнил, что норвежец по крови, взгрустнул, присмирел и даже пытался спеть старинную норвежскую песню. «Вдруг вспомнил»,— объяснил он.)

Я подумал, что один из двух армян — это всегда неудавшийся поэт, что каждый армянин — философ, а половина всех армян — министры иностранных дел. У нас не было кафедры, чтобы выступать, не было министерских портфелей, не было письменного стола, чтобы писать стихи... лишь стол для хлеба и вина. Потому каждому хочется показать себя в застолье: вот какой он поэт, философ или министр... Отсюда и любовь к тостам. Так по крайней мере дело представляется мне. Как-нибудь, если даст бог, поумнею, напишу гимн во славу тоста

(«Сройте основание Масиса, ведь видна только вершина. Только она и нужна, верно?»)

Когда мы уезжали из Чикаго, в аэропорту Дональд попросил: «Пришли несколько тостов на английском языке». В Ереване я попытался записать пару тостов, да ничего не вышло.

52

Однажды, листая новогодний календарь, я случайно обратил внимание на то, что Аварайрское и Сардарапатское сражения произошли в один и тот же день — 25 мая. Правда, с разницей в пятнадцать веков — первое в 451 году, второе в 1918-м.

53

На столе у меня лежит большая коричневая книга, на ее обложке бронзовым тиснением крупно выведено: «Сасуник». Листаю страницы машинописи. Наверху первой страницы приклеена фотография юноши. Под ней две даты: 1921—1941.

Читаю предисловие. В книге история юноши Сасуника, написанная его отцом Сираканом. «Издать» ее Сиракан не успел, это было сделано в 1969 году, уже после его смерти. Напечатали книгу всего в девяти экземплярах. Сасуник был единственным сыном. Все это я узнаю с первых же страниц, удивляюсь, сострадаю, продолжаю читать...

Книг в своей жизни повидал много, и старых и новых, но эта была проста и первозданна, как вода, как кровь из порезанного пальца, как хлеб... В ней восемь частей. В предисловии сказано: «Сасуник погиб в двадцать лет... Он прожил недолгую, но глубокую и содержательную жизнь. Эта книга воспоминаний будет продолжать говорить его языком...» Во второй части приводятся школьные стихи Сасуника, робкие, неумелые строки, овеянные горячим дыханием бурных деяний тридцатых годов. В строго хронологическом порядке следуют копии документов из университетского дела. Автобиография: «Комсомолец с 1938 года. Взысканий не имею. Семья состоит из шести человек, работает только отец». Выписка из университетского приказа: «...Студенту четвертого курса геологического отделения геолого-географического факультета Сасунику Григоряну предоставить годичный академический отпуск в связи с призывом в армию с 26 ноября 1941 года...» (Академический отпуск... Уж очень он затянулся.) Фотографии — школьные, студенческие. Под ними наивные, как плач, подписи: «Дом Абаджяна Арама в Молла-Гечке (ныне село Маралик), в котором родился Сасуник», «Сасуник в возрасте шести лет», «Школа, где в 1932—1935 гг. учился Сасуник». Фо-

токопия с его последнего письма... Все как в настоящих книгах, в биографиях великих людей... В третьем разделе дневники студенческих лет. «Мы вместе отыскали в саду Гукасяна хорошее, удобное место, мечту всех парочек. Скамейка расположена напротив публичной библиотеки...» Переписка студенческих лет. «...Дорогой отец, следующая проблема — пальто. Уж очень коротко стало, да и здорово поношено... Но, может, обойдусь еще год?.. Все, папа, с требованиями кончено. Носков и полотенца нет, но ничего». Письма с фронта: «...Итак, дорогие родители, ничего в Ереване я не оставил, кроме трех месяцев, коими завершились бы усилия четырнадцати лет. Но и это будет только после победы» (через три месяца он кончал университет). Несколько писем с дороги и, наконец, последнее: «Дорогие родители, еду на фронт, в Севастополь... Обо мне не беспокойтесь, буду воевать до последнего вздоха во имя родины, вашей свободы и свободы моей маленькой сестрички... Прошедшие двадцать лет кажутся сном, каждую минуту вспоминаю только наш дом... Пишу пока из Поти, а сегодня уезжаем вечерним пароходом. 9 декабря 1941 года». А 23 декабря в Армению прибыла телеграмма: «Отец, лежу в госпитале, срочно выезжай в Сочи».

Отец с матерью 9 января 1942 года добираются до Сочи, но того самого 23 декабря их сына уже не стало. Описание этого горестного путешествия потрясает. Отец просит разрешить увезти прах своего единственного сына в Армению, чтоб там предать родной земле. Перед огромным человеческим горем колеблется даже жестокая логика военных дней, хотя... «В Сочи вызвал меня какой-то майор и сказал: «Папаша, надо ли перевозить? Земля ведь и здесь советская. Мы сделали для него все. Раны были тяжелые. Медицина многое может, но...» И все же майор разрешил. Дал и машину и деньги, позвонил куда следует, попросил оказывать помощь. Так они вдвоем, отец с матерью, довезли прах сына через ужас войны... до Сухуми. Дальше, увы, стало невозможно продолжить путь. И пришлось им там захоронить сына, но спустя два года отец поехал в Сухуми, и они вернулись «вдвоем»...

...Сейчас Сасуник покоится в родной деревне.

Здесь бы мне и окончить эту историю. Остается только добавить, что, спасаясь в 1915 году от османского ятагана, отец Сасуника вместе с четырьмя дочерьми пере-

плыл Ахурян и обосновался в Шираке. Невообразимо обрадовался он последнему ребенку — сыну...

Вот какая это удивительная книга. В шестидесятых годах скончались отец и мать. Теперь на кладбище в родной деревне они навеки с сыном.

Что еще?

Ежегодно 26 февраля по завещанию Сиракана в доме его празднуют день рождения Сасуника. Собирается все семейство: сестры и зятья Сасуника, их дети, уже женатые, внуки. Приходят школьные и университетские друзья и даже робкая любовь его студенческих лет, у которой теперь уже внуки. Говорят о Сасунике, снова и снова, кто знает, в какой раз, листают страницы этой удивительной книги, пьют за него — Сасунику сейчас было бы пятьдесят.

...Я закрываю книгу, задумываюсь. О сыне. И особенно об отце. Если бы все слова обрели свой первоначальный смысл, я бы назвал любовь отца мученичеством. Так любить сына при жизни, а особенно после смерти его — это страдание; впрочем, слова старые, оставим их лучше в покое...

Мечтать о сыне, вырастить из него человека, а потом двадцать дней везти гроб, двадцать дней смотреть на его восковое лицо — такое может только настоящий мужчина. Так тяжко пережить утрату и через два года вернуться за прахом, чтобы увезти его на родину,— это на грани невозможного. Долгие годы собирать реликвии — простые, бесхитростные бумаги, снимки, отдельные вещи, письма, показывать все это людям, вплоть до самого Аветика Исаакяна, которого отец просил хоть что-нибудь написать о его сыне. И, умирая, с последним вздохом завещать потомкам хранить память о сыне!.. Не завещать, а повелеть, как вынести приговор, не подлежащий обжалованию.

Снимите шапки перед Отцом.

54

Белокурая девушка за соседним столиком повернулась ко мне.

— Простите,— сказала она,— этот господин интересуется, кто вы по национальности.

Официант, уже обслужив их, подошел к нам. Рядом с девушкой сидели двое мужчин — пожилой и лет двадцати.

— Это отец с сыном,— продолжала девушка и, не дожидаясь моего ответа, добавила: — Отец считает, что вы грузин.

— Нет,— покачал я головой,— армянин.

Девушка перевела. Старик положил вилку, посмотрел на меня. Я не прикоснулся к своей вилке, мы посмотрели друг на друга. Старик что-то сказал девушке.

— Он очень рад,— перевела она,— завтра они возвращаются на родину, в Стамбул, он говорит, что там много армян и что если у вас есть кто-нибудь в Стамбуле, он с радостью передаст письмо или посылочку...

Старик говорил, девушка переводила одним духом, без знаков препинания, а он смотрел в это время на меня спокойно и добро.

— ...Господин говорит: может, ваши живут не в Стамбуле, а в другом городе, он и в этом случае готов разыскать их. Есть у вас кто-нибудь в Турции?..

— Были...

Девушка переводит, и я вижу, как старик оживляется.

— Были. И в Стамбуле тоже много было родных и близких, но все умерли.

Подвижное лицо переводчицы омрачается, и мои последние слова она переводит на турецкий уже медленно. Старик, я чувствую, тоже делается задумчивым.

— Все умерли?

— Да, в тысяча девятьсот пятнадцатом. В апреле...

Девушка переводит. Старик все мрачнеет. Смотрит на меня пристально. Глаза у него голубые, слегка мутноватые. Потом говорит что-то, и девушка переводит:

— Он глубоко сожалеет о случившемся...

Я закуриваю. Переводчица и молодой человек занялись едой и оживленно переговариваются, а старик так ни к чему и не притрагивается. Мы оба курим, иногда взглядываем друг на друга. Я кладу на стол деньги за несъеденный обед и выхожу. На улице теплое московское солнце, и не хочется вспоминать ни о чем.

55

Нет, я вспоминаю. Вспоминаю ванского армянина из Франции, который спустя пятьдесят лет после тех событий побывал в Ване. Поехали они туда вчетвером, под видом французов. «Я отыскал наш дом,— рассказывал

он,— увидел все ту же речушку, в которой любил купаться. Попросил напиться, надеясь, что меня пригласят в дом. Я выпил несколько стаканов воды, стараясь подольше там задержаться,— ведь нашему гиду не следовало знать, что мы не французы. Но все-таки я готов был убить себя за то, что приехал сюда развеять по ветру старый пепел... Мы сидели на берегу Ванского озера, напротив высилась все та же гора Сипан. Было холодно, но Торос сказал: «Не искупаться ли нам, Анушаван?» Наш гид поразился: «Простудитесь». Мы вошли в холодную воду. Дрожащие, мокрые, заплакали. В воде слез не видно...»

56

Две тысячи лет каждое воскресенье кузнецы сковывают цепи царя Артавазда. Артавазд заточен в одной из глубоких пещер горы Арарат. Верные псы разгрызают его цепи. Железо готово поддаться и упасть к ногам царя, но армянские кузнецы начеку — они без конца сковывают цепи. Что же совершил двухтысячелетний узник? Песни и легенды на этот счет записал Мовсес Хоренаци.

...Умирал Арташес, отец Артавазда, и с ним умирала вся страна. Никто и помыслить не смел, что жизнь продолжится, что утром взойдет солнце, расцветут и увянут цветы, будут рождения и смерти, свадьбы и необъезженные кони, которые умчатся в вольные просторы,— так учил их при жизни царь. И вот он скончался, и настала пора держать испытание. Вслед за ним ушло много народу, люди рыли ямы возле его могилы, рвали на себе волосы, рушили дома и мосты: зачем было жить после царя? Царевич Артавазд воскликнул с горечью и удивлением: «Ты ушел и уводишь с собой страну, как же мне царствовать на руинах?»

...Услышал это мертвый царь и проклял сына: «Если будешь на охоте, да сомкнутся над тобой своды темной пещеры Арарата, чтобы никогда не увидел ты солнечного света». В своем безумии толпа присоединилась к царскому проклятью: ведь Артавазд пекся и о ней, не зная, что толпа поклоняется попирающей ее стопе.

Толпа похожа на ковер, чей узор проступает яснее тогда, когда его топчут. Люди присоединились к мертвому царю и прокляли того, кто был безумен — даже для легенды.

...И едва пошел Артавазд на охоту, рухнул в ущелье и стал узником горы. А кузнецы так по сей день и куют те цепи. И мне слышатся удары молота, я задумываюсь о несчастном царе, который хотел править не могилами, а людьми, первый в легенде нашей истории отказался от чувствительного бреда во имя здоровой и целостной страны. Безумец, зачем тебе это было нужно? Правил бы, попирая толпу-ковер, как твой отец Арташес, взял бы с собой на тот свет оставшуюся после отца половину народа, и уж наверняка нашелся бы слепой певец, который поведал бы потомкам, каким ты был великим царем и как любил тебя народ. А вместо этого ты думал о своей стране... И вот воздаяние: две тысячи лет куют кузнецы твои цепи и, наверное, долго еще будут ковать.

...Заколдованный царь словно бы говорит мне: «Пробьет час, и вызволят меня люди из чрева свободного Масиса». Когда это будет? Кто знает? Мгер ведь тоже был заперт в пещере и вышел оттуда. Сказано: «Когда зерно станет величиной с орех». Когда же станет зерно величиной с орех для царя Артавазда? Кто знает.

А пока:

Бейте, кузнецы,
молотом по наковальне,
Крепите цепи проклятого царя....

57

Картина, написанная маслом, показалась мне знакомой, я задержал на ней взгляд.

— Нравится? Еще не разрушен, хотя говорят, вы уже новый построили.

— Что «не разрушен»?

— Мост. Старый мост у нашего села. Хорошо его помню.

Я посмотрел на картину внимательнее. Что-то показалось знакомым.

— Дальше был Петушиный камень. Там все еще купаются?

— У Петушиного камня? Не знаю, наверное, купаются, я ведь двадцать лет как переехал в Ереван.

Я продолжаю рассматривать картину.

— Не похоже?

— На что?

— На старый мост. Хотя конечно же прошло столько времени...

Все мне теперь стало ясно, а он улыбается. Он мой односельчанин, выговор у него одновременно аштаракский, западноармянский, американский. Встреча наша происходит в Сан-Франциско, а картина висит у него в комнате.

— Нравится? Американец писал за пятьдесят долларов по моему описанию. Я рассказывал, а он рисовал. И задавал нелепые вопросы: «Какого цвета у вас деревья, воздух, вода?» Хороша картина, а?

Я смотрю на картину, якобы изображающую старый мост в нашей деревне, перевожу взгляд на аштаракца Мкртича, ныне сан-францискца Майкла, и мне становится грустно. На картине все изображено в точности, как на военной карте, видна часовня святого Саргиса, очертания моста тоже правильные, я даже вижу стены нашей мельницы, и все же это не то.

Задаю себе вопрос: как можно описать иностранцу цвет своей реки, камня, воздуха? Как можно описать вообще воздух? Чудак! Я вдруг делаю открытие: родина — это то, что нельзя рассказать другому. Ее воздух не простое соединение кислорода, азота и углерода; дерево, растущее на родине, не просто зеленого цвета. «Я рассказывал, он рисовал...» Бедный, наивный аштаракский донкихот! Как может художник, пусть даже талантливый, передать твои слезы, услышать биение сердца в ту минуту, когда ты с закрытыми глазами вспоминаешь наш старый мост? Он просто нарисовал мост, один из миллионов в мире мостов, в то время как ты описывал родину... А что же ему оставалось делать?

И ты веришь, что на картине добрый старый мост нашей деревни, который так хорошо сохранился в твоей памяти, несмотря на тридцать лет жизни на чужбине?

Мне вспоминается другой армянский донкихот — Альберт Налбандян, его я тоже встретил в Сан-Франциско. У него было два небольших цветочных ларька, он в полночь повел меня к себе домой. На стенах — сплошные картины и рисунки. Шкафы и стулья завалены книгами на армянском языке. Заработанное от продажи цветов шло на покупку всего этого. У него не было семьи, вообще никого. Эти редкие книги, рукописи и рисунки он собирал с одной мечтой — отослать их когда-нибудь в Армению. Он путешествовал по городам и не пропускал

ни одного аукциона по продаже старинных книг или картин и, увидев ценную вещь, покупал ее, если хватало денег, вырученных от продажи цветов. Пусть же кто-нибудь попробует портретировать Альберта Налбандяна, да так, чтобы я почувствовал его подспудную тоску по родине. Уверен, что получится всего лишь портрет смуглолицего худого мужчины.

Армения, всем своим детям ты раздаешь поровну из того, что имеешь, а это еще и слезы и тоска. И каждый из них должен хранить в душе все полученное от тебя наследство, в том числе слезы и тоску, которые ни один банк не примет.

Но нет. Хочу еще рассказать историю об одиннадцатилетнем мальчике. Дело опять было в Америке. Мы сидели в нью-йоркском ресторане «Арарат», там я ее и услышал. Мальчик в числе двухсот двадцати семи юных туристов-армян прибыл прошлым летом в Армению и привез с собой пять больших пачек американской жевательной резинки. И вот он в Цахкадзоре, среди своих сверстников. Мальчик в первый же день открыл продажу жевательной резинки. А потом? Думаете, он купил в Ереване подарок своей матери? Не тут-то было. Вырученные рубли в московской таможне были обменены на доллары. Ну, и потом? Может, вы думаете, добравшись до Америки, мальчик купил велосипед или игрушки для маленькой сестрички? Нет, нет! На свои деньги мальчик приобрел акции какой-то компании. Рассказчик говорил о ребенке с гордостью («Вырастет — станет армянским Фордом»). Он не понял, почему я вдруг замолчал и не притронулся больше к еде.

И внезапно я понял, как это бывает, когда человек теряет отечество. Этот мальчик, который, может, и станет Фордом, никогда не повесит на стену картину, где изображена родина его отцов, нарисованная хотя бы по описанию. Он съездит туда как в очередную страну, в качестве туриста либо по торговым делам. Не ощутит тоски, не купит на аукционе армянских книг. И вовсе не потому, что вырастет скупым, пожалеет деньги... Квартира его никогда не будет для него очагом, и не поймет он, что воздух родины — это не простое соединение кислорода, азота и углерода.

Армения...

Вот уже несколько лет на тонкие нити этих «Эскизов» я нанизываю не пестрые бусы, а свои радости, надежды

и слезы. Слезы не только мои, а моих далеких и близких предков. Я тоже унаследовал все, что имеешь ты, моя Армения, в том числе и твои невыплаканные слезы. Свою долю слез я сгущаю, бальзамирую в сердце, которое принадлежит также и тебе, от первого удара до последнего. Твои слезы в моей крови, в крови моих детей и будут в крови моих внуков. Все это прекрасно, но от слез образуются разве что озера, да и то лишь в сказках, а твою сказку, мой народ, ежедневно вот уже пятьдесят лет складываем мы, твои сыновья,— красными кирпичами наших надежд и чаяний.

58

Сюда я пришел с опозданием в тысячу лет, а может, и больше. Приди я тысячу или хотя бы пятнадцать лет назад, эти пещеры были бы жилыми домами, во дворах звенели бы детские голоса, из тониров тянуло бы запахом свежеиспеченного хлеба, а река не была бы звучащим ни для кого органом.

Я опоздал.

И только пустые глазницы пещер уставились на меня теперь, улицы и дворы поросли высокой травой. На камнях греются ящерицы. Грустно. Мне довелось видеть разрушенные села, города. Год назад я в такой же день шагал по улицам Помпеи.

Вхожу в открытую дверь церкви. Внутри солнечно, в луче света безумствуют мириады микробов, словно воздух под микроскопом. На гладких каменных плитах разлеглись на соломе телята, на стенах имена, даты, написанные масляной краской, акварелью, карандашом, углем... Ветер поднимает пыль, тонкую, как моя грусть, а церковные колокола никогда больше не зазвучат — никогда!

Я выхожу, отыскиваю могилу Мхитара Спарапета [1]. Если верить истории, под этим камнем покоится лишь тело полководца, ибо голову унесли враги. Ложусь на пожелтевшую траву, упираюсь спиной в могильную плиту Мхитара. Камень теплый, солнце доброе, как бабуш-

---

[1] Мхитар Спарапет — деятель армянского национально-освободительного движения XVIII века, поборник присоединения Армении к России; спарапет — полководец.

ка. Меня разморило. Река течет мягко, робко, в воздухе вакханалия насекомых. А муравьи... Ладно уж, пусть тянут сегодня по мне свои вечные грузы.

Несколько лет назад, кажется, именно на этом кладбище обнаружили чуть ли не самый древний хачкар Хндзореска. 544 год значится на нем. Выходит, селу около пятнадцати веков.

Лет пятнадцать назад село выбралось из пещер, покинуло ущелье. И построили вверху Новый Хндзореск. Я вхожу в эти заброшенные дома-пещеры. Вот одна, так сказать, трехкомнатная пещера. Брожу по пустынным каменным пещерам-комнатам, прислушиваюсь к глухим стонам собственных шагов. Тонир завален землей, ниши, высеченные в скале, пусты — здесь хранились постели,— объясняют мне. В глубине комната новобрачных, а в этой нише чадила масляная лампада да еще свечи — камни закапаны воском. Я ощупываю камни, есть что-то живое в их податливости — воск еще жив. В середине самой большой комнаты построен тонир, вокруг него сидели на курси [1].

Перед пещерами кое-где имеются небольшие площадки, где собирались хндзорескцы в свои тревожные и радостные дни, где играли дети. Мне рассказывают, что село было поделено на несколько гаваров-кварталов. В каждом гаваре был свой родник. Родники еще продолжают струиться, но воду из них пьют телята, овцы и такие, как я, пришельцы, опоздавшие на тысячу лет. Мне рассказывают: деревня имела глашатая, он становился вот здесь (показывают — где), зажимал ладонями уши и выкликал: «Э-эй, люди, из Тифлиса прибыл чиновник, собирайтесь во дворе церкви! Э-эй, во дворе церкви!» В наши дни это звучало бы примерно так: «Э-эй, народ! Председатель зовет в правление, из центра прибыли писатели, хотят с вами побеседовать!» Сначала голос проникал в ближайшую пещеру, оттуда, помедлив, в следующую и так далее... Под конец глашатай склонялся над родником утолить жажду, а его голос продолжал переходить из пещеры в пещеру. Хотелось бы мне услышать этот голос. Но он, увы, давно замолк. Из какой пещеры он прозвучал в последний раз? Не знаю.

---

[1] Курси — небольшая тахта над тониром.

Наверху, над пропастью, в нескольких домах блестят стекла, пестреют на веревках тряпки, лежат на камнях полосатые матрацы. Жаркий, солнечный день — радость для зангезурской хозяйки. Я смотрю вверх, в темный зев ближайшей пещеры, потом растягиваюсь на гладком полу и закрываю глаза... Дремлю, в голове звенит, как в улье.

Что мне надо от тебя, Хндзореск?

Уж не того ли, чтобы твои сыновья прозябали в этих пещерах еще тысячу лет? Нет. Пещеры — находка для поэта, но не для беременных женщин, они — двухдневная экзотика для усталого горожанина и ежедневное мучение для твоих сыновей. Я сейчас поднимусь наверх, в Новый Хндзореск с добротными каменными домами, и порадуюсь твоей спасенной биографии. В Хндзореске будет меня потчевать стодевятилетний дядя Тевос, который оживит события столетней давности, словно гончар, вдыхающий жизнь в мертвую глину, словно человек, выбивающий из ковра пыль и показывающий миру его чудесный узор. На вопрос, когда в последний раз ремонтировалась церковь, он мне ответит: «Церковь? Вроде недавно». Дядя Тевос может расшифровать удивительные названия всех окрестных полей и утесов. «Почему Царское поле?» — спрошу я. «По этому полю,— ответит он,— любил прогуливаться царь, потому что с него виден весь мир».

Мир в самом деле виден, ведь для каждого мир — тот его отрезок, который видит он.

Снова хожу по пещерам, и пусть простят мне твои сыновья, Хндзореск, думаю обо всем с горечью. Когда пятнадцать лет назад было принято решение перенести село из пещер наверх, началась гибель старого Хндзореска. Были сорваны и увезены двери, окна, каменные ступени, дома, конечно, разграбили — благо было что грабить. Хндзореск превратился в развалины. Ради пары подгнивших бревен разобрали крышу, ради нескольких тесаных камней — арку. «Нам обещали денежную помощь...— поясняют мне.— Вот мы сгоряча и разобрали дома, хотя многое не пригодилось».

Никто не подумал, что в ущелье остались тени их предков (надо ведь и теням где-то витать), эхо их голосов (и чтобы эхо жило, в пещерах нужны двери)...

Прости нас, Хндзореск («Хндзореск» означает вовсе не «много яблок», как я всегда думал, а «глубокое

ущелье») [1]. Нынче ты похож на глубокую рану. Прости нас, Мхитар Спарапет. Была бы твоя могила на другом берегу Аракса, армянские поэты оплакивали бы тебя, я и сам вновь пустил бы в ход крылатые слова «репатриация могил», родившиеся во мне в Париже, у могилы полководца Андраника. А раз ты на нашем берегу, тебя можно и покинуть, пусть телята пасутся вокруг и тычутся своими непорочными мордочками в столетний мох. Пускай!!

Хндзореск... Что мне надо от тебя, зачем ты вошел в меня, как гвоздь в босую ногу бегущего мальчика, как темный дым папиросы в чистые легкие ребенка? Зачем?

Хндзореск, заброшенный учебник истории моего народа, разве не могли бы мы сберечь и взлелеять тебя таким, каким ты был в веках? Разве ты не пример того, как поднялся мой народ из пещер истории на просторы полей, откуда и вправду виден весь мир?

Мне вдруг чудятся на твоих скалах каменные невесты, они движутся, спускаются вниз по природным лестницам амфитеатра...

Если бы было возможно вернуться всем твоим детям минувших столетий, заполнить ущелье жизнью и борьбой, ликованием и смехом, отвагой и песнями! Увидеть Мхитара Спарапета на белом коне...

Прости нас, Хндзореск.

59

Мы встретились в Париже несколько лет назад. Он повел нас к себе — Поэта и меня. То был дом ванца. Матери его уже восемьдесят три года. «Вы из Вана?» — спросила она. «Из Еревана»,— сказал я. А она, должно быть, расслышала только последний слог. «Выходит, мы земляки! Ты помнишь, сынок, наш Ван? Хотя откуда тебе. Вот родители помнят. Они живы?» — «Мать,— отвечаю,— жива и бабушка».— «Сколько же лет бабушке?» — «Девяносто шесть».— «Не старая еще...» — «Рассказывает, что видела Хримяна Айрика».— «Хримян ведь тоже из Вана. Хороший был человек...»

---

[1] Хндзор — яблоко.

Наш друг рассказывал, что месяца три назад побывал в Ване. «Армянскими остались там только камни, и то больше могильные. Иные из них стали мостами через ручьи, а надписи на них почти стерлись. По описанию матери я отыскал наш дом, вошел, взял там горсть родной земли и камень, набрал флягу воды. А еще посчастливилось купить на базаре медную печать ванской епархии, которую продавали, как старинную монету».

Ночью мы пили, пели, грустили. Сын хозяина Тиграник все не шел спать, сидел и слушал нас. «Спой что-нибудь»,— предложил ему Поэт. Мальчик не понял, о чем речь, отец объяснил ему. Тиграник запел по-французски что-то о бабочках и лягушках. Пел хорошо. «Пес и Кот» знаешь?» — спросил Поэт. «Моя гранд-мамá говорит, что в Ване были кошки — один глаз у них синий, другой черный. Видели таких?» — «В Ване чего только не было,— улыбнулся Поэт.— «Скорняжным теплым ремеслом занялся Кот когда-то...» Армянских стихов не знаешь?» — «Я выучу,— серьезно проговорил Тиграник.— И «Пес и Кот» тоже».— «Дядя — поэт,— объясняю мальчику.— У него и своих много стихов».— «Дядины стихи тоже выучу. Вы разрешите мне?»

А дядя плакал. Кашлял и плакал. «Что вы, дядя? Обиделись на меня?»

Длинная получилась ночь. Декабрьская ночь тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года.

А спустя несколько лет вдруг звонок. Это он, парижский приятель. Приехал в Ереван, звонит мне из гостиницы и предлагает навестить Поэта. Я грустно удивляюсь: разве он не знает, что вот уже четыре месяца... «Мы только вчера приехали. Тиграник не дает покоя. Приходи, что-нибудь придумаем вместе...»

...За три года Тиграник вырос, он теперь носит очки. «В нашем классе только я один ношу очки,— говорит Тиграник,— и еще господин Навакатикян».

Белый автомобиль везет нас сквозь людный Ереван. Тигран сидит рядом с водителем. Он говорит без умолку, задает вопросы, и чувствуется, что уже сдружился с водителем. Я и мой друг молчим. Молчим об одном и том же. «В Париже больше машин,— замечает Тигран.— А далеко до деревни дяди Поэта?» — «Далеко»,— отвечаю. «Вот хорошо, значит, еще долго ехать. Как он, наверное, удивится! Я просил отца не звонить ему».—

«Куда едем?» — оборачивается ко мне шофер. Я называю деревню. Глаза шофера округляются. Он умолкает, потом смотрит на Тиграна: «Да-а!..»

Между нами вместо пепельницы лежит пустая коробка из-под сигарет, а дорога уже петляет вверх. Голые камни, тоскливое безлюдье, ни деревьев, ни травы... Мой друг что-то говорит. Тиграник удивленно смотрит на горы. «Снег здесь бывает?» — «Бывает».— «А у дяди дети есть?» — «Есть,— говорю,— трое сыновей».— «А у меня нет брата»,— Тиграник грустно смотрит на отца. Отец не сводит глаз с пустынных гор. А куда же смотрят горы?..

Я хорошо знаю эту дорогу, хотя ничего особенного тут нет — ни памятников, ни водопада. А горы бурые, жалкие, как под машинку стриженные. Ни деревьев, ни травы... Мой приятель молча глядит на меня, я на него, а Тиграник говорит без передышки: «Я выучил пять стихотворений». Он снял очки, глаза поблескивают, только немного покраснели. «Да, теперь ты уже хорошо говоришь по-армянски».— «Вот дядя удивится, когда услышит! — Потом вдруг делается серьезным: — А почему плакал тогда у нас? Он по-прежнему кашляет?» — «Не кашляет,— отвечаю я,— уже не кашляет и не плачет». «Хорошо,— радуется Тигран.— А вашей дочке сколько лет?» — «Четырнадцать,— отвечаю,— четырнадцать». — «Моей сестре Армине тоже». — «Мою дочь зовут Армине». — «Правда? — Тиграник радуется, потом вдруг: — Скоро доедем?» — «Скоро». Он просит передать свою сумку, вытаскивает оттуда какую-то тетрадь, надевает очки и читает про себя. «Стихи повторяет», — тихо шепчет мне отец.

Дорога не похожа на надежду, она где-то кончается.

...У Поэта в саду поздняя осень, последние в этом году листья обреченно умирают на земле, на замерзших ветвях деревьев, на крышах и проводах. Входим в открытую калитку. По обеим сторонам аллеи высажены розы. Его последние розы. Голубой дом Поэта словно стесняется, что он существует, а мы медленно обходим его. Тиграник удивленно смотрит на меня: я первый сворачиваю с тропинки. Вот и абрикосовое дерево, вот и... могила Поэта.

Тиграник снимает очки, смотрит на отца, на могильный холмик. Я пугаюсь этой минуты и делаю самое не-

вероятное — закуриваю сигарету, а мой друг вынимает из кармана свечку, тоненькую желтую свечку, зажигает и ставит в изголовье Поэта. Мы отходим на некоторое расстояние, чтобы ребенок не заметил нашего волнения. Мой друг молча, по-мужски, глотает слезы, я опускаюсь на землю. Тиграник сосредоточенно стоит у могилы и тоже напоминает свечку. Потом до меня доносится его голос:

...Скорняжным теплым ремеслом
Занялся Кот когда-то...

Читает стихотворения одно за другим, без запинки, звонко, руки по-ученически прижаты к бокам. Он отвечает Учителю урок, быть может, самый главный в своей жизни.

Мы входим в дом Поэта, целуем руку его матери, пьем по обычаю по рюмке водки. Отец наливает и Тигранику тоже. Мальчик пьет не морщась и осторожно берет кусок сыра...

На обратном пути мы с другом занялись беседой. Тиграник притих возле водителя. До Еревана, до самой гостиницы, он не проронил ни слова. «Пусть помолчит, — сказал мой друг.— Пусть попечалится, поразмышляет».

60

Прекрасный звонкий апрельский день. Вверх по извивающейся дороге в Цицернакаберд идут старики, молодежь, дети...

Жаркое лето. По каменистой дороге села Гетик трясется в райцентр грузовик, в кузове сложены постели, стоят никелированные кровати, старая детская коляска, лежат высохшие листы лаваша...

Холодная зима, на перроне Карсского вокзала стоит полководец Андраник, он направляется в Эрзерум, это февраль 1918 года...

Я шагаю в середине неспокойного ряда, иногда оглядываюсь — течет людская река, только, наперекор всем законам природы, течет она вверх. Когда же мы успели так расцвести, когда же успела наша древняя кровь обезуметь, забурлить, помолодеть? Несут венки. Несут осторожно, торжественно. Можно подумать, наш народ состоит из одних только двадцатилетних. Вы говорите, пожилые, старики?.. Да, есть, но их поглощает, увлекает с

собой поток молодежи. Идет старуха в черном, держит внука за руку — наверное, устала. В другой руке у нее две гвоздики, а внук ест мороженое. Пятеро стариков идут, заложив руки за спины, солнце греет их старые кости. Они шагают медленно, о чем-то беседуют. И снова поток молодежи. Девушки одеты ярко, пестро, и в мини, и в миди, и в макси, а иные и просто в брюках. Длинноволосые парни в ярких галстуках курят, громко переговариваются.

Сейчас село скроется из виду. «Э-эх! — говорит старик жене, сидящей рядом с ним в кабине грузовика.— Э-эх!» Жена не отвечает и утирает глаза кончиком платка. «Ну что убиваетесь? — это водитель, их сын. — Вы же там совсем одни остались? Не волки ведь...»

Да, они остались одни. За последний год село истаяло. А началось таяние давно, лет семь назад. Село лепилось на склоне горы, и во время снегопадов дороги закрывало, попасть в райцентр было все равно что попасть на Луну. Только радио связывало их с миром. «Если бы Мкртич не тронулся с места, ничего бы не случилось. Чтоб он себе ноги переломал!» — сказал в сердцах старик. «А что еще ему оставалось? — пожала плечами старуха. — Сыновья в городе, дочка врач...» В деревне осталось только кладбище — могилы отцов и матерей. Старик будет, наверное, приезжать сюда, ухаживать за могилами, пока однажды не останется здесь навсегда. «Эх,— рассердился старик,— а в деревне, по-твоему, доктор не нужен? Переехала бы она к отцу-матери, вон сын Седрака сватался к ней, поженились бы, обзавелись домом. И он, сын Седрака, тоже не уехал бы из деревни...» — «Да что вам, больше других надо? — это водитель, их сын.— Что делать врачу на макушке горы?» — «Разве на макушке горы не болеют? — насупился старик.— Или нас вы и за людей не считаете?»

...Той зимой в Карсе выпало много снегу. По утрам мороз резал, как сабля, и все же перед домом Никола, где полководец остановился на ночь, собралась толпа. Ждали: кто-то сказал, что Андраник выступит с речью. На веранде был постлан ковер — единственное пестрое пятно на фоне сплошного белого снега и черных домов. Враг стоял на подступах к Эрзеруму. Полководец был последней надеждой, самой последней. Снег валил, как в

новогодней сказке, прибывали люди, все больше мужчины и молодые парни. Лавки не отпирались, не до них было, успели только выпить по чашке кофе: шел слух, что полководец с утра тронется в путь. На замерзших рельсах на вокзале пыхтел паровоз с вереницей вагонов, пустых почему-то... В то утро в городской гимназии звонок на урок не прозвенел. «Лучшим уроком послужит слово национального героя»,— сказал директор, и учителя, построив гимназистов, повели их к дому Никола. Было холодно. Наконец распахнулась дверь, и на веранде показался полководец. Закоченевшая толпа возликовала: «Да здравствует Андраник, наш полководец!» Андраник снял шапку, и снег падал ему на голову, не оттого ли он казался седым?.. Поднял руку, и снежинки таяли на его пальцах. «Да здравствует надежда нашей нации!» — хором крикнули гимназисты. Андраник посмотрел в их сторону, взгляд его смягчился, грустная строгость в глазах растаяла, как снежинки на теплых пальцах. Собравшиеся вторили гимназистам, Андраник посмотрел прямо перед собой, улыбка его стала строже, знаком призвал к молчанию: «Я, старый солдат, иду защищать Отечество. Кто со мной?..»

Ближе к мемориалу люди становились сдержаннее, голоса мягче. На просторной, устланной базальтовыми плитами площади здоровались уже только кивками. Не разговаривали. Воздух словно бы стал гуще от присутствия здоровых, сильных человеческих тел. Красивые девушки здесь старались не бросаться в глаза; закрывались разноцветные зонтики, гасились сигареты, и только дети продолжали лакомиться мороженым...

Отсюда видна столица Советской Армении... нет, вся Армения. Может, потому, что Армения невелика?.. Не только поэтому. Отсюда видны почти все наши горы — Арагац, Арарат, Цахкеванк,— и наш город ниоткуда не кажется таким цветущим, живым и сильным.

Длинноволосый юноша положил руку девушке на плечо, и никто не обращает на это внимания, никто не смотрит косо. Кто-то шагает, посадив дочурку на плечи, она оттуда ухитряется сорвать цветок с венка, который несет группа ребят, они улыбаются, девочка втыкает

цветок в волосы. В небо пронзительно, как крик спасенной жизни, вонзился острый металлический шпиль. Если бы сейчас была ночь, внутри зажегся бы свет, разделяющий эту пирамиду на две части, и мы бы заспорили о том, что подразумевал под этим разделением архитектор — два Масиса, или разделенные на две части судьбы нашего народа, или еще что... «Куда мы идем, дедушка?» — слышу рядом с собой. Старик с огромным венком, с трудом передвигая ноги, ведет за руку внука. Для него, как и для очень многих, этот мемориал вовсе не символ, а обретенные могилы сгинувших в безвестности отца, брата, сестры, но внуку пока еще не понять, куда он идет...

На макушке горы тоже болеют. И в школу ходят, в школу, что когда-то была десятилеткой, а потом стала семилеткой. С прошлого года в одной комнате занималось четыре класса с одним учителем. «Кто бы приехал, отец? — говорит сын.— Какой бы дурак сюда приехал? Ты обиделся, когда я увез твоих внуков вниз, в райцентр. А чему бы научились они у одного-единственного учителя?» Последние очертания села растворились в тумане, старик оглядывал удаляющиеся горы, которые казались обиженными: ведь горы так добры к людям, особенно к армянам, они всегда защищали их от ветра, от врага, весной расцветали цветами, изливали родники, а теперь остаются одни. «Ты думаешь, только у нас так? — продолжал сын.— Жизнь теперь другая, все хотят жить лучше, больше видеть, ходить в баню. Почему мой сын не должен учиться в университете, чем он хуже других? Знаний не хватит — учителя найму. Вот так. У нас был всего один учитель, и тот подался в Ереван...» — «Твой брат тоже учитель, ему бы здесь работать и с твоим сыном бы подзаняться». Старик все больше мрачнел, не хотелось ему говорить с сыном. У него разговор с горами. «Что ж,— вздохнула старуха,— как люди, так и мы...»

«Кто со мной?» Голос полководца отдался эхом, и казалось, застыли в воздухе снежинки... «Желающие, становись за мной». И полководец спустился с веранды, прошел по живому коридору на открытое место. Люди

заволновались, но скоро умолкли, и полководец почувствовал, что народ с ним,— спина стала отогреваться. Он ни на кого не смотрел, только туда, где пыхтел паровоз с пустыми вагонами. Вдали был Эрзерум, истерзанный, гибнущий. Впереди был враг и, может, его, Андраника, последнее сражение. «За мной!» — раздался наконец голос полководца, и он зашагал к вокзалу. Шаг идущих позади был неумелым, снег мягким, но, едва тронулись, поднялся шум. Полководец оглянулся. Впервые оглянулся: люди шли, их было много, не меньше тысячи. Сердце старого солдата дрогнуло. Шаг стал тверже, он шел помолодевший и подтянутый, словно это был уже не старый генерал, а фидаи Андраник.

Ряды сливались в единый людской поток. Ложились венком на гранитные плиты мемориала вкруг Вечного огня цветы. Много цветов. К небу возносилась мелодия Комитаса. Так же медленно, как входили, люди покидали священные своды с чувством исполненного долга, просветленные и теперь уже даже деловитые. Улицы, переулки и скверы города поглощают их. Гаснет волнение дня. А вечером всех ждут накрытые столы. «Налейте-ка, выпьем...»

Горы великодушны. Долина же урчит, как огромный котел с арисой, и пар поднимается к небу. Горы могут и потерпеть. Земляные полы в покинутых домах постепенно порастут травой. В стенах поселятся на жительство ящерицы. Несколько дольше просуществует кладбище, сюда еще привезут последних стариков, и иные сыновья в погожий день будут навещать могилы родных, огражденные тяжелыми чугунными решетками, а поодаль невестки тем временем расстелют скатерти на траве...

— Наконец-то мы дома! — сказал сын.

«Разрушился дом мой!» — подумал отец.

Они шли. Почему он вспомнил сражение при Мушском апостольском монастыре? (Ага, только что прошли мимо апостольской церкви Карса.) Вспомнил Геворка Чауша, Арутюна, убитого на пятый день? Он при-

казал похоронить Арутюна по армянскому обряду, священник заколебался: за стенами монастыря стоял враг числом до пяти тысяч, их же всего тридцать пять, теперь уже тридцать четыре человека, — но потом сдался: «Твоя воля, полководец». Старый монах обрядился в шитую золотом рясу, велел зажечь все монастырские свечи. У стены выстроился хор, бледные певчие печально затянули, над их головами свистели пули. Отчего он вспомнил монастырь — ведь это было семнадцать лет назад — и горсточку храбрецов, многие из которых пали?..

Шли. Или?..

Шаги утихали, и спине вроде бы стало знобко. Паровоз на рельсах извергал пар, пустым вагонам снились люди. Полководец оглянулся: за ним следовало человек двадцать — тридцать. Что за наваждение, кошмарный бред! Сосчитал — и в самом деле двадцать пять человек. Сосчитал и снова постарел полководец, сказал горько: «Всего только горстке людей суждено бороться за этот народ, всего только горстке!» И вспомнил сирот апостольского монастыря, которым он обещал, что при монастыре когда-нибудь снова откроется школа и они будут учиться, расти... Потом дал знак всем садиться в один вагон, чтобы теплее было. Из окна вагона он в последний раз взглянул на Карс, ясно увидел: город пил вторую чашку кофе, со скрежетом отпирались лавки, стучали фишки нардов, в гимназии учителя разучивали с гимназистами вдохновенные строки о спасении родины, а солдаты на крепостных стенах пели: «Наша родина отверженная, покинутая...» Наверное, именно тогда он впервые с горечью сказал себе слова, которые потом, спустя несколько месяцев, бросил в лицо беспомощным правителям страны: «Что вы сделали с Арменией? Враг добрался до Александрополя. Как кладбище территория армянской республики довольно обширна, но чтобы жить на ней, непригодна».

61

Сколько написано Евангелий! От Матфея, от Иоанна, от Луки, от Марка. Я листаю не очень старую Библию, чьи печатные строки содержат все Евангелия, и продолжаю думать о роде Григорянов. Кто напишет их евангелие и когда? На страницах Библии — «Жениться-

ба», «Рождение», «Смерть», а на полях записаны отрывки из истории этого рода. Переписываю некоторые. «Запомните имя Евы, дочери Никогоса, она умерла в расцвете молодости, в день своей свадьбы. Отринув венок увядающий, удостоилась венца неувядаемого. 1827 год». «1903, 22 сентября. Бог даровал нам сына. Крестили его Геворком, дай бог ему долгой жизни...» «Старый Н. Григорян женился на девице Сирануш Амирян...» «Читайте и удивляйтесь: в 1897 году в начале декабря пошел снег, такой обильный, что продолжался до апреля 1898 года. Озимые посевы снег повсюду погубил, яровое зерно безмерно вздорожало. Читающий эти строки, имейте в виду возможность такой беды, запасайтесь на зиму, не забывайте, что наша Перия — гиблое место и что годы, подобные этому, разорили немало богатых домов... Написал, чтобы в будущем вы побереглись. Село Азнавул, 1898, 3 мая. Приходский священник». «Азнавул, 1916. С начала зимы немыслимо вздорожало зерно, уже в январе цена поднялась до пятидесяти туманов, на ячмень до тридцати туманов, солома и та стоила сорок белых курушей. Бог да отвратит от нас подобные дни, когда и мужчины, и женщины, и дети во множестве умирали от голода, а у многих кормящих матерей пропадало молоко, и умирали младенцы. Скотины тоже много пало от голода».

Случайно попавшая мне в руки, эта Библия не так уж стара, если бы чудом сохранились и ранние экземпляры, наверное, можно было бы по частям восстановить удивительную историю рода Григорянов, берущую начало в 1604 году. Вот еще одна из печальных дат нашей истории (впрочем, разве были веселые?). В том году шах Аббас насильственно согнал с места тысячи армян, в том числе и жителей села Ахгел, что в Араратской долине. Среди выселенных был Александр с сыном Варданом. В персидской провинции Перия он выбрал место, чем-то напоминающее родное село, и обосновался там. И по сей день во дворе армянской церкви можно увидеть могилу Вардана, но упрям не могильный камень, упрямы внуки внуков священника Вардана и правнуки их правнуков, не забывающие патриарха своего рода. От Вардана начинается разветвление генеалогического древа. Мкртум и Андриас, выносливые и плодовитые,— истинно материнские ветви этого древа. В 1750 году недалеко от Ахгела они по-

строили новое село Азнавул. Постепенно из Ахгела ушли все армяне, не могли уйти только церковь, кладбище и могила Вардана. В Азнавуле наследники Мкртума и Андриаса прожили до 1946 года. Из пятидесяти двух семей, населявших в том году деревню, тридцать две были потомками Вардана, Григора и Акопа. Они уже прочно обзавелись фамилией Григорян.

Итак, с 1604 по 1946 год род насчитывал десять поколений, и каждое обновляло в душе надежду когда-нибудь вернуться на родину. Десять поколений рождались, размножались, боролись и становились воспоминанием. С полей Библии я переписал несколько отрывков из их жизни. Судьбы этих поколений похожи на десять ненаписанных евангелий, но евангелий людей простых, трудолюбивых, крепких, как скала, которые все триста пятьдесят лет несли в себе скованные, ищущие выхода родники.

Одиннадцатое поколение в лице главы семьи по имени Александр и сына его по имени Геворк свершило чудо: спустя 342 года уже не с двумя, а с двумястами двадцатью Григорянами оно вернулось на родину. Это было 5 сентября 1946 года. А в 1971 году, 5 сентября, я по счастливой случайности оказался участником семейного торжества Григорянов в поселке Арарат. Они праздновали двадцатипятилетие возвращения на родину. Глагол «возвращаться» наводит меня на мысль о том, что слова схожи с денежными знаками, особенно наиболее употребительные из них. «Вчера я вернулся с Севана» — тут слово «вернулся» уместно. «Мой брат вернулся из армии» — тоже, а вот «Григоряны вернулись» — здесь «вернулись» звучит слабо, бесцветно. Ведь возвращаются спустя два года, двадцать лет, сорок лет, а Григоряны вернулись через триста сорок два года. Дайте мне не обращающийся знак, а золото, хранящееся в глубоких тайниках армянского языкового банка. Дайте мне это слово-золото, и я докажу вам, что 5 сентября 1946 года на родину вернулся четырехсотлетний Александр, родивший Вардана, который в свою очередь родил Ованеса, а этот — второго Александра. Вернулся трехсоттридцатилетний Александр, родивший Темраза, Товмаса, Хачатура... И так все десять поколений. Вернулись все. На чужбине не остался никто. Сейчас я смотрю в зал, где сидят примерно че-

тыреста Григорянов — старики, старухи, молодежь, дети, — а мне вдруг говорят, что сегодня родился еще один Григорян — Аршак, —смотрю и, честное слово, отыскиваю в одном из рядов того первого Александра, Тер-Вардана, Мкртича, Еву, умершую в день своей свадьбы, тех, кто не вынес ужасной зимы и голода 1789, 1916 годов и других лет, младенцев, у матерей которых пропало молоко, когда зерно поднялось в цене до пятидесяти туманов.

Вот они, сидят здесь — простые, крепкие, потомственные армяне-земледельцы, а один из молодых Григорянов повествует с трибуны историю своего рода, только зря он произносит с сожалением: «Правда, Григоряны не дали знаменитых людей, но...»

Знаменитых? Он, наверное, имеет в виду писателей, ученых, футболистов, а я смотрю на благородные лица людей, на обожженные солнцем их руки, и хочется спрятать свои, которые привыкли держать только легкий чемодан или авторучку. Евангелие от Григорянов — вот что надо написать. Впрочем, оно уже написано. Начиная с 1604 года его писали десять — двенадцать поколений, они сделали даже больше — они прожили это евангелие. Нужно лишь послушать молчание этих людей, собрать их голоса за все четыреста лет, связать воедино кусочки реликвий-воспоминаний... Кто их соберет, кто прислушается к молчанию?

Верните словам золото.

Эти люди не ждут пьедесталов. Пьедесталом им служит земля. В своих глазах, в крови, в инстинктах они, сами того не сознавая, несут молчание и крик двенадцати поколений. И пусть в этот день в самом большом зале поселка Арарат, не вмещающем всех Григорянов, сядут все наши враги — от шаха Аббаса до Талаа́т-паши. Какими жалкими выглядели бы они среди этих людей, мечта одного поколения которых билась в сердцах двенадцати!

62

Севан покинул эти скалы. Покинул давно, и скалы кажутся теперь необычными на фоне песчаной равнины, лишившейся воды. На обнаженной поверхности одной из скал видна клинопись времен Урарту: «Царь Руса I занял и присоединил к своим владениям четыре

страны по сю сторону моря и девятнадцать по ту сторону и в ознаменование построил этот храм бога Тейшебаини». Храма, понятно, нет, клинопись тоже поистерлась от ветра, дождя, времени и от севанских волн, еще в недалеком прошлом сюда доходивших. Храм стоял на возвышенности, окруженный стенами, следы которых еще сохранились. Пространство, освобожденное от воды, постепенно застраивается. Длинный голубой автобус распростерся на песке и имеет довольно жалкий вид. Со снятыми колесами он похож на лошадь, у которой ампутированы все четыре ноги. Бывший автобус превратили в столовую для строителей, и кто-то написал масляной краской по борту: «Кафе «Урарту». Я смотрю на клинопись Русы I, перевожу взгляд на автобус и грустно улыбаюсь смешению времени: на одном и том же квадратном километре произошла встреча двух хвастунов из разных веков — царя и водителя. Жаль только, что автобус останется здесь недолго — насадят колеса и увезут туда, где он будет нужнее.

Тут, рядом с клинописью царя Русы I, будет устье водовода Арпа — Севан, именно отсюда двинутся в Севан дикие воды Арпы. «Наверное, Руса знал о туннеле, — шутит кто-то, — а может, был автором первого проекта?» Я вспоминаю другие скалы, тоже испещренные надписями.

Мы только что побывали в третьем забое Арпа — Севана, самом высоком — 2700 метров. Лифт спустил нас под землю на глубину 668 метров, и первое, что попалось мне на глаза, были надписи. Влево от забоя тянется восьмой туннель, вправо — седьмой, во всю высоту скалистой стены идут надписи: имена, фамилии, какие-то фразы. «Что за имена?» — «Привычка такая, ребята высекают здесь свои имена и вообще что вздумается». Между сотнями фамилий читаю удивительную строку: «Я жду тебя, Арпа». И под ней подпись — «Севан». Вот как, значит, и Севан тоже пишет. Узкоколейка ведет нас в глубь туннеля. Одеты мы как на пляже, но на нас каски и резиновые сапоги. «Внизу будет жарко», — предупреждает начальник забоя Юрий Мкртчян. Начинаю понимать, что то была не шутка, постигаю также смысл горячего обсуждения, на котором я случайно присутствовал вчера вечером. Начальника восьмого забоя Ованеса Абеляна попросту прижали к стенке: требовали ежеме-

сячной проходки в сто пятьдесят метров. «Не можем,— отвечал человек с именем и фамилией великого артиста,— дайте нам воздух, чтобы люди дышали, потом уже требуйте работу. Я же ничего не прошу, всего лишь воздуха!» — «У кого? У кого ты просишь воздуха?» — «Температура доходит до сорока градусов, даже двадцатилетние не выдерживают, а я уже двадцать седьмой год под землей».— «Воздух нам из Еревана по почте не вышлют, мы сами должны о нем подумать. А сто пятьдесят метров в месяц дать надо: Севан ждать не может».— «Сам знаю, что не может». Воздух, воздух, воздух, воздух — целых три часа склонялось это слово, и я, который машинально записывал выступления, только в туннеле понял, что это значило. Вагонетка еще не добралась до второго километра, а дышать уже нечем, кажется, будто нас сунули под безвоздушный колокол, пот струится с нас ручьями. «Здесь тридцать шесть — тридцать семь градусов»,— объясняют мне. «А что будет при сорока!» — думаю я. Смотрю вверх, оглядываюсь вокруг: проходку ведут в цельной скале колоссальных размеров, в ней нет ни щепотки земли, ни капли воды, один только камень и каменные люди. Они пробивают, взрывают скалу и продвигаются вперед миллиметр за миллиметром. Даже терпеливым подземным водам не под силу выбиться из этого каменного царства, иначе они донесли бы сюда хоть сколько-нибудь влаги и жизни, а значит, и воздух. Точка. Сюда добрались проходчики, а дальше камень не сдается, добровольно он не отдает ни одного миллиметра и словно бы спрашивает: «Есть ли у тебя сила, человек? Тогда круши меня!» На сокрушенных обломках стоит мужчина, похожий на «Давида» Микеланджело. «Давид» протягивает мне руку. «Арюцик,— представляется он и добавляет: — Арюцик Маркарян». (Позднее, когда мы выйдем на поверхность, мне покажут самую удивительную в мире школу, где всего один класс, а учатся в ней восемь школьников — дети четырех национальностей — и среди них маленькая веснушчатая Ирина. На мой вопрос, как зовут папу, она, картавя, ответит: «Алюцик».) Рядом с Арюциком стоит машинист Владимир Першаков. «Какой-то местный парень закрутил мозги моей дочери, внук у меня будет армянин,— смеется он. У него голубые глаза.— Я с Донбасса, седьмой год здесь — будем рыть ереванское метро. Подумать только: внук Першакова — армянин...» Знакомлюсь с

остальными ребятами, оглядываю из конца в конец весь трехкилометровый туннель, и мне не воздуха не хватает, а слов. Честных, правильных слов, не разноцветных пузырей, не бесцветной ветоши. Да, это почти невозможно, но «Севан ждать не может». Не может. Ко мне подходит молодой парень, у него бледное лицо, каска не удерживает буйства его черной шевелюры, и я бы принял парня скорее за скрипача, если бы встретил его на улице или в полутьме кафе. Интересно, есть ли его имя на той стене?..

Стальные руки камнеуборочной машины будто скопированы с рук злого сказочного колдуна. Механизм жадно сгребает породу, как колдун золото. «Это наш взяточник, так ребята прозвали,— говорят мне с улыбкой.— Только без этого взяточника мы бы пропали. Чудо, а не машина». Воздуха действительно нет, и не то чтоб невыносимо жарко, просто нет кислорода. Мы и вправду находимся как бы под безвоздушным колоколом. «Попробуй-ка зажечь спичку, ничего не получится». Воздухоочистительные трубы медлительны, не поспевают за ребятами, и в этом тоже одна из причин... Но самая главная — безжалостный, неумолимый камень. «Дальше будет проще,— говорит начальник забоя,— водовод готов даже без бетона, смотрите — нигде ни трещинки». И в самом деле кажется, будто люди с помощью некоего исполинского коловорота пробурили столь же исполинский кусок базальта и проникли внутрь него. Воздуха нет, а Севан не может ждать, и потому-то эти удивительные парни — русские, армяне, украинцы, белорусы — обходятся малым количеством воздуха, даже, может быть, дышат по очереди. Немного погодя я увижу также Ованеса Абеляна, того, что вчера вечером твердил: «Не можем». Увижу его за работой, полуголого, в каске, словно это не он, а я просил вчера воздуха. Севан не может ждать, а человек, этот комок нервов,— может. Человек, который выглядит такой малостью в этом каменном подземелье, оказывается, сильнее камня, и камень уступает силе. По миллиметру, но уступает. Немного погодя я буду беседовать с Ованесом Абеляном и узнаю, что он приехал на Арпа — Севан не один, а уговорил приехать мать, брата, трех сестер с мужьями, даже отца одного из зятьев; узнаю, что парень с профилем скрипача — сын его сестры.

Электровоз везет нас обратно, и я в последний раз

смотрю на Арюцика, Владимира и других, что стоят, прислонясь к скалистой стене. Воздуха все нет. Вот и вход в забой. Я уже другими глазами читаю высеченные на скале имена и сейчас сожалею о том, что потом, в будущем, когда Арпа потечет в Севан, она сотрет эти имена.

«Я, Руса I, занял... покорил... присоединил...» Найдите ту исполинскую каменную доску, на которой следовало бы высечь имена арпа-севанцев, всех, даже детей, даже бухгалтеров и почтальонов. «Мы, братья, собрались здесь вместе, спустились под землю, завоевали, покорили неумолимый камень, присоединили реку к озеру и помогли нашему армянскому брату вернуть былую мощь и красу Севану. Мы...» И после этого — имена в алфавитном порядке.

Далекий чванливый Руса, сын Аргишти и внук Менуа, воевали другие, а ты занял, проливали кровь другие, а ты покорил, и клинопись сохранила твое имя в борьбе с ветром, забвением и временем. Явись, Руса I, из дали своих тысячелетий, спустись хотя бы в третий забой, это тут недалеко. А после выйдите с Арюциком, Владимиром и Ованесом на поверхность, зайдите в автобус-кафе «Урарту», закажите пива или водки и, выпив, посмейтесь вчетвером над твоей надписью: «Я занял, покорил, присоединил...»

Это они заняли, они покорили, они присоединили и завтра спокойно улыбнутся, когда воды Арпы сотрут, унесут их имена.

63

— «...Моя любимая и дорогая мама,— читаю я по слогам, стараясь произносить по возможности звонко и чисто, а тетушка Сона сидит на низеньком табурете. Она некоторое время слушает меня и тихо, беззвучно плачет; зачем она плачет? — Значит, вот какое дело, мы воюем, мама, а ты пиши, как живешь. Виноград собрали? Кто помог? Ты бы дядю Симона попросила...»

— Бедный дядя Симон, разве всем поможешь? — Тетя Сона говорит сама с собой.— Два брата ушли, сын Смбат ушел, попробуй помоги им всем. Собрала, Вардан, родной, собрала, подавила, и сок в чанах бродит, вино на твою свадьбу есть, и невеста тоже есть...

— Не прерывай, тетя Сона,— говорю я,— чтение, мне ведь еще географию учить.— Тетя Сона испуганно смот-

рит на меня. «Читай»,— просят ее глаза. Наверное, боится, что вдруг брошу и уйду...— Значит, где мы остановились? Да, «кто помог...». Нет, это я уже читал. «Ты бы попросила дядю Симона...» Смотри, в слове «попросила» ошибка...

— Ох, ослепнуть мне, где ошибка? — вновь вступает тетушка Сона.

— Не беда,— успокаиваю ее,— не грубая ошибка. Значит, так: «Скоро снег пойдет, а я не успел обмазать крышу глиной, заплати кому-нибудь, пусть сделают, а то зимой будет протекать. А здесь холодно, снегу с рост человека навалило...— Следующую фразу я тяну, не знаю, читать вслух или нет. Тетушка Сона устремляет на меня тревожный взгляд, и я, невольно подчиняясь этому взгляду, продолжаю: — Не пугайся, но я вчера ноги застудил, не отморозил, просто немного щиплет, натер их своей долей спирта — нам его дают пить, чтоб не мерзли,— наверное, пройдет...»

— Еще прочти это место,— умоляюще просит тетя Сона.— Солнышко ты мое, читай медленно, я что-то не поняла.

Нечего делать, я снова принимаюсь за предложение. Тетушка Сона вздыхает на каждом слове и утирает глаза концом головного платка. Ну что тут такого, всего-навсего застудил ноги, выпьет стаканов десять — двадцать горячего чаю, простуда и пройдет... Я даже пробую успокоить, утешить тетю Сону, нахожу какие-то взрослые слова и говорю ей, как мог бы сказать мой отец. Но она, словно не слышит, говорит сама с собой...

Через два дня после уроков я, по обыкновению, зашел к ней.

— Писем нет? — спросил я.

Тетя Сона грустно покачала головой, потом показала на лежащие на тахте шерстяные носки.

— Вардану пошлю,— сказала она,— умереть мне за его ноги. Всю ночь вязала...

Это были хорошие, мягкие носки из белой шерсти.

— Теперь уж ноги у него не замерзнут,— заметил я.— Так если будет письмо, дай знать, приду прочитаю.

Писем больше не было.

Прошли месяцы, но письма от Вардана так и не пришли. Как-то мы с тетей Соной пошли в военный комиссариат, там сказали, что напишут куда следует, узнают,

в чем дело. А однажды тетя Сона снова позвала меня. Ура! Значит, есть письмо от Вардана! Письмо было не от него, оно было написано по-русски, от руки, а не на машинке. Стал читать по буквам — это было не так-то просто. И понял из письма, что адрес Вардана неизвестен, потому что Вардан пропал без вести... Как пропал? Как может человек пропасть? Я не очень-то был уверен в своем русском и, взяв бумагу, побежал к нашему учителю русского языка, дом которого был недалеко.

— Да, пропал без вести,— сказал товарищ Тамазян,— это значит, что он воюет на другом фронте, его адрес пока что неизвестен. Выяснят — дадут знать.

Не выяснили. Не дали знать.

А тетю Сону я все чаще заставал вяжущей носки. Однажды я увидел, что она распорола тюфяк и разложила шерсть на солнце.

— Не подохну, если даже на голых досках буду спать,— сказала она,— а это очень мягкая шерсть. В тридцать шестом в Апаране купила.

Как-то она взяла меня с собой в военный комиссариат.

— Дайте мне,— сказала,— солдатские адреса, побольше адресов.

Я переписал их целую тетрадку.

Потом я по одному писал их химическим карандашом на маленьких мягких посылках, которые тетя Сона отправляла незнакомым людям. «Бог милостив, какая-нибудь дойдет и до моего Вардана».

Прошло три года, и вот война кончилась.

Сколько пар носков связала за эти годы тетя Сона, кто бы мог подсчитать? Помню, моя мать как-то сказала, что тетя Сона распорола все тюфяки, кроме Вардана. «Вдруг приедет без всякой телеграммы, постучится в дверь, на чем же он будет спать?»

Вардан не приехал. Как выяснилось, он погиб через два месяца после того, как отморозил себе ноги. А тетя Сона умерла первого сентября тысяча девятьсот сорок пятого года, когда после долгого перерыва мы первой мирной осенью пошли в школу босыми ногами...

Умерла она внезапно. Последнее время уже не вязала, дотемна просиживала на лавочке у двери и смотрела. Куда? Видно, поняла, что не вернется домой ее единственный сын,— и чистое, ясное небо вдруг лиши-

лось для матери опоры и рухнуло на пожелтевший снег ее головы.

Прошли годы. Пройдут еще годы, я никогда не забуду чудесную тетушку Сону, которая много дней в войну вязала носки для фронтовиков. Один из них был ее сыном.

Только один?

Разве не были ее детьми и те пятеро русских ребят — сыновья Анастасии Куприяновой, которые также остались на безвестных дорогах войны?..

На моем столе газета. На четвертой странице ее памятник матери и сыновьям, построенный в городе Жодино. Мать стоит в глубине, грустная, маленькая, а они шагают, сильные, решительные, напряженные. Младший, Петр, оглядывается назад, смотрит на мать прозрачным есенинским взглядом... Этот чудесный паренек закрыл своим телом дуло вражеского пулемета.

Не те ли носки на их ногах, что связала мать из армянского села?

А на могиле тети Сони нет памятника.

И всякий раз, приезжая в село, я несу ей цветы. И всякий раз ясно, удивительно ясно вижу ее, сидящую на собственном могильном холмике, а неустанные материнские руки вяжут и вяжут носки...

Если когда-нибудь поставят памятник Неизвестной матери, как ставят памятники Неизвестному солдату, я бы хотел, чтоб в пальцах у нее сновали спицы...

64

...И я говорю ей: «Ты должна переехать в Армению». Не спрашиваю: «Ты переедешь в Армению?», а говорю: «Ты должна переехать». Она снимает свои дымчатые очки, и я вижу ее голубые глаза. Она странно щурится, кажется, будто я удаляюсь от нее,— значит, она близорука, а я этого раньше не замечал. У нее чистые, очень детские глаза.

«Я бы хотела жить в Зангезуре». Она говорит это искренне, но я понимаю: это вовсе не продуманное желание, а всего лишь сказка, родившаяся в эту минуту. Поэтическая ложь, честное, наивное упражнение, желание доказать что-то самой себе.

«Я, наверное, начну писать по-английски». Эти слова она, по-моему, повторяла в уме и вдруг почувствовала,

что вышло вслух: «То есть уже начала писать. Послала в Нью-Йорк, в литературный еженедельник, напечатали. И гонорар получила. Сто двадцать долларов. Это мой первый гонорар».

«Можешь писать на английском и в Зангезуре.— Мои слова звучат ядовито, но она добра в своей сказке и пока не чувствует сарказма.— В Горисе, кажется, уже есть английская школа или скоро будет. Сможешь там преподавать, а по вечерам писать по-английски. Кто-нибудь переведет, и в Ереване напечатают на армянском...»

Мы сидим в Бейруте в приморском кабаре, прямо напротив нас скала самоубийц. Она рассказывает, что несчастные влюбленные в одиночку или вдвоем поднимаются на скалу, окидывают прощальным взглядом море, город и бросаются вниз. Вода заглатывает их любовь, их горе. До сих пор зарегистрировано сто двадцать семь таких случаев. Тридцать один раз влюбленные прыгали со скалы, взявшись за руки. А говорят, что Ромео и Джульетта — выдумка далекого прошлого.

Вокруг нас Бейрут, город, будто созданный для одних удовольствий и прожигания жизни. И я говорю ей: «Ты должна переехать в Армению». Мы не знаем в эту минуту, что пройдет всего год и беззаботная, разноцветная сказка развеется, словно ее и не было, звонкий город станет ареной безмолвной трагедии; улицы и церкви заполнятся сиротами и голодающими, бессмысленная братоубийственная война превратит людей в действующих лиц этой трагедии, и не останется ни одного зрителя. Мы ничего еще не знаем. Вокруг нас сверкающий, красивый, беззаботный Бейрут тысяча девятьсот семьдесят четвертого года, Париж Востока, как пока называют его. Ад Востока, как назовут через два года, в тысяча девятьсот семьдесят шестом.

Она вполголоса читает строки из своего нового стихотворения:

...Моя страна печальна,
Потому что меня там нет.

Сегодня утром она просила меня принять в гостинице армянскую девушку, недавно переехавшую с родителями из Еревана, где та училась на третьем курсе университета, а в Бейруте... Короче говоря, здесь ее не приняли в американский университет. Девушка хочет опять в Ереван — закончить там учебу и уж тогда вернуться в Бей-

рут насовсем... Утром я нашел грубые слова, дал понять, что родина — это не только бесплатное образование в университете и не добрая, наивная бабушка, которая все стерпит, простит да еще вытянет из кармана припасенные для всех сладости. Я не совещался с нашей родиной, я не министр высшего образования, но девушки этой даже видеть не хочу, понимая, что родина тем не менее печалится и о ней.

...Моя страна печальна,
Потому что меня там нет.

— Ты, однако, тонко трансформировала чувство,— говорю я ей.— Правильнее было бы сказать: «Я печальна, потому что не в своей стране». Вот это было бы верно, как дважды два — четыре. Ты говоришь: печальна моя страна, раз там нет меня. От такой грусти — для тебя, для другого, для третьего — мрачнее и глубже становится отдельное горе каждого человека, живущего вдали от родины. Ты должна приехать в Армению. Даже из души Вильяма Сарояна, отними у него душу-Армению, корень-Армению, многое, наверное, уйдет... Пиши, пиши на английском, но все равно ты не станешь ни американской, ни ливанской поэтессой: ведь ты же сама пришла к горькой истине, что твоей стране грустно без тебя.

Понятно ли говорю? Не знаю. Вокруг нас шумный полуголый город, самозабвенно предающийся легкомысленному вихрю бесстыдного танца живота. В эту минуту город еще не знает, и мы с ней не знаем, какими будут тысяча девятьсот семьдесят пятый и семьдесят шестой годы. Город пока истерически танцует, наслаждается, а то, став гигантским зеленым оком, застывает, замирает у зеленых столов казино... Он, может, и правда чудесный город, если бы не страна, которая грустит оттого, что тебя там нет...

«У нас семьдесят три армянские школы,— говорит она,— газеты, театры, книги...» — «Семьдесят восемь,— поправляю я.— В которых, однако, обучаются только пять тысяч из пятидесяти тысяч проживающих в Бейруте юных армян... Не чересчур ли вы успокоены, довольны, удовлетворены этими школами? Не одурманиваете ли себя ежедневно наркотиком, содержащим ложную веру в то, что «армянин везде останется армянином»?»

Вчера она завлекла меня в деревню Анчар, где живут потомки тех, кто героически защищал гору Муса. Есть и последние могикане легендарного боя, длившегося сорок дней. Говорят они на местном наречии. Это тоже армянский язык, но я ничего не понимаю. Мне переводят. С армянского на армянский. Какой-то старик рассказывает что-то смешное. Он что-то вроде Мюнхгаузена горы Муса. Если верить ему, он один боролся против турецкого войска, а остальные? Остальные — самое большее— рыли позиции, строили деревянную церковь, справляли свадьбы, сочиняли военные песни. Мы фотографируемся с Мюнхгаузеном и с остальными мусагорцами, а гора Муса отсюда не видна. Она на нашей исторической карте да еще в Армении, в Эчмиадзинском районе. Там это поселок, ему всего несколько лет.

Вокруг нас Бейрут, и я говорю ей без всякого укора: «Успокойся. Да, ваш рынок щедрее. Да, на вашем рынке можно купить все. Да, ваши магазины ломятся от избытка и пестроты товаров, ваши кафе и кабаре открыты всю ночь, и — почему бы и нет? — иногда любопытно поглазеть на красивых, стройных девушек, раздевающихся или одевающихся на ваших глазах. Успокойся,— говорю я,— в Бейруте твоя книга напечатана на отличной бумаге (сколько экземпляров ты смогла продать и кто их прочел?), успокойся, ты хоть завтра при желании и при наличии долларов сможешь поехать в любую страну — в Австралию, на Филиппины, в Бразилию, не знаю куда... Успокоилась? Значит, знай: ты должна переехать в Армению...»

Вчерашний вечер я провел с армянскими писателями Бейрута, они жаждут читателя и свой писательский труд считают утонченной формой самоубийства, специально придуманной для зарубежной армянской интеллигенции. Вчера вечером завязалась беседа также и об эмиграции, о семьях, по капле вытекающих из Армении в Бейрут, Марсель, Монреаль. «Запретите,— сказал писатель, не раз с сочувствием писавший об утраченных «свободах» Армении,— запретите, мы вас просим».— «Зачем? — спросил я вчера вечером.— Что, понадобились факты для обоснования очередной статьи? Зачем запрещать? Кому все одно, родина или бейрутский рынок,— пожалуйста! Кто следующий?»

Ты должна вернуться на родину, молодая поэтесса с голубыми глазами.

Через два дня на последнем вечере в Бейруте я выпью очень горькую чашу. Мы с одним прекрасным бейрутским поэтом-армянином будем сидеть в тесном, утопающем в дыму кабаре. Отличный пианист, венгр, будет одну за другой упоенно играть восточные мелодии, а потом вдруг и несколько армянских песен. От неожиданного волнения глаза мои наполнятся слезами, венгерский пианист поднимет бокал и провозгласит: «Выпьем за Советскую Армению». Он и понятия не имеет о моем присутствии, я захочу подняться и подойти к нему с теплыми словами благодарности, но тут сидящая у бара черноглазая девушка истерично выкрикнет: «Фри Армения!», то есть «За свободную Армению», а толстый молодой человек рядом с ней, тоже армянин, будет вторить ей, и я... поднимусь, но только затем, чтобы уйти из кабаре. Я ничего не скажу худощавой девушке и шарообразному парню, просто посмотрю долгим взглядом в ее темные глаза и впервые не захочу в чужом краю перекинуться словом с соотечественницей.

Ты должна переехать в Армению, которая грустит, потому что тебя там нет. Я повторяю первую часть этой фразы также и в минуту расставания, ничем не напоминающую расставание. Девушка пришла в гостиницу в шесть утра — работа в какой-то американской компании, где истекает по капле ее поэтическая душа, начинается в семь. Она дала мне свои последние стихи, чтобы я прочитал их в Ереване, я проводил ее до подъезда, но больше мы не говорили — ни в лифте, ни в вестибюле, ни в дверях. Мы молча попрощались, она быстро зашагала и исчезла среди сотен машин и людей, уже проснувшихся и заполнивших улицу и весь мир. В городе было жарко и суматошно, и она ушла, бормоча, наверное, в уме грустные стихи, а я медленно поднялся на свой восьмой этаж, поднялся не лифтом, а по старым, стершимся и в этот час пустым лестницам... Я вошел в свой номер, и когда распахнул окно, увидел в его рамке Ереван. Да, Ереван, потому что окно я открыл в себя.

65

Роберт Крайтон впервые приехал в Армению. Известный американский писатель с нескрываемым любопытством вглядывался в лица окружающих, находился ли он в Эчмиадзинском соборе, на ереванских улицах, в

Матенадаране или на осеннем рынке. И только в последний день перед отъездом он сказал: «В Нью-Йорке в одно время я жил среди армян. Они часто приглашали меня в гости, мне нравились острые, вкусные армянские блюда. Потом мы играли в нарды. Иногда мои соседи пели старинные песни. Но одно было поразительно: пили они или играли в нарды, пели или смеялись — глаза их оставались печальными. Так я постепенно убедился, что армяне бывают только грустными. Про себя я даже окрестил их «грустным народом». Есть, скажем, французы, русские, американцы, негры, тысяча разных народов, и есть грустный народ — армяне. И вот я приехал сюда. Но где же мой милый грустный народ? Неужели вот эти, которых я увидел на улицах Еревана, в университете, на рынках, в Кафедральном соборе? И я понял, что да, это они: столько жизни, страсти, огня я не видел в глазах ни у одного народа. Вернувшись, я должен буду сказать своим нью-йоркским друзьям-армянам: поезжайте в Армению. Я соберу их за столом в моем доме и скажу: уезжайте в Армению, и ваши глаза преобразятся. Если не ваши, то хоть ваших детей...»

66

В одной из деревень Араратской долины скончалась пожилая женщина. Вокруг ее гроба у горящих свечей стояло пять портретов — увеличенные фотографии ее пятерых сыновей. Все они погибли в Великую Отечественную войну, но до самой смерти мать ждала их возвращения. Да, возвращения. Перед смертью она сказала: «Если они не поспеют на мои похороны, поставьте их портреты в моем изголовье».

Воля матери была исполнена.

...И пятеро прекрасных юношей стояли в почетном карауле у тела своей матери. Пять фотографий в почетном карауле.

Ребята опоздали, они слишком опоздали!..

67

На столе было много напитков в разноцветных фигурных бутылках — виски, джин, пиво. Бар ломился от теснящихся бутылок, но Рубен вдруг поднялся.

— По-моему, осталась бутылка нашей водки, я принесу ее.

Мы кивнули: иди, мол. Бар прямо-таки распирало от дыма, бешеных ритмов музыки, певец, длинноволосый, голубоглазый швед с микрофоном в руке, что-то визгливо выкрикивал, и все танцевали. В этот вечер на нашем пароходе «Людовик Шестнадцатый» давали бал-маскарад. Жены не узнавали мужей, мужья — жен, любовники наконец-то избавились от нежных коготков своих возлюбленных, а те искали новых кавалеров.

Вернулся Рубен, демонстративно неся ереванскую водку. Среди безжизненных улыбающихся масок я на минуту увидел его лицо — бледное, сосредоточенное. Он довольно грубо рассек цепь танцующих масок, решительно сел, быстро и нервно раскупорил бутылку. Стоял невообразимый шум. Шарль, молодой официант, тут же объявился возле нашего стола с хрустальными бокалами.

— Что-нибудь нужно, мосье?

— Да,— ответил Рубен — и затем к нам: — Гоните последние запасы своих капиталов, сколько там их осталось.

Мы достали и безропотно отдали ему деньги. Интересно, что он задумал? Рубен сложил по одной зеленые бумажки и пересчитал их.

— Пятьдесят четыре доллара. Это, пожалуй, даже многовато,— заметил он, потом решительно направился к эстраде.

Оркестр продолжал с остервенением вторгаться в чистое царство мелодий. Ритм! Ритм! Ритм! Вскрик! Неврастения тела и души. Маски танцевали. Дым густо сидел на людях и бутылках, полностью изменив состав воздуха. Рубен говорил с пианистом, руководителем оркестра, и что-то вручил ему. Тот взял, это были наши доллары, пересчитал, часть вернул, остальные сунул в карман и улыбнулся.

Мы вышли из Гавра вчера утром, пароход был французский, а пассажиры направлялись в разные страны. Часть их, вероятно, доедет до Одессы. Нас было пятеро: Рубен, Мари, Ваге, Олег и я. Олег Раскатов, врач из Одессы, не захотел возвращаться домой самолетом, а решил присоединиться к нам и поплыть пароходом до Одессы. «Присоединяю Одессу к Армении,— сказал он,— тем более что приглашаю вас к себе на три дня. Только на три дня».

Утром мы будем в Италии.

Рубен медленно подошел и сел, медленно разлил по рюмкам водку. Рюмки были маленькие, и в бутылке осталось еще немного водки. Потом он закурил сигарету.

— Ты что сделал с нашими деньгами? — не выдержал Ваге.— Песню, что ли, заказал: «Ов, сирун, сирун»?

— Одну минуту,— ответил Рубен.

Он поднял рюмку и посмотрел на пианиста. Тот заметил его жест, и оркестр сразу замолчал — на половине мелодии. Люди под отвратительными масками, должно быть, удивились, но встали как вкопанные, словно застыл кинокадр. В необычной этой тишине скоро возник шорох перешептываний, но возгласов удивления не было, а выражения лиц мы не видели, маски ведь не прозрачны.

— Три минуты можете спокойно беседовать,— сказал Рубен.— Я заказал три минуты молчания. Минута — десять долларов. Не дорого.

Мы понимающе переглянулись и посмотрели на Рубена.

— За Микаэла, за Мишу,— сказал Ваге,— за упокой души нашего Микеланджело. Спасибо, Рубен.

Мы подняли бокалы с ереванской водкой, но не чокнулись, только наши пальцы встретились беззвучно.

Маски не шевелились. Мне казалось, я задохнусь от их тоскливых гримас. Гримасы поглощали весь кислород.

— Извините, господа,— услышали мы голос пианиста,— что-то разладилось с микрофоном Роберта, минуты за три справимся.

Роберт — это певец.

— Скотина! — ругнулся Рубен и залпом выпил.

Официант Шарль стоял над нами, хотя никто не вызывал его. Он снова наполнил наши рюмки.

Маски терпеливо ждали, пока истекут три минуты. Пружины их тел были натянуты.

— Помолчим,— сказал Рубен.— В это время Миша-Микеланджело обычно играл «Песню бродяги». Помолчим, а, Шарль?

— Да, мосье? — Шарль решил, что его зовут.

— Ничего,— покачал головой Рубен.— Ничего не надо, Шарль.

Из-за соседнего стола окликнули официанта. Маска широко улыбалась — хозяин скучал.

— Ступайте, Шарль,— сказала Мари,— вас зовут.

Шарль не уходил, застыв рядом с Рубеном.

Три минуты истекли, и оркестр словно взорвался: песню продолжили с того самого такта, на котором она была прервана. Оживились маски, танец закружил. Прошли ли три минуты?

— Шарль,— сказал я,— может, выпьете нашей водки? Одну рюмку. Вы, наверное, знаете, за что пьем?

Шарль налил себе водки, молча выпил ее до последней капли.

— Понадоблюсь,— сказал он,— только гляньте в мою сторону.

— У нас нет больше долларов, и смотреть на вас незачем,— заметил я.— Идите, вас давно зовут.

— Как нет долларов? Еще целых двадцать четыре доллара! — мрачно пробурчал Рубен.— Хватит на две бутылки виски. Правда, плохого виски.

— У вас есть все, у вас есть многое другое.— Шарль, видимо, волновался, он не смог объяснить, что хотел сказать.— Если понадоблюсь, только гляньте, господа...

Он отошел медленно и как-то качаясь. Опьянел? Может, непривычна наша водка?

— Вчера в это время он играл,— сказала Мари,— а сейчас лежит в холодильнике корабля в цинковом гробу. Пустая штука жизнь, не правда ли?

— Если бы я не боялся международного скандала, я бы ему голову проломил,— начал Рубен.— Ведь и мускул не дрогнул на лице этого сукина сына. «Люди платили не для того, чтобы участвовать в похоронах. Они включают судовое радио не для того, чтобы слушать надгробные речи. Мы приготовили маски и хотим развлечься. Не забывайте — билет на поездку стоит четыреста долларов».

Несколько часов назад Рубен побывал у капитана мосье Жискара и от нашего имени попросил отложить сегодняшнее празднество. Нам это казалось вполне естественным: утром стало известно, что от инфаркта на рассвете скончался саксофонист оркестра, итальянец Микеланджело Сорди, Микаэл, или Миша, как мы окрестили его. Вчера он играл почти всю ночь.

Около трех часов ночи, когда пассажиры начали расходиться, когда оркестр ушел и бар закрыли, на палубе собралась большая группа. Микеланджело играл для них. Я ушел спать около четырех часов ночи, а он все еще играл, потому что, как он говорил однажды, играет

всегда сам для себя. Каждый раз, когда он начинал новую мелодию, мне казалось, что он скончается во время игры — от крайнего напряжения чувств. Но он играл и играл все новые песни. Вчера вечером он выпил на палубе. Может, перехватил? За несколько дней мы с Мишей очень сдружились. Он не был дома шесть месяцев. Утром его в Неаполе должны были встретить мать, жена и две дочери.

Утром они придут в порт и примут своего близкого в цинковом гробу. Его похоронят на деньги, заработанные им за шесть месяцев. Наконец-то уснет бродяга, усталые его губы обретут покой.

— Этот негодяй капитан Жискар заявил, что по законам мореплавания они могут и не везти домой тело умершего, спустить на дно морское — и делу конец. «Каково это — мертвец на пассажирском судне,— говорит он.— Двадцать шесть часов — столько пути до Неаполя. А разрешается не больше двадцати четырех. Значит, мы и так проявили великодушие».

Рубен зло выругался. Мари не сделала ему замечания, просто отпила из своей рюмки, где оставалось порядочно водки. Ее должны были избрать королевой сегодняшнего маскарада. Она прошла предварительный тур и, значит, сейчас должна была быть в роли королевы. Мари было приятно, что она красивая. Мы тоже радовались за нее, приготовили маски на вечер, но Мари...

Шарль принес бутылку виски. Это было лучшее виски с витрины бара, мне очень хотелось его попробовать.

— Не надо,— сказал я,— у нас есть, не надо, Шарль.

Он посмотрел на меня с грустью, ничего не сказал, откупорил бутылку и принес льда.

— К вам хочет подойти Антонио,— сказал он,— спрашивает, можно ли.

Это был ударник оркестра.

— Можно, конечно, можно, Шарль,— разрешила Мари.

Антонио что-то сказал пианисту, тот кивнул, и оркестр плавно смодулировал в другую, более мелодичную мелодию, без барабанного боя. Антонио встал, рассек плотную массу танцующих и подошел к нам. Он не говорил по-французски, а мы — по-итальянски. Шарль налил ему виски, хотел добавить содовой и льда. Антонио же-

стом отказался. Виски было золотистым и переливалось в хрустальном бокале, как драгоценный камень. Антонио выпил залпом и посмотрел на нас теплым детским взглядом, потом оглядел каждого в отдельности.

— ...— сказал он.

«Спасибо, синьоры»,— это мы поняли. Он с сожалением махнул рукой и удалился так же незаметно, как и появился.

— Давайте в Одессе накостыляем капитану? — мрачно предложил Рубен.— Он же будет стоять там три дня и на берег сойдет. А, братцы?

— Вздор,— мягко возразила Мари, которая в этот вечер должна была быть королевой бала. И тут я заметил в центре зала танцующую королеву маскарада — кто она?..

— Давайте хоть этих подонков из оркестра поколотим,— продолжал Рубен.

— Кроме Антонио,— сказал я,— все шушера. Умер их товарищ, а они играют...

— Работа,— вмешался Ваге.— Они не виноваты, такая у них работа.

— Одну ночь можно было и не работать.

— Выпьем,— предложила Мари,— все равно в эту ночь нам не уснуть.

Я заметил, что ее взгляд тоже устремлен в центр зала, на королеву бала...

— Я подоспел в последнюю минуту,— говорил врач Олег Раскатов.— Меня вызвали по судовому радио, я как раз только уснул. Лицо Микеланджело напоминало лик святого, было как восковое.

Олег допил свою рюмку.

— Я отдам Шарлю магнитофон, пусть принесет виски,— сказал Ваге.

— Я же говорю, у меня еще целых двадцать четыре доллара,— мрачно прервал его Рубен.

— Не надо,— возразила Мари,— у нас есть пиво. Шарль не возьмет ни денег, ни магнитофона, принесет за свой счет, а жалко парня.

— Жалко Микеланджело,— сказал Рубен.— Вчера в это время он играл...

— А завтра в это время мы можем оказаться внизу, в цинке, как рыбные консервы.— Я не хочу, чтобы Рубен раскис.— Такова жизнь — се ля ви, как говорят любимые тобой французы.

— Гениальные машины погубят человека. Разрушается ядро человеческой души, и из этого распада энергия не выделяется. Состав человеческой души меняется, как изменился состав воздуха, воды.

Рубен мрачен и сосредоточен. Через два дня он снова будет обожествлять физику, славить мыслящие машины, смеяться над поэзией и поэтами. Я люблю Рубена таким, драчливым и злым.

К Мари подошла маска и пригласила на танец.

— Не дать ему в морду? — заерзал на месте Олег.

Мари взглядом уняла пыл Олега, а маске ответила мягко, даже с кокетливостью:

— Не танцую. Сегодня грустный день, в такие дни я не танцую, извините, мосье.

— Сегодня очень радостный день, мадам! — сказала маска.— Великолепный вечер.

Интересно, сколько ему лет и какого цвета глаза под маской?

— Сегодня обычный день,— зло бросил Рубен.

Маска сгинула. Мы не спеша выбрались из бара и поднялись на палубу. Средиземное море было темно-синим, волн почти не было. Небо полнилось звездами и мягкой библейской тишиной. Наш громадный белый «Людовик Шестнадцатый» казался бумажным корабликом в безграничности моря. Наш старый, усталый земной шар мог бы показаться игрушечным мячиком из синего картона, если бы мы смотрели на него оттуда, где звезды.

68

В одном из сел Зангезура умирала старая женщина. Перед смертью она обратилась к своим близким со странной просьбой: похоронить ее не рядом с мужем, умершим сорок лет назад. «Он молодой мужчина,— сказала старуха перед смертью,— зачем ему вечно оставаться возле восьмидесятилетней старухи? Жалко его...»

И ее похоронили поодаль от столь преданно любимого мужа.

69

Уже третий день я находился в латвийском городе Дубулты и каждый раз, бродя по центральным улицам, невольно останавливался у отделения милиции. В витрине висели четыре фотографии.

«Их ищет милиция»,— было написано сверху крупными синими буквами. На двух из них были женщины. Одна, как написано, «голубоглазая блондинка», вышла из дому шесть месяцев назад и не вернулась. Вторая оставила в больнице новорожденного ребенка и исчезла в неизвестном направлении. Третий, пожилой мужчина с четырьмя судимостями, бежал месяц назад из мест заключения. Их искали. А четвертый? Четвертый был армянин — Карапетян Арзас Арташесович. Молодой, с интеллигентным лицом. Что он совершил, было неясно. «Черноволосый, с черными глазами, очень смуглый, на левой руке вытатуированы все буквы армянского алфавита...»

Эта последняя улика не давала мне покоя, и я подолгу смотрел на пергаментное лицо своего злополучного земляка, так подолгу, что меня могли бы даже как-нибудь заподозрить, позвать наверх и спросить: «Вы знаете его?..»

С тех пор прошло три года, и я еще раз побывал в этом приморском городке, и в первый же день что-то привело меня к отделению милиции. В витрине, естественно, висели другие фотографии. Почему-то я вошел, открыл какую-то дверь. У письменного стола сидел молодой лейтенант. Я представился. Он вежливо улыбнулся, спросил, чем может быть полезен. Я объяснил.

— Хотел узнать, нашли ли вы его?

— Не помню, не могу знать,— ответил лейтенант.— Подождите несколько минут.

Он вышел и вскоре вернулся с синей папкой.

— О нем речь? — И он протянул мне знакомый уже снимок: Арзас Карапетян за это время стал на три года старше, и мне показалось, что и фотографии стареют.— Это ваши буквы, да? — спросил лейтенант, показывая какую-то бумагу.

— Они самые,— я с нежностью посмотрел на буквы.— Зачем вы их храните?

— Нам еще тогда прислали для сравнения, если вдруг мы поймаем преступника. Прекрасные буквы. Алфавит старый?

— Ему тысяча шестьсот лет. Так нашли преступника?

— Вероятно, потому что розыск отменили.

— В чем состоит его преступление?

— Не могу сказать. Нам просто сообщили об отмене

розыска, чтоб мы больше не занимались этим делом. Хорошие буквы.

— Хорошие буквы — и вытатуированы на руке преступника,— усмехнулся я с горечью.

— Ну, буквы-то тут при чем? — попытался утешить меня латыш.

Я вышел из милиции каким-то раздавленным. Почему мне вдруг стало грустно, я не знаю. А потом понял: мне хотелось, чтобы этот Арзас Арташесович Карапетян оказался выдумкой, а выяснилось, что его нашли. Значит, он существует на самом деле и сейчас отбывает заключение с месроповским алфавитом на руке.

Бедный Месроп Маштоц!..

Я вдруг вспомнил прекрасные строки русского писателя, в которых описано рождение этих букв: «Я могу себе легко представить его, Месропа, идущим, как и мы, по такой молчаливой древней пустыне. Это земля, окропленная пóтом и кровью, но она безмолвна. Она хочет иметь язык. Месроп видит эти горы, эти камни, испещренные знаками веков. И он говорит с этими камнями. Заходит огромное багровое солнце. И в мозгу человека рождаются первые знаки армянской азбуки. И потом они, выражая все, что может выразить человек, будут жить на пергаменте, на камне, на глине...»

На глине... Нет! Не хочу дополнять сказанного: и... на руке преступника. Не хочу. Вне всякой связи с этим вспоминаю другого армянского парня, тоже черноволосого, черноглазого, которого я недавно встретил в горном селе. Мы поехали туда с американским писателем Вильямом Сарояном. Была поздняя ночь, пора было возвращаться домой, но нас попросили хоть на минуту зайти в один из домов поблизости. Мне объяснили, что там живет молодой человек, которого тяжелая операция семь лет назад приковала к постели. Он просил, чтобы Вильям Сароян хоть на несколько минут заглянул к нему. Мы пошли. Молодой человек лежал на высокой кровати, а перед ним на столе были газеты, бумаги, приемник. Увидев нас, он смутился,— наверное, не верил, что придем.

На стене была прибита доска, и на ней мелом написано какое-то предложение.

— Занимается с выпускниками десятилетки нашего села,— объяснил кто-то.— Днем здесь настоящий класс. Все его подопечные поступают в университет.

Сароян неожиданно наклонился и поцеловал парню руки.

Почему я вспомнил все это? На доске были написаны буквы армянского алфавита.

Ну и что же?

Не знаю.

70

Какая ты, Армения?

Я искал тебя долго и болезненно.

Находил тысячи раз.

И не нашел.

Потерял...

И терялся в сомнениях и раздумьях.

Я искал тебя в лоне моей молодой родины и на полинялых картах, будораживших сердца и разум наших предков, в молитвах католикосов всех армян и в людской брани, где все мы поэты. Искал в пальцах моей бабушки, так похожих на старые, неломкие виноградные лозы, в первых школьных тетрадках моей дочери и в рукописях Матенадарана. В горячих спорах, когда приводится сразу двадцать вариантов спасения родины, упущенных нами в V, X, XVII веках, в 1915-м, 16-м, 17-м, 18-м годах. Искал в твоем молчании, в свадебных песнях, в беседах сельских стариков, в сомнениях молодого физика, работающего на электронном ускорителе. И в наивных песнях слепых ашугов. В еще более наивных криках души, которые неизменно начинались и кончались словами: «Когда у нас уже были врачи, такие-то нации еще не знали, что есть болезни и больные...» В поисках тебя я прошел горестный путь от Карса до Стамбула, увидел опустевшие долины, оскверненные могилы и густую тьму в окне вагона. И хотел найти тебя в дыхании сегодняшней Армении, на перекрестках истории, по которым наш поезд ни разу не проезжал безаварийно. И во встречах с детьми других народов. И всякий раз я чувствовал себя больным — ныли наши старые раны. В горькие свои минуты пытался избавиться от тебя, жить, как все живут на нашей маленькой планете, но для этого крови пришлось бы вытечь из моих жил — и надо было бы предать могилу моего отца. И я опять искал тебя на дорогах, в морщинах стариков, в кажущейся беспечности молодых людей, в самодовольных

тостах, в смятении сердца, когда узнаешь, что где-то идет война или что в магазинах вдруг исчезли спички. Искал тебя на старых кладбищах, в родильных домах и в биографиях наших великих людей, таких схожих одна с другою и таких печальных.

В «Эскизах» я, может, скорее потерял тебя, чем нашел. Но потерял, пытаясь найти и веря в это. Найду ли? Не важно. Найдут другие. Не в том дело. Мы много потеряли на дорогах истории, и сокращать дистанцию приходится бегом. На бегу мы оглядываемся, оглядываемся, оглядываемся без конца. Так не поступает ни один бегун. Так нас могут опередить даже те, кто пока еще сзади. Нам кажется: если не оглянемся, забудем свою историю. Но прошлое — в нашей крови, в нашей судьбе, в молчании.

Я искал тебя в этом беге и хочу, чтобы ты бежала, глядя вперед.

После точки — снова в путь.
Искать тебя.
Сомневаться.
Находить.
Терять.
Жить для тебя.

1965—1976

КНИГА ВТОРАЯ

> В сердце какой страны —
> столько печали.
> И столько прощения —
> в сердце какой страны?
>
> *Ваан Терьян*

Эта арка — словно каменное обрамление Арарата. Не расцвеченного на открытке, а настоящего. Место для арки найдено безошибочно. Поднимаешься по базальтовым ступенькам: шаг, второй, третий... последняя ступенька, и вдруг — Арарат в каменном обрамлении. Когда воздух прозрачный и нет тумана — картина ошеломляет.

«Весь мир пройди — вершины белей Арарата нет». Эту строку поэт как будто написал специально, чтоб ее высекли на арке.

Глядя отсюда на две вершины Арарата, каждый, наверное, думает, что и сам мог бы написать эти стихи: просто ведь словесный портрет мгновения и ничего больше.

В проеме арки, будто на огромном каменном подносе, лежит Армения: лиловые лоскуты пашни, пестрые кровли домов, вдали ереванская телебашня. Город сам не виден, но чувствуешь биение его сердца. Отсюда не видится, но ты знаешь, что чуть в стороне — колоннада языческого храма Гарни.

От базальтовых колонн Гарни до этой базальтовой арки — вся наша история. А напротив безмолвно высится каменный свидетель этой истории — Арарат.

Непостижимой истории.

Строфа из прекрасного стихотворения русского поэта может, наверное, стать эпиграфом и к нашей истории:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить.
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.

Здесь, под этой аркой, я хочу представить себе тех, кто поверил в Армению,— от гениальных каменотесов Гарнийского храма до Егише Чаренца, до человека, именем которого названа арка и чьи слова высечены на голубом базальте.

Наша земля съеживалась и уменьшалась на их глазах, подобно шагреневой коже, наша история раздиралась на клочки, но люди продолжали верить.

И эта страстная вера опровергла холодную алгебру логики.

Жива Армения!

Она — как последний, чудом спасенный ребенок.

Как последний лоскут знамени, изрешеченного пулями, продырявленного в битвах. Но оно есть, есть это знамя. На войне: если уцелел хотя бы лоскут, это — знамя. И для оставшихся в живых такое знамя священно вдвойне, вдесятеро.

Ты жива, моя Армения, и ты вдесятеро дороже нам всем.

А я продолжаю искать тебя.

Прохожу по зигзагам твоего характера.

Пытаюсь постичь тайну твоего бытия. Как же ты выжила вопреки всему?

Я иду вспять по перекресткам твоей истории, а это не шоссе Ереван—Гарни. Это еще и странствие в глубь самого себя. Ежедневное. Ежечасное.

Я ликую.

Грущу.

Сомневаюсь.

Кто это сказал: душа каждого человека — миниатюрный портрет его народа? Значит, мне три тысячи лет и еще пятьдесят. И я снова должен родиться. Когда?

Твои пределы и впрямь аршином не измерить.

Я ездил в Америку.

Побывал в Австралии.

Во Франции.

В Ливане...

Во всех этих странах я видел кусочки твоего разодранного знамени. Потому что везде были твои дети. Я радовался вместе с ними, грустил, спорил, отчаивался.

Я пытался понять их.

И отказывался понимать.

Одно могу сказать точно: Армения, они верят в тебя. Живут тобою.

Они тоже, я убедился, ежедневно смотрят на тебя сквозь эту арку.

Отсюда видно не только то, что доступно глазу,— отсюда видна вся Армения. Особенно новая Армения, последнее спасенное дитя нашей трудной истории.

Над головой этого чудо-ребенка развевается флаг: красный, как путь нашей истории, и синий — цвета наших надежд.

Взрастим же этого ребенка своим праведным пóтом, защитим при надобности своей кровью и будем его лелеять, будем лелеять его.

Эту книгу диктуешь мне ты, моя страна, и я — простая пишущая машинка, записывающая лента.

Итак, снова в путь.

И снова к тебе, Армения.

1

Кто первый дал название этому памятнику? Трудно вспомнить. Его не просто поставили здесь. Он словно сам явился сюда, как родной сын этого города. Было

ему лет двадцать, и у него было имя. Алешей назвали его, и ему все еще двадцать. Алеша первый встречает приезжающих в старинный болгарский город Пловдив — ведь он стоит на холме и не стареет. Свет его голубых глаз нисколько не тускнеет, Алеша видит всех, замечает все. К нему, как к свету, надо подниматься.

— Здравствуй, Алеша!

Мне чудится, что ресницы его дрогнули, он глянул вниз и заметил меня. Возможно, так кажется всем, кто сюда приходит.

Потом он опять переводит взгляд туда, куда глядел раньше,— на Россию. У меня нет при себе компаса, но я уверен — он смотрит на свой дом. Статуям не страшен холод, им не надо прятаться от дождя, но мне хочется накинуть на него свой плащ: «Простынешь, брат!»

Вот уже тридцать лет приносят девушки цветы двадцатилетнему парню, а ведь это он должен был дарить им цветы. Наверное, та, кому он мог подарить цветы, теперь уже бабушка. С какой-то загустевшей печалью я смотрю наверх, на чудесного русского парня, и он вдруг представляется мне армянином, моим односельчанином, братом. И я хочу спросить его по-армянски: «Как ты, Алеша?»

Потом, через несколько лет, в венесуэльском городе Каракасе девушки из нашего посольства, прижавшись друг к другу, запоют песню об Алеше, и две строки особенно потрясут меня своей неумолимой простотой:

Из камня его гимнастерка,
Из камня его сапоги...

Девушки запоют, вокруг будет чужой, незнакомый город, и я опять увижу глаза Алеши.

Не бывает безвестных, безымянных солдат.

Попытайтесь сосчитать до тысячи: один, два, сто двадцать, четыреста... Трудно. А до двадцати миллионов? И это не просто цифры, это люди, судьбы, надежды, дети, которые не успели родиться... Двадцать миллионов Алеш с разными именами, характерами, цветом глаз, мечтами... Так неслыханно дорого заплатили мы за сегодняшнее небо.

Все благодарственные слова кажутся обесцененными купюрами, пустым звуком, и мне опять хочется спросить его по-армянски: «Как ты там, брат?»

Я верю: если рассечь памятник, под каменной кожей обнаружатся осколки, из-под каменной кожи брызнет живая кровь.

Почему-то я вдруг вспоминаю Шотландию, таможню в Эдинбургском аэропорту. Проверяли наши чемоданы, потом надо было пройти под магнитной аркой, и аппарат должен был выяснить — не проносим ли мы с собой золото, платину или бриллианты? Один пожилой француз прошел под сводом несколько раз. В первый раз он вынул из кармана и выложил на стол металлические ключи, авторучку, потом снял очки в металлической оправе, обручальное кольцо. Но всевидящее красное око не гасло. Таможенники помрачнели — извинившись, они попросили человека раздеться, и последний раз он прошел под аркой в нижнем белье. Таможенники переглянулись, а мужчина виновато сказал: «Я был ранен, у меня в груди застряли осколки мины, жаль, я не взял с собой рентгеновский снимок, он остался дома. Не верите?..»

Значит, металл был внутри. Беспощадный металл войны. «Осколков очень много,— продолжал француз,— врачи не решились их вынуть. Не верите?..»

Человек словно извинялся, что не умер от ран. Таможенники смущенно смотрели на него, полуголого, потом опомнились, и кто-то попытался помочь ему надеть туфли, другой — пиджак, и мне почудилось, что у этих сдержанных шотландцев глаза стали влажные...

2

Пустыни — это бывшие горы. Когда-то они высились незыблемо и величественно. Но однажды горные породы обуяла гордыня. Они подумали: что бы нам жить не частицей большой горы, а отдельно, самим по себе? И гора пошла трещинами, породы постепенно выветрились, рухнула вершина... и ветер сровнял песок...

Древнее сказание гласит: купол храма Звартноц держался на тридцати шести колоннах. Храм был монументальным, и ничто, казалось, не грозило его величию — ни землетрясение, ни ураган, ни враги. Но однажды каждая из тридцати шести колонн усомнилась — неужели остальных тридцати пяти колонн недостаточно, чтобы поддержать купол? Она же не единственная... И обрушился божественный купол Звартноца, потому что так

решила каждая колонна в отдельности и высвободила свое плечо.

— Эту твою легенду небось сочинили в наши дни,— сказал мой друг Рубен.

— Ну и что?

— А то, что мы задним умом крепки. После мы отлично знаем, как должны были поступить раньше. А Звартноц разрушен землетрясением.

— Одной таблицей умножения историю не объяснишь. Пусть даже легенда родилась сегодня. Если она появилась, значит...

Рубен махнул рукой.

— Так, говоришь, колонны тоже стали задумываться? — насмешливо продолжал он.— А у горных пород, видишь ли, появился эгоизм?

(Без всякой логической связи я вспоминаю несколько строк из дневника умершей девятнадцатилетней девушки: «Говорят, будто камни не дышат, не живут, не радуются и не грустят. Неправда, не верьте, если вы поверите, я и в самом деле окаменею. Ведь и люди тоже бывают немножко каменными, и очеловечиваются они только тогда, когда радуются, любят, проникаются чужими горестями, возмущаются несправедливостью. Кто сказал, что камни не живут, не дышат, и вообще — что мы знаем о них?..»)

Все люди в какой-то степени камни и очеловечиваются лишь тогда, когда...

Не с чересчур ли угрожающим размахом происходит подчас в наши дни окаменение человека?

Один американский армянин рассказывал: «Скончалась мать коллеги. Я пошел на похороны, надел, естественно, темный костюм, мне и в самом деле было горько — хоть и чужая, но мать скончалась. Я подошел, пожал своему коллеге руку, но не успел и рта раскрыть, как тот, улыбаясь, спросил: «Что ты такой мрачный и зачем в такую жару оделся в черное?..» Почему я мрачен — ведь умерла его мать, почему я надел черный костюм, когда на нем рубашка с короткими рукавами? Несколько минут я простоял в углу, глядя, как он встречает всех входящих, и — ни слова о матери, которая лежит в соседней комнате и вскоре должна превратиться в горсточку пепла. Краем уха я услышал, как кто-то сказал: «Бедняга Джо, нелегко нынче ему приходится,

скольким людям надо улыбнуться, найти для каждого приветливые слова». И опять — ни звука о том, что скончалась его мать».

А это мне рассказывали уже в Ереване. Мать отправила детей в школу, хотя в тот день были похороны деда. «Пусть не горюют, они же дети». И дед навеки ушел, не взглянув напоследок на своих внуков. И внуки не посмотрели в последний раз на восковое лицо своего деда. Всего несколькими часами грусти они должны были расплатиться со стариком за его любовь, за нежность и ласку. «Пусть не горюют,— сказала мать,— жалко их». И может, как раз в тот миг, когда прах деда опускали в могилу, внуки его со смехом носились по школьному коридору или перечисляли благородные металлы на уроке химии!

Пусть не горюют.

А почему бы им не погоревать?

И не от такого ли оберегания каменеют потом сердца?

Только прижимаясь плечом друг к другу, камни становятся горой, и каждая колонна обязана думать, что купол держится только на ее плечах.

Люди каменеют не от страданий, а от экономии слез.

— Говоришь, пустыни — это бывшие горы,— опять усмехнулся Рубен,— и пустыня вновь станет горой, когда пески однажды «одумаются» и прильнут друг к другу?

— Если гора уже разрушилась... будет поздно, Рубен. Надо беречь гору, пока она не обратилась в песок. Не все утраченное можно вновь обрести. И потом, на свете существует ветер, а он, развеяв, уносит песок. Надо быть горой, чтобы выстоять. Не собрать потом песчинки...

— Что-то не то ты говоришь,— сказал Рубен и помолчал. О чем он думал? А меня легенда о Звартноце задела за живое. Каждой колонне надо сознавать, что купол держится на ней, и только на ней. На каждой колонне!

3

Сначала кузнец не понимал, что нужно этому человеку.

— Возьми мои пять тысяч золотых,— говорил тот,— и дай свои пять тысяч.

— Зачем?

— Дом строю. А его надо построить на чистые, заработанные в поте лица деньги. У тебя чистые деньги.

— А сам ты кто?

— Я покупаю, продаю. Случается, и дурю кой-кого.

— Да откуда я возьму столько денег? — вздохнул кузнец.— Моих денег едва хватит настелить крышу.

— Я на них фундамент заложу. Мне и этого достаточно.

Легенда старая, но не устаревшая.

4

В Хоторджуре играли свадьбу. Валил декабрьский снег и покрывал белой фатой горы, дома и деревья. После 1915 года жители деревни перебрались на тот берег Аракса и укрылись в Шираке, однако следующей весной, когда прогнали врага, люди вернулись в родные места. И над деревней опять поплыл колокольный звон, а над погасшими очагами завился дымок.

Металл и стекло не выдерживают резких переходов от жары к холоду, а человек выдерживает. Как ему удается, пережив лютое горе, вновь распрямить плечи, приказать своему сердцу радоваться жизни? (Я вспомнил поразившую меня надпись на ленинградском кладбище: «Камни, будьте стойкими, как люди!»)

Хоторджурцы радовались, дудукисты играли. Как они играли! Пронзительно и победно взвизгивала волынка, все девушки были красавицы как на подбор, все мужчины — удальцы. Свадьба в чем-то была и местью. «Вы надеялись уничтожить нас? — взвывала зурна,— ха-ха! Слушайте, смотрите, вот они мы, живем, веселимся, и этой ночью после свадьбы будет зачат новый хоторджурец, а через девять месяцев он появится на свет с памятью и болью в крови!»

Рассевшись вокруг небольшого камина — бухарика, старики вспоминали другие шумные свадьбы, лукаво подмигивали своим сухоньким старушкам, а те принарядились, помолодели, наверно, былые времена взыграли в них.

...Декабрь 1917 года... Если бы на крови расцветали цветы, то в Западной Армении даже зимой распускались

бы красные гвоздики. В горах и ущельях действовали армянские гайдуки — фидаи, парни, отказавшиеся от дома, очага, даже от отдаленной надежды иметь когда-нибудь семью, детей. А в Хоторджуре справляли свадьбу...

И вдруг...

Тревожно и зычно, как крик из горячей человеческой глотки, ударили колокола церкви Азнвахач.

На миг волынка умолкла, старики перестали разматывать клубок воспоминаний.

Церковный был то колокол или показалось?..

Все село — стар и млад — собралось здесь. Кто мог быть там, возле церкви? Да и сам колокольный звон не радостный. Послышалось или в самом деле был звон?..

Но колокола снова загудели над недоуменным и зловещим молчанием. Может, кто-нибудь, спасшийся от смерти, дает знать, что он еще жив, и молит о помощи? Может, услышал свадебную музыку?

Подумали, посовещались самые почтенные старики села, и вскоре пятеро крепких мужчин уже взбирались на укрытую снегом гору.

Веселье прекратилось. Невеста под белой фатой плакала — если бы она была на дворе, слезы застыли бы на морозе и жемчугом украсили фату. Жених не мог спокойно усидеть на месте: он ведь должен быть с теми, кто ушел.

Возле церкви не оказалось ни души. Только чьи-то еще не занесенные снегом следы. Внутри церкви — пустота и холод, горела только одна свеча. Словно с неба, а не с купола свисала веревка колокола. Вышли на воздух, и вдруг в глаза бросилась надпись углем на двери. «Это по-русски,— сказал кто-то,— ну-ка, попробуем прочитать». Поправляя друг друга, помогая и мешая, кое-как разобрали: «Христиане! Этой ночью на вас нападут. Спасайтесь!»

Мужчины мрачно переглянулись.

Кто мог написать это?.. Наверное, та же рука, что недавно била в набат.

Те, кто взобрался на гору, снежными комьями скатились вниз, торопясь в точности передать то, что прочитали, и каждый повторял в уме выведенную углем фразу. С невозмутимой, безучастной высоты все еще сеялся снег. Но был он уже не белым, а цвета крови, и на

вершинах гор лежала уже не свадебная фата, а черный головной плат матери, потерявшей сына.

«Значит, завтра ночью,— нахмурились старики,— завтра ночью...» «Что случилось с шафером? — спросил отец жениха.— Когда начнут танцевать жених с невестой?»

Танец жениха и невесты должны были сопровождать зурна и визгливая волынка, но со сдержанным весельем и несдержанной болью сыграли лишь дудукисты.

И невеста станцевала — стыдливо и растерянно. Жених стоял за ее спиной — и на их головы, как и положено, с нежным перезвоном сыпались золотые монеты, серебро и снег...

Потом невеста покорно ушла в спальню, а жених, сменив нагрудную алую ленту на патронташ, шагнул вперед, чтобы присоединиться к старшим. «Ступай к ней,— мягко, но непреклонно произнес отец,— ты должен пойти к ней, врагу только того и надо, чтобы ты не пошел... к ней».

Были, конечно, и сомнения — а вдруг ложная тревога, может, кто-то зло подшутил над ними? Но... «христиане... завтра ночью... спасайтесь». «Добрая рука написала это,— решили хоторджурцы.— Добрая и праведная».

Готовились всю ночь и весь следующий день, пересчитали наличные патроны, ружья достались даже девушкам. Враг мог подойти к деревне только через перевал, поэтому крестьяне вскарабкались на скалы и спрятались в снегу, завернувшись в белые простыни.

Клещи мести готовились сомкнуться.

Хмурая ночь сошла на землю — без луны, без звезд. И это было хорошо.

Около полуночи раздался шум, снег был мягкий, но все же явственно слышался перестук лошадиных копыт. Да, то были враги, они приближались молча, надвигались, подобно черной туче. Наверное, человек триста или четыреста. Человек? Никто не назвал бы их этим словом, разве они были люди? Тот, кто углем написал предостережение на церковной двери,— он человек. Сразу все подумали об этом неизвестном, безымянном для них человеке, нет, не человеке, о добром ангеле, и еще сильнее сжались кулаки.

Аскеры были уверены, что их не видят, и, как и предполагали хоторджурцы, они действительно съехались в

ущелье, спешились, бросили на землю ружья... Надо же немного передохнуть перед «работой». И именно в этот миг полыхнули выстрелы.

Растерявшиеся аскеры забегали, пытались укрыться в снегу. Но хоторджурцы били без промаха.

А через несколько дней к деревушке подошла регулярная армия. Целый полк. В центре вражеских позиций хоторджурцы вдруг увидели крест и на нем тело распятой женщины. Выслали разведчиков, те вернулись потрясенные: убитой оказалась украинка Шура, Александра, ее знали все,— жена турецкого офицера. В Хоторджуре Шура бывала не один раз, приходила в армянскую церковь. Значит, это она звонила в колокол и, конечно, она же предупредила их. (Как выяснилось позже, случайно услышала разговор офицеров, собравшихся у них дома.)

Решение сверкнуло как молния — бесповоротное, незыблемое, священное,— хоторджурцы должны отнять тело Шуры. «Может быть, все мы умрем,— сказал старейшина,— но...» Ему не дали закончить. «Умрем, но отобьем ее».

И отбили. Сто восемь из трехсот тридцати семи вооруженных армян остались на снегу, а тело растерзанной женщины отняли. Враги были ошеломлены, они знали точное число хоторджурских мужчин — втрое меньше, чем у них. «Должно быть, подкрепление получили, чертовы дети,— сказал полковник,— делать нечего, придется свернуть действия, подождем подкрепления. Куда они денутся, эти армяне?»

А пока что Шуру похоронили в той же церкви Азнвахач, гудели колокола, и все, кто остался в живых — от годовалого ребенка до стосемилетнего патриарха Навасарда,— склонились и поцеловали ее светлый лоб.

Ночью хоторджурцы прорвались через турецкие позиции и вновь перешли Аракс.

...Новорожденная была девочкой, и имя ей нашли сразу — Шура.

Все это не легенда, а история. И если сегодня в обновленной Армении живет несколько поколений хоторджурцев, наверное, этим они во многом обязаны Шуре, чья могила, увы, осталась на той стороне Аракса.

5

Многие дома еще были живы, деревья гнулись под тяжестью плодов, в траве жужжали пчелы, в воздухе звенели птицы.

А людей не было.

Стояла осень, и природа не знала, что напрасно воспроизводит себя. Не для кого.

Они шли, рассеянно глядя по сторонам, каждый был погружен в свои мысли. Девушка работала учительницей в соседней деревне, а он только вчера приехал из столицы. Его прислали из газеты, чтобы написать о людях села. Встретив ее, он удивился и обрадовался: «Прекрасно, как раз о тебе и напишу. Вот уж не ожидал».— «Не ожидал увидеть в деревне? — насмешливо улыбнулась она.— Считаешь меня героикей? Тогда пошли вместе в Барцрашен...»

Красивая ложь, легенда или в самом деле они существовали, еще год назад жили в этой деревне?.. В деревне?.. Последние четыре года только эти две сестры и составляли население всей деревни. Четыре года... Невозможно поверить: две молодые девушки среди пустынных улиц, брошенных домов, одичавших деревьев и погасших очагов.

Но однажды ночью сестры уехали. Куда — никто не знал. Говорят, девушки надеялись, что появятся женихи, они сдерживали, прятали свою тоску по любви и ждали. Но женихи не приходили. В стране, где столько мужчин за бокалом вина разглагольствуют о своей мужественности, не нашлось двух таких парней. В последнее время, рассказывают, сестры как-то сникли, увяли, точно цветы без воды, глаза их словно опушил пепел.

— Не верится, что такое бывает,— сказал парень из газеты, который приехал написать о хороших людях.

Он смотрел на осыпающуюся с домов штукатурку и, верно, не думал о том, что не нашлось двух мужчин, которые пришли бы сюда, нашли своих девушек и еще что-то другое нашли, куда более важное...

— Вот здесь,— сказала она.— Я приходила сюда, но не решалась открыть дверь.

Он увидел одноэтажный домик, самый живой в этом пустом селении.

Они подошли к крыльцу. «На двери что-то было написано,— сказала девушка,— зеленой краской, может,

стерлось уже». Нет, не стерлось. Она прочитала, не глядя, наизусть: «Ключ под порогом, он для тех, кто захочет здесь жить. Простите нас, но мы не выдержали. В доме есть постель и все прочее...»

— Взять ключ? — спросил он.

— Зачем это? Он не для нас.

У порога росли полевые цветы, кто-то до них зажег тут свечу.

— Должно быть, никакого ключа и нет.— Ему захотелось, чтобы ключа не было, чтобы сестры оказались выдумкой, сказкой, чтобы завтра ему тоже было легко жить.

Всякий раз, когда она приходила, девушке очень хотелось открыть дверь, так и подмывало взять ключ, но на глаза попадалась надпись, сделанная масляной краской, и она, взглянув на порог, грустно поворачивалась и, побродив по двору, уходила.

Он уже вытащил ключ.

— Положи на место,— сказала девушка.— Не то придется тебе жениться на мне и остаться в деревне.

— Против первого не возражаю,— улыбнулся он.

Они взглянули друг на друга. В университете тоже посматривали друг на друга, но не так, как бывает только раз в жизни. (А девушки особенно отличают этот единственный взгляд!)

Ключ наконец повернулся в замке, он толкнул дверь, которая отворилась на удивление мягко и бесшумно. Вошли. Уютная деревенская комната. Стулья, стол, тахта, на стене вместо ковра или фотографий — карта сегодняшней Армении. Он сел, закурил, в пепельнице лежал окурок.

— Видно, не мы первые.

— Да, приходят,— отозвалась девушка,— дом стал чем-то вроде памятника.

Слова ее донеслись из спальни. На кровати лежала пыль, платяной шкаф пустовал, зеркало молило о женском лице, оно нашло лицо девушки и надолго удержало. Ей показалось, что из зеркала выглядывает одна из сестер. Которая? Хоть бы оставили фотографии.

— Ты где? — послышался его голос.— Иди сюда, это не скатерть, а клинопись.

Девушка зашла в другую комнату, там стояла еще одна кровать. Значит, сестры спали в разных комнатах. «Для того, чтобы горели две лампочки,— подумала

она,— чтобы они лежали, читали, переговаривались из разных комнат... А это кухня». Она посмотрела на горку запылившейся посуды, на кофейные чашечки... Вдруг захотелось сварить кофе. Что за нелепое желание? Рука потянулась к выключателю, но свет не зажегся. Взглянула наверх — лампочка на месте, но откуда быть электричеству в заброшенной деревне?

— Где ты, третья сестра?..

Девушка задумчиво и растерянно вошла в столовую. Он молча курил.

— Посмотри, что здесь написано.

На столе расстелена белая бумажная скатерть. Бумага пожелтела, но буквы оставались четкими.

— Читай, читай,— сказал он.— Поразительный мы народ.

Она склонилась над желтовато-белой скатертью. «Я бы женился, но где вы?» — написано зелеными чернилами, и подпись поставлена. «Вы просто засиделись в девках, а остальное — как в индийском кинофильме». Тоже зелеными чернилами. Впервые в жизни девушка пожалела, что она не мужчина, не может выругаться. Еще запись синим фломастером: «Мне стыдно за мужчин» — и подпись отчетливо: «Варужан Симонян».

— Дом станет местом паломничества,— девушка опустилась, вернее, упала на тахту.

— Если не разрушится,— то ли грустно, то ли с холодком отрезал он, потом возразил себе: — Не дадут разрушиться. Мы помешаны на таких вещах. Не сомневайся, придут, зажарят во дворе шашлык, поедят за этим столом.

— И выпьют друг за друга, за народ.

— Это уж наверняка. И закусят. Откушают за здравие народа. Недурно, а?

Девушка резко поднялась, откуда-то достала веник, начала подметать. Ее знобило. Он с тревогой следил за ней. Вот прошла в спальню, прибрала постель, под подушкой обнаружила расческу — на ней волосы одной из сестер, молодой еще, совершенно седые. Взяла графин и вышла: во дворе был родник, вода лилась, робко журча. Девушка наклонилась, напилась, вода была холодной, вкусной, она наполнила графин и вернулась в комнату.

Он курил сигарету за сигаретой, и если бы кто-нибудь посмотрел на них в бинокль, то решил бы, что это молодые супруги только что поссорились, но скоро помирятся и, как это бывает в подобных случаях, станут еще нежнее друг к другу...

— Ничего нет выпить? — спросил он.

— Есть. Вода очень вкусная.

— Я не о воде.

— Нет, в шкафу пусто.

— Э, нехорошо поступили сестры. Должны были знать наперед, что я когда-нибудь заявлюсь.

Она поставила графин на стол. Отчего это подгибаются коленки?

— Ничего, если я прилягу?

— Даже хорошо,— он впервые улыбнулся.

Она не поняла его улыбки, взбила подушку, легла, сбросила туфли.

Ему с его стула были видны тугие девичьи груди, неуловимая линия, разделявшая их. Обнажились ее коленки — задрался подол платья абрикосового цвета, а она не заметила этого. Его вдруг охватило волнение, он подвинулся к ней, зажег еще сигарету.

— Не простудишься? Может, накинуть что-нибудь?

— Не надо.— Она лежала, полузакрыв глаза, представляла себе сестер — так легче было.

Он склонился над ней, и их волосы смешались.

— Ты что? Кто-нибудь увидит...

Она вскинулась, села, вмиг скрылись оголенные коленки, дорожка меж грудей спряталась под абрикосовым платьем.

— Кто увидит? — выпрямился он.

— Они, кто же еще?

— А ты знаешь, что стала очень хорошенькой?

— В этом доме запрещена праздная болтовня. Они могут услышать.

— Кто они?

— Хозяйки.

Волнение его улеглось. Потом он вспомнил, что в портфеле магнитофон. Нажал на кнопку, и комната заполнилась звуками, должно быть, стены соскучились по звукам и усилили, умножили их.

— Выключи,— сказала девушка,— вдруг они услышат и обрадуются, решат, что их дом ожил. И это будет обманом. Им нельзя лгать.

— В чем же обман?— Он не понял или притворился непонимающим.

— А разве мы собираемся пожениться?

Парень взглянул на нее смущенно. Лицо девушки было серьезным, взгляд устремлен в какую-то неясную даль. Одним взглядом он охватил ее тело с головы до ног, оно было прекрасным: золотая рыбка, бьющаяся в абрикосовом неводе.

— Ты не ответил на мой вопрос,— упрекнула девушка,— побоялся, что тут же соглашусь, брошусь тебе на шею?.. Одного только вопроса моего побоялся.

(Рассказывают, что сестры ушли ночью, и свет в их доме горел три дня и три ночи, гремело радио, которое они не выключили. На четвертый день, когда стало известно об их исчезновении, отключили и электричество, и радио. Отключили из райцентра. Точка, тире, точка. Рассказывают, что перед тем, как умолкнуть, радио передавало песню: «Ты — мой дом, Карабах». Очень трогательная мелодия, особенно если поет мужчина. В тот день пел мужчина.)

— А известно, куда они уехали?

— Не знаю. Никто не знает,— сказала девушка.— Сначала я хотела разыскать их, потом испугалась: а вдруг окажутся самыми обыкновенными. Я хочу, чтобы сестры жили во мне такими, какими я их вообразила.— Встала с тахты, пересела на стул.— Сигареты есть еще?

— Ты тоже дымишь?

— А кто же не дымит? Огня нет, один только дым...

В окно заглядывали зеленовато-синие, сиротливые горы, и девушка быстро-быстро написала на бумажной скатерти: «Проклятье, что я не родилась мужчиной! А еще жаль, что не узнала о вас двумя годами раньше.— И полностью: — Ашхен Навасардян».

6

В Новой Зеландии пели «Ахтамар». Да, да, нашу «Ахтамар». «Каждой ночью к водам Вана кто-то с берега идет и без лодки средь тумана смело к острову плывет...» Все как в нашей песне, только в этой — девушка не зажигает огня, а поет, стоя на одной из скал острова, и юноша находит дорогу в море, идя на голос. Маяк

здесь — песня. Но однажды шелковым платочком песню задушили, и юноша потерял дорогу. Девушку звали Мари [1], и когда юношу спасли и вытащили на берег, его посиневшие губы, как утверждает песня, повторяли имя девушки. Назвали ли остров «Ахмари»? Не знаю, не спросил.

Я пригласил к нашему столу певца из племени маори, аборигенов Новой Зеландии, и попросил его повторить слова песни, мне перевели их. Сюжет был тот же, что и в балладе Туманяна.

Как мало мы знаем о схожести народов, как любим примечать различие между нами! Кто у кого взял и кто кому отдал? Все люди — дети одной и той же матери-планеты, а песня — это золото души.

Совпадения... Я удивился, когда в Австралии мне рассказали, что 25 апреля у них день национального траура, в память о соотечественниках, погибших в 1915 году в Дарданельском проливе. Австралийские корабли везли продовольствие в Россию и у Галиопольского полуострова подверглись внезапному нападению турок. Это было 25 апреля 1915 года, на следующий день после 24-го. Все корабли затонули, и сотни австралийских парней нашли себе могилу на дне пролива.

В двадцати тысячах километров от нас встрепенулся, вздрогнул австралийский континент, матери надели черное, а невесты в безутешном горе посмотрели на свои обручальные кольца.

Через несколько лет в память жертв того апрельского дня австралийцы с обеих сторон засадили дорогу от города Балларата до города Арарата деревьями (длина дороги 13 километров).

Каждому погибшему — по дереву.

Увидев зеленую шеренгу, я приветствовал их, как родных.

Повстречали ли австралийцы на дне морском погибших армян?

---

[1] В армянской песне на слова Ованеса Туманяна девушку зовут Тамар.

Мне издали показали город Арарат. Маленький, девять или десять тысяч жителей. Увидел я вдали и гору, напоминавшую Арарат. «За это сходство город и получил свое название»,— сказал мне австралийский писатель. А другой пояснил: «В годы «золотой лихорадки» среди покорителей Австралии было много армян. Должно быть, они увидели эту гору и основали здесь город. Сейчас армян там нет, наверно, постепенно ассимилировались, стали австралийцами. Ведь минуло полтораста—двести лет...»

...А юноша из племени маори все еще поет... «Ахтамар».

7

Я брожу по берегу Аракса, чуть поодаль, в несказанно близкой дали высится Арарат. День напоен солнцем, я могу сосчитать каждую морщинку на челе горы, но Арарат говорит мне: «Не только ты видишь меня, я тоже гляжу на всех вас. Гляжу и днем и ночью».

Арарат, наверное, самая высокая гора в мире, в тысячу раз выше, чем Эверест, потому что армянам он виден со всех концов земли. Это величайший свидетель нашей истории.

Сейчас мне кажется, в морщинах Арарата сквозит улыбка, он словно читает мою грусть и хочет ласково погладить меня по седеющим волосам, как погладил бы дед внука. «Да, я тоже поседел, Арарат». Мы подмигиваем друг другу, я и гора.

А бабочки и пчелы беспрепятственно нарушают границу. На крылышках этой бабочки я написал бы Арарату письмо.

Не пишу. Пчелы будят во мне другое воспоминание.

На стене у моего друга расшитое полотнище. «Знамя,— говорит Варужан,— старое знамя города, где родился мой дед. В 1916 году он обвязал его вокруг пояса и пошел в Алеппо, деду было тогда пятнадцать лет...»

Я удивился — на флаге вышиты улей и пчелы, казалось, пчелы вот-вот улетят.

— Пчелы и ульи были гербом армянского города, названия не помню, знаю только, что мой дед родом откуда-то из-под Игдыра. Он обычно смотрел на вышитых пчел, курил и вздыхал: «Бедные пчелы, каким чудом могли вы собирать мед на полях крови?»

Вместе с тысячами других из Алеппо, Марселя, Ира-

на, Бейрута приехал и Варужан в 1946 году в Армению. Тоненькие ручейки вливались в наше море, и вода в нем поднялась. Когда у нас в школе Варужану дали учебник на армянском языке (помню, это был учебник химии), он не удержался, всхлипнул, а мы недоумевали — плакать из-за какого-то учебника?.. Тогда многого мы не понимали, а Варужан заплакал, стал целовать страницы армянского учебника.

У него сейчас восемь детей, старшая дочь в прошлом году вышла замуж, сам он — врач-педиатр. «Едва успеваю обслуживать собственных детей,— шутит он,— я наш домашний врач».

«Стань врачом, сынок,— сказал ему дед,— и обязательно детским. Знаешь, сколько чудесных малюток умерло у меня на глазах, погасли, как свечки, сгорели, как бабочки в огне».

На свадьбе дочери Варужан потерял голову от радости, то смеялся, то утирал слезы. Вспомнил и деда. «Ах, дед, был бы ты жив, сидел бы во главе стола. В окно виден Арарат, а на свадьбе твоей правнучки столько друзей, столько армян — на армянской свадьбе! Дед, это же ты пел «Армения, земля райская» и смотрел из Алеппо в сторону Армении, теперь-то я точно знаю, смотрел сюда. «Рая нет, сынок,— сказал ты однажды,— ни на земле, ни на небе. Рай — это родина, какая бы она ни была. Наша родина, сынок,— это Ереван, Армения, это еще и родина всех наших погибших, родина их неродившихся детей и внуков. Берегите эту Армению, лелейте каждый ее камень, каждую травинку...» Бережем ее, дед, был бы ты жив, увидел бы, какая она сейчас, Армения, как жужжит наш улей, какие тут пчелы, какие цветы!..»

Никогда еще не говорил Варужан так долго, а на стене в его доме висит старое знамя города, где жил его дед,— с пчелами и ульями, и за окном сейчас Армения — пчелы и ульи.

Я припомнил девочку, много лет назад приехавшую из Каира в Армению. Тогда я задал ей несерьезный вопрос: «Какой город лучше — Ереван или Каир?» Одиннадцатилетняя девчушка нашла удивительный ответ: «Ереван — наш».

Если собрать в одно место дома, школы, церкви и памятники, которые мы построили почти во всех странах и городах мира, возник бы еще один Ереван.

Но чьи они сейчас?

Нам принадлежат только те, что построены на этой земле. («Лелейте каждый ее камень, каждую травинку»,— я будто слышу голос Варужанова деда.)

Передо мной четко, как Арарат, встает здание армянской церкви в Сингапуре.

Храм высится в центре города, а несколько в стороне от него — армянское посольство. Церковь построена в 1835 году и считается здесь самым старым сооружением. На зеленой лужайке вокруг нее — вразброс надгробья, большей частью разрушенные, но некоторые еще уцелели. Я читаю эпитафии:

«Наша утрата невосполнима. Жизнь без матери — смерть для нас». (Четыре сестры поставили памятник своей матери. Дата отбита. Караваны муравьев движутся по мрамору и заползают в глаза. Типично армянские черты, в глазах играет смех. Где сейчас эти девушки? Видимо, тут же рядом под плитой, как и прежде, ухватившись за материнский подол. Не знаю.)

«Господин Мартирос Г. Карапетян, родом из Нор-Джуги, угас в 1893 году, на 73 году жизни здесь, в Сингапуре». (Могильный камень сбит с основания и на мраморе — снова муравьиное раздолье.)

«Любимому сыну Микаэлу Ованнисяну. Родился в Сингапуре 10 октября 1834 г. ...» (Итак, Микаэл на год старше этой церкви. Интересно, когда же в таком случае появились здесь первые армяне? Уже дома полистаю кой-какие книги и узнаю, что армяне были среди основателей Сингапура, а на кладбище найду еще одну разбитую плиту — могилу армянки, родившейся тут в 1819 году.)

Ну и что?.. Основатели, построили дома и церкви?! Ну и что?! Знают ли об этом муравьи, а если знают, что из того?..

Я медленно иду к церкви, и по мере моего приближения церковь растет и растет, если не смотреть на купол, то ее стены напоминают крепость. Дверь заперта, вокруг пустыня, немота. На стене в рамке под стеклом что-то написано. На английском. Но есть и на армянском. Читаю: «Прости, верующий армянин, что заперты двери церкви, ибо последний молящийся удалился из Сингапура три года назад. И даже раз в год служить обедню уже бессмысленно». («Я, разрушенный монастырь, где нет больше молящихся»,— вспомню поэта, но

этот монастырь — не руина, он цел и величествен. И... лишен прихожан.)

Откуда ни возьмись появляется то ли китаец, то ли японец. Я догадываюсь, что это сторож, он живет прямо здесь, во дворе. Даю ему два доллара, он понимает, вытаскивает из кармана медный ключ.

Дверь со скрежетом отворяется (когда она открывалась последний раз?..), и я вхожу.

У меня никогда не было такого гнетущего чувства одиночества; наверху Христос, естественно, с армянскими чертами лица; в пышных канделябрах нет свечей; цвет тяжелых занавесей скрыт под слоем пыли; дерево скамьи мечтает о людях, стены — о человеческом голосе. Я произношу два-три армянских слова, потом несколько строк из Нарекаци, церковь не откликается, и мне кажется, что стены, алчущие армянской речи, мгновенно поглощают мои слова: стакан воды — пустыне?.. Сажусь на один стул, потом на другой, третий, двадцатый... Надолго ли сохранит дерево мое тепло?

Смотрю на себя со стороны: я печален и нелеп. Рубен бы усмехнулся, увидев меня сейчас. Нет, что я говорю: он и сам бы посерьезнел, умолк в этой ужасающей пустоте. А потом, наверное, поискал бы китайца, чтоб купить свечи...

В дверях появляется китаец, нет, не со свечами, просто истекло время двух долларов, и все. Многие годы, наверное, церковь была заполнена армянами, под куполом отдавалось нереальное эхо «Сурб-сурба» [1], в нишах армяне и армянки признавались священнику в совершенных и несовершенных грехах, в высохшей купели крестили армянских младенцев, были свадьбы и похороны...

— Ступай! — приказываю себе.— Ступай!

Во дворе кроме китайца еще какой-то мужчина. Он что-то говорит на ломаном русском. Представляется: родители румыны, сам он сингапурец. Понял, что я армянин. «Последней сингапурской армянкой была столетняя старуха. Ее звали Далмара Галстян. Я хорошо ее помню, потому что брал у нее интервью, тогда она была самым старым человеком в городе и родом отсюда, из Сингапура. Нет, нет, я коммерсант, бизнесмен, но иногда пишу в газетах, для души... Удивительная была женщина...» Я даю ему свою визитную карточку, он обещает

---

[1] «Сурб-сурб» — название молитвы.

прислать интервью (жаль, не прислал), и ухожу, вернее, убегаю, не желая даже оглянуться напоследок. Сам облик этой церкви, ее прочность и красота наполняют мою душу неизъяснимой грустью. Была бы хоть развалиной... (Почему-то вспоминаю церковь Сагмосаванк недалеко от Еревана. Враги пытались разрушить колонны этого монастыря, долбили окаменевший раствор, вынимали камни из фундамента, но колонны не сдались — они стоят и поныне. Это чудо. Чудо родной земли. А сингапурская церковь непременно разрушится, обветшают крепкие еще колонны, рассыплется раствор, и однажды медленно осядет на землю купол...)

Я выхожу на улицу и сливаюсь с пестрым непонятным маскарадом большого города.

Где, под чьим небом возводите вы в эту минуту новую церковь, внуки и правнуки строителей сингапурской церкви?!

(«Ереван — наш»,— сказала одиннадцатилетняя армянская девчушка из Египта. В канадском городе Виннипеге я обрадовался встрече с соотечественником, украинцем Николаем Жуком. Однако он грустно возразил: «Какой я украинец? Украинец тот, кто живет на Украине».)

8

Один журналист задал вопрос космонавту Шеппарду перед его полетом на Луну.

— Что бы вы хотели сделать, когда вернетесь?

— Передайте жене: вернусь, выпьем с ней по бокалу холодного шампанского. А если не вернусь?..— мгновение он помолчал.— Если не вернусь, пусть постарается внушить детям, что их отец продолжает летать...

Сколько отцов из моего народа «продолжают летать». Сколько русских, украинских, армянских, грузинских юношей и девушек выросли, стали сами отцами и матерями, свято веря в то, что их отцы «продолжают летать».

Низко кланяюсь вам, матери, за то, что забальзамировали горе в своем сердце и так чудесно обманули детей.

Когда бы ни ушли наши отцы, они «продолжают летать». Пусть будут открыты двери наших домов и сердец: отцы возвращаются внезапно, потому что они вообще не уходят...

9

Матери!..

Если бы однажды собрались вместе все матери планеты Земля, как похожи они были бы друг на друга...

Осенью 1980 года я прожил около недели в словацкой деревне Бадин, в доме пани Марии. И все время мне казалось, что она вот-вот заговорит со мной по-армянски. Пани Мария, вероятно, тоже удивлялась, что я не знаю словацкого. Она потеряла сначала сына, потом мужа — и это в один год.

Каждый день ходила на кладбище.

Однажды я вызвался проводить ее. Старая женщина с такой благодарностью взглянула мне в глаза, что проняла до сердца.

И вот мы у могил, хорошо ухоженных, убранных живыми цветами. «Вы уйдете, тогда я поплачу»,— сказала пани Мария. Эпитафия на камне показалась мне странной. Были выгравированы имя, фамилия: Ян Больф, даты рождения и смерти. И пониже: Мария Больфова, дата рождения и... черточка. Я удивленно посмотрел на женщину — это были ее имя и дата рождения.

— Да, сынок,— вздохнула она,— как же иначе? Столько лет прожили вместе, он должен быть спокоен, что я приду к нему, давно уже пора мне...

Я не подумал тогда, до чего же тяжело читать свое имя на могильной плите, не подумал, потому что передо мной была женщина, жена и мать — самое хрупкое и самое сильное из земных созданий.

В той же Словакии я побывал в Вишни Боца — типично словацкой деревне, с деревянными строениями.

Пошел дождь, и мы постучались в ближайшую дверь. Открыл нам мужчина лет восьмидесяти. «Тише,— попросил он,— мама спит». Мама? Он это сказал с такой нежностью, словно ему лет восемь, не больше.

Хозяин словоохотлив, рассказывает, что дому сто лет, но дерево еще старше. Сто лет назад его отец и дядя разругались, не захотели жить вместе. Они снесли большой отчий дом, из тех же бревен подальше друг от друга построили два дома. Сыновья и внуки разъехались по миру, а сам он живет с матерью. «Собираются раз в три-четыре года... Не знаю, доведется ли свидеться еще...»

Старый Ян протяжно вздыхает, и мне чудится: этого отца я уже видел в Зангезуре на пороге его дома в ожидании сыновей...

Слышится шарканье туфель. «Это мама,— говорит восьмидесятилетний сын,— она очень обрадуется».

Пани Анна — сухонькая девяностовосьмилетняя старушка. Она еще до сих пор занимается вышиванием. Старушка ведет нас в свою комнату, где все вышито и выткано ее руками: ковры, паласы, покрывала на постели и подушки, скатерти и кружева, бессчетное количество кружев. На столе незаконченная вышивка. «Это я только недавно начала». Показывает на швейную машину: «Она старше меня на двенадцать лет. Свадебный подарок от мамы».— «И все еще работает?» — «Конечно. Если любишь, то будет работать. Ни человек, ни машина не станут слушаться, если их не любишь...» (Как схожи между собой все матери. Моя бабушка тоже работала до последних дней: вскапывала землю, ухаживала за виноградной лозой.)

Вспоминаю мать шотландского (точнее — гелльского) поэта Ангуста, которую я встретил на острове Скай. Окна ее дома выходили на море, мы сидели в комнате и пили чай.

— Прочитайте по-армянски какие-нибудь стихи,— попросила меня мать Ангуста,— впервые в жизни я вижу армянина. Кто знает, увижу ли еще?

Я посмотрел в добрые глаза этой женщины, на ее скрещенные на груди утомленные руки и уже ничего, кроме этих строк, не смог произнести:

Я помню свет твоего лица, моя бесценная мать,
Морщины, будто следы резца, моя бесценная мать!

Я думал, двух строчек будет довольно, но жестом мне показывают: до конца, прошу вас. Я читаю до конца. «Не переводите, это о матери, я поняла»,— говорит она. Как догадалась?! Потом свои стихи, посвященные матери, читает Ангуст на гелльском, удивительно мелодичном языке. (Геллы — аборигены Шотландии, сегодня их осталось около 90 тысяч. Англичане вытеснили геллов на север, и теперь они живут на островах.) На следующий день я увижу в музее фотографии беженцев, под этими фотографиями вполне можно подписать: 1915 год, Западная Армения... В том же музее увижу хачкар IX века.

Да, да, настоящий хачкар, который мог стоять на кладбище в моем родном селе Аштараке. На стене прочитаю слова песни неизвестного поэта XVI века, и мне покажется, что это Наапет Кучак. В последние годы геллы ценой неимоверных усилий пытаются возродить свой почти вымерший язык, культуру, открыли первую на острове школу. «Вчера я позвонил своему другу,— рассказывает Ангуст.— Он юрист. Я по-геллськи сказал ему «здравствуй», и он ответил тоже по-гелльски. Я удивился. Мы продолжали говорить на нашем языке, вообще-то не о чем было говорить, но проболтали все-таки семнадцать минут: говорили на своем языке. Удивляетесь? За тридцать лет впервые мне отвечали на родном языке. Моему языку обучила меня мать...»

Матери!..

Как вы похожи друг на друга — в вашей радости, в вашем горе, в наивности и любви. В редакции газеты «Скай» мне показали необычное письмо. Мать пишет из деревни сыну в город: «Отец подыскал себе хорошую работу, у него под ногами пятьсот человек (мне объяснили: он косит траву на кладбище), твоя сестра родила ребенка, не знаем еще — девочку или мальчика, поэтому не могу написать — чей ты дядя. Да, еще скажу тебе, месяц назад твой дядя забрался в бочку с виски и пил там прямо из бочки. Очень хотели спасти его, но он не дался. Вчера похоронили, и односельчане так напились, что подожгли дом. И еще я слегка прихворнула, и твой отец повел меня к врачу. Ты ведь знаешь, я первый раз иду к врачу. Он дал мне что-то, мол, подержи во рту и не говори минут десять-двенадцать (мне объясняют: то был градусник). Значит, я молчала двенадцать минут, потом твой отец пристал к врачу, мол, продай мне этот прибор, любые деньги дам за него...»

Разве не похоже это на письмо туманяновскому Гикору, написанное его отцом с таким же наивным простодушием?

Старая история: император Конрад, державший в осаде замок герцога Баварского, разрешил покинуть крепость только знатным дамам при условии, что они уйдут пешком, и позволил им забрать с собой все, что они смогут унести на себе.

И хрупкие дамы на своих плечах вынесли из замка не вещи, платья или золото, а мужей, братьев, возлюб-

ленных, а также самого герцога. Король был потрясен самоотверженностью женщин и простил герцога. Мишель Монтень, описывая этот случай, не скрывает своего восхищения поступком аристократок. (А я думаю: если бы Монтень прочитал «О Вардане и войне армянской» Егише [1], то какими словами он бы выразил восторг подвигом армянок...)

«Жены нежные страны, взращенные в ласке и неге... ныне всегда босые и пешком шли... Своими перстами зарабатывали и питались... Покрылись пылью и закоптились пологи и завесы молодых новобрачных, и паутиной затянулись их брачные покои». Это слова Егише.

И еще я вспоминаю чудесную русскую женщину, медсестру Сашу, которая в 1920 году, после гибели мужа, революционера и врача Аршалуйса Пантяна, осталась в больнице, в селе, охваченном эпидемией тифа, чтобы бороться за жизнь сирот. Она спасла десятки жизней, но под конец, заразившись, умерла. Всегда, когда я бываю в этих краях, иду к сельской больнице, стою, молчу у стены, где незатейливая мемориальная доска — единственная память о Саше...

Вспоминаю простую крестьянку Сирануйш с берегов тихого Дона. В 1942 году под огнем врага она ежедневно приносила на артиллерийскую батарею еду и медикаменты. Сирануйш была матерью, и все артиллеристы (сыновья самых разных народов) стали и ее сыновьями. Было трогательно и естественно, что командир батареи, лейтенант Оганян, передал ей перед смертью платок своей матери, который хранил у себя как талисман.

(Пройдут годы, обе матери встретятся, вспомнят многое, поплачут, утирая слезы этим платком, и станут утешать друг дружку одними и теми же словами материнской любви.)

Матери, матери!..

10

Только с одной точки утес похож на гигантскую мужскую голову. Этот чудо-утес, называемый именем Вардана, находится в Вайоцдзоре. И в самом деле, когда

---

[1] Егише — армянский историк V века. В своем труде «О Вардане и войне армянской» описал события освободительной борьбы армянского народа против Персии.

смотришь с этой точки, утес напоминает в профиль спарапета: орлиный нос, бородка, знаменитый шлем. Кажется, будто видишь высеченную в скале голову огромной статуи, а туловище спрятано в бездонном ущелье. Можно подумать — этот громадный памятник был когда-то установлен на вершине горы, но однажды сорвался, упал в ущелье, и уцелела только голова.

Предание свидетельствует, что после Аварайрской битвы, когда пали тысячи армянских храбрецов, в том числе и полководец-спарапет Вардан Мамиконян, эхо стонов народных заполнило ущелье, эту бездонную пропасть (может, отсюда и название Вайоцдзор — ущелье плача и стона). Не хотелось народу верить в смерть своего бесстрашного сына, люди молили небо вернуть его...

...И однажды утром люди узрели каменный профиль Вардана.

Если всматриваться долго и внимательно, можно увидеть даже бороздки на лбу, прочитать во взгляде тревогу и озабоченность. Здесь, в этой части ущелья, в хаосе камней, один только профиль спарапета окружен зеленью деревьев — это поражает! Спарапет, представляется мне, отдыхает в земле уже тысячу и пятьсот лет, устремив неусыпное свое око на страну армян. Кажется, во взгляде его радость, потому что он видит: живет, здравствует его народ.

Египетских сфинксов, колоссальные изваяния фараонов создали человеческие руки, профиль же Вардана — дело рук природы и еще — воли народа. Это каменное видение, это чудо породила вековечная его любовь.

Поезжайте в Вайоцдзор, выйдите на берег Арпы и поклонитесь полководцу Вардану.

11

Мы возвращались с Севана, и сын мой неожиданно сказал: «Радостный был день, а все плакали».

Я посмотрел на сына, улыбнулся, затем попытался найти понятные ему слова: не из моего, а из его лексикона,— чтоб объяснить, почему это люди иногда плачут в радостный день, затем подумал, что сын мой в том возрасте, когда слезы вызывает только боль или обида...

На самом деле день был радостный, и плакали люди на самом деле. Радостный?.. Я хочу нанизать на нить

все слова из армянского словаря: прекрасный, исторический, волнующий, потрясающий... и все равно их не хватает для определения этого дня, поскольку... Поскольку мы возвращались с торжественного открытия туннеля Арпа—Севан. На юго-восточном берегу озера Севан, на равнине, давно освободившейся от воды, разлилось человеческое море. Чуть погодя из недр горы наконец вырвется Арпа и, влившись в канал, через несколько сот метров достигнет озера. Туннель длиной в пятьдесят километров и восемнадцать лет в конце концов должен был начать свое дело. Небо было пасмурным, не праздничным, моросил мелкий дождь, а люди все шли, шли. Держа за руку сына, я стоял среди строителей туннеля, которых сразу невозможно было узнать. Не было несчастливых лиц. Наконец!.. Наконец они могут не отвечать на главный вопрос, обращенный к ним: когда завершится?.. Этот вопрос они слышали миллион раз — как просьбу, как тоску, как ожидание, как требование, как приказ... Вокруг слышится многоголосый гул армянского, русского, украинского, белорусского, грузинского языков... Многих строителей я видел в недрах горы, полуголых и небритых, налегающих на отбойный молоток, по пояс в воде, видел, как они сворачивают огромные каменные глыбы, и в эти мгновения они казались мне богатырями. Теперь это простые, обыкновенные люди, опрятные, тщательно выбритые, нарядно одетые, сюда они пришли со своими женами, детьми, с любимыми девушками. Я отыскиваю взглядом одного из них: он произвел, я знаю, первый взрыв в туннеле. Тогда ему было лет двадцать, двадцать два, был он холост, а несколько дней тому назад мне сказали, что у него родилась внучка, назвали ее, кажется, Арпине. «Севане»,— поправляет меня сорокалетний дедушка. Значит, родилось еще одно имя в словаре собственных имен нашего народа. Я улыбаюсь своему старому знакомому — русскому проходчику из Донбасса. Когда мы познакомились лет десять-двенадцать назад, он рассказывал, что его дочери «закрутил мозги» какой-то местный парень. Теперь я вижу — на его плечах сидит внук, второй крепко держится за руку, чуть поодаль стоят дочь и зять.

В репродуктор слышу свое имя и через людское кольцо иду к микрофону. В голове у меня нет ни одной готовой фразы, хотя я знал, что мне должны дать слово. Микрофон установлен на деревянной площадке, и отсюда

лучше видно человеческое море. Смотрю, на мгновение цепенею, затем...

О, как грустны и похожи на плач
Родимые песни — лишь боль и печаль.
Нет, чужеземец нас не поймет,
Нас не поймет холодная чужестранка.

Читаю, потом смотрю, по очереди смотрю на «чужеземцев», с улыбкой взирающих на меня. Затем говорю, что очень бы хотел, чтобы с нами сейчас был автор этих строк, мой самый любимый поэт. Какие мысли родились бы в его ранимой душе, какие бы строки родились! «Нет, чужеземец нас не поймет...» В те времена, в начале века, когда, беспомощный, умирал наш народ, в сверхчувствительной душе поэта могли, имели право родиться эти строки — как боль, укор и печаль... Если бы он сейчас видел этих удивительных «чужеземцев», собравшихся со всех концов страны в наших суровых горах, вгрызающихся в недра гор, напрягающих свои мышцы, чтобы вернуть своим армянским братьям заветную красоту озера... «Мы себе вернули Севан,— сказал один из «чужеземцев»,— и не благодарите нас, нам становится неловко...»

Если бы жил, если б дожил до этого дня поэт...

Все было точно учтено, и Арпа не опоздала, она пустилась в путь за два-три часа до этого и в долгожданный момент достигла цели. Все смешалось: в репродукторе зазвучала музыка, всюду стали танцевать. Вода прибывала... У берегов канала образовались живые людские стены, и с вертолета могло показаться, что Арпа течет в Севан не посреди бетонных, а посреди людских стен. Несколько наиболее отчаянных вошли в воду, разумеется, в одежде. Среди них были армяне-туристы из Франции, я незадолго до этого познакомился с ними. Один из них, пожилой мужчина, намочил ноги до колен и все время брызгал водой себе в лицо, что-то выкрикивая.

Улыбаясь, стояли строители туннеля: армянин, русский, украинец, грузин, казах... «Нет, чужеземец нас не поймет!».

Люди смотрели на струящуюся воду, и многие плакали. Я видел, как армяне-туристы из Франции подошли к строителям, стали целовать их, пожимать руки. Пожилая женщина склонилась, чтобы поцеловать руку русоволосому парню, парень покраснел, отдернул руку: «Что

вы делаете, матушка». Строители еще больше смутились. Я подошел, чтобы объяснить им, кто эти люди, хотя сразу понял, что моих объяснений вовсе не требуется. И не было необходимости в переводе, хотя одна сторона говорила на западноармянском наречии или на французском, а другая — на русском, украинском, грузинском... Радость не нуждается в переводе.

«...Нет, чужеземец нас не поймет...»

(Эти строки вновь ожили во мне спустя время, уже в деревне Ошакан, на Празднике переводчиков, у памятника армянским письменам. Вновь приехали «чужеземцы», читавшие армянских поэтов на русском, украинском, литовском, грузинском, «чужеземец»-чех говорил на чистейшем армянском языке, на армянском говорили украинец, венгр...

И я видел — мои соотечественники, собравшиеся вокруг памятника, плакали.

«Радостный был день, а люди плакали»,— наивно, по-детски прокомментировал мой сын.)

12

— А раньше были цветные карандаши? — спросил меня как-то сын.

«Раньше» для моего сына — это время моего детства, совпавшее с грозными военными годами.

13

Тамерлан захватил Гошаванк. Он хотел отнять богатство монастыря — золото, спрятанное крестьянами. Ни к чему не привели даже пытки — место тайника не выдали. Один из приближенных Тамерлана, хорошо, видимо, знавший силу и слабость армян, посоветовал завоевателю: «Вели сжечь монастырские книги, и у них развяжутся языки». Собрали рукописные книги и уже приготовились было жечь, как народ преградил путь огню.

— Подождите, мы скажем то, что вам нужно.

И сказали.

Тамерлан поразился.

Он взял рукописную книгу, полистал ее, рисунки ему понравились, но жаль — соскрести с них золото оказалось невозможным.

— Прочитай, что здесь написано,— Тамерлан протянул книгу тому, кто стоял поближе.

Человек принял ее осторожно, словно спящего ребенка, и стал листать.

— Я не умею читать,— сказал он наконец виновато.

Тамерлан передал рукопись второму, третьему...

— Мы не умеем читать, обратитесь к монахам.

— Здесь наша история,— сказал монах,— наша история и наши молитвы.

Тамерлан посмотрел на собравшихся, перевел взгляд на груду книг, на кучу золота и драгоценностей, и лоб его покрылся морщинами.

Понял ли он, в чем состоит истинное богатство? (Многие из этих спасенных книг живут в Матенадаране и поныне, а где награбленное Тамерланом золото?..)

14

Когда-то одна литовка спросила у меня:

— Почему армяне не сажают цветов?

Она объездила всю Армению и была удивлена. В ту минуту я нашел объяснение: «У нас земли мало, вот почему. На своем клочке земли армянину хочется посеять что-нибудь полезное: надо же детей кормить...»

Я бы не хотел, чтобы эта литовка приехала в Армению снова. Сейчас Араратская долина полна цветов, даже столетние сады перекапывают, виноградники выкорчевывают, вместо них строятся теплицы, где круглый год разводят цветы. Я бы не хотел, чтобы эта литовка увидела армянских женщин и девушек, торгующих цветами. А особенно армянских мужчин, которые за свою жизнь, наверное, и цветка не подарили своим женам, зато с какой деловитостью продают они цветы, как торгуются из-за каждой копейки!

Я стал не любить цветы, но разве виноваты цветы?

15

С чего начался наш очередной спор, не помню. Наш— это мой с Рубеном. Было воскресенье, мы поехали на Арагац — в Амберд и Бюракан. В Уджане, конечно же, остановились перед памятником генералу Андранику. Жаркий осенний полдень, в бассейне — ребятишки: смех, шум, крики, а вокруг памятника под деревьями — ста-

рики: табачный дым и тишина. Когда ни приедешь, всегда тут сидят старики, и мне вдруг почудилось, что они вообще никогда отсюда не уходят. Сидят вот так под деревьями и стареют себе. Которое уже поколение (люди, вероятно, встречаются и приходят друг к другу не только для того, чтобы поговорить, но и для того, чтобы вместе помолчать).

Я лишь недавно вернулся из Америки и теперь рассказывал Рубену о том, что повидал и с кем повстречался. Во Фресно мне показали дом, где жил свои последние годы генерал Андраник. Обычный дом, такой же, как и многие другие, а мне думалось... Я долго ходил вокруг него, но так и не вошел, хотя мои спутники и говорили, что новые хозяева не против. (Новые!.. Пятьдесят четыре года прошло.) Не стоит, отвечал я, лучше попытаюсь представить, как там было, потому что на самом деле вряд ли что-нибудь могло остаться с тех пор: следы его ног в саду или мучительный кашель в спальне?.. Тогда я часто пытался «увидеть», как он идет по улицам Фресно или сидит в каком-нибудь баре. Но это оказалось невозможным: армянский орел сжимает в руке бутылку «кока-колы», белый всадник-фидаи в джинсах верхом на велосипеде? (По воспоминаниям очевидцев знаю, просто вижу, как он прощался с Арменией! То был 1919 год, родная земля угасала, как свеча. Тогдашние недальновидные правители — дашнакские лидеры — бесконечно спорили, что ни день — новый премьер-министр... И последний, самый последний раз генерал собрал свое воинство: «Больше нам здесь делать нечего, братья...» А через несколько месяцев он оказался за океаном, во Фресно...)

Рассказываю, а Рубен не перебивает, даже вопросов не задает. Пристально глядит вперед, на дорогу, которую строили и перестраивали не знаю в который уже раз — хорошая дорога на этот раз получилась. Рубен то ли слушает меня, то ли думает о чем-то своем.

— Невеселыми, наверное, были его последние годы.

— Наверняка,— подтверждает Рубен, значит, все-таки слушает.— Просто невозможно каждый день просыпаться, бриться и пить кофе в Америке, а жить... в Армении, потому что он всегда жил в Армении

— Кто опишет его последние дни?

— Это мог описать только он сам. Мы знаем Андра-

ника-легенду, Андраника-человека знал только он. Такова судьба великих.

(Я где-то читал: в 1918-м, во время тяжелых боев под Эрзерумом, генералу сообщили, что у одной армянки начались роды, а врач отказывается к ней идти, потому что дорога под огнем. Пригрозив расстрелом, генерал заставил врача исполнить свой долг. Родился мальчик. Знать бы, кем стал этот мальчик...)

Вокруг нас осень — звонкая и нежная симфония красок, и мне кажется, будто я не был в Армении не один месяц, а целую вечность.

— Ты только посмотри на них!

Посреди дороги столпились люди. Человек десять-двенадцать. Среди них три женщины. Рубен тормозит. «Жигули» гудят изо всех своих сил. Никто даже не обернулся. Говорят, кажется, все сразу. Все вместе. Нет. Даже не вместе — разом. Размахивают руками, кричат-надрываются. «Жигули» продолжают отчаянно голосить. А они даже себя-то не слышат, куда уж тут...

— Ну что за люди!

Слева на дороге вроде попросторнее, и Рубен выруливает туда, нарушая самый святой параграф правил дорожного движения. Я гляжу на него: лицо каменное, в глазах — холодная сталь.

— Видали? — несется нам вслед.— Да таких шоферов!.. Ни право, ни лево не разбирает...

Ну что нам остается делать? И мы смеемся. Смеемся даже как-то нервно.

— Интересно, о чем это они там говорили? — вдруг спрашивает Рубен.

— Наверное, друзья-знакомые. Давно не виделись. Так бывает,— отвечаю я.

— Тебе бы женщиной родиться. Какая сестра милосердия в тебе пропадает!

Мы долго молчим.

И снова мысленно я с полководцем. Во Фресно встретился с несколькими армянами, теми, кто еще помнил сражения Андраника. Дали мне какие-то книги: почитай, говорят, сам Андраник рассказывал.

Эрзерум!..

В 1918-м, когда Андраник пришел на помощь защитникам Эрзерума, он увидел гнетущую картину: Кавказский фронт разваливался, солдаты торопились домой, а национальные армянские организации... Каждая из них

считала, что только она одна и знает путь к спасению, все же прочие заблуждались. Раздор и междоусобица. Патриотизм стал товаром, и шел отчаянный торг — кто больший патриот... «Когда еще так было, Ваган? — горько спрашивал Андраник своего секретаря.— Когда еще так было в армянской истории, чтобы враг подступал к столице, а армяне в это время сшибались в междоусобном споре?..»

(Андраник!.. «Сердце, в котором, казалось, дремлет пушка»,— сказал о нем поэт. И дремала бы и не просыпалась бы эта пушка, потому что был он рожден, чтобы стать отцом, сеятелем, поэтом. Но стал солдатом, решительно и твердо отказавшись от личной жизни. И лучше всяких «мудрецов» политиков он сознавал, что единственное спасение народа — это путь с Россией, и только с Россией. Он одерживал победы вопреки всем канонам военной науки, потому что побеждал в неравных боях: часто враг превосходил его численностью в десятки раз. Он видел страшную картину: выкорчеванный из своей земли народ и сироты, сироты, сироты! Но сердце его не окаменело, не отравилось ядом ненависти, и он щадил «невинных среди врагов».)

— Враг подступил к столице, а армяне сшибались в междоусобном споре...

С грустью повторяю слова полководца. Сквозь мглу времен вижу его у стен Эрзерума. И мне вспоминается горестный, как стон, ответ его секретаря: «Что ответить тебе, генерал? Во все времена враг стоял у нашего порога, а мы погрязали в спорах и мелкой вражде». Горькое ли время породило этот диалог отчаяния (история свидетельствует, что причиной падения Эрзерума были не одни лишь междоусобные споры армян) или то была очередная попытка разобраться в судьбе своего народа? Не знаю.

— Ты можешь представить,— спрашиваю Рубена,— что пережил тогда Андраник?

— Могу,— хмуро отзывается Рубен. И вдруг неожиданно бросается в атаку: — Когда был Эрзерум? В феврале восемнадцатого? А через два месяца, в мае, он сам не захотел принять участие в Караклисском сражении. Тоже увяз в спорах? Обиделся?

— Это не тот случай, Рубен...

Но Рубен заводится:

— Не время было для споров, пойми!

(Мне вдруг вспомнились полные бессердечного равнодушия и сарказма слова какого-то журналиста из «Лос-Анджелес таймс»: «У нас в стране все армяне заняты только одним — они обвиняют друг друга». И когда это сказано — в 1980-м!)

Рубен, оказывается, еще продолжает спорить.

— Караклисский клубок был очень запутан. И даже сегодня нелегко его распутать. Но ведь когда-нибудь это надо сделать.

(Та статья в американской газете не выходит у меня из головы. Ну да, именно в ней я и прочитал. В одном калифорнийском городке армяне, не имевшие собственной церкви, арендовали по воскресеньям местную, американскую. Но из-за «междоусобного спора» они, разделившись на две группы и поделив надвое зал, справляли две обедни сразу: каждая группа свою. По эту сторону армяне и по ту сторону — армяне. Вспоминаю и мрачнею. Нет, этого я рассказывать Рубену не стану.)

— Ты с чего так насупился? — спрашивает он.

— Думаю, Рубен, думаю... В конце концов, и Андраник был человеком из мяса и костей, как все. И сердце у него было, и нервы...

— Его пуля не брала.

— Да ну, просто легенды были тогда необходимы.

— Пусть так. Кто же против легенд? Но когда связываешь свои идеалы с чьей-то конкретной судьбой, то именно тут — тебе не кажется? — кончается история и начинается легенда. Не помню, кто это сказал. Кто бы ни сказал — я с этим согласен.

— Но Андраник...

— Был отважен? Да, по-рыцарски отважен. Спас тысячи жизней? Конечно. Не было у него личной жизни? Знаю. Но народ видел в нем спасение, и он не имел права на слабость, у него не должно было быть нервов, не должно было быть ошибок... Он был обязан, был приговорен жить сильным, непогрешимым.

— Как легко ты об этом говоришь, Рубен.

16

На стене монастыря Хутаванк на гладко тесанном благородном туфе читаю надпись: «Смотрящий, не забудь свой народ — с его прошлым. Мы — дети прошлого». Авторы не забыли подписаться: «Жора, Сержик,

1967...» В трех строчках четыре ошибки (через несколько лет я получу письмо, начинающееся следующими словами: «Я неграмотен, но я патриот»).

Ох, уж эти мне неграмотные патриоты!

Хутаванк сооружен в X веке, это чудо архитектуры, особенно прекрасны два хачкара из белого мрамора. У полуразрушенной стены церкви они кажутся мне двумя съежившимися сестрицами-сиротками.

Кто изваял эти чудо-хачкары? Гениальный мастер не подписался, не оставил следа о себе, а Сержик и Жора подписались, поставили дату, не забыли упомянуть деревню — Гетаван.

Я неграмотен, но я патриот...

Оскверняю тысячелетние камни, но я патриот...

Не всегда я честен, но я патриот...

Убегаю из родного края, но я патриот...

Довольно. Хватит украшать себя бубенчиками заветных слов, провозглашать «задушевные» тосты. И если бы дело было только в Жоре и Сержике! Есть такие, что на стенах церкви не пишут и не делают грамматических ошибок, но они куда опаснее. Как флагом, размахивают они словом «патриотизм», чтобы пробить себе дорогу в жизни. Себе! А патриотизм — это долг, тяжкий, будничный героизм, часто безымянный, как труд мастеров, изваявших хачкары Хутаванка, как дело того безвестного переписчика, чьи останки нашли недавно в одной из пещер Вайоцдзора: пальцы скелета сжимали листы пергамента. Человек до последнего дыхания оставался верен своему делу, и даже в последнюю минуту ему, видать, не пришло в голову, что он патриот...

Неизвестный переписчик все еще беседует с нами из дали пяти или шести столетий. Разве Сержик и Жора — дети этого прошлого?

Невольно горько усмехаешься.

Нет, мы — дети будущего, и создать это будущее можно, только закладывая камни в здание настоящего — свои камни... Настоящее — это также и прошлое — во имя будущего. Чем смогут гордиться потомки Жоры и Сержика? Оскверненной стеной церкви? А сами они что создали? Надеются вместе со стеной пройти в бессмертие? (Вспоминаю рассказ о кузнеце, который, кажется, жил в той же деревне, что и эти двое. У кузнечных мастеров в обычае оставлять свои имена на изготовленных ими лемехе, сабле или колесе — гордость. А этот кузнец

оставил свое имя на оси. Я верю, что многим его имя осталось неизвестным, потому что выкованная им ось не могла бы сломаться. Этого кузнеца можно назвать истинным сыном мастера по хачкарам, «сыном прошлого».)

Полторы тысячи лет назад один из самых трагических армянских царей мрачно сетовал на то, что его окружают люди, которые только и делают, что дают советы, и каждому мнится, будто ему лучше известно, как надобно поступить царю.

«И не гляди, о человек, на чужие ошибки, не суди содеянное или не содеянное другими, лучше суди содеянное и не содеянное тобой».

...«Содеянное и не содеянное тобой...» Нельзя ли размножить слова этой латинской мудрости и, как колокольчик, повесить над изголовьем каждого из нас?

17

И вновь перед моими глазами вырисовывается скальный портрет Вардана в ущелье Вайоц.

Азкерт — персидский царь царей двинул на Армению воинство своих «бессмертных» и слонов, а армянский спарапет со всем его родом направлялся в Византию.

Может, именно тогда, после ложного отречения от своей веры в Ктесифоне[1], и зародилась у армянских владетельных князей — нахараров эта мысль: вернемся на родину, подумали они, а если жить совсем невмоготу станет, возьмем да и уйдем в другую страну. Первые позывы инстинктивного эгоизма? Первые всходы болезни, именуемой эмиграцией? Стремление отделить свою личную судьбу от судьбы родины?.. Не знаю. Но вышло так, что именно тогда и началось — собирались и уходили.

«Собирались и уходили...» Против меня восстают даже написанные мною самим строки, и я начинаю сознавать, что в моей душе скопилось слишком много желчи нашей истории, потому что... Потому что нас вынуждали, огнем и мечом вынуждали «собраться и уйти». Какое там собраться и уйти! Это было бегство от смерти, от резни. И так вышло, что в новые времена, а особенно во времена кошмара 1915 года, существовавшие веками

[1] Ктесифон — столица тогдашней Персии.

ручейки превратились в реки, образовавшие под чужими небесами сиротливое море, именуемое «спюрк»[1].

Нет, в большинстве своем мы ненавидели посох бродяги — свидетельством тому массовое возвращение на родину армян в наши дни, свидетельством тому тысячи и тысячи сердец, горящих тоской и любовью к снегам Арарата и ереванским огням. («О журавль, помедли и ответь мне: нет ли вести из страны моей?»)

И тем не менее, взяв из прошлого не пепел, но огонь, надо найти в себе силы разобраться в своей истории, не пытаясь к месту и не к месту гладить себя участливо по головке.

Итак, я возвращаюсь в 451 год, призвав на помощь не больше и не меньше, как... Казара Парбеци, летописца.

Вардана Мамиконяна вернули с полпути. Его догнало письмо армянских нахараров. И потом — письмо назначенного персами правителя Армении — марзпана Васака Сюни.

В подлиннике этого письма я, конечно, не читал, но история сохранила главное. «Отчего бежишь? В чем страх твой, что гонит тебя? Ничего об этом ты не сообщил...»

— А если бы Вардан не вернулся?..— угрюмо спрашивает Рубен.

— Вернулся бы,— отвечаю я.

Кого я хочу убедить: себя или Рубена? По-видимому, полководец сомневался в единстве князей, и уход в Византию был крайней мерой, последней попыткой убедиться в верности данного ими обета. Поэтому, когда нахарары, поклявшись на Библии, послали ему письмо, Вардан вернулся. А если бы не поклялись, если б не послали ему письма? Не странен ли этот вопрос сейчас, полторы тысячи лет спустя, когда все, чему было суждено случиться,— случилось? Может быть.

— Я не ищу оправданий Васаку[2],— говорит Рубен.— Хотя ему, несомненно, нужен адвокат.

---

[1] Спюрк — так называют рассеянные по миру армянские колонии.

[2] Васак Сюни вел сложную дипломатическую политику с Персией. Вынужденный пойти на ложное отречение от христианства, он надеялся с помощью Византии поднять восстание против Персии. Но, не получив от Византии помощи, пошел на временный сговор с персами. В народном восстании против Персии Васак Сюни не принял участия, что, помимо всего прочего, раскололо силы нахараров.

— Можешь спокойно заниматься своей физикой,— говорю я.— У Васака хватает адвокатов. И в прошлом, и сейчас.

— Тебе не кажется, что Вардан был немножко поэтом?

Вардан сгорал от любви к родине, и — да, был эмоционален, как поэт! Васак же был трезв и расчетлив. Он вел с врагом шахматную партию. Но партия эта затянулась, запуталась. Народ поднялся на борьбу, и это уже была не шахматная игра — шахматной доской была судьба родной страны. А когда поднялся народ, Васак должен был пойти с народом, обязан был. О, если б возможным было невозможное, если б могли слиться воедино Васак и Вардан!.. Вардан стал душой народного гнева, и Егише, больше поэт, чем летописец, бил в свои колокола: «Смерть осознанная есть бессмертие». (Спустя полторы тысячи лет один армянский поэт напишет: «Я бы с песней хотел умереть...»)

— А надо было жить! — возражает Рубен.

Вардан погиб. Он стал памятником, школой, храмом, мостом, священным деревом, высеченным в скале изваянием в ущелье Вайоц...

Нет, вовсе ни к чему развенчивать священную тайну легенды: за оболочкой героизма, за высокой славой и сверкающими доспехами героя просто необходимо видеть такого же, как мы с вами, человека, с его страданиями, слабостями и... ошибками.

Ради прошлого, настоящего и будущего.

А как же те, кого не называли героями, те, на чьи плечи пришлась вся тяжесть испытаний, выпавших на долю их народа, страны?

Меня постоянно гнетет воспоминание о некой давно позабытой всеми истории. Царь Ашот Еркат как-то во время пира по ошибке (а может, и намеренно) первую здравицу провозгласил не в честь Сюникского князя Торника, а в честь князя Баграта. От обиды и негодования Торник решил отомстить своему царю. Решил — и отомстил: высочайшим княжеским соизволением подарил свой край — Сюник (да, да, подарил) византийскому кесарю. «Моя земля,— заявил он.— Кому захочу, тому и подарю».

Потому что царь первую здравицу произнес не в его честь...

Потому что царь не так улыбнулся при встрече...

Потому что царь усадил его не рядом с собой, а на три места подальше...

Потому что, потому...

Наверное, именно такие торники — из года в год, из века в век — подобно червям точили многострадальное тело армянского государства, и без того раздираемое бесчисленными врагами.

(Цари, князья — все это в далеком прошлом, но мыслишка: «А почему не я первый?» — исчезла ли из нашего сознания?)

— Ну чем Андраник не второй Вардан? — продолжает Рубен наш затянувшийся спор.— Чем Каракилис и Сардарапат — не Аварайр?[1] Ведь, кажется, и за Андраником посылали в Дсех, звали на помощь, умоляли?

— Андраник вел за собой двадцать тысяч беженцев из Западной Армении... Стариков, женщин, детей.

— Знаю. Пусть даже тридцать тысяч. Вопросом жизни было тогда противостоять нашествию. Сам Ованес Туманян говорил, что если бы Андраник выступил, то у Каракилиса все вышло бы по-другому... Сардарапатом стал бы Каракилис. Это уже мое мнение.

Сразу видно, что Рубен серьезно подготовился к спору. Проштудировал много книг и поднакопил факты. Но порой ничто не бывает столь иллюзорным, как факты.

— Ты не дочитал до конца. Андраник хотел прийти на помощь и даже объявил об этом солдатам, но... Но получил приказ из Еревана от своего командования не оставлять Дсех, удерживать железную дорогу. Это не мое мнение, это — Ованес Туманян. Ты должен дочитать его до конца. Андраник был солдатом. Тогда не было времени обдумывать приказы. Не хватало времени что-то оставлять и занимать вновь. По-твоему, Каракилисское сражение длилось три года?..

— Три-четыре дня. Знаю.

---

[1] Каракилис (ныне Кировакан) — город, где в 1918 году произошло сражение между турецкими агрессорами и войсками буржуазной Армении, окончившееся поражением армян. Сардарапат — место недалеко от Еревана, где в мае 1918 года произошло решающее сражение между армянскими и турецкими войсками, приостановившее наступление на Восточную Армению. Аварайрская битва — сражение армянских войск и ополченцев во главе со спарапетом Варданом Мамиконяном против персидской армии (26 мая 451 г.). Это сражение стало кульминацией борьбы армянского народа за свою независимость.

— Вот видишь. А беженцы? А железная дорога?.. И потом, сейчас нам легко, конечно, сидя в ресторане «Ани», рассуждать о том, как следовало поступить в мае 451-го спарапету Вардану, а в 1918-м, опять же в мае. генералу Андранику...

— Вот это верно,— неожиданно соглашается Рубен,— особенно если учесть, что и мы с тобой тоже без конца спорим, и все тот же... май на дворе.

Рубен как-то странно притих. Я знаю, как дорого ему имя Андраника, и я понимаю моего старого задиристого друга (как только мы выдерживаем эти бесконечные споры?..). Мне хочется растопить холодную рассудочность его оценок.

— Ты помнишь слова, сказанные Андраником под Эрзерумом? «Если выпадет мне счастье умереть под стенами Карина[1], то расскажите всем, что я сражался в одиночестве, лишенный всякой поддержки...»

После этого мы долго молчим. И вдруг мне кажется, что перед нами явился он. За нашим столиком два свободных стула. На одном из них я вижу Андраника. В простой крестьянской одежде. Молодое лицо. Глаза сверкают печальным огнем. И совсем седая голова. Он старше нас года на два, на три, но взор отца или деда. Ни о чем нас не спрашивает — мол, а что вы сделали? И ни о чем не рассказывает — мол, вот что я сделал.

Он смотрит на нас мягко, снисходительно. И я вдруг вижу его уже не в крестьянской одежде, а в облачении фидаи, и он кажется мне древним старцем.

— «Если выпадет мне счастье умереть...» — Рубен почти шепотом повторяет эти слова.— Так мог сказать король Лир: «Расскажите всем, что я сражался...» — Он замолкает, в глазах боль и горечь. И вновь говорит, обращаясь... к кому? — А что же «рассказать всем» о Каракилисе, генерал?..

Я пытаюсь поставить точку, понимаю, что бесчисленные вопросительные знаки угнетают Рубена:

— Иногда, мой милый, ничто не бывает так ошибочно, как свершившийся факт. Каракилис и есть такой факт.

Может, и вправду не стоит вникать в тайну легенды? Может, не стоит прикасаться к ореолу героя хотя бы потому, что полководец, доживая свой век в далеком аме-

---

[1] Карин — армянское название Эрзерума.

риканском городе Фрéсно, сам терзался бесчисленными вопросами.

Но ведь жив народ. И вчера, только вчера один армянский литератор в Бейруте написал: «Патриотизм — это стремление к исконной вековой родине, а не обольщение ничтожной ее частью».

Слова, слова!..

Мы не знаем, что имеется в виду под «исконной вековой родиной», но вот что такое «ничтожная ее часть» — догадаться нетрудно: это для таких, как он, наша Армения. Армения, которой они «недовольны».

И только вчера в Лос-Анджелесе в школе Феррахян у преподавательницы повернулся язык сказать маленьким армянам и армянкам: «У вас нет родины». Один из малышей прибежал с глазами, полными слез, домой и спросил у своего дяди: «Скажи, что случилось с Арменией? В прошлом году мы смотрели кино — там показывали Армению. Куда же она девалась? Там землетрясение? На нее сбросили бомбу?..» Да простится этой учительнице, но она тоже относится к Армении, как к «ничтожной части». А сама, разумеется, дитя той, «исконной, вековой родины».

И в той же Америке, в городе Сан-Диего один из тех, кто лет семь назад оставил Армению, спросил у меня: «Какие там новости?» Я обрадовался — значит, жива еще в его сердце любовь к родине! Ответил, что в Армении за последние годы произошло много перемен к лучшему. А когда мне захотелось рассказать ему об этом подробнее, он холодно отрезал: «Невероятно: Армения — и вдруг что-то хорошее?» И этот «недоволен». Неожиданно мне в голову пришла страшная мысль, что он наверняка бы очень обрадовался, если б я сказал, что в Армении произошло землетрясение («Как?! Когда?! Ну конечно же, скрыли, как всегда!»), погибло пол-Еревана («Половина? Только половина?!»), что сады не дали урожая, что наши школы закрылись... И, злорадно улыбнувшись, посмотрел бы в помутившиеся глаза своей жены: «Вот видишь. А ты не хотела оттуда уезжать. Теперь-то понимаешь, что у твоего мужа голова на плечах?» Я с трудом прервал этот внутренний диалог и спокойно сказал: «А самая лучшая из перемен — это твой отъезд».

Во Фресно я зашел в армянский клуб. Вокруг столов с кофе и нардами сидели дряхлые старики, направо от сцены висело старое знамя, а на стене — старая карта.

Почему бы им не повесить знамена Тиграна Великого[1] или Ашота Ерката? Уж они куда красивее и эффектнее, чем это, трехцветное[2], место которому давным-давно в музее истории.

Они, старики эти, слушали меня со снисходительной улыбкой: ведь они же из «исконной, вековой родины», а я — из «ничтожной ее части».

И это было бы очень смешно, если бы не было так грустно...

Люди живут и рождаются не на географических картах, какими бы эти карты ни были обширными, а на реальной земле, реальных полях, в реальных долинах и городах, на берегах реально текущих рек.

Есть эта реальная страна, малыш из школы Феррахян, есть! Утри свои слезы, у тебя есть родина. Настоящая, цветущая родина, и, как сказал поэт, этой родине «грустно оттого, что тебя нет там».

Прости меня, спарапет Вардан, и прости меня, генерал Андраник. Простите за то, что, щурясь от ослепительного сияния священных легенд, я пытаюсь увидеть вашу трудно прожитую жизнь. Ведь нужно это не вам, а нам, ныне живущим, сыновьям нашим, а особенно — тому малышу из школы Феррахян.

18

Ох уж эти «патриоты»...

Для них родина лишь цветное фото Арарата на стене гостиной, армянский ресторан с шиш-кябабом, острыми и солеными блюдами, удовольствие видеть свою фамилию на первой странице армянской газеты, купленное пяти- или шестидолларовым пожертвованием, перспектива быть похороненным на армянском кладбище, надпись на камне, естественно, на чужом языке...

— В Армении в ваших апартеманах[3] эйр кондишн есть?..— спросил меня пожилой американский армянин. (Мне рассказывали, что он собирает на своей машине мусор с нескольких улиц.)

— Нет,— ответил я,— пока нет.

---

[1] Тигран Великий, или Тигран II,— армянский царь, правивший с 95 до 55 г. до н. э.

[2] Трехцветное знамя — флаг буржуазной Армении (1918—1920).

[3] Апартеман — квартира.

Он снисходительно улыбнулся, потом перешел в наступление.

— Э, так что же будет с Араратом? Какие же вы, айастанцы [1], после этого патриоты?..

«Есть ли у вас эйр кондишн» — это вопрос нувориша, потерявшего голову от стандартного американского счастья. Мне хотелось сказать ему: да, господин мусорщик, в наших айастанских квартирах кондиционеров пока нет и еще, может, какое-то время не будет, и многого другого тоже пока нет. Мы родину строим. Ро-ди-ну! И не только для нас строим, но и для тех, что еще не родились. Собственный магазин построить куда легче, чем собственную родину...

Ну, а второй вопрос... Нет, вы посмотрите на него: должно быть, собрав американский мусор, он возвращается домой, выпивает чашечку кофе, растягивается на софе, и, как только его взгляд падает на фотографию Арарата, в нем просыпается «патриот».

Мы нуждаемся во многих товарах, но в импорте патриотизма — никогда.

Я вспоминаю другой вечер, уже в Афинах, в тепленькой компании бывших армян. (Да, **бывших** — это вовсе не запальчивость.) Какой-то лавочник с интеллигентным лицом («Аршак»,— представился он) говорит мне, что «уже двадцать лет жаждет увидеть родину». (До этого с самодовольным видом перечислял страны, в которых побывал, города на побережьях, где с семьей проводил лето.) Другой — молодой человек в накрахмаленной сорочке и с накрахмаленным лицом, некий Мигран, глядя на свою обвешанную драгоценностями жену, просто так, безразлично, словно играючи, спрашивает: «Ну-с, расскажите-ка, что там хорошего — на родине?» И еще несколько человек — из того же театра абсурда. Был только один — с горящими грустными глазами — Акоп. Он вопросов не задает, но я знаю: весь свой заработок тратит на покупку армянских книг, национальных изданий — чтобы послать в Армению. С ним мы проговорим потом до полуночи. А на вопросы тех я не отвечаю. Просто-напросто они сытно поели, сейчас наслаждаются кофе и сладостями и в этой сытой дреме считают необходимым порасспросить кое о чем «человека, приехавшего из Армении». Почему я должен отвечать им, и почему Армения родина этих людей — не понимаю.

---

[1] Айастанцы — жители Армении.

Да, спюрк многолик и многослоен. И лавочник — не только профессия, а химический состав души. Я встречал там, на чужбине, много таких лавочников. Но, к счастью, не они определяют лицо спюрка, а истинные труженики, которые живут Арменией, радуются каждому камню, заложенному в фундамент своей возрожденной родины.

Этот лавочник тоже спюрк? Об этом я думаю с болью. Спюрком себя считал даже мультимиллионер из Фресно, не человек, а прямо вычислительная машина, который хвастался, что он друг Уильяма Сарояна, хотя не читал ни одной его строки и лишь два-три раза играл с писателем в покер.

Я бы чувствовал себя естественнее среди любых иностранцев и на самые острые и необычные их вопросы ответил с уважением.

(Несколько лет назад в австралийском городе Аделаиде одна пожилая дама призналась, что они с мужем всю ночь искали на карте Армению. Мне, конечно, стало грустно, но я долго, очень долго рассказывал им о нашей стране и нашем народе.)

Лавочника с интеллигентным лицом звали Аршак: ясно, что имя дали ему родители, в этом его вины нет. А прошлой зимой в Цахкадзоре я поднимался по канатной дороге к вершине Тегениса. Внизу в сероватой дымке чернел лес, на белом снегу двигались темные точки — люди. Кресло поднимается вверх медленно, я всматриваюсь и вижу: в кресле сзади какая-то девушка, глядя в маленькое зеркальце, подкрашивает ресницы, двое ребят, обернувшись друг к другу, что-то рассказывают и от души хохочут, спит, прижавшись к материнской груди, младенец — цахкадзорская мадонна? Рыжая девушка читает книгу... И вдруг — кто-то снизу зовет: «Аршак, Аршак!» И сразу несколько голосов откликается из разных кресел канатной дороги: «Что, что?...»

Нет, я не вспоминаю греческого армянина, лавочника Аршака (интересно, каким армянином он был раньше — канадским, персидским? И каким будет через несколько лет — австралийским, лунным?..). И в самом деле не вспоминаю: в эту минуту в Цахкадзоре я себя чувствую просто здорово — когда на зов «Аршак» отзываются сразу три-четыре голоса, и сам я вдруг тоже кричу: «Что? Я вас слушаю!»

Хотя зовут меня, как вы знаете, не Аршак.

19

Одна армянская газета, которая выходит в Лос-Анджелесе, часть своего тиража рассылает читателям бесплатно. И вот однажды редактор получает письмо: «Сколько раз отсылать назад вашу газету? Не понимаете, что ли? Мы по-армянски читать не хотим». Письмо было написано по-армянски.

Не то что «не умеем», а «не хотим». С грустью вспоминая эти слова в Ереване, я в который уж раз вынимаю из ящика стола три письма Нины Качаровской.

Письмо начато по-армянски. Буквы словно не написаны, а нарисованы. Ни единой грамматической ошибки, но чувствуется, что автор не знает живого языка. Дальше — уже на русском — Нина Качаровская признается: «Мне очень трудно писать по-армянски, извините за ошибки, но мне непременно хотелось сказать вам что-нибудь на вашем родном языке...

Все началось с того, что несколько лет назад мне случайно попался роман Демирчяна «Вардананк». Он заинтересовал меня, только географические названия показались длинными и непонятными. Я разыскала историческую карту Армении, но оказалось, что она... на армянском языке.

На мое счастье, в Тюмени жили армяне. Они написали мне ваш алфавит, объяснили, как читать буквы. Во мне возникло неудержимое желание произнести какую-нибудь фразу. По-армянски я прочла «Свободу» Налбандяна, затем Чаренца.

Потом я увидела Ереван... В эти дни вокруг я слышала только армянскую речь, и во мне родилась мечта: как следует, по-настоящему выучить армянский язык... Не могу похвастаться, что много знаю об Армении, но даже то, что я узнала и увидела, были лишь отрывочные сведения. «Армянские эскизы» сплели все в одно целое: я увидела **свою** Армению. Простите, может быть, я не имею права употреблять слово «свою», и все же Армения не только ваша, она и моя в какой-то степени. Нет, я никогда не жила у вас, среди моих родственников нет армян, моя специальность тоже не связана с историей вашего народа (я математик, работаю с электронно-вычислительными машинами). Самая любимая река в мире для меня Волга, самые задушевные песни — русские, но Армения, ее история, язык — также дороги мне».

Незнакомый человек пишет мне — Армения не только твоя, и я радуюсь, читая эту фразу. Да, дорогая Нина. Армения также и твоя, и я глубоко верю в эти слова именно потому, что для тебя самая любимая река — Волга, а самые задушевные песни — русские.

Ты побывала в Ереване и знаешь, что твоя родина — это в то же время и **моя** Россия, потому что сыновняя любовь к родному народу не шлагбаум, не тупик для любви к другому народу, а радуга, мост, горная тропа, трудная, но честная. Люди не могут жить друг без друга, не могут жить один без другого и народы. Но любить легче, чем знать. Ты любишь Армению, зная ее, и этой любви я верю.

Во втором письме Нина писала, что их электронно-вычислительная машина уже «говорит также и по-армянски». В письме она выслала перфоленту: «Поняли? Здесь несколько строк из «Армянских эскизов». Я составила небольшую программу, и сейчас машина может написать любой текст... на армянском языке».

Можно ли прочитать эти слова и не задержаться на них?

Девушка, живущая на далеком севере, вдохновлена Арменией.

А вот что написала Нина в последнем письме: «24 апреля,— пишет она,— я с букетом цветов пошла к берегу. Люблю смотреть на волны реки, особенно когда хочу побыть одна и подумать. Я пришла на берег, а там уже начался ледоход. Как раз 24 апреля я смотрела на движущиеся льды и пыталась вообразить себе другую реку — человеческую, которая как раз в эту минуту подымалась, вероятно, к Цицернакаберду, к памятнику жертвам геноцида (помните, в ваших «Эскизах»: «Человеческая река, но движется вверх»?). Мне бы очень хотелось быть в этот день с вами, положить цветы на камни памятника, но... Но я бросила свой букет на льдины, надеясь, что цветы прибудут в Ереван. Добрались ли они?..»

Добрались, дорогая Нина, да, я своими глазами увидел твои замерзшие северные цветы у Вечного огня в Цицернакаберде, они были сплетены с ереванскими лилиями, гвоздиками и розами, и сейчас я хочу представить тебя на берегу чудесной русской реки, опечаленную горем моего народа. Хочу увидеть твои голубые глаза, когда они смотрят на льдины, несущие букет.

Ты не соскучилась по **своей** Армении?.. Она скучает по тебе, по своей русской дочери, Нине Качаровской.

20

Судья растерянно смотрел на заседателей, он нуждался в совете, хотел слышать четкие ответы и... Что делать? Долголетний опыт ничего ему не подсказывал.

А зал шумел: аплодисменты, смех, крики одобрения, возмущенные возгласы.

Внешне спокойны, невозмутимы только обвиняемые— трое молодых людей.

Что же произошло?

В городе должна была открыться художественная выставка. И вдруг за неделю до вернисажа исчезли три картины. Их авторы были в отчаянии, работы выставлялись впервые.

Картины, а с ними и похитители отыскались довольно скоро: не прошло и трех дней. Неожиданно для следователей воры в первый же день признали вину: да, они взяли эти полотна. Дело быстро перешло в суд, потому что выставка уже на носу, а картины должны послужить еще и уликой на суде.

Судебная процедура шла своим чередом. Ребята по очереди повторяли прежние показания. Потерпевшие художники требовали строжайших мер, потому что это не простая кража. И вдруг одному из заседателей пришло в голову спросить:

— Почему вы взяли именно эти полотна? Там было много других.

— Это лучшие,— ответил один из обвиняемых.

Двое других согласно кивнули.

— То есть как? — не понял заседатель.

— На выставке нет больше хороших картин,— спокойно сказал второй парень.— Все остальные — так себе. Зря потрачены и холст и масло.

— У некоторых красивые рамки,— добавил третий,— но нас они не интересуют.

Зал шумел, и в шуме выделился голос:

— Искусствоведы нашлись, тоже мне!

А заседатель задал еще вопрос:

— Может, разъясните свою оценку?

Судья устало посмотрел на коллегу: нет у тебя других забот, что ли? Простое дело тянет, как жевательную резинку. Преступники признались, свидетели выступили, сейчас вынесем приговор, вернемся, зачитаем его — и баста!

— Оценку? — переспросил обвиняемый.— А что изменится, если мы разъясним?

— Во всяком случае — любопытно.

Это произнес один из потерпевших художников. Ему пришлось немало сил приложить, пока его картину приняли на выставку.

— В самом деле интересно,— послышалось с разных концов,— пусть говорит.

— Хотите поразвлечься за наш счет? — грустно спросил один из обвиняемых.

Судья решительно вмешался:

— Выяснение их вкусов не имеет отношения к сути дела.

— Снимаю свой вопрос,— не выдержал его сурового взгляда заседатель.

— Как не имеет? — возмутился вдруг художник, чья картина была в числе тех трех.

В зале сидела большей частью молодежь, друзья потерпевших и обвиняемых. Дело принимало любопытный оборот. Какой-то бородатый поэт без разрешения подошел к кафедре.

— Суд рассматривает серьезный вопрос,— сказал он.— Разве его не интересует, что за люди обвиняемые? Надо выслушать их.

Судья укоризненно посмотрел на заседателя: «Видишь, что натворил?»

— Кто дал вам слово, молодой человек?

— Поздно,— ответил бородатый,— я уже сказал, и все на моей стороне.

— Верно, браво! — раздались возгласы.

— Это не суд, а какой-то фарс,— крикнул с места художник, чей холст был в самой красивой рамке.— Кто такие эти желторотые, почему нас должны занимать их вкусы?

Один из обвиняемых скорбно отозвался:

— У вас, конечно, роскошная рама и краски французские...

В зале послышался смешок.

— Пусть говорят,— произнесли в один голос все три пострадавших художника.

— Ну что ж,— смирившись, махнул рукой судья,— только покороче.

В зале воцарилось молчание. Обвиняемые переглянулись, посовещались взглядами. Потом глянули на при-

слоненные к стене картины, которые принадлежали им только три дня. На одной была изображена молодая девушка вполоборота, видимо, на улице кто-то оскорбил ее, и она обернулась, чтобы узнать, кто это. Глаза ее выражали странную грусть за того, кто обидел: девушка пожалела его. И еще в глазах ее читалась боль. А вокруг кипела жизнь, хотя улицы на полотне не было. Улица, может, и слышала, как оскорбили девушку, но продолжала заниматься своими делами. И девушка была беззащитна, одна — среди людей. В ее глазах не было слез, только удивление: за что?

Так обвиняемый объяснил картину, говорил он сбивчиво, с трудом подыскивая слова, но зал слушал его напряженно. Слушал и судья.

Когда он кончил, раздались хлопки. Девушка, сидевшая рядом с автором картины, пожала ему руку: «Поздравляю!»

Говорили также и двое других — каждый о картине, которую он взял. После выступления третьего захлопали и зашумели все. Зло и презрительно смотрели на обвиняемых только остальные художники.

— Клянусь, это неплохие ребята,— шепнул заседатель, тот, который задал вопрос.

— Ну и что? — мрачно отозвался судья.— Что из этого? Разве не украли они картины?

А пострадавшие художники сияли, как именинники. Они о чем-то переговорили, потом один из них попросил слова.

— Но покороче.

— Я недолго,— сказал художник.— Мы посоветовались и дарим свои полотна этим ребятам. У нас нет претензий к ним.

Аплодисменты, шум, смех.

Судья окончательно растерялся.

Один из художников от имени всех троих вежливо обратился к обвиняемым:

— Ребята, вы только разрешите нам прежде экспонировать эти картины.

— Вы уж извините нас,— ответил кто-то из них.

— Объявляется перерыв,— перекрывая шум, как можно громче произнес судья.— Заседание переносится на завтра, на 11 часов.

Я не хочу сейчас рассказывать о том, чем кончился этот необычный процесс и какое наказание получили ребята.

21

В тот день в городе Крагуеваце шел дождь. Если бы такой дождь шел в кинофильме, мы бы сказали, что его снимали в другой день, когда шел настоящий дождь.

В тот день в Крагуеваце шел настоящий дождь, и природа не знала, какое число сегодня.

На лесной поляне у памятника собралась толпа.

Вначале памятник показался мне непонятным — то ли полураскрытые крылья ласточки, то ли обвалившаяся крыша дома, то ли нахмуренные мужские брови?..

— Это римская цифра пять,— объяснила переводчица.— Чтобы дополнить число жертв до семи тысяч пятисот, они расстреляли также мальчиков из пятого класса гимназии.

В каком классе я был в 1941 году? Во втором. Значит, эти мальчишки были старше меня на два-три года.

Отправляемся в гимназию, где учились ребята. Пятый класс сохранен в том виде, в каком он был в роковой день 21 октября. Парты старого образца, дерево подгнило, на скамейках имена, цифры, рисунки (как и на партах всего мира), на доске недописанная фраза, я не понимаю по-сербски и спрашивать не буду — наверное, обычное предложение, а если его переведут, мне вдруг захочется обнаружить таинственный, скрытый смысл в обыкновенных словах.

Как все произошло 21 октября 1941 года? Сербские гайдуки, или фидаи, были известны во все времена. В октябре 1941 года за несколько дней они убили более тридцати и ранили шестьдесят семь немцев. Генерал Лотар пришел в ярость: «За каждого убитого немца расстреляю по сто и за каждого раненого — пятьдесят сербов. В возрасте от шестнадцати до шестидесяти лет. Только мужчин». С немецкой методичностью начальник штаба занялся арифметикой: в один день надо собрать семь тысяч пятьсот мужчин. Почему-то нужного количества не набиралось, а немцы спешили, пришлось нарушить один из пунктов приказа — «от шестнадцати до шестидесяти»... и пришлось... расстрелять также и пятый класс гимназии, где учились мальчики двенадцати-тринадцати лет.

В один день — семь тысяч пятьсот мужчин...

За холодным стеклом витрины — свидетельства того, что совершилось в тот черный день,— несколько писем,

которые кое-кто наспех успел написать родным перед расстрелом.

Радислав Симич: «Прощай, Мицо, я сегодня погиб. Прощай, мое сердечко, моя последняя мысль о тебе, будь счастлив, сынок, будь и без меня счастлив, прощай...»

Божидар Меленкович: «Ружице, любимая моя, прости за все — в эту последнюю минуту. Вот те 850 динаров. Твой Божо».

Глигорие Джорджевич: «Выдай Меланку замуж и отдай часть наследства моего отца. Не забывайте вашего отца Глигорие, берегите Мицу, не забывайте вашего отца. Я расстрелян, хоть и чист перед богом.

Дорогая мама, позаботься о моих сиротах».

Светислав Миколич: «Мои любимые, милые дети Меле и Андре, Милица, и Миша, и Драга — мой очаг! Отец шлет вам свое последнее слово. До свидания, я иду на смерть!»

Лазар Пантелич (попечитель мужской гимназии): «Мои сыновья, мои родные. Миро, поцелуй от меня детей. Дети, слушайтесь маму, до свидания навсегда. 21 октября».

Петер: Вышлите мне тарелку и ложку, и еще графин, четверть килограмма конфет, папиросы, бумагу и спички, сколько есть. Шнурки для обуви кофейного цвета».

Сава Стефанович: «Косо и дети, я отправился на смерть чистым и невинным, простите меня, если когда-нибудь обижал вас или был груб. Пишу за 5 минут до расстрела. Ваш отец, хороший муж, а также зять и остальное».

Павле Иванович (ученик 6-го класса): «Отец я и Миша сидим в казарме, принеси нам обед, мне свитер и палас. Принеси банку повидла».

Стефан Вуллета: «Дети, отомстите за вашего отца».

Любиша Йованович (ученик 7-го класса): «Дорогие папа и мама, последний раз вас приветствует ваш Любиша».

Авторы этих строк — рабочий, учитель, священник, гимназист, пожарный, и незатейливые, простодушные строки их писем — это документы истории двадцатого века. Обвинительные документы.

На лужайке около памятника — море народу. Венки. Флаги. И вдруг невесть откуда подбегает стайка маль-

чишек. В руках у каждого по колокольчику, обычному школьному колокольчику. Их звон нарушает безмолвие. Свинцовая память прошлого, давящая на глаза, сердца людей, даже на деревья и цветы, словно улетучивается. У детей улыбающиеся лица, они полны жизни, энергии. Они звонят в колокольчики, которые в горестном молчании звучат словно эхо.

Белый памятник — невообразимо огромная птица, у которой одно крыло перебито, и она не может больше летать. Мальчики со звоночками многого еще не понимают, и для них, наверное, 21 октября праздничный день. А памятник-птица не летает. И не говорит...

Я вспоминаю другой памятник в центре Белграда. На низеньком постаменте лежит мраморный подросток, сверстник этих трезвонящих мальчишек, рядом валяется разбитый кувшин. Мальчик мертв. На постаменте выгравирована дата — 1862.

— Что это? — спрашиваю я.

И мне рассказывают историю Чукура-чесмы.

Тогда, в 1862 году, Сербия была под владычеством султанской Турции. Военный гарнизон расположился в цитадели Белграда, и начальство бдительно следило, чтобы флаг с полумесяцем развевался над всеми турецкими крепостями в Европе. В те времена Белград был гораздо меньше, а за городом, на лесной опушке, бил родничок Чукур. И маленький Савва подставил кувшин под ручеек, ждал, пока он наполнится. День был солнечный, небо звонко голубое, а голова Саввы полна сумасбродными мальчишескими мечтами. Струйка воды тонюсенькая, кувшин большой, Савва слушает бульканье, а уши жадно ловят звуки неба, земли, леса. Кто-то толкает его. Это солдат, у него в руках тоже кувшин, и он пришел за водой.

«Сейчас наполнится»,— спокойно сказал Савва.

Солдат наклонился к роднику, хотел заменить кувшин мальчика своим. Савва схватил его за руку, наверное, чтобы помешать, и вдруг солдат поднял ружье и проткнул мальчика штыком. Вот так просто воткнул в него блестящий штык. Мальчик упал, кровь смешалась с водой, струящейся по траве. Солдат отшвырнул ногой кувшин Саввы, кувшин ударился о камень, разбился. Потом солдат спокойно, словно ничего не произошло, подставил под струю свою посудину. В эту самую минуту к роднику подбежал сербский воин, он все видел издали.

Посмотрел на умирающего мальчика и выпустил в солдата все пули из своего ружья.

С трагедии у Чукурского родника и началось очередное восстание сербов за свою честь и независимость. Борьба длилась около месяца и закончилась изгнанием врага.

Годы спустя возле этого родника воздвигли памятник, который сейчас оказался уже в центре Белграда — город вырос, над миром прокатилось с тех пор сто двадцать лет.

Вчера мне показали этот незамысловатый памятник, и сегодня в Крагуеваце, услышав в школе звонки, зовущие на большую перемену, я вдруг вспомнил маленького Савву, которого более ста двадцати лет назад, в 1862 году, в жаркий июньский день, просто так, за то, что он на пять минут раньше хотел наполнить водой свой кувшин, закололи штыком.

Когда родился фашизм, как выглядела его первая личина? Кто выстрелил первой фашистской пулей?

...А на зеленой лужайке, которая в эту минуту мне кажется классной комнатой без стен, без начала и конца, колокольчики уже умолкли.

Начался великий урок истории.

Учительница-сербка вполголоса переводит мне, она тоже взволнована, а моя рука быстро наносит на бумагу заметки. Звонкий детский голос не столько спрашивает, сколько утверждает:

«Те, кто лежат сейчас здесь, под землей, стали бы взрослыми. Разве не были бы они врачами, строителями, учителями?»

«Были бы»,— отвечают тысячи голосов.

«Они были бы веселыми, сильными, остроумными, грустными, смелыми?..»

«Да».

«Высокими, худыми, широкоплечими, крупнотелыми?»

«Да».

«Отцами, дядями?»

«Были бы».

«Были бы,— грустно звенит тоненький детский голосок,— но они вошли с последнего своего урока истории в историю, чтобы остаться там навеки».

Я осматриваюсь, вижу людское море, страдающее, вспоминающее и плачущее тысячами глаз. Здесь ведь родные, близкие, друзья погибших. Откуда-то доносится: «Воды, воды!» Какая-то женщина упала в обморок: чья-то мать, чья-то сестра...

...Другой детский голосок продолжает великий урок.

«Каждой весной с синим небом и травой возвращается любовь. А ваша любовь уже не вернется. Увы, мы ничем не можем помочь вам.

В груди нашего города — пуля, и ни один хирург не может ее извлечь...»

В ответ раздается голос, состоящий из тысячи других.

«Любовь умирает, но мечта о свободе остается».

«История поставит вам отлично по поведению, озорные, добрые, печальные, умные ребята. Всем».

«Поставит, поставит всем отлично»,— гремит хор.

Напротив меня в кресле немецкий писатель. Из Западной Германии, кажется из Мюнхена. Вчера он выступал. Утром я усомнился: приедет ли в Крагуевац? Приехал. Сейчас сидит неподвижно, его голубые глаза из-под толстых стекол глядят смущенно. (Спустя какое-то время, когда мы соберемся у писателей Крагуеваца, именно тот, в очках, скажет: у фашизма нет родины, но каждый писатель и человек — наследник истории своего народа, даже самого мрачного периода этой истории. Я склоняю голову перед вашим горем, перед трагедией Крагуеваца).

Мальчик у микрофона обращается к своему другу, к своему сверстнику, если только вычесть разделяющие их 33 года:

Эй, Горан,
Ты там, под землей...
А сейчас праздник,
Ты в грязной одежде, не причесан.
Ты там, под землей,
Единственные облака твоего неба —
Белые корни деревьев...

Я вздрагиваю от этой наивно-реалистической картины — «единственные облака твоего неба — белые корни деревьев». Ведь если они под землей, но «живут», значит, их небо — это земля, где тянутся-плывут белые корни деревьев — облака. Мне внезапно хочется поверить в сказку о загробной жизни.

Представляю вместе с ними и того заколотого штыком сербского мальчика Савву, кувшин которого так и не наполняется водой уже сто двадцать лет. Может, где-то там он встретился со своими сверстниками, мальчиками из Крагуеваца. Я вспоминаю, как Добривое Маркович увидел фашистских солдат. «У немцев был страшный вид. Глубокие круглые каски закрывали их волосы и лоб, глаза большие, навыкате. Взгляды словно проникали нам под кожу, пронизывали насквозь». Каким увидел маленький Савва того солдата, каким был взгляд его перед тем, как он всадил в ребенка штык? «Несколько детей попросили воды напиться, немцы вывели их и расстреляли прямо у стены. Потом вернулись и поинтересовались: «Кто еще хочет пить?..» Мы молчали». (В тот кровавый день 21 октября 1941 года спасся один только Добривое Маркович.) А отправившийся за водой для своих маленьких сестренок Савва? Из дали ста двадцати лет он протягивает руку крагуевачанам, которых расстреляли, не дав им попить воды?

А на поляне под мягкий шелест дождя все продолжается великий урок истории.

Волнуется людское море. Волны Горя ударяются об утесы Забвения и Равнодушия, утесы отступают, сдаются. Мои глаза тоже полны слез. Учительница-сербка вытирает глаза, я уже стесняюсь просить, чтобы она переводила, да и можно ли перевести слезы? Крагуевацкие мальчишки — почти мои ровесники, старшие братья, и я хочу повторить вместе с ними:

Наша родина
Маленькая, как сердце...
И большая —
Как сердце...
Матери,
Рождайте нам новых братьев и сестер
Назло смерти.

И мне кажется: из той столетней дали эти слова произносит и маленький Савва, чей кувшин так и не наполнился водой...

Колокольчики снова звенят в руках у мальчишек. Урок кончился. Перемена. До 21 октября следующего года. Великий урок истории длится ровно 45 минут, по времени столько же, сколько обычный школьный урок.

Ущелье постепенно пустеет, люди расходятся, остаются только цветы, венки.

«У фашизма нет родины»,— во мне снова звучат слова западногерманского писателя, и я понимаю, что эти слова имеют продолжение: да, у фашизма нет родины, но год его рождения нуждается в уточнении.

Когда родилось это коричневое чудовище?

в 1922 году в Италии?..

в 1933 году в Мюнхене?

в 1936 году в Испании?

А может, дата рождения фашизма — 1862 год, когда турецкий солдат просто так заколол двенадцатилетнего сербского парнишку, который пришел к роднику, чтобы набрать воды для своих сестренок?

22

Почему мне вспоминается замок Добжич, не знаю.

Прислушиваюсь к жуткой перебранке женщин нашего двора и вспоминаю...

Там, в замке Добжич, словно законсервированный, сохранился восемнадцатый век. Замок слегка обветшал, он кажется обедневшим дворянином, который донашивает свои шитые золотом ветхие платья, пользуется каретой, ему уже не принадлежащей, отобранной давно и безвозвратно.

Ворота замка, а их несколько, были похожи на двери, ведущие в совершенно иной мир, и, казалось, не имели ничего общего с внешним миром. Двор устилали мелкие плиты, я слышал стук колес въезжающих карет, цоканье копыт, видел красные от выпитого пива подчеркнуто почтительные лица кучеров. Во дворе был фонтан с бронзовой акулой, в последние годы в ее пасть вставили кусок грубой трубы, откуда и текла вода.

Печально красив был французский парк с побитыми скульптурами, сухими фонтанами, с неухоженными аллеями, скорее печален, чем красив. В глубине сада стена была разрисована под фасад дворца. Если бы рисунок был сделан искуснее, создалось бы впечатление, что и там роскошный дворец. За парком смотрели кое-как, он был точно лишенная прислуги княгиня.

И были весьма похожи на этот замок его теперешние обитатели (сейчас это дом творчества чешских писателей): преимущественно старики, церемонно раскланивающиеся друг с другом и ведущие бесконечные беседы во дворе или в разных уголках парка. О чем?

Здесь ничего не происходило, а замок был словно создан для любви, ревности, таинственных убийств. Неизвестный зодчий предусмотрел для всего этого прекрасные уголки.

Время здесь будто застыло. Стрелки больших часов остановились на 8.30 — какого века, года?

В день моего приезда здесь царила такая тишина, что я испугался (мы давно уже отвыкли от тишины и от неба, где летают только птицы). Мне даже захотелось, чтобы с ревом проносились машины, чтобы самолеты наполняли воздух шумом и гарью.

Я стал внимательно наблюдать за обитателями замка.

Женщина лет за пятьдесят ежедневно меняла платья — для кого? Одевалась в длинное, ступала как герцогиня, смотрела по сторонам таинственно и чарующе. Увы!

Другая — хорошенькая современная девица — иногда надевала джинсы, бродила чуть не полуголая, демонстрируя свои прелести, и — никакого впечатления. И тоже по нескольку раз на дню меняла одежду, но, видимо, не понимала, что время в этом замке остановилось и она не вписывается сюда.

Старики, живущие прошлым, и люди помоложе, на которых действовала царящая здесь атмосфера, казалось, не замечали молодой девушки. При встрече же с дамой вставали с места, старались поймать ее взгляд, оказать услугу.

Девушка мечтала, чтобы в замке произошло что-нибудь интересное, пусть даже убийство, явилась бы полиция, репортеры стали бы ее расспрашивать, написали о ней в газетах.

А даме хотелось золоченых карет, пышных балов, где при ее появлении лакей громко объявлял бы ее фамилию...

Девица предполагала под каждым кустом безумно влюбленного, а немолодая вышагивала надменно и словно не замечала ничего — ни кустов, ни людей.

Но в старом, уставшем от жизни замке ничего не происходило. Молодая смотрела на даму с нескрываемой насмешкой и подчеркнуто перестала с ней здороваться. На лице женщины в первый день дрогнул какой-то мускул, но затем она стала прежней и встречала девушку с мягкой, снисходительной улыбкой. Она, естественно, первая не здоровалась: в том времени, в котором

она жила, это ведь полагалось делать более молодой.

Привратница, изможденного вида старая женщина, когда ни пройдешь мимо, пила пиво и отпирала для машин старые, тяжелые, с витыми украшениями ворота. Машины, как камни, брошенные в тихий пруд, приводили в движение остановившееся время замка, потом все входило в обычную колею и часы на стене все так же показывали 8.30. Но какого века и года — знали только сами часы.

С каждым часом девушка все больше нервничала. Уж если не было ничего интересного, пусть хотя бы ворвался ночью в ее номер, заставленный старинной мебелью, кто-нибудь и попытался изнасиловать ее на широкой, тяжелой и бесполезной кровати.

А дама ждала посланий, написанных на надушенных листках фиолетовыми чернилами, на которые она, конечно же, не ответила бы, но бережно сохранила бы в несуществующей шкатулке из слоновой кости.

Но никто не врывался в номер девушки и не посылал писем даме. После десяти часов замок погружался в молчание, все запирались в номерах, и толстенные, надежные стены не пропускали звука.

И девушка стала уже откровеннее проявлять свою враждебность к даме, она стала даже высмеивать ее одежду, походку, и здоровый наглый смех ее звучал диковато в немощном, но благородном теле замка.

И однажды ее пригласил к себе директор. «Вижу, панна, и все, кто здесь живет, тоже замечают, что вам скучно. А вы так молоды и приехали развлечься». «Кто вам сказал? — удивилась девушка.— Я себя прекрасно чувствую». «Нет, нет, панна, нас это не затруднит, я уже договорился с гостиницей «Олимпия», там есть бар, оркестр, а все расходы замок берет на себя». Она поняла, что это уже приказ, а не приглашение, и вдруг сразу сдалась: «Да, да, вы очень добры, «Олимпия» и в самом деле мне больше подходит». «Согласны? — вежливо улыбнулся директор,— ведь все жители замка обеспокоены, что вы невесело проводите свой отпуск. Через двадцать минут наш автомобиль будет у входа». Девушка грустно, задумчиво поднялась в свой номер на втором этаже, закрыла дверь и быстро собрала вещи в чемодан.

Выходя, она кинула последний взгляд в старинное овальное зеркало и помахала своему отражению: «Прощай, Мари».

И вышла во двор, где ее уже ожидала машина.

Обитатели замка гуляли по парку или сидели возле фонтана, и они с удивлением посмотрели на девушку, впервые одетую сдержанно и женственно. Она поздоровалась с ними и тут же сказала: «До свидания». И все поздоровались с ней, в том числе и дама с аристократической внешностью.

И все сказали ей: «До свидания».

Когда машина медленно выскользнула из мощенного плитами дворика, людей охватила странная печаль, словно что-то ушло безвозвратно: наверное, поняли они вдруг, что лишь присутствие девушки позволяло им жить в прошлом, и только после ее отъезда заметили, что часы остановились на 8.30, и тишина показалась кладбищенски равнодушной.

А девушка плакала в машине медленно, беззвучно — неизвестно из-за кого и из-за чего.

— Вам грустно, панна? — мягко спросил водитель.

— Да,— ответила она,— очень.

Потом, через три-четыре дня после ее ухода, пожилая дама из Польши, беседуя с кем-то о жизни, о том о сем, сказала: «Не понимаю я пожилых женщин, которые с завистью или, извините, со злобой смотрят на молодых интересных девушек. Ведь сами когда-то были молоды и интересны, и разве молодые когда-нибудь не состарятся? Это же так естественно».

Все замолчали, подумав об одном и том же, все почувствовали какую-то вину, хотя больше никто не произнес ни слова, а я посмотрел на этих дам со светлой и мягкой завистью, закурил и надолго задумался о девушках и женщинах моего народа.

...А женщины нашего двора продолжают свою неуемную перебранку.

23

Писателю не хватило бы воображения выдумать такую историю. Сомневающимся советую отправиться на Ошаканское кладбище и разыскать те могилы.

Начало этого жизнеописания мало чем отличается от тысячи подобных биографий. Один из двух братьев, осиротевших в 1915 году, попадает в Грецию, другой — в Болгарию. Тот, что попал в Болгарию, после ряда при-

ключений через Иран добирается до родины, обосновывается в селе Ошакан, обзаводится семьей. Ему часто вспоминается брат, однако время постепенно примиряет его с потерей. И однажды в 1948 году брат объявляется. Прошло тридцать лет, воспоминания выцвели, они долго расспрашивают друг друга о том о сем...

Брата звали Рубен. Он был женат на гречанке. Его семья осталась в Греции. Жена Рубена Тиано, вероятно, вправе была сказать ему: «Ты уезжаешь на родину, а мне придется покинуть свою родину». Ничего как бы не изменилось, они остались семьей, шли письма из Ошакана в Афины, из Афин в Ошакан.

Рубен умер в 1974 году. Тиано смогла приехать на могилу мужа только в 1980 году. Ей было семьдесят пять лет, но, опустившись на колени у его надгробья, она оплакивала своего молодого мужа. Зажгла на могиле свечи и воскурила ладан, который привезла из Греции. Много привезла ладана. «Прошу вас,— сказала она,— пусть всегда будет только этот ладан, мой муж любил Грецию». Она садилась или преклоняла колени у могильной плиты и не отрывала сухих глаз от имени и фамилии мужа, высеченных на камне.

Так прошла неделя, и Тиано уже собиралась обратно домой, как вдруг ночью у нее случился сердечный приступ. Ее отвезли в больницу, а через два дня Тиано скончалась. Перед смертью она сказала врачу: «Если что... похороните меня здесь». Так скорбно кончилось свидание с любимым, которого она прождала тридцать два года.

Ее похоронили на Ошаканском кладбище рядом с мужем, и над плитой поднялся дымок от ею же привезенного ладана. Они вновь и уже навеки были вместе.

Знала ли она, что едет умирать? Нет, ехала на свидание. Она была молода и здорова, ибо ее любимый жил в ней молодым. Но, может, произошло и необъяснимое — приехала соединиться с ним, ведь было бы жестоко, если бы их могилы оказались разделенными. Значит, смерть оказалась добрее, чем жизнь, и любовь отпраздновала свою победу.

Вот какие новеллы пишет жизнь.

Поезжайте в Ошакан и поклонитесь могиле гречанки, принесите ей цветы и хоть несколько минут да постойте молча, подумайте о любви людей.

Это нужно.

24

Если бы принято было высекать на надгробном камне географию прожитой жизни, что бы написали на могиле этой женщины: «Харберд — Марсель — Аштарак — Рим»?

Но кто бы в этом разобрался и что вообще можно было бы понять из этой печальной географии?.. Она умерла в Италии, на перевалочном пункте для перемещенных лиц, похоронена как беженка, и у нее не будет надгробного камня. Ее наспех похоронили сын и дочь, у них были билеты на самолет в Нью-Йорк. Времени не хватило...

Я не стану называть имени этой женщины, трое других ее детей живут в Армении, не хотелось бы растравлять их раны.

В 1915 году, потеряв родителей и близких, испытав всю горечь беженства, она попала во Францию. Здесь встретилась с таким же сиротой, они поженились, пошли дети — четверо сыновей и дочь. В 1947 году репатриировались в Армению, обосновались в деревне Аштарак. Казалось бы, окончены скитания и семья наконец пустит корни на родной земле. Но после смерти отца семья распалась. Старшему сыну Врежу привиделись райские сны о прекрасной жизни в Америке. И восьмидесятилетняя мать с сыном и дочерью (ее зовут Вардуи) пустилась в путь. Уже в Москве старушка попала в больницу, но американский магнит притягивал детей, и больную втиснули в самолет, словно чемодан. «Там вылечат,— успокоили дети свою мать,— там все вылечивают».

У французского армянина, моего давнего знакомого, увлажняются глаза, когда он рассказывает эту историю.

«Вдруг звонит из Рима Вреж: «Мать положили в больницу... умирает... помогите».

А через четыре дня — звонок из центра эмиграционных лагерей в Риме. Незнакомый женский голос.

«Умерла мать Врежа. Они уехали. Очень торопились и попросили меня позвонить».

Я слушаю печальную историю жизни человека и хочу представить Врежа и Вардуи в Риме, у останков своей матери. Успели ли они предать тело земле или, заплатив, препоручили это кому-то другому? Ведь самолет улетал, а им не терпелось поскорее добраться до своей мечты.

Что снится теперь молодому армянину Врежу и как он будет жить дальше? Вероятно, в его гостиной (если он уже обзавелся домом) висит на стене увеличенный портрет матери, и когда собираются друзья, он со слезами на глазах поднимает бокал в память о ней. Неразрешимые вопросы, на которые нет ответа. Эта рана долго будет болеть во мне, хотя я не был даже знаком с той женщиной и ее детьми.

«Через две недели получаю письмо из Еревана,— продолжает мой французский друг.— Пишет младший сын: «Перед отъездом мать сильно захворала. Мы о ней ничего не знаем. Не могли бы вы что-нибудь сообщить?» Что можно ему ответить? И стал ли бы кто-нибудь на моем месте отвечать?» — печально заключает он свой рассказ.

Я тоже не хотел бы отзываться на такое письмо, и эти мои строки вовсе не попытка ответить на неумолимый вопрос.

Эту семью я приметил еще в Москве, в Шереметьевском аэропорту. Мы, армяне, почти всегда сразу узнаем друг друга. То были отец, мать и трое сыновей. Я услышал их разговор — так и есть, армяне... Вне Армении мы сразу спрашиваем друг друга — армянин? Куда едешь?.. Они не спросили, они словно даже избегали моего взгляда (один из сыновей, Арсен, узнал меня, сказал это уже в самолете. У них, видите ли, тетка в Сиднее, выяснилось, что без нее они жить не могут... Не получился у нас разговор).

Когда в Сиднее мы выходили из самолета, я оглянулся — они стояли в просторной пустоте «Боинга-747» и что-то обсуждали. Мне показалось, что стоят они в пустыне Тер-Зор — такие они были одинокие и беспомощные. И жалкие, но не так, как те, угнанные насильно. (Через год родне, оставшейся в Ереване, придет отчаянное письмо от Арсена. У нас он был научным работником в Матенадаране, а в Сиднее, чтобы не умереть с голоду, пять лет чистил общественные уборные.)

Если бы в ту минуту я знал историю Врежа и Вардуи, я бы подошел к ним и рассказал ее. Уверен — когда-нибудь они вспомнили бы об этом.

Будь у меня в ту минуту с собой пленка с записью игры скрипача Раффи, я подарил бы им, чтобы они равок прослушали ее.

Самого Раффи я впервые увидел лишь спустя четыре года в маленьком кабаре американского города Пассадены. Сигаретный дым, смех, сидящие за столиком пары обнимаются, целуются, пьют, а на сцене седой скрипач играет «Крунк». Мы подошли поближе. Седой оказался молодым человеком.

— Он армянин,— объяснил мой спутник. Но это было ясно и так.

Господи боже, как он играл! То был крик, стон, молитва, мольба, то была не песня, даже не «Крунк»! А чуть погодя скрипач подошел к нашему столу, и я спросил: «Зачем ты играешь «Крунк» для них?» «Я для себя играю,— последовал мрачный ответ.— Их я не замечаю».

Хочу надеяться, что Раффи сможет вернуться в Армению, волосы его, конечно, не восстановят свой цвет, и в сердце останется шрам, след тяжких прожитых (вернее, непрожитых) лет...

«Смогу ли я обрести в Армении то, что потерял?» — грустно спросил, прощаясь, Раффи. Он верит, что вернется на родину, соединится с семьей, вновь станет отцом своих детей.

Не знаю. Прожитая жизнь не песочные часы, которые перевернешь — и повторится все сначала.

Не знаю, Раффи.

Отчего я вновь и вновь вспоминаю то, что услышал однажды в Ереванском аэропорту? Плакали все — и те, кто уезжал, и те, кто провожал, а какая-то женщина на ступеньках трапа голосила: «Чтоб отсохла рука у того, кто разрешил нам уехать!»

О Родина! Ты, и только ты обязана, даже осуждена все понимать и... все прощать.

А та женщина, что кричала,— тоже твоя частица...

25

«Ты спрашиваешь, где найдешь покой после смерти? Там же, где ты находился до рождения».

И рожденный в Америке известный американский писатель за несколько недель до смерти собственноручно напишет в своем завещании: «Если возможно, перевезите мой прах в Армению». Через несколько месяцев после его смерти во Фресно в его доме я буду рассматривать рисунки писателя (под конец жизни он много рисовал) и вдруг на одном из них прочту: «Ах, Армения!..» «Ах»

написано было по-армянски, «Армения» — по-английски. (Я вспоминаю другого писателя, тоже армянина и тоже скитальца: «Во французском нет такого слова — «карот» [1], «карот» не переводится на французский».) После мне расскажут, что дочь американского писателя, для которой до этого Армения вообще не существовала, заказала панихиду по отцу в армянской церкви Лос-Анджелеса, попросила запереть все двери, прослушала панихиду в полном одиночестве и плакала, плакала...

И рожденный во Франции певец, немеркнущая звезда французской эстрады, который до этого ни в одной из своих песен не упоминал, что он армянин, однажды вдруг запоет, нет, закричит в ухо дремлющему миру: «Они пали, в чем их вина? В том, что они — дети Армении. Я сам — из этого племени, что покоится без могил».

И богатый армянин из Монте-Карло, владелец особняков в пяти европейских городах, в свои 82 года вдруг решит прожить последние дни в Армении. «Мне достаточно двух- или трехкомнатной квартиры»,— скажет он мне.

И семилетний мальчик, чей дед родился на чужбине, побежит за нашей машиной. «Дядя, возьмите меня в Армению». И малыш поехал бы, если бы мы взяли, обязательно бы поехал...

И студент-армянин из американского колледжа однажды в окровавленной, изодранной одежде придет к своему учителю: «Учитель, по твоей вине меня избили. Когда раньше одноклассники называли меня «грязным армянином», я молчал. Помнишь, ты учил меня нашей истории? А сегодня я ударил оскорбившего. Они избили меня, учитель, их было много, напали все на одного...»

Родина...

Из Аделаиды мы полетим в Бризбон, и Роберт Ньютон, наш австралийский гид, покажет из иллюминатора: «Вон, видите, там наш дом». Мы не увидим, но посмотрим ему в глаза: да, он видит, и видит не только свою крышу, а даже, может, свою мать, которая стоит на пороге или балконе и смотрит в небо. Она знает, что ее сын должен был лететь. И в зеркале зрачков Роберта Ньютона в эту минуту наверняка отражается его родной дом.

Наверное, Родина — это как раз то, что ты всегда видишь, а другой нет.

---

[1] Карот — тоска, тоска по родине.

Наверное, Родина — это нечто такое, чего терять нельзя, ибо, как сказал поэт, после этого тебе уже нечего будет терять.

И повторим слова поэта: Родина — это то, что невозможно понять умом, не измерить общим аршином. Это то, чему можно и нужно только и «только верить».

Где обитает Родина и как, каким чудом живет она? Часто даже тайком от человека, часто даже вопреки человеку, как-то автономно, она живет в раковине, словно жемчужина, и становится последним, самым последним собеседником человека.

Когда двое армян встречаются на чужбине, их все равно трое, рядом с ними незримо стоит Родина.

Мы в мире фантастических огней Елисейских полей, а вокруг Париж — красочный, звонкий, со своими соблазнами, будоражащим ночным шумом, прекрасными парижанками, волшебной игрой красок, оттенков и, наконец, со своей историей.

Мы сидим среди всего этого сверкания, два армянских писателя, один из Еревана, другой из Лиссабона, а на маленьком столике два бокала виски.

Мы говорим, говорим, говорим...

Говорим о наших соотечественниках, хватающихся за соломинку в океане чужбины. Словно и нет вокруг ночного Парижа со всеми его соблазнами... Мы втроем: двое армян и Армения.

(Вспоминаю живущих в Канаде русских эмигрантов уже второго поколения. В своем клубе они пели русские песни. Какая печаль была в их глазах... Я уверен, что в ту минуту они видели Россию.)

Я читал: известный лингвист, знавший десятки языков, под конец жизни позабыл все эти языки и мог говорить только на грузинском, на котором мать пела ему колыбельную...

(И снова вспомним: человек, живущий на чужих берегах, запирался в четырех стенах и разговаривал вслух, чтобы не умерли в нем армянские слова, ибо в городе не было другого армянина, не было хоть одного-единственного собеседника.)

Родина!..

Не любя тебя, невозможно любить остальной мир; и потеряв тебя, нечего будет уже терять... Поэтому не спрашивай, где найдешь покой после смерти. Мудрые

латиняне давно ответили на этот вопрос: «Там, где ты был до твоего рождения».

И бойтесь человека без родины.

Не верьте его клятвам в верности.

26

Мое посещение кипрской школы «Нарек» совпало с печальным днем, хотя дети встретили меня, выстроившись на тротуаре, и были до слез трогательны. И живая цепь, и волнение в глазах, и цветы, предназначенные не мне, а родине. Просто я приехал с родины.

В этот день хоронили старейшую учительницу Маро Гебенлян. Шестьдесят лет работы в школе, сама дочь учителя — какая прекрасная и трудная биография! Когда завершилась встреча с учениками, после того как дети прочли стихи, спели, я собрал все преподнесенные мне цветы и попросил проводить в дом покойной — это ее цветы и это Армения велит мне вернуть их ей.

...Армянские книги, картины армянских художников на стенах, на письменном столе стопки ученических тетрадей — такой знакомый мир, мир учительницы. «У мамы была мечта — перед смертью еще раз побывать на родине,— печально говорит ее дочь, — не получилось».

(Гляжу на стопки ученических тетрадей, на учебники. Учебники... В октябре 1915 года группа спасшихся от резни учителей хотела открыть первую армянскую школу в Алеппо или в Латакии. Были учителя, ученики тоже, но вот учебников не было. И учителя диктовали, кто что помнил наизусть. Так были составлены учебники. Рукописные учебники. Потом их переписали в нескольких экземплярах и раздали детям...)

Мне сложно принять участие в похоронах. После кипрской трагедии через весь город протянули колючую проволоку. Армянское кладбище оказалось по ту сторону проволоки (а также церковь и знаменитый монастырь св. Макара на северном побережье острова, откуда, говорят, видна Киликия). Так вот, по решению оккупационных властей в похоронах могут участвовать не больше двадцати человек, чьи фамилии должны быть заранее сообщены.

Бедная тикин[1] Маро, значит, тебя смогут предать земле всего несколько человек, хотя проводить тебя со-

[1] Тикин — обращение к замужней женщине, мадам, госпожа.

бралось бы все армянское население Кипра, приехали бы даже из других стран (все-таки шестьдесят лет твоего труда).

(Когда мы выходили из школы «Нарек», ко мне подошел мальчуган. «Сегодня день моего рождения,— сказал он, протягивая печенье,— попробуйте, пожалуйста, его испекла мама». «А ты угостил своих товарищей?» — спрашиваю. «Конечно, всех угостил,— с глубочайшей серьёзностью отвечал малыш,— честное слово».)

Да будет легким твой последний путь, учительница, ведь сегодня день рождения твоего ученика, и он говорит на языке, которому обучила его ты.

Мне хочется верить: когда-нибудь в Ереване мы поставим памятник Армянскому Учителю, и в этом монументе будешь также и ты, тикин Маро.

27

Некий полковник в отставке провел к своему родному селению родниковую воду. В деревне водопровода не было, воду до этого брали из ущелья,— наверное, эта жажда постоянно жила в нем и не давала покоя все годы. Он пробыл в деревне около шести месяцев, работал один-одинешенек и все сделал своими руками, на собственные сбережения. Однажды село получило воду. Люди обрадовались, и все-таки нашелся человек, пробурчавший: «Он сделал это, чтобы прославиться».

Воистину тоже надо иметь счастье, чтобы ты сделал доброе дело и тебя поняли.

28

Один немолодой выходец из Карса, который, попав в Канаду, так и не научился английскому языку, возмущался: «Что за страна! Не знает даже, что такое соль. Чтобы купить соль, надо в магазине проделать тысячу разных штучек, вертеть пальцами, руками, чтобы их тупые башки заработали и они поняли тебя».

В Каире в пустом вагоне метро сидели две армянки и беседовали. В вагоне кроме них был еще темнокожий человек. «Тише, милая,— сказала одна женщина другой,— могут услышать». «Услышать? — удивилась та.— Но разве он нас поймет?» «А если пойму?» — на чистейшем армянском произнес темнокожий.

Женщины изумленно замолкли.

«Мой отец эфиоп,— сказал он,— мать армянка, родом из Киликии. Она научила меня армянскому».

29

Русская женщина восьмидесяти лет, прочтя мои «Эскизы», прислала подарок. Вначале я не понял, что это такое. Вроде бы книга в деревянном переплете. Открыл эту «книгу». Деревянный переплет был набит пирогами. «Сынок,— прочел я в приложенном письме,— я их сама испекла. Обязательно попробуй».

Такой «рецензии» обо мне не писали никогда и, вероятно, не напишут. Я ей ответил: «Спасибо, мама».

30

Что за вечер выдался у меня!..

Мы сидели в ресторане «Парос». Он расположен на холме и похож на аквариум: стены стеклянные и со всех сторон — Ереван. Уже зажглись огни города, оркестр оживился, оживились и люди, наполнившие ресторан.

Одна за другой сменялись армянские и зарубежные мелодии, публика танцевала. Казалось, собралась одна семья, люди улыбались друг другу, приглашали на танец.

Я чувствовал себя отлично, мой гость, болгарский писатель,— тоже. С нежностью я глядел на танцующих: молодые, пожилые, даже старики, как они веселились! Я думал: сколько нерастраченного веселья в нашем народе и за сколько поколений они радуются!

Моего болгарского гостя пригласили танцевать, переводчицу тоже. Хорошо!

И вдруг... Что такое? Все перемешалось, музыка еще гремела, но танец прервался, сменился дракой. Девушки, женщины, только что танцевавшие с мужчинами и вносившие в бешеный ритм нежность, оказались в гуще дерущихся; одни пытались разнять мужчин, другие присоединялись к ним и чуть ли не участвовали в свалке («Изнеженные дамы армянской земли»?!).

Я был потрясен, переводчица лишилась дара речи, она как-то сразу забыла и русский и болгарский, а гость пытался взглядом подбодрить меня: ничего, такое везде случается.

Неужели это те самые люди, которые только что так

по-родственному веселились! Да, это были те же люди, я помнил лица некоторых из них, улыбки, доброту, которые они только что излучали... Сейчас они были злы и непримиримы. Кто-то потянулся к стульям, к бутылкам из-под шампанского. С чего началась драка, наверное, с пустяка: кому-то показалось, что кто-то не так посмотрел на его жену или дочь. Только показалось, и все. «Да как ты смеешь!..» Я знаю: когда они угомонятся, со стыдом опустят головы и никто не сможет разобраться, с чего же все пошло,— но теперь... С какой яростью кидались они друг на друга: сжатые кулаки, налитые кровью глаза.

Я вдруг заметил: несколько молодых людей окружили наш стол и оттесняют дерущихся, если они подходят ближе. Ребята стали стеной. Один из них узнал меня, оказывается.

Драка прекратилась так же быстро, как и вспыхнула.

Двоих парней, скрутив им за спины руки, вывели. (Как выяснилось, это были зачинщики, а потом каждый стол встал на защиту своего «драчуна», и началось.) Драка быстро угасла, но погасла и радость. Люди как-то притихли. Сидя за потерявшими праздничный вид столами, они словно только сейчас осознали, что произошло. Женщины украдкой вытирали слезы, пожилые о чем-то говорили долго и раздраженно.

Это больше походило на поминки, чем на веселье.

Мой гость вдруг вспомнил (или сочинил?) о подобном же случае в одном из ресторанов Варны. Оркестр теперь исполнял только грустные мелодии. Дудук хрипло жаловался на что-то, певица, накинув шаль на оголенные плечи, прикорнула на стуле.

Потом я увидел, как от одного стола пошли к другому (объясняться или просить прощения?).

Заметил, что какая-то девушка плачет, и краска с ее ресниц тонкими черными ручейками стекает по красивой гладкой коже. Я подошел, чокнулся с ней.

— За вас! А с ними вы не пейте.

...Это был веселый вечер, это был грустный вечер. Что за вечер выдался у меня.

31

Этого отца я не видел, только слышал о нем. Он оставил семью в Армении, переехал в Америку один (семья отказалась ехать с ним) и оттуда все время слал письма,

спрашивал, что они делают, как живут, давал советы. «Что за времена,— часто жаловался он,— что за поколение! Разве мы такими были? Чтобы сын не прислушался к слову отца?.. Я ежедневно даю им советы, пишу, как поступить, что делать, а они гнут свое. Старший сын даже не постеснялся написать: оставь, мол, при себе свои советы, проживем как-нибудь без них. Разве это дети?»

Что сказать о таком заочном отце?..

32

Декабрь 1977 года. Сквозь лютую австралийскую жару наш самолет летит на север, к пустыне, к еще более жестокой жаре. Четырехместный самолетик «Сесна» казался игрушкой, которую можно сложить и сунуть в чемодан, или скорее сам был небольшим чемоданом с привязанными к нему крыльями.

В этом летающем чемодане — жара еще невыносимее, чем внизу, на земле, и шум немыслимый. Мы молчим, хотя сидим вплотную друг к другу, а глаза наши слепнут от однообразия пустыни.

Я вздремнул, потом проснулся, взглянул на часы. Спал, вероятно, минут пять. Вытер струящийся по лицу пот и отчетливо вспомнил виденный только что сон: я у матери, в родном селе, матери дома нет, я роюсь в ее бумагах и вдруг нахожу свое письмо к сестре. Принимаюсь читать и тут же просыпаюсь.

Внизу все то же красное, безнадежное однообразие, наверху — слепящее белое небо. Чудно́й сон. Сестре я никогда не писал писем, потому что, когда она умерла, мне было одиннадцать лет.

Я попытался докопаться до смысла сновидения, придумать ему истолкование. Мир на карте — горы, океаны, города — впервые показал мне отец, потом сестра. Она была старше на двенадцать лет. Наверное, на этой карте сестра однажды показала мне и Австралию (думала ли, что когда-нибудь ее младший брат окажется в этой части света?). Карта мира была единственным ярким пятном на стене нашей комнаты — то ли ковром, то ли сказкой, не знаю. Я очень любил «путешествовать» по этой карте, и в пять лет знал названия многих городов, рек, государств. Вероятно, знал и не раз повторял слово Австралия.

Это первое истолкование, какое я попытался дать сну.

И вот. Да, я не написал сестре ни одного письма, но, потеряв ее, часто вспоминал, и особенно позднее. Может, «письмо» в моем сне — и есть то, что я всю жизнь повторял про себя ей. Значит, во сне я читал эти ненаписанные письма.

Или, может, синие озерца, проносящиеся внизу, на обожженном лице земли, напомнили мне цвет глаз моей сестры?

Не знаю.

А мы отправляемся поглядеть на восход солнца.

Сотни людей приезжают в Аркаруллу, чтобы встретить здесь восходящее солнце.

После трудного вчерашнего перелета мы спали всего несколько часов. Я даже не был уверен — смогу ли проснуться рано утром?

Японская «Тайота» проворно движется среди камней и колючек. Это трудно назвать дорогой. Мы вздрагиваем от утреннего холода, не выспались, лица бледные и, конечно, небритые. В машине молчим, потому что переводчик с нами не поехал, а я и мой русский товарищ не говорим по-английски. Майкл, наш австралийский друг, должно быть, не прочь нам что-нибудь рассказать, но лишь виновато улыбается.

Вот мы и на возвышенности. Вчера Майкл говорил, что отсюда виден лучший в мире восход.

Высоту обнаружили геологи, которым, кажется, нужен был уран, а нашли они... восход солнца. Памятью о геологах осталась дорога и то, что они рассказывали о восходе. Нет, наверное, еще и эта железная бочка от них осталась.

Озираюсь, гляжу вниз. Библейский покой, безмятежность. Кажется, мир только что сотворен и бог совсем недавно восседал на этой вот бочке...

Наконец появляется солнце, вначале ослепительно белое, яйцевидное. Пустыня вмиг озаряется светом, возникают тени, а камни обретают форму и плоть.

Незримо присутствующий здесь создатель наблюдает за этой картиной. Белое солнце становится оранжевым, потом оранжевыми становятся камни, деревья, земля, затем оранжевый цвет переходит в ослепительно красный, и, наконец, встав с железной бочки, создатель удовлетворенно изрекает:

— Вот теперь красиво!..

И поскольку рассвет прекрасен, он решает больше ничего не давать этой земле. Чтобы спасти красоту, отделяет Аркаруллу от остального мира пустыней, мелким кустарником, плотным пологом немилосердной жары.

Непостижимую силу эту — создавший природу и жизнь дух, именуемый Создателем,— в этот миг я чувствую почти физически. Кажется, даже могу предложить ему сигарету, а он возьмет протянутый мною «Ахтамар» и прикурит от Солнца...

Сестра, я нигде не видел такого восхода, и только ради этого стоило появиться на свет.

Чуть позже мы спустимся вниз, и Майкл покажет нам розу пустыни — нежно-голубой цветок. Совершенно непонятно, как он живет на красной, обожженной земле, среди раскаленных камней и высохших деревьев. Ветви деревьев похожи на костлявые человеческие руки, вымаливающие у неба дождь, а стволы эвкалиптов кажутся театральной бутафорией, окрашенной в серебристые тона.

Нет, вначале Создатель был добрым, и, опьяненный восходом, он создал прозрачно-синее озеро, окружил его причудливыми скалами, пририсовал к ним ошеломляюще зеленые деревья... Но вдруг остановился: вполне хватит с них и восхода... И несколько сотен квадратных метров оазиса Аркаруллы остались непостижимым чудом в этой знойной пустыне. Тогда он сказал: добро.

(Вчера, когда мы ехали из аэропорта к Аркарулле, из-под колес машины выскакивали и убегали кенгуру. Мне это показалось чудом, мы закричали: кенгуру, кенгуру! Потом привыкли к их прыгающим фигуркам и уже не обращали внимания.)

Срывая, ласкаю пальцами розу пустыни, которая кажется не материальной, а воздушной, чистым голубым цветком, и я вспоминаю другие цветы, тоже голубые, которые подарили мне когда-то на берегу Ледовитого океана в аэропорту Тикси. Тогда я удивился — такие нежные цветы в вечных льдах! И теперь тоже поражен — хрупкие цветы в такой изнурительной жаре, в пустыне! «Природа загадочна и непостижима»,— я говорю это Майклу, конечно, по-армянски, а он улыбается. Понял ли?..

Прошли месяцы, годы, но и сегодня Аркарулла живет во мне как увиденный в пустыне сон... Может быть, и ты осталась Аркаруллой моего трудного детства, сест-

ра, потому-то в душном самолете я читал свои не написанные тебе письма.

(Через многие дни и месяцы, в апреле 1979 года, Майкл приедет в Армению, я подниму бокал за восход солнца в Аркарулле, а он в ответ выпьет за мастеров, за зодчих скального храма Гегард и произнесет почти те же слова: «Гений и вера этих мастеров загадочны и непостижимы».)

Я благодарен тебе, сестра, за то, что в тяжелые годы войны ты возила меня на карте из страны в страну, это осталось самым ярким путешествием в моей жизни.

Мысленно я кладу к твоей могиле фиалки Тикси и розы Аркаруллы, ведь и те и другие — нежно-голубого цвета, цвета твоих глаз, так и не насытившихся видением этого мира.

(Когда мы возвратились в оазис Аркаруллы, в гостиницу, наш переводчик уже проснулся, побрился и успел позавтракать. Он посмотрел на нас с сочувствием, а мы — на него. Мы ведь знали, что он потерял, но почему-то он утешал нас: «Выпейте чаю и поспите, устали. Я вас подожду. Хотите, я еще раз выпью с вами чай?»)

Такие вот дела, сестра...

33

Я долго брожу вдоль железной дороги. Хочу точно определить место, где в июле 1918 года произошло это... Внизу холодная бездна, наверху голубое небо, а тогда была ночь и небо, наверное, было густо усыпано щедрыми летними звездами. Смотрел ли он на небо, видел ли, как падает его звезда? Ведь и он тоже, наверно, верил, что у каждого — своя звезда на небе. Где именно поезд сошел с рельсов? «Правда» от 11 июля 1918 года, в пяти-шести строках рассказав о случившемся, отметила, что катастрофа произошла в шести верстах от Александрополя. Гюмри — Александрополь — Ленинакан. Город сейчас сильно разросся — откуда начинается отсчет шести верст?

Хочу представить себе его лицо, возраст, увидеть честные руки машиниста. Не хочу придумывать, но ведь не сохранилось даже фотографии.

Осталась только фамилия — Виноградов.

Как его звали — Андрей, Николай, Василий?..

Почему он пожертвовал собой ради — если по правде — чужого ему народа? В далекой России его ждала

невеста, в бревенчатой сельской церкви ежедневно молилась за него мать, и вот так в молитвах, наверное, и угасла однажды, как свеча. Узнала ли, каким оказался ее сын, узнала ли, что в своих каменных церквах за сына ее стали молиться тысячи армянских матерей? Говорят, будто точный рост человека определяет гроб. А такая смерть, может быть, определяет точные границы души. Да был ли у него гроб?.. Смогли ли найти его тело среди камней и расплавленного металла?

Он был хорошим машинистом, и поэтому именно ему приказали: «Ты должен везти нас до Александрополя. Там — наши враги, мы должны доставить туда оружие и солдат».

Враги?.. Он попытался оживить это слово: перед его глазами встали бледные сироты и матери в трауре, невесты в трауре... Сидящий напротив турецкий офицер не мог прочесть его мыслей, ему вообще не было дела до чужих мыслей... «Не советую отказываться,— холодно проговорил он,— как ты сделал это вчера. У нас нет времени. К тому же это приказ, мы находимся в состоянии войны с армянами». Снова перед глазами выстроились сироты, матери, невесты. Хмуро, без единого слова встал он, взял со стола шапку и, выходя, услышал: «Тебя не обделят, мы не забываем оказанных нам услуг».

Был прекрасный летний полдень. Парень посмотрел на небо, и оно было цвета глаз его нареченной. Поблизости журчал родник, он наклонился, утолил жажду. В чистом зеркале воды увидел свое лицо: пора было бриться.

(Я наклоняюсь, пью воду из родника: тот ли самый это ключ, помнит ли того парня вода? Если бы зеркало воды сохранило черты его лица...)

Поезд шел медленно, и вагоны были нагружены смертью. Он вез эту смерть, вез для сирот, матерей, невест.

Он резко увеличил скорость — сделали ли это рука, мозг или сердце?.. Из соседнего вагона доносились голоса солдат. Они не спали. Кто-то запел. Должно быть, у поющего есть мать, невеста?.. Мать-то уж точно есть.

(Хочу представить его лицо — в последние мгновения. Какого цвета были его глаза, не дрогнули ли руки? Уж очень был он молод, все километры и станции его жизни лежали еще впереди... С опозданием на шестьде-

сят лет хочу взглянуть на него, как младший брат и как отец, потому что он сейчас гораздо моложе меня.)

Поезд сошел с рельсов и с ужасающим грохотом полетел вниз. В далекой России проснулась одна мать, вскочила с постели, одна невеста овдовела, и в черное окрасилось одно подвенечное платье. И один русоволосый синеглазый малыш отложил, навеки отложил свое появление на свет.

Через несколько дней в пяти-шести сдержанных строчках газета поведала будущим поколениям о последних мгновениях жизни машиниста Виноградова.

(Как звали его — Андрей, Николай, Василий?.. Я зову его Братом, он мой старший брат, хотя сейчас я старше его лет на двадцать—тридцать.)

34

Он стоял в сутолоке автомашин и людей. Смотрел. Куда? Напротив высился «Ренессанс» — шестидесятиэтажное здание-город, слева на тротуаре расположилась Детройтская мэрия. Я испугался, что однажды стадо автомобилей сойдет с магистрали, ринется через зеленый газон на тротуар, и статуя останется под колесами.

— Что делаешь ты здесь, Комитас?

Памятник не наклоняется ко мне, чтобы ответить. Он смотрит вдаль — куда? На Армению, я уверен. Впрочем, разве не естественно, что мне отрадно увидеть памятник гениальному армянскому композитору в центре крупного американского города, хотя кто здесь его знает, кроме нескольких тысяч армян?

— Лет этак через двадцать—тридцать,— говорит Рубен,— когда в городе не останется армян, памятник снесут.

— Мрачный ты человек, Рубен.

— «...Зарубежные армяне — то же самое, что скопления льдов». Ты ведь знаешь, это не мои слова, их сказал один из видных людей спюрка. И дальше: «Те, что обосновались в Америке,— это пятикилограммовые льдины, европейские армяне — десятикилограммовые, а живущие в Бейруте — пятидесятикилограммовые. Но все они в конце концов растают...»

— Когда были произнесены эти слова?

— Сорок лет назад. Разве не видишь — тают бейрутские «пятидесятикилограммовые».

— Они не сами по себе растаяли. Кто бы мог подумать, что Бейрут... И вот увеличиваются американские «пятикилограммовые».

— Превращаются в «пятьдесят килограммов»?.. Ну и что же? Это донорская кровь. Сколько лет будет она вливаться в жилы американской колонии? Какой процент «коренных» американских армян чувствует себя армянами?

— Ничтожный, увы, ничтожный процент.

— А ведь это всего лишь третье, четвертое поколение.

— Ты знаешь, сколько школ, церквей и клубов открылось за последние годы?.. Памятник Комитасу...

— Комитасу, говоришь? Уверен, что деньги на памятник дали люди, которые не знают о нем почти ничего. И на постаменте, разумеется, перечислены их имена. Я прав?

— Да, Рубен, но в тебя словно бес вселился.

— Не хочу быть добрым. А там, в Детройте, тебе небось захотелось подойти и спросить у него: «Что ты здесь делаешь, Комитас?»

(Как он прочел мои мысли? Бес, истинно бес...)

И все же я доволен, что Комитас есть и там. Разве он только наш?.. Разве только нас ранят его страдания, его песни причиняют боль только нам одним?.. Разве этот памятник ежегодно не рассказывает о нас хотя бы двадцати американцам?.. В той же Детройтской опере вскоре поставят «Ануш» Тиграняна, я видел на улицах афиши; «Ануш», правда, несколько на американский манер — ну и что же?.. Но представляете, в этом громадном городе завтра зазвучит такая чистая история любви. Ведь это будут слушать и смотреть не только армяне? А армяне разве не почувствуют себя лучше и, значит, хотя бы чуть-чуть не укрепится разве их воля к сохранению своих корней?

Вспоминаю другой случай, о котором мне рассказали в Каракасе в 1977 году. Шел футбольный матч, играли команды «Космос» и «Сантос». В «Космосе» выступал армянин — Искандарян. И вот комментатор, перепутав, объявил его турецким футболистом. И вот десятки телефонных звонков в комментаторскую кабину, звонят, конечно, каракасские армяне. Объясняют, откуда игрок... Комментатор немедленно поправляет себя, просит извинения у своих сограждан армян, даже в нескольких

словах рассказывает об армянском народе, упоминает ереванскую команду «Арарат». И как раз в эту минуту Искандарян забивает победный гол.

Возможно, этот «бунт» венесуэльских армян кому-то покажется смешным, но мне сказали, что на следующий день несколько молодых венесуэльских армян, которые до этого не имели никаких связей с национальной жизнью колонии, явились в клуб «Арарат», а на следующий год поехали в Армению, где до этого никогда не были...

Рубен курит, задумчиво глядит в окно на Ереван. Он не слышит моего молчания, а я, мне кажется, подслушиваю его мысли: должно быть, он додумывает мысли и договаривает слова Никола Агбаляна[1]: «...Все осуждены в конце концов растаять... И если останется на свете хоть один армянин, то, уверяю вас, он будет только на родине, в Армении, и больше нигде».

«Один армянин» — сегодня означает три миллиона.

35

— Австралийцы очень неразговорчивы, почти молчаливы.

— Завидное свойство,— говорит Рубен,— не грех бы и нам поучиться.

И я рассказываю ему о случае, происшедшем в Австралии. Едут в пустыне двое — мужчина и женщина. Машина застревает в песке. Как быть? Вокруг на сотни километров ни души. Проходит час, другой... И наконец показывается какой-то автомобиль. Потерпевшим и не надо звать на помощь, спаситель подъезжает сам. Ни слова не говоря, вынимает металлический трос, привязывает к машине, вытаскивает из песков, затем, пробормотав обычное «о'кэй», уезжает восвояси.

Рубену очень нравится рассказ.

— Представляешь,— говорит он,— как бы все это выглядело в Армении, если бы у нас была собственная пустыня?

— Собственная пустыня? — смеюсь я.

Дополняя друг друга, мы пытаемся воссоздать предполагаемую картину.

Подъехав к застрявшей в песке машине, прибывший не преминет воскликнуть: «Ну и беда с вами случилась,

---

[1] Никол Агбалян — зарубежный армянский литератор.

ай-ай-ай! И давно стоите?» — «Не говорите, положение просто безвыходное, что бы мы делали, если б вы не подъехали».— «Хотел ехать другой дорогой и вдруг передумал. Словно что-то подтолкнуло».— «Ну прямо спасли вы нас, не знаю, как и благодарить».— «Что ты, что ты, как же не помочь друг другу в трудную минуту». Потом подмигивает в сторону женщины: «Кто это?» — «Жена,— замнется потерпевший, он уверен, что тот не поверит — кто же с законной женой едет в пустыню? — Моя жена, решили поехать через пустыню, на море провести отдых».— «Понятно,— многозначительно улыбается прибывший на помощь,— разве я не мужчина? Помнишь анекдот: один тип так сильно напился со своей кралей, что, уже ничего не соображая, в полночь привез ее домой. Открывает жена, а пьяный и говорит: «Тихо, я ей сказал, что ты моя сестра...» Оба посмеются, а потом: «Давай выпьем чего-нибудь, закусим, а? Для меня это минутное дело...» Прямо на машине разложат еду (жена попытается расставить все как положено, даже салфетки расстелет, выпьют по стаканчику, спросят, кто откуда родом. «Нет, нет, ты скажи, родители откуда?») Тот, что пришел на помощь, естественно, не станет расспрашивать о жене и детях, хотя сам покажет фотографию своей семьи. («Всегда при мне, иначе какой же я армянин?») Потом каждый расскажет, где работает, и, конечно, обменяются адресами и телефонами. Потом жена уберет со «стола», и уже после этого приезжий достанет трос, привяжет к застрявшей автомашине и с шумом, криком, подбадривая друг друга, советуя («Левее, левее бери! Куда поехал? Только вчера сел за руль, да?»), наконец вытащит ее из песков. Перед расставанием мужчины непременно расцелуются («Смотри, восемнадцатого буду в Ереване, звони»), жена в тысячный раз улыбнется, поблагодарит. «Ой, как не стыдно, сестренка,— возразит польщенный спаситель,— на что же еще мы нужны?» Потом вдруг стукнет себя по лбу: «Как же забыли! — и снова вытащит коньяк.— Забыли один тост — за наш народ! Сестренка, за это и ты должна выпить стоя...» Они не обратят внимания, что и до этого пили так. «Стоя» придет само собой, как же иначе.

И уже запустив машину, один подмигнет другому: «Тихо, я сказал, что ты моя сестра...» Опять посмеются, расстанутся, а в Ереване встретятся, я уверен, и будут поддерживать знакомство...

Мы с Рубеном от души хохотали, представляя себе эту сценку, а потом я посерьезнел.

— Но в обоих случаях человек помог человеку.

— Что верно, то верно,— согласился Рубен.

36

В Пассадене, одном из городов-спутников Лос-Анджелеса, основывали новую армянскую газету — «Масис», и нужен был капитал на предварительные и дальнейшие расходы. В пожертвованиях приняли участие многие, в том числе семилетний Арутюн Григорян. Он подарил газете восемь долларов. Сумма скопилась из центов, которые в разное время давала ему бабушка — на мороженое и сласти. Эти восемь долларов были названы «закваской» дела.

И пусть достоин будет «Масис» этой «закваски», этого священного краеугольного камня, положенного чистыми детскими руками.

37

Растет белая береза. А на синем базальте возле ее ствола высечена надпись: «Здесь лежат солдаты».

Береза — не гранит, не мрамор и не бронза, но люди почти ежедневно приносят цветы и кладут их к ногам тонкостанной красавицы. Этот необычный памятник находится в России, вблизи Курска, где произошло одно из самых кровавых сражений нашего столетия.

Каждую весну береза зеленеет, и мне кажется, что каждой весной, сплетенные с ее корнями, просыпаются-оживают и солдаты.

Вы думаете, павшие молчат?

Я вижу русского поэта, который читает эти строки в Каракасском университете.

Нас повели в аудиторию, где студенты сидели на столах, на подоконниках, на полу. Несколько человек, помню, сидело... на стульях. Многие курили, на полу пепел, окурки, пол — как общая пепельница.

Пришедший с нами молодой профессор, поздоровавшись со студентами, коротко представил нас.

Сели мы, естественно, на стулья.

Они задавали вопросы, мы отвечали. И вдруг профессор обратился к поэту. «Прочтите что-нибудь по-русски, а я переведу». Поэт с сомнением оглядел аудиторию — что им до моих стихов! Профессор, видимо, не понял его, он вежливо настаивал. Я тоже попытался уговорить поэта. Прочтите те строчки: «Вы думаете, павшие молчат?..» И в глазах его я вдруг увидел боевой блеск, в руке шпагу. Мне показалось, что он готовится к дуэли. Я протянул профессору книгу стихов поэта. «Он прочтет эти строки, но прежде переведите, чтоб студенты знали, о чем речь». Профессор перевел стихи строку за строкой. И поэт начал читать. Я не раз слушал его, но так он еще никогда не читал. Да, это была дуэль: поэзии — с равнодушием.

Вы думаете, павшие молчат?
Конечно, да — вы скажете.
Неверно!
Они кричат...

Я не смотрел на поэта, я смотрел на студентов, силился поймать их взгляд, ощутить, увидеть живущего в них человека, он есть, он должен быть в них.

Они кричат, когда покой,
Когда
Приходят в город ветры полевые,
И со звездою говорит звезда,
И памятники дышат, как живые.

Некоторые из студентов бесшумно спустились с подоконников, сели на стулья, девушка, собиравшаяся зажечь сигарету, помедлила... Поэт, который в восемнадцать лет был солдатом, в эту минуту не стихи читал, а разговаривал со своими погибшими друзьями, уже не замечал аудитории:

Они хотят, чтоб памятником их
Была Земля.

Растянувшийся на полу бородач никак не мог наладить контакт с бутылкой пива — бутылка была в воздухе, рот открыт, но глаза его слушали. Я увидел — только он один лежал на полу. Когда это они успели сесть на стулья? Я попросил у своей соседки сигарету. «Ш-ш,— она поднесла палец к губам,— ш-ш...» Они притихли, сосредоточились, куда девалась скучающе-нагловатая

повадка. Простые ребята и девушки в потертых джинсах, с растрепанными волосами. А поэт продолжал читать:

И ходит по Земле
Босая Память — маленькая женщина.

«Босая Память — маленькая женщина...» Я вижу эту женщину. Она не кричит, не рвет на себе волосы. Она попросту скользит по траве и цветам, входит в городскую сутолоку и в деревенский покой, входит в сердца людей. Не забывайте, говорит она, не забывайте то, чтобы это больше не повторилось:

Она идет...
Ей не нужны ни визы, ни прописки.

Неужели это те же ребята? Девушка, сидящая рядом, молча протягивает мне сигарету, я беру и, конечно, не закуриваю, она улыбается. Лежавший на полу бородач сидит, правда, на полу, недопитая бутылка пива отставлена, в глазах у него печаль.

Они не понимают слов, боль не нуждается в переводе. Этот русский поэт попросту их старший брат, которого они давно, очень давно не видели.

Она идет...
Не о себе — о мире беспокоясь.
И памятники честь ей отдают,
И обелиски кланяются в пояс.

Когда умолк поэт?

Аудитория не сразу откликнулась. Они, конечно, поняли, когда поэт произнес последние слова, хотя он продолжал стоять все в той же позе. Он все еще говорил с мертвыми друзьями. Очнулся от аплодисментов. Потом его окружили со всех сторон славные парни и девушки в потертых джинсах, с растрепанными волосами.

Уже в коридоре девушка, что дала мне сигарету, зажгла спичку, поднесла. Глаза ее говорили — теперь можно, курите.

И я вновь вспоминаю белую березу — живой памятник солдатам на окрашенной кровью земле России, и дерево кажется мне двадцатилетней вдовой, только на ней белый платок. И я кладу к ее ногам все цветы моей земли.

Скалистую арку, которую я увидел в Вайоцдзоре, мне хочется назвать Врагами надежды. Хочу представить, что было бы, если б не было здесь этой арки и за этим завораживающим нагромождением скал не сверкали бы свет, жизнь.

Это было, не могло не быть.

Почему наша суровая, каменистая земля постоянно притягивала врагов? Что им надо было? И, захватив эти земли, какую они оставили здесь по себе память? Разрушать, уничтожать — тоже, должно быть, память, ведь люди помнят, кто и когда уничтожил этот мост, монастырь или крепость...

Истерзанные, израненные — все же уцелели наши памятники.

Этот скалистый свод тоже кажется мне памятником.

...Враг вторгся в горную страну, и жители села, придумавшие растить хлеб на скалах, выстроившие церкви и крепости, ушли в ущелье. Все ушли — мужчины, женщины, старики, дети.

Ущелье было каменной крепостью — бездонное, глухое. Враг знал, что из ущелья нет другого выхода, что оно отделено от остального мира толщей скал, какую не пробить и годами терпеливого труда.

Устроившись наверху, в заброшенных домах, враги предавались разгулу, а временами, устав от пиршеств, разрушали церковь, оскверняли могилы, разбивали хачкары. А селение стонало в своем укрытии. И ущелье, эта каменная крепость, превратилось в каменную тюрьму. Выход вел только к небу. Оно было голубое, чистое, и ночью украшали его звенящие звезды. Выбраться из каменной тюрьмы можно было, лишь вознесясь вверх, другого пути не существовало...

Мужчины не надеялись на небо — мотыгами, лопатами, саблями и даже ногтями они пытались проделать дыру в неумолимой скале. А камень усмехался над отчаянием людей. Под скалами текла река, и все знали, что она выходит на ту сторону, вливается в воды Арпы. Мужчины пытались расширить это отверстие. Один из молодых храбрецов нырнул в бешеные волны, проплыл под скалами и... не вернулся.

Люди в отчаянии опустили руки, смотрели вверх на холодное далекое небо: да, ущелье превратится во все-

общую могилу, а небо — в синий надгробный камень.

Люди набросились на скалистую стену, словно это и был враг. Наивная, бессильная попытка. Но стена не уступила ни на йоту и мысленно потешалась над тщетой человеческой.

Все было испробовано.

И, смирившись, люди стали ждать смерти.

Однажды они увидели, что несколько старух гладят, ласкают скалу. Потом зажгли свечу в одном из гротов. Девушки стали украшать полевыми цветами жесткую грудь горы, дети принесли свои игрушки к ее ногам. Женщины шептались со скалой, просили ее смягчиться, а мужчины подсчитывали последние патроны.

Женщины приголубливали скалу, как раненое дитя, девушки украдкой улыбались ей, как улыбаются любимому сквозь дымку стыдливости и надежды. Дети радовались скале, как радовались бы старшему брату — сильному, непобедимому.

Лишь мужчины глядели сердито и беспомощно.

«Полюбите скалу,— сказали им старухи.— Эти скалы — наши. Они — тоже в плену».

Мужчины смягчились, да, действительно скалы были их, они отбросили мотыги и мечи, усталыми, окровавленными пальцами стали гладить каменные плечи скалы.

...И как-то ночью перед их ошеломленными взорами скала начала отступать, стена истончилась, стала прозрачной, забрезжил свет с той стороны...

Камень отступил перед любовью. Отверстие постепенно увеличивалось, наконец возник настоящий свод, и село вытекло из-под каменной этой радуги...

А наверху враги рассчитывали лишь на силу ненависти, только через несколько дней они поняли, что ущелье опустело. С дикой бранью ринулись вниз, но скала уже закрыла свои врата.

Они, эти каменные врата, снова и навсегда раскрылись только после ухода врага.

Мне никто не рассказывал этой легенды, и я не вычитал ее ни в какой книге. Она родилась во мне в дни блужданий в Вайоцдзоре, когда я изумленно смотрел на арку в скале, которую хотел бы назвать Вратами надежды.

Так объяснить это творение природы может только легенда.

Есть ли у вас иное объяснение?

39

Он метался, не находя себе места в тесной комнатушке, но нужных слов не находил. В комнате было сумрачно, колеблющийся огонек свечей не в силах был рассеять тьму и разметать табачный дым, который мутным облаком сгустился под сводом потолка. Свечи выхватывали из темноты лишь старый письменный стол, исписанные листы бумаги, чернильницу и лицо юноши, казавшееся еще бледнее в этом слабом свете. Слов не было. По паспорту ему исполнилось двадцать, он был безрассуден, насколько давал ему на это право возраст, и был мудр, ибо ему три тысячи лет — по паспорту его народа. Уже далеко было за полночь, а он все метался между своей скорбью и мучительными вопросами. А слов не было. Слов, могущих спрессовать время — эту мрачную, непроглядную ночь, у которой словно никогда не будет рассвета. Казалось, идут уже последние картины последнего акта трехтысячелетней драмы под названием «Армянский народ», вот-вот опустится занавес, а в зале никого нет. Слова так и не приходили. Уже до него был задан вопрос: «Некому ждать тебя, зачем ты идешь, весна?» Уже прошептали до него: «Страна печали, страна сирот...» И кто-то уже прокричал до него: «Ужель поэт последний я?..»

Слов не было, не было новых слов. Было лишь одно— «Нет!», которое он хотел швырнуть в лицо истории. Нет! Будет жить, продолжаться в веках его народ. Но как? Этого он не знал. Своими глазами он видел то, что произошло в Западной Армении, смотрел в потухшие глаза тысяч сирот, видел пепелища, пепелища... Он сражался, как воин-мститель, впадал в отчаяние и вновь обретал надежду. Он уже успел полюбить, быть отвергнутым, познать ненависть — разве этого не достаточно? Что из того, что ему двадцать лет? Другой поэт, с еще более трагической судьбой, Петрос Дурьян, прожил всего девятнадцать лет, а «больной гениальный юноша» — Мисак Мецаренц — двадцать один. Так зачем же ему цепляться за жизнь?!

Нет! Нет! Нет!

Вдруг он совершенно отчетливо увидел: это была страшная картина — видение смерти. И как протест, как первый крик новорожденного, родилась строка:

Пусть, кроме меня, не потребуется других жертв...

Эта строка потом станет одной из последних в его стихотворении, но возникла она, как первая. Это была строка не стихотворения, а строка биографии, последний крик.

Пусть, кроме меня, не потребуется других жертв...

Последний крик?.. Нет, он сражался и в окопах революции вместе с неистовыми людьми, в чьих очах светилось грядущее, кто погибал сегодня, храня в глазах праведное завтра. Его вобрал в себя, увлек поток «неистовых толп». Что они растопчут своими утомленными, исстрадавшимися ногами и что будут лелеять своими грубыми, мозолистыми ладонями?

В узком окне не видно было весеннего неба.

Пусть, кроме меня, не потребуется других жертв...
Пусть другие ноги не идут к виселице...

Вторую строку он написал и закрыл глаза, чтобы оказаться в полной темноте, и засмеялся с закрытыми глазами: «Как все просто на бумаге — другие ноги пусть не идут... Разве одна только виселица. Враг заботливо приготовил для всех его соотечественников «крепкую веревку и... две перекладины...».

Ну и что? Умереть всегда можно. О, какой опыт умирания у его древнего народа!.. А как хотел он жить! Прожить эту наступающую весну, другие весны и осени. Жить... В глазах заискрилась улыбка, он вспомнил родной город, городской парк, увидел девушек, которых любил... Но в этот миг ему нужен был другой собеседник. Многое переживший, а стало быть, и более мудрый...

И он явился. Не вошел, постучавшись в дверь, а проник, как свет сквозь оконные стекла, сквозь толстые серые стены, пробился, словно луч сквозь висевшее под потолком облако дыма.

Свечей, что ли, стало больше?

«Кто ты? Говори».

Свет бесплотными пальцами ласкал его черные волосы.

Ночь была вязкой, как горький мед, и проснулись те слова, ему не принадлежавшие:

Ужель поэт последний я,
Певец последний моей страны?...

Нет! Нет и нет! В тишине он услышал свой голос.

Очнулся от своего голоса и вдруг постиг, мгновенно и неотвратимо постиг, кто же все-таки посетил его. Не понял, не увидел — почувствовал, ибо в родившейся только что строке слова — «пусть ни одна жертва... кроме меня»...— были не его словами, их сказал другой поэт, сказал тысячу лет назад, а он просто повторил — как запоздалое эхо...

«Нет, это твои слова, сын мой...»

Сын? После матери никто не называл его сыном...

«Кто ты? Свет?»

Это был Нарекаци... Кто ж еще?

«Я ждал тебя тысячу лет, Отец...»

И юноша, который войдет в армянскую историю под именем Чаренца, хотел заговорить с ним, спросить хотел и ждал ответа, но Свет безмолвствовал. Яростно потерев лоб, юноша скомкал и отшвырнул исписанные листы. Самые главные слова — это те, что человек говорит себе.

«Я не видел тебя тысячу лет, Отец...»

А Свет безмолвствовал. Не отвечал, но он был. И юноша почувствовал, что не только комната, но уже и он сам наполняется светом, собеседник был в нем, внутри него, и он успокоился.

«Я хочу не просто представить тебя, Отец, вспомнив сохранившийся в средневековой рукописи твой портрет, так похожий на портреты всех наших святых и всех наших поэтов, я не хочу призывать на помощь свое воображение.

Я хочу увидеть тебя. Хочу, чтобы ты сел вон на тот стул, курил мои папиросы, стряхивал пепел на пол. Хочу увидеть, как ты сердишься или кашляешь, увидеть, как ты гладишь по головке своих не бывших детей, увидеть тебя хмельного, хохочущего, заключенного в глухие стены одиночества и смешавшегося с тысячеликой толпой, так и не узнавшей, что ты гений.

Кем был ты, считавший себя и только себя виновным во всем, ответственным за все грехи человечества, когда мы за свои собственные грехи каждый день готовы проклинать мир...

Был ты реальным человеком из плоти и крови или незаконнорожденным сыном легенды, потому что ты слишком бесплотен даже для легенды?»

И если кедр ливанский в три обхвата
Свалю я, сделав рычагом весов,—

На чаше их и тяжесть Арарата
Не перетянет всех моих грехов [1].

Может, эти твои десять тысяч строк самобичевания — лишь гениальный словопад, а твои страдания — это роль, которую ты играл всю свою жизнь, может, все это — лишь чудесный обман? Обман? Тогда почему после тебя никто больше не взорвался таким обманом?

Я улыбаюсь, будто свету рад,
А про себя кляну свой жребий всуе.
Лицо мое спокойно, только взгляд
Горит, смятенье духа доказуя.

Свечи оплывали, и юноша погасил одну. Другую тоже мог бы погасить: свет горел внутри него самого. Стены отступили, раздвинулись, и теперь его стол был где-то в поле, а вокруг растерзанная страна Наири...

О мой народ, ты трехмиллионный Нарекаци, может, это и справедливо, чтобы ты, именно ты, и только ты отвечал за малые и великие прегрешения этого мира и чтобы именно твой трагический вопль не услышал мир, хотя возопил ты его же словами. О мой народ, ты гениальный неудачник! Ты, причисливший к лику святых всех своих безумцев и распявший всех, готовых верой служить тебе,— начиная с легендарного царевича Артавазда и кончая... У меня свое борение со своим народом, а ты мне твердишь из своей тысячелетней дали:

Щадящий, пощади, спаси, спасающий,
Освободи меня, освобождающий,
Не дай сойти с пути, прости, прощающий,
От бед обороны, обороняющий....

Мысли и вопросы роились в голове юноши. Оконные стекла побледнели — от Света? Или это утро приближалось медленной поступью? Он вдруг совсем рядом увидел всю жизнь своего народа, трехтысячелетняя история вошла-заполнила-разместилась в стенах каморки, нанизалась на одну нить.

«Мы ли унаследовали твою самобичующую искренность или ты родился как самое больное и самое любимое дитя этой искренности народа?.. Не знаю».

Может ли народ состоять только из поэтов: царь-поэт, полководец-поэт, дипломат-поэт, воин-поэт?.. Поэты, поэты, поэты...

[1] Стихи Нарекаци даются в переводе Н. Гребнева.

О мой народ, ты простодушный ученик школы, именуемой историей.

Персидский тиран зазывал к себе нашего царя, и тот пошел, хотя был уверен, что его закуют в цепи и до скончания дней ему суждено будет смотреть на своего спарапета, с которого живьем сдерут кожу и, набив соломой, выставят перед ним.

Могущественная владычица Ассирии была влюблена в нашего царя Ара Прекрасного и ради него готова придать мощь нашей стране, но царь с наивностью гимназиста ответил ей стихами: «Я не изменю своей Нуард».

Императрица Рима, воплощение женственности, мечтала услышать от другого нашего царя слова восхищения и лести, но царь, видите ли, не произнес их. Как мог он сказать, что любит, если это было неправдой?

Английский премьер со слезами умиления на глазах заигрывал с армянским народом, но не отправил ни одного батальона, чтобы помочь захлебнувшейся в крови стране. Армянский же дипломат-поэт, перед которым соловьем разливался англичанин, вернувшись в гостиницу, записал в дневник: «О, какая светлая душа — английский премьер, и как он любит наш народ!»

Армянский министр иностранных дел направлялся с миссией в великую страну, в Россию, и этот визит мог оказаться решающим для судьбы его истекающей кровью родины, бесценна была каждая секунда, но и дипломат был поэтом, он свернул с пути на неделю, заехал по дороге проститься с прахом своей тетки, скончавшейся на восемьдесят третьем году жизни... А ведь на жертвенном столе мира лежало умирающее тело его родины.

Печальные, необъяснимые картины выстраивались, нанизывались на нить, и нить эта очерчивала точную траекторию истории народа.

А Свет молчал. Свет только себя обвинял во всех прошлых и будущих грехах человечества.

«Существовал ли ты или мы тебя выдумали, тем более что не осталось почти никаких следов твоего существования? Церковь, где ты скорбел и молился, где извергался вулканом в десять тысяч строк, сровняли с землей, не осталось ни твоей могилы, ни дома, где ты родился.

Может, просто из человеческой слабости ты исповедовался в совершенных, а главное, в несовершенных гре-

хах? Может, ты играл в страдание и самоистязание, стремясь походить на пророков и мучеников, ибо прекрасно знал, как любит твой народ всех гонимых и безумцев, как не торопится признать — куда уж там любить! — своих удачливых сыновей.

О мой народ, ты трехмиллионный Нарекаци! О Нарекаци, точная фотография в паспорте моего народа!»

Слово показалось неверным, прозвучало звоном фальшивой монеты.

«Сколько раз мы искали причину своих бед на стороне, тогда как причиной зачастую являлись только мы сами, только мы, наш безрассудный героизм, наш «разумный» эгоизм...

И как часто мы ненавидели сами себя. Отвлеченно, в целом, но у каждого армянина должен был быть другой армянин, которому он станет врагом до конца жизни. Чьи это слова?.. Любой из нас мог бы сказать их, потому что они — тоже в какой-то мере копия нашей биографии».

Молодой человек понял, что может попасть в омут безудержной злобы... Свет подсказал?.. И ярость вдруг сменилась печальной, беспомощной любовью, но и любовь была полна свинцово-тяжелых вопросов.

«О мой народ, сколько уже веков ты скитаешься по свету. Покидаешь родные края, пытаешься отречься от себя, от своего имени — и не можешь. Не можешь...

Ты выстроил на чужбине церкви и школы, и в эту минуту тоже, наверное, строишь. Сколько раз ты оказывался среди тех, кто закладывал первый камень в основание чужих городов? Сколько типографий, какое множество армянских газет ты основал, но чаще любил читать чужие. Открывал армянские школы, но еще чаще учил детей в чужих школах.

О мой народ, открой мне непостижимую тайну твоего бытия, потому что при всем этом ты есть, ты существуешь».

Ему вдруг показалось, что он сидит у изголовья сына, распростертого на смертном одре, и он повторил строку:

Пусть, кроме меня, не будет других жертв.

Двадцатидвухлетний молодой человек вдруг почувствовал себя отцом, отцом народа, которому он должен принести себя в жертву. Но спасутся ли дети?

Стекла в окне были голубые — мир вновь в миллиардный раз пробуждался, и в ушах юноши зазвучал голос неистовых толп.

«О если бы мы научились жить, как научились умирать! Отец, выслушай меня, я хочу говорить твоими словами, хотя ты всего лишь миф, молитва, гениальная и бесплотная неправда. А я люблю, ненавижу, отчаиваюсь и верю! Я не молюсь, не буду молиться, я терплю поражение, побеждаю, борюсь. Побеждаю?..

О тысячелетний мой отец, выслушай своего сына! Уже тысячу лет мы клянемся твоим именем, хотя многие ли до конца прочли книгу твоих песнопений. Тысячу лет кладем ее больным под подушку, и они, о чудо, исцеляются, несмотря на то что уже давно, очень давно у нас есть и лекари и корифеи медицины!

Как мы любим все непостижимое, как сокрушаемся об утраченном и не ценим того, что имеем, а потому теряем, теряем непрестанно».

Он дунул, затушил последнюю свечу.

Не было ни бумаг, ни письменного стола. Чернила застыли на кончике пера.

В мутном окне выступил силуэт Горы, и Гора, безучастная ко всему, была, как всегда, прекрасна. Но и она показалась чужой.

«И ты ведь когда-то глядел на Арарат, и Гора весила меньше, чем все совершенные и не совершенные тобой грехи. А с настоящими грехами, что тяжелее, чем Арарат, как били мы себя в грудь, подозревая весь мир и восторгаясь собой!

Почему мы такие горлопаны, уже две тысячи лет говорим, говорим все одновременно, а нужно говорить вместе, вме-сте! Одно-вре-мен-но — это значит не слушая друг друга, хотя, может быть, мы говорим одно и то же и мечтаем об одном и том же. Каждый слушает свои, только свои слова».

Чернила ночи кончились, и Свет прозрачно-белыми пальцами гладил его лоб, волосы, глаза. «А если в доброте наша сила? — спрашивал Свет.— Может, доброта и помогла нам выжить? Доброта беззащитна, сын мой, но, может, ты ведаешь другой путь?»

На земле Армении поднималось солнце, и в душе, в голове и чернильнице поэта смешались смерть, жизнь и надежда.

Да не востребована будет ни одна
Отныне жертва — я за всех ответил[1].

Где-то, в близком далеке, проснулся и не то заплакал, не то засмеялся ребенок, а юноша, который войдет в армянскую историю под именем Чаренца, отложил листки и вышел на улицу.

Ребенком была Армения, она нуждалась в нем. Нуждалась в нем, в воине.

И он пошел сражаться и жить ради жизни этого Ребенка.

40

В одном из небольших городков то ли Австралии, то ли Южной Америки или Африки жил человек. Он снимал комнату, дни его протекали тихо и мирно, это был старый и, наверно, усталый человек. Получая по субботам какую-то газету, он запирался у себя и вслух о чем-то сам с собой разговаривал. Разобрать слова было трудно, но хозяева особенно и не старались — считали почему-то, что он адвокат не у дел или безработный артист. Жил этот человек тихо, незаметно и вдруг умер. Хозяева вспомнили его просьбу и послали телеграмму в большой город единственной родственнице умершего. Пожилая женщина приехала на следующее утро со священником, предала останки умершего земле на маленьком, убогом кладбище. У могилы стояли хозяева, родственница и священник. Он воскурил ладан, запел какую-то непонятную и грустную песню.

Когда вечером зашел разговор о том, чтобы освободить комнату, хозяин рассказал родственнице покойного, как тот запирался и вслух читал неизвестно откуда прибывавшие газеты.

— Вот эти,— он показал на лежавшие повсюду газеты, они были на столе, стульях, на полу.— На каком они языке?

— На армянском, это его родной язык.

— А зачем он читал вслух?

— Кто знает? Может, боялся забыть свой язык... С кем он еще мог поговорить на нем в этом городе? Лишь с собой.

---

[1] Перевод В. Лифшица.

Хозяин, то ли австралиец, то ли американец, то ли африканец, удивленно посмотрел на кипы газет, потом взял одну, повертел в руках.

— Можно взять? Как память. Он был добрый, хороший человек.

— Да, он был добрый,— грустно подтвердила женщина.— Можете и остальными газетами распорядиться по-своему. У нас дома, к сожалению, давно уже не читают на этом языке, а мои глаза плохо видят.

Говорят, хозяин — то ли австралиец, то ли американец или африканец — оставил комнату в том виде, в каком она была, и уже не сдавал больше ее, а газеты и книги остались лежать на столе, стульях, возле стен на полу. «Пусть голос того человека живет в комнате»,— сказал он сыновьям, а может, не сказал ничего, забрал ключ и в грустную, горькую минуту иногда входил туда и, наверно, слышал голос того человека.

Печальная сказка?

Не знаю.

Жил человек, из года в год беседовал сам с собой и умер, оставив на чужбине свой голос, и голос этот до сих пор, вероятно, звучит в одном из безвестных, маленьких городков мира, в четырех стенах крохотной комнатушки, где много книг и газет.

41

— Хочу иметь собственную машину и каждый день пить по утрам апельсиновый сок.

Я снисходительно улыбнулся — девушке на вид было двадцать два. В начале разговора она сказала: «Вы не боитесь, если я буду говорить откровенно?» — и это прозвучало угрожающе.

— И денег хочу — пятьсот, тысячу в месяц...

Губы у нее были беззащитные, красивые. Слово «деньги», такое ощутимое и материальное, мне показалось, лишало их беззащитности.

— Только уговоримся: без проповедей. Разговор будет на равных. Идет?

— Идет.

— Странно, что я заговорила о деньгах? Что же тут удивительного? Я красива. Мужчины глазами, как рентгеном, мгновенно фотографируют меня. Мне было семнадцать, когда мужчина повел меня в гостиницу... Нет,

нет, ничего больше... То ли наказал меня, то ли помиловал.

— Я думаю, помиловал.

— Испугался. Теперь нет мужчин, готовых ради женщины на сумасбродство. Они все просчитывают, как электронно-вычислительная машина. Если ответ ничем не грозит, тогда только... Когда я сидела в кресле у окна, он подумал о своей должности, жене, диссертации. «Не простудись, прохладно уже»,— сказал он.

И усмехнулась:

— А тогда я расплакалась.

Невозможно было представить, что она скажет в следующую минуту.

— Как я ненавижу наш город! Хочу бывать в ресторанах, путешествовать. Вкалывать за какие-то сто двадцать пять рублей? Ни за что!

Слова у нее были циничные, а глаза детские.

— Интересно, что делали вы в моем возрасте?

— Работал и получал восемьдесят пять рублей.

— Только не говорите, что были счастливы.

— Я с теплым чувством вспоминаю то время.

— А-а... бабушкины сказки...

— Какой-то частью своей души человек должен жить в сказке. У глагола «хочу» нет предела. Если у тебя есть одна машина, ты можешь захотеть вторую, потом третью. Когда что-нибудь окажется недоступным, ты почувствуешь себя несчастной...

— По вашей логике быть счастливым — значит ничего не хотеть?

(Я вспоминаю первый год работы в затерянном в горах районе. Из деревни в деревню приходилось долго тащиться пешком, недоедать, время-то было трудное. Перед глазами встали люди, встречавшиеся мне. Они жили хуже меня. И мне показалось, девушка обидела их, а не меня.)

— Ну что? Не выносите искренности или нет привычки?

— Прости, но разве искренен только цинизм? А то, что я с любовью вспоминаю те дни, почему ты считаешь неискренностью?

— Я не так проста, как вы думаете. Каждый из моих друзей знает лишь одно мое лицо. А вот другого моего лица никто не знает.

— Ты должна быть довольна этим, и твои друзья тоже...

(Я вспоминаю историю, которую услышал от вдовы Давида Сикейроса в Мехико. У художника гостил один из наших поэтов и попросил Сикейроса написать его портрет. Художник не был настроен работать. Однако гость проявлял настойчивость. В Москве были бы потрясены — его написал сам Сикейрос! В конце концов художник сдался, взял карандаш, бумагу и стал рисовать. Ничего общего, ничего похожего... Но... «Подпишите»,— просит поэт, ему важна была только подпись. Сикейрос под рисунком написал: «Здесь лишь одно из тысячи лиц поэта Н., остальные 999 не ищите».)

— Умница этот мексиканец.

— Он же просто убил того человека! Как может быть у поэта тысяча лиц?

— А одно-единственное разве не может быть маской? И разве нет писателей, чьи книги не лицо, а маска?

— Ты кого-нибудь на свете любишь?

— Мать. И немного сестру. Но это уже биология.

— Тебе нравится быть бесстыдной?

— Когда я шла к вам, меня остановил на улице молодой человек, мы поговорили полчаса, и он предложил выйти за него замуж.

— Бывает. Я знаю одну пару, которая поженилась так. И неплохо живут, счастливы.

— Что такое счастье? Вместе едут на море, идут в баню, шагают рядом, но каждый — сам по себе? Детей имеют, да?..

— А по-твоему, что такое счастье — деньги, автомобили, рестораны? Что еще?

— Вам не хочется поцеловать меня?

— Ну и что?

— Хотите, я почитаю вам свои стихи?

Я кивнул.

Стихотворение было о грусти. О чистой, нереальной грусти, неужели его написала эта девушка?

— Это лицо твое или маска?

— Стоит ли жить ради чего-нибудь?

— Слушая тебя, трудно ответить утвердительно.

— Неизвестно, кто кого должен жалеть...

— Тебе надо полюбить.

— Этот напиток тоже мне знаком: влюблялась и не раз.

— Я сказал полюбить: влюбиться — значит требовать, получать от другого. А любить — значит отдавать. Жаль, это чувство незнакомо тебе.

— Ваши это слова? Или где-то вычитали?

— Может, и так.

— Я устала от слов. У вас можно курить?

— Дыми. Хотя следовало бы гореть.

Она задумчиво посмотрела на меня.

— Вот и вас я потеряла. Так теряю всех. Каждый знает только одно мое лицо. Сейчас все хотят иметь дело с легкими людьми, с тетрадью в одну линейку.

— Не очень весело узнавать все твои лица.

— Вам бы хотелось написать обо мне? Впрочем, для этого-то вы и согласились, наверное, встретиться. Недурной материал, правда? Вы попросту изучаете меня, да? Думаете — вот стопроцентный прототип испорченного поколения.

Я рассмеялся.

В ту минуту она была маленькой обиженной девочкой.

— Может, правду вы сказали — мы дымим, а надо бы гореть. Но я всего лишь сигарета, не костер.

(Это был странный разговор, и я подумал, что миру грозит опасность не только от гонки вооружений, но и от гонки потребительства. Как сохранить в человеке семена добра и красоты? Нет ли таких добродетелей, которые исчезают с лица земли? Нельзя ли учредить «красную книгу» человеческих добродетелей? Ведь есть же «красная книга» растений, животных, ученые записывают туда, каким видам растений, животных и даже насекомых грозит исчезновение, заботливо охраняют, лелеют их, даже воскрешают умершие виды.

Не слишком ли мы равнодушны к вымирающим видам человеческих добродетелей?)

— Вам грустно,— поняла девушка.— А я не умею грустить. Я вдруг позавидовала, что вы можете.

42

Однажды бабушка сказала мне: «Этой ночью я во сне пошла умирать. Стала у своей могилы, скрестила руки на груди, стою, жду. Вижу, не умираю. И решила — вернусь-ка я назад. И вернулась».

Она сидела на балконе и чистила фасоль.

Мы немного поговорили о том о сем, потом бабушка поднялась: «Пойду полью грядки».

Она ушла и вернулась.

Внучка моего дяди, то есть правнучка моей бабушки, собиралась в школу. «Как отросли у тебя волосы,— сказала бабушка,— дай-ка ножницы, я тебя подстригу». И как она красиво подстригла ее!..

Потом посмотрела на небо: «Сегодня будет дождь».— «Радио сообщило?» — «Солнце. Не чувствуешь, пáрит». Говорила и одновременно что-то вязала. «О твоей доле вина не забыла,— сказала,— десять литров. Не один ты у меня. Сама приготовила. Кажется, ведь красное любишь?..»

Я просидел с бабушкой несколько часов. Она все время разговаривала со мной, но успевала делать свои дела. Я вдруг подумал: до чего же много она знает и как хорошо все умеет делать. Даже починила электроплитку, а я ковырялся, весь вспотел, но ничего не вышло. «Стул под тобой скрипит,— сказала она,— когда уйдешь, я починю. Вот только не знаю, есть ли гвозди?» Я засмеялся. «Что тут смешного? — удивилась она.— Когда в следующий раз придешь, сядешь на этот стул. Ты его пометь».

Ну и бабушка.

И еще подумал: что я умею делать, кроме как писать, произносить речи? Немного пою; если подвыпью, запою. Кофе варю. А дальше? Даже не все пальцы на одной руке загнул.

«Бабушка, когда ты отдыхаешь?» — спрашиваю ее. Она удивленно смотрит: «А что я сейчас делаю?» Не говорит, что ее отдых — это работа. Ей девяносто три, училась в школе всего два года, в приходской. Я в ереванской получал пятерки по физике, а с плиткой осрамился вот.

«Пойду кур покормлю, жалко их»,— встает бабушка. «В котором часу кормишь?» — «Второй раз в девять». Смотрю — без трех минут девять. «Как ты время узнала?» Она виновато глядит на меня, потом на солнце и семенит по двору.

А мы даже хлеборезку выдумали.

Возвращается: «Бедняжки, уже вовсю раскудахтались, знают, что пора».— «У них тоже есть часы?» Я шучу, но она не воспринимает это как шутку, смотрит добрым, прощающим взглядом, а пальцы ее уже двигаются.

Я встаю.

«Значит, во сне подождала и вернулась домой?» — «Раз не умерла, что оставалось делать? Чего бояться смерти, сынок? Пришел в мир, значит, должен уйти. Лишь бы вовремя умереть, не стать обузой...»

А мы, чтобы резать хлеб, машину выдумали.

43

Говорят, будто на большой высоте журавли иногда разрешают ласточкам отдыхать у них на спине. Отдыхать? В этом ли дело? Может, журавли приучают ласточек к близости солнца, встречному ветру, головокружительной высоте, они учат ласточек летать.

Научим же друг друга летать. Будем тоже то журавлями, то ласточками, кто-то будет журавлем, а кто-то ласточкой.

«Странное дело,— пожаловался один французский армянин,— когда проступок совершает француз, говорят: «Поль Давалье сделал то-то». А если сделаю что-нибудь не так я, Сирак Антосян, говорят: «Армянин виноват». Армянин. Словно у меня нет имени и фамилии».

Я отзываюсь вопросом на вопрос: «А когда Сирак Антосян делает что-нибудь хорошее? Тогда как? Не говорят тогда — вот молодцы армяне, смотрите, какой они народ: трудолюбивый, талантливый?.. Или только — Сирак Антосян сделал то-то хорошее»?

Слово похоже на камень: если оно ставится не на место — сопротивляется. Да нет, слово упрямее камня: камень можно обтесать, подогнать, а слову дайте его место — и точка.

Слова, что камни, из них можно соорудить храм, в котором очищается и возвышается душа человека, а еще можно вложить слово-камень в пращу и при метком ударе — наповал убить.

Не забудем же, что слово похоже на камень, особенно в нашем Карастане-Айастане [1].

---

[1] Карастан — страна камней; Айастан — страна армян (Армения).

Не надо строить мосты на высохших реках и разрушать те, что соединяют берега живых рек.

Самый прочный мост, если он наведен на заброшенной реке, мертв, а живым рекам смерть, если они останутся без мостов.

В шотландском городе Демфрисе подросток продавал цветы у памятника Роберту Бернсу.

— Если правильно ответишь, чей это памятник, куплю у тебя пять цветков,— сказал я.

— Бернсу.

— Скажи, за что поставлен, и тогда я куплю все твои цветы.

— За то, что умер,— ответил он.

Я улыбаюсь наивности мальчика, перевожу взгляд на юношеское страдальческое лицо гения Шотландии, и... почему, почему я думаю о судьбах великих людей моего народа?

Как, о, как мы их любим, когда их... нет. Вспоминаем, гордимся ими, о, как гордимся, когда... когда их нет.

Так полюбим же их, поклонимся им при жизни, простим им их слабости и поставим хотя бы в душе памятники в ту пору, когда они рядом с нами.

44

Ученые утверждают, что химический состав человека и звезды один и тот же, и значит, теоретически из звездного вещества можно создать человека. Пусть, сказал ты себе. Сегодня астрономы могут точно предсказать, как поведет себя данная звезда, скажем, через две тысячи лет. А человек? Можно сказать, как он поведет себя завтра, через месяц?

Ты часто приказывал себе — будь человеком-термосом. Ведь такие есть, верно? Двадцать четыре часа сохраняют страдание или радость. Ты безвозвратно впитываешь все, внутри тебя буйство радости и страдания — сколько ты можешь выдержать такое напряжение?

И случилось, и случалось не раз — ты пожалел себя. В стенах толковых словарей слова похожи на заточенных или спящих львов. Надо разбудить их, открыть клетки и вернуть свободу. Только в миг стремительного прыжка можно увидеть их силу и красоту. Сколько раз ты смог дать свободу словам? — спросил ты себя.

45

Одна знакомая девушка вернулась из туристской поездки в Индию.

— В Бомбее,— рассказывала она,— ко мне подошел пожилой мужчина, армянин, и пригласил к себе домой. «Моему сыну двенадцать лет,— сказал он,— у него тетрадь; когда встречает армян, просит, чтоб в нее записали только одно слово — Айастан. Пойдемте, пожалуйста, к нам, и тоже запишите. Он обрадуется. Многие записывали у него в тетради».

— И ты пошла? — спросил я.

— Нет,— ответила она.— Как я могла написать по-армянски? Говорить, как вы знаете, умею, но испугалась допустить орфографическую ошибку.

— В слове «Айастан»?

— Ну и что же, говорить могу, а...

— Написала бы по-французски,— поддел я ее.

Она не поняла иронии.

— Он хотел по-армянски.

...И я вспомнил школу для репатриированных из Турции армян в городе Абовян, недалеко от Еревана. Но до этого мне на память пришла история одной турчанки. В 1915 году из армянского села недалеко от Карса турки похитили армянку. Через неделю ее брат, исполненный мести за сестру, отправляется ночью в турецкое село и выкрадывает молоденькую турчанку. Он приводит ее в свою деревню, но... но проходит время, он влюбляется в нее, женится, рождаются дети. В 1946 году эта семья репатриируется в Армению и поселяется в Абовяне. Турчанка была матерью армянского семейства, все знали ее историю, и все звали ее Айкуи.

В 1973 году она поехала в Турцию, на свою родину, повидать родных. Мужа не было уже в живых, дети выросли, и в Турции ей предложили остаться, тем более что она получила солидное наследство. Айкуи уехала по приглашению на три месяца, но вытерпела всего двадцать дней и вернулась домой, в Армению. В 1976 году она умерла. «Айкуи была святой женщиной,— сказали мне в Абовяне те, кто знал ее. А знали почти все.— Иногда пела турецкие песни, говорила, что скучает по своей деревне, языку».

И вот школа, где учатся армяне, репатриировавшиеся за последние 5—6 лет из восточных провинций Турции.

Вечер, обычные уроки в школе кончились, горит свет только в одном классе. Входим, с парт поднимаются пожилые мужчины и женщины, самая молодая в классе — это учительница, Ирма Лалаян. Я прошу продолжить урок, и получается, что присутствую на самом необычном в мире уроке. «Ученики» не знают армянского даже как первоклассники. Их беседу с молодой учительницей я записываю.

— Серебро, понимаешь, Асатур?

— Понимаю — не золото, а серебро.

— Какая разница — река или ручеек?

— Река — много ручейков.

— Составь предложение со словом «прохлада».

— В нашем Цахкадзорском лесу очень прохладно.

— Ты был в Цахкадзоре?

— Нет.

— Микаэл, составь предложение из слов «лес» и «прохлада».

— Прохладным утром мы отправились в лес.

— Для чего отправились в лес?

— Да так... собрались и отправились...

На столах лежит азбука, иллюстрированная, с большими буквами. Аревик, женщина лет пятидесяти, читает: «У него красный галстук».

— Как провели вчерашний отдых, Асатур?

— «Отдых» понял, остальное нет.

— Хочу, чтобы мои дети,— говорит Андраник,— стали хорошими людьми на родине. Дома я каждый день спрашиваю у детей — какие сегодня получили вы отметки?

Один из детей Андраника в десятом классе, другой— в седьмом. Сам он — в первом.

— А дети у тебя спрашивают, что ты получил, Андраник?

— Нет, щадят... Но когда задаете наизусть, дочь помогает мне... Наизусть трудно.

Микаэл и Гёзал — супруги, на их парте тоже азбука.

— Расскажите о каком-нибудь интересном дне из вашей жизни.

— Теперь каждый день нашей жизни интересный.

— Товмас, тише,— стесняясь, делает замечание двадцатидвухлетняя учительница тридцатилетнему первокласснику.

Дальше сидит тикин Аршалуйс, ее сын скоро вернет-

ся из армии, а сама она уже выучила двадцать две буквы.

— Товмас, ты был вчера на футболе?

— Я поехал на такси, очень волновался.

— Кто-нибудь больше, чем ты, волновался на стадионе?

— Как же это сказать? — Товмас вдруг забывает все слова, краснеет, нервно ломает пальцы.— Я не виноват... что так говорю... Мой отец не был виноват, что так говорю...

— На каком-нибудь языке ты умеешь писать? Скажем, на турецком?

— Разве там в деревне есть турецкие школы?

— А на курдском?

— Разве были курдские школы?

— Хочешь выучить армянский?

— Учу, сколько хватает времени. Но ведь времени мало. Дом строим.

— Постепенно выучишься, Товмас.

— Что понимаю, то понимаю, но чаще — не понимаю. Знаете, что трудно, учительница? Когда не понимаю, какое слово не понимаю...

Потом читают наизусть. Здоровенный детина Асатур, заикаясь, находит, нет, открывает для себя армянские слова. Он путает строчки, то, что не знает, пропускает, тут же редактирует и сокращает стихи.

На уроке присутствует Тагуи, дочь супругов-первоклассников Сурена и Сильвы. Она снисходительно поглядывает на отвечающую урок мать.

— Лепет... Кто лепечет?

— Дети.

— Мы тоже сейчас лепечем,— говорит Сильва то ли с грустной радостью, то ли с радостной грустью.

— Составьте предложение со словом «красивый».

— Армения для души моей очень красива.

— Снег на горе Арарат очень красивый.

— Товмас, ты.

— Может, так — наша учительница самая красивая?

Учительница краснеет, а для меня самое красивое — этот необычный, удивительный класс.

Не знаю, смог ли я ответить побывавшей в Индии девушке? Хотя вовсе не хотел ей отвечать, просто ее и эту удивительную школу я вспомнил одновременно. Случается же такое.

— Кто-то назвал армян донкихотами среди наций.

Рубен мрачно улыбается.

— Кто-то назвал... Кто назвал? Когда? Дон-Кихот... Разве у него были реальные враги и друзья? А мы воевали с реальными врагами, и друзья у нас тоже были настоящие. Ты это прекрасно знаешь.

— Да. А еще знаю, что, когда бывало очень уж трудно, мы кричали: «Нас мало, но мы армяне».

— Так патетически? Крик бывает короток. Самое большее можно крикнуть: «Вперед, храбрецы!» Народ свой надо любить так, как любила своего отца, короля Лира, его младшая дочь Корделия: «Я вас люблю, как долг велит — не больше и не меньше».

— Не больше и не меньше,— повторяю я, и мне вспоминаются слова поэта: — «О родина, горькая и сладкая!»

— Да, именно,— произнес Рубен,— горькая и сладкая.

— А еще вот что сказал другой великий армянин, который родился и прожил жизнь на чужих берегах, когда его спросили: «Вы столько лет на сцене, не чувствуете, что стареете?»

— И что же он сказал?

— «А я никогда и не был молодым,— ответил он,— армяне рождаются стариками. Как я могу почувствовать, что старею?»

Рубен хмурился.

— Это звучит как эпитафия. Пусть даже поэтическая и пусть даже есть в этом некая крупица правды. Но если вдруг принять эти слова всерьез, они звучали бы как надпись на памятнике. Все наши великие рождались молодыми и умирали молодыми — независимо от возраста. Мы — молодой народ. Мы должны, если хочешь — вынуждены быть молодыми. Человек, сказавший эти слова,— я догадываюсь, кто он,— тоже молод. Ни один пожилой человек не говорит, что он стар, а молодой скажет, потому что он не боится слова «старость».

— Звучит парадоксально.

— Тот артист тоже говорит парадоксами. Дело в другом — как нам сохранить эту свою молодость, не переставая быть древними, то есть быть одновременно и молодым и древним. Как сделать, чтобы эта древность не обернулась грузом, не стала горбом, не согнула бы,

не заставила все время смотреть под ноги. А надо смотреть вверх, оглядываться по сторонам, надо вперед смотреть.

— А также еще и назад.

— Изредка.

— Изредка?

47[1]

...Жаль, не удалось отпраздновать день рождения матушки Нунэ.

Ей исполнилось восемьдесят пять лет.

Оставалось два месяца, а в ее ереванском доме (у старшего сына) собрался, так сказать, семейный совет. Поговорили, обсудили — внуки, правнуки шумели, хохотали; сын, дочь, зять что-то считали, решали. Нужно устроить пышный, торжественный праздник: ведь матушка Нунэ — старейшая в роду и все так любят ее. Дом, конечно, не мог вместить такого количества гостей, поэтому прикидывали, какой же зал снять в городе? Может, вместо машин нанять фаэтоны, а матушку Нунэ обрядить в свадебный наряд?.. Словом, строили тысячи разных планов. Внуки и правнуки думали, что́ подарить бабушке. Подарок надо сделать своими руками, купленный бабушка не примет.

В этой радостной суматохе лишь виновница торжества молчала и была ко всему безучастна. Сидя на своем обычном месте — в старом кресле,— она унеслась мыслями в стародавние времена и как будто ничего не видела и ничего не слышала.

— Мама, скажи и ты что-нибудь! — сын все понимал, сын сделал осторожную попытку вернуть мать из неоглядной дали.— Все ведь должно быть по душе тебе. Скажи...

Мать грустно улыбнулась сыну:

— Ты говоришь, по душе мне?..

Все приумолкли, ласково посмотрели на крохотную женщину, утонувшую в кресле и в воспоминаниях, притихли даже дети — ее внуки и правнуки.

— Ну, конечно, мама,— на этот раз вступила в разговор дочь,— мы ведь для тебя все и затеяли. Как скажешь, так и сделаем.

---

[1] Главы 47 и 48 переведены Е. Шатирян.

— Значит, для меня...— то ли вздохнула, то ли обрадовалась матушка Нунэ.— Ну раз так, пусть соберется весь наш род. Все.

— А как же иначе, мама? Сейчас составим список, не бойся, никого не забудем.

— Всех. Кто есть у меня в этом мире.

— То есть...

— Живущих в Армении, понятно, не забудете, знаю, что никого не забудете. Потом...— Матушка Нунэ замолчала: она куда-то глядела, кого-то видела...— Мой брат Аво... Записываешь? Твои братья, дети моей сестры. Дети моей подруги по беженству. Все. Соскучилась я. Когда еще соберутся?.. Всех записали?..

Матушка Нунэ встала с кресла, медленно пошла к себе.

— Не ходите за мной,— сказала она.

— Отправилась в свой музей припомнить, не забыла ли кого...

— Так и есть...

«Музеем» называли комнату матушки Нунэ: на стене она развесила фотографии всей родни. Последней была карточка правнучки — маленькой Сирануш.

Сын заглянул в составленный список.

Дядя... Семидесятивосьмилетний брат матери живет в Канаде. Дважды приезжал в Ереван. У него четверо детей, вероятно, есть и внуки.

Тети давно нет. После 1915 года она попала во Францию, там и умерла. У нее двое сыновей, один из них сейчас в Англии, другой — в Эфиопии.

Младший брат... Это незаживающая рана семьи. Лет пять-шесть назад, получив приглашение от живущего в Канаде дяди, взял свою семью и уехал. Сейчас он в Австралии, в Сиднее. Уже давно нет от него писем.

Средний брат живет в Казахстане. Пошлют телеграмму — приедет. Впрочем, и у этого уже три года «нет времени».

Подруга матери по беженству... Ее тоже давно уже нет. Дети приезжали несколько раз, называли матушку Нунэ тетей. Живут они в Аргентине.

— Сколько человек получается? — заглянув в список, спросила сестра.

— Осталось два месяца, успеют ли?.. Захотят?..— Кого спрашивал сын и кто мог ему на это ответить!..

Сестра была практичнее.

— Наше дело — сообщить. А они уж как знают...

Матушка Нунэ показалась на ступеньках.

— Я забыла двоюродного брата Сенекерима. Адрес есть, так ведь?..

— Есть, мама, найдем,— поспешила ответить дочь.

Сын молча смотрел на мать, замершую, словно статуя, на верхних ступеньках лестницы. И мать глядела на сына: она читала по буковкам его молчание.

— Пошлем телеграммы,— наконец произнес он.— Всем отправим.

— Никого не забудьте. Что делать — после решим. Праздник в том, чтобы все собрались. А то что я? Старуха, о которой и смерть забыла.

Телеграфировали.

Никого не пропустили.

И стали ждать.

Первое письмо было, естественно, из Казахстана. «Дел по горло,— писал сын,— но что-нибудь придумаю. Марго вряд ли приедет. Дети тоже: двое учатся, сын — в армии. О моем приезде, если получится, дам телеграмму».

Мамин брат писал: легко ли пересечь океан? Разве не знает моя сестра, сколько мне лет? К тому же он сосчитал, что расходы на дорогу составят четыре тысячи долларов. Откуда их взять?..

Сын тети, живущий в Англии, сообщил: «Целую, поздравляю. Подарок, надеюсь, получите вовремя».

Второй сын тети, живущий в Эфиопии, прислал большое грустное письмо: в этом году он уже использовал отпуск, хозяин банка вряд ли отпустит, да если и отпустит, представляете, какой убыток понесу? Плюс еще расходы на дорогу. «Старая тетушка — крепкая кость,— писал он,— долго жить будет, как-нибудь, бог милостив, приеду — свидимся». Письмо переслал с оказией, подарок был: шаль из итальянской шерсти.

Дети подруги по беженству телеграфировали, что наметили приезд в Армению лишь через два года.

Последним пришло письмо от младшего сына из Сиднея. «Отвечаю с опозданием, поскольку был по делам в Новой Зеландии. Конечно же, я очень хотел бы присутствовать на мамином празднике, но вы сами понимаете, я ведь живу не в Кафане, чтобы сесть в поезд и утром

быть на месте. Мой старший сын очень обрадовался вашей телеграмме: сказал, если ради бабушки устраивают такой большой праздник, значит, в Армении все осталось по-прежнему. Обрадовался, потом заплакал. Он очень хочет приехать. Ему-то что? Через несколько дней один из моих знакомых отправляется в Ереван, пришлю подарок маме. Мамин день рождения мы отпразднуем и здесь: в этот день я позвоню (вы знаете, сколько стоит пять минут разговора? Не знаете...)»

Письма, телеграммы — стопка на письменном столе сына. И с каждым листком мрачнела матушка Нунэ. Письмо младшего сына она несколько раз просила перечитать (неосторожные места хорошо хоть пропускали). Послушала, расплакалась.

Оставалось две недели, вновь собрались, чтобы обсудить все окончательно, и матушка Нунэ сказала:

— Сынок, не надо: много будет пустых стульев.

Это был приказ. Сказала спокойно, вытерла слезы, поднялась и вышла. Поднялась к себе в комнату, в «музей», где рядом все ее близкие. Может, в огромном и непонятном этом мире только фотографии могут быть вместе...

И внук матушки Нунэ записал в дневнике:

«Вот что значит собраться вместе одному армянскому роду. В скольких странах живем, из скольких стран должны приехать...»

48

«Деревня Джрасун, 1827 год. Карин (Эрзерум). Все собрались, смотрят на последнюю букву алфавита и плачут. День был дождливый...

И с последней страницы рукописного «Нарека»[1] я просто переписываю эту волнующую историю. Переписываю для всех сегодняшних и будущих армянских учителей. «Просто переписываю»: как легко ложатся слова на бумагу. Просто?.. Переписываю?.. Ну, если можете, «просто прочтите».

Вот о чем поведала последняя страница «Нарека», дошедшая до Еревана из Западной Армении.

---

[1] В народе так называют «Книгу скорби» Григора Нарекаци (X—XI вв.).

«Погиб Тер Минас — единственный учитель в деревне. Деревня и шестеро учеников осиротели. Тер Минас пал на пороге школы от удара сабли пьяного янычара. В этот день учитель рассказывал о последней букве алфавита и просил янычар не прерывать урока, пока дети не научатся писать последнюю букву. Пьяный янычар не стал слушать и ударил Тер Минаса. Из раненой головы на каменную плиту полилась кровь. При последнем дыхании Тер Минас подозвал к себе ученика Ваграма, обмакнул его палец в свою кровь и на каменной плите написал последнюю букву нашего алфавита.

Деревня Джрасун, 1827 год. Карин. Все собрались и смотрят на последнюю букву алфавита и плачут. День был дождливый».

49

— Значит, в семь у станции метро.

— В семь? — спросила девушка.— У какой именно станции?

— Я же сказал — у «Сасунци Давида». Твоя любимая станция.

(Наверное, стоило прожить и промучиться три жизни, чтобы услышать о таком свидании на одной из улиц Еревана.

Но кто поймет нашу радость?

А сами разве мы всегда понимаем?)

Я опять у арки Чаренца.

Отсюда, сквозь эту арку, видно не только то, что перед моими глазами,— вся Армения видна: не как географическая карта или тысячу раз виденный сон, а как живая земля и страна.

Особенно отчетливо видна новая Армения, Советская Армения — последний спасенный ребенок нашей трудной истории.

Лежит, как на большом каменном подносе. Люди, незнакомые с нашей землей и историей, поразятся: откуда возникли в этих безнадежно выжженных зноем горах полные жизни дома, изумрудные лоскуты земли и сады, деревья, ломящиеся под тяжестью напоенных солнцем плодов?

Говорят, у подножия Этны живет чудо-растение, названное девичьим именем — Джинестра. Семена его будто бы сеют на застывшей лаве, и оно своими шелковис-

тыми корнями разрыхляет затвердевшую лаву, превращает ее в конце концов в чернозем.

Джинестра, я назову тебя сестрой,
Джинестра, стану я тебе братом...

Не мечта ли это, выросшая из чаяний детей далекой, тоже каменистой земли? А может, и в самом деле живет — существует это чудо-растение? У нас его нет, никогда не было. И словами армянского поэта я призываю это растение:

Я увезу тебя в страну мою каменистую,
Я посею тебя на скале...

Было бы у нас такое растение! Было?.. Было и есть это чудо-растение, что обращает камень в землю. Это — любовь, кровь и пот твоих сыновей, мой народ, ибо в нашей трудной, горной стране они и камни превращают в землю. Вот так живет и тянется вверх последний спасенный ребенок нашей непостижимой истории. Живет нашею любовью, кровью, нашим потом...

Над головой этого чудо-ребенка развевается стяг — красный, как путь, прочерченный нашей историей, и синий — как наши надежды.

Так скажем же себе и друг другу, произнесем — как клятву: «Вырастим этого ребенка нашим потом, защитим, если понадобится, своей жизнью и кровью и будем лелеять, лелеять его».

Поставить ли здесь точку в «Армянских эскизах», которые пишутся, наверное, уже двадцать лет? Не знаю. Лет десять назад мне самому казалось, что я пришел к этой заветной точке. «Эскизы» собрались под одной крышей, были изданы на армянском, переведены. Но жизнь движется, и независимо от моей воли родились новые «эскизы», которые вы только что прочитали. Назвать все это второй книгой? Значит, может быть и третья? Не знаю. Потому что эту книгу пишу не я, ее пишет жизнь. А жизнь продолжается...

Эту книгу диктуешь мне ты, моя страна, и я всего лишь простая пишущая машинка, записывающая лента.

Значит, снова в путь.

И снова к тебе, Армения.

1981

ПИСЬМА С ПОЛУСТАНКОВ ДЕТСТВА

ПОВЕСТЬ В РАССКАЗАХ

...Откуда я? Я из детства.
Я пришел из детства, как из страны.

Антуан де Сент-Экзюпери

СКАЗОЧКА, КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОСЛУЖИТЬ ПРОЛОГОМ К ЭТИМ РАССКАЗАМ

— Где теперь мой прошлый год? — спросил меня однажды сынишка.— Давай сходим к нему в гости.

Он только что разбил самое любимое зеркало своей мамы (вообще-то у нее было четыре самых любимых зеркала, но это так, между прочим), а я ему долго и нудно объяснял, что он уже взрослый парень, вот если б в прошлом году разбил зеркало, это ладно, куда ни шло, ведь в прошлом году он был еще маленьким, не соображал, что творит...

Черные глазищи сынишки стали при этих словах еще больше. Он подумал-подумал, да и задал свой удивительный вопрос: «А где теперь мой прошлый год?»

И мне пришлось сочинить сказку о прожитых человеком, канувших в минувшее годах.

«Значит, так. Жизнь человека — как поезд. Видал разноцветные вагончики на детской железной дороге? Вот и она такая. И бежит тот поезд по горе наподобие Арарата. Первые сорок лет на гору, а другие сорок лет — под·гору. В первый год жизни человека весь поезд-то всего в один вагончик. И въежает тот вагончик в белый свет. А как исполнится человеку год и пойдет второй, он пересаживается в другой вагон, чуть побольше, а первый оставляет на дороге. Так потихоньку поезд человеческой жизни вкатывается на гору, на самую вершину, оставляя на дороге, в цветах и шипах, вагоны ушедших лет. По одному на каждой станции».

— А мне сколько лет? — спросил сынишка.

— Четыре,— ответил я.— В феврале исполнится.

— Я хочу в мой прошлогодний вагончик. Где он сейчас?

— Далеко-далеко,— сказал я и вдруг подумал, что сказку-то эту я рассказал себе самому, ведь мне так хочется вернуться на далекие полустанки собственного детства. А рассказы мои — всего лишь письма с полустанков детства, на которых я один за другим оставлял свои годы. Теперь поезд моей жизни катится под гору. Оборачиваюсь — ничего не видно. Смотрю в себя, оглядываюсь на себя былого, но все подернуто голубой дымкой. Кое-что утеряно, кое-что забыто — нужно заново сочинять.

Так и родились эти рассказы, эти письма с полустанков детства. Я писал их себе самому. Мой сын, которому сейчас четыре года, может быть, прочтет их когда-нибудь, а скорее всего не прочтет — другой поезд у его детства, другие цветы и шипы на его дороге, другие полустанки...

Из костра прожитых лет, говорят, нужно брать искры, а не золу. Я пытался оживить искры собственного детства, скрывшиеся в пепелище лет. Не знаю, удалось ли мне это...

МОЯ УЧИТЕЛЬНИЦА

— Завтрака не получите!

Наша учительница Арпик Поладян наказала в тот день троих — Арама, Каро и меня.

Мы должны были дома тридцать раз переписать предложение, которое нацарапали на прошлом уроке, как курица лапой, понасажали клякс, понаделали ошибок. У меня духу на четыре раза хватило — дома холод гулял, старший брат дров не раздобыл, а предложение как назло было длинным и непонятным... Каро переписал его шесть раз, а Арам счел за благо позабыть тетрадь...

Товарищ Поладян повелела нам остаться после уроков и переписать то предложение тридцать семь раз (не пойму, почему не сорок) и вдобавок лишила нас завтрака — горячего пирожка с мясом. А я утром только выпил стакан чаю с урюком.

— Завтрака не получите! — еще раз повторила учительница свою обычную фразу и, поскольку звонок уже прозвенел, раздала пирожки — горячие, мясные...

Мы трое в коридор вышли. Посвистываем себе с Арамом — мол, подумаешь, велика беда. А Каро хму-

ро в окно уставился — смотрит на снежные хлопья, а видит, наверно, горячие пирожки.

Арпик Поладян преподавала армянский, сама же была не армянкой, а из Полиса[1] (много лет прошло, прежде чем я понял, что полисцы — так у нас окрестили всех беженцев — те же армяне, такие же, как мы). Товарищ Поладян была сухонькая, с горсточку. В школу ходила все в одном и том же платье, на голове зимой и летом что-то вроде берета. Строгая — случалось, поколачивала нас, потому что учиться нам, прямо скажем, было неохота. Какой там учиться, когда немцы добрались уже до Кавказского хребта! Холодно, голодно, а она упрямо вбивает нам в башку местоимения, наречия, склонения. Лишь у семерых моих одноклассников отцы еще оставались в живых, а она била нас по пальцам узкой линейкой, чтобы мы писали покрасивее, не забывая о волосяных линиях — они ей особенно нравились. А я не желал писать красиво — я есть хотел, и дома у нас гулял холод. Если мне что и было по душе — так это книжки читать, вроде «Манон Леско» и «Квентина Дорварда». В этих книжках было тепло, их населяли красивые девушки в златотканых нарядах, кони, сладости...

О, до чего ж я ненавидел товарищ Поладян!

— У меня агандз[2] есть,— сказал Каро и поделил пшеницу между нами по зернышку.

Слоняясь по школьному двору, мы пережевывали зернышки долго, тщательно и нарочно опоздали на следующий урок — пусть с завтраком будет покончено...

Наши пирожки учительница отдала Асмик, Рубену и Серобу. Только вошли мы в класс — Сероб скривил лоснящиеся губы, стал рожи строить. Асмик же сидела, опустив голову,— она была моей соседкой по парте. На перемене мы Серобу, конечно, всыпали, но желудки наши, понятное дело, сытыми не стали. Пшеница, которой угостил нас Каро, только разожгла наш аппетит — ей не удалось обмануть наши бедные пустые желудки.

В тот день мы строили коварные планы — как отомстить товарищ Поладян, которая таки заставила нас после уроков переписать тридцать семь раз длинное непонятное предложение: «Когда разверзнутся врата

---

[1] Полис — Константинополь.

[2] Агандз — жареная пшеница.

надежды и хлад покинет земную твердь...» А я написал так: «Когда откроются ворота надежды и хлад покинет землю...» Я ведь верно написал и потому победоносно взирал на учительницу, на эту злючку из Полиса. Товарищ Поладян буковка за буковкой прочла все тридцать семь строк, а потом очень мягко сказала: «И так можно. Только, если уж ты на современный язык перевел, следовало написать холод, а не хлад... А пишешь неаккуратно».

Товарищ Поладян никто никогда не видел улыбающейся, никто не видел ее за едой. А в первой четверти, когда она нас только-только начинала лишать завтраков, я, грешным делом, думал, что она сама поедает конфискованные пирожки. Но вскоре выяснилось, что они — награда отличившимся в тот день, тем, кто урок как следует выучил. В тот день, стало быть, фортуна избрала Асмик, Рубена и Сероба.

«Подкинем ей в чернильницу кусочек карбида,— предложил Арам.— Или галоши к полу прибьем». Она обычно оставляла галоши в классе, в углу,— из учительской их однажды свистнули. Так ей и надо! «А для чего прибивать?» — мрачно поинтересовался Каро. «Станет надевать, и как шмякнется!» И ясно представили себе: если незаметненько, не сдвигая галош с места, прибить их гвоздями, она — шмяк! — как растянется!.. Но у меня возникло предложение поинтереснее: притаиться вечером в ее подъезде, а как только она появится, завыть, замяукать, залаять. У Арама лай здорово выходит — она насмерть перетрусит. Мое предложение поддержали — в те годы, наверно, по всей земле светомаскировка была, удобно. Помяукаем, полаем — и наутек. Только вот надо узнать, где она живет...

На другой день добавочный пирожок достался Каро. Товарищ Поладян спросила у Вачагана слово в родительном падеже с окончанием «а», а он, башка садовая, возьми и ляпни: «справа». Товарищ Поладян рассердилась и говорит: «Подумай хорошенько». Вачаган и выдал: «права». Товарищ Поладян улыбнулась: «По ошибке верно получилось. В следующий раз падежи мне ответишь, а сегодня... завтрака не получишь».

Была большая перемена. Мы втроем — Арам, Каро и я — сидели на ступеньках с четырьмя пирожками, но пирожки не ели. «Разделим его на три части»,— предложил Каро. «Сам ешь,— неуверенно возразили мы,—

тебе ведь причитается». Пирожки были еще горячие. Но Каро вдруг поднялся. «Обождите»,— говорит. Взял один пирожок и пошел в класс. Мы с Арамом удивленно переглянулись. А Каро чуть погодя возвратился — правда, уже без пирожка. «Ну давайте есть,— говорит. — Каждому по штуке». И мы стали есть молча, как заговорщики, но тут Арам не стерпел: «А тот куда дел?» «Вачагану отдал»,— холодно ответил Каро.

Мы переглянулись.

И долго друг на друга смотрели.

А тогда этого и не заметили... Шел тысяча девятьсот сорок третий год, нам троим вместе было тридцать шесть лет. И я только теперь понимаю, что в ту пору, когда нам троим было тридцать шесть — и не порознь тридцать шесть, а всем вместе,— в ту пору мы были хорошими ребятами, даже очень хорошими...

А война продолжалась, и товарищ Поладян продолжала вбивать в наши дурные головы, что деепричастные обороты выделяются в предложении запятыми, что нужно писать Киликия, а не Киликья, что Аракс — не только имя нашего одноклассника Аракса Магакяна, но и название самой крупной в Армении реки и что приличный почерк человеку не мешает иметь даже в военную пору.

Одета товарищ Поладян было всегда опрятно, но однажды я заметил, что ее платье на локтях искусно залатано, а в школу она вот уже три года ходит в одних и тех же туфлях.

Наступила весна. Теперь мы зябли поменьше, зато есть хотелось еще больше. А товарищ Поладян все еще обрушивала на наши головы свой приговор: «Завтрака не получишь». Но эта фраза нас уже не страшила. Как-то так уж само собой вышло, что каждый, кто получал добавочный пирожок, возвращал его на перемене законному владельцу. Конечно же, тайком от товарищ Поладян. Добрым оказался почин Каро...

Той весной закончилась война. А в шестом классе товарищ Поладян не должна была нам преподавать. «Мы в шестой перешли, а товарищ Поладян в пятом застряла»,— острили мы, избавясь наконец от ее грозного образа.

...А несколько лет назад я вдруг случайно узнал, что товарищ Поладян неизлечимо больна. Я сумел разыскать только Каро и Рубена — купили цветов, конфет

и пошли ее проведать. Жила она все в том же двухэтажном доме, в темном подъезде которого мы трижды безуспешно поджидали ее, чтобы «облаять» и «обмяукать»...

Постояли несколько минут в подъезде — прошло как-никак двадцать пять лет, — закурили. Мы с Каро переглянулись. «Это ведь твой был план,— вспомнил Каро.— Расскажем, рассмешим ее».

Товарищ Поладян лежала в крохотной комнатенке, набитой всяким старьем, книгами, стопками связанных тетрадей. Поначалу она нас не узнала, а когда узнала, глаза ее наполнились слезами. Мы не знали, как быть, — застыли перед ней, как двадцать пять лет назад. И не скажи она сквозь слезы: «Садитесь, ребята», — мы бы не сели. Я впервые видел ее слезы. Вся она как-то высохла, стала совсем маленькой, а взгляд ее, хоть она и плакала, был прежним — строгим и сосредоточенным.

Из кухни вышла девушка лет двадцати — двадцати двух. «Арменуи, из моих последних учеников», — сказала товарищ Поладян. Девушка молча подала нам кофе, а товарищ Поладян протянула какие-то цветные таблетки. «Мне уже лучше, Арменуи, — улыбнулась учительница. — Вот они, мое лекарство», — и указала на нас глазами. Она и в самом деле была нам рада, и мы потихоньку разговорились. И Каро, конечно, рассказал о коварном плане отмщения, который мы так и не осуществили... Над кроватью висел поблекший рисунок — он показался мне чем-то знакомым, и я внимательно в него всмотрелся. «Это Полис, — сказала больная и указала пальцем на один из домов тесной улочки. — Здесь я родилась. Семейство у нас было большое, очень большое...» «Я побывал в прошлом году в Полисе,— сказал я.— Очень красивый город». Взгляд учительницы стал задумчивым-задумчивым. «Сейчас Арменуи угостит вас завтраком», — помолчав, сказала она. Мы переглянулись, заулыбались. «Завтрака не получите!» — выпалил я, стараясь скопировать ее манеру речи, и мы рассмеялись, теперь уже вчетвером. И она с нами. Поговорили еще о том о сем — кто где работает, кто кем стал, — и вдруг товарищ Поладян сказала: «Хорошие у вас в классе были ребята.— И добавила: — Я знала, что вы наказанным возвращаете пирожки. И любила вас за это, негодники...»

Комнатка была маленькая — вся в старых вещах, в старых воспоминаниях, в связанных стопках школьных тетрадей. «Можно выйти на кухню покурить?» — «Можно», — сказала учительница. Курение было лишь предлогом — мы вдруг испугались, что расплачемся. От воспоминаний, от оживших свидетельств нашего горького детства. Да, испугались.

На кухне Арменуи нам сказала, что надежды, по словам врачей, нет — возраст, сердце, да мало ли еще чего, когда тебе семьдесят восемь лет. «Я вас извещу»,— пообещала она.

...А несколько дней спустя мы провожали нашу старую учительницу в последний путь — ее строгий взгляд навечно спрятался под веки, и осталось пожелтевшее, испещренное морщинами и удивительно доброе лицо. За гробом шло человек тридцать — сорок: ученики, которых нам удалось разыскать, учителя, соседи... «Перед смертью она рассматривала ваши фотографии, — рассказывала Арменуи. — У нее была карточка каждого. И еще сказала: кто хочет, может взять свои тетрадки. Они аккуратно разобраны и перевязаны — по классам, по годам... Хотите, возьмите свои. А то ведь комната райсовету перейдет.— И обратилась ко мне: — А рисунок с видом Полиса она просила вам передать. Дважды напомнила...»

МОЯ БАБУШКА

Когда последний раз я приехал в наше село проведать бабушку, она не узнала меня. Долго и подробно ощупывала мое лицо, руки и все молчала.

Она давно была слаба глазами — так, может, свет для них уже и вовсе померк, подумалось мне. Но видеть — это еще не все — бабушка чувствовала людей. А меня вот на сей раз не почувствовала. Я повторил несколько раз свое имя, но она в ответ бормотала что-то обрывочное, бессвязное. И в этом бессвязном бормотании я уловил имя своего старшего брата, которого давно нет в живых, и младшего брата бабушки, похороненного, уж не знаю, то ли в Абиссинии, то ли в Тунисе. Потом бабушка застыла на своей белой подушке, съежилась под старым полосатым одеялом, под которым и я, бывало, сворачивался клубочком в стылые ночи военного времени. Мы с братом вышли на балкон. «Те-

леграфировать Левону или нет смысла? Не успеет, наверно». Левон, наш двоюродный брат, служил в Сибири — кажется, в Чите. «Нет смысла, не успеет», — и мы закурили в темном безмолвии сельской ночи. Напротив вырисовывался старый бабушкин дом, в котором прожила она чуть ли не весь свой век; в новый, в этот, переселилась позже — сын с войны вернулся и построил его. Вдруг мне почудилось, что старый бабушкин дом похож на свою хозяйку — на бабушку, свернувшуюся клубочком под одеялом. И стало грустно...

А несколько дней спустя...

Это произошло под утро. Она догорела, как догорает свечка на алтаре заброшенной церкви. Она уснула той ночью и... насовсем уснула. Будто сто лет бессонницей маялась. Когда я добрался до села, она еще лежала на своей кровати — только теперь под чистой белой простыней. Мне померещилось, будто под простыней пусто. Но там была моя бабушка. Я сел на стул возле кровати — как и в тот день,— а вокруг хлопотали: известить родню нужно, раздобыть стулья, посуду, продукты, телеграфировать в Москву бабушкиным племянницам, чтобы те, в свою очередь, послали в село телеграмму соболезнования. Дел, одним словом, невпроворот. Ни печаль, ни боль утраты не витали в воздухе — бабушке было сто три, то ли сто четыре года. И тут до меня дошло, что дом этот — уже не бабушкин. Видимо, эта мысль и выгнала меня из душной шумной комнаты. Я спустился в сад, который еще был бабушкиным садом, сел на землю, помнящую прикосновение ее рук, и закурил. Пока еще никто не определил, какой срок человеческой жизни велик, а какой мал. Кто сказал, что бабушка зажилась на белом свете и ей пора уходить? «Вот ежели б смерть за деньги продавалась, — как-то сказала мне бабушка. — Затоскует душа, запросит смерти, покупай да помирай с богом...»

Возле моего письменного стола в кроватке с решеткой спит, выпростав ручонки, Лилит. Она родилась через две недели после бабушкиной смерти. А ручонки держит над головой, чтоб ее не пеленали. (Вот глупенькая — думает, этого достаточно.) Я чуть-чуть ослабил узелок — пусть ей повольнее будет, — а мысли мои с бабушкой. Каждому человеку дано право иметь двух бабушек и двух дедушек, а мне вот досталась одна-единственная. И может, я одну ее любил за всех четве-

рых? А может, и она меня одна за них, за четверых, любила?

Бабушка...

Я, стало быть, больше не внук. Вот и вырос я, разом вырос! Ведь когда у тебя есть бабушка, ты вроде и не можешь быть таким уж взрослым. По правде говоря, мне не верилось что наступит такой день, когда ее не будет. За сорок прожитых мною лет — а бабушку я помнил где-то лет с десяти — значит, за тридцать прожитых мною лет бабушка почти не изменилась. Да, собственно, кто меняется после семидесяти пяти? Просто с годами она как-то усохла, плоть куда-то улетучилась, кости остались. Деды — мне, по крайней мере, всегда так казалось — умирают молодыми и внезапно. Накануне пьют себе возле ручья вино, подставив спины солнцу, и ведут чинную беседу, а наутро один из их излюбленных камней, на которых любили сидеть, вдруг остается незанятым — вот и все. Куда бы деды ни уходили, они уходят без предупреждения — на войну, в странствия, на вечный покой... Бабушки же тают неприметно, убывают, как вода в гуре [1], капля за каплей, капля за каплей... А глазам нашим не видно этого, и, наверно, потому не щадим мы бабушек, не бережем. Нам кажется, что они вечны — как вот эта шелковица, как хачкар, как валун посреди ручья, соединяющий его берега. Они беспрестанно молятся за нас и должны молиться, думается нам, как же иначе — а вот мы им ничем не обязаны. И уходят наши бабушки, убывают капля за каплей, капля за каплей — словно испаряются, улетучиваются, возносятся к небесам...

Бабушка никому не была в тягость, ни для кого не была обузой — ни при жизни, ни после, когда мы, внуки, подняли ее и поплыла она по воздуху на наших руках. Была легка она, как перышко, и мне на миг померещилось, что мы позабыли ее там, дома, под полосатым одеялом — на кровати с усталыми пружинами. И теперь несем только ее последнее жилище, сколоченное из сухих досок и обитое черным бархатом. Но нет — в нем, в этом жилище, находилась бабушка, только сухонькие ее ноги укрывало не полосатое одеяло, а цветы, и маленькое, с кулачок, лицо обрамляла шелковая косынка. До чего же легка она, бабушка, до чего

[1] Гур — каменный фильтр для воды.

бесплотна!.. А с деревьев мягко осыпалась осенняя листва — листья до старости не доживают, умирают в детстве. И под золотистым этим дождем мы несем бабушку, как большой невесомый осенний лист, опустившийся на черный бархат и примятый нарядными оранжерейными цветами.

Бабушка была в новом платье из черного сатина — шила его, видно, для доброго дня. А мне почему-то хотелось, чтобы в неизвестность ее провожали в будничном платье. А почему, собственно, в неизвестность? Что, кроме рождения, известнее смерти?..

Дочка посапывает во сне. Она уже стала различать голоса, реагирует на свет, иногда улыбается во сне — может быть, ей уже что-то снится? Сижу за письменным столом и поглядываю издали на ее чистенькую невинную мордашку в обрамлении кружевного чепчика, а в голову, помимо моей воли, лезет: «Иду, бабушка...» Бабушка... Та бабушка старше меня на семьдесят лет, эта — младше на сорок. Мне смешно — подхожу, чтобы ласково ущипнуть ее влажную щечку: ну и бабушка!..

Шествие остановилось на самом возвышенном месте. Зурначи мягко, отрешенно, почти потусторонне выводили песню «Прости-прощай, гей Аштарак», а гроб, по обычаю, несколько раз повернули, чтобы бабушка в последний раз глянула на село, память о котором, длиною в целый век, она уносит с собой. Я вдруг попытался представить, как бабушка чуть погодя свидится с моим старшим братом, и с моим дядей, и с художником Гого, и с моим первым учителем Мнацаканом Тамазяном. Они, наверно, расспрашивать станут — что, мол, там новенького на белом свете,— и обо мне, конечно, спросят...

По небу поползли тучи, и зурначи подсократили «Прости-прощай», ведь они всего лишь играли, не пели, а слова каждый мысленно сам добавлял — только вот их-то никто из нас толком уже и не помнил...

А все-таки зря обрядили бабушку во все новое. Как-то она при мне столько всякой всячины достала из своих тайников — из карманов старого платья: письмо моего дяди, написанное в тысяча девятьсот сорок втором году, и мамину свадебную фату («Ох, уж и рада-то я была...»), и перо, которым писал я, первоклашка (я подсунул его под девчонку, соседку по парте, она накололась — мама в Ереване в это время была, выз-

вали в качестве родительницы бабушку и предъявили перо, как вещественное доказательство), и открытку с видом Черного моря, ну и, конечно портрет Комитаса. У этого портрета своя история. Как-то, было это много лет назад, я заметил, что бабушка подложила в тапки какие-то бумаги — погода стояла дождливая, ноги у нее стыли. И обнаружил, что на одной картонке изображен Комитас. «Это Комитас»,— говорю бабушке. А она не верит: архимандрит, одетый в мирское, был снят в саду с кистью винограда в руке. Я настоял, чтоб она всмотрелась пристальней, даже свет включил, хотя дело было днем. Бабушка поднесла карточку к глазам, долго вглядывалась — и да, узнала Комитаса. Поцеловала карточку и осторожненько, чтоб не измять, опустила ее в нагрудный карман. Каждый раз, когда я бывал в селе, она доставала портрет из кармана, показывала мне, целовала и прятала обратно.

Теперь, наверно, и карточку, и мое перо выкинули куда-нибудь. А мне бы хотелось, чтобы бабушка унесла этот портрет с собой.

На моем письменном столе стоит небольшой магнитофон, в котором хранятся бабушкины песни. Я записал их однажды вечером, когда мы пили на балконе чай. Она спела «Братец-охотник», «Журавль», «Все умолкло»...

Умолкло...

«Все умолкло, тучи небо затянули...» Она пела эту песню, как марш. Может, не так она поется. А может, именно так — не знаю. Стоит нажать на кнопку, и бабушка запоет. Но я не нажимаю — неужели остались от бабушки только эти песни?..

...Потом, когда мы засыпали ее землей, земля была влажна от дождя и пыли не было. Мне стало казаться, что мы простые аштаракские садоводы и закапываем на зиму виноградную лозу, поскольку пришла пора. И еще показалось: открой бабушка в это мгновение глаза, она совсем бы не удивилась — мол, чем это вы тут заняты? — ведь она уже давно готовилась уйти в землю. На белом свете ей стало зябко — так зябнут виноградные лозы, когда с четырхглавого Арагаца спускаются в долину холода...

Будущей весной бог весть в который раз откопают лозы, и в их жилах забурлят соки нового урожая, а вот бабушка... Хочу нажать магнитофонную кнопку, что-

бы хоть бабушкин голос высвободить из плена земли, но тут — как закричала Лилит. Она широко распахнула свои черные глазенки и пищит, а слез нет. Видно, проголодалась. «Потерпи, бабушка,— сейчас мама придет»,— говорю ей серьезно и громко. И, кажется, она понимает меня, потому что вдруг замолкает и удивленно таращится.

Уходят бабушки, исчезают, догорают, подобно свече, а с их уходом мы лишаемся сказок, становимся как-то резче и сразу взрослеем...

Куда же ты ушла, бабушка?..

В деревянной кроватке мирно посапывает Лилит, бабушка которой — моя мать.

А чьей бабушкой станет Лилит?

ПЕТУШИНЫЙ КАМЕНЬ

«Перч Прошян был такой, как вы, когда Хачатур Абовян, великий армянский просветитель, приехал погостить в наше село. Абовян побывал и в школе, где учился будущий писатель. Школа находилась во дворе церкви Маринэ, отсюда не видно. А потом великий просветитель в окружении ребят пришел на берег Касаха — вот сюда. И ему очень понравился наш Петушиный камень. Настоящий монумент, сказал Абовян. Вон он, Петушиный камень».

Речь эта звучала примерно так — точнее не припомнить, мне было в то время восемь лет. А произносила ее моя первая учительница тикин Шушаник. Мы же переминались с ноги на ногу на прибрежном песке, как новорожденные телята, и со жгучей завистью глядели на бултыхавшихся в воде и возлежавших на горячих, разогретых солнцем камнях мальчишек постарше. «Запомните, ребята,— так, по-видимому, говорила тикин Шушаник,— песок, на котором вы сейчас стоите, не простой песок. Сто лет назад на нем грелся, искупавшись в реке, великий просветитель...»

Песок жег нам пятки, босоногие мальчишки, мы понятия не имели ни кто такой Хачатур Абовян, ни кто такой Перч Прошян, а Петушиный камень был просто глыбой, скалой на берегу Касаха, с которой мы прыгали в воду, непременно что-нибудь выкрикивая на лету.

Спустя годы я узнал, что тикин Шушаник ежегодно водила первоклашек к Петушиному камню и, значит,

каждый раз рассказывала все ту же историю про этот песок и Хачатура Абовяна. Верно, сто пятьдесят лет назад здесь купался просветитель, но та вода испарилась, утекла бог весть куда. Выходит, нет — и сию минуту тут течет не простая вода!

На вершине Петушиного камня стоят домики — нависли над самым обрывом и глядят окнами на белый свет. Видны и две полуразвалившиеся церквушки. Много позднее я узна́ю, что одна из них называется Циранавор — Абрикосовая, другая Спитакавор — Белая, Кармравор же, Красная, стоит на холме за ущельем. Позже услышу я от бабушки красивую историю про трех сестер, которые в день смерти,— а погибли они все в один день,— так вот, в день своей смерти одна из них нарядилась в платье абрикосового цвета, другая в белое, а третья в красное. А много лет спустя я перерою наши старинные фолианты, но нигде не обнаружу этого предания...

Но это позднее. А сейчас — то есть тридцать пять лет тому назад,— да, сейчас, в первое воскресенье сентября, мы стоим со своей первой учительницей на берегу Касаха, под Петушиным камнем, и ноги наши обжигает песок.

— Тикин Шушаник, а петух где? — сквозь дымку лет пробивается ко мне мой собственный голос.— Там же нету никакого петуха!

На Петушином камне стоял в ту минуту долговязый парень.

— Тикин Шушаник,— слышу я другой голос,— а вы и Перчу Прошяну преподавали?..

— Тикин Шушаник, а вы можете прыгнуть в воду с Петушиного камня? Не испугаетесь?..

— Тикин Шушаник, а Хачатур Абовян где живет?

Тикин Шушаник, видимо, посмеивалась про себя и гнала нас по старому мосту, как стайку гусей. А дойдя до его середины, она остановилась, протянула руку к Петушиному камню и сказала примерно так: «Где бы ни случилось вам побывать, какие бы страны вы ни повидали, кем бы ни стали, помните, что в вашем селе есть Петушиный камень, под которым купались Хачатур Абовян и Перч Прошян».

Впоследствии бабушка подтвердит, что Абовян утонул в реке Касах, прямо под Петушиным камнем — «там прежде страсть как глубоко было». А история

трех сестер вот какова. Давным-давно,— а когда именно, уж никто и не упомнит — жили-были в нашем селе три красавицы сестры. И вот видит каждая из них возле Петушиного камня сельского парня Саргиса, и каждая втихомолку влюбляется в него. Но однажды две сестры открылись друг другу — младшей в ту пору дома не было. Узнав сердечную тайну друг друга, заливаются сестры слезами. Надевает одна наряд абрикосового цвета, другая — белый, и идут они к ущелью. Забираются на разные скалы и вниз смотрят, потому что Саргис там, на Петушином камне. Потом кидаются в пропасть и насмерть разбиваются. В одну и ту же минуту. Каждая-то порознь думала: пусть сама погибну, а сестрина мечта сбудется. Наверно, в воздухе увидали они друг друга, да уже поздно было. А третья сестра — и она ведь Саргиса любила — услыхала печальную весть по пути к ущелью, надела красный наряд и в нем-то, в красном наряде, отправилась вслед за старшими сестрами...

Так в один день погибли все три сестры, и той же ночью свершилось чудо: воздвиглись сами собой три церкви — Циранавор, Спитакавор и Кармравор. Господь же поведал обо всем Саргису, и тот дал обет не глядеть никогда в жизни ни на одну девушку. На высокой скале, нависшей над старым мостом, поставил он себе крохотную хижину и дожил свой век в одиночестве. Там однажды и настигла его смерть. Похоронили Саргиса среди скал, а хижину его стали почитать святилищем.

Когда бабушка впервые рассказала мне это предание, я был еще порядком глуп и начал потрясать фактами — мол, так и так: Циранавор построена в четвертом веке, Кармравор — в седьмом, а Спитакавор — в одиннадцатом. Что же до святилища святого Саргиса, так эту лачугу не вчера-сегодня соорудил себе какой-нибудь пастух, потом оставил ее, а кто-то там свечу зажег, ну и пошло...

Услыхав мои аргументы, бабушка глянула на меня с горьким сожалением, а после запальчиво заявила, что эту историю она слыхала задолго до первой мировой войны от своего родного дядюшки, который обучался в парижах да венециях («Не то, что ты: с грехом пополам из класса в класс переходишь, да и то в такой дыре, как Аштарак!»). Ну, конечно же, бабушка была права, я понял это с огромным опозданием —

хорошо еще, успел, пока она жива, сказать, что прочел эту историю в одной французской книге. Бабушка очень обрадовалась и снисходительно улыбнулась: «А я про что говорила...»

Петушиный камень... Сдав последний школьный экзамен, мы собрались поздней ночью на его вершине, набрали в ущелье хворосту, разожгли костер и, написав на бумажке имена любимых девчонок, скрутили эти бумажки и сожгли. И девчонки в свой черед написали имена ребят и тоже сожгли. Бумажки стали сперва пламенем, затем пеплом, который унес с собой ветер и смешал с водой Касаха. Ну и славно — ведь могло случиться, двое-трое друзей влюблены в одну девчонку или несколько девчонок сохнут по кому-нибудь одному из нас. Что-то чистое, нежное и языческое было в этом обряде. Сейчас-то я понимаю, что все эти годы не только у нас над головой, но и в наших неокрепших душах жили Циранавор, Спитакавор и Кармравор.

Потом мы еще раз написали те же имена, не перечитывая, засунули бумажки в бутылку из-под вина, закупорили ее горлышко и зарыли бутылку под Петушиным камнем. И торжественно поклялись, что выкопаем ее ровно через двадцать пять лет и прочтем имена.

Не выкопали.

Не прочли.

Потому что ни разу больше не сумели собраться всем классом.

А теперь мы, оставшиеся в живых, отправляемся порознь вслед своим юношеским воспоминаниям и, может такое случиться, встретимся как-нибудь под Петушиным камнем. Да, солнечным воскресным днем соберемся мы, истосковавшиеся по голосам нашего детства, в ущелье Касаха...

Моя старшая дочь, дочитав до этого места, снисходительно заметила: «Пап, ты сентиментален».

И я стал ее заверять, что это всего лишь рассказ, а не история моей жизни. Но она спросила: «...Что, у твоих ровесников не было в детстве счастливых дней?»

Были!

И наверно, счастливейший из них тот, когда мы, разведя костер на вершине Петушиного камня, сжигали имена любимых девчонок, а наши одноклассницы предавали пламени наши имена...

Да, в самом деле, оно сентиментально, мое поколение.

НАШИ ОТЦЫ

Тянусь инстинктивно к звонку, но второй инстинкт перехлестывает первый, и я не нажимаю кнопку. Дверь ведь не заперта, даже — кажется мне — чуть приоткрыта. Неслышно отворяю дверь, вхожу. В последний момент мой взгляд — по старой привычке — упал на желтую медную табличку «Кузнец Партев Манвелян». Ну и допекали мы деда Партева из-за этой таблички! А прибил он ее задолго до того, как мы появились на свет. «Дедушка,— горячился его внук Ваге, старший сын Армена,— ты ведь кузнец, а не академик, к чему выставляться? Надо мной ребята смеются...» А уста [1] Партев в такие минуты только хитро улыбался. Лишь однажды, помню, сказал: «Что ж, я хуже зубного врача, что ль? Те золотыми буквами на стенах свое имя выбивают». «Так это же не дверь кузницы! — выходил из себя Ваге.— Зубная боль и на улице прихватить может, потому и пишут. А ты кузнец! Колесо, что ли, к тебе домой прикатят или осла приведут подковать?..»

Проскальзываю тихо в квартиру, ощущая в горле ком,— медная табличка осталась по ту сторону двери.

Из кухни выходит Ваге. «Видал, что дед натворил?— Он старается скрыть печаль, его юное лицо выглядит, однако, осунувшимся, глаза темнее обычного.— А ведь в новогоднюю ночь пил с нами». «Да, ушел дед Партев,— произношу я дежурную фразу.— Отец где?..» Ваге держит в руке сигарету. «Ушел дед,— повторяет он и вдруг добавляет: — Не говори отцу. У нас полкласса курит. Даже девчонки...»

Вхожу в гостиную. Уста Партев еще на кровати. Он, видимо, был с головой накрыт белой простыней, но кто-то откинул ее, чтоб заглянуть в лицо покойного, да так и оставил лицо открытым. А оно умиротворенное, никаких на нем следов страдания, и, если бы не скрещенные на груди руки, могло бы показаться, что дед прилег на тахту отдохнуть. Я смотрю на крупные честные руки кузнеца — они лежат недвижные, неживые, на его широченной могучей груди. Эти руки представляются мне солдатами, измученными тяжелейшим походом, которые, заслышав сигнал отбоя, валятся наземь, как скошенная пшеница, и мгновенно засыпают. Но

---

[1] Уста — мастер.

стоит прозвучать сигналу подъема, они мгновенно пробудятся... Примерещится же такое...

«Мне позвонили, но, пока я добрался, он был уже без сознания,— это говорит Армен. Он сидит на старом диване так, будто на диване битое стекло.— Ушел уста Партев...»

Сажусь возле Армена, старый диван продавливается еще больше — усталые пружины уже давно отслужили свое и теперь просят покоя. Эта старческая констатация фактов, диктуемая моим сознанием, донельзя раздражает меня. Я хочу найти для друга мягкие, незатасканные слова утешения. Противно мямлить всякую чепуху — мол, что поделаешь, все там будем, отец пожил немало, восемьдесят два года, детей на ноги поставил, внуков дождался, жил по чести, по совести и прочее в том же роде. Однако ничего другого не приходит мне в голову, и я просто сжался на старом диване возле своего друга.

И вдруг мне захотелось рассказать ему о своем отце, да, о своем отце, которого он не видел и которого сам я едва помню.

Все эти годы я боялся писать об отце — не хотелось его придумывать. Мне нужно, чтобы отец жил во мне естественно, как жемчужина в раковине, как скорбь в материнском сердце. И чтобы воспоминание о нем было таким же естественным, как желание глотнуть воды, таким же непроизвольным, как кашель...

Отец...

Он любил сажать меня на плечи — это первое мое воспоминание о нем. С высоты его плеч и открыл я для себя мир. А еще раньше, когда было мне всего месяца два, я захворал «синим кашлем», коклюшем, и чуть было не отправился на тот свет. Отец единственный верил, что я выживу. Этого я, понятное дело, помнить не могу — мне рассказывали. «Ты душу дитячью воротить хочешь,— попрекали отца старухи.— Лучше б не Сажумяна звал, а батюшку». Однако отец таки вызвал Сажумяна, нашего сельского врача, и часами — да какой там, сутками! — баюкал меня на руках, пока не отступил кашель и не сошла синюшность с лица. (А ведь красиво звучит — «синий кашель»...)

Глаза у моего отца были голубые. Словно два осколочка неба опустились ему под брови и решили (так уж сами и решили?) больше не возвращаться ввысь...

— А какие были глаза у деда Партева? — вдруг задаю вопрос, и мне тут же становится неловко.

— Зеленоватые,—ничуть не удивляется друг.

— И добрые,— обрадовался я, отыскав нужное слово.— Как могли остаться такими добрыми глаза у кузнеца — ведь он сорок лет на огонь глядел? — В самом деле, ведь у доброты есть свой особенный цвет? — Целых сорок лет...

— Так ведь и огонь не злой,— говорит мой друг.

— Смотря какой огонь,— отзываюсь я. — Закурим?

— Я при отце не курю,— говорит друг.

И нет в этом ни рисовки, ни сентиментального поигрывания словесами. Он знает, что отец, лежащий чуть поодаль на кровати, уже не проснется. Но мертвый отец ведь отец вдвойне.

Отец не курил.

А может, курил?

Ярче всего врезалось в память, что отец нас никогда не бил. Ни братьев, ни сестру, ни тем паче меня. Когда, бывало, напроказим, отец просто на нас обижался — именно обижался, да так по-детски, как может обижаться мальчишка на своих ровесников. Я вспоминаю об этом с несказанной печалью — обида отца была для меня величайшим наказанием.

Уста Партев вплоть до вчерашнего дня поучал своего сорокасемилетнего сына, советы давал, а тот отчитывался перед отцом во всем, в любой мелочи, хоть и был историком, а отец — кузнецом.

Комната и коридор наполняются народом, да и кухня битком набита — сидят, стоят, прислонившись к стене. Пришло и несколько мужчин в летах — товарищи уста Партева. Всего неделю назад играли они с ним в нарды [1], а вот сейчас... Они говорят о том, что было в двадцатых годах, как будто это произошло накануне. Завтра в тетради жизни они поставят крестик в клеточку с именем уста Партева, как раньше ставили в другие клеточки других приятелей. Так и будет заполняться крестиками жизнь-тетрадь, пока не уйдет последний, кто еще может вспоминать ушедших...

Среди собравшихся преобладает молодежь — это товарищи сыновей и внуков уста Партева. Кузнец впервые лежит при таком скоплении народа, не подымает-

[1] Нарды — игра, в которой на особой доске передвигаются шашки согласно числу очков, выпавших на игральных костях.

ся навстречу гостям, словно утомившись за восемьдесят два года жизни. Скоро принесут гроб, облачат усопшего в лучшую одежду, мы поднимем его с кровати, с превеликой осторожностью положим в гроб, и окажется, что он тесноват кузнецу. А потом — при жизни уста Партева сделать это никому не приходило в голову — одарим усопшего цветами, укроем ими его ноги, грудь...

— Сосед позвонил, когда я уже спать ложился. Прибегаю — он еще дышит,— уже в третий раз рассказывает Армен, но я пристально на него смотрю.— Он что-то сказал, да я не разобрал...

— Ничего,— говорю,— за сорок семь лет ты много его слышал. Последние слова ничего ни убавят, ни прибавят,— и вдруг обрываю себя, не хочется жаловаться— мол, я не помню ни одного отцовского слова и не видел, как отец закрыл глаза...

Отец иногда читал мне стихи. Знал их много и читал на память. Когда я подрос, мать сказала мне, что отец окончил «гараско», а став еще постарше, я догадался, что это русское слово «городское» — отец окончил городское училище в Александрополе. Образование по тем временам серьезное. Товарищи отца по училищу сделались интеллигентами — учителя, юристы, один впоследствии перевел книги Жюля Верна. Отец же вернулся в село, к своим виноградникам. «Будь у вашего отца мозги,— по сей день сетует мать,— умей он жить, он бы в эдакую дыру не воротился.—«Дыра» — наше село.— С его-то головой, с его ученостью, да вцепиться в клочок земли!» (Мать вечно забывает, что, если бы отец остался в городе, он не встретился бы с ней, а нас бы не было вовсе на белом свете...)

Стихами был полон отец, ему нравилось их читать — на армянском, на русском... Но больше всего отец любил географию. В столовой, на стене, вместо яркого ковра, висела у нас большая и красочная карта мира. Мне было всего года четыре-пять, когда отец заставил меня запомнить названия морей, городов, стран, континентов. Я оказался в этом смысле весьма способным. И когда в доме появлялся гость, меня ставили на стул, давали указку, которая была длинней меня, и я отправлялся в очередное кругосветное путешествие. Откуда мне было знать, что спустя много лет мне выпадет счастье побывать в этих городах, увидеть эти

моря и океаны, пролететь над этими континентами. Но в детстве путешествовать куда приятней — лети куда хочешь, пересекай страны, никаких тебе запретов, никаких не нужно виз, никаких бумажных заверений в таможне, что в твоем чемодане нет ни бриллиантов, ни атомной бомбы... Наши добрые наивные гости слушали и поражались, как здорово я выговариваю такие названия, как Копенгаген, Сан-Франциско, и при этом верили, что село наше, давшее миру немало знаменитостей, даст еще и великого путешественника, аштаракского Магеллана или Миклухо-Маклая... А мой отец, окончивший в Александрополе городское училище, так и не выезжал за пределы своего села, хотя описывал дальние неведомые страны куда красочнее, чем я, их повидавший.

Однако я, кажется, начинаю придумывать отца...

— Армен, тебя отец бил?

— Один раз,— Армен замолкает на мгновение — не говорит за что.— Тяжелая у него была рука.

— Рука кузнеца.

А у моего отца руки были мягкие, белые, небольшие. Он никогда нас не бил, я уже говорил об этом — только обижался. Через несколько лет — если я, конечно, проживу эти несколько лет — мы с отцом станем ровесниками. Я повесил над письменным столом большой портрет отца. Вырезал из группового снимка — снимок был старый, поблекший,— увеличил. Отец был снят в шапке, в пальто, а рядом сестры, какая-то родня, детвора. Лицо у него небритое, а в глазах удивительно мягкая и наивная доброта. Так смотрит только моя дочка Лилит, родившаяся в семьдесят третьем году.

Я дал портрет отца знакомому художнику и попросил его нарисовать отца на фоне старого сельского моста (отец любил этот мост — посадит, бывало, меня на плечо и несет по мосту на мельницу, к Петушиному камню). Нарисовать-то художник нарисовал, все как будто на месте, но только с картины смотрел не отец — на фоне старого моста сидел заурядный и недобрый человек, загримированный под отца. Да и как мог художник уловить цвет доброты отцовских глаз? (А ведь у доброты есть свой особый цвет.) Мать рассказывала: когда дома вкусный обед и отцу хочется пропустить стаканчик-другой вина, а гостя как назло нет, он выйдет, бывало, на улицу, сядет возле дверей под ивой и сидит, пока не завидит какого-нибудь знакомого и не зазовет в дом.

Армена позвали на кухню. Двоюродный брат позвал. Он только что вернулся с кладбища — поскольку земля мерзлая, могильщики требуют за работу сто пятьдесят рублей, в другое время это обходится рублей семьдесят — восемьдесят. Армен горько усмехается, а я представляю руки уста Партева — большие, тяжелые, честные. «Земля,— говорю,— и мерзлая, и, насколько я знаю, слишком каменистая. Камня больше, чем земли...» Потом мы, дополняя друг друга, излагаем биографию уста Партева — может, городская газета напечатает некролог? Биография Партева Нерсесовича Манвеляна уместилась на одной страничке ученической тетради. Есть у него почетные грамоты, медали, орденов нет... И как итог всей жизни — будничное биографическое сведение: «Сорок семь лет работал кузнецом».

...Когда-то давным-давно — это мне бабушка рассказывала — жил в нашем селе богатый и спесивый человек. И на сельские свадьбы, куда его приглашали, и на похороны, куда следовало ходить без приглашения, богач сам не являлся, но посылал свои... башмаки. Да-да! — башмаки. Это вместо себя-то! Крестьяне были добры и беззащитны, а тот богат и могуществен, вот и ставили крестьяне его башмаки на почетное место: либо возле невесты с женихом, либо возле гроба с усопшим. Но в один прекрасный день помер этот богатый и злой человек (хорошо еще, что и такие помирают). Помер он, стало быть, лежит в гробу в просторной светлой гостиной, а возле него стоит кое-кто из родни и много-много... башмаков. Крестьяне были добры и беззащитны, сердце у них было мягкое, а рана, нанесенная мягкому сердцу, не скоро заживает... Ни детей у богача не было, ни жены — она раньше его богу душу отдала. Два-три его сородича с трудом оторвали гроб от земли, а у башмаков, ясное дело, нет рук, чтоб помочь. Сородичи-то понесли гроб совсем немножко, да и опустили на телегу — сил не было гроб до кладбища на руках нести. А башмаки дома остались, потому что ног у них, у башмаков, не было — а вернее, ног в них, в башмаках, не было. Хозяева их сидели дома, впервые нарушив святой обычай села.

...В душе покоится бабушкина притча, а за окном падают чистейшие мягкие хлопья снега. И вдруг неудержимо, как кашель, прорываются воспоминания об отце, о моем отце, который в тысяча девятьсот тридцать седь-

мом году в небольшом армянском селе читал на память Тютчева своему шестилетнему сыну (кажется, вот это: «Есть некий час в ночи всемирного молчанья...»). Грустно. Мне жаль кузнеца, который недвижно лежит в соседней комнате, жаль миллионы безымянных отцов, которыми — вместо зерен пшеницы — засеяны поля сражений, мне жаль моего отца, которому не привелось увидеть, как вывожу я свое первое «а», жаль друга, дочь которого выйдет замуж, не спросясь его, жаль самого себя — я ведь тоже не дождусь свадьбы своей поздноpожденной Лилит.

...Отца несли сквозь осень тысяча девятьсот тридцать восьмого года — меня накануне отвели к соседям. Тогда я еще не знал, что такое смерть,— ел себе персики в саду у соседей. Но, услыхав звуки зурны, выскочил на улицу. В те годы музыка на улице звучала, только когда человек умирал. Выскочил я за ворота и вижу — отец плывет в облаках, вижу — мать идет, братья, тетушки и много-много сельчан. Женщины приголубили меня, что-то зашептали, наверно: «Бедный мальчик, сиротой остался». А звуки зурны пропитали воздух какой-то нереальной, сказочной печалью. Теперь, сквозь дымку времени, мне видно, что гроб отца несли не руки, нет — отец просто плыл, скользил по чистым и праведным волнам музыки.

— Кури,— говорит мне друг.— Что поделаешь, такова жизнь...— У гроба своего отца он почему-то подыскивает для меня слова утешения.— Вот и я осиротел, как ты... Затягивайся поглубже — успокаивает.

ВЕСЕЛЫЙ И ПЕЧАЛЬНЫЙ ДЕНЬ, КОГДА НА СВЕТЕ ШЛА ВОЙНА

Вот уже сколько лет я дважды в день — на работу и с работы — прохожу мимо Вагикиного дома. И каждый раз невольно тянет заглянуть в окно — ведь они жили на первом этаже. Но окно, во-первых, зарешечено, а во-вторых, занавешено, так что практически ничего не видно. Железная решетка существовала и раньше, но теперь она выкрашена белой краской — под цвет оконной рамы. Разумно — ржаветь не будет.

И каждый раз — особенно когда на душе скверно — мне чудится, что по ту сторону одетого в железо окна я вижу лицо Вагика, его наивные голубые глаза. Все-

го лишь чудится, потому что лица его я уже давно не могу увидеть. И матери Вагика тоже нет в живых — за железными прутьями решетки живут совсем другие люди. Не знаю, кто они, да и не хочу знать.

В тот обычный день тысяча девятьсот сорок третьего года я собирался помочь Вагику написать сочинение, а Каро — объяснить ему задачки по геометрии. Саргис, Феликс и Рубен заявили: «И мы пойдем с вами». Вагик недовольно и даже с некоторым страхом взглянул на Саргиса. Но делать было нечего — пришлось ему сказать: «Приходите».

Вагик надел в тот день светлый костюм — один из двух своих костюмов, да и вообще один из двух костюмов нашего класса. На днях Саргис опять пролил чернила на Вагикин костюм — вроде бы нечаянно, а на деле нарочно, назло Вагику. «Здорово отчистили, пятна почти не видать,— подумал я.— Наверно, мать постаралась». Саргиса за эту проделку выгнали из школы — правда, всего на два дня, потому что его отец на фронте погиб.

У Вагика лицо было круглое, щеки налитые, румяные — в те-то тяжелые годы! Сытенький такой — кровь с молоком, как сказала бы моя мама. И все мы Вагика не любили, а Саргис его просто-напросто ненавидел. «Будет у меня бомба, под него подложу»,— грозился он. Но бомбы у него, естественно, не было. Ни у кого из нас не было ни бомбы, ни пистолета: деревянные мечи — вот и все наше оружие. «С таких, как этот, надо шкуру спускать, как раз деревянным мечом. Чтоб подольше помучились»,— говорил Саргис, самый добрый в классе мальчишка. Это была бессильная, беспомощная ярость, исходившая из непонимания сложностей жизни. Саргис ожесточился как-то сразу, когда пришла похоронка на его отца. А Вагикин отец работал бухгалтером в одной из ереванских столовых. «У него легкие слабые»,— оправдывался Вагик, и щеки его при этом становились еще краснее. Мы хохотали — мы не верили ему, а отец его вдруг взял и умер. У него была застарелая чахотка, потому-то его и освободили от армии, а мы все сомневались, наговаривали всякое на человека. Мать Вагика заменила мужа на его работе, и они продолжали жить что надо, Вагик всегда был сыт, а мы вечно голодны.

Но при этом учился Вагик из рук вон плохо — он был самым послушным, самым сытым и самым бестолковым. И при этом был чрезвычайно добрым и робким мальчишкой — я думаю об этом теперь, спустя годы, с какой-то необычайной печалью, ведь мы его так изводили. Особенно Саргис. А на лице у Вагика вечно блуждала виноватая улыбка, словно он совестился того, что сыт, когда мы голодны, что мы ходим в школу в обносках, доставшихся от старших братьев и отцов-фронтовиков, а у него целых два костюма, да в придачу желтый шарф. «Скажи Саргису, чтоб он наш дом не поджигал,— зашептал он мне однажды на ухо.— Скажешь, ладно?» Утром Саргис объявил, что спалит их дом. Я про себя улыбнулся: эх Вагик, Вагик, не знаешь ты Саргиса — у него такая душа, он даже за тебя в огонь кинется, не то что...

Когда Вагик открывал дверь, у него дрожали руки. Каро заметил это, отобрал у него ключ и ловко крутанул в скважине. Мы вошли в дом — квартира состояла из одной-единственной комнаты. «Тут я сплю, — зачем-то показал Вагик — постель была мягкая, прямотаки царская, со взбитыми подушками. — У меня пуховая подушка. Раньше на ней отец спал. А у мамы ватная». «Ну и осел же ты, простодушный осел», — шепчу я теперь Вагику из тридцатилетнего далека. Да, теперь... А тогда я со злостью смотрел на эту пышную большую постель. Нас привел тогда в бешенство один вид этой теплой, уютной комнаты. Каро — самый, пожалуй, уравновешенный из нас — попытался рассеять тучи: достал учебник геометрии, тетради и обратился к нам: «Вы во дворе побудьте, пока я пару задач решу этой бестолочи». «Я есть хочу»,— заявил Саргис. А кто, интересно, не хочет? «Ну и что? — проворчал Каро.— И я хочу». «Как эти уйдут, я тебе поесть дам. И Вардану тоже», — промямлил Вагик: ему казалось, кроме Каро, его никто не слышит. Вардан — это я, я ему сочинение собирался писать. «Что? — с издевкой усмехнулся Саргис, а за ним Феликс и Рубен. — А мы?.. Я завтра с тобой подзаймусь военным делом. Ты будешь пленным, а я тебя стану лупить, чтоб у тебя выдержка выработалась. Дня два поколочу, ты и сделаешься стойким. Это тебе пригодится — ты ведь наверняка в плен попадешь». Вагикины светлые глаза наполнились ужасом. «Заткнись, — напустился я на Саргиса. — Я отдам

тебе свою долю». «Эврика! — вдруг хлопнул Саргис себя по лбу.— Пошли со мной, Вагик». «Куда?» — обмер тот от страха. «Да не трясись, — засмеялся Саргис.— Покажи, где у вас уборная». «Пойдем, Сако джан», — отлегло у Вагика от сердца. И они вышли в коридор. Немного погодя Саргис вернулся, а дверь уборной буквально начали выламывать изнутри. Там был заперт Вагик. «Ну, ребята,— усмехнулся Саргис,— налетай на жратву! Что найдете — ваше! В случае чего можно и обменяться». Мы переглянулись. Каро что-то пробурчал себе под нос, но тем не менее захлопнул учебник геометрии. «Перекусить не помешает, — резонно заметил он.— Задачки с тоски не передо́хнут».

Каро и Феликс направились в кухню, а мы с Рубеном и Саргисом принялись обшаривать шкафы. «Варенье! — вдруг раздался голос Каро. — Айвовое варенье!» У меня от зависти дух перехватило — это ж мое любимое! Найти бы что-нибудь да обменяться с Каро... «Масло! — закричал Саргис. — Тут кило два будет! Мне б еще два кило хлеба в придачу...» «Хлеб есть,— мрачно оповестил Рубен: он обнаружил в ящике стола ломоть хлеба.— Я тебе немного хлеба дам, а ты мне масла». Я направился в кухню. Каро уничтожал варенье. Феликс нашел картошку, но, увы, сырую — положил ее на стол и печально смотрел на нее. Каро угостил меня и Феликса вареньем. «А картошку сварим,— предложил я, — ничего трудного. На керосинке она мигом сварится».

Из уборной доносился отчаянный вопль Вагика.

Мы нашли еще кое-что из съестного: сушеные абрикосы, кусок сыру, сухой лаваш. И вдохновенно поедали все это, а Вагик мало-помалу затихал. Я даже чуть-чуть испугался: если кричит, значит, все в порядке, а вот если молчит... Тихонько подошел к уборной. «Вагик,— говорю,— Вагик, отзовись!» «Есть хочу,— захныкал он. — Я тоже есть хочу! И мать мне всыплет!»

Я открыл дверь уборной. «На, — говорю и протягиваю ему свой кусок хлеба с сыром.— Ешь». «Я и варенья хочу — тетя из Аштарака прислала. Мама есть не велела — говорит, всю зиму с ним чай будем пить...»

Каро, слава богу, не успел еще прикончить всю банку — нам всем чуток перепало. А Саргис протянул Вагику хлеб с маслом — думал, Вагик откажется, но тот взял.

Словом, к вечеру расправились с едой. Все, что уда-

лось найти, съели с удовольствием, благоговением и одновременно остервенением. Остервенение все-таки преобладало в этом мятеже душ и желудков.

А потом что-то грустно стало.

Уселись на Вагикины стулья, повалялись на мягкой постели, а веселее не становилось.

Теперь я отлично понимаю эту грусть. Нет, мы отнюдь не были законченными злодеями — были добрыми и чистыми мальчуганами. А то, что мы натворили, похоже на игру — игру жестокого военного времени. Саргиса, натурально, назавтра снова выдворили из школы, а потом увезли в больницу с острым расстройством желудка — он слопал чуть ли не килограмм масла, это не шутка. Мы с Каро два дня в школу не заявлялись — совестно было, но Феликса с Рубеном не выдали: пусть уж позор падет на нас троих.

Сейчас я смотрю на Вагикины окна, а сам Вагик лет семь-восемь назад умер в психиатрической больнице. Мы, голодные, холодные, выдержали, выжили, а он, сытый, угодил в психиатрическую больницу.

Как-то давно уже мы с ребятами навестили его — прихватили с собой всякой всячины, в том числе и большую банку айвового варенья. Вагика привели в кабинет главврача — он вроде бы узнал нас, даже улыбнулся. Он тихопомешанный — главврач объяснил, что это значит, но я позабыл название болезни. Вагик долго разглядывал принесенную нами снедь и вдруг тихо улыбнулся — может, вспомнил?..

Когда мы вышли из психиатрической больницы, печальнее всех был Саргис.

Сегодня, когда я заглядываю в слепые Вагикины окна, печальнее всех я.

А еще печальнее, видимо, все мы не порознь, а вместе, оттого что печальное нам выпало детство.

МОЯ САМАЯ ПОСЛЕДНЯЯ ИГРУШКА

Они шагали серым строем. Шагали молча, сосредоточенно. Мне казалось, что все они похожи, очень похожи друг на друга. Проходя мимо, они не смотрели на нас, и мне все не удавалось заглянуть им в глаза. А заглянуть в глаза почему-то страшно хотелось. Они, правда, немцы, но и у них ведь есть глаза...

«Почему они на нас не смотрят?» — спросил я как-то

мать, когда они, как обычно, вышагивали по нашей улице. Мать не сразу ответила — прижала меня к груди и зашептала: «Армена они убили». Армен — мой двоюродный брат, я очень любил его. «Который из них?» — спрашиваю. «Все», — отвечает мать, и я больше ничего не спросил, хоть и не понял, конечно, как это они все могли убить одного Армена.

Серые ряды продолжали двигаться.

А глаз немцев я не видел.

Мне было тогда десять лет.

Шла война.

С того дня я еще пристальнее вглядывался в этот пропыленный строй, который убил моего двоюродного брата,— хотел увидеть того одного, главного. Не верилось, что Армена убили они все вместе. Это мог сделать только один. И нужно отыскать именно его! Я теперь еще бережней стал хранить свое ружье — оно могло пригодиться. А когда мы с ребятами играли в войну, я больше не соглашался быть немцем...

Потом пленные мостили нашу улицу. Тут, хочешь не хочешь, видишь их с утра до вечера. Отлично, уж теперь-то я отыщу того!

Работая, они переговаривались. Однажды я даже увидел, как двое смеются. У одного глаза были голубые, как у Армена. И лицо очень доброе — этот убить не мог. На другой день я увидел, что он на меня смотрит, подошел и отдал ему гроздь винограда, которую держал в руке. Он улыбнулся, что-то растерянно проговорил на своем языке и хотел меня по голове погладить. А я удрал — во мне вдруг ненависть вспыхнула. К ним ко всем. И к этому доброму немцу тоже — что, он не мог сделать так, чтоб не стреляли в Армена?

— Зачем виноград фашисту дал? — сжав кулаки. приблизился Карен, он был старше меня на два года.

Тут мать вышла.

— Что ссоритесь? — говорит.

— Он виноград фашисту дал.

Мать грустно на меня посмотрела и ничего не сказала...

На другой день те двое опять возле наших дверей работали. Когда я вышел, они заулыбались и стали меня рукой подзывать. Я тоже улыбнулся. Потом вдруг вспомнил Армена и побежал во двор. Я тогда еще не представлял как следует, что значит убить. Во дворе, когда тебя

«убьют», полежишь-полежишь да и встанешь. «А Армен, видимо, уже не встанет»,— подумал я, и на душе стало тоскливо. Наверху было синее небо, а во дворе мать белье стирала.

— Мам,— говорю,— Армен к нам больше никогда не придет?

У мамы глаза стали грустные-грустные. Она взглянула на меня, ничего не сказала и стала развешивать белье. А белье было, как небо, голубое.

— Я белье пересинила,— прочитав мои мысли, тихо, будто себе, сказала мать, и я заметил, что она плачет.

Ну и что ж, что пересинила? Плакать из-за этого? Вот вырасту и куплю много-много белого полотна и мало синьки. Чтоб белье не пересинить. Говорю про это маме, а она притянула меня к себе и в глаза поцеловала.

— Армен тебя очень любил.

— Я найду того, кто Армена убил,— говорю.— Мы с Кареном его прикончим. Карен согласен...

Я выбежал на улицу. Серые люди были там. И те двое тоже. Вдруг вижу — они меня зовут. Подойти? Может, они узнали, как зовут того, кто убил Армена, и хотят мне сказать? Но я-то им ни о чем не говорил... А вдруг обманут?.. Они смотрят на меня, подзывают. Ну что ж, подхожу. Оба они небольшого роста, но разные, непохожи друг на друга. У одного глаза голубые, а другой в очках — стекла толстые. Они переговорили друг с другом, потом очкастый вынул из-за пазухи что-то завернутое в бумагу и мне протягивает. Быстро разворачиваю — револьвер?.. Нет, деревянная кукла с красными глазами — будто плакала. В цветастом платье — карандашом раскрашено. Удивленно смотрю на куклу и не знаю, что делать, а они мне дают понять, что кукла теперь моя. Чуть не плачу от обиды — другое дело, если б они мне дали пистолет или винтовку! А то куклу! Хорошо еще, Карен не видит,— не то позору не оберешься. И почему-то беру куклу. «Ладно,— думаю.— Отдам ее Асмик, а она пусть тайком принесет мне пистолет Карена». Куклу в карман — и во двор. Там никого нет. Решил рассмотреть куклу как следует: ее старательно вырезали из дерева, натерли до блеска, придали форму.

— Что это? — вдруг слышу голос мамы.

— Они дали.

Мать берет куклу в руки, разглядывает. Глаза ее становятся еще печальнее, и она говорит:

— Есть у нас персики?..

— Есть.

Бегу домой, хватаю три персика и — снова на улицу. Смотрю на серых людей. Где же те двое? Вниз по улице спуститься боюсь — мать заругает. Ладно, думаю, завтра угощу. И съел один персик. Куда же они ушли? Мне даже как-то грустно стало. Издали все немцы на одно лицо. Цвета глаз не видать, очкастых полно. На душе сделалось совсем тоскливо.

Я снова во двор вернулся. Зачем это я куклу стану Асмик отдавать, думаю,— не отдам ее никому.

Так я больше тех двоих и не видел.

А потом война кончилась. Вся наша улица была уже вымощена, и серых людей не стало. Осталась от них только деревянная кукла с удивленными красными глазами. Я только потом разглядел, что у нее вишневые косточки вместо глаз.

Эта кукла оказалась моей последней игрушкой, с которой я ни разу не играл. С войною закончилось и мое детство. Детство — вроде мороженого: сладкое, прохладное, приятное. Хочется его есть, есть, да так, чтобы оно никогда не кончилось. Мы очень рано повзрослели: в четырнадцать были семнадцатилетними. А когда мир на земле стал уже привычным, мы стали жить в соответствии с календарем и днями рождений. И вот мне уже двадцать пять лет, и поезд везет меня по немецкой земле. Собираясь в дорогу, я в последнюю минуту почему-то прихватил с собой деревянную куклу...

В поезде было много народу, пассажиры часто сменялись. Вот вошел лысый мужчина в очках. Сел напротив. Смотрим друг на друга. Измученное у него лицо. Вдруг он задает вопрос на вполне сносном русском:

— Куда вы едете?

— В Бельгию.

— Вы из какой части России?

— С Кавказа.

— С Кавказа? — Он вдруг улыбается, снимает очки, и я вижу, что глаза у него очень голубые.— Я был на Кавказе в сорок четвертом году... Там много хороших людей. Помню, дети давали нам хлеб, фрукты, и родители не запрещали.

Неужели он? Ну, конечно: те же очки, лоб — в то время очень потный. И сейчас потный — жарко.

— Мы не знали, как отблагодарить ребят, и, помню, делали из дерева, из хлеба разные игрушки.

Он! Ну, конечно же он. Я достаю из чемодана куклу с глазами-вишенками.

— Помните? — говорю.— Помните?..

Он снова надевает очки и внимательно разглядывает куклу — она тоже была в очках, только с красными стеклами.

— Помните? — говорю.— Вы мостили нашу улицу, у вас еще друг был. Я вам виноград дал, потом хотел дать персики, но больше вас не видел...

Мужчина смотрит растерянно и пристально то на куклу, то на меня. Трудно, наверно, вспоминается: мне было всего десять лет.

— Неужели вы не помните Армению? — говорю.— Вы двигались серым строем и все были похожи друг на друга.

Он вконец растерялся:

— Я в Армении не был. Был на Кавказе, но севернее...

Поезд бежит все с тем же рвением. В квадратном окне меняются ландшафты, люди, города. А между мною и новым знакомым стоит на столике деревянная кукла с удивленными красными глазами.

Моя последняя игрушка.

НАША ШЕЛКОВИЦА

У сынишки моего друга Варужана два деда, две бабушки, три квартиры (отцовская — раз, материнская — два, отцовых родителей — три). И в каждой квартире его ждут и велосипед, и волчок, и всякие прочие игрушки, и одежда — в общем, все, что душе угодно. А вот своего отца, Варужана, он по году не видит. Тот в разводе с женой — устал от тещи с тестем, просто не выносит их.

Раз в год Варужан вдруг вспоминает обо мне — заявляется без звонка. Обычно на работу. Домой ко мне не ходит. У меня двое ребятишек, а у них на двоих один велосипед, общие игрушки и одна-единственная бабушка.

А не застанет меня на работе, заглянет еще через год.

Сегодня застал.

Я попросил секретаршу никого ко мне не впускать, и мы спокойно опустошаем по седьмой чашечке кофе.

Вдруг Варужан вспомнил нашу сельскую шелковицу.

Но это после. Сперва вошел, поздоровался, сказал, что с рынка, и выложил из кожаного портфеля на мой письменный стол яблоки — штук семь-восемь.

— Любуйся,— говорит.— Только жаль, несъедобные.

Варужан разложил яблоки — гладкие, как волчки, которыми мы забавлялись в детстве,— прямо посреди моих бумаг.

— Крепенькие,— говорит,— ни одной червоточины. Червяк не дурак, чтоб в химии жить. Поумнее нас.

— Слушай,— говорю,— не люблю я яблоки. Никакие — ни натуральные, ни химические... Как твои дела-то?..

— Понимаешь,— он одно за другим стал кидать яблоки в окно.— А впрочем, ни черта ты не понимаешь. Если так будет дальше, наши сыновья соорудят искусственные горы, спроектируют искусственные ущелья..

И вдруг:

— А ваша шелковица в селе цела?

— Спилили. Те, которым мы дом продали. Ведь и шелковица уже им принадлежала.

— Неправда! — заорал Варужан.— Это шелковица нашего детства! Шелковица твоего деда!

С чего это он моего деда помянул?

...Дед умер под этой шелковицей. Мать рассказывала: пришел он как-то усталый с виноградника, весь в поту, сел наземь, прислонился к дереву, и, не успела бабушка чай принести, он на тот свет отправился, где от пота уже нет вреда, а от крепкого чая уже нет пользы и где единственные облака над головой — это белые древесные корни.

— Они потом и шелковицу спроектируют, и пшат [1]! — орет мой друг.— А знаешь, какое это чудо — пшат?

Смеюсь. Пессимистическим фантазиям Варужана нет предела. Он, видно, опять ходил проведать сына, а теща с тестем не пустили его, заявили «ему пора спать», или «он занимается музыкой», или еще что-нибудь в этом роде.

— Артура два дня назад по телевизору показывали. На виолончели играл... Хорошо играл... И так вырос...

---

[1] Пшат — дерево со съедобными мелкими мучнистыми плодами.

Варужан уставился в одну точку, стал какой-то потерянный.

Потом произнес:

— Все собираюсь телевизор купить. Да я ведь дома почти не бываю. А карманных телевизоров пока не придумали.

— Придумают,— говорю.— Вот это будет чудо!

— Чудо — это пшат,— друг мой опять свернул к пессимизму,— пшат и шелковица твоего деда.

Он неистово втягивает в себя сигаретный дым и со злостью взирает на широкие, в металических рамах окна.

— Ты вот, к слову, своих дедов в глаза не видывал, тебе о них только рассказывали, и все-таки есть у тебя дед — точно тебе говорю. А дед моего Артура, мой отец, живет в одном городе с внуком, через две улицы, рядышком, но у Артура нет деда. Велосипеды есть, свитера-костюмы есть, все, что душе угодно, есть, целых три квартиры есть, а вот деда нет.

— Ты случайно не выпил?

Друг укоризненно смотрит на меня, медленно поднимается и направляется к двери.

— Я прихожу к тебе, когда мне больше некуда идти. А пью я в остальные дни...

Еле удается его усадить. Как бы поднять его дух?

— Представляешь,— говорю,— из дерева сделали пушку, настоящую пушку, которая стреляет? Ну не чудо?..

— Из дерева твою башку сделали. Других деревянных чудес я не знаю. Только жаль, она у тебя не стреляет.

— Нет, я серьезно — деревянную пушку! — игнорирую я его издевку.— Это было в первую мировую войну, в Араратской долине, в каком-то селе. Понимаешь, по ту сторону реки находились турки и постепенно сжимали кольцо. Неизвестно, кому это пришло в голову, но только крестьяне пять дней и ночей корпели над пушкой и таки смастерили. Уж не знаю, из чего они ядро сделали. И как пальнут лунной ночью! В полнейшей тишине взрыв показался кошмарным, а дым очень долго не рассеивался. Пушку, естественно, разнесло в щепки, но зато турки со страху задали деру. Скажешь, не чудо?..

— Твой дед сумел бы сделать такую пушку,— говорит мой друг.— Он был особый человек. Сам как пушка... только вот добротой стрелял.

Что он знает о моем деде?

И что я знаю о своем деде?

— Поехали в село,— говорю.— Побродим по ущелью, пошуршим сухими листьями. Только обещай не морочить мне голову — мол, через двадцать лет сыновья спроектируют искусственные ущелья.

— Поехали,— говорит,— проведаем вашу шелковицу.

— Да ее спилили, я же говорил...

— Ты когда кончаешь работать?

— Часа через полтора.

— Я в пять за тобой зайду. Со мной, может быть, Артура отпустят, а ты Армена захвати. Поедем вчетвером.

Армен — мой сын. Ему недавно исполнилось четыре годика. Вот обрадуется!

— Ладно,— говорю,— жду.

Первым делом спускаемся в ущелье, так хочется Армену, и Варужан уступает. А в ущелье гуляет поздняя осень, речка полноводна, и все наполнено каким-то звоном — может, это и есть самая лучшая на свете тишина. Ложусь на толстый волшебный тюфяк из опавших листьев. Небо — мое одеяло. Армен увидал в луже лягушонка и притих, изумленно уставившись на него. Варужан направился к воде — что-то говорит, что-то показывает Артуру. Тому лет девять-десять — разодет он не для села.

— Давай я отвезу тебя домой, сестричку напугаю,— уговаривает Армен лягушонка.— А хочешь, понесу тебя в детский сад, ты будешь в младшей группе, а я в старшей. Я уже большой.

Пучеглазый лягушонок смотрит на Армена.

— Завтра, когда мы приезжали, лягушонок здесь сидел, я его видел,— Армену знакомо одно-единственное понятие времени, «завтра», а в ущелье мы были месяц назад.

— Да, это он самый,— подтверждаю.— Я его запомнил.

Армен тихонько подкрадывается к лягушонку — видимо, хочет его схватить.

— Фу! — вдруг раздается над головой. Это подошел Артур.— Не прикасайся, Армен! Фу!

Лягушонок прыгнул и исчез в листве. Армен чуть не плача смотрит на меня.

— Сам ты фу! — говорит он обиженно.— Зачем спугнул?..

— Дядя, объясните же ему,— обращается ко мне Артур,— лягушку трогать нельзя, она грязная.

— Почему? — удивляюсь.— Лягушка живет вот в этой воде, а смотри, какая она чистая, прозрачная.

— А мне дедушка говорил.

Я прихватил с собой хлеб, сыр, фрукты — достаю все это и раскладываю на столе из сухой листвы. Варужан растянулся на земле, Армен уселся на камень, Артур продолжает стоять — весь чистенький, отутюженный.

— Камень холодный,— говорит он,— а земля грязная.

— Земля не может быть грязной! — орет Варужан.— Мне просто плакать хочется,— последние слова адресованы уже мне.

— Опрокинь стаканчик,— даю ему пива.

— И мне,— тянет ручонку Армен.

— Только один глоток. Ладно?

— Ладно,— говорит Армен, но из моего стакана не отпивает, ему нужен свой стакан. Наливаю.— За здоровье ущелья,— говорит он,— за здоровье лягушонка, за здоровье камня,— и, радостно причмокивая, выпивает свой глоток пива.

Артур удивленно смотрит то на Армена, то на меня. Он кое-как примостился на бревнышке, которое отец разыскал и принес — за неимением ничего лучшего. И покрыл своей кепкой, чтобы сынок не простыл. Протягиваю Артуру яблоко.

— Почисть,— передает он яблоко отцу.

— Ножа нет,— цедит сквозь зубы Варужан.— Ешь так — бабушка не видит.

Мы выбираемся из ущелья коротким путем. Мы бегали в детстве этой дорогой купаться. А плавать я так толком и не научился. Однажды чуть не утонул, перепугался до смерти. С тех пор боюсь воды. Зайду по грудь, а дальше страшно. В воде нельзя ощущать страх, надо чувствовать себя уверенно, чтоб удовольствие получить. А я вот боюсь. Такие дела...

Ущелье остается внизу, мы уже в селе, вот и наш дом показался.

— Дедушкин дом! — восторженно кричит Армен.— Дедушкин дом!..

Я каждый раз показываю ему этот дом, но говорю,

что дедушка уехал далеко-далеко — когда вернется, мы к нему заглянем.

— Зайдем во двор,— говорит Варужан.

— А зачем? Видишь, шелковицу спилили...

Варужан смотрит за ограду.

— Спилили,— говорит.— Двор асфальтом покрыли. Но я точно помню, где она росла.

— И я помню,— говорю.

— Поедем в Ереван,— говорит Артур.— Я через час должен быть в гостях.

— А это что за шелковица? — вдруг оживляется Варужан.

— Шелковица как шелковица. Ничего особенного,— сухо отзываюсь я.

— Ее ведь не было! Она проросла из корня срубленного дерева! Из корня шелковицы твоего деда!

Смотрю на деревце, обнаруженное Варужаном, оно растет далеко от старой шелковицы, прижавшись к внешней стороне ограды. Молоденькое, совсем юное тутовое деревце.

— Смири свое воображение,— говорю,— пошли.

Мне вдруг становится грустно — в душе пробуждается шелест нашей шелковицы, я вижу ее ветви, касавшиеся крыши нашего дома. По ним я забирался на крышу. И, словно со стороны, слышу свой собственный детский голос: на шелковице, среди ее раскидистых ветвей я соорудил себе гнездо, домишко, и читал оттуда стихи собравшейся внизу детворе... Крыша теперь покрыта листовым железом, а шелковицы и вовсе нет.

— Это пророс ее корень! — упорствует Варужан.— Если содрать асфальт, сам убедишься.

— Поздно,— говорю.— Сегодня уже поздно сдирать асфальт. Да и вообще поздно.

— Я пшат хочу,— говорит Армен.— У дедушки в саду есть пшат?

— И я бы поел,— говорит Артур.— Нужно только от кожицы очистить, и можно есть.

Наша старая сельская улица, под асфальтом которой скрыты шаги моего детства, кишит людьми и машинами. Половина тени от нашей шелковицы падала на эту улицу, и я не раз пытался обвести темный контур мелом, да все никак не удавалось — ведь тень-то двигалась... Теперь шелковица больше не отбрасывает свою тень на улицу.

МОИ ПЕРВЫЕ НЕЖНЫЕ ЧУВСТВА

Я так и не стал Энрико Карузо, не оправдал надежд сельских ребят, для которых пел темными ночами. И преподавателем не стал вопреки мечте моей мамы, употреблявшей всегда в этом смысле одно только слово, старое, емкое и мудрое,— учитель. Когда-то ей так хотелось, чтобы отец был учителем, но тот, окончив городское училище в Александрополе, вернулся к своему винограднику. Не сделался я и художником, хотя был убежден, что рожден именно для этого — ведь я, начав лет с четырех, изрисовал стены нашего дома, а потом все другие белые стены в селе. Рисовал на бумаге, на холсте, карандашом, мелом, углем — чем попало. Из меня вышел самый рядовой проектировщик (мне неловко употреблять громкое слово «архитектор»), который вычерчивает скучные, рядовые, однотипные здания, до тошноты похожие друг на друга. Жена считает меня неудачником, да и у сына не будет оснований гордиться фамилией. В минуты же печали и одиночества мне нравится пробуждать в себе голоса детства. Голоса... Я обращаюсь к ним как к живым одушевленным существам. И они подчиняются мне. «Пробудитесь! — расталкиваю я их (расталкиваю голоса!).— Наполните меня движением и чистотой и не давайте мне стареть». И голоса моего детства покоряются мне — просыпаются.

— Видал золотые часы? — пробивается ко мне сквозь толщу лет голос Норика.

— А в школе какие? Не золотые?

— Дурак! — хохочет Норик.— На них бы знаешь сколько кило золота пошло!

— А сколько?..

— Много!.. Послушай, как идут...— И он подносит левую руку к моему уху.— Стучат, как сердце.

А часы работали тихо, нежно. Потом Норик позволил мне рассмотреть хорошенько стрелки, цифры.

— Дядя из Германии привез. Из чистого золота. Гляди.

Что такое чистое золото, я в то время еще не знал, но, между нами говоря, предпочел бы увидеть чистую муку. «Война кончится,— мечтала мать,— заведутся деньги, я из Егварда привезу пудов десять чистой пшеницы, от-

дам смолоть, и мы будем иметь чистую муку. Ничего примешивать не стану, напеку всего вдоволь — детишки досыта наедятся».

— Гляди,— возле моего уха мягко, как часы, звучит Норикин голос,— с крышкой. И крышка золотая. Хочешь потрогать?

— Хочу.

Он торжественно снимает часы с левой руки и протягивает мне.

— Не урони,— говорит.— Тихонько нажми, откроется.

Тихонько нажимаю. Из-под крышки что-то выскальзывает, падает. Ой, это же фото Мануш! Нашей соседки Мануш! Карточка крохотная, и я изумленно ее разглядываю вместо того, чтобы смотреть на часы из чистого золота.

— Как стемнеет, браток,— говорит Норик,— концерт устроим, будем петь вовсю!..

«Будем петь»! Будто и он в этом деле участник. От его пенья уши затыкай и беги подальше. Это мне придется торчать под окном Мануш и надрывать глотку. Дом у них двухэтажный, их четыре сестры. Я стою, вытянув шею, и заливаюсь, а Норик сидит себе на камне, головой покачивает. Одну песню допою, он другую заказывает.

Я, видно, и впрямь хорошо пою — ведь не только Норик, все парни нашего села наперебой меня петь упрашивают. Ах, если б я еще играть умел! Научиться — дело плевое... В прошлом году один тип тары[1] продавал. У него их было штук пять-шесть. Война еще шла, а он уже тарами торговал! Я в слезы, мать упрашиваю — купи. А мама грустная такая на улицу вышла, приценилась и, смотрю, домой возвращается еще грустнее, чем была. «Восемь кило пшеницы на эти деньги купить можно,— говорит.— А будь у нас восемь кило пшеницы, мы б смололи, смешали с картошкой, и стало б у нас пятнадцать кило доброго хлеба».

Так и не купили мне тар — оставалось уповать на свои голосовые связки, благо они мне даром достались, и, значит, выменять их на пшеницу не удастся. Но иногда я слышу звуки тара, которого у меня никогда не было и на котором я никогда не играл. Эти звуки доносятся с пустынных, безлюдных улиц моего детства...

---

[1] Тар — восточный струнный инструмент.

— Я Араму обещал,— говорю,— петь для Седы, у которой глаза зеленые.

— Давай часы,— обижается Норик. Ему уже лет семнадцать, он старше меня на целых пять лет, а дуется, как четырехлетний малыш.— Скажи Мануш, что у меня золотые часы. Таких ни у кого в селе нет.

— А про карточку сказать?

— Можно. Только скажи, что я сказал, чтоб ты ей не говорил.

— Почему?

— Вырастешь, узнаешь.

Я вырос и теперь все чаще пытаюсь раскрутить назад ленту пережитого, нажать на кнопку воспоминаний, чтоб лента говорила, пела, плакала, и вслушиваться в отголоски минувших полузабытых мгновений.

Стояла первая послевоенная осень. Когда вернулись домой те, кому суждено было вернуться, тогда-то стало по-настоящему видно, скольких отцов недосчиталось наше село, скольких братьев, скольких женихов. Конечно, в военное лихолетье в селе мужчин было и того меньше, но все верили: победят — вернутся. Однако домой возвратился лишь тот, кого пощадила пуля. И тогда всем бросилось в глаза, что в селе очень много девушек. Некому было их любить, некому было брать их в жены. Но тут, будто на совесть политое поле клевера с листиками «любишь — не любишь», зазеленела новая поросль молодых ребят. Мы, двенадцатилетние, взирали на них с завистью — ведь они уже заглядывали к парикмахеру Хосрову и в открытую курили...

— Когда с Арамом отправляетесь?

— Как стемнеет.

— Ну я тебя потом разыщу, где-нибудь возле дома Седы.

— Я еще упражнения не написал,— говорю.— И наизусть задали Газароса Агаяна «Пряди, пряди, прялка...».

— От одной песни не помрешь.

Норик раздраженно молчит и вдруг делается какимто жалким. А ведь он самый сильный парень у нас на селе. А Мануш — самая красивая девушка.

— Скажи, что передать Мануш,— нахожу я выход.— Я ведь могу ее видеть в любое время. Хочешь, письмо напиши, я прямо сейчас сбегаю отнесу.

— Скажи, чтоб вечером в кино приходила. Пусть сядет в последнем ряду, рядом место займет. Только

свет погасят, я буду тут как тут — как из-под земли вырасту.

— Считай, я ей уже передал.

Лицо Норика проясняется.

— Хочешь, дам тебе часы немножко поносить?

...Недавно я встретил Мануш в хлебном магазине на Абовяна. Она так и не вышла замуж. Трое сестер остались старыми девами, а младшая, Гаянэ, трижды выскакивала замуж, и каждый раз дело кончалось разводом. Мануш не узнала меня, хотя я долго и пристально смотрел в ее белое и мягкое, как хлеб, лицо. Хотел встретиться с ней взглядом, но глаза ее были скрыты фиолетовыми стеклами очков.

...А в тот далекий день, когда я рассказал ей о золотых часах Норика и о ее красивой крохотной карточке, которая теперь хранится в золоте, она улыбнулась тайком и ласково потрепала меня за ухо. «Ну и дружка ты себе выискал»,— говорит. Пальцы у нее были тонкие, теплые, а ногти длинные и блестящие. Когда же я сказал, что Норик будет ждать ее в кино и, как только погасят свет, вырастет как из-под земли (так и сказал — «вырастет»), она сперва было засмеялась: «Что он, фасоль, чтоб вырасти? — А потом вдруг рассердилась: — Ты еще мальчишка, а ведешь себя, как Велосипед Армо». У почтальона Армо был единственный в селе двухколесный велосипед. «Не велосипед, а ковер-самолет»,— хвастал он. Был Армо хром на одну ногу и слеп на один глаз. Мать говорила: «Сплетни по селу на колесах разъезжают». И потому я на Мануш за такое сравнение обиделся: «Я вовсе не сплетник, а Норик из-за тебя в один прекрасный день умрет. Он мне сам говорил. А сейчас прекрасных дней полно». Мануш сразу смягчилась и вдруг притянула меня к себе и крепко прижала. И я почувствовал дивное благоухание юной девушки и упругую мягкость ее груди. Сказка! С ума сойти можно! Потом она крепко поцеловала меня в щеку. «Иди,— говорит.— Он что, не знает, что мать нас не пускает одних в кино?»

Только годы спустя я сообразил, что и Мануш, и другие сельские девчата, обнимая-целуя меня, обнимали-целовали своих любимых. Говорили мне слова, рожденные в минуты грусти и предназначенные тем, по ком тосковали. Жаль, я растерял их по дороге — потому что был уверен, что они мои. А свое не бережешь. Я обязан был

запомнить те слова и поцелуи, сберечь и невредимыми передать моим старшим друзьям, посвятившим меня в свои тайны, тайны первой любви, не предполагая, увы, что она становится и моей первой любовью...

Печальны, блаженны и праведны были тогда наши души... А вот на днях я повстречал Мануш на улице Абовяна в хлебном магазине. Раздобревшая, дебелая, засидевшаяся в девках Мануш выбирала хлеб чересчур придирчиво и долго. Потом попросила продавца разрезать буханку пополам, опустила полбуханки в сумку и медленно скрылась в уличной суете. А у Норика уже четверо ребятишек от зеленоглазой Седы, под окнами которой я распевал той далекой ночью (но не ради Норика, а ради Арама). Песня моя была и письмом, и телеграммой, и телефонным звонком. Тоской и ожиданием, яростью и надеждой.

...А однажды ночью мне пришлось петь только грустные песни. Справляли свадьбу Аревик — ее выдавали замуж за лейтенанта из Ошакана, только что вернувшегося с войны, хотя все село знало, что ее любит как сумасшедший Черный Саак. Сколько раз я пел под ее окном! Однажды она даже письмо Сааку написала и передала через меня, а вот теперь выходит за другого, уезжает в Ошакан. Это была первая в нашем селе послевоенная свадьба — невеселая, жалкая свадьба. Брат Аревик погиб в сорок первом, отец вернулся с фронта без ноги, а вот лейтенант-ошаканец явился с двумя медалями и кучей всякого добра — привез одежду, посуду и даже, говорили, пианино.

Чтобы справить свадьбу, родня Аревик собрала со всего околотка лампы, стаканы, тарелки, вилки. Музыки, естественно, не было, тем паче, что их ближайшая соседка Асанет потеряла в войну мужа и сына, осталась одна как перст и теперь целыми днями сидела возле двери, причитала и кидала в арык камешки. Музыки не было, и я в полный голос, взволнованно и фальшиво пел: «Полюбил — отняли яр» [1].

Я пел эту песню уже в третий раз, а Черный Саак, плечистый, сильный, добрый Черный Саак, прислонившись, как хачкар, к стене, глухо стонал.

---

[1] Я р — милая.

— Аревик увозят,— прервав песню, я тихонько толкнул Черного Саака.

Распахнулась дверь, потом ворота, и на улицу вышло много народу.

Черный Саак что-то пробормотал, но к дому не повернулся. Только сказал: «Пой, а то я умру...»

Полюбил — отняли яр,
Яр была —и нету яр...

Надрывно зазвенел в ночной пустоте мой голос. Люди, вышедшие из дому, стали оглядываться, и среди них я без труда отыскал лейтенанта-ошаканца, потому что в темноте поблескивали обе его медали. Значит, та, что мнется возле него,— Аревик, и, значит, верно поется в песне: «Как несчастен этот мир...» Я пел, а в соседнем дворе подвывала, словно вторя мне, собака. Я едва сдерживал слезы — ведь Аревик была и моей первой любовью...

...Теперь Черный Саак работает на бензоколонке — неподалеку от нашего села. Как-то, года два назад, он не без злорадства сообщил мне, что мужа Аревик, того лейтенанта из Ошакана, упекли за темные делишки на восемь лет. «Могли и десять дать»,— сказал Черный Саак и закурил, втянув в себя сразу дым целой сигареты.

...А как-то ночью мы отправились в Амберд.

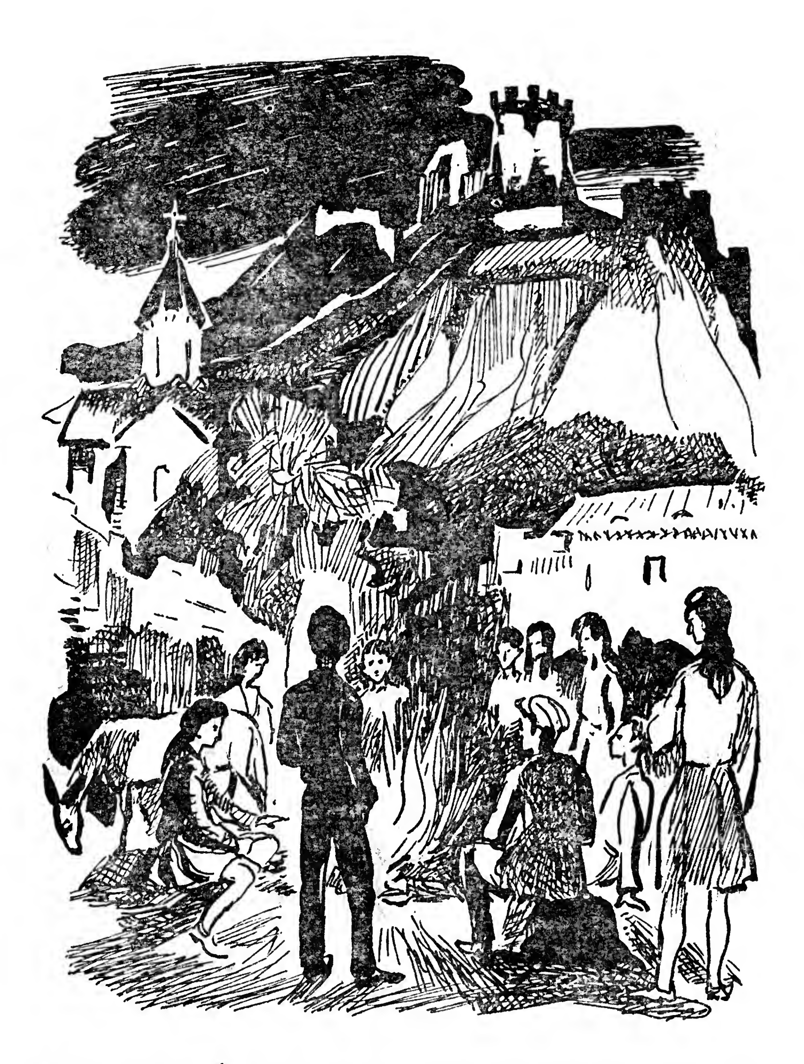
В центре села, перед школой, поставили памятник-родник погибшим воинам. Днем состоялось открытие памятника, мужчины выпили — то ли с горя, то ли еще с чего,— женщины всплакнули, а нам, молодым, была предоставлена полная свобода.

И молодежь решила отправиться пешком в Амберд. Взяли и меня с собой.

Мы шли при свете звезд.

Нас было немало — человек десять ребят и семь-восемь девушек. Шествие замыкал осел Черного Саака, нагруженный съестными припасами, паласами, посудой. Когда я уставал, меня сажали на осла, но при этом требовали, чтобы я пел. Стало быть, мое ночное пение являлось платой за верховую езду.

До Амберда мы добрались уже в сумерках. Церковь и крепость походили на неких мифических великанов, нарисованных иссиня-черной краской на фоне темно-



серого неба. А когда над головой зажглись все звезды, я подумал, что мы не иначе как в волшебной сказке.

Девушки разостлали паласы, ребята принялись собирать хворост для костра, а я сидел и задумчиво смотрел на небо. И размышлял: куда деваются звезды днем, сколько войн перевидала луна? Вот было бы здорово, если бы павшие в Амберде армянские воины восстали из

праха и явились к нашему костру... «Варданик,— я едва расслышал свое имя, это Марьямик меня окликнула.— Варданик джан, возьми свечу и иди за мной. Я упала в ручей, до нитки промокла». Марьямик и впрямь была вся мокрая и дрожала от холода. «Пойдем»,— говорю...

В церковном дворе было темно. Стена рухнула, обнажив узкие кельи. «Я зайду сюда,— сказала Марьямик.— А ты прилепи свечу к стене и уходи». «Я за стеной постою,— говорю,— посвищу. А хочешь, петь буду? Что тебе спеть?..» «Спой «Под твоим окном стою»,— едва справляясь с ознобом, пролепетала Марьямик.— Только тихонько, чтоб никто не слышал...» Я втиснул свечу в расщелину между камнями, а сам ушел за стену. Стена была порядком разрушена, и я просунул руку в большущую дыру: «Я тут, не бойся!» Марьямик слабо улыбнулась в подрагивающем пламени свечи: «Ты пой, Варданик, не смотри». Я уселся на траву и нежно — так нежно, наверно, только звезды шепчут — запел. Послышались шаги. Появился Грайр. «Ты что тут делаешь?» — «Марьямик там переодевается, а я сторожу». Грайр приблизился к стене, а я поднялся и закрыл собою щель. Ради Грайра я не раз пел под Марьямикиными окнами. А после пения она мне обычно говорила: «Молодчина, Варданик джан. А теперь иди домой». А Грайра вроде бы в упор не видела...

Я стоял лицом к стене и смотрел на Марьямик. Она уже сняла свое пурпурное платье и выжимала его — чтоб быстрей высохло. Потом разостлала платье на камнях и сняла рубашку. Свеча, что ли, стала ярче гореть? «Она не простынет?» — шепнул я Грайру на ухо, а он почему-то прикрыл мне ладонью рот. Рука его легонько дрожала. «Тебе тоже холодно, Грайр?» — «Осел! — прошептал Грайр мне в ухо.— Стопроцентный осел!» Потом Марьямик стянула с себя все остальное и стояла совершенно нагая в пламени свечи. «Какая у нее талия тоненькая»,— шепнул я Грайру, а того вовсю колотила дрожь, и он не ответил. Марьямик откинула с груди влажные волосы и мягко провела по груди ладонями. Словно любовалась собой... Однажды я видел, как купалась старшая сестра, но смотреть на сестру было просто любопытно, а тут я вдруг ощутил необычный трепет: как же прекрасна Марьямик в темноте церкви, когда робкий свет, словно тонкая накидка, укрыл ей плечи. «А ты не гляди.— Я вдруг почувствовал, что Грайр отталкивает меня.—

Ты ведь тоже парень...» И вдруг слышу голос Марьямик: «Где ты, Варданик? Почему не поешь?» «Пой,— зашептал Грайр, отрываясь от щели.— Пой, не то я сейчас умру!» В этот момент я, честно говоря, был не против, чтобы Грайр на несколько минут умер. Но Марьямик меня снова окликнула, и я запел:

Под твоим окном стою,
Полночь, тишина.
Ты в объятьях сна...

...И только много позже я понял, почему Грайр оттолкнул меня, почему не позволил любоваться Марьямик. Но ведь Марьямик была и моей первой любовью. И потому, когда наутро я стал выводить на скале масляной краской наши имена, первым написал имя Марьямик. «Теперь мое»,— сказал Грайр. Но я спокойно и зло взглянул ему в глаза и вывел тем же цветом собственное имя и фамилию: Вардан Амазаспян. А имя Грайра написал другой краской, в самом конце — подальше от имени Марьямик.

...Скорый поезд жизни все дальше и дальше увозит меня от той ночи в Амберде, которая, возможно, явилась последней станцией моего детства. Но и теперь нет-нет да и встает перед глазами картина — вспыхивает прежнее ночное видение в темной синеве церкви: облачив в тонкий шелк белого пламени свечи свое чистое серебристое тело, расчесывает, расчесывает, расчесывает волосы и любуется собой Марьямик...

Я так и не сделался ни певцом, ни педагогом, ни приличным архитектором. Что ж, пусть жена считает меня неудачником, а у сына не будет особых оснований гордиться фамилией. Мне только обидно, что из меня не вышел художник. А то я нарисовал бы голоса своего детства. Да, голоса — у них есть цвет и плоть, они грустят, тоскуют и ликуют. Получились бы картины, написанные старинной кошенилью, а кошениль не умирает. Запылится глянец — сотри пыль, и краски оживут, зазвенят, зашумят, как в момент своего рождения... Где вы, Марьямик, Мануш, Аревик? Отзовитесь на голос маленького Вардана, который с тридцатилетним опозданием решается признаться вам в любви.

1977

ПОСЛЕДНИЙ УЧИТЕЛЬ

ПОВЕСТЬ

Посвящаю своим учителям:
Арпик Поладян,
Арусь Погосян,
Анушавану Варданяну,
Арпик Мкртчян

— Земной шар вертится,— говорит ученик.
— Нет. Земной шар вертится,— говорит учитель.
— Поля зеленеют,— говорит ученик.
— Нет. Поля зеленеют,— говорит учитель.
— Дважды два четыре,— говорит ученик.
— Нет. Дважды два четыре,— поправляет его учитель. Потому что учитель знает все это лучше.

Мирослав Флориан,
современный чешский поэт

НАЧАЛО

Стояло обычное весеннее утро. И небо было чистым, голубым — цвета незабудок. Можно было рассчитывать еще на один звонкий солнечный день...

Но на небольшом клочке неба (площадью, наверно, не более трехсот — четырехсот метров), под которым находилась школа имени Мовсеса Хоренаци, тем же утром сгустились темные чернильные тучи, сверкнула молния и, конечно же, посыпался град. Все это, разумеется, в переносном смысле. А в действительности школьный день начался обычно, но на второй, а тем паче на третьей перемене в классах и в коридорах, как сквозняками, потянуло разными историями, которые можно определить двумя словами: школьный фольклор. И песня, и шутка, и анекдот, и, конечно же, легенда — все входит в этот жанр.

Согласно основному варианту легенды, накануне, после уроков, группа ребят из десятого «Б» предалась сумасшедшему веселью, апогеем которого явился танец Мари Меликян на столе. Во время танца, как свидетель-

ствует легенда, Мари постепенно освободилась от всех своих (понимаете, от всех!) одежд. И в самый напряженный момент, когда Мари выплясывала на столе в наряде своей прародительницы Евы, дверь неожиданно распахнула преподавательница химии Сона Микаелян.

Тут легенда разветвляется на две версии. По одной из них, завидев химичку, ребята повыпрыгивали из окон (хотя десятый «Б» находится на четвертом этаже), и Мари осталась на столе одна в чем мать родила. Магнитофон, не ведающий о происшедшем, продолжал надрываться, и Сона Микаелян, не сумев его выключить, столкнула ни в чем не повинный ящик на пол, а стоит он ни более ни менее триста пятьдесят рублей новыми.

По второй же версии, ребята (а их было пятеро) при виде химички тут же изобразили живую ширму, за которой Мари оделась в мгновение ока, в совершенно пристойном виде предстала пред очи преподавательницы и эдак вежливенько спросила: «Вам что, не нравится эта музыка?» И собственноручно, спокойно и благопристойно выключила магнитофон.

И продолжение имело различные вариации. По одной — учительница химии пришла в неописуемую ярость и стала осыпать учеников бранью. Ребята оскорбились — неужели они не имеют права слушать музыку, тем более после уроков? А учительница обозвала их лгунами и трусами и закричала, что она собственными глазами видела — Мари была совершенно раздетая!.. На сей раз и ребята и Мари окаменели от изумления и обиды. Один же из них, а именно Армен Гарасеферян, между прочим, заметил, что у него есть незамужняя тетушка, которой, когда она слышит такие ритмы, тут же начинают мерещиться раздетые молоденькие и непременно красивые девушки. После столь язвительного намека учительница химии (которая, кстати, была не замужем, и все сразу об этом вспомнили) хлопнула дверью, пулей вылетела из класса и понеслась прямо в кабинет директора.

Рассказывают и другое. Учительница настаивала, чтобы все тут же предстали перед директором, а Мари ответила, что товарищ Саак Вануни недавно сел в машину и уехал — по-видимому, домой. И заявила, что, между прочим, их классный не... а Арам Сапоян, который, как всем известно, две недели назад внезапно скончался. А затем вроде бы ученики спокойно, не спеша, собрали

раскиданные по партам учебники, тетради и с песней (да-да, с песней!) вышли на улицу. А преподавательница химии, у которой, кстати, не было уроков в десятом «Б», растерянная и одновременно взбешенная, вбежала в учительскую, а оттуда в кабинет Саака Вануни — видимо, чтобы ему позвонить...

Секретарша Софик Лорецян, или Софи Лорен, как ее давно уже прозвали теперешние десятиклассники, в тот момент, естественно, сидела на своем вращающемся стуле. Естественно, потому что, во-первых, работа заканчивается в четыре, а во-вторых, вот-вот начнутся вступительные экзамены и она в пятый раз намерена попытать счастья на любом факультете университета — филологическом, юридическом, биологическом. Телефон секретарши спарен с директорским, но, в отличие от обычной системы, он не отключается, когда говорят по второму, параллельному. Но это так, между прочим. И вот, значит, заходит Софи Лорен спустя несколько минут в кабинет директора и находит преподавательницу химии на диване в полуобморочном состоянии. Софи Лорен — молодчина девочка! — не растерялась, тут же поднесла бедняге воду и валидол. Химичка и от того и от другого отказалась. Но так как ее пульс все еще был учащенным, секретарша вынуждена была набрать (о, до чего же наивная!) номер «скорой помощи», которая, конечно же, не приехала. В связи с этим многие вспомнили, что, когда в прошлом году у школьного сторожа дяди Санасара был сердечный приступ, «скорая помощь» прибыла лишь через три часа, когда дядя Санасар уже был дома и преспокойно смотрел по телевизору футбол.

И прочее и прочее.

Вот с какой мрачной увертюры началось весеннее утро в школе имени Мовсеса Хоренаци.

СУМАТОХА

— Все у нас великолепно, нам только стриптиза недоставало,— мрачно сказал Саак Вануни.— Мы станем притчей во языцех в роно... Ты что, в самом деле видела, или, может, тебе почудилось?..

— К сожалению, в самом деле.— На столе все еще стоял стакан воды, принесенный накануне Софи Лорен. Сона Микаелян почему-то поднесла его к губам и стала пить воду глоточками.— К сожалению, я видела это свои-

ми глазами, товарищ Вануни. Понимаю, что вы предпочитали бы, чтобы я этого не видела, но увы...

Директор утомленно взглянул на Сону Микаелян. Он всегда высоко ее ценил — она была лучшей преподавательницей химии, душой всех школьных вечеров и плюс двоюродной сестрой заместителя министра просвещения. Вануни долгие годы преподавал математику (в младших классах) и с давних пор пристрастился к словечку «плюс». Правда, вот уже восьмой год бремя директорских обязанностей отлучает его от преподавания.

— Очень гнусная история,— сказал он в конце концов.— Плюс скоро экзамены... а тут сразу шесть человек... Ну и поколение...

— Считайте, что я вам вчера не звонила,— холодно прервала его Сона Микаелян.— Я могу идти?

— Вы меня не так поняли,— неожиданно перешел Вануни на «вы».— Прежде всего, уже многие об этом откуда-то знают. И плюс,— Вануни проглотил целое сложноподчиненное предложение: «Плюс то, что уж ты-то сообщишь своему двоюродному братцу, заместителю министра — правда, по части строительства, но заместитель есть заместитель, и уж он-то донесет тому, чей он заместитель».— Плюс класс не имеет даже воспитателя. Видимо, из-за них бедный Саноян получил инфаркт.— Вануни выпрямился, поправил галстук и потянулся к телефону.— Наверно, следует сообщить министру. Случай необычный, чепе.

— Какая в этом необходимость? — опять прервала его Сона Микаелян.— Это наше внутреннее дело.— Рука директора замерла на мгновенье в воздухе: Соне не нравится, что директор первый хочет сообщить министру?— Может, вызовете этих...— учительница, в свою очередь, удержалась от хлестких слов, готовых сорваться с языка.— Нужно выяснить, кто был зачинщиком. Я, разумеется, вмешиваться не стану — не я их классный руководитель, я даже не преподаю им.

Саак Вануни, внешне недовольный, а внутренне успокоенный, снял руку с телефонной трубки. Если бы даже он и собирался звонить министру, все равно сразу бы не соединили — просто нужно было сделать вид, что он не намерен, как говорится, замять дело и не боится правды, какой бы горькой она ни была. Это пусть знают все и тем более мадемуазель Сона Микаелян.

— Сейчас я их вызову,— сказал он официальным то-

ном.— Прошу вас остаться. Вы единственный свидетель. Возможно, прямо сегодня придется собрать педсовет.

Ваан Мамян проснулся разбитый, с головной болью. Он долго брился, потом тщательно гладил голубую сорочку и придирчиво выбирал галстук. Потом сварил себе кофе, который получился слишком горьким. Хотел было позавтракать, открыл холодильник, взглянул на его содержимое, всего было много, но он почему-то захлопнул дверцу холодильника, выпил еще одну чашечку кофе и закурил. Что ждет его в новой школе, да еще в конце учебного года? Может быть, правильнее было бы не торопиться, подождать несколько месяцев и прийти в сентябре?.. Сестра — она тоже педагог — на этом просто настаивала. Он с ней был полностью согласен, но тем не менее выдержать свое бездействие смог только десять дней. Утром по-прежнему вскакивал в семь часов, будто разбуженный школьным звонком. Просыпался окончательно, а звонок все продолжал звучать в его ушах с какой-то неизбывной печалью. Он прямо места себе не находил. Читал, играл сам с собой в шахматы, включал телевизор, иногда звонил какому-нибудь приятелю. «Он на работе»,— был неизменный ответ. А на работу Мамян уже не звонил.

Короче, не выдержал, отправился в роно, и ему предложили школу имени Хоренаци, где внезапно от сердечного удара скончался учитель литературы. Часов ему дали немного — только в одном классе. Скоропостижно скончавшийся учитель был пенсионного возраста, но до последних дней не расстался со школой. «Работайте пока на неполной ставке,— сказали Мамяну.— С сентября будет больше часов».

А в ушах Мамяна все еще звучал разговор с бывшим директором.

«Поймите, литература — всего лишь дисциплина, такая же, как арифметика, химия, такая же, как... физкультура, да-да, физкультура!..»

«Но вы же сами преподаватель литературы...»

«И неплохой, должен вам сказать, преподаватель. Даю ребятам знания, вникаю с ними в материал программы, и мои питомцы поступают в вузы. А сколько раз я предугадывал темы экзаменационных сочинений! И работал с ребятами именно над этими темами... Я учу их предмету!»

«Литература — не предмет. Литературу нельзя выучить. Не это задача педагога».

«С вами с ума сойдешь, Мамян».

«Осторожно, ненавязчиво мы обязаны помочь юноше разобраться самому в литературе. Не зубрить биографию писателя, не перекатывать сочинение из разных учебников — он должен открыть для себя писателя, понять его книгу! Литература нужна всем, а не только тем, кто надумал стать филологом, не только тем, кто собирается поступать или, чего греха таить, пролезать в вуз».

«Вы сомневаетесь в справедливости наших оценок?»

«Я бы вообще не ставил оценок по литературе».

«Вы пытаетесь подорвать основы школы, Мамян!»

«Я слишком люблю школу, чтобы... Школа для меня не служба, а жизнь».

«Одним словом, вы наш школьный Дон-Кихот».

«Достоевский считает «Дон-Кихота» самой важной книгой для юношества — ее должен прочесть каждый».

«Кто?»

«Достоевский».

«Все мы, разумеется, читали «Дон-Кихота». Он был фантазером, сражался с ветряными мельницами. А нам предстоит воспитать деловых людей. Де-ло-вых!»

«Вроде нашей бывшей учительницы Адринэ Варданян? Я на днях ее видел, она работает теперь в магазине. Наверно, вы и сами знаете».

«Знаю. Ну и что?»

«Она сказала мне — поражаюсь, как я двенадцать лет проработала в школе...»

«А сколько ваших учеников поступило в вуз, Мамян?»

«Не знаю, не считал. Но среди них попадались такие, которые любили литературу по-настоящему. К сожалению, я не сумел привить эту любовь всем. Наверно, я плохой учитель».

«Да, Мамян, извините за откровенность, вы плохой учитель».

«А хорошей учительницей была Адринэ Варданян».

«Кто такое сказал?»

«А вы разве взволновались, удивились, когда она ушла в торговлю? Нужно было бить тревогу, кричать, как Оган-Горлан [1], а вы спокойно ее проводили, наверно, даже пожелали успехов на новом поприще».

---

[1] Оган-Горлан — герой эпоса «Давид Сасунский».

«Она была преподавательницей математики».

«Она была учителем. У-чи-те-лем!»

...Пора было идти. Перед тем как захлопнуть дверь, взглянул на портрет матери и услышал ее голос. Улыбнулся, потому что мать улыбалась ему с портрета.

На большой перемене преподаватели обычно прохаживались по коридору или спускались в столовую выпить кофе, чаю, а если стояла хорошая погода, выходили во двор. Сегодня же почти все остались в учительской. Во-первых, до многих уже дошли слухи о случившемся — какой-нибудь один вариант, а то и сразу несколько. А во-вторых, директор Саак Вануни вот уже более часа сидит, запершись в своем кабинете, с единственной свидетельницей происшествия Соной Микаелян. Секретарша никого к нему не пускает, никого с ним не соединяет: «Товарищ Вануни занят. Говорит по телефону с министром».

— Не поколение, а уравнение с десятью неизвестными,— зажигая очередную сигарету, мрачно произнес Мартын Даниелян, преподаватель математики.— Впрочем, я для себя уже давно его решил. В ответе нуль. Нуль!

— Я с тобой не согласен, Мартын,— возразил Вардан Антонян, преподаватель литературы в десятом «А» классе,— нельзя судить о поколении по трем-четырем юнцам.— Антонян, председатель школьного месткома, был несколько обижен тем, что Вануни не посоветовался с ним.— Хотя в том, что ты говоришь, есть, конечно, доля истины.

— Доля истины! — усмехнулся Даниелян, не взглянув на Антоняна.— Истина сейчас витает в воздухе, и любой ее может поймать. Не знаю, то ли времена изменились, то ли мы устарели. Я, вы знаете, сторонник строгих методов воспитания, но кто меня в этом поддержит...

В открытое окно учительской врывались голоса ребят. Педагоги сидели за длинным столом, некоторые проверяли тетради, двое играли в шахматы — царила атмосфера ожидания. Пока судить о случившемся было небезопасно — каждый чувствовал, что легенда, подобно снежному кому, обрастала все новыми и новыми подробностями.

Раздался звонок директора — секретарша была вызвана к нему в кабинет. Она мигом вскочила со своего вращающегося стула, привлекла к себе, подобно магниту, взоры всех педагогов, а потом зачем-то снова села, достала из ящика стола зеркальце, поправила волосы, подкрасила губы и только после этих манипуляций скрылась за кожаной тайной дверей.

— Опасный возраст,— дожевывал свою мысль Даниелян.— На всех углах к ним сторожа приставляй. В каждом из них скрыта бомба замедленного действия. Не знаешь, когда взорвется.

— Да, сложный возраст,— сказал один из игравших в шахматы, его положение на шахматной доске было отнюдь не блестящим.— С ними всегда нужно делать ход конем.

— Прекрасный возраст,— заявила старшая пионервожатая, которая окончила эту же школу всего год назад.— Просто вы пытаетесь новый замок открыть старым ключом.— Потом она, видимо, вспомнила, что здесь сидят ее вчерашние учителя, и спешно попыталась исправить оплошность.— Речь идет не обо всех присутствующих, разумеется.

В этот момент распахнулась обитая дерматином дверь, и появилась Софик Лорецян. Она тщательно закрыла за собой дверь и таинственно произнесла:

— Вызывает...— Антонян подался вперед.— Вызывает героев дня, товарищ Антонян.

— А кто они? — надломленно спросил Антонян.

— Мари — ну это вы знаете... Армен Гарасеферян...

— Естественно,— подал голос Даниелян,— этот Гарасеферян бредит заграницей... А кто еще?..

— Тигран Манукян...

— Не может быть,— сказала старшая пионервожатая,— Тигран такой скромный, застенчивый.

— Все они застенчивые. Как за каменной стеной, за родительской опекой и за нашим попустительством. Кто еще?

— Ваан Сароян.

— Вот это в самом деле удивительно.— Ваан был лучшим математиком класса, гордостью Даниеляна.— Ты уверена, Софик?..

— Да. Еще Ашот Правдивый, извиняюсь, Ашот Канканян и Смбат Туманян. Пятеро мальчишек и Мари.— Софи быстро вышла из учительской.

Тут заговорили все разом. Кое-что уже стало фактом, и потому можно было критиковать, защищать, судить, жалеть и заявлять, что от того-то и того-то этого следовало ожидать.

Вскоре Армен, Тигран, Ваан, Ашот и Смбат вошли в учительскую. «Мари в школу не явилась,— сообщила Софи.— Сейчас позвоню домой».

Ребята внешне выглядели совершенно спокойными, только взгляд их был несколько напряжен. Они поздоровались с учителями и направились к обитой двери.

— Входите,— сказала им секретарша, она уже успела набрать номер телефона Мари.— Алло, можно Мари? Это ее мама? А Мари дома? А, больна. Это из школы. Хорошо.

— Наверно, простыла,— язвительно заметил игравший в шахматы, тот, что был на пороге проигрыша.— Бедное дитя...

В этот момент открылась дверь и вошел Ваан Мамян.

— Здравствуйте,— сказал он.— Могу я видеть директора?

Кое-кто из учителей ответил на его приветствие.

— Кого вы хотите?—спросила Софи.—Директор занят.

— Я...

И тут зазвенел звонок.

Какое-то движение в учительской, конечно, наметилось, но тем не менее никто не подошел к шкафу с классными журналами.

— Может быть, вы доложите обо мне? — обратился Мамян к секретарше.— Товарищ Вануни знает, что я должен был прийти. Я Ваан Мамян. Мне, видимо, придется работать вместо товарища Санояна...

Теперь все взглянули на новичка с любопытством, а секретарша скрылась за обитой дверью.

— Вы читали Дантов «Ад», коллега? — обратился Даниелян к Мамяну.— Ну, конечно же, читали...

— Я вечно забываю, Данте пишется через «е» или «э»,— с невинностью третьеклассника вставил Антонян, и все, даже Даниелян, засмеялись.— Хоть повесьте. Правда, машинально всегда пишу правильно.

— Ну, для учителя литературы и это немало. А вешаться не нужно. И так количество педагогов-мужчин убывает в геометрической прогрессии,— сказал Даниелян и повернулся к новичку: — Знаете, почему я вспомнил Данте? Когда войдете в класс, который вам достал-

ся, то Дантов «Ад» покажется вам цветным мультиком. Вы могли бы устроиться в более удачную школу, а тем паче в более удачный день.

— Что, трудный класс?

— Не то слово. Чудаки и шалопаи.

— Чудаки — это неплохо. А вот насчет шалопаев не знаю.

Появилась Софи.

— Товарищ Даниелян, директор попросил, чтобы вы представили товарища Мамяна десятому «Б». Сказал, пусть он сегодня с ними познакомится, побеседует... Просил всех педагогов приступить к занятиям...

Задвигались стулья, ящики столов, и учительская мало-помалу опустела.

— Пойдемте, коллега,— обратился к Мамяну Даниелян.— Я стану на несколько минут вашим Вергилием. Мне не хочется сопровождать вас в ад, но таков приказ сверху...

— Я тронут,— произнес Мамян,— но, может быть, не стоит вам беспокоиться, секретарша мне скажет, где класс этих чудаков.

— Нет, это приказ сверху,— вздохнул Даниелян.— А вы остерегайтесь инфаркта. Вы, по всему видно, человек чувствительный. Впрочем, как же иначе — учитель словесности должен быть клубком эмоций, а вот я, фигурально выражаясь, клубок чисел. Это поколение, дорогой,— уравнение пятой степени. Есть такие неразрешимые уравнения. Невозможно получить результат. Каждый — самостоятельное уравнение, имеющее одно-единственное, свое решение. Если, конечно, таковое имеется.— И засмеялся.— Бедный Саак Вануни... Каждый год собираются ему дать заслуженного, и каждый год что-нибудь да мешает.

В учительской осталась только Софи. С превеликой осторожностью она, глядя в сторону обитой двери, сняла телефонную трубку. Но номера набирать не стала — просто прижала трубку к собственному уху.

МАНОН ЛЕСКО

В классе было человек десять — двенадцать.

— Где остальные? — спросил Даниелян.

— Мы думали, у нас свободный урок. Кое-кто ушел. А пять человек — сами знаете...

— Ничего,— улыбнулся Мамян.— Вы, товарищ Даниелян, опаздываете на урок — идите, а мы немножко побеседуем.

— Негодники,— произнес себе под нос Даниелян и вышел.

Мамян молча прошелся несколько раз по классу, вгляделся в юные лица. О чем они думают? Конечно же, о своих товарищах, которых сейчас с пристрастием допрашивает директор.

Даниелян рассказал Мамяну в двух словах, что произошло накануне. Вот в этой комнате Мари плясала на учительском столе? Да, конечно, другого стола тут нет.

— Вы будете и нашим классным руководителем? — спросил кто-то, потому что молчание слишком затянулось.

— Не знаю,— очнулся Мамян и весьма наивно спросил: — А вы бы хотели?

Кое-кто фыркнул.

— Нам осталось учиться всего несколько месяцев. Не успеете начать нас воспитывать, мы уже разлетимся в разные стороны.

— Вы любите песни «Бони эм»?..

— Не слышал. А что, хорошие?

Класс заерзал, поползли разговоры, шепот.

— Вчера под эти песни плясали на вашем столе.

Мамян сообразил, что начинается атака.

— А их исключат, товарищ Папян?

— Мамян,— спокойно поправил учитель.— Я не знаю, что они сделали. И потом — меня не спросят, я тут человек новый.

— И вы исключенный?

Тот, кто задал этот вопрос, спрятался за спину впереди сидящего.

В классе сделалось тревожно.

— Да,— ответил учитель, он был уязвлен, но говорил без раздражения,— исключенный, если вас устраивает это слово.

— Вы наш последний учитель,— неожиданно то ли с усмешкой, то ли с грустью произнесла одна девушка.

Мамян взглянул, увидел ее светлые, голубые глаза — нет, все-таки она сказала это с грустью.

— Как тебя зовут?

— Лусик.

— Последних учителей не бывает, Лусик.

— Мы проходим «Ацаван» Наири Заряна, товарищ Мамян.

Мамян с благодарностью взглянул на девушку — она пытается помочь ему, подсказывает тему разговора.

— Товарищ Саноян не успел нам рассказать «Ацаван» — инфаркт. Теперь стало просто неприличным умирать от другой болезни.

— Замолчи! — крикнула Лусик.

— А между прочим, и ты неплохо бы могла сплясать на столе.

Мамян взглянул на говорившего — кудрявый густоволосый парнишка.

— Меня зовут Гагик.— Он встал.— Прикажете выйти из класса?

— Нет, спасибо, что назвался.

— Хотите, я назову всех по фамилиям? Познакомитесь.

— Не нужно. Времени у меня много, я еще успею.

Мамян подошел к окну, выглянул. Двор как двор, ничего особенного — полно ребятни, шум, гам. Потом повернулся к классу, обвел его взглядом, всмотрелся в одного, в другого, попытался перехватить чей-нибудь взгляд. Не вышло.

— А мы и на втором часе будем молчать?

— Перемены не будет,— неожиданно заявил учитель.— Я хочу рассказать вам о своей школьной жизни. Кое-что может вам показаться неправдоподобным — что ж, пусть кажется. Ну так вот, было это много лет назад. Я и мои приятели были тогда на год, а то и на два помладше вас. Стояла последняя весна военного времени — наверно, тот же месяц, что сейчас. И стряслась с одним нашим одноклассником беда. В то время ребята и девчата отдельно учились. Вернее, вначале вместе, в одной школе, а потом школу поделили надвое, построили деревянную перегородку, сделали два разных входа — короче, разъединили нас. Но мы не забывали наших подружек, а подросли — влюбляться в них стали. Не знаю, можно ли назвать это любовью в полном смысле слова, но один из моих друзей — звали его Манук — таки влюбился, и это каким-то образом стало известно педагогам. И решено было перевести Манука в другую школу. Именно в это время наш одноклассник Рубен — он был по возрасту года на два постарше нас — принес

нам почитать тоненькую книжку «Манон Леско». Ночью — а тогда еще была в городе светомаскировка — мы заперлись в кабинете по военному делу и стали при свече читать книгу. Это удивительная история любви, и она запала нам в душу. Мы читали почти всю ночь. Вы, наверно, знаете эту книгу — молоденький рыцарь, совсем еще юноша, де Грие без памяти влюбляется в красивую девушку по имени Манон. Но за первыми порывами любви следует цепь тяжелых испытаний и разочарований. Манон изменяет своему рыцарю, изменяет много раз, и в конце концов ее за легкое поведение вместе с одиннадцатью ей подобными девушками отправляют в Америку. Но рыцарь, зная все, продолжает пламенно любить Манон и считает ее самой совершенной женщиной. Он не оставляет Манон и следует за ней в Америку... Да, мы читали при свече — укрепили ее на дуле пулемета, а окна тщательно зашторили. Нас было пятеро друзей, и любовь, измена, верность — все это было для нас еще неведомым миром. Нас просто привел в содрогание конец книги, когда Манон умирает в пустыне, а несчастный рыцарь собственными руками роет ей могилу и сам ложится в нее, ожидая смерти... А что Манук знал о любви? Просто Алиса жила с ними по соседству, он носил ее сумку в школу и из школы, сочинял стихи и писал Алисе письма. Может, в те трудные военные дни Мануку нужна была сказка? Кто знает... Короче говоря, он положил одно Алисино письмо в дневник и по рассеянности не вынул его, отдавая дневник педагогу... Манука перевели в другую школу, а мы, четверо его друзей, конечно же, последовали за ним. Почему Рубен именно в то время принес нам «Манон Леско»? И почему предложил читать ночью, при свече? И почему именно историю любви непостоянной, легкомысленной девушки и доверчивого рыцаря? Этих вопросов тогда для нас не существовало. Да и после они не возникали. Возвращаясь ночью домой, мы говорили о том, что войне вот-вот придет конец и мы закончим школу. Где-то в глубине души каждый из нас ждал свою будущую Манон, и, поверьте, мы не помнили о ее неверности. Мы были детьми войны, и той ночью прямо из кабинета по военному делу готовы были идти на фронт сражаться. И Манон нас вдохновляла на это... Мы выросли, но та ночь навсегда осталась в нас. Имейте же и вы сказку. Свою сказку. И какой-то частицей своего существа живите в этой сказке...

Как быстро он рассказал, а казалось, может говорить об этом два часа. И кому он все это рассказывал — не себе ли? Страшно было взглянуть в юные лица, в глаза — вдруг увидишь ухмылку, издевку. Мамян любил чувствовать, что его слушают. А на сей раз боялся проверить — слушают ли. Класс притих, поворот был неожиданный, десятиклассники еще не успели определить своих позиций.

— Сегодня обойдемся без вопросов,— сказал Мамян,— можете идти домой. Поговорим завтра.

Ребята озадаченно и сосредоточенно собрали учебники и вышли.

— До свидания,— сказал последний.

За закрывшейся дверью Мамян услышал смех, потом шаги удалились, голоса замолкли.

Мамян сел за стол, закурил и неспешно начал листать классный журнал. С грустью вглядеелся в почерк покойного Саноянa — тот постоянно писал фиолетовыми чернилами, как видно, питал к ним особое пристрастие, буквы выводил старательно, почерк у него был каллиграфический. Аккуратно записана тема каждого урока. Письменные задания даны строго в соответствии с программой... И оценки какие-то упорядоченно-однообразные: три, четыре, четыре, три. Несколько раз наткнулся на двойки. А вот пятерка. У кого же это? Лусик Саруханян.

Пошел в учительскую, попросил у секретарши письменные работы — тетради были сложены в шкафу безукоризненно аккуратными стопками. Опять вернулся в класс, стал листать тетради, вчитываться. Все знакомые строчки из учебников, стандартные округлые фразы, гладенькие, подобно приморской гальке, а под работами оценки — тройки, четверки. Терпеливо подчеркнуты рукой Саноянa пунктуационные и орфографические ошибки. Под одним сочинением — чьим же? Армена Гарасеферяна — строка учителя: «Удалился от темы. В поэме «Абу-Лала Маари» автор протестует против капиталистических порядков». А что написал ученик? Прочел. По мнению Армена, в поэме выражен национальный протест, поэт за сюжетом видит трагедию армянского народа, к страданиям которого мир остался равнодушен. Мари Меликян пропустила две темы — написала число, заглавие (первая тема «Я горжусь своим отцом», вторая — «Будем такими, как наши родители»), а дальше

последовали пустые страницы. Под последней темой «Наш дом, наша семья» Мари написала восемь стихотворных строк. Над ними приписка: «Эти стихи сочинила не я, а пятнадцатилетняя девочка-финка. Я всего лишь их перевела».

Мамян прочитал стихотворение:

Вот опять тенистым парком
я иду в обнимку с парнем,
и курю,
и говорю.
Но не рада я, не рада,
и в груди моей свинец.
Разыщи меня, отец.
Где наш дом, моя отрада?

Саноян поставил ей двойку и написал красными чернилами: «О чем ты думаешь? И что ты нашла в этом стихотворении?»

Одно сочинение на эту тему было прямо-таки превосходным. Написал его Ваан Сароян. «Во главе стола теперь пусто. И не потому, что старики перевелись: по статистике средняя продолжительность жизни возросла. А дед мой, к слову, всегда обедает на кухне. Нет, все мы любим его, но ведь он, видимо, привык к тому, чтобы никто не занимал его места и чтобы его ждали. А мы теперь садимся куда попало. Сейчас время круглых столов (даже если столы овальные или квадратные). Отец с нами редко обедает — он поздно возвращается домой, вечно в делах. Мы вообще давно не сидели за столом всей семьей. И уже привыкли к этому — вроде бы так и надо. Только мать переживает».

И что же поставил Ваану Саноян? Тройку за содержание. Приписал: «Не раскрыл тему». А за правописание, за грамотность поставил «отлично».

«Во главе стола теперь пусто»,— отличную строчку нашел этот юноша.

Других сочинений на свободную тему Саноян не задавал. Видимо, сам он очень любил своего отца и хотел почитать об отцах добрые слова. А может, рос он сиротой — кто знает...

Сам он, Мамян, никогда не задаст сочинений на подобную тему, никогда.

Пролистал, перечитал другие тетради — с долготерпением археолога. Ни одной живой строчки, и почти ни-

каких ошибок — такое ощущение, что всю эту писанину выдала одна грамотная машина.

— Товарищ Саноян работал у нас с самого основания школы,— сообщила Софи.— В последнее время он очень болел, но на занятия являлся аккуратно. Даже накануне смерти пришел. Говорил: если хоть день пропущу, умру.

— Вы окончили эту школу? — Не смог произнести «нашу школу».

— Да, три года назад. Никак в институт поступить не могу. В этом году подам на вечернее отделение. Стаж набираю. Мне всего двух месяцев не хватает. Как вы думаете, поступлю?

— Раз так стремитесь, конечно, поступите.

— Товарищ Саноян со мной занимался до своей болезни. Он был добрый, хороший человек. Хотите курить? У меня есть сигареты. Нет-нет, сама я не курю, что вы! — Она взглянула на обитую дверь.— Это для директора. Он уже сто раз бросал курить.

— И я не могу бросить.

— Кончатся сигареты, приходите ко мне.

— Спасибо.

В учительской никого, кроме них, не было. Занятия закончились, и в школе царила какая-то непривычная тишина.

— Ну как, поговорили с ними? В неудачный день вы к нам пришли. Я в жизни товарища Вануни таким злым не видала.

Мамян понял, что Софи жаждет рассказать подробности событий. А к чему ему это? Никого не знает — и вдруг сразу ушат грязи...

— Я с ними еще успею поговорить, Софи. Время есть... Кто был вашим любимым преподавателем?

— Все, абсолютно все были очень хорошие.

— Все... Разве можно любить абсолютно всех?..

— Товарищ Саноян мне однажды сказал: «Из тебя бы, Софик, вышла хорошая артистка — ты так умеешь за всех переживать. И еще у тебя хороший почерк». Ему нравилось, когда у людей хороший почерк.

Мамян еще не знал, что учащиеся прозвали секретаршу Софи Лорен, не знал степень осведомленности секретарши о вчерашних событиях, он просто с мягкой грустью смотрел на нее и думал, что у него могла бы быть дочь ее возраста. Может быть, она уже была бы в

кого-нибудь влюблена, делилась бы с отцом, ждала его совета.

— Ты читала «Манон Леско», Софи?

— А про что это?

— Ты еще не влюблялась?

— О чем вы говорите! — попыталась Софи покраснеть.— Сперва в университет поступить нужно. Это самое главное.

— Это самое главное,— машинально повторил Мамян.— Да, наверно.

АНОНИМНОЕ ПИСЬМО

Саака Вануни терзали различные мысли. Ребята говорили не заикаясь и не сбиваясь — спокойно, уверенно. Сказали, что в самом деле вчера после уроков задержались в классе, потому что Армен принес новые магнитофонные записи и они остались их послушать. Ну, немножко разошлись, потанцевали. Больше всех рвалась танцевать Мари — она лучше всех в классе танцует, это все знают. А когда в класс вошла Сона Микаелян и сделала замечание, они тут же собрали книги и отправились домой. Вот и все. Может, во время танца Мари чересчур разгорячилась и расстегнула какую-нибудь пуговицу, они не знают, не заметили. Недоумевали в связи с обвинениями преподавательницы химии — примерещится же такое. А они ее так уважали... «Вы ведь нас всегда понимали,— заявил Армен.— А тут вдруг взяли оскорбили, особенно Мари — она, наверно, поэтому и в школу не пришла. Она вчера всю дорогу плакала».

Сона Микаелян слушала молча и пыталась мысленно восстановить увиденную вчера картину в мельчайших подробностях. Все произошло так стремительно, у нее даже голова закружилась, когда она увидала голые (а может быть, полуголые?) плечи Мари. Ребята окружили ее плотным кольцом и в ритме танца вскрикивали хором: «Оле!» Когда она, Сона Микаелян, рассвирепев, двинулась вперед, ребята двинулись ей навстречу. Армен действительно произнес ядовитую фразу насчет своей незамужней тетки, распалив Сону еще больше (Армен не отказывался от своих слов, он сказал: «Сожалею, что обидел вас, извините. Просто ваши обвинения показались нам очень оскорбительными. Вы такая современная жен-

щина, мы были почти влюблены в вас — и вдруг...»). Она подошла к Мари, та стояла возле магнитофона, убавляя звук и одновременно застегивая верхнюю пуговицу своего пурпурного платья. Платье ее выше талии застегивалось на несколько пуговиц, а ниже, до самого конца, было на молнии. Мари не смотрела на учительницу, но ее пальцы — Сона это заметила — дрожали. («Признаюсь, что я выкурил одну сигарету,— сказал Армен.— Иногда срываюсь. За это можете меня наказать». Вануни при этих словах вскипел, прочел длиннющую нотацию о вреде курения и вдруг виновато улыбнулся, потому что сам, не переставая, курил в течение всей беседы. «Когда станете взрослыми, пожалуйста, курите,— сказал он.— Хорошо, что ты сам признался. Товарищ Микаелян ничего мне об этом не говорила».) Сона Микаелян вспомнила — да, в классе в самом деле было накурено, и ее тронула (а может быть, показалось подозрительной) честность Армена. Но не может же вчерашняя картина быть миражем! Вануни был несколько успокоен. Сона Микаелян сознавала, что его устраивает такое примиренческое разрешение вопроса (а у нее к тому же и доказательств никаких нет). Пять человек спокойно, не теряясь, рассказывают нечто другое, хотя и схожее в общих чертах с тем, что она видела. Как доказать? И кто ей поверит?.. Ты смотри-ка, эти черти, оказывается, были в нее почти влюблены...

— Не знаю,— сказала она в конце концов.— Я видела, что Мари пляшет, окруженная ребятами, видела ее полуголые плечи... Впрочем, может быть, мне показалось...

Вануни перевел дыхание.

Ребята по очереди — все, кроме Ашота Канканяна,— попросили прощения, и Вануни сказал им, что они могут идти на урок. «Занимайтесь лучше, экзамены на носу. Чтоб я не видел больше в школе магнитофонов и тому подобного!»

А несколько минут спустя Сона Микаелян молча сидела напротив директора, а тот подписывал какие-то бумаги.

— Я вам благодарен, товарищ Микаелян,— сказал он в конце концов.— Нам нельзя допустить ни малейшего промаха. Они должны знать, что в школе есть порядок и справедливость. Между нами говоря, ведь неплохие ребята.

— Да,— сказала Сона Микаелян,— неплохие. Я могу идти?

Закрыв за собой обитую дверь, Сона Микаелян презрительным взглядом смерила Софи, проигнорировав ее вопрос: «Как дела, товарищ Микаелян?» — и льстивую улыбку. Легенды, гуляющие по школе, имеют мало общего с тем, что вчера произошло (если, конечно, все на деле было так, как ей показалось и как она рассказала Вануни). Сона взглянула на вертящийся стул и на сидящую на нем жеманную девицу и вдруг вернулась, распахнула дверь директорского кабинета:

— Товарищ Вануни, было бы совсем неплохо, если б телефон ваш был с блокировкой и Софи не могла бы подслушивать ваших разговоров.

— Я давно это собираюсь сделать,— сказал Вануни.— Все забываю. Завтра меня вызывают в роно... Софик!..

Софи пронзила химичку уничтожающим взглядом.

«Просто они плясали как ненормальные,— в присутствии всех заявила в учительской Сона Микаелян.— В классе было накурено. А я этого не выношу. Мари была полуголая — впрочем, может быть, мне показалось. Они, теперешние девицы, и одетые полуголыми кажутся. Собственно, больше ничего и не было. Ребята передо мной извинились».

Школа мало-помалу успокоилась, хотя легенды продолжали гулять и обсуждаться шепотом.

— Если сегодня этого не сделали, завтра сделают,— заключил Даниелян.— Я лично не удивлюсь.

А Мари между тем в школе не появлялась.

На следующий день произошли три события, оживившие вышеизложенную историю.

Событие первое. В спортзале подрались Армен и Ваан. Это было для всех неожиданностью, потому что они были закадычными друзьями. Особенно трудно этого было ожидать от Ваана — он считался самым тихим и воспитанным парнем в школе. «А мы просто так, из-за пустяка повздорили,— заявил Армен.— Завтра помиримся. И вообще это никого не касается». А Ваан никому ничего не объяснял.

Событие второе. Мари видели после уроков в школе (видела старшая пионервожатая, видел дядя Санасар и, конечно же, Софи). «Она, плача, бежала по коридору,— сказала старшая пионервожатая.— Я ее не догнала». Значит, Мари вовсе не больна, но на уроки тем не менее не ходит.

И, наконец, третье, самое главное событие, о котором знал только Саак Вануни. В пятницу он получил по почте анонимное письмо. «Вас обманули,— говорилось в письме,— Мари действительно танцевала почти раздетая. Армен и Смбат поспорили на перемене. Армен сказал — у него есть такие записи, что, если Мари услышит, она разденется догола. А Смбат сказал: не разденется. Мари стыдно, потому она и не ходит на уроки. Товарищ Микаелян сказала вам правду».

Вануни был озабочен — чей же это почерк? У него не было уроков в этом классе, он не знал, у кого какой почерк, но можно ведь взять их письменные работы. Может быть, это писал какой-нибудь недруг Армена и Мари? Вануни терпеть не мог анонимок, тем паче что и на него их писали. В прошлом году поступила анонимка как раз в то время, когда его представили к «заслуженному». Ну, вызвали его куда надо, чтобы он ознакомился с письмом, сказали, что не придают этому значения, однако «заслуженного» тем не менее не дали.

Поначалу Вануни хотел было порвать письмо, потом подумал, что все не так просто — этот негодяй может написать выше, мол, так и так, Саак Вануни покрывает безобразия, творящиеся в школе. Он зарегистрировал письмо, аккуратно сложил его и спрятал в сейф. Передаст его новому классруку, пусть тот этим занимается, не предавая дело огласке. При случае, он может сказать потом, что сигнал не оставлен без внимания.

А Сона Микаелян ходила в эти дни замкнутая, молчаливая. Отказалась выступать на педсовете, а запланированный вечер встречи с писателями и художниками перепоручила организовать старшей пионервожатой. Она проводила уроки, лабораторные занятия и тут же уходила домой. Вануни терялся в догадках: на что она обиделась? Нужно с ней еще раз поговорить. Может, предложить туристическую путевку за рубеж? Она несколько раз говорила, что хотела бы съездить в Польшу. Впрочем, она всегда может достать путевку через своего двоюродного брата.

Ваан Мамян вошел в класс с заметным опозданием — зачитался в библиотеке Терьяном. А книжечка стихов была новенькая, нетронутая. «Поэзию не берут»,— сказала библиотекарша. «А книжки про любовь?» — «Одна-две девочки. Большинство берет только книги, предписанные учителем. Дня через два возвращают. Наверно, полистают — и все».

Ребята были чем-то взволнованы, о чем-то спорили на перемене. Мамян бы все отдал, чтобы узнать о чем. А начнется урок, и их как подменяют — прячутся в свой черепаший панцирь. На предыдущем уроке Мамян предложил еще раз перечитать Терьяна и выучить наизусть стихотворение, которое больше всего понравится.

— Кто хочет первый продекламировать? — обратился он к классу.

Лица, обращенные к нему, были неподвижны, взгляд отсутствующий.

— Вы читали Терьяна?

— Читали,— вяло отозвался один из учеников.

— Ну?..

— Может быть, вы начнете? — В голосе Армена прозвучала хитроватая нотка. А губы его между тем были напряжены, словно сдерживали мутный словесный поток.

— Что ж, начну я,— спокойно сказал Мамян.

Поднялся со своего стула, подошел к Армену и прислонился к его парте. Отчетливо увидел утро тысяча девятьсот сорок третьего года, когда впервые вошла в их класс преподавательница армянского языка Нвард Паронян и, слегка опершись о первую парту, сказала: «Сегодня я вам почитаю Терьяна». И какие же это были прекрасные сорок пять минут! В руках учительница держала книгу Терьяна, но стихи читала на память — одна за другой текли из ее уст удивительные горячие строки. После звонка она сказала: «О жизни поэта вы узнаете из учебника. Неплохо, если бы на следующем уроке каждый прочел мне стихотворение Терьяна, которое ему особенно понравится. Я люблю слушать».

Воспоминание длилось всего несколько мгновений, но Мамян отчетливо, во всех подробностях, увидел в эти мгновения тот далекий урок.

...Когда, устав от жизни, обезумешь,
Вернись ко мне, вернись ко мне опять...

— Обезумешь?..—под нос себе пробормотал Смбат.— Я обезумлю, ты обезумешь, он обезумет...

— И в классе воцарится содом,— добавил Армен.

По классу прошелся шумок, кто-то на последней парте фыркнул.

...Когда тебе услады улыбнутся...

Мамян продолжал спокойно читать стихотворение.

Новый классный руководитель казался Армену чудаком. Вся школа взбудоражена событием, происшедшим у них, а он об этом ни звука, хотя преподает им уже вторую неделю. Армен уставился на учителя, поглощенный своими мыслями, и стихов, естественно, не слышал. Вчера он повздорил с матерью и сестрой. А может, они правы? Ваан его избегает. Да, некрасиво получилось. Сопляк, куда ты полез? Твое дело решать уравнения и плясать вокруг Даниеляна, а не соваться в мужские дела. Гляньте-ка на этого рыцаря. Армен, конечно, знал, что Ваан влюблен в Мари. Подумаешь, а кто в нее не влюблен!

...В сердце какого края есть такая печаль?
В сердце какого края есть подобная боль?..

Ашот что-то быстро-быстро писал на лежащем перед ним листке бумаги. Глаза его беспокойно бегали, он сидел один на последней парте. Наверное, пойдет на юридический — отец настаивает. «Встать, суд идет!» — Он представил себя в средневековой судейской мантии, плешивым, с пенсне на носу. Нет, лучше быть прокурором, по мнению отца, это более весомое лицо в суде.

...Кто встретится? Кто возрыдает?..

Лусик с благоговением смотрела на учителя. Она читала Терьяна, многое знает на память, но декламировать не будет — ребята засмеют. Губы ее шевелились, она мысленно повторяла с учителем строки поэта. Каким необыкновенным человеком был Ваан Терьян! «Если б он учился в нашем классе, я бы в него влюбилась...»

— Может быть, ты, Ваан? Все-таки ты тезка поэта.

— У Ваана с Терьяном ничего общего,— вмешался Смбат.— Ваан идет на факультет кибернетики.

Ваан не взглянул ни на учителя, ни на одноклассника. Уже две недели он не касался даже математики,

а под левым его глазом синел фонарь. На душе было горько. С кем поделиться? С Даниеляном? Но он ведь сразу спросит: а вот такую-то задачу решил? А Мамян человек незнакомый, непонятный. Терьян... Миром правят числа, а не эти грустные строки. Хотя учитель читает хорошо — будто собственную грусть передает. Мари все еще не ходит в школу... Через два месяца со всем этим будет покончено. Хоть бы уж скорей прошли эти два месяца.

...Я ухожу в далекий мир,
в темнейшую страну,
Меня помянете добром — я вам
добра желаю.

— Лусик!

А Лусик плакала. Она поглощенно, в каком-то забытьи слушала учителя, и вдруг сами собой потекли слезы. Голос одноклассницы привел ее в чувство, она вздрогнула, оглянулась. Гаянэ уставилась на нее своими бесовскими глазищами: «Что с тобой?» — «Ничего. Не мешай».

Мамян уловил шум, затем волнение девушки и потом, казалось, читал стихи только для нее.

...Что мне осталось?
Сеть золотая и больше ничего,
Жемчужины воспоминаний
и больше ничего...

Прозвенел звонок.

— Устали? — спросил Мамян.— Итак, на следующем уроке...

— Как говорится, спасибо за внимание,— выпалил Ашот.

— Наглец! — громко сказала Лусик.

СОЧИНЕНИЕ НА СВОБОДНУЮ ТЕМУ

Рано утром в пятницу Сааку Ванунк позвонили из Министерства просвещения. «Что происходит у вас в школе, товарищ Ванунк?» — «А что вы имеете в виду?» — «Последний стриптиз средь бела дня в школе, носящей имя Мовсеса Хоренаци! У древнего историка волосы бы встали дыбом на голове!» Звонивший не любил Ванунк, и Ванунк отвечал ему в этом плане полной взаимностью.

«Во-первых, замечу, что вы очень спешите окрестить тот случай словом «стриптиз». Видимо, это слово вам слишком нравится. А во-вторых, что касается древнего историка, хочу вам напомнить, чем кончается его «История».— «Я рад, что бывший учитель математики так хорошо осведомлен в армянской истории.— Звонивший был бывшим учителем истории, но не понял, на какие именно строки намекает Вануни.— Во всяком случае, было бы неплохо, если бы в Министерстве просвещения узнали об этом случае не из анонимного письма. Министр приказал переслать вам это письмо. Впрочем, думаю, в этом нет необходимости. Здесь сказано, что вам неделю назад уже послано другое, более подробное письмо. Вы его получили? Однако приказ есть приказ, я сегодня же перешлю вам это письмо, пусть у вас будет два. Да, кстати, товарищ Вануни, ваши дела подготовлены на представление к званию заслуженного учителя. Осталась характеристика...»

В минуты волнения или злости Саак Вануни худел — да-да, посторонним это было отчетливо видно. Сейчас свидетелей не было, но Вануни, кажется, и сам почувствовал, как весь сжался, уменьшился. Нервным звонком он вызвал Софи Лорен и попросил сигарету.

— Но ведь вы...— пробормотала Софи Лорен, которой Вануни вчера строго-настрого приказал не давать ему сигарету ни под каким видом, даже если он будет просить, умолять.— Может быть, лучше чай заварить?..

— Сигарету! — почти заорал Вануни.— И вызови Мамяна!

— Товарищ Мамян на уроке.

— Пусть прервет урок и явится. Война, что ли, что нельзя прервать.

Пока Софи поднялась на четвертый этаж и пока Ваан Мамян спустился с четвертого этажа, Вануни уже докуривал седьмую сигарету. Он мрачно взглянул на нового классного руководителя.

— Ну что, разобрались с тем письмом? Поговорили с ними?

— Мари не ходит в школу, а с Арменом... Не знаю, стоит ли ворошить то, что уже почти забылось...

— Кое у кого хорошая память, причем из влиятельных людей. Завтра педсовет. Нужно поставить вопрос об исключении обоих из школы... Я сегодня с кем требуется согласую.

— Исключение? — Мамян заметил переполненную окурками пепельницу и заострившиеся черты лица директора.— Исключить за полтора месяца до выпускных экзаменов?.. Я не могу с этим согласиться.

— Ничего,— спокойно возразил Вануни,— один будет против, пятьдесят один — за.

— Может быть, позволите мне сначала поговорить с Арменом?

— Я позволил вам это неделю назад, товарищ Мамян,— и вдруг спросил: — У вас нет чего-нибудь от головной боли?

Мамян попытался понять состояние директора. Он, видимо, добрый, беспомощный человек и теряет голову в острых ситуациях. И потому не любит запутанных вопросов — рубит сплеча. Есть люди, которые в таких случаях, напротив, чувствуют себя превосходно — есть возможность проявить свою власть над другими. Вануни не из их числа. В критические моменты жизни его мучила растерянность, зато в обычной жизни он был спокойным, уверенным в себе человеком — тамадой в застолье и мягкосердечным и многословным.

— Сегодня я с ними поговорю. Может быть, удастся и Мари повидать. Хотя не знаю, раскроется ли она передо мной, ведь я ее в глаза не видел. Письмо, я думаю, написано кем-то из класса.

— Ясно, что не мною,— горько засмеялся Вануни, зажигая восьмую сигарету.— Вы курите?

— Курю,— сказал Мамян,— но стараюсь не делать этого в школе. Я открою окно.

Какое-то время оба молчали, Вануни медленно втягивал в себя голубоватый дым. Потом Мамян заговорил:

— Знаете, я в последние дни много времени провел в библиотеке. Оказывается, старшеклассники почти не читают книг.

— Теперь у каждого дома публичная библиотека. Кое у кого побогаче нашей школьной.

— Это верно, у всех есть книги, но зачастую они просто пылятся в книжных шкафах. А библиотека — это не книжный склад, здесь книги берут, читают, передают из рук в руки.

— ...Плюс хорошие педагоги в школе, которые учат, что читать и как читать.— Вануни почему-то с симпатией посмотрел на нового учителя. Но момент был неподходящий ни для педагогической, ни просто для челове-

ческой беседы. Этими байками не заткнешь рот бывшему учителю истории, который, видимо, пьет сейчас в министерстве кофе, довольный тем, что отравил кому-то утро.— Обо всем этом мы поговорим когда-нибудь. В сентябре, если пожелаете. На педсовете можете поделиться плодами своих наблюдений. Но завтра... завтра речь пойдет о другом. Факт налицо, товарищ Мамян, и какой факт!..

— Порой ничто не ложно так, как факт. Лично для меня все это темная история.

— Так попытайтесь во имя педагогики ее прояснить! Впрочем, не верю, чтобы это удалось. Не представляете, как вас обведут вокруг пальца эти желторотые птенцы.

Мамян понял: Вануни себя подогревает — готовит к завтрашнему решительному действию, хочет сегодня же настроить себя против учеников, которых, по всей видимости, любит. Да, он пытается себя распалить, присовокупив к смутному событию последнего времени сотни разных мелких грешков, совершенных учащимися.

— О бог педагогики, во что мы превратили твой храм! Посадили учеников себе на голову. Все теперь развитые, все свободно мыслят. Научно-техническая революция, ранняя акселерация плюс бессилие теперешних учителей удовлетворить их космическую любознательность. И ученики знают себе цену — и в газетах пишут, и по телевизору показывают, вот, мол, какое распрекрасное, умное поколение растет, все переполнены информацией... Иногда за голову хватаешься: не стать ли нам учениками, а они нам пускай преподают. Помните, как у Мовсеса Хоренаци сказано: «Ученики твои в учении ленивы, зато в поучениях прилежны...» Давайте с завтрашнего дня возьмем книги, тетради и сядем на их место. Думаете, удивятся? Знаете, какой они нам преподадут урок?..

— Я, пожалуй, пойду,— сказал Мамян.— Я задал им написать сочинение, а через двенадцать минут звонок...

— Сочинение? Им диктанты надо давать, а не сочинения. Какая тема?

Мамян на мгновение опешил — какая связь между этим разговором и темой сочинения?

— Тема свободная.

— Свободная... Не много ли дано им свободы? Им диктанты надо давать, Мамян, пусть пишут по нашим

текстам. Диктанты! А то они нам диктуют. А вы — свободная тема...

— Я хочу просто выяснить для себя, кто есть кто. Ведь я их совсем не знаю. Я предложил им рассказать в сочинении о себе, о своей жизни и чего бы кому хотелось, если бы все было возможно... Потом попросил написать, какой предмет они любят больше всего и какой больше всего не любят.

Саак Вануни искренне рассмеялся.

— Души потрошите? Да если бы все было возможно, они бы закрыли школы и отправили нас с вами на пенсию.

Вануни злился — до чего люди разные: бывший преподаватель математики мечтал иметь дело со средним учеником и со средним учителем. Что лучше среднего арифметического! А тут возись с характером каждого — такие джунгли, что не выбраться. А Мамян пытается найти в джунглях дорогу. Ну господь с ним, пусть ищет. Только не свернул бы шею себе Мамян во время этих поисков. Да и он, Вануни, с ним за компанию...

Армен Гарасеферян отвечал на вопросы классного руководителя вежливо и холодно. Он не сообщил ничего нового — слово в слово повторил то, что уже говорил Сааку Вануни. И Мамян вынужден был сказать о письме.

— Подпись есть?

— Анонимное письмо. Написали в министерство. Один экземпляр послали директору школы.

Армен молчал несколько минут. Его голубые глаза застыли на одной точке, а мысль, по-видимому, напряженно работала. Мамян не задавал ему больше вопросов — пусть подумает, останется наедине со своими раздумьями, все взвесит. Потом у него вдруг пронеслось в голове, что он мог бы иметь сына возраста Армена и его сын мог бы оказаться в этой пятерке. На перемене Мамян успел пробежать глазами сочинение Армена. Впрочем, никакое это не сочинение — всего несколько строк, отписка: «Вы спрашиваете, что бы я хотел, если бы все было можно. А почему все должно быть можно и кому интересно, чего бы я хотел?..» Потом почему-то написал строку из Терьяна: «О Родина — сладкая и горькая...»

Какое потрясение скрыто внутри юноши и каким ключом можно отомкнуть его молчание?

— Говорите, анонимное? — посмотрел он на учителя колючим взглядом.— И наверно, верите, что там написана правда. Тогда к чему же беседовать?

— Я бы сжигал анонимные письма, не читая. Думаю, что и товарищ Вануни тоже. Но ведь и твое молчание — разновидность анонимного письма, а вернее, просто лист белой бумаги, на котором стоит только подпись.

— Я обязан быть с вами искренним?

— Нет,— холодно ответил Мамян,— искренность не может быть обязанностью. К тому же ты меня почти не знаешь, а зачем раскрываться перед незнакомыми людьми.

В словах Мамяна была какая-то беспомощность, Армен ее уловил, и это его покоробило, потом он разозлился:

— Одним словом, вам поручили, и вы выполняете обязанности классного руководителя. Думаю, что уже выполнили. Я могу идти?..

— Можешь,— спокойно сказал Мамян, ему показалась смешной и печальной собственная миссия: чужая душа закрыта перед ним наглухо. Потом вдруг с невыразимой нежностью посмотрел на сидевшего перед ним юношу.— Знаешь, Армен, а у меня мог бы быть сын твоего возраста.

Ну и переход! Армен не ожидал подобного. Может, приемчик? Так сказать, ход конем? А что, если... но быстро отшвырнул все эти «что, если», напрягся еще больше, и вертикальная морщинка над переносицей углубилась.

— Вы ничего не потеряли, товарищ Мамян,— сказал он с усмешкой,— можете считать, что даже в выигрыше. Кому нужен такой сын, как я?..

Уже у самых дверей Армен повернулся к учителю, безуспешно пытавшемуся зажечь сигарету,— спички не слушались, гасли.

— А подпись мы найдем,— не так уж много подонков в нашем классе.

Мамяну наконец удалось зажечь сигарету. Армен все еще стоял в дверях — ждал, что ответит учитель. А учитель почему-то спросил:

— Зачем ты привел строку из Терьяна? Я не понял.

Армен взглянул на него и ничего не сказал.

Учитель остался среди безмолвия пустых парт. Сей-

час можно идти домой и вновь затягиваться гашишем одиночества: «Что день грядущий мне готовит?..»

Мамян принялся листать тетради, погружаясь в невеселую арифметику: те-то и те-то предметы они любят, те-то и те-то не любят. Меньше всего голосов получила литература. Восемнадцать учащихся признали литературу своим самым ненавистным предметом... Восемнадцать из двадцати восьми. Ни у одного другого предмета нет стольких противников. Даниелян язвительно рассмеется: «Убедились, коллега, что век изменился, век?..» При чем тут век? Век не виноват. А кто виноват, что виновато? Пришла на память строка Исаакяна: «Тоска по высшему, по огненному слову!» Да, литература и есть то самое огненное слово, а мы успеваем из всего ее огня дать ученикам лишь крохотный огонек сигареты, пламя спички... Идейное содержание романа, образы поэмы, положительные и отрицательные персонажи пьесы. «Огненное слово» расчленяют, делят на части, сортируют. Поток поэзии пытаются втиснуть в водопроводные трубы, а потом выпускают по капле. Читать книгу — все равно что входить в море, голова должна кружиться от его бескрайности, в себе самом ты должен вдруг ощутить присутствие вечности...— где он прочел это? А мы их по сигналу, по свистку выпускаем в море, позволяя войти в него всего лишь по колено, и при каждом шаге заставляем оглядываться, чтобы не слишком удалились от берега. И море перестает быть морем, становится тепленькой ванной. Разве не так впервые прикасаются они к Пушкину, к Туманяну, к Терьяну? Неведомый, волшебный мир книги делается всего лишь «домашним заданием» во имя получения отметки. «А ну, ребята, кто из вас ответит на пятнадцать вопросов к поэме «Абу-Ала Маари»? Начнем с сюжета. Однажды ночью знаменитый арабский поэт снаряжает караван верблюдов и уходит из Багдада. Кто скажет, почему он уходит?..»

Вспомнил темы сочинений, которые давал Саноян... Что мы исправляем — пунктуационные и орфографические ошибки? А замечаем ли искру божию, когда юноша вдруг сворачивает в сторону от обычной схемы, ищет и находит свои слова? «Отклонился от темы»,— пишем мы красными чернилами. Пытаемся ли проследить, что происходит с «мечтами» учеников? «Я мечтаю стать строителем, строить Ереван...» Пятерка! А он через несколько лет становится продавцом в обувном магазине. Ко-

нечно же, он и раньше понимал, что его влечет торговля, но сознайся он в этом, учитель красными чернилами поправил бы его «мечту».

И есть такие, что приспосабливаются, притворяются, а потом это становится характером. И так мало-помалу в них вырабатывается ненависть к литературе, которая, оказывается, отнюдь не является ни ключом к истине, ни духовной радостью — она просто-напросто обязательный предмет, от которого никуда не денешься. Нет выхода, приходится зубрить.

Заседание педсовета все оттягивалось. Утром одна из учительниц десятого «Б» передала секретарше письмо от Мари Меликян. Жаль, оно было запечатано. У Вануни в этот момент сидели Даниелян, Мамян, Антонян. Вануни вскрыл письмо и стал читать его вслух. «Товарищ Вануни,— писала Мари,— несколько дней назад я была в школе и говорила с одним педагогом. Разговор был короткий и безнадежный. Я больше не приду в школу. Хочу, чтобы вы знали: не такая уж большая для меня беда избавиться от вашей школы. Всего вам доброго».

— Наглая девчонка! Она еще строит из себя невинную жертву! — возмутился Антонян.

— Не нужно так...— мягко сказал Мамян.— Она могла бы быть вашей дочкой... или моей.— Что за навязчивая идея? Мамян пожалел, что произнес эту фразу.

— Нет, моей дочкой она не могла бы быть.

— Могла бы,— холодно прервал его Даниелян.— Она могла бы быть дочкой любого из нас. Кстати, ее отец давно бросил их с матерью. Мне вчера сказали в классе. Я не знал, хотя преподаю у них третий год.

— А я знал,— сказал Вануни,— и мать ее знаю, очень хорошая женщина.— Помолчал.— Значит, вопрос Мари решился сам собой. В самом деле, отдадим ей ее дела и... А? А этого самого Армена необходимо исключить. Я недавно с ним разговаривал, он их заводила. Плюс вел себя как прокурор.

Мамяну почему-то опять вспомнилась строка Терьяна: «О Родина — сладкая и горькая...». Что-то в этой истории осталось за плотным занавесом. Неужели мы столь беспомощны? Исключить — вот наш рецепт? Что в этом — наша слабость или наша сила?..

— Может быть, не будем спешить, товарищ Вануни?

— В самом деле,— сказал Даниелян.— Каждая задача имеет тысячу и одно решение. Я тоже попытаюсь по-

беседовать с парнем. Еще неизвестно, что у него на уме. Помните ту историю в школе Туманяна? Вы не знаете, чем она закончилась?

Мамян взглянул на Даниеляна с радостным удивлением.

— Может быть, и ему отдать его дела, пусть уходит,— смягчился Вануни.— Директор одной школы в Норкском массиве близкий мне человек. Я ему объясню, в чем дело. А?.. Армен из семьи репатриантов, это тоже нужно принять во внимание.

— Конечно,— согласился Антонян,— с педагогической точки зрения это правильнее.

Правильнее? Мамян горько усмехнулся. И этот юноша уйдет из школы победителем — столько педагогов не смогло его сломить!.. Расписались под приговором в собственном бессилии.

— Ни у кого нет таблетки от головной боли? — спросил Вануни.

— У меня есть,— сказал Антонян.— Французское средство. Сразу боль снимает.

— Их сочинения многое мне объяснили,— сказал Мамян.— Я их постепенно начинаю узнавать...

— Пока узнаете, они окончат школу,— засмеялся Даниелян.

— ...И вступят в жизнь.— Вануни проглотил таблетку от головной боли и вспомнил, что на той неделе будет вечер выпускников и он должен держать перед ними речь. В который раз повторит он уже говоренное! Слова ведь не уходят на пенсию. И не изнашиваются от частого употребления. Все те же слова, все те же.

Армен Гарасеферян воспринял угрозу директора школы довольно спокойно.

— Не стоит терзаться, товарищ Вануни,— сказал он,— исключайте. А Норкский массив не так уж и далеко. У меня есть возможность уехать и подальше.

Саак Вануни изумленно посмотрел на стоявшего перед ним юношу — спятил он, что ли? Потом внутри у директора все взбунтовалось: наглец, вместо того чтобы плакать, просить прощения, обещать стать человеком! Ничего, через два месяца жизнь утрет ему нос!

— Я ни о чем вас не прошу, исключайте, это меня даже устраивает,— в глазах Армена показалась темная

грусть, но Ванини ее не заметил. И не увидел, что юноша весь сжался — наверно, страшась сорваться.— Я могу идти?..

— Вон! — Долго сдерживаемая злость прорвалась сразу, в одном выкрике. Ванини с силой ударил кулаком по стеклу, лежащему на столе, и голос его, подобный звуку разбитого стекла, был, наверно, слышен на всех этажах.

Армен спокойно отодвинул стул, на котором сидел незадолго до этого, с минуту растерянно (растерянно ли?) постоял перед директором, а потом неспешно направился к двери.

— До свиданья, товарищ Ванини,— открывая обитую дверь, сказал он и запнулся на миг, словно пережевывая какую-то горькую фразу.— Вернее, прощайте...

Прощайте?.. Ванини смотрел на закрытую дверь и проклинал себя за то, что тридцать семь лет назад вопреки воле отца пошел в педагогический институт. Отец говорил: «Это не работа, Саак. Теперь все порываются учить — учиться некому».

МАГНИТОФОННАЯ ЛЮБОВЬ

Сона Микаелян быстро пробежала глазами письмо Мари и медленно, ни слова не сказав, вышла из кабинета Саака Ванини. Неужели Мари намекает на разговор с ней?..

В возрасте Мари она, Сона, была самой привлекательной девочкой в классе, и позже — самой красивой студенткой в университете, а потом — мисс района среди учительниц, как однажды пошутил заведующий отделом роно. А вот теперь ей скоро исполнится тридцать пять, и она «отставная» красавица — так недавно съязвила одна преподавательница,— не замужем, живет с матерью. (Сколько еще мать протянет?) Мысли эти пульсировали в ее мозгу без всякой логической последовательности, и даже городская сутолока не отвлекала... Она осталась в химическом кабинете, чтобы подготовить все к опытам следующего урока, когда неожиданно вошла Мари. У Соны болела голова, и дома ее никто не ждал — мать уехала на три дня к брату в Кировакан. Мари была какая-то изменившаяся, но Сона не отвлеклась от опыта — продолжала смешивать вещества, зажигать спиртовку, которая почему-то не зажигалась. «Вы може-

те не прерывать меня несколько минут и не задавать вопросов?» — «Слушаю тебя, Мари».— «Спасибо. Вы в тот день увидели все как было, я танцевала почти раздетая. Я сделала это по доброй воле. Армен только спросил: «Разденешься?» — «А что тут такого? — говорю.— На пляже миллионы девушек в таком виде». Я, конечно, понимала, что на пляже — это другое. Вы были красивая и сейчас красивая, вы меня поймете. Многие ребята в меня влюблены, это, конечно, приятно, но по-настоящему-то любви нет. Любви нет! Ее придумали писатели вроде Терьяна, Есенина, Саят-Нова́. Есть только желание иметь магнитофон, джинсы, девушку. Один парень из нашего класса уже целый год мне письма пишет. Не слова, а патока. Не знаю, может, он меня и в самом деле любит, но я читала письма своего отца. О, какие это письма! А мать уже десять лет одинока. И я буду мстить всем мужчинам — за мать мстить. Я хотела еще преподать урок сопливому Ромео. Ведь и он явился на меня поглазеть. Армен при нем спросил: «Разденешься?» Вначале, правда, когда я начала танцевать, он хотел выйти...»

Мари ждала от учительницы чего-то очень для себя важного, но та неожиданно ее прервала: «Напрасно ты исповедуешься передо мной, Мари, я ни ваш классный руководитель, ни преподаватель литературы. И то и другое — товарищ Мамян. Вот ему и рассказывай».

Господи, каким взглядом опалила ее Мари! И потом холодно, с издевкой заявила: «И вы поверили? Я все наврала, я разыгрывала роль!» И направилась к двери.

«Знаешь, ты неплохо эту роль сыграла, я почти поверила».

А теперь вот письмо, полученное Ванухи.

Вспомнился вчерашний спор с Вааном Мамяном.

«Вы желаете иметь химических человечков, да-да, полученных в результате синтеза. И чтобы вода была дистиллированная, без микробов, потому что от микробов один вред».

«Не нужно издеваться над моим предметом, который я люблю не меньше, чем вы своего Терьяна. Микробы, говорите? Все дело в количестве. Без микробов нет живой воды, но не слишком ли их много развелось, не опасна ли стала вода?»

«Мы опираемся только на свой собственный опыт, а опыт молодых для нас почему-то не существует...»

«Пляска на вашем столе — это тоже опыт?..»

«Двое могут смотреть в одном направлении и видеть разное. Эта пляска, может быть, лакмусовая бумажка. Сколько всего выяснилось и сколько еще выяснится, если...»

«Если мы попытаемся их понять. Так ведь?»

«Да. Зачастую мы ведем себя с ними так, словно решаем задачу, заглянув предварительно в ответ. А ведь, как говорит Даниелян, каждый из них уравнение с десятью неизвестными. Если мы сумеем определить хотя бы одно из этих неизвестных — разве это не чудо?..»

«Даниелян не ваш союзник».

«А я и не ищу союзников. Каждый учитель сражается в одиночку».

«Порой с ветряными мельницами?»

«Меня уже однажды сравнивали с Дон-Кихотом. Если бы это было сделано с пониманием сути, я бы умер от гордости. Но надо мной просто смеялись».

«Извините, я не хотела смеяться над вами. Я люблю Дон-Кихота, но еще больше... сочувствую ему».

«Доброта беззащитна, у доброты не должно быть кулаков. А вообще смешно со стороны смотреть на доброту, если сам ты не добр».

Откуда возник этот человек? И чего он может добиться своим странным молчанием, беззащитной добротой, неожиданными взрывами?

«Извините,— сказал он, прощаясь,— я только с вами так горячусь. У меня самого нет готового ответа ни на один вопрос».

Уличная сутолока не отвлекла, не остудила Сону Микаелян. Может быть, встретиться с Мари — ведь учитель должен знать истину... Вчера Мамян прочел кое-какие строки из нового сочинения десятиклассников. Он позволил им написать его на отдельных листках, не подписывая своей фамилии. Удивительные это были строки — искренние, неглупые, иногда язвительные.

«Нас обвиняют в том, что мы трусы. Да, наша школа дважды горела и оба раза ночью. А если бы она загорелась днем, вы бы увидели, как мы гасим пожар».

«В семье не без урода. Урод в нашей семье — я. Попробуйте угадать, кто я. А вот за мое следующее сочинение вы мне поставите «отлично» — я правильно разберу «Ацаван».

«За что вы поставите мне оценку, учитель,— за мои грамматические ошибки или за мою искренность? Вы, правда, сказали, что оценок выставлять не будете, потому что искренность нельзя оценить по пятибалльной системе. Тогда ответьте мне просто — отчего это: я хочу грустить и не могу. Да, да, хочу грустить, бродить один по улицам, плакать. Но стоит появиться одной лишь тучке на моем лице, мама тут же вызывает врача, папа сводит меня с ума своими расспросами, а брат издевается, мол, ты случайно не влюбился?.. А я просто хочу оторваться от повседневности — думать, грустить. Вы не смеетесь над этими строчками?..»

«Финский письменный стол отца, за которым он даже письма ни одного не написал, удостаивается большей заботы и внимания, чем я...»

«Кем бы я хотел быть? Министром! Вот именно. Или же первым секретарем райкома. Первым, понимаете?»

«Мне везло — у меня всегда все было. И сейчас, знаю, я еще не окончил школу, место в университете меня уже ждет. Но мне все это опротивело. Пусть мне не повезет, пусть я провалюсь на экзаменах. Да, в эту минуту я искренне этого хочу. Но, может быть, минута пройдет, и я вновь смирюсь со своим «везением».

«Мы, видимо, в самом деле их не знаем,— подумала учительница.— Ни их истинных достоинств, ни их истинных недостатков. «Микробов» — как сказал бы Мамян. Мы удалились от них — нам кажется несложным делом познать душу ребенка, подростка по их поступку, проступку, вопросу. Нет, нет»,— возразила себе Сона Микаелян. С кем она спорила? С собой? Попыталась приостановить поток мыслей, потому что вдруг поймала себя на том, что думает словами Мамяна. Спорит с ним, но... его же словами. И второй ряд слов, пробудившихся в ее сознании, тоже оказался эхом мамяновских речей: «Мы совершаем ошибки, результат которых может быть поначалу незаметен. Грамматические и арифметические ошибки легко разглядеть и исправить красными чернилами. А как быть с теми ошибками? Где поставить точку, а где вопросительный знак?»

В какой-то рассеянности, машинально Сона Микаелян зашла в парикмахерскую. Давно не заглядывала. Но почему именно сегодня?..

— Вчера я была в парке,— сказала Сона Микаелян.— Недалеко от меня сидела пара. Между ними стоял магнитофон. Английская, кажется, звучала песня. Пара время от времени целовалась. Я наблюдала за ними примерно полчаса. За это время они не сказали друг другу ни слова — за них говорил магнитофон. И целовались они как-то лениво...

Мамян рассмеялся:

— Магнитофонная любовь? Вы, видимо, хотите сказать, что изменился химический состав человека? Не знаю. Мне, например, кажется, что такие ленивые души были во все времена. И в семнадцатом веке не все были Ромео и Джульетты...

Они возвращались из школы домой. И обоим домой не хотелось. Сону мучили сомнения — то ли разыскивать Мари, то ли нет. Посоветоваться с Мамяном? Он, конечно, обрадуется, скажет — непременно. А если на сей раз Мари не захочет ее слушать? Как перенести такое оскорбление?..

— У тебя на все находится оправдание. Завидую.

— Не оправдание, а объяснение...

Они вошли в кафе.

Кофе был горький и приятный.

— Ты умеешь гадать на кофейной гуще, Сона?

Она улыбнулась — странный Мамян человек. Он путает ее планы, отнимает у нее определенность, ясность, лишает ее резких, решительных выводов. Раньше она знала формулы жизненных явлений, сейчас во всем сомневается. Вчера Даниелян даже сострил: «Мамян, вы всех сделаете поэтами». — «А нельзя быть математиком и не быть при этом чуть-чуть поэтом,— сказал Мамян.— Это не мой афоризм. Так выразился один из ваших гениальных коллег, сейчас не припомню фамилии... Нам нельзя ошибаться. Мы, педагоги, как саперы — сапер только раз ошибается». Кто же этот человек? Все разговоры, разговоры — о школе, об учениках, о литературе, о химии, но есть же у него и какая-то личная жизнь.

— Ты большой специалист, Ваан, в вопросе любви. А сам когда-нибудь был влюблен?..

Сона знала, что живет он один. Разведен? Или, может быть, старый холостяк? Собственный вопрос неприятно резанул ее ухо— по какому праву лезет она в чужую душу?..

— В школе был страшно влюблен,— сказал Мамян,— лет сто назад. А потом... я, видимо, не представлял для девушек интереса. А после тридцати пяти сам стал их бояться. Отказ девушки в семнадцать лет если и переживается больно, то все равно это не страшнее, чем удаление аппендикса. А в зрелом возрасте раны не затягиваются.

— Прости,— растерялась Сона,— глупое женское любопытство.

Они выпили еще по чашечке кофе, тоскливо посмотрели на плескавшихся в бассейне перед кафе ребятишек, послушали их гвалт, обменялись еще кое-какими вопросами-ответами. («Куда поедешь в отпуск?» — «Не знаю. А ты?» — «Посмотрим».) О детях не говорили, потому что каждый думал именно о детях.

— Ты мне так и не погадала на кофе,— упрекнул ее Мамян, когда они уже встали.— А я в это гадание верю. Не смейся.

Расстались на остановке и отправились в разные концы города, где каждого из них ждало одиночество, именуемое личной жизнью.

— До завтра.

— До завтра.

«...А ОСТАЛЬНЫЕ?»

Саак Вануни положил в карман текст своей речи, которую, как всегда, написал Антонян. В речи было полно избитых слов, выражений. Наверно, нужно было попросить Мамяна написать. А может, лучше говорить без бумажки? Незадолго до того Саак Вануни подписал наконец приказ об исключении Армена Гарасеферяна из школы. На педсовете против проголосовали Мамян и — вот те на! — Даниелян. Говорить ничего не стал — просто проголосовал против, и все. А Мамян говорил долго — повторил то, что Вануни уже сто раз слышал в своем кабинете...

— Дорогие ребята,— начал Вануни, потом посмотрел на сидевших перед ним десятиклассников и осекся.— Ничего себе ребята...— В зале послышался шепот, смешки.— А как вас называть — товарищи? Юноши и девушки?..

— Леди и джентльмены,— подсказал кто-то из глубины зала, и зал весело рассмеялся.

Ванунн не видел, кто этот остряк. Ох уж эта речь, которую Ванунн повторяет из года в год. В предпоследнем ряду среди учащихся сидела Сона Микаелян. На педсовете она опять же не сказала ни слова. Кое с кем творится что-то неладное. До самого последнего времени педагогические советы для Ванунн были многократно разыгранной шахматной партией, в которой ходы не менялись. А теперь вот несколько человек придумали другое продолжение игры, делают неожиданные ходы, и Ванунн не может сообразить, как поступить дальше — сделать ход конем или протолкнуть вперед пешку. Мамян был почти понятен Ванунн — новый учитель хочет нравиться молодежи, а сам немножечко не от мира сего. А что с Даниеляном? Раньше всегда был ехидный, строгий, внутренне застегнутый на все пуговицы...

— Ну ладно,— нашел наконец Ванунн нить речи.— Вы уже взрослые люди, мы с вами беседуем десять лет, хотя и не всегда наша речь доходит до вашего сознания. Через два месяца вы окончите школу и, как говорится, вступите в жизнь. Это еще не выпускной вечер, просто я хочу кое-что сказать вам в напутствие. Вы знаете, что наша школа на хорошем счету в городе. Только из выпускников прошлого года двадцать восемь поступили в вузы. Вы, наверно, знаете своих старших товарищей по фамилиям, но не мешает еще раз напомнить.— Ванунн достал из левого кармана список и стал зачитывать, кто из выпускников в какой институт поступил. Упомянул даже Сатеник Вардумян, поступившую в торговый техникум.— А остальные? А остальные почти все работают на заводах, на строительстве, в разных учреждениях... Ты куда, Ваан Сароян?..

Ваан был уже возле дверей.

— У него свидание,— засмеялся кто-то.

— Куда ты, Ваан? — повторил директор.— Тебе не интересно?..

Ваан мгновение нерешительно помялся в дверях, потом сказал:

— Я... я, по-видимому, буду в числе, как вы выразились, «остальных». К тому же у меня в самом деле встреча. С Арменом, если вас интересует...

— Что, драку не закончили? — Голос Ванунн задрожал, но он удержался от следующей фразы: «Будь проклят учительский хлеб»,— произнес ее про себя и почувствовал неудержимое желание закурить.

— Другая будет драка, товарищ Вануни,— Ваан как-то грустно взглянул на зал.— И наверно, я опять буду побежден.— «Опять» прозвучало горько, а имя Армена сорвалось с его уст случайно — захотелось произнести самое неприятное для Вануни имя, и тут же возникла мысль, что надо бы в самом деле повидать Армена. О «другой» драке было известно одному Ваану, и никому больше.— Я просто так сказал о драке, товарищ Вануни. Но идти мне правда надо. Можно?

— Иди,— по-отечески мягко сказал Вануни.

Зал пошумел, посмеялся, пошептался и успокоился. Но все уже было нарушено — представление вышло за намеченные рамки. Вануни скомкал конец речи и передал слово учащимся, которые заверили всех, что они всю свою жизнь будут свято хранить честь школы имени Мовсеса Хоренаци.

— Я пойду на юридический,— сказал Ашот Канканян.

— Ну, конечно,— куда же еще идти Ашоту Правдивому? Взяток ты брать не будешь, это уж точно.

— Будет,— мрачно сказал Смбат Туманян.— Преступников на свободу выпустит, а невиновных посадит.

— Ну ты полегче...— Ашот почему-то побледнел.— Ври, да знай меру...

— А я тебе дам дельный совет,— вдруг сказал Смбат.— И ты знай меру, когда будешь взятки брать. Бери умеренно, чтоб подольше на должности удержаться.

— Хватит, ребята,— старшая пионервожатая Асмик Симонян попыталась усмирить нахохлившихся десятиклассников.— Такой прекрасный день, а вы тут... Как вам не стыдно...

— А я никуда поступать не собираюсь,— спокойно сказал Тигран Манукян.— Устал.

— Значит, ты в числе «а остальные»?

— Устал.

— Если б после школы сразу на пенсию!

Посмеялись, затихли.

«А остальные»... Саак Вануни произнес эти слова походя, невзначай, не вдумываясь в их тайную суть. А ведь и невооруженным глазом заметен заключенный в них сладковатый яд, особенно опасный для еще не

вполне зрелых душ. Значит, святые слова, десять лет витавшие в школьном воздухе,— всего лишь разноцветные воздушные шары, все эти разговоры о разных прекрасных жизненных дорогах — всего лишь побасенки, темы восторженных сочинений. Выходит, есть всего лишь один путь, чтобы сберечь честь школы, всего лишь один... если, конечно, прав Саак Вануни. Физик, генерал, писатель, архитектор — все это, конечно, великолепно. Но есть еще садовод, каменотес, пекарь, портной, почтальон... Разве не на них зиждется мир?.. Вануни на собрании выпускников прошлого года долго и от души представлял бывшего питомца школы, который стал начальником жилищного отдела райсовета и теперь торжественно восседал за столом президиума. А в то же время каменотес Санасар Сарьян, питомец той же школы, подпирал плечом стену где-то сзади. Нет-нет, и начальник жилищного отдела был совсем не плохим человеком, но... маленькая деталь: ведь он распределяет квартиры, построенные Санасаром Сарьяном! Конечно, могло бы так быть, чтобы Санасар Сарьян сидел в президиуме, но вот чтобы начальник жилищного отдела райсовета подпирал стену — такого быть не могло. Потому что есть у него для Саака Вануни имя, отчество, фамилия и номер телефона. А вот остальные — садовод, каменотес, пекарь, почтальон — этого не имеют...

— Я, наверно, в сельскохозяйственный пойду.

— Родился на асфальте и вдруг сельскохозяйственный?..

— А что? И тут дело найдется. Только нужно устроиться получше.

— А я в крайнем случае в физкультурный подамся.

— Ага — ты стометровку здорово пробегаешь.

— А я попытаюсь на экономический.

— А я в медицинский...

— А я на исторический. Потом кем угодно можно быть.

— Только не историком.

С шутками, шумом, остротами ребята выходят из дверей школы, и ни одному из них не приходит в голову расщепить ядро слов Саака Вануни «а остальные», потому что никто из них не представляет себя в безымянных рядах «остальных».

После невеселого торжества к Вануни подошел Мамян:

— Не подписывайте приказа об исключении Армена. Я настаиваю на этом. Повремените еще два дня.

— Я уже подписал.

— Ничего,— впервые допустил Мамян колкость,— не на мраморе же высечен приказ.

Вануни смотрел на стоявшего перед ним учителя ядовитым взглядом. Забыл ему предложить сесть, а тот, пока не предложишь, не сядет. Ну ничего, так даже лучше, пусть постоит. Кажется смирным, мягким человеком, а вот поди ж ты — «не на мраморе приказ».

— Лучше-ка займитесь классом. Хорошо, если каждый будет делать свое дело. Вы мне подотчетны, я — министру. Ведь и меня наверху по голове не гладят.

— Можно объяснить и министру.

— Во-первых, нужно еще к министру попасть, а во-вторых, нужно, чтобы он тебя выслушал.

— Если позволите, я сам попытаюсь увидеть его и поговорить.

Вануни искренне рассмеялся.

Мамян не мог и не хотел говорить, что Рубен Сафарян его одноклассник, они восемь лет вместе учились. Была еще одна причина, заставлявшая его повидать Рубена. Вчера встретил Манука — он строитель, работает в стройуправлении министерства. Дела у него были нехороши — заместитель министра по строительной части (Мамян еще не знал, что он двоюродный брат Соны Микаелян) стал всячески преследовать Манука, а Мануку все не удавалось попасть к Рубену и рассказать. Мамян давно не видел своего одноклассника — нужно непременно сходить, побеседовать, и о Мануке сказать, и об Армене.

— Ну что ж, попробуйте,— оборвав смех, сказал Вануни.— Вы плохо знаете Рубена Сафаряна.

«ВЗРЫВ»

«...Сиди, не вставай. Не гора к Магомету, а Магомет к горе. Можно тебя приветствовать? Видимо, новая секретарша еще не обучена порядкам. Представляешь, тут же соединила меня с тобой, как только услыхала, что звонит твой старый друг. Ты случайно не обижаешься, что я тебя на «ты» называю? По-моему, должен обижаться, если я начну называть тебя на «вы». Бывшая твоя секретарша была таким цербером! Когда ни позво-

нишь тебе, ты, бывало, либо очень занят, либо у тебя важное совещание, либо ты говоришь по другому телефону с кем-то сверху, либо встречаешься с избирателями. А в остальное время тебя для всех «нет у себя». Слушай, ты теперь, наверно, и впрямь редко бываешь «у себя»? А может, и не хочешь уже находиться с собой, у себя, напротив себя? Наверно, тебе приятнее быть только со своим сегодняшним «я», но нельзя ведь от себя избавиться. Внутри у тебя много всего разного, хочешь не хочешь. Знаю, ты теперь и в самом деле очень занятой человек. А я ни твой избиратель, ни звонок «сверху», я — один из тысячи подчиненных тебе учителей... Не хмурься, шучу. По какому я вопросу и чем ты можешь мне помочь? А ни по какому, ничего мне от тебя не нужно, не хмурься. Послушай, а не может быть такого, чтобы ты вдруг нуждался в моей помощи? Что ты усмехаешься? Можно взять сигарету? Забыл свои в приемной. Хорошие сигареты... Что ж, покурим, посмотрим друг на друга... Ну а теперь спрашивай, как мои дела — женился ли я. Ты, конечно, помнишь, что семьи у меня не было, ни одна девушка в меня так и не влюбилась. Спроси, где я живу, в старом ли доме. Полно вопросов, задай мне какой-нибудь, не жалей. Я сейчас уйду, не сиди как на иголках, расслабься, улыбнись по-дружески, произнеси одно из наших старых, добрых, наивных словечек... Ты удивишься, но у меня, клянусь, не было никакого желания к тебе идти. Просто мать замучила: сходи да сходи. Ты помнишь мою маму? Она какой-то дурной сон про тебя видела и покой потеряла. Раз пять звонила, чтоб голос твой услышать, но слышала только голос твоей секретарши. А в последний раз секретарша вежливо предупредила ее, что приемный день у товарища Сафаряна пятница, с двух до пяти. Поинтересовалась, мать учительница или родительница. Сказала, что записаться нужно заранее. А мама, сам знаешь, наивная верующая женщина, удивилась. «Какой такой Сафарян? Я Рубена прошу». И слова «записаться заранее» до нее, конечно, не дошли. «Я Рубена прошу,— говорит.— Приятеля моего сына. Хочу его голос услышать».— «Мамаша,— отвечает секретарша (мамашей назвала — и на том спасибо),— товарищ Сафарян в пяти школах учился, у него минимум три тысячи друзей-ровесников, и если все матери этих трех тысяч захотят услышать его голос... Теперь каждый хочет услышать голос товарища Сафа-

ряна...» Так она и сказала, и в этом, безусловно, много правды для меня, но не для моей матери. Одним словом, мать заставила, чтоб я с тобой повидался. Говорит, может, с другом твоим что-то стряслось, сон уж больно дурной... Не смейся... Знаю, в половине третьего у тебя важное совещание, не волнуйся, я сейчас уйду. Мать заставила передать тебе айвовое варенье. Вот, бери — мать до сих пор помнит, что ты его любишь. Своими руками варила...

Слушай, это ведь прекрасно, что есть люди, которые помнят, какое варенье мы любили двадцать лет назад. Смешно? А что тут смешного?.. Прости. Когда я уйду, можешь передать варенье секретарше — пусть пьет в перерыв чай с айвовым вареньем. Но это после — когда я уйду. Я вынужден был взять эту банку — мать настаивала, обиделась бы, если бы не взял... А теперь я перед матерью чист, как Христос,— передал. Я еще не научился обманывать мать. Говорят, теперь обман в порядке вещей, но я до сих пор не научился — тупой, наверно... Дела у меня... да как сказать, вроде бы в порядке. Работаю, с твоего благословения, в новой школе. Преподаю, как ты знаешь, язык и литературу. Они смеются над Терьяном, Петроса Дурьяна называют деревенщиной, спрашивают, нет ли среди армянских писателей какого-нибудь хиппи? Послушай, они хохочут над Терьяном! Тебе не страшно?.. Не смотри на часы. У меня столько времени, что я в этом смысле миллионер. Могу и тебе одолжить. Без процентов. Взаимообразно. Сколько хочешь. У меня очень много времени. Вчера в это самое время Нвард Паронян плакала в учительской. Это наша с тобой учительница. Позвонила, позвала меня, я пошел. Она написала тебе на днях письмо. Не сказала, что было в том письме. Твой управделами зарегистрировал его. Это человек с холодными стеклянными глазами — я его недавно видел, сразу догадался, что он. Мне показалось — он один из телефонов на собственном столе и на нем можно набрать номер, любой, кроме «скорой помощи». Он-то, этот стеклянный человек, и принял старую учительницу. Вежливо сказал ей, что ты очень занят и сам принять ее не можешь. Возьми мое время и тогда сможешь выслушать свою старую учительницу. Выслушай — ты знаешь, нелегко учительнице просить что-либо у своего бывшего ученика. Я ей скажу, что ты ее примешь? А?.. Видно будет? Смотри не смотри на часы, а я

еще немножко посижу. Предположим, сейчас ты совещаешься со мной. А ты хоть с кем-нибудь, в самом деле, совещаешься? Или теперь уже все только с тобой совещаются? А почему ты не пришел на похороны отца Арама? Год назад ты еще пришел бы, а теперь вот... Помнишь дядю Партева? Он однажды вместо твоего отца в школу пришел. Мы с тобой галоши товарища Шушаняна прибили к полу, и тот как растянулся... Дядя Партев умер. Ты не знал? Видишь ли, с тобой не согласовали, умирать ему или не умирать. Не скисай — можешь ответить мне острым, язвительным или просто грубым словцом... А дядю Партева мы похоронили что надо. Весь класс был, вся школа. Я тут же сочинил, что ты поехал по своим министерским делам в Камбоджу или Лаос, и все сразу так поверили в это, что я и сам усомнился — может, тебя в самом деле нет в городе? Но на другой день Сурен видел тебя в театре, позвонил мне, но я с ходу продолжил ложь — мол, ты приехал именно в тот день и прямо из аэропорта направился в театр, работа того требовала. Бедный Сурен даже пожалел тебя. «Это тоже,— говорит,— не жизнь, когда в театр ходят как на работу».

Мы долго были на кладбище. Когда умирает отец кого-нибудь из ребят нашего класса, я каждый раз чувствую себя еще сиротливее. Дядя Партев оставался последним живым отцом, и с его смертью мы полностью осиротели. Скажи, а ты теперь грустишь хоть когда-нибуд? Какая-то незнакомая улыбка появилась на твоем лице — анонимная, безадресная, расплывчатая. Когда тебе было грустно в последний раз? Мне кажется, если сейчас я тебе скажу, что у меня вчера умерла мать, ты будешь смотреть на меня все с той же улыбкой. Ты, наверно, и не слышишь, что я говорю,— привык, что здесь слушают только тебя. Ну а если слушаешь ты — это, конечно, большая жертва. Не хмурься — я пришел сказать тебе такое, что ты не привык слышать. Знаю, что в следующий раз секретарша не соединит меня с тобой и ты не будешь вынужден сказать: «Хорошо, приходи». Так что я не уйду, пока не выскажу всего. Считай, что это последнее слово обвиняемого — его и в суде не прерывают. Ты ведь не выгонишь меня? Я старый болтливый человек, все мы постарели — пора... Меня в прежней школе представили к званию заслуженного учителя. Подлая шутка, правда? Я ведь всю жизнь был у всех

бельмом на глазу. Думаю, что это звание мне не присвоят, но... Чем черт не шутит. А если все-таки присвоят, мы с ребятами соберемся у меня. Придешь? Сам составь список, кого приглашать, а то, может быть, кто-нибудь из наших тебе теперь не по душе — ты уж выкладывай, не стесняйся. Только не перепоручай составление списка своему управделами. А то боюсь, что он меня самого не включит в список... А вот теперь это твой прежний смех, хорошо, что не разучился. Не стесняйся секретарши, она мне показалась вполне нормальной женщиной, вежливо поздоровалась, сказала, что ее сын учится в нашей школе. Может быть, поэтому она меня соединила с тобой без проволочки? Да нет, шучу. Я ведь просто сказал по телефону, что звонит твой старый друг. Поверила. И справки не потребовала. Ни справки, ни характеристики. Поверила слову человека. Вера... Почти вышедшее из употребления слово. Я тебя об одной мелочи прошу, Рубен: позвони моей матери прямо сейчас — хочешь, я сам наберу номер телефона? — и скажи, что все у тебя хорошо и что айвовое варенье тебе понравилось. А потом можешь отдать его секретарше или выбросить. Скажи матери что-нибудь доброе, а? Потом позвонишь? Ну ладно, я пошутил, морочу тебе голову, а твоя голова так нужна всем школам Армении. Моя же голова никому не нужна. Что в ней? Разве что весело-грустный звон минувшего, ветошь воспоминаний да разные сантименты... А если хочешь знать правду, я пришел к тебе ради нашего Манука. Ты что напрягся? Его оклеветали, а ты зелеными чернилами подмахнул на бумаге: «Проверить, разобраться». Ты, выходит, будешь проверять Манука через посредство других людей? Что же ты его не вызвал — он бы сам тебе все выложил. Если он что-нибудь темное только замышлял, не сделал, и то бы тебе поведал. А ты восседал, как Будда, читал его письмо (да и то, наверно, только первые несколько строк) и тут же наложил зелеными чернилами резолюцию. Слушай, а почему ты побоялся сказать заместителю, что знаешь Манука, веришь ему и не веришь клеветнику?.. Кстати, когда ты видел Манука в последний раз? Я встретил его в воскресенье. Он был под хмельком, даже покачивался. Просто поздоровались и прошли мимо, он был с незнакомым мне человеком. Мне, по правде говоря, хотелось в тот вечер побыть одному, мне не хотелось, чтобы он рассказывал о своих неприятностях и, конечно, ругал

тебя. Я просто-напросто постарался избежать этого. Но вскоре мы опять встретились, на сей раз он был один. Я тут же сказал, что давно тебя не видел. Он по-детски улыбнулся: «И ты сделался дипломатом?» Я готов был провалиться сквозь землю, и мы вволю и со злостью наговорились о тебе. Потом стало грустно за тебя, за наше детство, веселое и горькое, оставленное за семью горами... Я тебе никогда до сих пор не рассказывал, как мы ходили покупать гроб для твоего отца. Втроем: Манук, Армен и я.

Слушай, а ты сидел когда-нибудь возле пустого гроба? Это подавляет не меньше, чем когда в гробу покойник. Ведь когда гроб пустой, в нем может быть кто угодно, и ты сам в том числе... Да, чего только не придет в голову... Манук положил гроб себе на колени, потому что в машине сильно трясло. Сколько лет прошло, а я ту картину как сейчас помню. Может, ты думаешь, Манук знал, что ты в будущем станешь его начальником, оттого и старался? А ведь ты уже начал верить только подписанным и скрепленным печатью бумажкам и потому не смотришь людям в глаза — в них нет ни подписи, ни печати. Прости... Эх, Рубен, Рубен, а помнишь, как мы ночью читали «Манон Леско»? Какая прекрасная была ночь, помнишь? На лбу у тебя выступили морщины, стареешь. Во взгляде — заботы. А руки ты все время прячешь под стол — давняя привычка. Помнишь, раньше, когда ты злился и сдерживался, пальцы у тебя чуть-чуть дрожали. Теперь тебе сдерживаться приходится чаще, так что, наверно, пальцы дрожат сильнее. Слушай, встань, отложи свое важное совещание, пройдемся по улице, выпьем пивка, потом зайдем к нам, проведаешь мою мать — она за тебя волнуется, дурной сон видала, а какой ты теперь занимаешь пост, об этом она и понятия не имеет. Для нее самый высочайший пост — это быть другом ее сына... Давай станем на несколько часов опять мальчишками — смейся, дразни меня, рассказывай анекдоты... А знаешь, скажу уж тебе и это, Манук сейчас внизу. Хочет, чтобы ты знал, что он на тебя не в обиде. Думает — то, что ты сделал, сделал вынужденно и теперь сам мучаешься. Пошли обманем Манука, скажем — так оно и есть. Он обрадуется и еще тебя утешать начнет. А четыре дня назад у Манука дочка родилась. Опять дочка. Давай пойдем разыщем одноклассников, кого сможем, сядем где-нибудь в тихом уголке, наговоримся

вдосталь, посмеемся, погрустим. Старые приятели тем и хороши, что возвращают нас к прошлому, когда жили мы одними радостями и горестями, не было ни у кого ни имени, ни поста. Не можешь пойти со мной? И без того я у тебя отнял уйму времени? Ну ладно, ладно. Ладно, говорю... Матери моей не звони, она умерла двадцать первого февраля. А айвовое варенье в самом деле просила тебе передать. И в самом деле незадолго до ее смерти ты приснился ей в дурном сне, и она за тебя беспокоилась. Помнишь, месяц назад тебе позвонил Манук? Ты сказал, что у тебя нет времени, пусть обратится к заместителю. А Манук как раз позвонил тебе, чтобы сообщить о смерти моей матери... Ну, я пошел...

— Простите, товарищ Мамян, но товарищ Сафарян не может вас принять...

Секретарша, уже пожилая женщина, покраснела при этих словах, как девчонка. Мамян просидел в приемной министра два часа, и вот...

— Его вызвали по важному делу. Он вышел через другую дверь. Позвоните в понедельник, я вас соединю.

Мамян вышел на улицу, в душе его было много слов, не высказанных старому приятелю, а в портфеле лежала банка айвового варенья, которую мать велела передать Рубену.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Класс писал сочинение по стихотворению Егише Чаренца «Видение смерти». И вдруг Мамяна срочно вызвали в учительскую.

— Не знаешь, откуда списать,— простонал Ашот Канканян.— В книге ничего про это видение нет. И откуда он выискал?

— Потрясающее стихотворение,— сказал Ваан.— Я раньше не читал.

Ашот встал и подошел к учительскому столу, где лежала папка с бумагами Мамяна.

— У него что-нибудь должно быть,— пробормотал он.— Возьму спишу. Вот удивится.— И он начал рыться в бумагах.— Ого, письмо! — Пробежал глазами несколько строк.— Ребята, сенсация! Мамян влюблен! Прочесть?..

И не успел класс опомниться, начал читать:

— «Дорогая, мы все время говорим о разном, но главное я тебе не высказал. В моем возрасте уже трудно объясняться в любви...»

— Подлая скотина! — заорал Ваан.— Положи письмо на место!

— Почему? — Ашот сгорал от любопытства.— Ты можешь выйти. «Дорогая, может быть, я и не осмелюсь передать тебе это письмо...»

Ваан и еще несколько ребят сорвались с места. И в следующее мгновение листки разлетелись: один уже находился в руках Ваана, другой упал на пол. Смбат поднял его, взглянул:

— Это не его почерк.— Любопытство победило, он прочел несколько строк, нахмурился и передал листок Ваану.— Взгляни-ка.

Ваан прочел и вдруг побледнел. И повернулся лицом к классу:

— Все на минуту выйдите из класса. Останутся Смбат, Тигран и Сет. И ты, Ашот.— И процедил сквозь зубы: — Ашот Правдивый...

Класс послушно вышел.

— Если Мамян вернется, займите его чем-нибудь несколько минут, умоляю...

Ребята были в растерянности: что могло произойти? И почему кое-кто из ребят остался? Из класса послышался какой-то шум. Лусик попыталась заглянуть туда, но дверь оказалась заперта изнутри.

...Минут через десять дверь широко распахнулась, и изумленному взору десятиклассников открылась такая картина: на стуле перед доской сидел Ашот Канканян. Он был связан поясами и сидел понурив голову. А ребята стояли возле него молчаливые, бледные, словно почетный караул над усопшим. На доске мелом было написано: «Ашот Канканян предал своих товарищей. С этого начинается и измена Родине». Под этой надписью была булавкой приколота к доске анонимка, посланная директору.

Класс молча сел.

Стояла тяжелая, беспощадная тишина. И в эту тишину неожиданно вошел Мамян. Взглянул на связанного

Ашота, на класс, прочел то, что было написано на ... и замер у дверей.

— Это я сделал,— сказал Ваан.— Можете меня наказать.

Вступились другие:

— Мы все вместе это сделали.

Мамян в задумчивости прошелся взад-вперед по классу, потом неожиданно достал из кармана пачку сигарет, закурил.

— Я подозревал, что анонимка написана Ашотом Канканяном,— сказал он вполголоса.— Это подлый поступок, и... в самом деле, с этого может начаться измена Родине... Я сравнил почерк и убедился в том, что анонимку написал Ашот Канканян.

— Знали и рассказывали нам сказки? — выкрикнул Смбат. И в голосе его были язвительность и натиск.

— И впредь буду рассказывать сказки,— Мамян говорил мягко, но с горечью.— Развяжи его, Ваан. И сотрите с доски написанное. Иногда и правду нужно стирать...

Ваан подошел к доске и начал стирать написанное спокойно, но медленно — букву за буквой. Потом, опять-таки не спеша, развязал на Ашоте пояса. А в глазах его была такая печаль, что Мамян отвел взгляд.

— Садись на последнюю парту, Ашот.

— Я буду жаловаться,— пробормотал Ашот.— Что, суд Линча? Это вам не Америка! Я буду жаловаться, а написал я правду!..

Мамян повернулся к Ашоту:

— Это ведь ты написал в сочинении, что хочешь стать министром или первым секретарем райкома? — И сам ответил: — Да, это ты написал... Где работает твой отец?..

— В райкоме,— ответил тут же Ашот.— И отец примет меры...

— Кем он работает?

— Заместителем заведующего отделом,— так же не задумываясь, ответил Ашот.

— А давно он работает в райкоме?

— Двенадцать лет.

— И все двенадцать лет заместителем?..

— Потому что он честный человек!

— И наверно, все двенадцать лет он вам рассказывает, какими привилегиями пользуется первый секре-

тарь. А о его бессонных ночах, о его заботах, конечно, не говорит...

— Не касайтесь моего отца! — истерично выкрикнул Ашот.

Мамян положил письмо в папку, и взгляд его задержался на каком-то листке.

— Тут лежат и другие бумаги,— сказал он.— Хочу надеяться, что вы их не читали.

— Не читали,— подтвердил Ваан.

— Не читали,— мрачно повторил класс.

— Ну, продолжайте писать о «Видении смерти»,— сказал Мамян.— Наверно, и перемену придется занять.

А кому написал письмо учитель? Об этом подумал Ваан, все об этом подумали. Каким-то чудодейственным образом Ваан Мамян сделался их единомышленником, союзником, почти одноклассником. Как это случилось?..

— И одна просьба,— Мамян обвел взором класс.— Постараемся забыть о поступке Ашота. Пусть он сам себя накажет. Если, конечно, сумеет и найдет в себе силы.— Улыбнулся.— Жил во Франции чудесный человек, летчик и писатель Антуан де Сент-Экзюпери. Ему принадлежат замечательные слова: храм построен из камня, но храм собою как-то облагораживает камень. Камень становится камнем храма.— Помолчал.— Да, камнем храма. Так и дружба. Товарищем, другом можно быть в каком-то большом, важном деле. А просто так — этому цена другая... Уж простите, я вам снова рассказываю сказки...

«Армен...— вдруг пронзило как молнией мозг Ваана.— Ведь для него сейчас решается очень важное. А я бросил его в трудную минуту — видите ли, обиделся».

Нужно найти Армена сейчас, сию же минуту, хоть из-под земли. Не страшно, если эта встреча опять закончится ссорой или дракой.

— Я хочу выйти,— сказал Ваан Мамяну.— Сочинение закончу дома, завтра принесу.

— Иди,— спокойно сказал Мамян,— если такое срочное дело.

Ваан не вышел — выбежал из класса.

— Вы меня неверно поняли насчет сказок,— пробормотал Смбат.

— Верно понял,— улыбнулся Мамян.— И учитель порой нуждается, чтобы ему преподали урок... Ну, продолжайте писать сочинение...

Мари ответила Мамяну по телефону, что встретиться нет возможности. «Днем я работаю, вечером в школе». Мамян растерялся — его задел ледяной тон семнадцатилетней девчонки. «Я тебе позвоню в субботу или в воскресенье. Где ты работаешь?» — «В редакции. Замещаю машинистку».— «Ну так я тебе позвоню».— «Я и по воскресеньям работаю».— «В какой редакции?» Она назвала. И тут же пожалела: «Зачем я сказала? Хоть бы провалилась школа имени Мовсеса Хоренаци!» И швырнула трубку.

Армен не притронулся к еде.

Сестра, Наринэ, примеряла перед зеркалом новые джинсы — вовсю выламывалась. «Тетя прислала. Настоящий «левис». Ты от зависти помираешь, знаю».

Армен растянулся на диване. Скоро отец придет, начнутся расспросы. И как быть с такой физиономией — все на ней отражается, ничего не скроешь. Как им всем объяснишь, за что его исключили из школы? Ведь пилить будут, и еще как!

Повесить бы на спину Сааку Вануни табличку: «Развалина. Охраняется государством...»

Кто же все-таки написал письмо?

На телефонные звонки он не отвечает, вот уже три дня избегает ребят. А домашние и рады, говорят всем в дверях: «Его нет дома...»

Значит, от тети посылка? А интересно, фломастеры она послала? Он ее просил.

— Отец пришел, вставай,— заглянув в комнату, сказала мать.

Нехотя, вяло поднялся, уселся перед телевизором, передавали «Новости дня».

— Знаешь, Наринэ, меня исключили из школы...

Сестра в тревоге приблизилась к нему. Он ей все рассказал. Ведь должен же хоть кто-то знать все как было. Мари шутила, играла, и вдруг... Ваан ее любит, Армен это знает. И не только Армен — Мари тоже это знает. А вот взяла — и расстегнула платье... Сколько это длилось секунд? Ох уж эта Сона Микаелян! Да нет, это хорошо, что она тут же вошла. Ваан — его лучший друг,

а вот подрались. Мари была такая странная, в каком-то экстазе танцевала — будто не в себе.

Наринэ выключила телевизор, прикрыла дверь.

— Вот тебе и Мари! Везде одно и то же, я же говорила. Убедился, какая ваша Мари...

— Да ни в чем я не убедился. Ты ее не знаешь. Впрочем, я и сам ее не знаю.

— Теперь новое поколение везде одинаковое — и в Австралии, и в Армении. Хотела вам понравиться. Кто знает, что у нее было в мыслях... Ладно, плюнь, Армен.

— Оставить Армению? Уехать?

— Армения у всех у нас внутри. Знаю, что буду скучать. Впрочем, везде есть армяне.

— Ты мне противна, Наринэ.

— А твоя Мари? Она тебе не противна?

— Мне все противно.

— Австралия! Представляешь, Армен, Тихий океан, Сидней. Знаешь, какая богатая страна? Двенадцать месяцев в году купайся, загорай... Хочешь, я тебе джинсы отдам?

Армен, чуть не плача, смотрел на сестру, которая была ему очень дорога. Боже, как они отдалились друг от друга! Еще одна ниточка оборвалась — теплая, чистая... Ладно, к черту все! В Ереване, помимо школы Мовсеса Хоренаци, есть еще двести школ, так что он не пропадет... А Мари — загадка, нужно ее разгадать. Но сперва следует узнать, кто писал письмо. Перед тем как уйти из школы, он убьет его. «И попаду в тюрьму»,— тут же родилась в мозгу следующая фраза. Значит, не уедет. Горькое утешение.

— Пошли в кино,— сказала Наринэ.— Французский фильм. Развеешься. Отцу не собираешься говорить?

— Не знаю.

— Так пошли?

— Мне нужно подумать. Хочу увидеть Мари.

Раздался телефонный звонок.

— Ваан? — Наринэ вопросительно посмотрела на брата.— Здравствуй, Ваан, это Наринэ. Армен? Он спит, плохо себя чувствует. Голова болит. Хочешь с ним встретиться? Ну я ему скажу, когда проснется.

Наринэ опустила трубку на рычаг.

— Почему ты его избегаешь?

— Я всех избегаю. А с Вааном мы подрались, так что, можно сказать, враги.

Наринэ взглянула на брата с сомнением. Взглянула глазами старшей сестры. Как-никак три года разницы, это что-то да значит. Армен еще ребенок, большой ребенок.

Опять звонок.

— Мари?

Армен вскочил с места.

— Мари?

— Мы должны встретиться, Армен. Это письмо написал Ашот Правдивый. Класс его судил. А Мамян сказал: правильно сделали.

— Откуда знаешь?

— Ваан сказал. Он тебя ищет.

— Я хочу поговорить с тобой, Мари.

— Приходи ко мне в школу, если хочешь. Это в здании школы Шаумяна. Уроки кончаются в десять.

— Говоришь, Ашот написал? Я его прикончу.

— Наш класс с ним уже расправился.

— Ладно, я к десяти приду.

Армен вдруг припомнил, что в кабинете Вануни Ашот вел себя тише воды ниже травы — не отрицал ничего и ничего не утверждал. Вот скотина!

— Я ухожу, Наринэ.

— Вы ведь в десять договорились.

— Хочу побродить по улицам. Все улицы выучить назубок, каждый камень... Там спросят — расскажу. Знаю, что будут спрашивать.

«В милом братике началась ломка,— подумала Наринэ.— Значит, поедет...»

НАДПИСЬ НА ДОСКЕ

На доске было что-то написано. Даниелян сперва не обратил внимания, потом вдруг прочел: «Может быть, вы сделаете себе из той глины сердце, учитель». Даниеляна как громом поразило. Дело в том, что на прошлом уроке он, злой, в ярости бросил, процедил сквозь зубы. «Вы еще глина, я из вас могу вылепить что угодно». А на перемене они ему, значит, приготовили ответ?

— Стереть?..

Кто это сказал? Голос был женский. Перечел еще раз, и эти написанные мелом слова причинили ему невыразимую боль. Показалось, кто-то режет его тупым но-

жом. Класс притих, и эта тишина напоминала тишину операционной. Воспитание Мамяна приносит свои плоды: они учатся мыслить, вместо того чтобы учить предмет. Но почему ему не хочется ни кричать, ни выяснять, кто это написал? И почему он так беспомощно опустился на стул?

— Идите домой,— он постарался, чтобы голос его не дрожал.— Вы свободны.

Последним вышел Ашот Канканян. Ашот что-то, может быть, хочет ему сказать?

— Иди, Ашот.

Остался один в опустевшем классе. «Прежде всего сделайте себе сердце, учитель». Учитель... Не забыли упомянуть обращение, наглецы. И вместе с тем это слово наполнило его сердце каким-то мягким трепетом. Такого удара он еще не получал за двадцать шесть лет своей работы. Да, каждый из них уравнение с десятью неизвестными. И каждый — особое уравнение, и у каждого — свои особые неизвестные. А дома у него сын законченный тунеядец. «Кого мы растим? — услышал он голос Мамяна.— В лучшем случае разумных существ, которые могли бы завтра управлять машинами, производить машины? Неужели это и есть наш долг?» Что же делать? Как сохранить достоинство учителя? Предположим, выяснится, кто написал. Кто-то же ведь водил мелом по доске! Один из двадцати восьми. И ведь никто не схватил наглеца за руку, никто не остановил, никто не стер написанное. И он отчетливо представил себе собирательную руку класса, выводящую слова на черном поле доски. Вот уже три года он добросовестно обучает их алгебре, геометрии. Век изменился — дирижером всего сделался мозг. «Я говорю, что придет голод духа...» Мамян задал ученикам выучить наизусть это стихотворение Исаакяна. Вануни по этому поводу целый час на педсовете разглагольствовал — мол, в программе нет, а программу, между прочим, составляют люди поумнее нас с вами. Вы обучаете детей пессимизму! Мамян не согласился: «Всю программу я с ними прошел». А не продукт ли этого самого духовного голода его собственный любимый сынок? «Я не буду надрываться за сто пятьдесят рублей,— говорит.— Этих денег хватит всего на неделю. Я продам свои мозги подороже». А сам он, Мартын Даниелян, только проработав двадцать лет, стал получать двести рублей. Значит, дешевые, что ли, у него

мозги и можно их продать в магазине уцененных товаров?

— Товарищ Даниелян...

В полуоткрытую дверь он увидел лицо Ашота Канканяна, одного из двадцати восьми.

— Убирайся! — вдруг выкрикнул он от бессилия, боли, обиды.— Чтоб духа твоего не было!

В коридоре послышались испуганные, удаляющиеся шаги ученика. Шаги одного из двадцати восьми.

ОТЧАЯНИЕ

— И вы, будучи педагогом, не дали отпор инициаторам суда Линча? В какой мы живем стране?..

Отец Ашота, Хачик Канканян, ровно сорок пять минут заставил Мамяна прождать в коридоре райкома. Мамян был напряжен. В последнее время он сделался нервным, маялся бессонницей.

— В какой школе вы работали раньше?

Хачик Канканян словно бы допрашивал учителя своего сына. Его тщательно выбритое лицо можно было хоть сейчас вставлять в овальную рамку. Кто посмотрит, скажет,— добрый, умный, уверенный в себе человек, деловой.

— Эта школа в вашем районе. Мы не сработались с директором.

— Поинтересуемся. Проверим. Вы коммунист?

— Да. То есть нет.— И вдруг вырвался дурацкий вопрос.— А вы?

«Он ненормальный,— подумал Канканян.— Или наглец. Может, насмехается?»

— Извините,— сказал Мамян,— я просто не сообразил. Как вы можете не быть коммунистом на этой работе. Вернее, членом партии. Но ведь коммунистами могут быть и не члены партии. Вы не находите?

«Ненормальный»,— заключил Канканян.

— С вами, видимо, нужно говорить на другом языке.

— На каком? Я знаю еще русский и немножко французский.

— На партийном языке,— отрезал Канканян.— Этим языком я владею. Ясно?

— Я могу идти?

— Пойдете, когда вам скажут.

— Кто... скажут?

— А кто вас сюда вызвал, товарищ Мамян?

— Вы — отец моего ученика. Вы сами и должны были прийти в школу.

— Демагогия! Но у нас есть средства и против нее.

— Демагогия — греческое слово. Оно означает...

— Мы знаем, что оно означает.

— Совсем в духе русских царей: мы, Николай Второй...

— Ах,— выдохнул Канканян вполне неподдельно,— попались бы вы мне, будь у вас партбилет...

Мамян встал, решив тут же направиться в школу и подать заявление об уходе... Может быть, заняться переводами?.. В армии — почему это вдруг пришло на память? — был у них молодой лейтенант с четырехклассным образованием. А во взводе попадались парни, окончившие университет. Когда кто-либо совершал проступок, лейтенант вызывал его, закуривал и вел долгую беседу. Пепла почему-то не стряхивал, и получалась пепельная пулька. Как это у него выходило? Чудак был человек. «Сперва,— говорил,— был первобытнообщинный строй. Верно? А потом?» — «Потом рабовладельческий».— «Верно. Потом феодальный, капиталистический, а теперь?.. Теперь мы коммунизм строим, а ты, товарищ гвардии рядовой, не каждый день сапоги чистишь... Эх, интеллигенция, интеллигенция...»

Почему он вдруг вспомнил того лейтенанта? Нет тут никакой связи с Канканяном, лейтенант был добрым, храбрым парнем. Просто он закончил всего четыре класса, а ему подчинялись ребята с университетским дипломом. Вот и все.

— Не вызывайте меня больше. Я не приду. По всем вопросам, касающимся вашего сына, являйтесь в школу сами.

— Еще как придете, товарищ Мамян,— Канканян усмехнулся.— Простите, у меня не курят.

— Извините,— Мамян нервно сжимал между пальцами сигарету.

— Как вы думаете, Ашот курит?

— Не знаю. Не видел.

— Я ему уши надеру!..— Засмеялся.— И надеру-таки! Не верите?

«Я хочу поговорить с тобой, Мари...»

«У вас семьдесят учеников,— резко оборвала ее

Мари.— Семьдесят! А я даже не из числа ваших бывших питомцев. О чем нам говорить?» — и повесила трубку.

Волнение перехватило горло. Соне Микаелян хотелось плакать. Зачем она унизилась? И перед кем? Перед распущенной девчонкой! Микробы... В них кишмя кишат микробы, основные же элементы либо отсутствуют, либо неузнаваемо изменены. Как это случилось? И как мы это проглядели? Мамян был сегодня в очень подавленном настроении. Сказал, уж доработает до конца учебного года, поскольку выпускные экзамены через месяц, и уйдет. Что с ним происходит? Ведь у него были планы на сто лет вперед и вдруг... Да, чужая душа потемки. Хоть бы уж Вануни на сей раз дали заслуженного. Успокоится и освободит кресло. Придет другой, и что-нибудь да изменится. А что именно?

«Я ГОВОРЮ, ЧТО ПРИДЕТ ГОЛОД ДУХА»

Те несколько сот квадратных метров неба, под которыми расположилась школа имени Мовсеса Хоренаци, постепенно затянулись мрачными тучами, предвещающими то ли град, то ли дождь вперемежку со снегом.

Сона Микаелян вся была в уроках, в своих химических опытах и на другие темы ни с кем, даже с Мамяном, не говорила.

Мамяна порядком расстроил и встревожил, во-первых, разговор с отцом Ашота, а во-вторых, сообщение Ваана о том, что семья Армена собирается уехать за границу.

Даниелян сделался еще жестче. Вел себя с десятым «Б» холодно и вежливо. Иногда в учительской играл с Мамяном в шахматы и на шахматной доске был к противнику беспощаден.

Антонян ходил обиженный, поскольку никто его мнения не спрашивал, и он не знал, что делать со своим мнением.

Вануни заставил повесить приказ об исключении Армена из школы в учительской, на виду у всех, отправил копии приказа в роно и министерство и был крайне взвинчен.

И вдруг снова звонок из министерства: «Вы, кажется, в самом деле входите в историю. Месяц назад стрип-

тиз, теперь вот суд Линча. В райкоме крайне обеспокоены».

«Я не могу весь класс исключить из школы. К тому же, сами понимаете, анонимные письма...»

«Осуждаются? Да, разумеется. Но одновременно и проверяются факты. А в том письме, кстати, была только правда. Не так ли?..»

«Ну это еще как посмотреть. Я не вправе усомниться в рассказе единственной свидетельницы события, прекрасного педагога...»

«Однако ученик — Ашот Канканян, кажется, сообщил другое. А письмо его с резолюцией министра вывешивается почему-то у вас на черной доске».

«У нас нет досок другого цвета. Другим школам вы дали коричневые, а нам нет».

«Ого, вы даже при таком положении вещей не утрачиваете чувства юмора. Похвально. Кстати, Вануни, вопрос присуждения вам звания откладывается. Видимо, до будущего года. Многие были представлены, кое-кого пришлось пока сократить. Ничего, вам только шестьдесят восемь, и вы, как говорится, в расцвете сил. У вас все впереди».

«Да, у меня много времени».

«А этого дела с судом Линча не оставляйте. Преподавателя — как его фамилия, Мамян то ли Папян? — нужно прижать к стенке».

«Вы мне его прислали, вот вы и прижимайте».

«Ну зачем же так? Я постараюсь, чтобы этот вопрос не был вынесен на коллегию, но, в общем-то, главное зависит от вас. Как говорится, все в ваших руках: и камень и орех».

«Ага. Только мы орех, а вы камень... Ну ладно, соберемся, обсудим. Спасибо за указания».

«Вы же знаете, как хорошо я к вам лично отношусь...»

Вануни, хмурый, злой, повесил трубку. Нет, Вануни, конец у тебя, видно, бесславный. Ты все еще думаешь о звании? Что же делать, что же делать? Закурить, наверно, для начала.

Вануни был подобен термосу: радость или огорчение, злость или умиротворение сохранялись в нем двадцать четыре часа, и только потом настроение мало-помалу менялось.

Беседа с историком из министерства не помешала ему участвовать в литературном вечере, организованном де-

сятым «Б». Как они здорово декламируют! Театр, а не школа. Настроение его было несколько омрачено выступлением Ваана Сарояна — тот прочел стихотворение «Я говорю, что придет голод духа». «Ведь на педсовете было долго и нудно говорено, что нечего прививать школьникам пессимизм. И вот на тебе! Что нашел Мамян — будь он неладен — в этих строчках?»

— Ваан сам выбрал,— сказал Мамян,— я не вмешивался. Но должен сказать, прекрасные стихи. Я поручил ребятам выучить наизусть то, что их наиболее взволнует.

Вечер утешил Мамяна, и он не без грусти подумал о том, что ему придется оставить эту школу.

После вечера остались поиграть с Даниеляном в шахматы.

— Наверно, я уйду,— сделав несколько ходов, сказал Мамян.

— Куда? — не понял Даниелян.— У тебя королева под угрозой.

— Домой, куда же еще. Вряд ли меня примут в другую школу. И устал я от всего этого.

Даниелян растерянно посмотрел на сидящего перед ним человека. Этот вечер — такой блеск, и вдруг — уйду. Мамян вкратце рассказал о вызове в райком и о намеках Вануни на то, что в будущем году часы, отведенные на литературу, предстоит сократить.

— Не рано ли ты сдаешь оружие?

— Да вот никак не защитить королеву.

— Я говорю о твоем уходе из школы. Выбрось из головы. Наконец-то одним педагогом-мужчиной больше стало.— Даниелян не сказал о том, что Мамян ему лично симпатичен и что во всех его странностях есть нечто привлекательное даже для такого сухаря, как он.— Не спеши, будет и на нашей улице праздник.

Рассказал о своем сынке. Теперь, видите ли, надумал жениться. «На что ты будешь содержать жену, а через девять месяцев и ребенка?» — «А ты что, уходишь с работы?» Пошел упросил, чтобы взяли сына в Комитет Спюрка [1]. Там знакомый есть, обещал. «Спюрк! Так это же бесконечные гости! Бегай с утра до вечера... Покажите нам Арарат, повезите в Эчмиадзин свечи зажечь!

---

[1] Спюрк — комитет по связям с зарубежными армянами.

О, рукописи Матенадарана!.. Нет, папаша, не для того я учился пятнадцать лет. Привлекательна, конечно, перспектива съездить за границу, но это еще вилами на воде писано». В школе Даниелян был верным стражем строгости и порядка, а дома вот не получалось. Жена каждый раз кидалась на амбразуру его пулемета, защищая сыночка своим телом: «У тебя один-единственный сын, и не можешь с ним ладить. Каждый день скандалы. Ты должен найти к нему подход!»

— Повезло тебе, что до сих пор не женат,— вырвалось с горечью у Даниеляна.

— Повезло ли? — вздохнул Мамян.— Приходишь домой, и даже поругаться не с кем.

— И то правда,— утешился Даниелян.— Шах!

«Я УЖЕ ПОСТАРЕЛА, МАМА...»

Зашли в кафе. Смотрели в глаза друг другу, как близкие люди, потерявшие было, а теперь вот нашедшие друг друга.

«Ты не соскучилась по нашим?»

Взяли по стакану красного вина — ведь они уже были вне школы, стало быть, не школьники, и, стало быть, выпить в кафе вина им не запрещено приказом директора и решением педсовета.

«Как работа?»

«Печатаю. Печатаю статьи про школы и удивляюсь, они ничего общего не имеют с нашей жизнью. Будто о других планетах пишут».

«А знаешь, Мари, мы, может быть, уедем».

«Знаю. Ваан сказал. Езжайте — что в этом такого? — другие ведь уезжают».

«Слушай, зачем ты все-таки... с платьем? Ведь это был чистый бред с моей стороны. Но, как ни странно, связанный с нашим отъездом. Накануне повздорили с сестрой. Она с отцом заодно — ехать хочет. «Что есть в вашей Австралии,— говорю,— разные там штучки-дрючки, стриптиз».— «Стриптиз и тут есть,— говорит.— С той разницей, что там этим только профессионалки занимаются, а здесь любую уговорить можно». Я обалдел. «Как то есть?» — говорю. «Да-да,— говорит,— я девчонок лучше тебя знаю». И я захотел проверить это, понимаешь? Это для меня было чем-то вроде карточной игры. Ждал, что ты мне залепишь легонькую пощечину, и, честное

слово, был бы доволен, а ты... Ваан тебя любит, как его только удар на месте не хватил. На другой день мы из-за тебя подрались».

«А я его не люблю. Ты веришь в то, что сейчас есть любовь? Я тебе дам почитать письма отца. Какие клятвы, заверения! Любовь до гробовой доски! А нас бросил, когда мне было пять лет. А что Ваан? И он мне пишет те же слова. Но ведь стоял рядом с вами, тоже хотел поглазеть...»

Мари вспомнила свой первый разговор с Вааном — спустя пару дней после того случая. Ей хотелось уколоть его, обидеть, унизить его мужское достоинство. Если, конечно, таковое у него имеется. «Дурак,— сказала,— не знал, что ли, что Армен из тебя котлету может сделать?» — «Он от слабости своей, а не от силы меня избил. Но ты-то как могла?..» — «Как могла? А вот так! Захочу — и разденусь!» — «Я тебя даже сейчас люблю».— «Хочешь, разденусь специально для тебя? Сейчас, правда, неудобно, мы все-таки на улице. Как-нибудь в другой раз».— «Нет, не хочу. Хотя, если и сделаешь это, я тебя все равно буду любить».— «Дурак, как раз после этого и полюбишь, вы так устроены, что после этого любите».— «Ты оскорбляешь любовь». Расхохоталась: «А ты что, посланец любви? Ее гонец?..» — «Кто любит, тот всегда посланец любви. Миру нужны только дети, рожденные любовью. Я думаю, что все злые люди рождены от браков по расчету».— «Так вот я дам миру злых детей. Буду мстить за мать, которой отец всю жизнь изменял. А она, дурочка, до сих пор его любит».— «Твоя мать замечательная женщина».— «Слушай, ты случайно не Дон-Кихот? Как ты поднял руку на Армена?» — «Я и сейчас сильнее его». Захотела уколоть его еще больнее: «А правда, что Тигран, Армен и Смбат держали пари?»— «Армен ни при чем, он узнал об этом позже».— «Значит, Тигран и Смбат? А на что?» — «Проигравший должен был достать для другого джинсы».— «И только-то?» — и вдруг расплакалась прямо на улице.

«Ваан не верил, что ты можешь. Если бы ты этого не сделала, мы бы в тот день подрались. Он из-за тебя умирает».

«А Ашот сказал, что вы с ним держали пари. Он Лусик сказал, а она мне позвонила».

«Какое пари? Я ж тебе говорю, что эта бредовая

мысль возникла только в моей голове. Ну и причину ты уже знаешь. Если я и держал пари, то только сам с собой. Порядочный Армен с подлым Арменом. Был уверен, что подлый потерпит поражение. Хорошо хоть химичка скоро появилась».

Армен не захотел ей говорить о пари Тиграна и Смбата. Ведь и это в конечном счете было всего лишь дурацкой игрой, каждый был уверен, что победителя не будет. Но Смбат тем не менее выиграл, хотя и не потребовал джинсов от Тиграна.

Армену было бы горько рассказывать Мари об этом, но Мари-то все знала. И вдруг вскинула голову, едва удерживая слезы: Армен не в курсе или попросту скрывает от нее?

«Как хорошо, Сона Микаелян подоспела»,— повторил он.

«Мадам Сона? Эта копченая рыба? Красавица, которую сдали в комиссионку? Она уничтожила во мне последнюю веру во взрослых... А Ваан меня еще любит?»

«Ты ведь сама с ним говорила».

«Мы говорили только о тебе. Он озабочен твоим отъездом. Чудак — получил от тебя тумаков, а за тебя переживает... Значит, едете?»

«Не знаю».

«А что, этот Ашот так и будет благоденствовать в нашем классе?»

«Ведь меня уже исключили — об этом тебе надо бы поговорить с нашими бывшими одноклассниками... Но я все-таки до отъезда с ним разделаюсь».

«Значит, уезжаешь».

«Ты ведь сама сказала: «А что в этом такого?»

«Покурим, Армен. Воспользуемся двумя часами нашей свободы. А с Вааном мы видимся почти каждый день. Он от меня ни на шаг».

«Мамян рассказывал, как они во время войны однажды всю ночь в школе «Манон Леско» читали».

«Хочешь сказать — я Манон?»

«Ваан — рыцарь де Грие».

«Он хороший парень, верно, но за такого, как он, я никогда замуж не выйду. Любви нет, значит, есть расчет. И я выйду замуж по расчету, ну а потом, если счастья не будет, скажу — расчет был неверен».

«Ты стала женщиной, Мари, усталой и нервной женщиной».

«Когда-нибудь я ведь должна была ею стать, а я, как тебе известно, всегда спешу».

Всю ночь Мари не смыкала глаз. Мысль стучала в виске громко, как настенные часы,— напряженная, болезненная. Другому нетрудно сказать правду — все понятно и просто, как азбука. Она ненавидит отца, но почему же торчит возле заводской проходной, чтобы хоть издали взглянуть на этого чужого, родного, незнакомого человека? Почему без конца перечитывает его письма? Чтобы вскармливать в себе ненависть? Но есть же этому предел... Она — разделась? Во-первых, сама не поняла, с чего вдруг захотела созорничать — отдалась ритму танца. А во-вторых, увидела глупый, удивленный взгляд Ваана, и в голове ее пронеслась мысль: наверно, и отец когда-нибудь так смотрел на мать. Может быть, я сейчас спасаю нашего будущего ребенка, который стал бы читать письма этого самого Ваана и плакать над ними. Хоть кто-то за все эти годы понял мои страдания — товарищи, учителя? Для всех я избалованная, дерзкая, распущенная девчонка, которая метит в актрисы. И только. Покойный Саноян дважды задавал сочинения об отцах, и оба раза я ничего не написала. А он хоть поинтересовался почему? Поставил «неуд», не догадавшись, что девять пустых страниц, может быть, самые трудные страницы в моей жизни. «Мари, какая ты рассеянная девушка, опять пропустила страницы. Будь же повнимательнее». И как мог такой бесчувственный человек умереть от инфаркта?

«Ты не спишь, Мари?»

«Сплю, ма. А ты?»

«И я сплю, Мари».

Засмеялись.

«Новый класс тебе нравится?»

«Да, хороший. Серьезные люди. Двое в меня уже влюбились. Одного зовут Арменак. Представляешь зятька по имени Арменак?»

Мать засмеялась.

«А ты когда влюбишься, Мари?»

«Когда состарюсь».

Кто обманывает нас чаще, чем мы сами себя? Только перед матерью невозможно притворяться — она видит меня насквозь, потому что любит. Я беззащитна перед матерью — нет у меня ни панциря, ни маски.

«Вчера случайно отца в троллейбусе встретила, ма. Он меня не заметил».

«Как он выглядел? Я слышала, он болел. Ты не подошла к нему?»

«Я сплю, ма».

Потом они заплакали в темноте, стараясь по возможности не выдавать друг другу своих слез.

«Я уже постарела, ма,— улыбнулась Мари сквозь слезы.— Наверно, самое время влюбиться...»

ГОЛОС, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА БЕРЕГУ ОКЕАНА

Класс молча и сосредоточенно слушал учителя.

Мамян сидел в конце, на свободной парте.

«...В одном из небольших городов Австралии, то ли Южной Америки, то ли Африки жил человек. Снимал комнатенку в просторном особняке, жил уединенно и неприметно. Был он стар и, видимо, порядком устал от жизни. Хозяин дома давно заметил, что каждую неделю его жилец получает откуда-то газету, тут же запирается, и потом долго слышится из-за закрытой двери его голос. Слов было не разобрать, непонятно, на каком языке он читал. Либо бывший актер, подумал хозяин, либо бывший адвокат, а теперь нет у него ни сцены, ни клиентуры.

Так дожил человек до конца своих дней и однажды не проснулся. Хозяин, помня о его просьбе, телеграфировал в большой город его родственнице. Родственница, пожилая дама, прибыла на следующее утро, и покойного свезли на маленькое, незаметное кладбище маленького, незаметного городка. Возле его могилы стояли хозяева, родственница, вся в черном, и священник. Священник зажег ладан, спел что-то непонятное и грустное, и человека похоронили.

Вечером, когда речь зашла о том, чтобы освободить комнату покойного от его вещей, хозяин рассказал родственнице, как старик запирался в своей комнате и вслух читал газеты, которые неизвестно кто ему присылал.

— Вот они,— указал он на стопки газет, лежавшие и на столе, и на стульях, и у стены.— На каком они языке?

— На армянском. Это его родной язык.

— А почему он читал их вслух?

— Кто знает? Может быть, для того, чтобы не забыть

свой язык. Ведь здесь ему не с кем было поговорить на нем.

Хозяин, который был то ли австралийцем, то ли американцем, то ли африканцем, удивленно посмотрел на газеты, потом взял одну, повертел в руках.

— Можно взять на память? Он, видимо, был хорошим, добрым человеком.

— Да, он был хорошим, добрым человеком,— печально подтвердила родственница.— И остальные газеты можете взять. У нас в доме, к сожалению, давно не читают на этом языке, а я стара, плохо вижу...

Говорят, хозяин — австралиец, африканец то ли американец — все оставил в комнате как есть и уже никогда ее больше никому не сдавал. И газеты продолжали лежать на столе, на стульях, у стен. «Пусть голос того человека живет в этой комнате»,— сказал он сыновьям. А может быть, ничего не сказал, взял ключ от комнаты и порой, когда ему становилось грустно и одиноко, он входил в нее и, казалось, слышал голос жильца...

Грустная сказка?

Не знаю.

Жил человек, долгие годы разговаривал сам с собой и умер, оставив на чужбине свой голос, который, наверно, по сей день живет в далеком уголке земли, в маленьком городке, в комнатенке, забитой книгами и тетрадями.

Спросите, почему я рассказал вам эту сказку?

Ваш товарищ, Армен Гарасеферян, мучается вопросом: то ли покидать Родину, то ли нет?

А если мучается, то не грозит ли ему судьба того человека? Я знаю людей, уезжающих с легкостью. Те пусть уезжают. Но Армен-то ведь мучается. Кое-кто из вас знал это. А теперь узнали все».

СУД

Беседа между Ванули и Даниеляном затянулась и оказалась весьма суровой. Они были давними приятелями, уже двенадцать лет работали вместе в этой школе — ругались, мирились, старели. Играли друг с другом в шахматы, ходили на футбол, дремали на разных собраниях, защищали друг друга, когда требовалось, вместе были недовольны начальством и подчиненными, вздыхали по поводу того, что в школе почему-то меняется атмо-

сфера, ломали себе голову над вопросом, отчего школьники не хотят учиться, а педагоги как следует учить. Впадали в крайности, кляли на чем свет стоит свою профессию, но при этом неизменно любили школу, каждый по-своему.

И вдруг возник жестокий спор.

Вануни потребовал, чтобы Мамян назвал зачинщиков расправы над Ашотом и наказал. Мамян ответил, что знает зачинщиков, но находит их поступок справедливым и потому считает, что Ашота лучше всего перевести в другую школу.

Вануни ударил кулаком по столу и, сам того не желая, повторил слова историка из министерства. А Мамян сел и тут же написал заявление об уходе с работы...

— Ты хочешь сказать,— кричал Вануни,— что я трус, шкурник, лицемер? Что я дрожу над этим креслом? Да?

— Ничего я такого не говорю, ты сам говоришь, Саак...

— Хочешь сказать, что Мамян настоящий педагог, Макаренко, Сухомлинский?..

— Ты сам говоришь.

— Что ты мне отвечаешь, как Иисус Христос. Ведь я не Пилат!

— Ну ладно, оба мы читали Евангелие и знаем, что Пилат в конце концов сказал: «Не хочу руки свои обагрять кровью невинного». Так ведь написано в Евангелии, Саак.

— Значит, я, по-твоему, хуже Пилата?

— Давай говорить на нашем языке, Саак. Мамян не должен уходить из этой школы. С его приходом мы все стали чуточку лучше. Давай-ка его защитим. Случается, он меня раздражает, я не все приемлю из того, что он делает и говорит, но видишь, как его ребята полюбили. Эти чудаки и шалопаи.

— Кто его снимает? Он сам своей собственной рукой написал заявление, и почерк красивый.

— Порви это заявление, Саак.

— Оно уже зарегистрировано, Мартын, и является документом. Плюс я сообщил о нем в роно.

— Лучше, Саак, оставь этот стул на месяц раньше, чем на год позже. Я тебе как друг говорю. Себе самому такое посоветовал бы.

Даниелян махнул рукой и двинулся к обитой двери. Вануни зажал виски ладонями. Будь проклят тот день,

когда он, не послушав отца, пошел в педагогический. Теперь школам нужны роботы — люди без сердца, нервов и сомнений.

Дверь открыла Наринэ. На лестничной площадке толпился чуть ли не весь класс Армена.

— Мы точно знаем, что Армен дома,— сказал Ваан.— Пусти нас.

— Заходите,— растерянно пробормотала Наринэ.

Вошли в гостиную, она была уже почти пуста — остался стол, несколько стульев, портрет Комитаса на стене. Многие расселись прямо на полу. Появился Армен, увидел товарищей, в нем вспыхнула радость и одновременно удивление — почувствовал, что дело серьезное. Из кухни вышли родители.

— Привет молодежи,— сказал отец.— Какой у вас класс хороший, я вас всех вместе и не видел. Накрой на стол, Азнив, у нас дорогие гости.

— Не беспокойтесь, пожалуйста. Столько голодных желудков наполнить непросто. Мы только хотели с Арменом поговорить.

— Ты не должен уезжать, Армен,— со слезами в голосе сказала Лусик.

Армен понял: так вот зачем явились к нему товарищи.

— Не должен уезжать,— подтвердил Смбат,— ведь ты же сам не хочешь...

Амбарцум Гарасеферян смекнул, что разговор намечается тяжелый, и вспылил:

— Вы собираетесь в нашем доме проводить комсомольское собрание? Некрасиво, молодые люди. Ваши родители такого не одобрят.

— А пусть и собрание,— сказал Ваан,— но какое собрание! Мы говорим с нашим товарищем. Что, не имеем права?

— Вы бы устраивали собрание, когда его исключили,— Наринэ язвительно взглянула на Ваана.

— Исключили? Кого исключили?

— Армена, папа. Его исключили больше недели назад из школы.

— А, так уже и это сделали? Ясно! Ну, чего ж тебе ждать, сынок,— и из школы выгнали!

— В Ереване есть сто восемьдесят восемь других школ, а в Армении тысяча триста,— сказал Армен.

— Зачем вы увозите Армена? — всхлипнув, сказала Лусик.— Ведь он же не может без Еревана!

— А что, дочка, зарубежные армяне — не армяне?..

— Так он же не зарубежный! Он ереванский!

— Мы сейчас идем от министра просвещения. С завтрашнего дня Армен будет восстановлен в школе,— сказал Ваан.

— Правда? — Армен едва сдержал слезы. Не только из-за того, что его восстановили в школе, да, не только из-за этого, но еще и из-за чего-то, чему он не нашел названия.— Правда?..

— Что, мой сын вам игрушка: то исключают, то принимают?

— А вы сейчас за него не рады? — печально спросил Ваан.— Жаль, что не рады.

Они еще не ходили в министерство, они отсюда собирались пойти. Министр согласился их принять. Да, они сейчас пойдут к нему и, конечно, убедят...

— Вы увозите Армена с его родной земли...

— Эх, молодо-зелено, ничего-то вы не понимаете. У меня там родная сестра, единственный близкий мне человек, других близких у меня нет... Сейчас она болеет...

— А мы близкие Армена. Правда, Армен?...

— Знаю, что близкие,— отец смягчился.— Вы и останетесь близкими. Армен будет приезжать в Армению, да и вы, даст бог, выберетесь в Австралию...

— Армен там по нас будет больше скучать, чем здесь по своей тете.

— Ты видел свою тетю, Армен?

— Да, она один раз приезжала в Армению.

— Ну еще приедет.

— Ребята, девчата,— Амбарцум Гарасеферян растерял все язвительные слова, которые четыре месяца повторял разным должностным лицам,— Азнив, ну скажи ты им что-нибудь.

Мать Армена стояла в дверях какая-то опустошенная, со скрещенными на груди руками. Она ничего не сумела сказать — просто расплакалась.

— Мама,— Армен ее обнял,— мы еще ничего не решили, но, знаешь, я умру... без Армении... без товарищей...

— Привыкнешь, сынок, приживешься,— утешил отец.— Приехать в Армению в наше время не проблема. А между прочим, и там нужны патриоты.

— Значит, Армения, что же, была для вас гостиницей? — Ваан, казалось, говорил это для себя. И почему в голове родятся такие фразы? — Караван-сараем? Аэропортом вынужденной посадки?..

— Ты мал еще, чтоб меня учить,— Амбарцум Гарасеферян вдруг вышел из себя. Неприятности, накопившиеся за последние месяцы, вдруг прорвались взрывом гнева.— Меня поучать? Меня, коренного мушца, вздумал патриотизму учить?

Кто вдруг разрыдался в голос? Казалось, прорвало плотину, и хлынуло неудержимое горе. Армен... Он закрыл лицо руками и плакал горькими, безутешными слезами. Ребята окружили его, отец окаменел на месте, Наринэ крикнула: «Быстро валидол!» (Видно, в эти дни с ним уже такое случалось, и сестра знала, как быть.) Мать тяжело опустилась на стул в коридоре — не осмелилась подойти к сыну. А Армен ничего не слышал, ничего не видел — казалось, плачет один в пустыне, рыдает от бессильного и беззащитного горя.

— Не отдадим вам нашего Армена, не отдадим! — вытирая слезы, сказала Лусик.

— Да кто вы такие, что не отдадите? — Амбарцум Гарасеферян сник, стал жалок, слезы Армена его испугали.— Кто вы такие, не понимаю?..

— Мы Родина,— холодно сказал Ваан.— Вернее, ее частица. Советской Родины...

— Отец, Армении не касайся,— сквозь слезы говорил Армен.— Здесь мое будущее, здесь!..

НУЖНО УЧИТЬ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ

Антонян тем не менее решил дать совет. Но не прямо Вануни, а через Даниеляна. Он не понимал, как так вышло, что все психи собрались в десятом «Б». «А вот в моем классе,— любил он повторять,— нет ни гениев, ни тупиц. Все дети как дети». «Пусть книгой меньше прочтут, не беда,— думал он,— ведь теперь век изменился, все метят в экономисты, инженеры, юристы. Если позволить им задавать вопросы, нужно свернуть всю программу. Что они — учиться пришли или вопросы задавать?.. Короче, все нужно сделать, чтоб не выносить сора из

избы. Ведь Вануни то же самое говорил, зачем тогда исключал Армена? Так всю школу исключить можно. Говорят, что семья Армена за границу переезжает? Вот теперь и в Австралии пойдет слух про школу Хоренаци. Всего-то-навсего осталось два месяца доучиться, нужно было закрыть на все глаза. А потом пусть уезжает.

— Пусть уезжает? — Даниелян холодно взглянул на Антоняна.— А на своих уроках проповедуешь патриотизм, любовь к родному языку.

— Ну а что же нам делать?

— Если б задали себе этот вопрос пораньше, ответ нашелся бы.

— Верно, я с тобой согласен. Но как нам следовало поступать?

— Почему они уезжают? Ведь можно же было хоть раз парня об этом спросить.

— Мне вот с классом повезло: ни гениев, ни тупиц.

— Тупицы есть,— сказал Даниелян.

Антонян засмеялся, хотя и понял, что Даниелян намекает на него самого. Но возражать Даниеляну он не стал — он вообще не любил возражать. Только сказал:

— Давай, Мартын, прекратим этот разговор. Дома есть свежее мясо, пошли ко мне, шашлык сделаем, в нарды поиграем, с сыном моим можешь в шахматы сразиться.

— Какой хаос в нашей школе!

— Кстати, и «Хаос»[1] уже никто не читает. Вызубрят по критике, и все. И потом кино видели. Собственно, ты и сам сказал: кто теперь будет читать «Войну и мир», когда по роману снято двадцать фильмов?

— Да? Я сказал такую умную фразу? — искренне удивился Даниелян, потом рассмеялся.— Может, и говорил. А сам-то ты читал?

— Второй том. Там, где про Наполеона...

— Так, говоришь, дома свежее мясо?

— Я уже сделал вчера бастурму. Уговори Вануни, пойдем вместе.

---

[1] «Хаос» — роман известного армянского писателя А. Ширванзаде (1858—1935).

— Да Вануни сам сейчас как бастурма. Огонь в министерстве разожгли, осталось шашлык делать.

— Дадут ему звание? Нет, наверно.

— Не знаю. А ты хочешь, чтобы дали?

— Он, конечно, достоин. Но не дадут. Вот если бы не этот случай...

Они уже проходили по школьному двору, который гудел от голосов ребят. День был какой-то звонкий — полный солнца, надежды и свежести. Антонян настроился на философский лад.

— Смотришь на этих людей и думаешь — откуда же все-таки берутся подлецы, карьеристы, кляузники?

— Все зависит от того, кого мы воспитаем.

— Товарищ Мамян, позвоните первому секретарю райкома.

— Кому, товарищ Вануни?

— Говорю, первому секретарю.

— Как его фамилия? И почему я должен ему звонить?

— Вы меня спрашиваете?

Вануни был подчеркнуто официален — может, Мамян ходил в райком жаловаться? Или это Канканян все никак не утихомирится? Нет, вряд ли. Тогда бы первый секретарь не говорил так уважительно: «Попросите, пожалуйста, чтобы он мне позвонил. Когда? Когда сможет». Если вызывают, то и слова другие и тон другой: «Вануни? Ровно в одиннадцать будьте у товарища Тиграняна». И никого не интересует — может, ты на этот час записан к врачу, или у тебя педсовет, или урок. А на сей раз говорили по-другому: «Когда сможет. Но, конечно, желательно сегодня». И кто говорил — сам Тигранян! Наверняка Мамян жаловался, наплел всякой всячины. Может, в самом деле послушаться совета Даниеляна: лучше уйти месяцем раньше, чем годом позже.

— Звоните же, что вы растерялись? Тигранян его фамилия. Как будто сами не знаете.

— А я с райкомом дел не имел.

«Притворяется, все сделались актерами, а в театре Сундукяна актеров приличных нет».

Вануни собственноручно набрал номер, поговорил сначала с секретаршей.

— Товарищ Тигранян? Это Вануни из школы Хоренаци. Товарищ Мамян сейчас у меня, передаю ему трубку.

Мамян взял трубку осторожно, как раскаленный утюг.

— Слушаю. К вам? Хотите побеседовать? А по какому вопросу?

Спятил — решил Вануни. Или не от мира сего. Кто же спрашивает первого секретаря, о чем он с ним будет беседовать? А может, просто блестящий актер?

— Хорошо, иду.

Мамян повесил трубку.

— Зачем он меня вызывает?

— На месте узнаете,— в глазах Вануни сверкнула хитринка.— А узнав, не забудьте мне рассказать.

— Мамян? Из школы имени Хоренаци? — Секретарша взглянула на лежащую на столе бумагу.— Подождите минутку.

Мамян сел в кресло.

— Можно закурить?

Секретарша не расслышала вопроса — всем секретаршам, видимо, кажется, что посетители могут задать лишь один-единственный вопрос: когда примет?

— Товарищ Тигранян вас сам вызовет.

Мамян смял в кармане сигарету — он всегда делал так, когда не разрешалось курить.

Ваан рассказал ему, как они ходили к Армену. Всем классом. Мамян не ожидал. «И Ашот Канканян с вами был?» — «А мы и без него — «весь класс». Хотел, между прочим, пойти, но мы его не взяли. Может, хотел с нами увязаться, чтобы потом еще какую-нибудь подлость сделать». «Да, молодость жестока...— подумал Мамян.— А разве у доброты не должно быть кулаков? Пожалуй, истинная доброта всегда беззащитна. Проповедь толстовства? Но зачем все-таки Ашот написал письмо? Что он выиграл от наказания товарищей? Ведь все старались забыть инцидент. Другое дело, если бы Ашота обвиняли. Он мог тогда решить, что таким образом защищает себя. А он вот так просто сел и написал. Нужно поговорить с Ашотом, найти к нему ключ, посмотреть, что у него в глубине. Может, класс его когда-то обидел?

Или, может быть, и он влюблен в Мари, а Мари его игнорирует? И почему наградили его прозвищем Правдивый? Понятно, с иронией. А вдруг у него просто в характере рубить правду сплеча, и это, конечно, ребятам не по душе. В таком случае пусть бы он все рассказал Вануни или хоть подписался бы под письмом.

Вот уже третий день Сона не появляется на работе, Даниелян расхаживает сосредоточенно и заговорщицки, а Антонян собирается вести свой класс в Матенадаран. Разве можно толпой ходить в Матенадаран? «Я придумал хорошее мероприятие,— сказал вчера Антонян.— Пусть сходят в Матенадаран, посмотрят на наши рукописи и осознают, дети какого народа они». Матенадаран — мероприятие? «Сказал, что в субботу сочинение. Это внеклассное задание. В программе, сам знаешь, нет».

— Товарищ Тигранян вас просит, товарищ Папян.

— Мамян,— поправил он и направился к двери, мысленно продолжая разговаривать с Антоняном. Однослойный человек. А может быть, это только кажется? Может быть, другие слои просто скрыты от глаз?

Тигранян поднялся с места и протянул Мамяну руку. Ему было лет сорок пять, виски уже начали седеть. Он выглядел человеком усталым, замученным делами.

— Я попросил, чтобы вы пришли, потому что наслышан о вашей беседе в райкоме.

Ясно — дело рук Канканяна.

— Вы не член партии, я знаю.

— Нет, но...

— Кофе хотите?

Ничего себе переход!

— А закурить можно?

— ...и кофе? Так я вас понял?

Секретарь дважды нажал на кнопку звонка. Может быть, это означало две чашки кофе? Директор прежней школы вызывал звонками семерых: завучей, старшую пионервожатую, секретаршу, завхоза, секретаря партбюро, председателя месткома. И каждый знал число адресованных ему звонков. Звонок — и вскакивала секретарша. Второй звонок — она облегченно опускалась на стул, но начинал беспокойно ерзать на месте первый завуч. Третий звонок — теперь тревожно озирался второй завуч. И так далее. Больше всего — целых семь! — звонков выпадало на долю завхоза. Они к тому же оказывались са-

мыми бессмысленными, потому что завхоз редко бывал в учительской... Почему вдруг он сейчас об этом вспомнил?

— Я с этой историей в общих чертах знаком. Печальный случай.— И вдруг: — А где вы работали раньше?.. У Мерангуляна?.. Целых три года? Так долго выдержали?

Значит, он хорошо знает Мерангуляна? Это утешительно.

— Так семья героя намеревается уехать за границу? А героиня учится в вечерней школе?

— Армен мне кажется славным парнем. А девушку я не видел. Два дня назад ребята всем классом пошли к Армену. Сами решили и пошли. Рассказывают, это было вроде судебного процесса, родители растерялись.

— Всем классом пошли, говорите?

— Кроме... Ашота Канканяна.

— А, это сын нашего Хачика.

— Знаете, может быть, они и не должны были так поступать с Ашотом, можно было бы придумать что-нибудь другое, но... если говорить честно, мне по душе то, что они написали на доске: «Он предал своих товарищей. Так начинается измена Родине».

— Не слишком ли патетично?

— Хотите, я покажу вам одно сочинение, всего несколько строк. Вы, может быть, скажете — патетично, но... я этому верю. Не очень ли мы все стали будничными, заземленными, не очень ли мы остерегаемся произносить высокие слова — вдруг скажут: притворяется?.. Прочесть?

— Да, да, пожалуйста.

Мамян открыл тетрадь Лусик Саруханян. «Почему взрослые, говоря о войне, смотрят на нас с каким-то укором: вот, мол, дармоеды, что мы для вас сделали. Но никто из нас, из этих самых «дармоедов», не виноват в том, что взрослые видели войну, а мы нет. А если вдруг снова будет война, я уверена, что длинные волосы наших мальчиков сплетутся в прочное кольцо, которое задушит врага, а девочки разорвут свои брюки и перевяжут ребятам раны. И потом, вы не находите, что в мини легче и ползать и бегать?..»

— Оригинальная защита мини-юбок,— засмеялся Тигранян, потом нахмурился.— Мы порой не понимаем

ребят. Такое ощущение, что они говорят на древнегреческом, а мы на грабаре[1].

— Значит, нужно учить древнегреческий. Выхода нет — это единственный путь... Иногда работа с молодежью мне кажется балетом на льду, а вся их жизнь глубже, подо льдом — с заботами, мечтами, ошибками, глупостями.

— Мы мерим их на свой аршин. Для нас модель — наша собственная молодость.

Разговор начал Мамяну нравиться.

— А что это за суд Линча?..

Рука Мамяна, потянувшаяся к кофе, слегка дрогнула: ну вот и начинается главное. Нет, видимо, у него одна дорога — оставить школу и переводить Аполлинера.

— Понимаете, они не были убеждены, что подлость будет наказана, что мы, взрослые, ее накажем. Поэтому они наказали ее по-своему, вот в чем боль.

Выпил кофе залпом, обжигая губы, но на душе полегчало.

— Нам кажется, что мы их знаем, поскольку знаем себя. Но разве себя мы знаем? Парню семнадцать лет, и вдруг он строчит анонимку. Сказал бы в лицо, что думает, или бы кулаками не допустил той сцены!

Секретарь слово в слово повторял мысли Мамяна, и учитель улыбнулся.

Вот письмо Ашота Канканяна. Оно почему-то оказалось в папке. Показать?

— Вы не хотели бы взглянуть на то письмо?

— Хотел бы. Наши ящики полны подобной писанины, но от семнадцатилетнего автора анонимок еще не было.

Мамян протянул листок.

Тигранян надел очки, стал читать. Потом снял очки, потер лоб и еще раз надел. Нахмурился — прямо на глазах стали прибавляться морщины.

— Не может быть,— сказал секретарь сам себе, но вышло, что сказал Мамяну.

— Что?

— Ничего. Подарите-ка мне это письмо на один день. Завтра мы опять встретимся.

Еще раз внимательно посмотрел на письмо, на конверт. Потом довольно резко сказал:

---

[1] Грабар — древнеармянский язык.

— Возьмите свое заявление назад. Я говорил кое с кем. Мартын Даниелян — мой учитель. Мы его боялись —сухой, язвительный человек. Но я ему верю.

Ну вот и нет загадки: значит, Даниелян говорил с секретарем, а не... Потому он ходит в последние дни такой замкнутый, непроницаемый.

— Пока вы шли в райком, я говорил с Вануни. Хотел просто с вами побеседовать. Продолжим завтра, если не возражаете.

ОТЕЦ И СЫН

То, что узнал Мамян на следующий день от Тиграняна, было неслыханным. Тигранян прямо-таки постарел за ночь. Он ждал учителя в своем небольшом кабинете, сразу же предложил сесть в кресло.

— То, что я вам сейчас сообщу,— начал он тут же,— я, видимо, не имею права говорить вам. Но никому другому мне этого говорить не хочется. За последний год в райком и в ЦК пришло несколько анонимных писем. Содержание их касалось деятельности райкома и разных райкомовских работников. Факты проверяли, опровергали, а мутный ручей все тек. Месяц назад получили последнее письмо. Да, теперь уже наверняка последнее. Все письма были написаны одним почерком. По каким-то подробностям содержания можно было догадаться, что автор сведущ в делах райкома. Работа у нас горячая, требует повседневной отдачи, и, конечно, в ней возможны промахи и ошибки. Но все дело в том, как на все это смотреть — с торжествующим злорадством или с озабоченностью человека, болеющего за работу. В прошлом году один наш заведующий отделом допустил грубую ошибку. Мы ее обнаружили, но я попросил разбирать это дело с осторожностью, выслушать все оправдания, объяснения ошибившегося, вникнуть в подробности. Пока мы занимались судьбой этого человека, в ЦК поступила анонимка, написанная все тем же почерком, что райком покрывает преступника. Факты приводились верные. Мы уже собирались вынести этот вопрос на бюро, но... Одним словом,— Тигранян горько улыбнулся,— приготовьтесь выслушать самое худшее: все эти письма написаны рукой вашего ученика.

— Как то есть? — не сразу дошло до Мамяна, он в растерянности встал.— Не может быть!..

— Оказывается, может. Отец Канканян диктовал, сын писал. Разве это не трагедия? А сегодня он, как обычно, зашел ко мне, спросил о здоровье, когда еду в санаторий — у меня желудок больной, дал несколько дружеских советов, мол, нельзя так надрываться на работе и прочее...

— Кто способен подхалимничать, тот способен и клеветать,— вставил Мамян.— Это старая истина.

— Которую мы порой забываем,— вздохнул Тигранян.

— Кстати, этот парень написал в своем сочинении, что мечтает стать первым секретарем райкома,— уже в дверях сказал Мамян, подумав, что это развеселит Тиграняна.

— Так и написал?

— Так и написал.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

— Видно, ты сильный человек, Мамян,— сказал Вануни,— достиг своего. Недавно звонили из министерства, приказали восстановить парня в школе. Сплетничал небось обо мне с министром?

— Министр меня не принял. К нему ходил класс.

— Ладно, не притворяйся, вы ведь с ним учились. Что ж ты скрывал? Это и школе на руку. Заявление твое я порвал. Работай, чего тебе не хватает? Я, что ли, тебя не устраиваю? В следующем году будет легче: твои шалопаи от нас уходят. Нынешние девятиклассники поспокойнее. Дадим тебе два десятых, Антонян не справляется. И один девятый. Что, плохо?

«Кто ему сказал, что я учился с Рубеном?» Мамяну это было крайне неприятно. Хорошо, конечно, что Рубен принял ребят и выслушал. Представил беседу Рубена с ребятами. Наверно, рассказал о своей школьной жизни, о том, как учились и озорничали. Сам он сказал, что мы учились вместе? Нет, вряд ли. Непременно угостил чем-нибудь ребят и, конечно, спросил: «Влюбляетесь?..» Рубен, Рубен... Он сделал королевский жест, он всегда любил порисоваться: «Глядите-ка, я одним словом могу исправить ошибку, даже если она и не совсем ошибка». Горькое чувство, вызванное Ру-

беном, несколько смягчилось: ребята, наверно, ушли очарованные им...

— Товарищ Вануни, не нужно, чтобы об этом знали в школе. Я прошу. Тем более что вместе учились мы всего один год, потом я перешел в другую школу. Даже в те годы я уже менял школу за школой... Не нужно никому говорить, ведь теперь он наше руководство...

— Понимаю, понимаю тебя, Ваан. Хвалю за скромность. Сафарян прекрасный человек, истинный педагог. Но что поделаешь, очень занятой. Мы с одной школой никак не разберемся, а у него тысяча восемьсот школ, тысяча восемьсот забот, сорок тысяч учителей. Но ты с ним все-таки встречайся время от времени. Зачем же порывать дружбу?

«Подам заявление после экзаменов,— подумал Мамян.— С сентября буду дома. Так будет лучше. Я не боец, а грустный беспомощный сказочник. Время сказочников прошло...»

Вот уже неделю он не навещал мать. Слово «могила» не связывалось в его сознании с ней. Он видел мать сидящей в стареньком кресле, на носу очки... Значит, Армен не сегодня-завтра придет на занятия... «О Родина, сладкая и горькая!» — понял наконец этого парнишку. И хорошо, что он, Мамян, не подчеркнул красными чернилами эту строку в его тетради и не написал, как Саноян, что строка неуместна. Как узнать всех? Как прочесть их тайные мысли? Вокруг Ашота Канканяна образовалась пустота, вакуум, как сказал бы Даниелян, никто его не замечает, хотя никто и не оскорбляет. Может, стоит поговорить с парнем, может быть, еще не поздно? Через месяц он окончит школу, и с ним уйдет страшная загадка. Он погрязнет во зле и скольким людям отравит жизнь. Живой клоп опаснее мертвого Наполеона. Кто же это сказал?.. Может быть, в нем еще остались здоровые клетки, просто отца он считает борцом за правду? Может, он себя почувствовал виноватым, когда ребята всех обманули?.. Вспомнилось, что у него умные глаза, красивый почерк. Мамян удивительным образом воспринимал человеческие изъяны. Видеть-то видел их — возможно, даже лучше, чем другие,— но в том же человеке пытался разглядеть доброе, честное. И находил-таки, в то время как многие видят лишь темные черты и зачеркивают остальное. Счет в конечном итоге в их пользу: сто против десяти, пяти, а то и одного. А Ма-

мян не страшился поражения — он привык к поражениям и разочарованиям. Но ведь лучше обмануться в девятерых из десятерых, чем подозревать всех десятерых. Подозревая единственного правого, можно потерять и его. Последняя беседа с Вануни внесла смятение в душу Мамяна: нет сомнения, теперь директор начнет просить, чтобы Мамян замолвил перед министром словечко насчет звания заслуженного, и вообще чтобы в министерстве закрывали глаза на некоторые педагогические промахи. Как же рассказать о своих истинных отношениях с Рубеном? Ведь не поверит. Нужно все-таки уходить из школы. В сердце кольнуло: вот уже который раз он намеревается окончательно и бесповоротно оставить школу, а потом убеждается, что жить без школы не может, не может жить без этих «психованных», непонятных, дерзких ребят. Мари вела себя при встрече холодно и заносчиво, беседы, можно сказать, не вышло — сказала, что у нее срочная работа, нужно перепечатать материал в номер... Вчера ночью написал Соне третье письмо, которому, конечно же, уготована участь предыдущих двух — оно останется лежать среди его бумаг... С Соной происходит что-то странное...

Историк из министерства на сей раз разговаривал с ним как с родным: «Слушай, Саак, что не заходишь? Только по делу? А без дела не можешь? Министр на днях тобой интересовался».— «Мной?» — «Тобой. Кстати, как твое здоровье? А дочка в какой класс переходит?» — «Дочка? В девятый».— «Уже барышня. А мы стареем... У меня уже трое внуков».— «А моя школу заканчивает. Влюбилась. Месяц назад был у них в школе на вечере, они его назвали диспутом. И вот дочь задает мне вопрос. Представляешь, собственная дочь при честном при всем народе спрашивает...» — «Что спрашивает?» — «С ума сойти можно, спрашивает — допустимо, чтобы девушка первая объяснилась парню в любви?..» — «Да, влюбилась, значит». — «Дома говорю: что за вопрос ты мне задала? А она отвечает: я тебя как педагога, а не как отца спросила. Дома я тебе подобных вопросов задавать не буду... Ясно?.. Да, парня восстановили, но он вот-вот опять вылетит. На сей раз в Австралию».— «Нехорошо. А впрочем, мы-то что можем сделать?» — «А Мамян говорит: мы все за его судьбу в от-

вете».— «Мамян? Это который? Учитель литературы? А знаешь, вчера министр его хвалил. В самом деле хороший педагог?» — «Ну, раз хвалят, значит, хороший».— «Слушай, пока министр в добром расположении духа, зайди-ка, я тебя отведу к нему, пусть характеристику подпишет. А?..» — «Да я на тот свет и без звания могу уйти, хотя... А что касается Мамяна, он в самом деле хороший педагог. При случае передай министру и мое мнение».

Что-то сместилось в душе Соны Микаелян. Началось некое землетрясение. Она вдруг осознала, что за эти годы школа впиталась в нее, сделалась всей ее жизнью, ее бытом, ее заколдованным кругом, из которого нет выхода. Уроки, опыты, вечера, выступления на собраниях, педсоветах... Но если кто-то самый дорогой — мать, любимый мужчина, даже ребенок — становится всей твоей жизнью, это ужасно, и однажды ты непременно его потеряешь. Заходить каждый день в школу стало для нее привычным и обыденным. Все равно что на кухню заходить. А ведь войти в школу — это войти в храм. В храм? Каждый-то день? Находиться в нем по пять-шесть часов и не привыкнуть, не утратить ощущения храма?.. Нет, школа для нее сделалась не храмом, а кухней, повседневностью. Те же уроки, те же вечера, те же собрания, поток предметов, мыслей, чувств. Но ведь они, учителя, формируют человека, характеры, будущее. Поточным методом можно собирать машины — деталь за деталью, винтик за винтиком, а вот человека... И с болью поняла, что свыклась с этим поточным методом, сделалась его звеном, и потому кипятится, когда какой-либо случай или характер противоречит общему потоку, путает карты. Она задумалась еще над тем, что лишила себя личной жизни и стала беднее как... педагог. Мамян огорчается и удивляется, теряется и страдает, он заходит каждый раз в школу, как в первый раз... Ох уж этот Мамян... «Я заставлю их полюбить Терьяна,— сказал он однажды.— Не усвоить тему «Терьян», а полюбить...» Это первая решительная фраза, которую Сона услышала из его уст. Правда, он тут же смягчился: «Они полюбят, они не могут не полюбить Терьяна...»

Сона принялась названивать своим давним приятельницам, почти каждый вечер ходила в театр, на концерт,

стала читать — просто для себя, а не для выступления. «Распадаюсь на составные части»,— подумала она однажды. Подумала без грусти. Пробудились все молекулы ее существа и потребовали к себе внимания. И она предалась ритму их движения и постаралась забыть о школе с ее суматохой и заботами. Мать обрадовалась: «Наконец-то вспомнила, что ты женщина».— «Женщина? Нет, мама, не женщина. Да и кто польстится на тридцатишестилетнюю старую деву? Если б еще была разведенная — куда ни шло...» Мамяна она избегала, но продолжала мысленно с ним разговаривать, спорить. Десятый «Б» теперь здоровался с ней с подчеркнутым уважением. Спасибо, Рубен Сафарян не отказал, принял ребят, и Армен вот-вот вернется в школу. Она считала своим долгом сделать это, потому что в конечном счете, не открой она в тот момент дверь, все осталось бы шито-крыто. Игра, дурацкая, полудетская — все они только и думают, как бы выглядеть посовременнее. Хотя случай этот высветил многое другое: жизнь Мари, отъезд Армена за границу, сущность Ашота Канканяна.

— Сона? — ее окликнул Мамян.— Хочу надеяться, что ты не спешишь. Пойдем вместе. Сегодня мой день рождения, я хотел бы, чтобы мы отметили его вдвоем.

Мамян все сказал сразу, в одной фразе, и растерянно взглянул на Сону.

— Пойдем, Ваан.

Сона тоже ответила сразу, не задумываясь — инстинкт ей подсказал, что, если задумается, найдет сотню причин для отказа и холодно скажет: «Прости, Ваан, не могу». Она вдруг призналась себе, сама того не желая, что Ваан стал ей близким человеком и противостоять этой истине она не в силах. А может быть, тут-то как раз и начинается женщина — с потребности быть слабой перед кем-то?

— Неужели такое уж большое удовольствие выпить шампанского с «химической формулой»?

— А химия была для меня в школе самым любимым предметом...

— Из тебя не выйдет льстеца, Ваан. Кстати, ты мне как-то признался, что по химии у тебя были сплошные двойки.

— За то, что я люблю, жизнь всегда ставила мне двойки. Взаимностью я не избалован.

— Ну что ж, тогда я тебе поставлю пятерку, ведь меня же ты... не любишь.

— А в химии нет исключений из правила?

— Не знаю, Ваан... Может быть, и есть.

Они выпили две бутылки шампанского, Мамян почитал стихи, послушали музыку. Он не смог ни письма передать Соне, ни признаться. Проводил до дому, печально посмотрел ей вслед и стоял до тех пор, пока не

затихли на пятом этаже ее шаги. Потом вышел из подъезда, в задумчивости вернулся домой и принялся за четвертое письмо.

— Слыхал? — заговорщицки зашептал Даниелян.— Хачик Канканян подал заявление об уходе. Тигранян сказал: «Подумаем...» Странно, что Хачик Канканян так легко сдал свои позиции.

Мамяну потребовались усилия, чтобы изобразить удивление:

— Неужели?

Даже Даниеляну не передал он своего разговора с Тиграняном. И вдруг как-то болезненно подумал о Хачике Канканяне.

ПУСТОЙ ДОМ

Возвращение Армена в школу десятый «Б» превратил в настоящий праздник. Все девчонки наперебой старались его поцеловать.

— И я хочу, чтоб меня исключили,— сострил Смбат.

Но Армен был невесел. На сердце его лежал камень. Казалось, он смотрит на своих товарищей из окна отъезжающего поезда. Вопросы, неумолимые вопросы, а в их когтях колотится головой о стену семнадцатилетний паренек. Нелегкая борьба. Кто же окажется в ней победителем?

Телефонный звонок, прозвучавший в ночном безмолвии как-то тревожно, вывел его из состояния оцепенения.

— Слушаю.

— Ваан? Я тебя разбудил?

— Нет, я не спал. Кто это?

— Уже и голос мой забыл. Это Рубен.

— Рубен?.. Да, не мог представить, что ты позвонишь.

— Слушай, как тебя твои ученики любят! Знаешь, наверно, что они ко мне приходили...

— Да, это знаю. А вот то, что любят, для меня новость. Они, мне казалось, пока что ведут разведку, за

моей спиной надо мной подтрунивают и каждый день готовят какой-нибудь сюрприз.

— Ну ладно, не кокетничай. Как это тебе удалось, признайся?

— Рассказываю им сказки.

— Сказки? Ну, это поколение сказками не прокормишь. Им другая пища нужна — острая, соленая.

— А я им сказки сказываю, Рубен. Даже те, что были в нашей с тобой жизни, которые ты давно забыл или скоро забудешь. Я и о своей первой любви им рассказал. Ты ведь помнишь Гаянэ? Она так и не вышла замуж, а я так и не женился. Мне казалось, она нашего Армена любит, а его... Вот какие я им сказки сказываю. Только однажды один из моих учеников пошутил: «Ваша жизнь что — учебник сказок?»

— Хорошо сказал.

— Сказки — лучший вариант учебников. Для меня, во всяком случае. Не забывай наших сказок, Рубен.

— Намекаешь на то, что я тебя не принял в тот день? Я был чудовищно занят, и к тому же неожиданно вызвали к начальству.

— Меня-то что... Я мысленно все тебе высказал и ушел. А вот за то, что ты не принял Нвард Паронян, тебя повесить мало.

— Я поручил, чтобы ее выслушали, разобрались, но она ничего не сказала. Не знаешь, по какому вопросу она приходила?

— Она хотела повидать своего ученика, а у ученика нет управляющих делами, Рубен.

— Ладно, ладно, я ее снова вызову.

— Вызову, поручил... Каким словам ты научился... Ученик поручает, чтобы вызвали и привели к нему — кого? — его учительницу! Прекрасно!

— Вам легко, вы свободные люди, можете собой распоряжаться.

— Так оставь пост, обрети свободу и распоряжайся собой. Знаешь, что вспомнилось? Рассказывают, один высокопоставленный товарищ, может быть, кто-нибудь из ваших, съездил в родное село и от нечего делать завел снисходительную беседу с односельчанами. «Как дела, дядя Оган?» — спрашивает. «Хорошо, очень хорошо. А у тебя как?» — «И у меня ничего, дядя Оган».— «Так нельзя ли, чтоб ты мне свое «ничего» дал, а мое «очень хорошо» себе забрал?» — говорит ему дядя Оган.

— На что ты намекаешь?

— Не прикидывайся. Тебе еще тогда, в детстве, нравилось приказывать. Знаешь, что я рассказал в классе?

— Что?

— Как ты принес в школу «Манон Леско», и мы ночью в кабинете по военному делу читали... Помнишь?

— Помню. Ну и что, что они сказали?

— Ничего. Помолчали. Подумали. Я их никогда не спрашиваю, о чем они думают. Хочу, чтобы у каждого были свои собственные сказки.

Рубен замолчал, и надолго. Ваану захотелось увидеть его лицо, заглянуть в глаза.

— Я прошу тебя, Рубен, сам сходи в нашу школу, повидай Нвард Паронян и скажи при всех, что она была твоей учительницей.

Рубен не ответил. Может, трубку повесил?

— Рубен!

— Слышу, не глухой.

— Одним словом, я рад, что ты позвонил.

— Давай встретимся, можно в ближайшие дни.

— Скажи Мануку, он нас всех соберет.

— Да этот дурак подал заявление, ушел.

— И правильно сделал. Спокойной ночи, Рубен.

— Спокойной ночи. Показывайся.

— Меня ты можешь вызвать. Тебе дано такое право. Поручишь — вызовут. Только одна просьба — не пользуйся этим правом. Относись в глубине души снисходительно к собственному креслу. Не считай себя наидостойнейшим. Если кресла этого под тобой не станет, тебе будет трудно.

— Все советы дают.

— А мне больше нечего дать тебе, Рубен. К тому же советы не изнашиваются: их берут, но не используют. А вот к нашей учительнице все-таки сходи. Не смей ее вызывать. Слышишь, не смей!

— Говоришь, рассказал, как мы читали «Манон Леско»? А они не смеялись?

— Нет, Рубен. Из класса вышли присмиревшие.

И повесил трубку. Испугался, что горечь истает и заплещется в груди сладостная ложь, которой сам он поверит. А может быть, не следовало этого делать? Может, душа Рубена размягчилась этой ночью и го-

това принимать какие-то сигналы? Да нет, наутро он, как обычно, проснется, пойдет на службу и, конечно же, не найдет времени разыскать свою старую учительницу.

И вновь принялся за письмо: «Дорогая Сона...»

— Слава всевышнему,— входя в дом, сказал Амбарцум Гарасеферян,— все благополучно закончилось.

Он вынул из папки и торжественно выложил на стол бумаги — те самые, долгожданные.

Обеденный стол еще не продали. О цене договорились, забрать его должны были накануне их отъезда, если, конечно, они уедут... Значит, едут. Наринэ схватила бумаги, стала вникать в написанное, мать перекрестилась, только Армен, мрачный, сидел перед телевизором — не шелохнулся.

— Слава всевышнему, приличные люди, оказывается, и тут есть,— Амбарцум Гарасеферян разговаривал сам с собой.— Приготовь кофе, жена, принеси выпить, нужно отметить...

— Что? Побег с Родины? — хмуро сказал Армен.— Хоть уж держал бы себя в рамках, патриот.

— Я долго себя сдерживал, сынок. Душил себя! А сегодня мой день.

— Проклятый день.

— Думаешь, я не грущу, что мы покидаем Армению? Думаешь, для меня это веселенькая игра?

И четыре стула еще не были проданы — их заберет покупатель стола. А портрет Комитаса они увезут с собой, повесят в гостиной своей сиднейской квартиры. Будут смотреть, вздыхать.

Армен весь день бродил по Еревану. Прощался? Или просто хотел понять, что он оставляет? Сходил и в пантеон, посидел возле могилы Комитаса. В детском саду разыскал свою воспитательницу — тетя Арпеник очень ему обрадовалась. Спустился в ущелье Раздана, к детской железной дороге. Выглядел он довольно забавно — такой рослый, большой — среди ребятишек. Дважды прокатился на поезде: туда и назад, туда и назад. Если бы все в жизни было так легко: захотел — вернулся... Вошел в церковь святого Саргиса. Жених с невестой стояли перед священником. Невеста была в джинсах, жених жевал жвачку. В Цицернакаберд, к памятнику жертвам геноцида, не пошел — не выдержать... Сходил к институту, куда думал поступать...

Потом еще долго бродил по разным улицам, поднялся извилистой дорогой к Норку и оттуда долго смотрел на Ереван... Никто не вызвал ни его, ни Наринэ, никто не спросил: а вы хотите ехать? Все за них решил отец. Отец — еще не Отчизна, а ведь он оставляет Отчизну, Родину... Да, не вызвали, не спросили... Через неделю в школе начнутся экзамены. А вчера Мамян дал им странное задание: опишите закат солнца, опишите смерть близкого человека... Смбат написал, что на похоронах дяди он не плакал, потому что понимает: раз человек родился, он должен умереть. А дядя к тому же три года был неизлечимо болен. Мамян вздохнул: «Откуда столько льда в молодом, горячем сердце?»

На улице Абовяна Армен чуть не попал под машину — сам был виноват, зазевался. Милиционер прочел ему довольно грубую нотацию и оштрафовал на три рубля. Армен молча заплатил штраф, не отозвавшись ни единым словом ни на ругань шофера, ни на негодование милиционера. Продолжал ходить по городу в забытьи, какой-то отключенный...

— Выпьем,— сказал отец.— Бери стакан, Армен.

— Я не пью. Пусть пьют отъезжающие.

— Ты что?

— Пусть пьют отъезжающие.

Мать выронила кофейную чашку. Наринэ поставила на стол рюмку коньяку, которую уже было поднесла к губам. Отец побледнел. Армен сказал это спокойно, вполголоса.

— Сынок, как же мы можем без тебя?..

— А как я могу без Армении? Ты об этом подумал?

— Да кто у тебя ее отнимает? Каждый год будешь приезжать, я тебе это обещаю.

— Школу я уже заканчиваю, поступлю на работу, не пропаду. И институт от меня не уйдет...

Этот дом уже им не принадлежал — продали. Через неделю в него вселятся новые хозяева, придирчиво оглядят его и вызовут маляров, которые покрасят стены в новый цвет. Конечно же, будут и другие изменения: сменят двери, рамы. Только сад не тронут: деревья не красят, не восстанавливают, не переносят с места на место.

— Я вам буду писать каждый месяц, папа. Да и дядя здесь — думаю, что он меня не оставит.

Тикин Азнив вдруг почувствовала, что сердце ее бешено колотится — вот-вот выскочит из грудной клетки. Она в полуобмороке опустилась на стул. «Мама! — крикнула Наринэ.— Мама!» Мать пришлось отвести в спальню, поскольку кушетка, стоявшая раньше в гостиной, уже была продана. Мать долго не приходила в себя.

— Ты мать убиваешь,— враждебно сказала Наринэ.— Звони в «скорую помощь».

Армен позвонил. Обессилевший, словно только-только после драки, сел на кровать к матери. Отец вышел встречать врачей.

— Да скажи же что-нибудь матери! — крикнула Наринэ.

— Успокойся, мама.— Он вдруг представил, что может потерять мать, и слезы сдавили его горло, попытался не думать о страшном — не смог.— Успокойся, я еще подумаю...

— Мама, приди в себя,— ухватилась Наринэ за последние слова брата.— Он еще подумает, он не может нас оставить.

Мать молчала, слезы заполнили бороздки морщин, блестели, как роса. Печальная роса. Лицо у матери было измученное и доброе. И Армен вдруг понял, что любит мать и что теряет ее.

Вошли врачи, и спальня заполнилась деловой суматохой.

Армен вышел в сад. Цвели абрикосовые деревья, земля была мягкой и теплой, хотя уже завечерело. Уселся под сливой, потом лег на землю. Не посоветоваться ли с землей? И от этой мысли вскочил и уже на землю не садился. Вон же деревянная скамейка, отец сколотил. Плюхнулся, закурил. «Ты сам должен решать,— сказал вчера Мамян.— Только сам. Как решишь, так и будет правильно». Нет, не будет правильно, учитель. Потом подумал: «А может, учитель мне больше верит, чем я сам себе?..»

«Скорая помощь» уехала.

— Сделали кардиограмму,— сказала Наринэ в коридоре.— Подозревают микроинфаркт. Сказали, нужен покой. Нельзя волноваться.

— Я здесь, мама,— сказал он, входя в спальню.— Я возле тебя.

— Побудь здесь, не уходи.

Отец сидел один в чуждой пустоте гостиной и все пил и пил что-то горькое, удивительно горькое. А вообще отец был непьющим. Он показался Армену очень старым, беспомощным, больным и... незнакомым человеком, который каким-то образом проник в их дом и пьет себе в одиночку.

— Я иду в аптеку,— сказал Армен этому незнакомому человеку, сидящему в их доме.— В аптеку иду.

ПИСЬМА ВСЕМ

— Характеристики готовы,— сказал Вануни.— Прочти и подпиши.

— Какие характеристики?

— На твой класс. Прочти любую, одной достаточно.

Прочел. Потом принялся читать другие.

— Я не буду их подписывать,— сказал.— Я ведь новый классный руководитель, какое же имею право подписывать характеристики?..

— Опять за свое? Да кто читает эти бумажки? Пустая формальность, нечего раздумывать. Ты что, не знаешь?

— Не знаю.

— Ну ладно, как хочешь,— неожиданно сказал Вануни.— Я сам подпишу.

По этим характеристикам выходило, что все одинаковые, будто станки, выпускаемые одним заводом. Не было характеристики только на Армена Гарасеферяна. В Австралии она не потребуется. И вообще — как предостерег Вануни — спешить не стоит, а то, может быть, придется потом писать другую.

Свет у Мамяна был включен до глубокой ночи.

Он написал письма всем своим ученикам. Двадцать шесть писем. Раздаст их после экзамена по литературе. Труднее всего было писать Ашоту Канканяну. «Дорогой Ашот! Я знаю, что ты веришь своему отцу. Это так и должно быть. Ты верил, что отец твой — жертва несправедливости, что он борец за правду, но прямых путей борьбы нет (это он тебе внушал ежечасно), и потому он вынужден искать окольные пути. У меня есть

товарищ, Манук,— я вам о нем рассказывал,— так вот он говорит, что ему не нужна правда вообще. Правильные слова говорить нетрудно, истина витает в воздухе. Для Манука важнее всего, кто говорит правду. Древние индусы были мудрее нас. Они говорили: «Истина подобна свету лампы. Под ней один читает священную книгу, другой подделывает чужую подпись». Нет, я ни на что не намекаю. О случившемся знают четыре человека, и мне кажется, пятый никогда не узнает. Я уже забыл об этом, думаю, что забыл и тот, о должности которого ты мечтаешь. Не забыли двое: ты и твой отец. Я хотел бы, чтобы ты не забывал об этом никогда. А это письмо можешь прочесть и тут же порвать. Я знаю, что в жизни есть ужасные вещи, но бороться с ними можно только чистыми руками. Я желаю тебе несколько бессонных, мучительных ночей, в которые ты сам себя осудишь. Семнадцать лет — это не много, но и не мало. Никто вторично не бывает семнадцатилетним. А в общем, ты хороший парень, и, что там ни говори, тебе всего семнадцать».

Взглянул на пепельницу, полную окурков, нажал кнопку выключателя.

Темнота отнимает у человека мир, но возвращает ему самого себя. Зачем он написал эти письма? Кое-кто, наверно, удивится, а то и посмеется.

Вспомнил, что не написал письма Мари. Снова зажег свет, но сигарет больше не было. Закрыл глаза, чтобы мир вновь сделался темным. И вдруг увидел мать, которая появилась неведомо откуда, села рядом и погладила его по седеющей голове: «Спи, Ваан, спи, жалко мне тебя».

КОСТЕР

В понедельник был первый экзамен, а в субботу весь класс явился в аэропорт. До взлета оставалось сорок минут. Вот уехали на вагончике большие деревянные чемоданы Гарасеферянов, а сам отец семейства все еще подписывал в таможне бесчисленные бумаги. Наринэ разговаривала с подругами. Ребята пробовали шутить:

— Как прилетишь, сразу вышли кенгуру. Мы возьмем его с собой на экзамен, будем в его сумке шпаргалки прятать.

— Дай телеграмму из Сингапура.

— Джинсы, джинсы не забудь, Армен.

— Не забывай нас.

В последние минуты прибежала Мари. Повзрослела. Ведь в вечерней школе разрешается красить волосы, носить туфли на высоком каблуке, делать маникюр. Мари принесла сирень.

— Когда вы долетите, Армен?

— От Еревана до Москвы три часа,— начал считать Ваан.— От Москвы до Бомбея пять часов, от Бомбея до Сингапура шесть часов. От Сингапура до Сиднея еще шесть часов. Итого приблизительно часов двадцать. Если, конечно, будет погода...

— Хоть бы не было погоды, — вздохнула Лусик.

Армен почти ничего не говорил. Черты лица его заострились, взгляд был устремлен куда-то вдаль. В руке он держал легкий чемоданчик — не стал сдавать с другими вещами: «Тут несколько книг и магнитофонные записи».

Подошли отец, мать, Наринэ.

— Ну, Армен, прощайся с товарищами, — отец как-то растерянно обвел взглядом класс.— Хорошие у тебя товарищи.

Все по очереди поцеловали Армена, и Армен затерялся в их объятиях. Лусик тайком вытирала глаза. Ваан зажег сигарету. Чрезвычайное напряжение потребовалось всем, чтобы выглядеть спокойными, как условились. Уезжает — значит, не может не уехать. Мать Армена была бледна, со следами болезни в лице и каким-то тягостным смирением — словно она один из их чемоданов: неси куда хочешь.

— Пошли, Армен.

— Иди, Армен, — сказал Ваан. — Пиши. Мы непременно встретимся. Не урони в Сиднее честь десятого «Б».

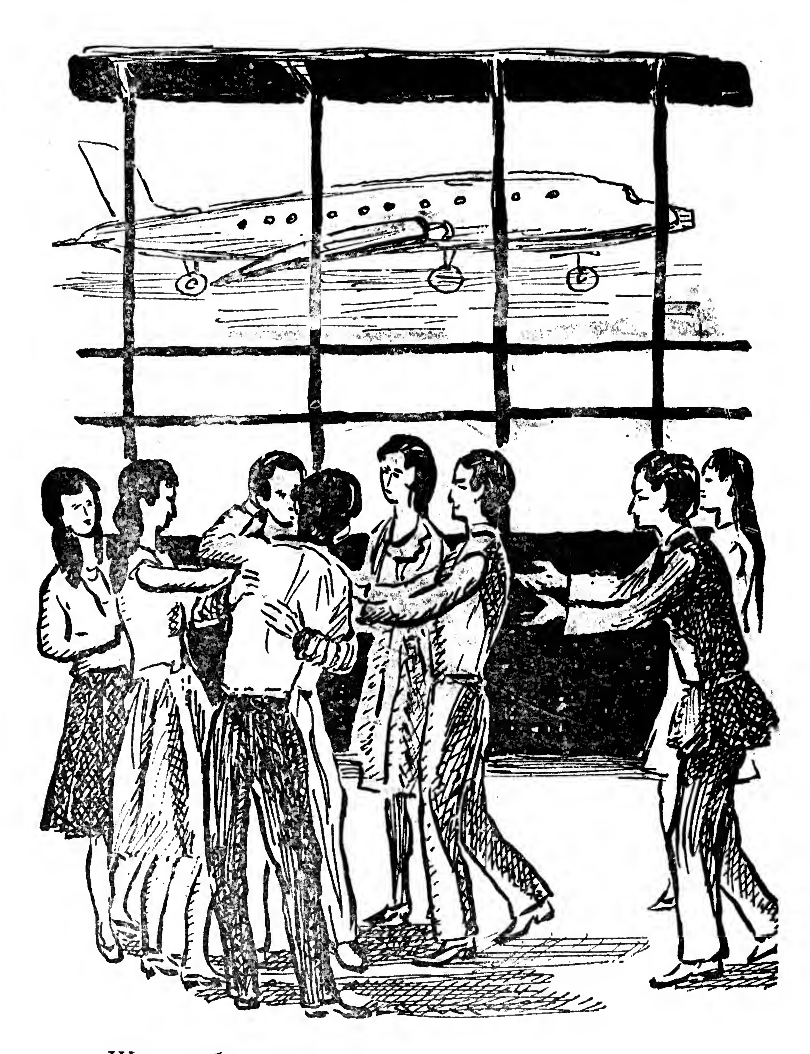
— Иди, Армен.

— Иди.

Четыре человека отделились от толпы и — двое быстро, двое медленно — зашагали к самолету. Теперь девочки могли плакать, а ребята — курить.

Вот четверо дошли до трапа, дежурная проверила их билеты, и они стали подниматься. Армен обернулся. Помахал рукой? Что-то крикнул? Да, наверно. А потом стальная птица их сглотнула.

— Жарко...



— Жарко будет в понедельник.

— Хоть бы тему знать.

— Списать все равно не удастся. Мамян догадается.

— Он выискивает оригинальные мысли. А кто тебе даст свои оригинальные мысли, чтоб ты списал?

— У Армена были хорошие сочинения, нужно было взять.

— Пошли выпьем. У кого сколько денег?

Дверь самолета закрылась.

Отъехал трап. Вскоре самолет поднимется в воздух и унесет — куда же он унесет? — с собой Армена. Увидятся ли они снова? Они боялись вопросов, но вопросы роились в их головах, искали выхода, требовали ответа.

— Трап снова подъехал к самолету,— вдруг заметила Мари.— Смотрите, дверь открылась. Кто-то вышел.

— Армен! — крикнула Лусик.

Потом закричали все.

Армен стоял на ступеньках с маленьким чемоданом в руке, и трап медленно подъезжал к ребятам. Дверь самолета вновь захлопнулась, заработали моторы.

Что случилось? Неужели Армен.... И вдруг весь класс хлынул на летное поле.

— Куда? Куда? — крикнула дежурная.

Но было поздно.

Они бежали навстречу Армену.

Армен спустился с трапа и помчался навстречу друзьям.

Встретились, как после десятилетней разлуки. Девочки смеялись сквозь слезы, ребята не знали, что делать. Каждый хотел коснуться Армена, дотронуться до него. Ошеломленная дежурная стояла возле них, ничего не понимая.

— Здесь нельзя, ребята, здесь нельзя,— бормотала она.

— Можно, тетя! — закричала Лусик.— Можно! Все можно!

— Ни о чем не спрашивайте,— сказал Армен.— Пошли отсюда скорее.

— Я знал, что ты не улетишь,— сказал Ваан.

— А сам я не знал,— Армен посмотрел на всех с невыразимой нежностью.— Ни о чем не спрашивайте. Ладно?..

После экзамена Мамян роздал свои письма.

— Прочтете, но не сейчас. А вечером пойдем в Разданское ущелье. Согласны? Непременно приходи, Ашот.

— Не знаю,— сказал Ашот,— нужно заниматься.

— Приходи.

...Они уселись на высокой скале, и Мамян сказал, что на этой самой скале они когда-то собрались с ре-

бятами, разожгли костер, написали на клочках бумаги имена девчат, в которых были влюблены, и сожгли. «Мы боялись: вдруг окажется, что двое влюблены в одну и мы потеряем дружбу. Детство, конечно. Так мы потеряли своих девчат. Ну а потом и друг друга. Но, видимо, что-то большее нашли».

— Сделались камнями храма,— в задумчивости произнес Ваан.

— Может быть.— Мамян на секунду отчетливо представил тот костер и удивился: неужели прошло целых тридцать лет?.. Потом очнулся.— Ну, давайте ваши бумаги.

Дали — после экзамена Мамян сказал, чтобы каждый на листе бумаги написал о своих обидах на товарищей, учителей. Пусть пишут без утайки, не щадя ни себя, ни других.

И вот эти листы.

Мамян собрал их. Читать не стал.

— У тебя есть спички, Ваан?

— Есть.

Зажег спичку и поднес огонь к бумагам. Костер горел всего несколько минут.

— Забудьте свои обиды. Считайте, что с этими листками сгорело все, что вас разъединяет. И помните этот день.

— Ребята взглянули друг на друга и на своего последнего — за эти десять лет — учителя... Последнего учителя... А внизу бежала река — многословная и многомудрая.

— Мы выросли,— вздохнул Ваан.

— Нельзя ли без слов? — сказал Армен.— Прошу вас.

— Мы все, честное слово, решили остаться в десятом классе,— сказала Лусик.

Ваан Мамян удивился:

— Почему?

1979

ОДИНОКАЯ ОРЕШИНА

РОМАН

— Рыба ищет, где глубже, человек — где лучше...
— Эту поговорку, наверно, рыбы придумали.

Из разговора

НЕСКОЛЬКО СТРОК, ПРЕДВАРЯЮЩИХ ПОВЕСТВОВАНИЕ

И было село, и в селе полным-полно ореховых деревьев, а самая величественная орешина росла на вершине горы. Гора была лысая, неприглядная, вся в колючках. И даже камни, усеявшие ее, казались одноцветными, унылыми близнецами — словно поработал над ними недовольный всем светом каменотес. На склонах горы не звенели родники, не пестрели цветы, не рос кустарник.

Никто и не упомнит, когда на Немой горе поднялось одинокое раскидистое чудо. Каждое являвшееся на белый свет поколение глядело и изумлялось, а потом глаз мало-помалу к чуду привыкал.

На гору никто не забирался, и орешина словно таила обиду на мир, на людей. Жила, зеленела, приносила орехи — и все вроде бы сама себе.

Она — ранней весной особенно, во время многоцветного буйства природы и прояснения небесной глади,— казалась написанной маслом на полотне небес. И чудилось: вот-вот художник-невидимка, нарисовавший это дерево, начнет спускаться с горы, украшая весь склон за собой родниками и подснежниками. Так чудилось Соне́ Камсарян.

Но художника все не было и не было.

Была лишь легенда об одинокой орешине. Кто сочинил ее? Может, сама Сона? Быть может, эта легенда вошла в нее из прочитанных книг и с годами заискрилась, заиграла красками в немых тайниках ее уединенной жизни.

...Когда-то давным-давно, в незапамятные времена, гора по весне наряжалась в зелень и цветы, звенели ручьи и птахи, а на самой вершине расцветала орешина. И в ущелье, и на горных склонах было полным-полно народу. В тяжелые дни все от мала до велика собирались под орешиной и слушали седовласого старца — никто и не ведал, сколько лет прожил он на свете. Мудрец изрекал умные и горькие слова — неведомо откуда знал он о содеянных людьми грехах, об их заблуждениях.

Все безмолвно внимали ему, и только на челе у многих проступали морщины. Люди припоминали еще тысячу грехов, неизвестных старцу, и душа их исповедовалась, очищалась. Каждый говорил с собой, а седовласый мудрец — со всеми.

Но пришло время, когда люди устали слушать и правда сделалась им ненавистна. Погрязли они в пороках, потонули в темном омуте грехов. И мало-помалу поредела толпа тех, кто внимал старцу. Людям хотелось подслащенного, а правда делалась все горше и горше.

И вот настало солнечное и несчастливое то утро, когда гора оказалась пустой. Старому мудрецу было что поведать людям, он забрался на самую макушку дерева, да некому было слушать.

Старик напрягся что было силы, голос его обрел мощь и полетел от ущелья к ущелью, от пещеры к пещере, от дома к дому. Полетел и назад воротился: люди наглухо заперли уши и сердца. Утехи были сладостны, истина больно жгла. А люди выдохлись — вот и все.

Голос мудреца догорел в воздухе и постепенно угас.

Еще и еще забирался старец на макушку орешины, но людей вокруг так и не было. И поскольку говорил он отныне только для себя, на седьмой день совсем умолк. Онемел?.. Больше его в этих краях не встречали.

Память людская — льдинка, и растаяло, бесследно исчезло безвестное имя старца.

Но наступил день, когда люди устали от наслаждений. Жажда утех породила раздоры, войны, дикость: брат грешил с женою брата, сосед шел на соседа, сыновья восставали против отцов. Очнулись грешные и затосковали по истине, пусть даже по горькой.

И вновь — но теперь уже обиженно и поодиночке, из разных теснин и пещер, непроторенными дорогами — потянулись люди на гору и вдруг неожиданно увидели, что гора лишилась красок, усеяна тусклыми обломками кам-

ней и поросла колючими шипами. Быть может, шипами этими она защищала свою наготу? Высохли на склоне ручьи, и птиц больше не стало.

Только орешина высилась зеленая, тысячеветвая, пуще прежнего величавая средь пустоты. Стояла она одна-одинешенька, подобно полководцу, лишившемуся войска из-за измены.

Люди кликнули старого мудреца — ответом было безмолвие. Люди заголосили — поначалу растерянно, поврозь, потом голоса их слились воедино, но отзвука не было. Женщины принялись рвать на себе волосы, гора содрогнулась от скорбных воплей, а мужчины в гневе сжали кулаки.

Орешина стояла не шелохнувшись, застывшая, отчужденная и казалась не деревом, а окаменевшим привидением. Люди коснулись ее листьев. От листвы потянуло стылостью металла. Рассвирепели люди и, толкая друг друга, полезли на дерево — они пытались обломать ветви, оборвать зеленую листву, но тщетно: листья, казавшиеся нежными и слабыми, не поддались варварским рукам, и ветви остались по-прежнему неуступчивыми и враждебными.

И взвыли все от немощи и безысходности, а потом в панике бежали — каждый своей тропой.

И опустела теснина — не было в ней больше горячей людской суматохи.

И задохнулись горы — не цвели цветы, не раздавались крики новорожденных.

Только орешина выжила, выстояла. Да еще легенда.

От деда Сона ее слышала? Вычитала в ветхой, пожелтевшей книге? Или родилась эта история и обрела плоть в раковине ее одиночества? Сона не задавала себе этих вопросов и не пыталась на них ответить. Но легенда не давала ей покоя.

Раза два в году Сона поднималась на вершину горы и долго-долго разглядывала орешину вблизи. Ветки были гибкие, упругие, и, казалось, невозможно сосчитать, сколько их; листва всегда изумрудная, орехи ядреные, влажные. Они словно в насмешку лопались, раскалывались сами собой.

А гора пустынна — утыкана колючками, терновником, усыпана тусклыми камнями-близнецами. Заглохли родники, и голоса навек умолкли...

Отчетливо слышала Сона лишь стук собственного сердца. Орешина склонялась к ней, чтоб растрепать ей волосы.

Потом Сона спускалась с горы вниз — туда, где лежала ее тысячелетняя деревня, ровесница орешины.

1

Увидав на пороге Огана Симавоняна, Ерем глазам своим не поверил. Но глаза его не обманывали.

— Да не черт это — я! Ну, говори поскорей: здравствуй, Оган, проходи, садись.

— Проходи,— как попугай, неосознанно повторил Ерем Снгрян и крикнул жене: — Сатеник, к нам гость!— Поднялся с тахты и сделал несколько шагов навстречу.

Руки они друг другу не подали, Ерем воротился к тахте, стоявшей впритык к столу, а Оган пододвинул себе стул.

Сели за стол — друг против друга.

Оган положил книгу, которую держал под мышкой, на соседний стул, снова взял в руки, раскрыл на загнутой странице и пробежал глазами несколько строк.

— В избу-читальню явился? — мрачно произнес Ерем.

Оган пропустил мимо ушей ехидное замечание, закрыл книжку, положил ее теперь бережно на стол и по-доброму, миролюбиво взглянул на своего давнего друга, с которым вот так, лицом к лицу, не сидели они уже восемь лет.

— Вчера за полночь у учителя засиделся. Знаешь, говорит, «Геворг Марзпетуни» [1] еще лучше, чем «Самвел» [2].

— А я ни то, ни другое не читал,— виновато признался Ерем.

Нет, беседа явно не клеилась. Оган невинно, по-детски взглянул на Ерема, который был старше его лет на семь-восемь, хотел было спросить о здоровье, о житье-бытье, да осекся. Ясней ясного вдруг вспомнил подробности их ссоры.

---

[1] «Геворг Марзпетуни» — исторический роман Мурацана (1854—1908), классика армянской литературы.

[2] «Самвел» — роман Раффи (1835—1888), классика армянской литературы.

Случилось это восемь лет назад. Ерем попросил у него небольшой кусок участка — для сына, дом построить. А он, Оган, ни в какую — ведь и у самого сын, и тому без дома не обойтись, а где найдешь другой подходящий для этого дела клочок земли? Ерем в последний раз наведался к Огану, уж так упрашивал, растолковывал, потом плюнул, махнул рукой и — к двери. Уже на пороге обернулся и бросил ему: «Беженец разнесчастный! Голытьба эрзерумская! Да чтоб хлеб твой тебе поперек горла встал!» И ушел.

Слов этих Оган не забыл. Вскоре сын Ерема подался в город. Дом ли был тому причиной или что другое — неведомо. Но только с тех пор Ерем с Оганом и не глядели друг на друга. Если при встрече был кто поблизости, хмуро здоровались: «Добрый день», «День добрый». Только и всего.

Дверь с шумом распахнулась — на пороге появились Вараздат и Каро, внуки Ерема.

— Уроки кончились? — спросил Ерем.

— Я пятерку получил, а Вараздат тройку,— сообщил Каро.— Учитель Камсарян сказал, что я Магеллан нашего села.

— А кто такой Магеллан? — поинтересовался Ерем.

Оган изловчился ответить раньше ребятишек:

— Великий путешественник. Он Америку открыл.

— Ты с Колумбом путаешь, дедушка Оган! — озорно сияя глазами, поправил его Каро.

— Ну, пусть будет Колумб,— мирно согласился Оган.

Ребятишки вышли из комнаты и побежали к бабушке в хацатун [1].

«Зачем он явился? — думал Ерем и не находил ответа.— А здорово сдал, хоть и моложе меня лет на восемь»,— заметил он с недобрым удовлетворением.

До ссоры с Оганом они не одну ночь коротали за беседой. Оган небось все книжки на свете перечитал. Потому, видать, одряхлел и усох. Но что правда, то правда: человек он ученый. Ерем произнес про себя фразу «человек он ученый» и почувствовал, что сдается. Что делать-то, что делать? Гость в доме — не выгонишь.

— Сатеник! — окликнул жену.— Выпить принеси чего-нибудь! И закуски, солений!..

На голове у Огана не осталось ни одного темного волосочка. С чего бы это? Какая у него боль? И сын, и

[1] Хацатун — помещение для выпечки хлеба.

дочка — все при нем. «Стало быть, от книжек,— решил Ерем.— Ясное дело, от них. А я вот только «Искры»[1] прочел да пару рассказов. И ничего — аппетит, слава богу, хороший».

— Уходим мало-помалу, переселяемся...— сказал Оган.

— Как, и вы?..

— К хачкарам кладбищенским поближе. Я вот про что. Есть пора, когда камешки собирают, а есть, когда бросают. Так вот нам вторая пора подошла. Поди, пара камешков и осталась-то...

— Каких камешков? — не мог сообразить Ерем.

Из хацатуна пришла Сатеник:

— День добрый, братец Оган,— бутылку водки прихватила, принялась уставлять стол едой.

— Оган вот заглянул,— виновато улыбнулся Ерем.— Про какие-то камешки говорит. Мол, бросать пора.

— Это из Евангелия,— Оган был доволен собой.— Сказано ведь: человек поначалу жильем, скарбом, друзьями-товарищами обзаводится, а под конец жизни мало-помалу все это теряет. Так в Евангелии написано.

— Выпьем,— сказал Ерем.— Стоит мне теперь пару стаканов этой растреклятой хлопнуть, как в глазах сразу мутнеет. А было времечко!..— Вспомнил, как они когда-то с Оганом кутили, и внутри у него что-то оттаяло. А ведь верно Оган говорит: столько всего своего по свету раскидано — сын вот есть, сноха, внуки, да где-то всех носит.

— Думал, выгонишь ты меня,— хмуро произнес Оган, потом вздохнул: — А что стоит-то беженца выставить? Мы к такому привычные...

Нет, нет, не хотел он бередить старых ран, не хотел укорять Ерема Снгряна с восьмилетним опозданием. Просто потекла, заструилась по жилам водка, нутро размякло. Сказать, что ли,— мол, мириться пришел? А есть ли в том нужда? Ерем сам понять должен. И будто невзначай спросил:

— Аргам вести шлет?

— Сноха письмо написала.— Беседа стала нащупывать русло.— Говорит, приедем.

Второй стакан опорожнили за приезд Аргама и Манушак.

---

[1] «Искры» — роман Раффи.

— А уж как приедут, выпьем по-настоящему,— сказал Ерем.— Я все глаза выплакал, мальцов жалко.

— Жалко,— повторил Оган.

День клонило к закату, окошки заголубели, а Огану не хотелось подыматься. И Ерем поймал себя на мысли, что не хочет, чтоб Оган уходил. Поплыли, поплыли смутные облака воспоминаний: события, имена, истории...

— Пойду,— запнулся Оган, покачнувшись.— Книжку бы свою не забыть. Лусик уже, поди, дома...

Ерем тоже встал и почувствовал, что земля под ногами ходит ходуном. Сел. Померещилось — землетрясение.

— Да не вставай,— пожалел Оган.— Я пошел.

— Пьян я, что ли? — вскипел Ерем.— Ты, стало быть, не пьян, а я пьян? Так?

— Ты ж на восемь лет меня старше,— сказал Оган.— Это немало.

— Да я у Андраника служил... Во-первых, на пять лет...

Сам не понимал, к чему приплел Андраника. Встал, удержавшись за стол, потом распрямился — ничего, устоял.

— Что свет не зажигают? — проворчал.

— Сыплет град над Ханасором,— запел Оган хрипло и фальшиво.

— А голос у тебя сильный,— уставился Ерем на друга мутным взором.— Голова седая, а голос ничего. Долго жить будешь...

— Пора камешки бросать,— философски заметил Оган.— Что нам осталось-то? Один-два камешка... Сыплет град над Ханасором...

— Хорошо, Оган, что ты пришел,— в первый раз назвал Ерем его по имени и схватился за плечо друга, чтоб не упасть.

— Не на том же свете мириться-то...— Оган был хмельной, потому и выпалил: — Мало, что ли, и без того у нас на том свете врагов?

2

Фиолетовый туман до краев залил ущелье.

Саак Камсарян вышел из школы, но домой идти ему не хотелось. Сона в Ереване, на экзаменах. Завтра, должно быть, вернется... Земля еще только пробуждается,

размягчается, и вместе с густым туманом в душу втекает густая грусть. А воспоминания плывут себе, плывут куда-то. Камсарян пробовал гасить их, как гасят сигарету, но сигарета какое-то мгновение еще дымит. Потом умирает и дым, а пепельница незаметно наполняется серым прахом воспоминаний. Воспоминания расслабляли Камсаряна — они старят человека.

Камсарян сел на камень. Ущелье содрогалось от грохота водопада, который с таянием снегов сделался мощнее.

«О, нежные девы армянской земли...» Почему вдруг пришла на память строка поэта? Камсарян приглушил в себе воспоминания о жене — не хотел в эту минуту, чтобы пробудились перед внутренним взором ее лицо, глаза, походка, голос. Армен пишет стихи, но ни разу отцу не показывал. Сказал — скоро напечатают, тогда и пришлет. Его сын — поэт. Что ж, заманчиво. Но участь поэта нелегка: людям он кажется счастливцем — слава, аплодисменты,— сам же страдает. А кто нынче переживать хочет? «Я откажусь от ценности страданий...» Чья это строка? Где он ее вычитал?

Жена тем временем незаметно появилась и села на ближайший камень. Окутанная фиолетовым туманом, сама она тоже была теперь туманно-фиолетовая и говорила о чем-то с едва уловимой радостью. «Куда ты уходила? Разве время было уходить, а? «Я откажусь от ценности страданий...» Ты откажешься... Мы откажемся... И что же с нами станется?»

Голос жены обрел окраску, слова отозвались в нем легким перезвоном: «Саак, помнишь, тебе не хотелось переезжать в Ереван? Ты хотел тут остаться. По правде сказать, я тоже. Тебе там работу по душе обещали, но ты все равно маялся. Трое суток у брата пожил, гору сигарет выкурил и сказал: «Собирай манатки, едем домой».— «Помню,— отозвался он.— Помню, Маринэ,— зазвенело имя жены, и было оно молодым и красивым.— Помню, Маринэ. А сын твой стихи пишет, знаешь?..»

Ущелье заполнилось голосами, небо опустилось совсем низко, и было оно тоже фиолетовым — протяни руку, нарвешь букет фиалок-облаков.

Саак Камсарян сказал сам себе: «Стареешь, братец. Ступай-ка домой. Воспоминания тебя ко дну тянут, как тонущий ребенок, который цепляется за твои ноги».

Надо бы сегодня написать ответ Михаилу Орлову. Хотя на его собственные письма никто не отвечает. «Наверно, бывают на свете и без вести пропавшие письма. А вот без вести пропавшие солдаты порой возвращаются»,— подумал он.

— Па! — это была Сона.— Я на день раньше вернулась. Все экзамены сдала!

3

«Да как я ему в морду не врезал? — терзался Размик Саакян.— А морда подходящая, бритая. Умудряются ведь такие каждый божий день бриться».

Грузовик то и дело подкидывало, и шофер клял на чем свет стоит дорожных строителей. Клял в полный голос — курил сигарету за сигаретой и ругался. А Размик ругал того тщательно выбритого ереванца, который заставил его пять раз мясо перевешивать. Ругал не вслух — про себя. Так, между прочим, еще труднее — крепкое словцо в тебе застревает, разъедает изнутри, и ощущение такое, будто дыму наглотался.

Интересно, чем этот тип занимается? Скорее всего, бездельник. И жена возле него — размалеванная курица. Видно, потому он и петушился. Да и жена ли? Нынче кто с женой на рынок ходит? Любовница, наверно. Ста граммов на три кило не хватало. Ну и что? Мир, что ли, рухнул? А они знают, каково ему эти граммы в килограммы превращать? Мысленно подсчитал дневную выручку: двести двадцать восемь рублей. Хорошие деньги. Пока Арамаис из армии вернется, как раз и скопится сумма на машину. И расходы Арто из месяца в месяц растут. Вчера он, сукин сын, еще кривился: «Ты что, мне только на курево давать будешь? Денежки свои солить, что ли, собираешься?»

— Сами-то вы хоть копейку отложили? Ну и выраженьица пошли у молодежи — «денежки солить»! Их и банкой меда не заешь.

— Что ты сказал? — обернулся к нему водитель.

Ага, значит, он думал вслух.

— Да я все с сыном спорю. Ну и молодежь пошла: сколько денег ни дай, все мало.

— А ты много давай.

— Деньги не сибех[1], чтоб пошел в горы нарвал. Каждая копейка в поте лица заработана.

— А я вот дорожных строителей кляну,— вернулся к своему шофер. И вдруг неожиданно спросил: — Что ты не куришь? Жить долго хочешь?

— А кто не хочет долго жить?

— Как думаешь, война будет?

Село было уже близко, и Размик решил пройтись до него пешком.

— Сколько я тебе должен? — спросил.

Шофер взглянул на него с хмурым пренебрежением:

— Сиди, даром довезу.

— Да погоди ты,— Размик достал пятерку.— Деньги — вода.

Вышел, подождал, пока машина, грохоча, исчезнет из виду.

«А здорово, что каждый год весна приходит,— подумал он.— Словно заново рождаешься. Надо бы зарплату получить. Зря я в Цахкашене не вышел. И с Восканяном бы повидался — он звал. Ну ладно — завтра. И домой зайду, к жене. Сколько же у меня домов-то? Арамаис в армии, Арто в Ереване, Асмик одной ногой в Цахкашене, другой — в Лернасаре, младшие в Лернасаре. Разрываемся,— вздохнул он с горечью,— и конца тому не видать».

Проходя мимо дома Гаянэ, вспомнил, что она ему долг не вернула. Зайти, что ли, попросить? И вдруг хитро улыбнулся: хороша, черт бы ее побрал,— полюбуюсь, пусть хоть глаза насытятся.

Гаянэ во дворе белье стирала. Руки выше локтей заголила, а они у нее полненькие, солнца видавшие самую малость. Стирает и мурлычет что-то себе под нос. Вдруг увидала Размика, подняла руки из корыта, вытерла о фартук, накинула на плечи шаль (а жалко) и улыбнулась.

— Добрый день, Размик.

— Я из города,— сказал Размик.— Куда городскому солнышку до нашего!

— Ездил Арто проведать?

— Ага. Говорит — женюсь. Сам еще копейки не заработал, а я теперь и жену его содержать должен, ну а через девять месяцев и ребенка.

---

[1] Сибех — съедобная зелень.

— Да, в городе рано женятся. Девчата там красивые — куда бедным парням деваться?

Размик пристально и довольно нагло смотрел на стоявшую перед ним женщину. Помутившиеся глаза оглядели-ощупали всю ее, с головы до пят. Блаженство показалось возможным, и он облизал губы.

— Ты этих городских красоток запросто за пояс заткнешь.— И вдруг неожиданно спросил: — А ты, случаем, не беременна?..

— От кого? — захохотала Гаянэ.— Разве в селе мужчины еще остались? Может, от тебя?

Ну, Размик, наберись духу, сделай еще шаг. Чем ты не хорош? Сорок восемь лет, зато здоровье — как у тридцатилетнего. А если побреешься да наденешь костюм, что висит себе дома в шкафу?

Молчание мучительно затянулось, и Гаянэ безошибочно прочла направленный на нее мужской взгляд.

— Ну, Размик, я пошла стирать. А долг тебе дня через два верну.

— Да что ты за женщина! Человек пришел, так в дом пригласи, стакан поднеси...

— Ступай, Размик. Ты не из тех, кого в дом пускать можно.

В голосе ее не было злобы, одна усталость — от однозначных мужских взглядов. Огорчилась про себя: «До чего ты докатилась, Гаянэ, если уж и этот на что-то надеется...» Мысль эта острием ножа кольнула в самое сердце. Сейчас пойдет в дом, захлопнет дверь и выплачется. Она смерила взглядом стоявшего перед ней мужчину, стиснула зубы, чтобы не бросить ему в лицо, прямо в бесстыжие глаза, пригоршню резких слов, словно это он, Размик Саакян, был повинен в ее разбитой жизни. Но удержала в себе эти слова, склонилась над корытом и снова принялась за стирку, будто Размик Саакян уже ушел, исчез, испарился, будто и не было его вовсе. Попыталась припомнить мотив, который напевала до того, и припомнила, и зазвучал он как плач.

— Хочешь сказать, за человека меня не считаешь,— он понял, что женщина отмахнулась от него — от него, Размика Саакяна, у которого три дома, полный карман денег, да и кровь еще кипит! Будь на его месте тот бритый ереванец, она небось перед ним бы юлила.

— Ну ладно, Гаянэ! — и ушел, мысленно ругаясь. Да, опять только мысленно.

А Гаянэ перестала стирать и растерянная вошла в дом. Долго стояла перед овальным зеркалом, гляделась в него, поначалу жалела, а потом прямо-таки ненавидела женщину, смотревшую на нее оттуда беззащитно и беспомощно. Вдруг морщинки заметила и стала яростно выдергивать отдельные седые волоски. И противно сделалось от своих грудей, напоминавших мешочки с выжатым мацуном. Быстро, нервозно надела лифчик. Тело ее было еще свежим, и лифчик сделал свое — фигура обрела подтянутость. Потом Гаянэ отыскала бордовое платье — надевала его всего раза три-четыре, но от него разило нафталином, и ее затошнило. Села полуодетая напротив зеркала и заплакала. Слезы были горячие, горьковатые. И лицо сразу постарело — явственнее проступили морщины: слезы их своим блеском выдали.

Зачем она осталась в этом селе? Почему не бежала отсюда? Для чего сделалась пленницей этих прелых стен, этих одряхлевших деревьев, рабой корыта и одиночества? Ответа не было, словно вопросы, подобно тяжелым камням, падали в глубокий, в устрашающе глубокий колодец.

В этом доме она родилась, тут ребенком плакала в подушку, тут, глядя вот в это зеркало, впервые залюбовалась собой — обнаженной, юной, красивой. Да, красивой. И здесь же, в этом доме, она мало-помалу утрачивала и молодость, и красоту.

Заблудшая птаха с шумом влетела в окно и стала метаться по комнате, колотясь о стены. Потом уселась на телевизионную антенну. Видно, показалась ей антенна сухой древесной веткой.

Гаянэ быстро надела бордовое платье, забыв про нафталинный запах, и привела в порядок растрепавшиеся волосы. Поискала помаду — не нашла.

Мать смотрела на нее с портрета, висящего на стене, и было ей там столько лет, сколько теперь Гаянэ. Похожа Гаянэ на мать? Мать не пустила ее в город, внушала ей: это твой дом, замуж тут выйдешь, ребятишек нарожаешь — сама ты как солнышко, так не дай погаснуть отчему очагу... Отца Гаянэ не помнила. Ей было годика два-три, когда ушел он на фронт и не вернулся. Остались от него пара фотокарточек да имя-фамилия на памятнике павшим...

Потом вдруг вспомнила растерянную физиономию Размика и засмеялась сквозь слезы.

4

Лусик с Варужаном зачастую по теплой погоде возвращались из школы в село пешком. Врам нехотя разрешал это сестре. Ничего не поделаешь — сестра уже барышня , барышней. Варужан — тоненький, стройный, книжки читает день-деньской. Да и что там ни говори, сын человека известного.

Ребята шли не проезжей дорогой, а ущельем. Варужан нес сумку девочки, и была та сумка намного тяжелее, чем его, хотя учились они в одном классе и учебники должны бы весить одинаково.

— Давай по воде походим,— сказала Лусик и тут же разулась — сняла туфли, чулки.— Положи в сумку.

Ноша Варужана стала еще тяжелее.

— А мою кто понесет? — произнес он бесхитростно, и взгляд его упал на открытые коленки девочки.

Лусик уже вошла в воду и для чего-то приподняла подол платья, хотя вода не доходила ей до колен.

— Теплая? — у всех красавиц из прочитанных книг и увиденных кинофильмов появились такие вот обворожительные коленки — остальное в кофейном тумане...

Потом видение рассеялось, и опять он увидел Лусик, которая, чуть приподняв подол платья и вздымая брызги, шлепала ногами по воде. Вокруг высились скалы, а над ними сияло яркое весеннее небо.

— Вода, говорю, теплая?

— А что, искупаться хочешь? — звонко рассмеялась девочка.— Раздевайся, я не смотрю...

— Зато я на тебя смотрю,— простодушно признался Варужан.

Не услыхала Лусик этих слов или смысл их до нее не дошел? Не услыхала, конечно, а то бы поняла. Варужан, подложив сумку под голову, растянулся на земле, но глаз не сводил с подруги. Она казалась ему феей — фея в коричневом школьном платьице.

— Если б найти укромное местечко, я бы искупалась...

— Озябнешь. Да и потом вытереться нечем.

— А у меня полотенце с собой. С чего, думаешь, сумка раздутая?

— А... в чем купаться? Не голая же будешь...

Девочка вдруг перехватила растерянный, беспокойный взгляд мальчишки, инстинктивно опустила подол

платья и с самым серьезным и смиренным видом вышла из воды.

— Хватит,— сказала,— а то простыну... Ты на меня больше не смей так глядеть.

— Как? — в испуге сел Варужан.

— А как парни на девушек в кино смотрят. Дай-ка полотенце.

— Ты на фею похожа. Из «Лебединого озера»...

Лусик нахмурилась, хоть ей и польстило сравнение.

— Гляньте-ка на принца! — И вдруг в ней шевельнулась женщина: — А ежели на меня сейчас нападут, что ты сделаешь?

— Кто нападет?

— Во дурак! — хлестнула полотенцем мальчишку.

Остальной путь шли молча.

— Ты впереди иди,— сказала она ему,— чтоб не глазел на меня, потому что я, может, влюблена. И сумку мне отдай, принц...

«Смеется надо мной,— подумал Варужан,— хочет меня кольнуть; во всех книжках девушки себя так ведут, это не новость».

Слово «фея» все еще звенело в ушах Лусик, ласкало сердце, манило. Глядя на шагающего перед ней паренька, она думала о том, что любимый ее будет высоким, голубоглазым и в любую минуту готовым за нее умереть. Представила себя с ним в Ереване, в кафе — а кругом много народу, музыка — они потягивают коктейль, парень шепчет бархатным голосом ей на ухо нежные слова, и оба смеются.

— Варужан! — но Варужан не обернулся — это еще что? — Варужан, ты что, оглох? — Паренек посмотрел на нее глубоким всепонимающим взглядом и промолчал.— У тебя девчачий характер,— подкусила она его.— Только, ради бога, не зареви. Платок дать?

— У меня есть,— хмуро сказал Варужан.

Нет, теперь за ним шла не фея, а... он не сумел подобрать слова.

Село показалось внезапно — словно пряталось и вдруг выглянуло из-за деревьев.

— Осточертело мне все у нас,— сказала Лусик.— Единственное светлое пятно — Сона Камсарян.

— Наше село древнее, ему тысяча лет,— каким-то жалким голосом произнес Варужан.

— Не село, а захудалая комиссионка.

Вдали на горе показалась Одинокая часовня.

— До свидания, Лусик.

— Всего доброго, принц,— девчонка весело рассмеялась.— Не забудь, и мое сочинение тебе писать.

Варужан недоумевал: почему это она вместо «до свидания» сказала «всего доброго»? Потом взглянул на сиреневатый силуэт часовни и вдруг припустил бегом по пустынным улицам села — туда, к Немой горе, к колоколам...

— Куда мчишься, Варужан? — это была Сона Камсарян.

— Здравствуйте, товарищ Камсарян,— Сона Камсарян показалась Варужану сестрой часовни, не феей. Феи перевелись, а «Лебединое озеро» — всего лишь балет.

5

Журналы — новенькие, только что из типографии, благоухающие свежей типографской краской — стопкой лежали на его столе. Двенадцать экземпляров — столько удалось достать. Один надписал Соне: «Загадочной отшельнице Лернасара от беспутного брата». Решил и отцу надписать, поколебался — не сочинить ли двустишие, но на страницу легли простые слова: «Отец, дорогой мой критик, можешь поздравить меня с боевым крещением». И подписался полностью: Армен С. Камсарян. «А фамилия Камсарян,— подумал он,— звучит вполне поэтично. Редкая фамилия. Какой-нибудь герой Мурацана мог ее носить. Но кто теперь читает Мурацана?»

Купил бутылку шампанского. С кем разделить сегодняшний вечер, свою радость? Сона, не прочтя еще, возликует, захлопает в ладоши: ура, брат — поэт!.. Отец без улыбки наденет очки, сперва посмотрит содержание журнала, а потом не спеша отыщет страницу, где сын напечатан. Будет читать, вникая в каждое слово, припомнит любимых поэтов, начнет сравнивать. Терьян, скажет, нашел бы другие слова... Но, конечно, в душе порадуется. Он славой не пренебрегает. Может, и то, что к селу прикипел, тоже тщеславие. Здесь он большой человек, все уважительно встают, когда подходит. Люди, гораздо более пожилые, чем он, спрашивают у него совета. Одним словом, учитель. Бывали у него, говорят, видали, какие он книги читает? Не дом, а академия... Отцу это по душе. В городе станет он рядовым прохожим. Если кто и по-

приветствует уважительно на улице, значит, земляк, из их села сюда переселился.

— Будь здоров, Армен Камсарян! — чокнулся стаканом с бутылкой, но она не зазвенела — была еще полная.— Будь здоров и не унывай!

Шампанское казалось теплым, закусить было нечем. Можно было бы попросить у хозяйки немного хлеба и сыра, но она тут же решит: «Опять у тебя гости... Я вроде предупреждала, когда сдавала комнату: никаких гостей! У меня три дочки взрослые». Нет, не нужно ни хлеба ее, ни сыра. Выпил еще стакан. Шампанское показалось холоднее.

Улыбнулся. «Подарю-ка завтра один номер редактору. Он так и подскочит: и ты поэт? Шарахается от поэтов, как от чумы. Особенно от новичков. Хотите себя показать, говорит. Ни грустить толком не умеете, ни радоваться. А не снимет меня с работы? Плевать. Хозяйке подарю. Пусть знает, какой у нее жилец. А вдруг сдирать больше станет? Скажет: гонорар получаешь, строчка — два рубля, килограмм мяса. Нет, поправлю ее, семьсот грамм. Пусть так, скажет, три строчки — два кило мяса. Мало, что ли?..»

Вдруг перед глазами возникло — повисло на стене как импрессионистская картина — родное село. И отца жалко, подумал он, и сестра пропадает пропадом в этой дыре. А завтра в кафе «Алые паруса» ему перемоют все косточки и от бедных его стихотворений камня на камне не оставят. Там собираются только непризнанные гении. И ничего-то им не нравится, все ими читано-перечитано, от всего они устали, и вся их надежда на двадцать первый век. Если бы разделали под орех кого-нибудь другого, он был бы на их стороне, был одним из них. Когда кого-нибудь печатали в журнале, а тем паче издавали книгу, на удачника смотрели с сомнением: будь он настоящим гением, не напечатали бы. Ну а раз напечатали, значит, чего-то не хватает.

Нет, завтра, когда он войдет в кафе, его будут приветствовать. И о стихах не заговорят. Скажут: «Неси бутылку вина и кофе. Гонорар получил? Нет? С гонорара шампанского купишь».

Так вот. А когда забулькает в их горле дешевое вино, начнут все крушить: «Театра у нас нет и не будет... У Паруйра Севака две вещи, да и те от Чаренца. Пройденный этап. Второй Чаренц? Стоп! Вот Маркес... Архи-

тектура? С храмов Рипсиме и Звартноц уже сдувать устали! Хоть караул кричи!.. Кто из новых! Вардгес Петросян со своими моралистическими проповедями уже надоел. Смотрели «Последний учитель»? Не смотрели? Ничего не потеряли... А Грант Матевосян? Сидит в центре города и стонет по селу! Тоска! Скучаешь, так брось квартиру и поезжай в село... А вино-то испарилось. Давай, Армен, в счет будущего гонорара. Вместо бутылки шампанского можно взять четыре «Арени». Две сейчас неси, а две будешь нам должен...»

В этом гаме Армен услыхал и свой голос.

В дверь постучали.

— Заходите!

Вошла самая младшая дочка хозяйки.

— Мама просит плату за этот месяц. Говорит, правда, на два дня раньше, но очень надо.

— Кобо Абе! — очень серьезно сказал Армен.

— Что? — у девчонки глаза округлились.

— Завтра вечером дам. Маме привет передавай.

— Обязательно,— девчонка закрыла за собой дверь.

Что «обязательно»? Обязательно передаст привет? Или обязательно нужно денежки выложить? Армен не понял. Вылил в стакан золотившийся на донышке бутылки последний глоток шампанского. Чокнулся с бутылкой.

— Кобо Абе!

Бутылка на сей раз зазвенела — как все пустое.

6

...В тот день попозже среди ночи, Саак Камсарян напишет в общей тетради: «Явились в который уж раз, чтобы убедить меня, а может, теперь и заставить, спуститься в долину. Выпили пару стопок возле памятника, запечалились и уехали, так и не сказав, зачем приезжали. А село того гляди в пустыню превратится — в пустыню без песка, без лютого солнца и караванов верблюдов. Напрасно звенят ручьи, напрасно плодоносят деревья, напрасно дождик льет — для кого?..»

Дорога была ухабистая, каменистая. Для телеги, для конного, но уж никак не для автомобиля. Однако автомобиль — двенадцатилетний измученный «виллис» — чуть

не ползком поднимался по ней. Немного погодя он начнет спускаться, а потом опять... Водитель проклинал дорогу, лейтенанта Антоняна, сержанта Аматуни и особенно учителя Саака Камсаряна. Ругал их про себя, можно даже сказать, культурно. Одно неловкое движение, потеря одной только капельки внимания и... кувырнутся они вниз, распростившись и с делами-заботами, и с жизнью, и с руганью.

И несмотря на все, дорога была удивительно красива. Опасна и красива. Ведь все красивое опасно. (Это не водитель придумал. Это фраза автора, который, хотим мы того или не хотим, сидит четвертым пассажиром в этом дряхлом усталом «виллисе».)

— Ты пешком в Лернасар ходил? — спросил лейтенант Антонян.

Сержант, у которого была благородная княжеская фамилия, докуривал восьмую сигарету. Он утром основательно поругался с женой: сын заявил, что родителей опять в школу вызывают, а жена ему — ты отцу скажи, пусть он хоть раз постоит перед учителями, покраснеет. Только на работу заявился, лейтенант Антонян говорит: в Лернасар махнем, по Камсаряну не соскучился?..

— Ходил туда в детстве. Вернее, из Лернасара. Брат из армии вернулся, ну мы и ходили его встречать. За два часа дотопали.

— Резвые.

— Я брата больше трех лет не видал.

— А спокойно за сколько бы часов добрался?

— Спокойно я не ходил.

Стояла ранняя весна. Река текла полноводная, мутная. Миндаль только еще зацветал. Цветы были белорозовые, какие-то чужие средь нагромождения суровых, опаленных солнцем камней. Казалось, в этой теснине собраны мировые запасы камня. Камни любого оттенка, любой величины. И любой камень в любое мгновение мог сорваться и поставить точку на твоих размышлениях.

— Мне уже осточертела эта дорога,— сказал Антонян.

А сержант Аматуни любил это ущелье. Он тут каждый камень, можно сказать, в лицо и по имени-отчеству знал. Знал, где абрикос цветет, где миндаль и шиповник, где кресты на скале выбиты — неизвестно когда, неизвестно зачем...

— Если учитель спустится в долину, считай — конец, все вслед пойдут.— И вдруг обернулся к Аматуни: — Послушай, Сергей, а почему Камсаряна учителем прозвали? Он ведь когда-то агрономом был.

— Да, был,— отозвался Аматуни.— Лет пятнадцать повкалывал, а потом вроде бы захворал. Отец говорил, он три университета окончил, гора книг дома. Я его узнал уже учителем. Но удивляюсь — умный вроде человек, а не соображает, что зря за село цепляется, ведь там народу раз-два — и обчелся. Хоть нас бы пожалел — по такой дороге трясемся. Если он из села уйдет, там никто не задержится, все за ним потянутся.

— Уйдет! Заставим уйти! Закон есть закон. А мы не туристы, чтобы туда-сюда мотаться.

Но сержант Аматуни знал Камсаряна лучше. Как-никак два года у него учился, и Камсарян с тщетным усердием пытался вдолбить ему грамматические правила. А на кой они сдались? Однако в сержанте осталось некое благоговение перед учителем — человек он ученый, на любой вопрос ответить может.

— Поговорим построже. А не послушается — заставим!

— Заставим...— безучастно повторил Аматуни.

По дороге одиноко брел человек — молодой, с бородкой. Выглядел он усталым.

— Остановиться? — спросил водитель.

— Чужой,— сказал Антонян.— Останови.

Они уже было проехали вперед. Аматуни вышел из машины, помахал рукой бородачу. Тот в ответ улыбнулся и тоже помахал — мол, спасибо, езжайте...

— Валяй,— велел Антонян водителю.— Нынче полно на свете чокнутых.

— Главный чокнутый — там,— сказал Аматуни и ощутил неловкость: ляпнуть такое об учителе, отец по сей день перед ним преклоняется.

Бородач остался позади, а потом его сглотнул очередной извив дороги.

— Все-таки надо бы документы проверить,— заколебался лейтенант Антонян.— Неизвестно, кто он такой есть.

— А борода — не документ? С вывихом. Жаль, на бороде печати не ставят...

Машина ехала по воде: с горы бежал поток, и был он мутен, как душа Аматуни. Куда они едут, зачем?

Если б он зубрил в свое время грамматику, был бы теперь другим человеком, другим делом занимался, а не ездил вот так людей принуждать.

— Тьфу! — сплюнул он как бы в продолжение своих тайных мыслей.— Будь он проклят, наш хлеб!

— Сегодня вопрос решится,— резко сказал Антонян.— Буду действовать согласно закону!

Село открылось взору сразу. И тут же стал слышен шум водопада.

Сперва показалось кладбище на горе, потом на вершине серебристой скалы прорисовалась Одинокая часовня. День стоял погожий, прозрачный, каждая складка гор была отчетливо видна, как морщины на качественном снимке, запечатлевшем старика... Машина пересекала мутный поток.

— У меня аккумулятор сел,— пробормотал водитель, пока еще просто так, на всякий случай, поскольку это было всего лишь его тревожным предположением.

— Езжай селом!

— А где его взять, село-то? — хмуро возразил Аматуни.— Вон он, учительский дом!

Машина выскользнула из потока, кряхтя одолела подъем, проехала мимо наскальных крестов и остановилась. Посреди дороги была каменная насыпь. Люди камней навалили, а то кто же? Ишь ты, забаррикадировались.

— Да... чтоб вас!..— ругался шофер.

— Пошли пешком,— предложил Аматуни.

Почему-то вспомнил, как в детстве они тут, возле наскальных крестов, в прятки играли. Вышел из машины и неосознанно потянулся рукой к поистершемуся узору хачкара — камень был горячий. Потом вдруг заметил, что трещина, тянущаяся сверху донизу, отдает голубизной. И понял, что в ней фиалки пробились.

Из-за камней показался Оган Симавонян.

— Здравствуй, дядя Оган,— поприветствовал Аматуни.— Где учитель?

— Доброго вам утра,— отозвался старик.— Учитель?.. Не знаю. Не видал сегодня. А в чем дело-то?..

— Не видал? — разозлился Антонян.— Будто в Париже живут! Семь человек вас осталось — с утра до вечера, наверно, сидите нос к носу. Париж!..

— Что за Париж?

— Город такой. Большой. В восемь раз больше Еревана.

— В восемь раз? А где это?

— Да от вашего села в четырех тысячах километров будет.

— Ну и в глухомани же такой городище выстроили! Не слыхал...

Антонян хохотнул, а потом решил, что старик над ними насмехается, и в тот же миг заметил у него под мышкой книгу.

— Езжай к учительскому дому,— велел водителю.

— А учителя дома нет, он где-то тут,— проговорил старик и неспешно пошел вверх по тропинке.

— Да как я по этим камням? Ведь государственная машина!

— А если б собственная, поехал бы?

— Машина государственная! А ноги, товарищ лейтенант, собственные! К тому же и воздух тут свежий.

Аматуни уже шагал по дороге, ведущей к селу.

— Стой! Иду! — крикнул ему вдогонку Антонян.

— А я чуток вздремну на холодке,— сказал шофер.

— Спи,— вздохнул Антонян.— Завидую тебе.

Саак Камсарян протирал тряпкой памятник павшим. Ночью дождь хлестал, ветер залепил туф грязью, землей, и туф в себя эту грязь, эту землю впитал. Камсарян чистил памятник спокойно, неспешно, словно все прочие дела на земле уже переделаны.

— Добрый день, учитель.

— Здравствуй, гражданин Камсарян.

— А, это вы? Здравствуйте. Я издали увидал машину. Подумал — продукты везут...

— Продукты распределяют по селам, а Лернасар...

Камсарян с горечью посмотрел на лейтенанта милиции. Глаза у учителя были голубые-голубые, тщательно выбрит, в коричневом пиджаке. Только вот подошвы ботинок в грязи. «И бреется каждый день,— подумал Антонян.— Охота же ему. На что ты, скажи пожалуйста, физиономию себе скребешь?»

— У меня работа долгая,— сказал учитель.— В дом идите, перекусите — небось голодные? Дверь не заперта. А я следом приду.

— Какие ребята были! — вздохнул Аматуни: он чи-

тал выбитые на черном туфе имена, пятьдесят семь имен — хорошо помнил, что пятьдесят семь.

Камсарян прервал на мгновение работу, посмотрел на Аматуни, горькие слова подкатились к горлу, хотя Камсарян питал слабость ко всем своим ученикам, даже к таким, которые не отличались ни прилежанием, ни способностями. Однако горечь, сжимавшая горло, требовала выхода:

— Еще нет решения, чтобы памятник снести? А то, может, распилить его по именам, потом где-нибудь вдали на асфальте собрать? Или родные пусть унесут куски с именами — каждый к себе домой.

— Какие ребята были! — снова вздохнул Аматуни.— Старший брат говорил, что Норайр Симонян стал бы великим астрономом... Если б он остался жив, сейчас наше село было бы вместо Бюракана.

Имя Норайра Симоняна было выбито на черном туфе среди прочих имен.

— Да, Норайр бы стал,— вздохнул Камсарян.— Я его помню. Ночи напролет не спал. Заберется на крышу и глядит, глядит на небо. Тут небо близкое. А Вардан Мноян мог за день два гектара травы скосить. И так весело, с песнями.

— Два гектара? — изумился Антонян.

— Жена его, не успела похоронка прийти, с каким-то сопляком в райцентр удрала. Теперь, говорят, в Ташкенте живут. Бедный Вардан...— печалился Аматуни вслух.

— А вот Геворг Испирян,— сухо перебил его Камсарян.— Это сын Асанет. Ты его вряд ли помнишь...

— Помню,— сказал Аматуни.— И матушку Асанет помню. У тебя выпить не найдется, учитель?

Антонян искоса глянул на Аматуни.

— Да, неплохо бы холодного тана[1], горло пересохло,— сказал Антонян.

— На могиле тан не пьют, товарищ лейтенант. А это могила.

Антонян растерялся.

— Да я не сказал — тут. Просто, говорю, пить хочется.

Камсарян спустился по ступенькам памятника, сдвинул камень у основания фонтанчика и достал из укрытия

[1] Тан — кисломолочный напиток.

початую бутылку водки. Разлил по стаканам. Протянул сперва Аматуни, потом Антоняну:

— Выпьем.

— За вас, ребята,— почти со слезами в голосе произнес Аматуни, потом подошел ближе и тихонько коснулся стаканом камня с именами: чокнулся с одним, вторым, третьим и так до последнего.— Эх...

Антонян выпил молча, и что-то в нем вроде бы надломилось. Устало опустился на камень.

Учитель сделал глоток и снова подлил в стаканы.

Выпили.

А потом выпили то, что осталось на донышке.

— Никто к тебе не вяжется, учитель?

— Да кому ко мне вязаться? Если бы!..

— Ха-ха-ха! — засмеялся Антонян.— Если что, звони, приедем...

Они ведь знали, что в селе последний телефон отключен три месяца назад.

— Да, хотя... Ну тогда какого-нибудь пацана за нами пошли.

Усомнились: а кого?

— Официальную бумагу напиши. Мы уши им оборвем.

Знали, уже три месяца село писем не шлет, не получает — почту упразднили.

— Я закричу,— печально сказал Камсарян.— Закричу, вы услышите.

— Отсюда в райцентр? — простодушно удивился Антонян.

— А чем я хуже Огана Горлана?

— Кто такой Оган Горлан? — спросил Аматуни.

Антонян со снисходительной усмешкой взглянул на сержанта. Аматуни опять спросил:

— Что — человек такой горластый был?

— Был,— сказал Камсарян.

— Хороший день,— улыбнулся Антонян.— Горы, солнце.— Потом обернулся к Аматуни: — Оган Горлан был двоюродным братом Давида Сасунского.

— Братом его отца,— уточнил Камсарян.

Сели, закурили.

Камсарян был занят своим делом — скоблил, чистил памятник.

— Пошли,— сказал Антонян,— Овик, наверно, на земле спит — простынет.

— Так не выпил, лейтенант.
— Подумай, учитель. И нас ведь жалко.

...Камсарян грустно глядел вслед уходящим. Уходили люди. Хоть полчаса, да было на две души больше в Лернасаре. Немного погодя затих шум мотора. Потом машина вынырнула уже далеко, у кладбища.

— Уехали? — послышался голос Огана. Он, оказалось, тут, за ближайшим камнем, сидел — ждал, пока уедут.— А зачем приезжали?

— Ребят помянули.

— Для того и явились?

— А что, мало?

— Э! — недоверчиво махнул рукой Оган и засеменил прочь.— Пойду книжку почитаю.

Камсарян остался один. Возле памятника. В селе. А может, на всем белом свете. И почувствовал себя вдруг последним жителем Земли. Посмотрел на горы печально, дружелюбно. Они тут останутся, им переезжать некуда, потолки городских квартир для них низковаты. Но горы не сдвинутся с места и в том случае, если потолки сделать на высоте трех-четырех тысяч метров. Небо — их потолок. Ни горы не уйдут, ни он не уйдет. Понял вдруг, что не имеет права умирать, хотя, возможно, жизнь — наказание, а смерть — сладкое блаженство.

Вдали — дзинь! дзинь! — прозвенел звонок. У Соны уроки кончились, подумал Камсарян и усмехнулся, глубоко затянувшись сигаретным дымом. Смотрел, как белесоватый след дымка растаял в прозрачном воздухе, исчез в мгновение ока. Кто там идет? Незнакомый, русоволосый. Усы, борода. Значит, молодой.

Незнакомец подошел, остановился у памятника и несколько мгновений молча его разглядывал.

— Здравствуйте,— заговорил он на ломаном русском.— Красивая ваш деревень. Мне рассказывали много.

— Здравствуйте,— сказал Камсарян.— Кто рассказывал?

— Я немец. Берлин. Учусь Ереван университет.

— Пешком пришли?

— Да, пешком. Удивительный ущелье. Где вы взял столько камень? Церков далеко?..

— Которая? У нас их три. Самая далекая вон та. Видите? — указал он на Одинокую часовню, вырисовывавшуюся на вершине скалы.— Церковь святого Степа-

носа в ущелье. Склон очень крутой, палку возьмите. Церковь Спасителя над водопадом. Разрушилась.

— Что еще могу видеть ваша деревень?

— Идите, все увидите. На кладбище были?

— Да. Прекрасный кресты.

— Вы не голодны?

— Спасибо, на дорога кушал.

— Если буду нужен, спросите, где дом учителя.— И усмехнулся — кого он спросит? — Вон тот, между двух развалин!

— Найду.

Больше незнакомец ничего не спросил и стал медленно подниматься к Одинокой часовне.

Камсарян сел на ступеньку памятника, закурил.

7

Кладбище было свидетелем рождения Лернасара — по старым надгробьям можно определить, когда родилось село. Кладбище станет свидетелем и смерти Лернасара — по новеньким надгробиям лет через пять—десять можно будет определить, когда село умерло. Камсарян представил себе эту недалекую перспективу.

— Этому не быть! — сказал он в полный голос, глядя на восьмисотлетний хачкар вардапета[1]. Этот хачкар — свидетель рождения села и ровесник монастыря святого Степаноса. Видно, под этим прекрасным хачкаром и погребен один из настоятелей. Но какой?.. Село несколько раз побывало в руках турок — это еще в первую мировую войну. Главной заботой турок было взорвать монастырь. Сделали подкоп под основание, заложили взрывчатку. От взрыва рухнул купол, а стены все-таки устояли. В расщелинах фундамента и по сей день чернеют пробоины. Видно, взрывчатки не хватило или что-либо другое помешало. Зря потели, стало быть, бедняги...

В те годы они стерли с лица земли нижнюю часть кладбища. Конюшни строили — и, видно, камни понадобились. А тут пожалуйста, гладкотесаные. Да и хачкары им, наверно, приглянулись, подходящими показались для этого дела. Развалины конюшни остались по сей

[1] Вардапет — архимандрит.

день, и по сей день можно увидеть несколько надгробных плит и один хачкар — они замурованы в грубой кладке стен и кажутся кружевной раной.

В 1918 году село несколько раз переходило из рук в руки.

Для Камсаряна это, пожалуй, самые мрачные страницы истории села. А одна история, подобно ржавому гвоздю, впилась в него и не дает покоя. Что это — темный вымысел или правда? Трудно сказать. Но у какой легенды нет жизненной основы? Вот что рассказывают старики.

Весной 1918-го вернулись лернасарцы в свое село, к своим очагам. Но как-то ночью опять раздался выстрел. Село в тревоге пробудилось, и люди с криком: «Турки! Турки!» — в панике покинули дома. За ночь село опустело, и утро застало пустые улицы, брошенные дома. Но где враг? Не видать... А через несколько дней выясняется, что той ночью стреляла женщина-сельчанка. Мужа ее дома не было — в Ереван или еще куда по делам уехал. И она, заслышав топот копыт, со страху или для острастки выстрелила в воздух из мужниного охотничьего ружья. Утром возвращается в село муж, видит жену одну-одинешеньку в пустом селе, забирает ее, ребятишек и уходит в горы. Единственный выстрел — и село опустело!

Мысль эта терзала Камсаряна, неумолимые вопросы огнем жгли душу. Ну как, как могли они так оставить село, не оглянуться, не отыскать врага, не вступить в схватку, не сопротивляться?.. Понятно, напуганы, утомлены, враг силен и жесток, но, боже мой, ведь только один выстрел!

Внизу, средь неподвижных немых камней, он заметил человека. «Нет-нет, ему я эту мрачную легенду не поведаю».

— Так много красиво я давно не видел,— сказал немец.— Ваш народ что сделал с камень?..

— Да, в самом деле, в этом селе были хорошие мастера по камню. Жаль...

Студент не спросил, куда делись эти мастера. Он не спросил, а где вообще сельчане. Либо уже знал, либо — что правдоподобнее — был по-европейски осторожен и воспитан: чужой боли не коснется.

— Какой это деревья? — спросил.

— Ореховые. Их теперь мало. А в старину все ущелье

в них было. Выносливое дерево. Корни его даже базальт пробивают.

— Прекрасный хачкар. Очен стар, да?

— Это работа примерно двенадцатого-тринадцатого века. Видите, в углу ореховые ветви, плоды. Значит, еще в то время...

— На эта земля присутствуют века. Даже страшно.

— Века — это еще и груз. Трудно под таким грузом молодым оставаться.

— Но армяне могут.

— Если под грузом веков не согнемся. Если же согнемся, только под ноги себе смотреть будем. А нужно и вокруг смотреть, и оглядываться порой, а главное — смотреть вверх и вперед. Вот вы все шагаете и знаете, что это так. А народ ведь тоже пешеход.

— Вы интэресно говорите,— улыбнулся немец.

— Я сельский человек, сын учителя, а дед мой был каменотесом.

— Вы помните свой дед?

— Я его не видел. Рассказывали, он пытался восстановить разрушенную арку Одинокой часовни. Несколько месяцев трудился, потом разуверился в себе и выбил на камне: «Понял, что слаба моя вера, а умения — ничтожная капля». И закинул свой молот в водопад. Так старики говорят.

— Прекрасно,— сказал немец.— Слабая вера, уменье — капля. Прекрасно.

8

Сона закрыла дверь класса и вслед за учениками стала медленно подниматься по тропе, ведущей в кузницу. Школа находилась в нижней части села, на берегу речки. Несколько раз ее затопляло во время половодья. Стены были сырые, прелые, штукатурка кое-где пообвалилась. Домой она не пойдет. Возле кузницы ее, как обычно, будет ждать Левон. Наверно, он уже пришел — сидит на камне и нервно курит сигарету за сигаретой.

В школе осталось семь учеников. В «школе»... Слово зазвенело в ушах Соны, и от звона этого печаль ее сделалась еще темней. Так называемая школа размещалась теперь в одном классе, на четырех ученических партах. Двое ребятишек — третьеклашки, один — в пятом, остальные четверо буквы учат.

На фоне дикой природы нежная фигурка Соны казалась нарисованной легкими линиями. Среди замшелых опаленных скал девушка выглядела сказочной принцессой, которая идет будить заколдованного, обращенного в камень королевича. В один из этих камней. В какой?..

Солнце припекало, влекло, манило, и плененное на целую зиму теплой одеждой девичье тело потихоньку от нее освобождалось. Сона присела на камень и, оглянувшись вокруг, быстро сняла чулки. Потом посмеялась над собой — кто ее мог увидеть? Ногам сделалось щекотно от резковатого весеннего солнца — будто ежик их коснулся. Отец ее ждет и опять примется теребить, чтобы в воскресенье она съездила в Ереван. Волнуется за Армена. Сона и хотела поехать и в то же время боялась. Сумасшедший ритм большого города за несколько минут тобой овладевает, включает в свою огневую пляску, и ты хочешь не хочешь должен ему подчиниться. Может, с Левоном поехать?..

На тропинке синело несколько фиалок. Сорвала. На самой стежке выросли! Значит, давно люди по ней не ходят. Сделала букетик, пошла. Гора купалась в облаках и, казалось, вся была разукрашена какими-то синими бабочками. Склоны ее слились с небесами, а вершина походила на свесившийся с небес колокол. Гору Сона прозвала Немой, хотя было у нее и другое, официальное имя, упоминаемое на картах и в учебниках...

Левон и впрямь походил бы на спящего королевича, не будь у него меж пальцев недокуренной сигареты. Он разлегся на траве, подложив под голову камень и прикрывшись... солнцем. Сона подошла и неслышно села возле него. Наверно, и этой ночью поздно уснул — вызов, операция.

В тишине издалека долетал голос Красавицы. Весенние воды, видно, переполнили ее, и она разлилась — шум стал мощнее. У водопада нет имени, да и речку Сона сама назвала Красавицей. А Глухую гору не видать. Нужно до самой Одинокой часовни подняться, чтоб она показалась. Есть, по всей вероятности, в ее недрах скрытые воды, и потому она время от времени вздыхает. Воды просят выхода, но гора глуха, до нее не доходят их жалобы. Ничегошеньки она не слышит. А на Немой горе ни одного родника — молчит от рождения. Даже птиц нет на ней.

— Я что, уснул, Сона? — Левон открыл глаза.

— Спи, спи.

Левон сел, потом потянулся к девушке, хотел было обнять.

— Пусти. Увидят еще.

— Кто? — удивился парень.— Кто увидит-то?

— Гора.

— Она Немая, а значит, умеет держать язык за зубами. Наверно, чтобы хранить секреты, нужно немым родиться. Другого выхода нет.

— Говорят, когда-то она не была безъязыкой — в старину разговаривала.

— Байки твоего папаши. Он...

Девушка холодным, жестким взглядом предотвратила продолжение фразы.

— Ладно, давай зайдем в кузницу,— сказал парень.

— Успеем. Прекрасный день, солнечно.

— И чулки сняла. Как мне теперь быть...

— Бесстыжий.

— Это весна бесстыжая.

Кузница давно уже кузницей не была — только стены, потолок, в некоторых местах осевший, да кое-какой лом. Вошли, сели на свое обычное место — на длинную деревянную скамейку. В горн кто-то наложил дров.

— Затопить? — спросил парень.

— Не надо, а то кузнецы сбегутся.

— Ты в сказке живешь.

— В воскресенье съездим в Ереван? Отец очень просит Армена проведать.

— В это воскресенье?

— Ну ладно, я одна поеду... А знаешь, стихи Армена в журнале напечатали, с фотографией. Он прислал. Будет знаменитостью.

— Школу когда закроют? То есть каникулы у тебя когда?

Школа, каникулы... Слова эти прозвучали иронически, но Сона постаралась иронии не заметить.

— Через два месяца, как все школы.

— Значит, в конце мая?

— Что ты меня допрашиваешь?

— Да нет у меня больше терпения, пойми! Хватит в прятки играть! Мы не дети. На дворе вторая половина двадцатого века — стриптиз и черт-те что, а двое любящих назначают друг другу свидания в заброшенной кузнице.

— Прекрати, ты свободен.

— А ты — рабыня! Рабыня отца, рабыня разрушенного села, рабыня разных нелепых баек!

— Да, наверно,— миролюбиво согласилась Сона.— А ты свободный человек. Кто тебе мешает?

— Люблю тебя. Это и мешает. Мало?

— Знаю. А я люблю еще и отца, и это село, и мою школу, в которой осталось семь учеников.

— А что ты станешь делать в сентябре, когда и этих семерых не будет?

— Как то есть не будет?

— Не будет, и все. Последние семьи скоро спустятся в долину. Имеют ведь они на это право? Верно?

— Все не уйдут.

— Ну, предположим, вы с отцом доведете троих учеников до шестого класса. А дальше что? Дети в селе не рождаются и, по-видимому, никогда больше не родятся...

— Замолчи! У меня будет двадцать два ребенка! — и вдруг прорвались давно сдерживаемые слезы.— Да, двадцать два! Целый класс, целая школа!

— От кого, если не секрет? — попытался Левон обратить все в шутку.

— Не бойся, найду такого же раба, как я.

— Успокойся, Сона. Я вижу, и ты устала, маешься. Но как позволяет отец, чтобы ты... Родной отец...

— А отец, думаешь, не мучается?

— Его время прошло, он не должен позволить, чтобы ты... Пошли к отцу, я ему все скажу.

— Где ты машину оставил?

— Возле моста. Река разлилась... Машина из строя выходит. Я устал.

— Машина твоя устала. Обидно — ты ее меньше года как купил...

— Прости, я ни на что не намекал...

Парень обнял ее хрупкие плечи, ощутил лицом шелковистость волос, и поцелуй затянулся. Девушка ослабела в его объятиях, оттаяла.

— Пошли,— сказала она.— Я понимаю тебя, Левон, нужно что-то решать. Я не имею больше права тебя мучить. Пошли.

— К вам домой?

— Нет, Левон: ты к себе, а я к себе.

Кузница опустела. Осталась пыльная тишина да три

ореховых дерева возле стен. Сона обернулась — ей почудилось, что орешины, выдернув корни из земли, идут за ней, шагают по тропе... Так можно сойти с ума!

9

Камсаряну жизнь Гаянэ была известна. Он помнил ее еще маленькой, шустрой, неугомонной девчушкой. Кончила школу, потом в Ереване медучилище и вернулась в село медсестрой. В то время здесь был роддом, ей дали работу. Красивая она была, не знала отбою от женихов. Но, сделавшись уже полугорожанкой, она оставалась деревенской жеманницей — надолго ее выбор затянулся. И женихи поустали, а потом вообще их как ветром сдуло: молодежь хлынула с гор, как поток в оттепель. И потому роддом вскоре стал не нужен — его присоединили к районной больнице. Гаянэ осталась в селе и не ленилась ежедневно ездить в райцентр. Она у матери была единственной, жила вроде бы уединенно и вдруг однажды родила дочку, такую же шустренькую трещотку, какой сама была в детстве. Замуж не выходила, а уж от кого родила — это держала в секрете. Но девочка прожила всего три года. А через несколько месяцев ушла вслед за ней в могилу и ее бабушка, мать Гаянэ.

Осталась Гаянэ одна-одинешенька. Сразу увяла, высохла: что ни день — на кладбище. Камсарян часто видел: сидит съежившись возле могильных холмов. «Вот мой большой Арарат, вот малый,— показывала на большой и малый холм.— За какие грехи я наказана?»

Думали, она в райцентр подастся — это было бы вполне естественно — или в Ереван переедет. «А на кого я свои Арараты оставлю?» — вздыхала она.

Потом снова вроде бы обрела себя, налилась, кокетливой сделалась, одеваться стала подчеркнуто хорошо. И мужчинам теперь казалась доступной, они ей делали нескромные намеки, а она не обижалась — может, это ей даже нравилось... Ну а что там дальше — Камсарян не знал. Просто пытался как-то смягчить ее одиночество.

— Здравствуй, Гаянэ.

— Я как раз к вам, учитель.

— Ну вот и хорошо, встретились.

— Денег мне одолжите, учитель? Я скоро верну. Двести рублей.

— Ну, понятное дело, весна, приодеться нужно.

— Нет, для этого я бы у вас не одалживала. Не спрашивайте, на что мне они.

Камсарян заметил: глаза у женщины грустные. И разозлился на себя: «Что я у нее выпытываю? А меня еще учителем зовут!» Просто по старой памяти отнессся он к Гаянэ как к кокетке-моднице и вдруг увидал, что перед ним усталая, рано состарившаяся — подобно дереву, не дающему плодов,— женщина...

— Пошли в дом, Гаянэ. Кофе мне сваришь? Сона уже два дня в Ереване.

С невыразимой нежностью посмотрела Гаянэ на мужчину, идущего рядом с ней. На мужчину? И откуда взялось это слово? Виски Камсаряна белым-белы, словно выпал снежок и не тает. Но глаза живые, блестят. И поступь молодая, упругая. Сколько ему лет? И почему возник этот новый глупый вопрос?

— Так сваришь кофе?

— Боюсь...

Не сказала: боюсь, учитель. Не прилепилось это слово. Гаянэ с ужасом увидала улыбающееся лицо Камсаряна, на которое сразу наплыла тучка озабоченности.

— Что-нибудь случилось?

Нет, слава богу, не понял. Как хорошо, что мужчины такие дети. И как хорошо, что этот самый мудрый человек на свете тоже большой ребенок. И как у нее сорвалось с языка это слово «боюсь»? «Я себя боюсь, умный человек, наивный человек». Неужели она его любит? Нелепая, бездумная, сумасшедшая, распущенная женщина! Не смей! Почему вдруг сейчас открылась тебе эта горькая истина и покатилась, покатилась, как снежный ком с горы? Лучше уж погибнуть под этим снежным комом, и это будет счастьем — только бы он ни о чем не догадался.

— Ну конечно сварю — у меня хорошо получается.

И опять слово «учитель» ускользнуло, хотя мозг и подал сигнал. Но он все-таки настоял на своем, недобрый, подлый, деспотический мозг, и она добавила:

— Пошли, учитель.

Сказала спокойно, и слова прозвучали как «господь с тобой». Нет, пожалуй, «господь с тобой, любимый»...

— Вот и ты меня учителем величаешь. А зачем?

В ней взорвалась радость, захотелось крикнуть: больше никогда, никогда не назову! Неужели о чем-то дога-

дался? Неужто разглядел ее тайну? Размечталась! Безмозглая распутная бабенка, растопчи каблуком этот запоздалый росточек! Если уж он и пробился, пусть расцветает лишь в укромном уголке твоей души, поливай его горючими слезами, согревай немотою своею и оставь в покое человека, в хаосе забот которого так ничтожна и поломанная твоя жизнь, и твое счастье, и так называемая твоя любовь...

У ворот она резко остановилась:

— Я тут подожду.

— Значит, кофе ты мне не сваришь? — спросил он грустно.

Или это ей показалось, потому что хотелось услышать в его голосе грусть?

— В другой раз как-нибудь. А сейчас уж простите, спешу.

Камсарян посмотрел так, словно что-то потерял.

— Ладно, Гаянэ, я сейчас вернусь.

10

Оган расхаживал взад-вперед по просторной комнате. Недавно с Врамом они толковали. В мае свадеб не играют, а июнь показался Огану страшно далеким. Ну, значит, в субботу. Вчера была годовщина со дня смерти жены — теперь можно. Жалко Врама — уже полтора года, как обручен с Мариам. Да и девушку чего томить.

— Все село пригласим,— сказал Оган.— Всех до единого!

— Немного же народу наберется,— хмуро отозвался Врам.

— И детей позовем!

— Человек семь ребятишек...

— Ну, поехали. Пиши, Лусик.

А у Лусик уже раскрыта школьная тетрадь, держит ручку наготове.

— Пишу, папа.

— Значит, так. Сыновья Седрака. Каро в Ереване, Саргис в райцентре, Мнацакан в Октемберяне.

— Все трое приедут,— сказал Врам.

— Приедут. Двоюродная сестра твоя, Наринэ. Как же ей дать знать-то? Телеграмма когда еще в Астрахань придет!

— Завтра придет телеграмма. А из Астрахани до Еревана два часа лету. Как на машине от райцентра до нас. Захочет — прилетит.

— Наш долг сообщить.

— Написала,— сказала Лусик.— Дальше?

— Сероб, Ваге. Оба в Ленинакане.

— А кто они такие? — Лусик вопросительно взглянула на отца.

— Сыновья моего шафера. Враму были лучше братьев. Ты не суйся — ты их не видела.

— Значит, я братьев брата не знаю? Уравнение с двумя неизвестными.

— Да замолчишь ты? С какими неизвестными? Значит, Санасар и...

— Багдасар [1],— захохотала Лусик.

Отец улыбнулся из-под усов, и брат тоже улыбнулся, потому что сыновей Нерсеса, друга Оганова детства, и впрямь звали Санасар и Багдасар. Были они двойняшками.

— Эти примчатся тут же. Я им заместо отца... Да, мой двоюродный брат, Сенекерим...— Помолчал.— Вот и разыщи его в Ташкенте, если можешь...

Лусик ехидно заулыбалась:

— А мы в телеграмме напишем: Ташкент, Сенекериму...

— Чертов язычок! — взглянул на нее брат умильно.— Бедный твой будущий муж...

— Кто б меня ни взял, за любого пойду,— сказала вдруг Лусик серьезно, по-взрослому.— Лишь бы из этой дыры выбраться.

Отец с сыном хмуро переглянулись. Это была их боль, их забота. Родители Мариам настаивают, чтобы молодые сразу после свадьбы переехали в райцентр. Оган об этом и слышать не хочет. Врам-то согласен, но... Лусик уже в девятом классе, брат ее каждый день на «виллисе» в райцентр возит. А не сегодня завтра и «виллиса» этого не станет. Колхоз фактически ликвидирован. В окрестных селах тоже осталось по нескольку семей. Мигран Восканян — председатель несуществующего хозяйства, король развалин. Он сам себя так называет. А Врам, стало быть, шофер короля развалин. Только на что развалинам король?..

---

[1] Санасар, Багдасар — герои эпоса «Давид Сасунский».

Оган жалко эдак посмотрел на дочь и быстро вышел во двор.

— Сама с ноготок,— укорил сестру Врам,— а слова твои пудом меда не заешь. И в других местах плов даром не раздают. Нет места лучше, чем наше село. Поняла?..

— Будто сам смыться не хочешь из этого распрекрасного места,— взглянула на него сестра с холодной, не детской укоризной.

Врам не нашелся, что ответить, махнул рукой и тоже вышел во двор. Все небо было в крупных звездах, луна плыла, как белый парусник. Оган сидел у стены, сложенной им самим, и курил сигарету за сигаретой. Взор его застыл на вершине противоположной горы — Оган не знал, что Сона Камсарян называет ее Печальной горой. Уже тридцать лет глядел Оган на эту гору.

— Решил, кто тамадой будет, отец?

— А кому и быть, если не...

— Господин Камсарян вчера чего-то пробрюзжал. Может, и не придет...

— Нет, только господин Камсарян, и никто больше! Господин, как ты его называешь, обязательно придет и будет тамадой!

— Он мне четко сказал, что не придет.

— Тебе сказал! — отец при лунном свете посмотрел на сына прямым и долгим взглядом.— Послушай меня, сынок. Мне уходить, тебе оставаться. Саак Камсарян — самый великий человек из всех, кого я знал. Понял, самый великий!..

Врам выдержал взгляд отца. Он не меньше его любил учителя, который был отцу самым близким в селе человеком. Свадьбы без Камсаряна Врам не представлял. Но Камсарян каким-то чудом узнал о требовании родителей Мариам переехать после свадьбы в райцентр. Он, казалось, прочитал в глазах Врама тайное согласие. Сона вчера говорит: «И вы уезжаете? Отец очень огорчился. Наверно, и на свадьбу твою не придет». Да ему-то какое дело? Врам разозлился. Какое ему дело до того, уедет Врам или останется? Дочку свою запер в селе, так ему мало этого, других еще надо по рукам и ногам связать.

— Пока я не помру, из села уезжать не смей,— мирно сказал ему отец.— Я тебя долго не задержу. Свадьбу

твою сыграю, дочитаю вот эту книжку, ну и еще пару дел доделаю.

— Да что ты такое говоришь, отец!..

— Мне спать? — подала с порога голос Лусик.

— Спи,— мягко ответил отец,— чтоб во сне в Париж слетала. Далеко он, у черта на куличках, а, говорят, большой город. В восемь раз больше Еревана.

Печальная гора поблескивала в звездных лучах, луна уцепилась за ее вершину, и Огану почудилось, что он видит Ноев ковчег, в котором уместились последние жители земли.

— Пойду почитаю,— сказал Оган.— Ты утром пораньше поезжай в райцентр, телеграммы пошли.

— Глаза свои пожалей, отец... Да и потом ты эту книжку уже трижды читал.

— Читал... Ложись спи — утром дел много. А ты, ежели я дочитать не успею, на могиле моей напиши...

Отец не сказал, что же сын должен выбить на надгробье. И Врам не спросил, только горько усмехнулся:

— Невеселая же у меня будет свадьба...

11

К стене балкона был прикреплен старый абажур. Вместо того чтоб к потолку подвесить, к стене приладили. И сделался абажур мотыльковым кладбищем. Мотыльки летели на свет, несколько мгновений колотились о раскаленное стекло, сгорали и превращались в пестрый прах. Но на смену им прилетали новые.

— Глупышки,— задумчиво улыбнулась Сона.

— Как ты думаешь, Сона,— спросил Камсарян,— бабочки что-нибудь соображают? Правда, что они живут только день? Есть же выражение: короткая любовь мотылька, короткая жизнь мотылька. Ты биолог, должна знать.

Сона изумленно взглянула на отца — что это он вдруг о любви, о бабочках? На что намекает?

— Говорят, что они дурные... Летят на свет, сгорают.

— Тебе надо было поэтом стать, пап.

— А что я такого сказал?.. Да и потом не много ли для одной семьи — два поэта?

С балкона не видно было Немой горы, не доносился сюда и голос Красавицы. Стояла непроглядная, густая темень — казалось, вместе со снегом растаяли и горы, в

темно-синей ночи можно было спокойно идти и идти до самого края света. Горы, горы! Печальная, Немая, Глухая... Красавица продолжает водопадом обрушиваться вниз. Поутру все опять отделится от тьмы. И сколько же миллионов раз все сливалось с тьмою и отделялось от нее, отслаивалось? К утру ничто не постареет, не помолодеет — останется прежним, тем же.

— У Врама свадьба, отец.

— У Врама? Ах, да... Ну и что же, что свадьба? Хочешь — пойди.

Во дворе залаял пес по кличке Звонок. И лай его был приветливым, почти нежным, лаял он как-то нараспев, словно возвещая: к вам гость, встречайте. Кто бы это мог быть? Камсарян поднялся из роскошного старинного кресла, забыв про бабочек, которые по-глупому сгорают на электрическом костре.

— Наверное, Оган,— сказал он.— Дай-то бог, чтоб не Оган.

Перед ним стоял Мигран Восканян — король развалин. Это прозвище прилепилось к нему в прошлом году, когда четыре обезлюдевших горных селения объединились в одно хозяйство, а Восканяну поручили им распоряжаться. Контора Восканяна находилась не в Лернасаре, а в нижнем селе. Поставили там финский домик, телефон, ну а уж при телефоне человеку положено быть. И не ленился Восканян каждый божий день туда-сюда топать. С ним ходил обычно сын Варужан — учился в райцентре, а жил с отцом. Если же, случалось, Восканян не шел, Врам утром отвозил Варужана и свою сестренку Лусик в школу, а вечером привозил. «Я как детская железная дорога,— ворчал он иногда.— Пока школу окончат, из меня дух вон. И что Восканян со своим Варужаном в долину не переселяется? С ума спятить можно...»

— Добрый вечер. Блаженствуете?

— Вина принести?

— Что, выпьем и хвалить друг друга примемся?.. А?.. Маран заходила. Говорит, с внучкой плохо. Жар. А в райцентр везти страшно: по дороге простудить можно.

— А, так поэтому ее сегодня в школе не было? — сказала Сона.

— У отца приятель был. Позовет его, бывало, отец, вином угощает и приговаривает: давай, Ваграм, выпьем, а потом поври немножко. Знаешь, председатель, ложь

тоже штука хорошая.— Камсарян понимал, конечно, что на душе у Восканяна кошки скребут, попробовал утешить: — Простыла, наверно, пройдет.

— Вранье — это такое добро, которого сейчас пруд пруди.

— А когда-то этот товар только Ваграм продавал. Но его вранье было безобидным, простодушным. Рассказывал, например, как был три дня бургомистром какого-то немецкого городка. То есть председателем горсовета. Вроде бы, когда наши взяли город, он сказал, будто немецкий знает. Пока выяснили, что не знает, три дня прошло.

Мигран Восканян погрузился в камсаряновское кресло и принялся курить. Кажется, без сигареты в зубах его никто никогда и не видел. Шутили, мол, как только он родился, вместо материнского соска сигарету взял в рот. Убеждали его: бросай, Мигран, горло не луженое, концы отдашь, детей пожалей — маленькие. Советовали на монпансье и яблоки перейти. Мигран послушает-послушает и зажигает новую сигарету. «Разница всего в шесть месяцев,— возражал он,— между курящим и некурящим. Я в какой-то толстой книге читал. Предположим, я на шесть месяцев раньше умру. Ну и что?..»

— Съезжу-ка, думаю, за Левоном. Маран очень уж просила.

— Сейчас оденусь и поедем,— сказал Камсарян.

— А Сона как же?

— Что Сона? — девушка с улыбкой взглянула на председателя.— Испугаюсь, думаете, одна? Кого? Чего?

Камсарян вышел из комнаты и вернулся с кувшином вина в руках.

— Выпьем по стаканчику и отправимся... А в субботу свадьба Врама.

— Машину я вожу хорошо. Стаканчик не помешает,— согласился Восканян.

Сона быстро поднялась с места:

— Сейчас стаканы принесу.

Мигран Восканян разглядывал удалявшуюся девушку. «Хороша, чертовка»,— подумал он. Сона уже на пороге обернулась и, улыбаясь, посмотрела на председателя.

— Ты, товарищ председатель, Брижит Бардо видел?

— Это еще что за штучка?

— Французская артистка. Очень красивая. Не видал в кино?

— В каком? — Ну и любил же Мигран Восканян разглядывать женщину со всех боков, впитывать в себя ее присутствие, аромат, смех. Кино — белое разутюженное полотно, простыня, которой накрывают тюфяк, и на этой простыне движутся картинки, и положено верить, что все правда.— Из всех девушек, каких я видал, самая красивая ты, Сона.

Сона звонко рассмеялась.

— Выпьем,— сказал Камсарян,— за здоровье Арсвик.

— Как назло, ни одного врача,— хмуро отозвался Восканян, взял в руки стакан и опять поставил на стол: — Нет, не стану...

— Ну тогда я вместо председателя,— сказала Сона.

Вначале зазвенели стаканы, потом зажурчало вино, перетекая из старого глиняного кувшина в живое и горячее человеческое горло. В этом, наверно, и есть смысл жизни вина: перетечь из карасов, кувшинов, бутылок, чаш в нутро, развеселить человека либо опечалить, сделать его злым или добрым, драчливым или мирным, молчуном или краснобаем...

— Твое здоровье, председатель,— Камсарян налил по второму стакану.— Самый великий председатель самого крошечного села. Если даже я в селе останусь один как перст, все равно ты будешь моим председателем. Как жаль, что один человек — это не хозяйство. А то был бы ты председателем единоличника Саака Камсаряна. Собрания бы устраивали, Сона бы протокол составляла.

— Эх! — вздохнул Восканян.

Пес Звонок опять залаял, но уже ни о чем не извещая: то ли с собой беседовал, то ли с луной. Откуда-то издалека донесся ответный лай.

— Это собака Огана,— сказал Камсарян.— Чья же еще?

Собаки переговаривались довольно долго. Любопытно, о чем?

— Два пса там, два тут,— усмехнулся председатель.— Дважды два — четыре...

— Невесело тебе, председатель.

— Время весеннего сева... Кто будет сеять? Что?

В абажуре безнадежно трепыхалась бабочка, которая, по-видимому, еще совсем недавно порхала в горах над фиалками.

— Что это за книга? — спросил Восканян.— А, дедово Евангелие. Ты говорил. Пошли, Саак. Левон приедет?..

— Приедет,— спокойно сказала Сона.

— Привезем! — подмигнул ей отец.— Ты, Сона, не бойся.

— А я запою, если станет страшно,— засмеялась Сона.— Подпою Звонку.

12

Кузница располагалась, как говорили, на верхнем этаже села. На каком — третьем, четвертом, пятом? На сколько этажей поднимаются над селом горы? Трудно определить. Но выше кузницы домов уже не было. Последний кузнец, Санасар, умер месяцев за пять-шесть до войны. И отец его, Гегам, был кузнецом, и дед его, Согомон. Ну а уж кто занимался кузнечным ремеслом раньше, не припомнить. Стало быть, дед, отец и сын лежат рядком на кладбище. После смерти Санасара стали кузнеца искать, а тут война, и все, среди кого можно было найти будущего кузнеца, ушли на фронт. А уж после войны кузница стала считаться чем-то отсталым, каким-то, можно сказать, пережитком, потому что в соседнем селе открыли мастерскую — с электричеством, с блестящими станками. И огонь в кузнице больше не загорался. Разные председатели в разные годы думали-гадали, что соорудить на ее месте. Один предлагал магазин построить, другой — отдать участок какому-нибудь колхознику.

Но разговоры разговорами, а кузница осталась. Кузница — не мост, не хачкар, не церковь, а крестьяне (надо же!) любили это безмолвное, словно на кого-то обиженное строение. В теплые, солнечные дни старикам нравилось собираться под прокопченными стенами, вести неспешную беседу, в которой правда перемешивалась с вымыслом. А в холод молодежь с шумом-гамом разжигала горн и раздувала ветхие, измученные мехи. В темные же беззвездные ночи тут укрывались... да в каком селе нет влюбленных парочек? Ну и Лернасар не хуже. Только вот что за парочки и сколько их — это ведала одна кузница.

Неизвестно, кто и когда посадил возле нее три ореховых дерева, они давно окрепли, разрослись, орехи дают, тенисто под их кронами. И почему именно три? Этого тоже никто не знал. А может, знал каждый: три дерева — памятник трем кузнецам. «Разве памятником непременно должен быть камень? — сказал как-то Саак Камсарян.— Камень — дело простое, положил и все. А дерево ухода требует, вспомнить каждый раз заставляет, зачем ты его сажал. Истинный памятник — живое дерево, оно дороже мрамора. Для мраморного памятника деньги нужны, а для дерева — сердце, терпение. Это, увы, все реже встречается».

А три могилы кузнецов лежали рядом, бок о бок. Летами почти сравнялись дед, отец и сын. Дед прожил шестьдесят восемь, отец — шестьдесят три, внук — семьдесят один. Случалось, шли они все вместе сельской улицей: шестидесятивосьмилетний дед, его сорокапятилетний сын и восемнадцатилетний внук. Есть еще люди, которые помнят, как поднимались все трое каменистой тропой к кузнице. Сейчас они покоятся на кладбище, сравнявшись годами, а перед кузницей растут и зеленеют три орешины, родившиеся неизвестно в каком году, но уж точно в один день.

Единственный сын Санасара, последнего кузнеца, пришел с войны, но в село уже не воротился. Гегам (так назвали его в честь деда) пустил корни в Ереване, возле дяди-бухгалтера. Тот был одиноким человеком и оставил племяннику в наследство не только свой двухэтажный дом, но и свою профессию. Гегам пытался порой шутить, щелкая костяшками счет: «Чем не кузница? Разве что не по железу колотишь да не перед огнем печешься».

А возле стен старой, заброшенной кузницы в теплые дни собиралось все меньше стариков, в холодные — все меньше молодежи, а уж влюбленных в беззвездные ночи раз-два — и обчелся.

Стариков становилось в селе все меньше, молодых тоже — ну так а влюбленным откуда взяться? Истаивало село капля за каплей, капля за каплей...

Только вот орешины, несведущие в людских делах-заботах, каждою весною пробуждались вновь, и наливалась их листва густой и теперь, увы, уже ненужной зеленью...

13

Утром, в день свадьбы Врама, неожиданно заявился в село Армен. Он был одноклассником Врама. Тот послал ему в Ереван умопомрачительную телеграмму: «Друг поэт не приедешь ли к другу шоферу на свадьбу если б твоя была я бы ползком приполз».

Камсарян несказанно удивился появлению сына, а Сона прямо-таки запела от радости.

Отец сказал:

— Прочел твои стихотворения. Не понял.

— Фотография отличная,— вмешалась сестра.— Девчонки с ума сойдут.

— Я книгу в издательство отнес,— сообщил Армен.— В конце года напечатают... В Венгрии побывал...

— А я в Венгрию пешком ходил,— сказал отец хмуро.— Будапешт очень изменился?

...Брат с сестрой поднялись к Одинокой часовне.

— Это ты ее так назвала?

— Как раз и нет,— засмеялась Сона.— Старое предание ее так называет.

— Расскажи, может, пригодится и мне.

— Рассказать? Ну так вот, значит. Много лет тому назад лежало наше село тут, вокруг церкви и часовни. И вдруг однажды ночью все сельчане видят один и тот же сон. Представляешь, все один и тот же! Явился к ним Злой Дух и сказал, что, если они в три дня не уйдут из села, все дома заполнят змеи и скорпионы. Ну, люди, конечно, в панике бежали — спустились пониже. А верхние дома мало-помалу разрушились и сровнялись в конце концов с землей. И церковь превратилась в развалины. Только часовня, как видишь, все стоит.

— Я где-то об этом читал,— перебил ее брат.— Потом скопом вон ту церковь построили. Все строили, кроме Саргиса Назаряна,— взглянул на выбитую на стене надпись. С годами она поросла мхом, позеленела, и несколько ящерок трепетали между каменных строк.— Вот и ящерицы надпись читают, грамотные,— не было в его голосе ни издевки, ни боли.— Жестокие были наши предки...

— Нет, справедливые,— поправила брата Сона.

— Справедливые? А нам в наследство оставили имя того, кто церковь эту не строил! Не строил, понимаешь! Только, пожалуйста, не призывай на помощь классиков

«Живуче зло на белом свете. Так будь же проклято оно!..»

Сона пристыженно улыбнулась, потому что на память ей пришли именно эти строки Туманяна.

— И сколько уж веков живет имя того, кто не строил! А строители? Кто они? Скажешь, все село? Расплывчато это, знаешь ли. Эдакая стоглавая амеба, медуза! А имя Саргиса Назаряна осталось. Стало быть, можно стать бессмертным, даже ничего для этого не сделав!

Сона́ стояла в задумчивости, словно бы и не слыша брата.

— Пошли,— сказала.— Ты так изменился, Армен...

— А вот ты-то, монахиня, не меняешься. Ты сделалась частью так называемых «всех», щупальцем невидимой медузы...

Сона странно взглянула на брата, но в ответ не произнесла ни слова. Ей почудилось, что Одинокая часовня услыхала его слова и сделалась еще печальнее.

— В Будапеште триста двадцать восемь церквей,— сказал Армен.

— А венгерки красивые?

— Не красивее тебя. Когда ты замуж выходишь?

— Не стать ли мне монахиней? Подкину тебе материал для поэмы. «Таинственная монахиня горных склонов...» А?..

— Пропащий ты человек, сестрица.

— Давай к Красавице спустимся.

— А что, в нашем селе еще есть красавицы?

— Речка. Забыл ты, что ли?

— Мне утром рано уезжать, в городе дел полно. Нужно написать впечатления о Венгрии. Обещали напечатать.

— Расскажешь?

— Некогда мне рассказывать, девица-красавица. Вот напечатают — прочтешь... Изумительный вид. Настоящая Швейцария...

— А знаешь, я ведь твоих стихов не поняла.

Брат взглянул на сестру с нескрываемой усмешкой:

— Еще раз прочти. Было бы удивительно, если бы ты поняла с первого раза... Фолкнер говорит...

Облака окутали Печальную гору, обволокли ее со всех сторон, и только снежная вершина поблескивала в солнечных лучах. Одинокая часовня стояла на горе устремленная ввысь и беззащитная, а вокруг нее простира-

лась каменная пустыня — ни земли, ни зелени. Может, легенда права?

— Десять дней назад сюда немецкий студент пришел, бродил целый день, фотографировал. С отцом разговаривал. Сказал, что в восторге от Одинокой часовни — ничего подобного он даже в Европе не видел.

— Ну, а отцу это, конечно, маслом по сердцу?

Армен засмеялся, нет, захохотал! И как-то странно отозвалось ущелье. Чуждым и наглым показался его смех рядом с вечной песней водопада, рядом с фиалками, расписавшими собою горный склон, рядом с безмолвием Немой горы.

— Отец и сам знает, чего она сто́ит,— обиделась сестра.— А ты стал злым, Армен. Злой — и вдруг поэт?..

— Добрых поэтов я еще не встречал. Я ведь с ними теперь много общаюсь.

С глубокой скорбью, более безнадежной, чем скорбь Одинокой часовни и Печальной горы, посмотрела сестра на брата, которого не видела несколько месяцев и которого, как ей показалось, она теряет.

14

Стадо спускалось с гор, втекало мутным потоком в зеленые сельские улицы, продолжая и тут пощипывать траву. Овцы, ягнята с разноголосым блеянием заполняли дома, чтобы выдержать еще одну студеную весеннюю ночь. Дома брошенные, без окон, без дверей, но стены-то, крыши, хоть и прохудившиеся, есть. Одним словом, не замерзнет скот. Заполнялись дома живностью, теплым духом, разноголосицей.

— Хо! Хо! — загонял пастух скотину во двор.— Хо! Хо! Хо! Пошла! Пошла! — знал, в каком доме сколько овец может заночевать — не впервой. А дома́ еще ничего, крепкие.

Который получше — пастух себе выберет. Но, перед тем как зайти, присядет, подстелив свежескошенной травы и оперевшись спиной на хачкар, который стоит во дворе и за день успел хорошенько прогреться. Потом закурит, глядя на отдельные дома, куда овцам пока нет ходу,— хозяева еще не уехали. Чего они тянут? Не понять пастуху. И, видимо не расставшись с этой мыслью, он задремлет, продолжая ощущать спиной тысячелетний хачкар...

— Ничего не соображу,— сказал Армен.— Почему тут бараны? Разве это не дом Вагана?..

— Они давно уехали, дом пустует.

— Ну и что?

— Дом пустой, а овцы мерзнут, и пастух мерзнет... Ты ведь хочешь есть мясо... Весь армянский народ хочет каждый день есть мясо и при этом жить в Ереване...

Дом, перед которым они стояли, был без крыши — она давно рухнула. От окон остались лишь деревянные пролеты да железные прутья решеток. И одна стена разрушилась. А на двери висел здоровенный замок...

Овцы стекались именно к этому дому.

— Куда ты их гонишь? Не видишь, на двери замок?

— Да ведь задней стены нету, милый. Не впервой,— незлобиво ответил пастух.

— И мы хотим зайти.

— Заходите, милые. Я разве что говорю? Тут пустых домов не счесть. Заходите, вам, видать, погреться охота. Туристы небось?..

Вошли в дом через зияющую пустоту рухнувшей стены и оказались в кухне. Армен нагнулся, приподнял с тоныра жестяную крышку, поводил кочергой по дну. Когда разжигали тоныр в последний раз? Увидал валявшуюся в углу грязную скалку. Когда ею в последний раз тесто раскатывали? И почему хозяева не увезли с собой кочергу, скалку? А на что им кочерга — к газовой плите прицепить? А скалка — к потолку подвесить? Он опять склонился над тоныром. Хоть бы зола была... А то в нем какая-то ветошь, грязь, осколки. На полу валялся опрокинутый детский стульчик. Целый. Его, наверно, просто забыли с собой прихватить. Там и сям были раскиданы стоптанные башмаки. И больше ничего. Вошли в комнату. Спальня, видимо. Тут вот висело зеркало. А от отрывного календаря остался один корешок. Интересно, какого года календрь?

— Нервы не выдерживают,— сказал Армен.— Зачем ты меня сюда привела?

— Ничего, завтра уедешь. И завтра же будешь в кафе рассказывать о Венгрии. Стриптиз в Будапеште есть?

— Прекрати! Дай собраться с мыслями, у меня в голове каша.

— Хочешь, сходим на кладбище?

— Перед свадьбой... на кладбище?

— Ты ведь хотел увидеть могилы трех кузнецов.

— Помнится, они были рядом.

— И теперь рядом. Но если передумал — вольному воля. Мне показалось, подходящая тема для твоего вдохновения. Разразишься поэмой, а может быть, даже романом... Премию получишь.

Армен помрачнел еще больше. Они вышли через несуществующую стену и долго молчали.

— Белье сушится! — вдруг удивился Армен.— Настоящее!

— Это дом бабушки Маран. Бедняжка тут с внучкой осталась. Хочешь, зайдем — она очень обрадуется. Сперва сын уехал, потом невестка — мол, муженька в село вернуть. И вот уже больше года ни его, ни ее...

Бабушка Маран во дворе шерсть взбивала. Она была поглощена этой работой и потому не заметила, как подошли брат с сестрой. А может, не заметила их потому, что уже была слаба глазами и туговата на ухо. Шерсть, наверно, для тюфяка. А тюфяк кому собирается стегать?

Стираное белье висело полукругом и издали напоминало пестрое ожерелье на костлявой груди одноэтажного дома.

— Здравствуй, бабушка Маран! — почти прокричала Сона.

Старуха их наконец увидала. Растерянно вскочила, засуетилась, пригласила в дом. Она то и дело ласково поглядывала на Армена.

— Бабушка, ты на свадьбу Врама не пойдешь?

— Пойду, как же не пойду! Яичницу вам сделать?

— Нет, бабушка Маран, мы на минутку. Ты кому тюфяк готовишь?

— Да моей Аревик. Пока, думаю, руки-ноги целы, надо о ее приданом подумать. Хороша шерсть, верно?..

— Хороша,— сказала Сона.— Да и Аревик славная девчушка.

— Она за водой пошла, сейчас вернется. Дай бог здоровья Левону,— старушка с нежностью взглянула на Сону.— За полночь приехал, спас мне внучку.— Потом повернулась к Армену: — Вон какой ты вымахал! Мужчина. А был, помню, с ноготочек. Я тебе как-то уши надрала — да отсохнут мои руки!

— А что он такого натворил? — с притворным удивлением спросила Сона.

— Яблоки воровал...

Брат с сестрой засмеялись.

— Значит, и воровать не гнушался? А, будущий великий поэт? Интересный факт для твоих биографов.

Старушка снова засуетилась:

— Я все-таки яичницу сготовлю. Вы пока в тенечке посидите, а то солнышко припекает.

— Да нет, мы уж как-нибудь в другой раз зайдем... Нас отец послал кое за чем. Надо успеть до свадьбы...

При упоминании о Камсаряне старушка уважительно помолчала, а потом сказала, повернувшись лицом к дороге:

— Мои-то, Сероб и Шушик, тоже вот-вот приехать должны... Врам им наказывал... Я с утра глаз с дороги не свожу. А теперь который час?

— Полпервого,— сказал Армен.— Мы опаздываем, Сона.

— Подождите чуток, Сона джан,— и старушка мелкими, но довольно-таки резвыми шажками засеменила к хлеву.

— Сколько ей лет? — спросил Армен.

— Сухонькая она, трудно сказать.

— Ей восемьдесят один год.

— Ну, знаток биографий! На что тебе?

— Вот я и вернулась,— бабушка Маран, улыбаясь, несла в руках несколько яиц.

— Она что, хочет мне дать? — шепнул Армен на ухо сестре.

— Тсс! Умоляю тебя, не отказывайся...

А старушка тем временем разыскала маленький мешочек, бережно уложила в него яйца, предварительно подстелив под них пучок сухой травы, и протянула мешочек Армену:

— Бери, сынок... Знаю, у тебя деньги есть, купить можешь, но это... это мои куры снесли...— И вдруг неожиданно помрачнела.— У меня только и остались подружки курицы, с утра до вечера с ними разговариваю, больше не с кем. И поругаюсь с ними, и горем поделюсь...

Армен под строгим взглядом Соны растерянно протянул руку, взял мешочек и вдруг улыбнулся: яйца были еще тепленькие — значит, прямо из-под кур.

Когда дом бабушки Маран остался позади, Сона сказала:

— Такого подарка ты еще в жизни не получал. Да и не получишь, я уверена...

Пастух курил, прислонившись к хачкару. Овцы после обильной еды отдыхали в домах. А в тутошних горах трава редкостная, живительная — особенно весною.

Овцы отходили ко сну, а пастух блаженно курил, не сводя глаз с ущелья и дальних гор. Он, видимо, чувствовал, какая во всем этом красота. Хачкар был теплый, в небе не плыло ни облачка, и, стало быть, дождя ночью не ожидается, а то дом-то без крыши, жаль овец. Сигарета источала густой терпкий дым, который колечками взвивался вверх и растворялся в чистом воздухе. Пастух блаженствовал.

— Сколько у тебя детей? — присаживаясь на соседний камень, спросил Армен.

— Одиннадцать, храни их аллах...

— Хорошо. А тебя как зовут?

— Сулейман. Какие тут горы, какая трава, вода!

— Они твои, дядя Сулейман.

— Ты хороший парень. А это небось твоя невеста?

— Сестра.

— А! Так я ее видал. Красивая у тебя сестра.

— А у тебя самого братья-сестры есть?

— А то как же. Я велел, чтоб один мой брат сюда приехал и поселился вон в том доме,— пастух показал пальцем на верхний дом.— Он целый. Замок снять — и живи. Себе я вот этот дом облюбовал — отделаю его, ребятишек сюда соберу. Жена беременная, пусть родит спокойно, а потом уж переселимся... Мне этот камень нравится,— указал на хачкар.— Будто нарочно для Сулеймана тесали-резали. Прислонюсь к нему и подремываю... Что с тобой, сынок?..

— Зябко,— сказал Армен.— Мы пойдем. Сона, я продрог.

— Горячего молока принести? Овечье молоко от простуды — первое дело...

— Не надо, дядя Сулейман,— и Сона поежилась,— мы пойдем, нас отец заждался. Сегодня свадьба — знаешь, наверно.

— Свадьба? — на лице пастуха отразилось удивление.— А сами-то вы чьи будете?

— Учителя Камсаряна.

Пастух глубокомысленно помолчал, потом произнес, стараясь нагрузить смыслом каждое слово:

— Учитель Саак Камсарян — большой человек, очень большой человек. Кабы он не в такой дыре жил, уж на весь мир, наверно бы, прославился... Привет ему, поклон от Сулеймана... Он мне — старший брат...

— А вечером свадьба Врама,— почему-то еще раз повторила Сона.

— Шофера?.. А!.. Ну, я пошел спать. Хорошие вы ребята, храни вас аллах.

— Спокойной ночи, дядя Сулейман. А на свадьбу не придешь? Врам обидится.

— Да нет, устал я. А Враму ни гугу. Вы меня не видали и овец моих не видали. Ладно?.. И не говорили мне, что у него нынче свадьба. А то он обидчивый...

15

Лейтенант Антонян и сержант Аматуни докладывали заместителю председателя исполкома — так, мол, и так: поехали, чтоб уговорить Саака Камсаряна в Цахкашен переселиться, а он, глядим, памятник чистит, ну мы выпили по стопке водки, взгрустнули и назад воротились.

— Водки выпили?

— Да.

— Значит, мы вас посылаем по делу, а вы вместо этого водку пьете, лясы точите...

— Да нам грустно стало, потому мы и приложились. Каждый граммов по двадцать и глотнул-то.

— Так я и поверил — по двадцать! Ну и что теперь делать? А?

— Я в Лернасар больше ни ногой,— сказал Аматуни.— Мне совестно. Он меня учил, а я его связанным, что ли, оттуда увозить должен?..

— Кто говорит связанным?.. Так ты у него учился. Я и не знал... Значит, так, Антонян...

Лейтенант поднялся.

— Значит, так... Слушайте меня и наматывайте на ус. Села по названию Лернасар нет, не существует! Это первое. Там жителей нет — семь душ не в счет. Семь душ — не село. Это второе. Уже год, как принято решение, все переселились в Цахкашен и живут в двухэтажных и трехэтажных благоустроенных домах — с туалетами, ваннами. Это третье. Поймите, что стирается грань между городом и деревней! Это четвертое и самое главное. В пяти верхних селах тридцати человек не насчитаешь. Да и те с гор спустятся, если учитель пример подаст, не будет упрямиться. А мы все эти села объединим в один совхоз, животноводческий! Овец станем раз-

водить, свиней! Плохо, что ли?.. В общем, разговор закончен.

Сержанту Аматуни вдруг стало невыносимо все это выслушивать. Он отчетливо увидел, как Саак Камсарян чистит черно-красный туф памятника, увидел имена-фамилии, выбитые на камне. И вспомнил свой разговор с Антоняном в «виллисе», когда возвращались из Лернасара. «Если б я погиб в войну, и мое бы имя выбили... А зачем? Чтоб и его потом бросить?..» — «Слушай, философ, ты ведь знаешь, что под памятником никто не похоронен. А сам памятник — камень да цемент... В землю на полметра ушел. Да и земля тут — одно название... И потом, в войну ты был сопливым мальчишкой».— «Ну а если б я большим был? Пошел на фронт и погиб? А сельчане оставили б мое имя на камне да и ушли... Что бы я теперь чувствовал?..» — «Во тупой! Я ж тебе говорю, что под этим камнем и цементом нет никого! Теперь живые ни черта не чувствуют, а ты захотел, чтоб мертвые...» — «А их души?..» — «Послушай, ты кто — сержант милиции или священник?»

Аматуни же подумал: только из их села погибло в Великую Отечественную пятьдесят семь человек, а теперь в нескольких верхних селах вместе пятьдесят семь мужчин не наберется. Почему, почему так получилось? Кто в этом повинен? Он не находил ответа на эти вопросы.

Заместитель председателя заметил, что сержант его не слушает:

— Витаешь в облаках, сержант Аматуни?

— Вот я думаю: только из Лернасара пятьдесят семь человек погибло. А теперь там столько мужчин нету. Не только там — во всех верхних селах вместе нету. Что случилось-то?..

— Есть решение,— не затруднил себя сложным ответом заместитель председателя.— Новый поселок выстроили. Мы с тобой решения не принимаем, мы исполнители. Ис-пол-ни-те-ли! Ясно? Особенно ты. Не на улицу же людей выгоняем — переселяем поближе к городу! Если хорошенько потрудятся, лет через пять-шесть поселок в зелени утопать будет. И называется красиво — Цахкашен [1]. Значит, и цветы там будут. А мы за старые

---

[1] Цветущий поселок.

дома еще и деньги платим. Многие сами свои дома порушили, чтоб деньги поскорее заполучить!

— А знаете, что учитель сказал? — Аматуни уныло посмотрел на зампреда, у которого, видно, были дела поважнее — он то и дело на часы поглядывал: — Сказал: нет пока еще решения этот памятник перенести? А то, говорит, можно его по именам распилить, а потом склеить где-нибудь на асфальте.

— Ну хватит! Мы не меньше его чтим память погибших. Демагог! — это относилось к Камсаряну.— Бесхребетный! — ну а уж это относилось к сержанту Аматуни.— Нам в милиции только баб не хватало. «Погрустили, выпили!» Вас что — грустить туда отправили? — он с возмущением уставился на Антоняна.— Вы свободны! Я обо всем доложу председателю!

Он спешил, но когда милиционеры ушли, как-то сразу обмяк весь и закрыл дверь на ключ. Секретарше сказал: «Если меня спросят, я ушел. Куда? К чертовой матери!»

Сел у окна, закурил. Голова гудела от мыслей. Как улей. Мысли жужжать теперь станут, жалить!

За окном высились лысые горы, окружавшие городок. Сын, Левоник, прозвал их «сиротский приют». Языкастый чертенок. И впрямь сиротки, обритые наголо. На вершинах ни леса, ни снега, на склонах ни деревца, ни цветочка, у подножия — ни родничка.

И вдруг в пустой комнате, в которой никого, кроме него, не было, он отчетливо услышал голос сержанта Аматуни: «Пятьдесят семь мужчин погибло из нашего села. Значит, на фронт ушло не меньше сотни. И, стало быть, жило тогда в селе не меньше тысячи человек. А сейчас десятка не наберется — несколько угасающих очагов. Кто в этом виноват? Спросить-то можем мы? Есть у нас такое право?» Спрашивай, сержант, спрашивай. Полагаешь, что зампред Сос Сафарян ответ знает, да скрывает?

Ну ладно, ладно, давай-ка спокойненько поразмыслим, что произошло... Война мужчин увела из села, больше половины их погибло, а кто живой остался, вернулся в село. Да надолго ли? В первый же год растекаться начали. Мир повидали, пол-Европы пешком прошли и обнаружили, что Лернасар — отрезанный от мира клочочек земли. Не только от мира — от райцентра! Тридцать лет воду в ступе толкли, бумагу изводили, а даже три-

дцати метров асфальта не добились! Сносной дороги не было, ничегошеньки тут не строилось, а дети подрастали, дела требовали, работы! И начала из села разлетаться молодежь — стайка за стайкой. Кто в райцентр, кто в Ереван, а кто и того дальше. Новых домов теперь тут не строили, деревьев не сажали, детей не рожали. «А вы, вы что при этом делали? Чтоб вернуть разлетевшуюся молодежь, удержать остальных?» — Сос Сафарян держал ответ перед собственной совестью. «Есть решение,— услыхал он свой недавний голос.— Мы с тобой решения не принимаем. Мы только исполнители. Особенно ты, сержант Аматуни».

Прошлой весной многие спустились в долину, обосновались в Цахкашене, и село по названию Лернасар, можно сказать, прекратило свое существование. Оставалось этот факт зафиксировать на бумаге, стереть село с карт, вычеркнуть из планов...

Улей гудел, мысли жалили виски, и сигареты не успокаивали Соса Сафаряна. Горы-сиротки, глядевшие в окно, только усугубляли его боль. Надо бы выпить. Только вот с кем? Новичков тут нет, со старожилами надоело.

Зазвонил телефон. В трубке прозвучал голос председателя:

— Вызывал Антоняна?

— Вызывал. Съездили и ни с чем вернулись. Я и сам, признаться, в растерянности: человек — пенсионер, живет в своем доме, в своем селе, да еще ребятишкам уроки дает. И притом бесплатно. Прямо не знаю, как быть...

— В нашем районе нет такого села — Лернасар. Где же живет учитель, если такого села нет? Я тебя спрашиваю!..

Сафарян хотел было ответить, что села нет на сегодняшней карте, но человек-то не на карте, а на земле живет! Есть дома, есть могилы, воздух наполнен голосами тысячелетий. Как все это уместить в решениях? А?.. Эти слова уже вертелись у него на языке, но он вдруг с горечью подумал о том, что если с такой легкостью ликвидируют тысячелетнее село, то разве трудно упразднить штат зампреда? Да, да, штатную единицу. Тем более что район становится все меньше и меньше, и есть ли такая уж необходимость в этой единице?.. Нет? Как то есть нет? Кто сказал, что нет?

— Что? — в голосе председателя слышалось раздражение.

— Ничего,— промямлил Сафарян.— Подумаю...

— Ты полагаешь, нам за думы деньги платят?..

Сафарян положил трубку. Потом снова поднял ее, набрал номер Антоняна.

— Антонян, ты замначальника, а я зампредседателя. С нас ведь спрос будет. Что делать?

— Я бы предложил, да вы не послушаете.

— Говори.

— Надо свет отключить. Продукты, одежду, обувь они в райцентре покупают. А свет не купишь. Вот и вынуждены будут уйти.

— Как ты можешь такое говорить? Камсарян жаловаться начнет. Школа все-таки...

— Школа? — Антонян рассмеялся громко, непринужденно.— Соберут нескольких ребятишек и рассказывают им сказки. Так ведь сказки и в темноте рассказывать можно... И потом, школа же днем — солнце-то мы не отключаем.

— Нет, Камсарян писать начнет и прав окажется.

— Да, он и в потемках писать станет. При свече. Только кто его писанину читать будет?

— Говоришь, он памятник чистил?

— Да.

Сафарян повесил трубку и ясно представил себе Саака Камсаряна, оттирающего грязь с каменных букв. Попытался отогнать это видение, отмахнуться от него, как от сигаретного дыма. Быстро встал, вышел из комнаты, словно вдруг вспомнил, что на самолет опаздывает. Что он, в конце концов, может сделать? Он — сошка мелкая, всего-то-навсего заместитель.

На дворе стояла весна, и даже горы-сиротки выглядели чуть-чуть поживее. «Не подняться ли на гору?» — подумал Сафарян.

Но так и не поднялся.

16

Возле карточки матери приладила Гаянэ малюсенькую фотографию Саака Камсаряна. Внучка Маран Аревик принесла показать групповой снимок — фотографировались в прошлом году, в день последнего звонка. «Как ты хорошо вышла, Аревик. Дашь мне?» — «Вооб-

ще-то у меня три карточки таких. Только на что тебе?»— «Я люблю тебя, Аревик. Ты мне мою дочурку напоминаешь».— «Бери, тетя Гаянэ. Товарищ Камсарян что-то смешное рассказывал. Видишь, у нас у всех рты до ушей».— «Вижу. Ты товарища Камсаряна очень любишь?» — «Ага. И его, и товарищ Сону».

Зачем она вырезала его лицо из общей группы? Правда, с осторожностью, чтобы не повредить ребячьих лиц; хотела непременно, чтоб он был один, но карточка сразу опустела, даже показалось, что и ребятишки уже больше не смеются. Положила покалеченную карточку в альбом.

Нет, деньги, которые заняла у Камсаряна, она не отдала Размику. Подумала: денег этих касались руки учителя. Дала телеграмму в Ереван, дяде — своему единственному родственнику. Не сегодня завтра придет от него двести рублей, она и вернет долг Размику. Хорошо, что того вот уже несколько дней не видать. А деньги Камсаряна спрятала в шкатулку. Скоро пора идти на свадьбу к Враму и Мариам — пригласили. Что же понести им в подарок? Увидала в шкатулке обручальное кольцо, купленное для нее матерью. Заплакала. Попыталась было надеть кольцо на палец, но не вышло — огрубели руки. «Отдам его Мариам,— решила она,— мама на меня не обидится. А то каждый раз плакать буду, как только увижу. Не обижайся, мамочка...»

17

Поезд двигался неторопливо — с терпением слепца.

Саргис Мнеян очень спешил, но поезд-то этого не знал. А если бы даже и знал, все равно не ускорил бы бега.

В купе было трое молодых людей из Воронежа — две девушки и паренек. Ехали домой на каникулы. Родина с большой буквы велика и необъятна, родина с маленькой буквы — улица, тротуар, дерево, в тени которого назначались свидания, к сожалению (а может, к счастью), не приведшие к свадьбе.

Молодежь впервые почувствовала безмерность Родины. Они говорили много, перебивая друг друга и подыскивая слова, но все слова почему-то оказывались избитыми. «Вы откуда, папаша?» — поинтересовалась одна из девушек. «Из Армении»,— он на воображаемой карте показал армянские горы, города, озеро. Ему не хватало

слов. Да и что он сам-то знал? «Я ее забыл,— сказал он.— Уже тридцать лет, как забыл».

Потом к ним заявилась молодежь из другого купе, и про Саргиса Мнеяна забыли. Он сидел не причастный ко всему, почти неодушевленный, как поставленный в угол чемодан, у которого ни ушей, ни глаз. Молодые люди пели, смеялись, время от времени целовались, на каждой станции покупали пиво, пили. А Саргис Мнеян предался своим думам, и были думы эти невеселыми.

Его разозлило единственное письмо из Армении, которое он получил в ответ на свои восемь. Писали, что в его родном селе — он не был там тридцать два года — теперь осталось всего несколько семейств и на карте населенного пункта Лернасар нет. «Да чтоб вам пусто было! — мысленно вскипал Саргис Мнеян.— Как так села нет, когда я там родился и вырос! Бездельники, вредители, дармоеды!»

Саргис хорошо помнил свой дом, стоявший чуть пониже кузницы, возле голубого родника.

— Выпьешь пива, папаша? — кто-то из парней вспомнил все-таки про старика.

Саргис Мнеян махнул рукой — нет, мол, не буду. Гляньте-ка на них: в селе народу не осталось! Да он сейчас такое письмо накатает районному начальству — вот только пусть эти баламуты уйдут,— что если на камень его положат, оно камень прожжет!

После войны Саргис Мнеян жил в Лернасаре около года, родители даже успели обручить его. У невесты были длинные косы. А больше память ничего не сберегла — ни лица, ни имени. Как ее звали — Нвард, Вардануш? Забыл. Тридцать два года прошло, не шутка. А вдруг она его по сей день ждет? А?.. Саргис Мнеян причмокнул пересохшими губами. А что? Теперь этой Нвард или Вардануш лет пятьдесят пять — пятьдесят шесть. А ему шестьдесят восемь... Можно сказать, мужчина в самой силе...

Поезд шел по тайге, и ничего, кроме тайги, не было видно — даже небо не проглядывалось за высотой деревьев.

— Мы тебе не очень помешали, папаша?

Саргис Мнеян махнул рукой — делайте, что хотите. И только тут заметил, что компания ушла.

— Стосковались по своим местам?

— Стосковался,— ответил он.— Но мне написали,

что села нашего, можно сказать, нет — несколько человек в нем осталось. Так что не знаю, зачем и еду.

— Обычное дело,— сказала девушка.— Теперь многие села исчезают. И не о чем печалиться. Станете жить в городе или в другом селе. Не все же исчезли...

— Я в мое село хочу! В мое!

— А что — красивое было?

— Очень. Горы, родники, храмы...

— Ну, горы-то остались.

И ребята засмеялись. Смех этот обидел Саргиса Мнеяна. Он с откровенной укоризной взглянул на девушек. Обе были хороши собой. А парень уже склонился над книгой. «У меня могли быть такие дочки, такой сын,— подумал он.— Три жены было, и ни одного ребенка бог не дал».

— Вы вроде бы образованные люди,— сказал он,— а вот жалости в вас нет.

Смех тут же прекратился, парень оторвался от книги.

— Извините,— смутился он,— мы не хотели вас обидеть. Но жизнь есть жизнь. Теперь век городов. Семь человек из десяти в городах живут.

— Взять хотя бы нашу область,— встряла девушка.— Я из Вологды. В нашем районе есть село, в котором вот уже пять лет живет одна женщина — тетя Авдотья. Другие разъехались.

— Как? Совсем одна? — удивился Саргис Мнеян.— Прямо не верится.

— Поезжайте к ней в гости. Тетя Авдотья обрадуется, вместе заживете.

Засмеялись. На сей раз и Саргис Мнеян засмеялся, с завистью глядя на здоровые молодые лица.

— Избалована ты, наверно,— сказал он одной из девушек.— Бедный твой жених.

— А он напротив вас сидит,— улыбнулась девушка.— И того же мнения.

— Водки выпьете, ребята? Я в Иркутске хорошей водки купил.

Парень закрыл книгу, отложил в сторону:

— Вот это другой разговор.

Выпили, пошутили, женили Саргиса Мнеяна на тете Авдотье, даже «горько» прокричали. Чуть-чуть развеяли мрак в душе старика.

Вдруг он почувствовал колотье в сердце. От водки, что ли? И больше себе не налил.

— Вы пейте,— сказал,— а я валидолом закушу.

— Ложитесь, папаша,— сказала девушка,— может, уснете. А хотите, мы выйдем из купе?

«Хорошие ребята»,— подумал Саргис Мнеян.

— Да нет, зачем ложиться, сейчас пройдет, не впервой, я уже к такому привык.

18

Размика Саакяна Гаянэ встретила у наскального хачкара. «Вот здорово,— подумала,— сейчас верну ему деньги и больше не увижу. (Дядя молодец, тут же выслал двести рублей.) А то бы опять заявился, выпучил свои бычьи глаза».

— Здравствуй, Гаянэ.

— Здравствуй, Размик. Хорошо, что встретились. Вот тебе долг, спасибо. Прости, что задержала.

Размик помрачнел:

— Во чудачка! На кой мне деньги? У меня, слава богу, есть. Когда будут, тогда и вернешь.

— Сейчас как раз есть,— сказала Гаянэ.— Бери.

Гаянэ была в ярком бордовом платье, волосы тщательно причесаны, и показалась она Размику даже соблазнительнее, чем в тот день, когда стиркой занималась. «Прямо лет на пять помолодела,— подумал Размик.— Ну и чертовки эти бабы!»

Возле хачкара сидел Оган Симавонян, но так был поглощен чтением, что их не заметил.

— Вечером дома будешь? — Размик не взял денег, и протянутая рука женщины повисла в воздухе.

— А что?

— Приду, немного потолкуем.

— Я тебе сейчас долг возвращаю, вот и бери,— Гаянэ вся напряглась.

— Деньги попридержи,— вкрадчиво сказал Размик.— Если вечером будешь себя по-людски вести, то они и не нужны. Купишь себе платье выходное. От меня на память.

— Скотина! — закричала Гаянэ и швырнула деньги Размику в лицо, к которому все еще была прилеплена дурацкая улыбка.— Ты, бык, мою цену во столько определил?

— Ну а если дороже, назови свою цену, столкуемся.

Гаянэ с отвращением смотрела на стоявшего перед

ней Размика. Повернулась и медленно пошла — казалось, большущий камень, скатившись со склона, упал...

— Ах, вы на эту девственницу поглядите! — крикнул ей вдогонку Размик.— Дева Мария! В райцентровской гостинице тебе сколько платили? — И нагнулся, принялся подбирать разлетевшиеся деньги.

Гаянэ остановилась как вкопанная — до нее с трудом дошел смысл последних слов. И показалось — кто-то перешиб ей позвоночник: ноги вдруг отяжелели, налились свинцом, руки повисли как плети. Заставила себя обернуться и увидеть человека, подбирающего с земли деньги. Разглядела его подробно, тщательно, чтобы получше запомнить и потом всю жизнь ненавидеть.

— Да ты что?! — оторвался от книги Оган Симавонян.— Ты в своем уме, Размик?

Гостиница была ее болью. В селе знали, что Анушик родилась от командировочного, с которым Гаянэ встретилась в гостинице. Три ночи длилась ее любовь. Любовь? А как же назвать те три горячие ночи, ласки, поцелуи? Такие ночи в ее жизни больше не повторялись, хотя у нее было еще двое мужчин,— тяжелая штука одиночество.

Перч (Гаянэ нежно погладила воздух огрубевшими пальцами, точно гладила это имя) обещал приехать, написать. А больше он ничего ей не обещал, и Гаянэ себя не обманывала, знала, для чего ей нужны эти ночи,— она хотела иметь ребенка.

Перч не приехал и не написал. И три эти ночи остались в жизни ее светом и раной. Размик Саакян разбередил рану, но света потревожить ему не удалось — свет для него неуловим.

Всю дорогу от наскального хачкара до дому Гаянэ переживала заново свою жизнь. А когда открыла дверь, дом показался ей склепом, в который внесли покойника. Только вот плакать над умершим некому.

Со стены на нее смотрели мать и Саак Камсарян. И улыбалась над кроватью своими голубыми глазками Анушик. Ничего толком не успели разглядеть эти глазки: ни света, ни грязи, ни надежды, ни разочарования.

Она заперла дверь на ключ, потом еще на задвижку, опустила шторы и рухнула на диван.

19

Свадьба Врама и Мариам началась, конечно же, в райцентре, где был дом невесты. «Не дом, а квартира,— твердил Оган, видя существенную разницу в этих двух словах.— Квартира еще не дом».

Колонну машин, сопровождавших невесту из райцентра, возглавлял «виллис» Врама, украшенный цветами и свадебной куклой. За рулем сидел председатель Мигран Восканян. Понятно почему — Врам был героем дня. Прочие гости разместились в двух грузовиках. Завершали колонну многострадальные «Жигули» Левона— машина тянулась в самом хвосте, порядком оторвавшись от остальных. Левон, естественно, не мог допустить, чтобы Сона тряслась в грузовике, хотя сама она очень хотела быть со всеми.

Село встретило прибывших у скалы, некогда грохотавшей: иду на вас! «Село», ясное дело, понятие почти условное — горстка людей, семеро прибыли, пятеро встречают. Ну если иметь в виду село, скажем, десятилетней давности — все верно: собрались односельчане.

Как это ни удивительно, на свадьбу приехали почти все приглашенные. Даже двоюродная сестра Врама из Астрахани. Раньше ее звали Нанар, но теперь, предупредила она, зовут Нара. Не приехал только Сенекерим, адрес которого, конечно же, узнали и телеграфировали ему.

«Телеграмму-молнию дайте»,— велел Оган. Через два дня пришел ответ из Ташкента: «Дела задерживают приехать не успею душа разрывается как соскучился...» Слова в телеграмме были армянские, а буквы русские. Забавно.

Встречающие собрались у скалы, во дворе дома Андока. В доме этом давным-давно никто не жил, и человека по имени Андок не помнили, но дом всегда называли домом Андока.

Не хотелось Сааку Камсаряну идти на свадьбу, но он все-таки пошел. Часа за два вдруг явился к нему Оган Симавонян и сказал: «Саак, кто знает, может, мы в последний раз с тобой по стакану выпьем, на том свете не поднесут, и не побеседуешь на том свете, даже если нас рядом похоронят, и останемся мы соседями до самого Страшного суда. Вставай!..»

И он встал и пошел.

Давно в селе столько народу не собиралось, столько голосов не переплеталось друг с другом, не звенело. Камсаряну захотелось представить, что люди приехали сюда насовсем, теперь тут и останутся. Чуть было и сам не поверил в сочиненную на ходу сказку.

Над хачкарами горели свечи. Кто-то в Одинокой часовне пел старинную песню. И голос вырывался сквозь узкое оконце часовни и долетал до Немой горы, до самой ее вершины, и ему подпевала своим извечным шараканом [1] Красавица.

Из окон заброшенного дома, что находился неподалеку от дома Андока, вырывались струи дыма. Наверно, бывшие хозяева вошли в него и теперь курят одну сигарету за другой. О чем они говорят? Кого обвиняют? Курят. Крыша кое-где прохудилась, и через дыры в дом хлынуло небо, и дым даже нескольких сигарет отчетливо виден — воздух-то здесь прозрачный, других дымов нет.

Великое и страшное притворство было во всем свадебном торжестве. Но Камсаряну сейчас не хотелось сосредоточиваться на этой мысли. Народ собрался, зурна играет, машины подъезжают с женихом и невестой — разве в такие минуты стоит думать о том, что не пройдет трех месяцев — и молодожены тоже смотаются отсюда в долину и еще одну дверь будет отягощать нелепый замо́к. Что́ замок этот должен хранить? И от кого?

...А может, это последняя свадьба в тысячелетнем селе?

Камсарян попытался отогнать эту мысль, мучительную, гнетущую, назойливую, но она жужжала подобно оводу, и радость была отравлена.

Подъехали машины. Их было всего четыре, но они разразились такими неистовыми, продолжительными сигналами, откликнувшимися эхом в ущелье, что показалось — тут не меньше сорока машин. Потом очередь дошла до зурны и барабана, и свадьба двинулась под музыку по узкой ухабистой улочке умирающего села. Свернули на другую улицу, да какую там улицу — тропку, которая вот-вот примкнет к горе, слившись с ее склоном. Видимо, в этом году человеческая нога не ступала на тропинку — тут росли фиалки.

Мариам шла прямо по фиалкам, и это было красиво. Красиво и печально. Невеста — в ее белоснежном одея-

---

[1] Шаракан — церковное песнопение.

нии, в белой прозрачной фате — казалась нереальной, даже абсурдной, нелепой среди развалин, под немигающим оком незрячих окон брошенных жилищ. Свадебная фата была длинной — так положено — и цеплялась за камни, за придорожные колючки. Казалось, шипы намеренно хватают ее, и невеста каждый раз оборачивалась, испуганная и бледная. Подол ее белоснежного платья украсился чернильным порошком, и это могло бы показаться красивым, если бы не было столь грустным.

Вдали на горе виднелась Одинокая часовня. И почудилось: Мариам будет идти, идти, дойдет до часовни и встанет около нее. Так и будут стоять бок о бок две стройные девы — одна одетая в черный туф, другая — в белый шелк.

Свадьба длилась всю ночь. Камсарян отказался быть тамадой, потому что торжественные и веселые слова на ум ему не шли. Тамадой пришлось выбрать Миграна Восканяна. Он больше курил, чем пил и ел. Потом, уже на рассвете, Оган заплакал, поцеловал в лоб Врама и Мариам и еще раз потребовал от сына обещания, что тот не покинет село, пока жив отец. «А я даю слово вас не задержать»,— сказал. Потом долго втолковывал Камсаряну, что должно быть выбито на его, Огана, надгробье. И еще просил, чтобы учитель, когда настанет его срок («Пусть не скоро — живи сто лет, живи тыщу лет, ты достоин»), был бы похоронен возле него, Огана.

Врам спьяну заявил, что никогда село не покинет. Мариам уставилась на него из-под фаты удивленно и тревожно. И Врам, запнувшись, уточнил, что ежели он все-таки уедет отсюда, то последним. Да, самым последним, пусть все село это слышит! При этих словах Оган улыбнулся сквозь слезы, а потом ясно, словно перебирая слоги как четки, произнес: «Самым последним будет Саак Камсарян, а он не уедет. Сам ведь знаешь — не уедет!..»

Свадьба становилась все горячее, шумнее, путанее. Теперь уж говорили все, перебивая и не слушая друг друга.

Заставили Армена Камсаряна свои стихи читать. Послушали, шумно и дружно похлопали, выпили за его здоровье, искренне убежденные в том, что Армен человек выдающийся, поскольку никто ничего из его писанины не понял.

Свадьба длилась всю ночь еще и потому, что спать гостям было негде, хотя «гости» эти приехали в свое село, а в селе находились останки их домов. Стены. Слепые окна. Рухнувшие потолки. И больше ничего... Вот потому-то свадьба и должна была тянуться всю ночь, чтобы гости, встав на рассвете из-за стола, могли немножко тут побродить, поворошить в себе воспоминания о былом. Многие, наверно, на кладбище поднимутся — у кого там нет родных? Попытаются привести в порядок дорогие могилы, начнут выдергивать колючки, бурьян, потом увидят, что это напрасное занятие, сядут на могильный камень, закурят. Бабушка Маран непременно поднимется с ними, даст каждому по кусочку запылившегося ладана, и немного погодя ладан воскурится над могилами. Аромат его наполнит ущелье и людские сердца каким-то смутным и нереальным трепетом.

Потом опять спустятся к дому Андока, проводят отъезжающих. Из приехавших уедут все, кроме невесты. Она останется, и в умирающем селе будет одним жителем больше. Только вот надолго ли?..

— Говоришь, в одну ночь все село сбежало?

— Какое село? Куда?

— Ты мне вчера рассказывала. У Одинокой часовни. Часовня осталась, а люди сбежали. Все до единого?

— Все до единого,— подтвердила Сона.— А вот Андок из другой легенды не поддался страху.

— Да знаю я. Гора загрохотала: иду на вас! Все село в панике бежало, только один, по имени Андок, встал против скалы и сказал: «Ну, давай, иди!» И скала, представь себе, не двинулась.

— Потому что хоть один да не удрал, встал перед ней.

— Хорошая сказка,— произнес Армен.— Именно под этой скалой построил Андок себе дом? Да?.. Отцу, наверно, кажется, что он, так сказать, Андок нашего времени — может встать перед скалой, сказать «ну, иди!», и она послушается... Нет, перед отцом не скала из легенды.

— Да он подобной арифметикой и не занимается.

— О, ты не знаешь этих провинциальных философов, этих запоздалых донкихотов!

— Замолчи, прошу тебя!

Армен был порядком пьян.

— Они, эти донкихоты, выставляют свои добродете-

ли. Мол, вы — это мы с тобой, Сона,— живете только сегодняшним днем, а мы — то есть они — видим на тысячу лет вперед. Вы — то есть наше с тобой поколение — только удовольствия получаете, тратите, жизнь прожигаете, а мы, то есть они... Да что, в конце концов, такого случилось? Село в горах, дорог нет, месяцев семь-восемь в году оно отрезано от мира. Разве плохо, что их чин чинарем переселяют в другое место — с приличными домами, школой, баней? Тут, правда, несколько хачкаров останется, ну и что?..

Сона долго смотрела на брата широко открытыми глазами. Ничего ему не сказав, она поднялась и как-то отрешенно вышла из дома, где гуляла свадьба.

— Что, я не прав? — закричал ей вслед Армен.— Не прав, так спорь, убеждай, приводи факты!.. Святая... Хочешь, монахиня, я тебе джинсы привезу?..

Последних слов Сона уже не слышала.

Одинокая часовня всхлипывала всеми своими несуществующими колоколами. В нее вползли змеи, обвились вокруг колонн, облепили стены так, что камня уже не было видно. Змеи ползли, свивались в клубок, и зеленые глаза их хищно посверкивали. Сельчане давным-давно бежали в долину, церковь разрушилась до основания, а змеи, скорпионы и прочая нечисть устраивали теперь пиры среди развалин. Тонкостанная хрупкая часовенка все это терпела, покачивалась, как тополек под ветром, гнулась тростинкой, но стояла, не падала. И крест на ее макушке то блестел в светлых небесах, то пропадал в иссиня-черных тучах.

Что, и сейчас стадо баранов ползет вверх? А на руинах церкви пляшет Злой Дух — тот самый, что в одну злополучную ночь приснился всему селу,— грохочет, давится хохотом?

Бараны ползли вверх, в небо, по лестнице из змей. Вот первый достиг купола, вот вытянул морду к серебряному кресту и принялся его жевать, как траву, как солому, как ячмень. Пожевал-пожевал, а потом сплюнул вниз, с высоты часовни. Но что за чудо — на куполе опять тут же вырос крест. Следующий баран пожевал и выплюнул этот новорожденный крест. И опять крест мгновенно вырос на куполе. И опять, и опять... Бараны его все ели, ели, но крест продолжал возникать.

Веревочная лестница из змей все слабела и вдруг развязалась, и бараны, как пустые мешки, рухнули вниз. Часовня осталась — гордая и недоступная. И крест тоже остался. А иссиня-черные тучи куда-то уплыли.

Часовня, стоявшая на высокой скале, казалась обнаженной тонкостанной красавицей в прозрачной черной туфовой вуали.

Что это было — эхо старинной легенды или мираж, промелькнувший перед глазами Соны, когда она, бежавшая со свадьбы, увидала вдали, в чистом лунном свете гордую Одинокую часовню?

— Простынешь, Сона. Пошли в дом,— позвал ее брат.

— Я видела ужасную картину, Армен...

20

— Я тебе удивляюсь, отец. Ты ведь образованный человек. Неужели не видишь, куда идет мир.

— А разве он куда-нибудь идет?..

Был солнечный полдень, гости разъехались, село дышало покоем.

Отец с сыном лежали на траве.

— Значит, говоришь, мир куда-то идет... Да, расскажи-ка, что ты в Венгрии видел?

— Много чего... Пап, ты собираешься крышу подновить?

— Да, а что? Краски купил. Не знаю, в синий цвет выкрасить или в красный. Ты что советуешь?

— Но... папа... стоит ли?.. Скоро и Сона замуж выйдет...

— Хочешь сказать: выйдет замуж, уедет, и ты, отец, помрешь не сегодня завтра — тоже, стало быть, покинешь село. Для кого же тогда крышу красить? А еще, мол, раздумываешь, в красный или синий цвет. Будто не все равно, какого цвета крыша рухнет.

Армен оцепенел — слова застряли у него в горле. Он показался себе магнитофонной лентой — отец нажал кнопку и услыхал мысли Армена... только вот в исполнении собственного голоса.

— Отпуск у тебя будет? — весело спросил отец.— Давай сюда приезжай. Вместе крышу починим. Сам и краску выберешь,— он пошел к дому, на ходу обернулся: — Да, да, если тебя красный и синий цвет не устраи-

вают, сам купи и привези любую краску. Только не желтую — не люблю желтого цвета.

Армен закрыл глаза, чувствуя сквозь опущенные веки острое покалывание лучей горного солнца. И опять услыхал голос отца:

— Тан выпьешь?

— Лучше кофе,— ответил он почти непроизвольно.

— По части кофе — Сона. Сейчас придет, уговорим ее сварить. Так что там в Венгрии?..

— Знаю,— нервно перебил его Армен,— хочешь сказать, ты Европу пешком прошел, за Венгрию кровь проливал...

Камсарян мягко засмеялся:

— Эх, сынок, плоховато у тебя с нервишками. Не поверишь, я бы все отдал, если бы ты мне как следует описал Венгрию. Тобой увиденную. Замеченный тобою камень, человеческое лицо. Но что ты мог увидеть в сумасшедшей беготне? Два аэропорта, три гостиницы, несколько ресторанов и конечно же памятники, названия которых ты, ясное дело, забыл. Но есть энциклопедия — откроешь, прочтешь, узнаешь, что видел... А из Гарни в село ты пешком возвращался? В ущелье спускался? Вчера я был в ущелье. Все цветет — персики, абрикосы. Ну а миндаль давно в цвету.

— Миндаль?..

— Шел я ущельем, смотрел на камни, на цветы, слушал птиц, голос воды. Вот и ты пройдись пешком и напишешь книгу «Лернасар — Гарни», а потом «Лернасар — Ереван». Такие книги можно создать! Смеешься. Мол, что за путь! Вот «Ереван — Сингапур», «Ереван — Аляска» — это да, стоит взяться. Только что вы там в этой спешке увидите?.. А вот если хорошо опишешь Лернасар — Гарни, похвалю. Всего-то двенадцать — тринадцать километров. Если же по воздуху, километров пять, не больше. Сможешь? Да ты знаешь название хоть одного растения? Дерево одно от другого отличишь? Знаешь, как миндаль цветет?..

— Миндаль?

— Миндаль, сынок...— И яростно выдрал клок земли с травой, цветком и колючкой.— Можешь ты мне все это по имени назвать? Ядовитые они, безвредные, сладкие, горькие?..— указал на куст в поросли с очень широкими листьями, похожий на виноградную лозу.— Знаешь, как он называется? Переступень. Правда, здо-

рово? И плоды его виноград напоминают. Говорят, и женского пола он бывает, и мужского. Да, да, не смейся. Чудесное лекарственное растение. Насколько мне известно, в Армении он только у нас растет — в нашем ущелье. Я у Сргандзтяна[1] читал, что в долине Мшо его когда-то много было. Корень у него горький-прегорький, но средство превосходное от ран — на глазах заживают. И сломанные кости срастаются.

Армен поднял вверх обе руки:

— На ботанике я срезался, отец. Сдаюсь.

— Ты на родине срезался.— Камсарян сказал это неожиданно серьезно.— Предмет, который я у тебя спрашиваю, называется родина...

В тот же день вечером Армен с товарищами будет сидеть в одном из ереванских кафе и беседовать о том о сем, рассказывать о Венгрии, о венгерках, но на своем внутреннем экране («Почему может быть внутренний мир, а внутренний экран — нет?» — подумает он) все время будет видеть дрожащие руки отца, которыми он трясет перед ним, Арменом, непонятный и безымянный для него букет из травы и цветов. И все время будет слышать вопрошающий голос отца: «Знаешь, каким цветом миндаль цветет?..»

...А Саак Камсарян увидал той ночью удивительный сон. Будто собрались в селе жители за всю его тысячелетнюю историю. Негде яблоку упасть. И на улицах, и в домах, и на крышах — везде и всюду народ. Люди сидят на камнях, свисают с ветвей орешин, а несколько человек покуривают себе на облаках. Невесты всех времен в белом, лица их прикрыты фатой. На площади, стоя плечом друг к другу, дудят во всю мощь своих легких зурначи. Мамбре Дрноян крутит «кино». Мамбре усталый, весь в поту, но довольный — говорит без устали: «Первая картина о Лондоне, столице Англии, вторая — о слонах Индии, третья — о красавицах Парижа, четвертая — о юных девах Греции...» Мужчины, особенно молодые, восхищенно и долго смотрят на юных дев Греции — Мамбре не возражает.

И вдруг появился откуда ни возьмись самый долговязый сельчанин — Оганес. Сидит на осле, а ноги сви-

[1] Сргандзтян — известный армянский фольклорист XIX века.

сают до земли. «Интересно,— подумал Камсарян,— если убрать из-под него осла, он заметит?»

Люди прыгают с крыши на крышу, с дерева на дерево, с ветки на ветку. Не переставая звонят колокола Одинокой часовни, а водопад поет какую-то очень знакомую песню.

Вдруг показались три кузнеца — тщательно выбритые, в чистой одежде — и с ними Оган Симавонян с огромной стопкой книг под мышкой. «Я читал,— говорит,— мне помешали...»

Выстроившись по росту, пришли на площадь павшие во все времена бойцы, из-за деревьев любуются ими девушки. Парни молча стали там, где впоследствии вырос памятник, на котором выбито всего пятьдесят семь имен.

Ущелье гудит от голосов, деревья качают ветвями, и горы наклонились, чтобы получше разглядеть, что делается в селе.

— Возвращайтесь все! — крикнул Камсарян.

Но ответом ему было великое безмолвие: перестали играть зурначи, замерли девушки, потемнело «кино» Мамбре Дрнояна, а колокола Одинокой часовни вдруг онемели — раскачиваются взад-вперед, а звука нет.

— Возвращайтесь! — крикнул Камсарян еще громче.

— А мы и не уходили. Куда возвращаться тому, кто не уходил?

Кто ответил? Кто произнес эти слова?

И опять зазвонили колокола, зурначи заиграли прерванную песню, с шумом завертелись мельничные жернова, и белая мука, подобно белому облаку, вознеслась в небо.

...Камсарян проснулся и в первое же мгновение вспомнил сон, будто заново увидел, чтобы потом потерять увиденное.

— Ты с ума сходишь, Саак,— сказал он себе вслух.— С ума сходишь.

И уснуть больше не мог.

21

Через два дня после свадьбы Врама и Мариам село узнало, что уехала Гаянэ.

Оган Симавонян сам лично дважды ее приглашал, и — на тебе! — единственная не явилась. Оган Симавонян, подыскивая бранные слова, пришел к ней узнать, в чем дело.

Дверь дома была заперта; он удивился: замка нет, дверь заколочена досками! Крест-накрест. А окна открыты. Оган, конечно, всунулся — дом был пуст.

Когда же она уехала? И как сумела улизнуть так незаметно? «Наверно, во время свадьбы,— подумал Оган,— все село было в моем доме, а она собрала пожитки, да и... Но куда?..»

Оган сел на стоявший во дворе табурет, закурил, затянулся. Значит, еще одна дверь закрылась, еще один очаг погас. А бранных слов для Гаянэ так и не нашел. Гаянэ — одинокая женщина, ей в селе было труднее всех. Может, в райцентре квартиру получит, работать станет, приживется... Бог с ней.

Он тяжело поднялся и направился к учителю, чтобы сообщить ему печальную новость.

— Невероятно,— резко сказал Камсарян.— Мы ведь на днях встретились, поговорили. Почему она об этом ни слова? — И вдруг вспомнил озабоченные глаза Гаянэ и то, что она отказалась войти в дом. Наверно, стеснялась, потому что уже решила уехать.

— Я в райцентр еду, загляну в больницу, повидаю ее, пристыжу. Могла бы хоть не скрывать...

— Одинокая женщина... Что ей было тут делать, Саак?

— Одинокая женщина...— повторил Камсарян.

...В больнице Камсаряну сказали, что медсестра Гаянэ Адамян уже два дня не является на работу. Оставила заявление об уходе у дежурного врача. Думали, она в Лернасар уехала. Может, ее кто-нибудь в больнице обидел? Она чересчур уж чувствительная — слова не скажи, обижается. А сестра она отличная. Может, в Ереван подалась — там у нее дядя. Только вот адреса его никто не знал.

Камсарян помрачнел — есть во всем этом какая-то тяжелая тайна. Но какая? И как найти одинокую женщину в миллионной городской толпе?

Случай, произошедший на следующий день, заставил забыть о таинственном исчезновении Гаянэ.

После полудня привезли на «виллисе» геологов в село сына Миграна Восканяна — Варужана. Подросток был весь в крови, с трудом открывал глаза и едва ворочал языком. Его отнесли в дом Огана Симавоняна, потому

что Восканяна дома не было, а Лусик, тоже ехавшая на этом «виллисе», рыдала всю дорогу. Из ее сбивчивой речи еле удалось понять, что они с Варужаном шли пешком из школы, а в ущелье на Варужана напали трое и избили его, сама она спряталась в кустах.

Пока Мариам, молодая жена Врама, медсестра, промывала подростку рану и прикладывала холод ко лбу, геологи умудрились слетать на своем «виллисе» за врачом. Немного погодя вбежала запыхавшаяся Сона, за ней Камсарян, а под вечер только приехали Восканян и Врам, ничего не знавшие о происшедшем.

Лусик уже пришла в себя и все рассказывала и рассказывала каждому входившему о том, что случилось. Припоминала при этом новые подробности:

— Они в хачкар стреляли — вы этот хачкар знаете, он в ущелье, перед большим родником. Врам запаздывал, ну мы и решили пешком домой пойти. Мы иногда ходим. Вот и сегодня. Видим — трое парней. Сперва ни о чем дурном не подумали — возле родника костер, на траве еда, бутылки. Там ведь часто шашлык жарят. Голоса их до нас долетали, но слов не разобрать — река шумела. Они вроде бы спорили. И вдруг Варужан меня за руку схватил. Лусик, говорит, они хотят по хачкару стрелять. Тут и я увидала — один из охотничьего ружья в хачкар прицелился. И вдруг Варужан отпустил мою руку и как закричит: «Не стреляйте!» Камнем скатился с дороги в ущелье, и в этот момент выстрел раздался.

Только, наверно, крик Варужана тому типу помешал — он промахнулся, не попал в хачкар. Варужан подбежал к хачкару и загородил его собой, заслонил. Что-то кричал, только я уже не слыхала — испугалась, схоронилась в кустах и только видела, как его били. Сперва тот, который стрелял, схватил Варужана за ухо, потом за руку. Но Варужан будто прирос к камню. Наконец, тот тип его все-таки от хачкара отодрал. А двое других захохотали. Варужан поднял с земли камень, запустил в того, но промазал. А потом они втроем повалили его наземь. Тут я как закричу! Они и смотались...

Мигран Восканян почернел от горя и ярости. Оган, Размик, Ерем, Сона, Аревик молчали. Варужан глухо стонал. Камсарян в конце концов нарушил молчание.

— Если увидишь их, узнаешь?

— Узнаю,— сказала Лусик.— Особенно того, стрелявшего. В желтой рубахе, без шапки, небритый.

— Побреется,— простодушно заметил Ерем.

— Я в райцентр поеду,— сказал Врам,— надо в милицию сообщить.

— Я поеду с тобой,— сказал Камсарян.

— Папа,— открыл глаза Варужан,— пап, они по хачкару стреляли. Зачем?..

Мигран Восканян зарыдал — горький сигаретный дым попал ему в дыхательное горло, и он тяжело закашлялся.

— Будь мужчиной, Мигран,— мягко укорил его Камсарян.— Мальчика жалко...

— Хачкар было жалко, учитель,— заплакал Варужан, не размыкая век.— Они хотели убить хачкар.

— Надо жертву принести, председатель,— запричитала бабушка Маран,— есть наверху бог, хранил господь твое дитятко...

Кашель прекратился, Восканян зажег новую сигарету и ничего не ответил.

— Поехали, Врам,— поднялся Камсарян,— надо милиции дать знать, пока не стемнело...

Лусик съежилась в уголочке, черты лица заострились. Сразу повзрослела, что ли?..

— Его портфель у хачкара остался,— вдруг вспомнила Лусик.— Он прямо с портфелем побежал. Сперва хотел было портфелем по морде заехать тому, кто стрелял, а потом камень взял.

— Подберем, доченька, найдем,— уже в дверях сказал Камсарян.— Ты успокойся...

«Бедный принц,— думала Лусик,— а я-то считала тебя трусом. Как ты не побоялся встать под дуло? Бедный принц...»

Врач сказал, что ничего опасного нет: кровь шла из разбитых десен, на теле ссадины-царапины, левая рука вывихнута. Испугался паренек, надо ему отдохнуть. Дал лекарство, сказал:

— Успокоительное, спать будет хорошо. Лучше сегодня не двигаться. Завтра или послезавтра будет уже на ногах. Я завтра еще приду — возможно, надо показать невропатологу.

Портфель валялся возле хачкара. Камсарян дотошно оглядел камень: Лусик не видела — пуля все же его коснулась, слева было свежее увечье, приоткрывшее еще

здоровую плоть темно-красного туфа. Камсаряну померещилось, что по каменным прожилкам течет кровь. Целился, наверно, в середину, да рука крестоубийцы дрогнула от крика подростка.

— Поспорили, видать,— сказал Врам.— Поспорили, кто сумеет точно в середку пулю всадить.

Возле горки золы от догоревшего костра валялись две пустые бутылки из-под водки.

— Подбери их,— велел Камсарян.— Только поосторожней, отпечатки пальцев не сотри... А больше ничего нет.

Камсарян поднял портфель Варужана, Врам — бутылки. В нижнем углу хачкара Камсарян прочел: «Господь, окажи милосердие Саргису и его потомству». Как он до сих пор не замечал этой надписи? И кто такой Саргис? Наверно, сам Саргис и выбил ажурный узор на этом камне.

— Я доложу заместителю начальника,— сказал дежурный милиционер,— вы идите. Лейтенант Антонян уехал в Норашен. Вернется — доложу. Как сейчас мальчик?..

— А как ему быть? — ответил Камсарян грубовато.— Представляешь, что пережил шестнадцатилетний парнишка? Но хачкар спас!

— Да что такое хачкар? Тесаный камень! В него самого пулю могли всадить!

— Выстрелили только раз,— вмешался Врам.

— А если б и второй?.. Эти гады от нас никуда не денутся, вы идите.

На улице Камсарян сказал:

— Пойдем выпьем чего-нибудь.

Врам с изумлением глянул на учителя:

— Пошли, учитель. Возле кино кафе есть. Открыто, я только что видал...

22

В одной книге, посвященной австралийским аборигенам, Сона когда-то прочитала легенду о бабочках. Красивая легенда. Однажды Сона рассказала ее ученикам, легенда им понравилась, хотя они в нее и не поверили.

Давным-давно, когда мир только создавался, у птиц и зверей был один общий язык, они друг друга прекрасно понимали. В то время еще не было смерти. Но од-

нажды бедняжка какаду упал со скалы и... уснул. Птицы и звери, как ни старались, а разбудить его не сумели. Совет мудрейших решил, что духи, скорее всего, его назад забрали, чтобы переделать в другую птицу. Правдоподобно, но где доказательства? Может быть, птиц послать на небо, к духам, чтобы птицы там перезимовали, а потом вернулись на землю и все рассказали?

Птицы согласились и стаей взмыли в небо. Зима прошла в ожидании, а в первые весенние дни стрекозы подняли шум: мол, птицы возвращаются в новом обличье. И вскоре окрестность наполнилась необычными существами — желтыми, белыми, красными, синими. Вот, стало быть, какой вид придали духи птицам! Пестрые бабочки весело заполонили деревья, кусты, лес.

Мудрецам это очень понравилось, и они решили повторять опыт каждый год. С тех пор каждую зиму бабочки проводят в коконах, а потом уж, весной, делаются легкокрылыми, красивыми, несущими радость созданиями.

«Почему я вдруг вспомнила эту легенду? — думала Сона, глядя на мотыльков, сгорающих в абажуре.— Во что превращаются, кем оборачиваются они, сгорев?»

В абажуре лежал пестрый прах, но, может быть, души мотыльков отделяются от тел и переселяются в другие? Усмехнулась: «Мистика, делаюсь суеверной, Левон будет иронизировать, приведет научные доказательства...»

Варужан уже поправился, и они опять с Лусик ездили в школу. Отец требовал, чтобы он жил у матери в Цахкашене, но мальчик ни в какую. Тогда строго-настрого запретили им возвращаться из школы пешком.

Бабочка опустилась на волосы Соны. Сона глянула в зеркало — бабочка показалась ей дивным украшением. «Не лети на огонь»,— попросила ее Сона.

Преступников искали, но пока безуспешно. «Найдем,— пообещал лейтенант Антонян.— Да еще кого избили, сволочи,— сына председателя! А смелый мальчишка. Такие в милиции работать должны».

23

Письмо Михаила Орлова было на сей раз коротким: «Собираемся с сыном в Армению. Очень хочу побывать на родине моего боевого друга. Примете гостей?..»

Камсарян тут же ответил — правда, не без горечи. Что они увидят? От Геворга остался в селе полуразрушенный дом да имя на памятнике. Но об этом Камсарян, конечно, не упомянул, просто написал, что село будет радо... А вдруг не приедут?.. Вложил в конверт цветную фотографию памятника.

24

Сос Сафарян прочитал подписанное председателем письмо вначале равнодушно, как всякое письмо, потом удивился, а затем побагровел от ярости и стал вышагивать взад-вперед по своему узкому — не рассчитанному на подобные душевные состояния — кабинету. Ему нужен был кто-нибудь сейчас, немедленно, сию минуту, на кого он мог бы обрушить свой гнев.

И такой человек появился — Саноян, редактор районной газеты. Он опасливо приоткрыл дверь...

— Заходи, заходи! — крикнул Сафарян.— Потолковать надо!

— В чем дело? — Саноян отозвался шепотом.— Недавно товарищ Вардуни приехал из Еревана, видел председателя. Ходит, курит... Не случилось ли чего-нибудь? — И, осторожно закрыв за собой дверь, приблизился: — Говорят, вроде бы председателя...— голос его сделался доверительным,— ведь его снимают. Правда?

— В партшколу направляют.

— Ты на него так поглядел во время заседания! Все тут же на тебя обернулись. И все стало ясно...

— А как же,— Саноян попал в цель.— Или работать, Асатур, или...

— Ты, Сос Минасович, руководитель крупного масштаба.

Сос Сафарян самодовольно улыбнулся, а потом снова на глаза ему попалось письмо Саргиса Мнеяна.

— Про партшколу — ни гугу! Ты этого ни от меня, ни от кого другого не слыхал! Ясно! А сейчас почитай-ка вот это письмо.

Саноян основательно устроился в кресле, надел очки и принялся спокойно, неспешно читать. Лицо его оставалось невозмутимым — видимо, с одним и тем же олимпийским спокойствием он читал бы и «Декамерон», и некролог, посвященный Сосу Сафаряну, и газетную передовицу о соцсоревновании.

Саноян около двадцати лет проработал в райкоме — в одном отделе, занимая одну и ту же должность, и, говорят, написал двадцать томов проектов решений. Был влюблен в свою теперешнюю жену. И когда она — студентка-заочница — поехала в Ереван на экзамены, написал ей письмо и над обращением «дорогая Сусанна» красными чернилами вывел: «проект решения». Злые языки утверждали, что потом он отнес письмо это секретарю райкома — может, будут замечания, ведь это всего лишь проект. А секретарь вроде бы, не читая — Саноян всегда составлял безукоризненные проекты решений,— подмахнул: «Вынести вопрос на бюро».

— Это письмо можно рассматривать с разных точек зрения,— снимая очки и протягивая листок Сафаряну, начал Саноян.— Во-первых...

— Что «во-первых»! — перебил его Сафарян.— Тридцать лет назад он оставил село, мотался по свету, а теперь, на старости лет, видите ли, стосковался — подать ему его село! Оставался бы тут да сторожил его!

— Во-первых...

— Погоди, погоди, Саноян. Не можешь ты щелкнуть этих патриотов в своей газетке? Покопайся, выясни, кто он такой, почему уехал... И образ его обрисуй... покарикатурнее.

— Нужно подумать. Во-первых...

— Это было бы совсем не плохо. Смотри, что он выдает: «Купил билет на поезд, чтобы своими глазами увидать развалины моего села». Явится и жалобы примется строчить.

— А на что ему жаловаться? Во-первых...

— Да что ты заладил: во-первых, во-первых! Во-первых, пришлют комиссию, начнется проверка, критика. А потом надо будет кого-то наказать, найти козла отпущения. И кого?

— Во-пер...

— Заместителя председателя!

— Саак Камсарян все время жалуется, а кому от этого жарко-холодно?

— Камсарян — дело другое, он свой. А этот из Иркутска. Понял, из Иркутска! Может, он там на рудниках работал, может, у него ордена-медали, заслуги особые! Приедет и заявит: «Где мое село? Подать сюда его — и баста!»

— Во-первых, пусть сперва приедет и поживет тут с Камсаряном...

— Нет, ты должен щелкнуть его по носу...

— Я подумаю... Посоветуюсь... Он, возможно, передовик производства...

Сафарян с глубокой безнадежностью посмотрел на невозмутимый портрет человека в коричневой раме двери. «Уж этот-то поживет, не попадет под сокращение штатов»,— подумал он.

И вдруг неожиданно фыркнул:

— Слушай, Асатур, это правду про тебя говорят, будто ты Сусанне в Ереван письмо написал и сверху добавил «проект»?.. А потом вроде бы отнес письмо третьему секретарю?..

Портрет в коричневой дверной раме едва заметно шевельнулся, лицо осветилось слабой снисходительной улыбкой:

— Во-первых, штата третьего секретаря в те годы в райкоме еще не было, и потом...

— Иди, иди,— давясь смехом, сказал Сафарян.— «Во-первых», иди.

— Иду,— и закрыл за собой дверь.

На столе все еще лежало письмо из Иркутской области, и Сафарян невольно скользнул взглядом по строкам: «Я написал в село раз, второй, третий, и наконец мне, слава богу, ответили. Лучше б и не отвечали. Мол, Лернасара нет больше, не существует такого села. Было, да сплыло — и все тут. Как то есть нету? Когда я после войны вернулся, там было сто двадцать хозяйств. Куда все подевалось? Как так? Жаль, врачи запретили мне лететь самолетом, а пока доберусь туда поездом, весь изведусь...»

Телефон зазвонил назойливо и длинно. В трубке послышался голос лейтенанта Антоняна:

— У тебя, случайно, не совещание, товарищ Сафарян? Не помешал?

— Совещание. Сам с собой совещаюсь.

— А! — вроде бы что-то понял тот.— Так я вот что хотел сказать. Учитель-то крышу починил. И покрасил ярко.

— Камсарян?

— А то кто же? Мы село с лица земли стираем, а он дом подновляет. А на днях они свадьбу играли.

— Говорят, у него дочь красивая. За кого он ее выдал? За врача?

— Да нет, не ее свадьба. Водитель председателя, Миграна Восканяна, женился. До утра гуляли.

— Ну и хорошо. Чего тут удивляться-то? Говоришь, Камсарян крышу покрасил?

— В красный цвет. В ярко-красный. За пять километров без подзорной трубы видать.

Сафарян помолчал минуту и, чтобы чем-то заняться, зажег сигарету, хотя курить ему не хотелось.

— В красный, говоришь?

— Краска, думаю, заграничная. Любопытно, где достал? Выясним?

— Слушай, Антонян,— в голосе Сафаряна прозвучали металлические нотки,— слушай, что я тебе скажу, товарищ лейтенант милиции: не смейте касаться крыши, ясно?

— Почему? — остался в недоумении Антонян.

Решительным, не допускающим возражения тоном Сафарян поставил точку:

— Не смейте касаться крыши Саака Камсаряна! Понятно? Лучше будет, если ты побыстрей разыщешь тех, кто избил сына Миграна Восканяна! Все!

Сафарян сам удивился своему категоричному тону, небрежно опустил трубку, подошел к окну и долго, пристально смотрел на горы-«сиротки».

Что за человек этот Камсарян? И чего он, в конце концов, добивается?.. Но простые, естественные ответы на эти вопросы не приходили ему в голову. Человек свою землю любит, свое село любит — хорошее оно или плохое, но его! Трудна в нем жизнь или легка, он там хочет остаться, там намерен дожить свой век! «Нет, тут есть что-то такое, чего я недопонимаю»,— нахмурился Сафарян. Потом вспомнил, что в четверг должен принять Камсаряна. Арам Вардуни, первый секретарь райкома, переправил адресованное ему письмо учителя (двадцать страниц!) председателю, а тот перед отпуском передал его — кому? Разве не ясно — Сосу Сафаряну, разумеется. «Читай,— говорит,— просвещайся. Потом примешь его, побеседуешь. Ты ведь у нас теперь специалист по Лернасару».

Сафарян стиснул виски ладонями. Хорошо, что свет в селе не отключили. Село не село, но человек пятнадцать — двадцать там ведь есть — женщины, дети. Нет,

нет, ты, Сафарян, молодец — не стал пороть горячку, не пошел на поводу у Антоняна, не придал значения его бездумному, недальновидному предложению.

Поднял телефонную трубку, быстро набрал номер. На другом конце провода послышалось:

— Лейтенант Антонян вас слушает.

— Учти, Антонян: если крашеной крыши, которую за пять километров видать, кто-нибудь пальцем коснется, ты будешь ответ держать. Передо мной. Знаешь, чем рискуешь? Обеими звездочками на погонах. Ясно?

25

Кузнецы, все трое, поднимались по каменистому склону — когда-то здесь, видимо, была сельская улица,— и каждому из них было столько лет, сколько минуло в день смерти. Под ногами дрожал молочный туман, и шли они, как по облаку, не ведая, сколько им лет, но зная одно: что они — отец, сын и внук.

Безмолвно взбирались вверх по склону, и с ними вместе катилось вверх солнце, рассеивая слепую бледность предрассветья и возвращая миру краски, потерянные ночью.

«Гегам,— обернулся к сыну кузнец Согомон,— а Санасара не пора ли обручить? Он ведь уже могучий кузнец».

Санасар, который был внуком, но седовласым и на три года старше деда, услыхал краем уха, что речь идет о нем, и, преисполненный кротости, поотстал, дабы не подслушивать разговора родителей.

«Твоя воля, отец, давай обручим. Кольцо есть. От моей матери».

Они шагали сквозь туман. Пелена его обволакивала брошенные дома, а солнце поднималось все выше, выше — бледное, обескровленное.

Потом, разорвав завесу тумана, вошли они в разрушенную кузницу, и вскоре в горниле уже плясал огонь, веселый и языческий. А кузнецы подняли свои тяжеленные молоты, чтобы пробудить мир от ночного дурмана.

Грох!.. Грох!..

«Что вы куете, кузнецы?» — доносилось с разных концов пробудившегося мира.

«Лемех мастерим».— «Полно тракторов, а эти лемех куют... полно... тракторов... а эти... лемех...»

Огромный лемех огромного плуга лежал на наковальне подобно слитку оранжевого солнца, и могучие молоты опускались на этот слиток.

Грох!.. Грох!.. Кузнецы продолжали битву с огнем.

Кузница ожила, заполнилась волшебными мотыльками огня, стены ее заплясали. Мехи раздувались подобно грандиозным легким мамонта, и сама кузница походила на живое, дышащее существо — вот-вот вся заходит ходуном, взревет.

Три кузнеца — дед, его сын и внук — ковали лемех.

Пот стекал с их честного чела, струился по литому телу. Вены напряглись — казалось, вот-вот лопнут.

А кузнецы поднимали молот подобно знамени и опускали подобно мечу.

— Кузнецы возвратились! — прогремело над Немой горой.— Пробуждайтесь! Кузнецы возвратились!

...Саак Камсарян вскочил, разбуженный собственным голосом. Протер глаза.

В селе было темно. Рассвет все не наступал.

А три кузнеца конечно же тут — разве они уходили, чтобы возвращаться? Они навеки рядом, вместе... на кладбище.

26

Саргиса Мнеяна сняли с поезда на станции Михайловская Новосибирской области. Минут за пятнадцать до прибытия на эту станцию у него начался сердечный приступ, и железнодорожный врач категорически запретил продолжать путь:

— Отлежитесь, отдохните дней пять-шесть, в Михайловской хорошая больница, а потом — пожалуйста. Билет ваш не пропадет, оформят все, как положено.

— Пять-шесть дней... Значит, я на майские праздники приеду в Армению...— последние слова он произнес по-армянски, потому что говорил их себе, и врач, естественно, ничего не понял.

— Что вы сказали? — спросил он.

— Ничего,— ответил старик,— хочу на майские праздники быть дома.— «Быть дома»... Саргис Мнеян услышал отзвук собственного голоса. Значит, он едет домой?

За эти годы дом у него был в разных местах, и переделал Саргис Мнеян тысячу дел. Нет, недовольства он не испытывал, но все-таки какую-то осечку жизнь дала.

Может, то, что детей у него нет? С первой женой он скоро разошелся. Работал тогда на строительстве, в Семипалатинской области. Жена была медсестрой, через ночь дежурила в больнице. А он, как дурак, из-за пустяка к ней прицепился — ревность его точила. Молод был, горяч, вот и убил только-только нарождавшееся чувство: «Или я, или больница!» — «Ну, если ты так вопрос ставишь, то больница,— сказала жена.— Ты без своей работы не можешь, я без своей».

Однажды ночью он увидел около жены в машине «скорой помощи» какого-то молодого человека — видимо, это был врач. Развелись. Да, молодой был, горячий.

Начал кочевать: месяц тут, месяц — за тысячу километров отсюда. Мало-помалу кочевая жизнь проникла ему в плоть и кровь — хороша! Потому-то и разрушилась его новая семья. Вторая жена не желала без конца сниматься с места. Ей нужен был домашний очаг, тепло, дети. Она была беременна, когда они однажды проспорили всю ночь. Он решил податься в Иркутск. Он! Решил! «Мои родные тут,— заявила она и подкусила: — Ты родину потерял, так и мне, что ли, терять?..» — «У нас слово мужчины закон!» — «А у нас женщина и мужчина равны!» — «Да плевал я на такое равенство!»

Жена оставила его и ушла к родителям. Саргис Мнеян был уверен, что через несколько дней она одумается, вернется. Ан нет — пришла повестка в суд. После Саргис Мнеян узнал, что ребенок, которого он так ждал, на божий свет не явится.

Он пил беспробудно целую неделю, проклинал жизнь и жену — вернее, бывшую жену. А потом купил билет на самолет и через два часа приземлился в Иркутском аэропорту.

Эх! Воспоминания пронзали его больное сердце, но где кроется ошибка, он так и не мог понять... Армения в те годы из него улетучилась, кочевая жизнь казалась привлекательной: сегодня тут, а завтра там, корней нигде не пускаешь, волен, как ветер,— лети, касайся чего хочешь. Зарабатывал хорошо, и деньги тут же проматывал, однако был уверен: они и завтра будут...

— Попробуйте подняться. Спокойно, без усилий. Вот так.

Чей это голос? Открыл глаза. Возле него стояли двое мужчин в белых халатах и женщина. Заметил еще в коридоре врача.

— Не забудьте взять вещи больного,— предупредил врач.

Вещи — два тощих чемоданчика.

Саргис Мнеян посмотрел на них с несказанной печалью: а ведь не думал, что за тридцать лет кочевой жизни только и скопит-то добра, что два жалких чемоданчика.

27

— Тех мерзавцев поймали?

Лейтенант Антонян, инструктировавший в кабинете начальника дежурных милиционеров, не заметил, когда вошел Мигран Восканян. Дежурные стояли, вытянувшись по швам, а он сидел на стуле начальника. Курил. Ему нравилось, чтобы подчиненные стояли перед ним навытяжку. Как сигареты в пачке «Ахтамара» — одна к одной, с черными головками. Жаль, что в этой «пачке» всего восемь сигарет — такой тут милицейский состав.

— Я тебя, лейтенант, спрашиваю — поймали?..

Антонян властным движением руки отпустил подчиненных.

— Даже бабочку нелегко поймать, товарищ Восканян. Ты пробовал? Ну а хулиганов тем более.

— Что, в Ереван обратиться? — холодно прервал его Восканян.

— А зачем в Ереван? — с тревогой в голосе спросил Антонян: его начальника повысили по службе, и он теперь не терял надежды, что...— Мы, Мигран, этим занимаемся. Но негодяи-то, видать, не нашенские — я своих, как пять пальцев, знаю.

— Вы ведь одного поймали. Ну и что?

— Поймали-то поймали, да очная ставка не подтвердила. Ни сын твой, ни та девочка — как ее звать-то? — его не признали. Но мы его не отпустили — и у этого наверняка рыльце в пушку... Как там у вас учитель Камсарян поживает?

— О твоем здоровье справлялся.

— Не жалуюсь,— до Антоняна не дошла откровенная издевка.— Крышу, говорят, покрасил?..

В Мигране Восканяне возникло неодолимое желание схватить со стола пепельницу и запустить в лоб Антоняну — настолько узкий, что на нем уместилась одна-единственная морщина. Почему он вдруг морщину эту заметил?

— Собачья жизнь,— вздохнул лейтенант и потянулся к звонку.— Только семь человек тебе подчиняются, а остальные, с жены начиная, орут!

28

Сона лежала на горном склоне, который, казалось, только что покрыли зеленой краской. Смежила веки. В небе горело огромное солнце, вокруг царила нетронутая тишина.

Левон, сидевший рядом с Соной, вдруг заметил, нет, вернее, почувствовал, как подрагивает ее блузка, словно колотятся под ней два небольших сердечка. Нежный, почти прозрачный шелк не скрывал, а, напротив, как бы подчеркивал упругость молодой груди.

Левон почему-то сказал:

— Девушки теперь лифчиков не носят. Такая мода.

— А я ношу,— Сона ответила автоматически, мысли ее были совершенно в другом месте.

— Носишь? Мне показалось, что и ты...

Руки его сами собой потянулись к ней, и уже в следующее мгновение он смотрел поглупевшими от восхищения глазами на ее обнаженную грудь, которая была до страшного близко.

— Сона...

Девушка все еще пребывала в дреме. Солнце ее разморило? Весна? Заботы? Левон поцеловал ее в губы, в шею, в грудь... Сона пыталась оттолкнуть его, но с какой-то покорной безнадежностью...

Сияло солнце, царила весна, земля была мягкая и горячая, а Сона — двадцатидвухлетняя.

— Левон... прошу тебя... Левон...

Потом глаза ее потухли, тело ослабло, и она стала просто женщиной, причастившейся к наивысшему таинству своего пола.

А Левон?.. Почему он вдруг вспомнил свою первую женщину? Когда это было? Сколько лет назад?.. Почему именно в этот момент должно было всплыть ее лицо? Белобрысенькая, глаза светлые, круглые... Провели тревожную ночь в студенческом общежитии, в его комнате (сосед Левона ушел на ту ночь якобы к дяде, но кто его знает), прислушиваясь к предательским шагам в коридоре.

А на земле — они с Соной одни, и могло показаться, что нет больше никого в целом мире. Единственный свидетель — бог, если он есть и если в этот момент он случайно взирает с небес...

Левон почувствовал неодолимое желание закурить. Где пачка сигарет? А, вот. Отыскал коробок спичек, закатившийся в траву. Зажег спичку...

И от этого звука Сона открыла глаза, словно пробудившись от дремы. В ужасе вскочила, потом опять опустилась на землю, увидев, что полураздета и Левон смотрит на нее.

— Бесстыжий!

Что это она — в шутку, всерьез, выкрик этот ею выстрадан?

— Ты прекрасна, Сона,— в голосе Левона страсти уже не было, но слово «прекрасна» показалось ему подходящим.

Он с удовольствием курил, и в мыслях его пробуждались заботы, о которых он только что напрочь забыл. Завтра ответственная операция. Назревает конфликт с главврачом. «Надо ему хвост прижать»,— счетная машина мозга получила задачу.

Сона со стыдом и ужасом взглянула на свою обнаженную грудь и тут же застегнула пуговицы.

— Твоей груди знаешь бы кто позавидовал? Сама...— он не мог подобрать имени: Афродита? Софи Лорен?..

Но в голосе его уже появились нотки собственника: все, в том числе и грудь эта, теперь принадлежит ему.

— Ненавижу всю вашу породу!

А что она знала о мужской породе? Левон был ее первым мужчиной. И произнесла она это мягко — не для того, чтобы обидеть, а для того, может быть, чтобы стать ближе ему новой неуловимой черточкой.

— Закуришь? — вдруг спросил Левон.

Для него самого вопрос прозвучал неожиданно: просто сработал механизм прежнего опыта.

— Дура! — Сона залепила ему пощечину.— Какая же я дура!

Левон почему-то вспомнил еще одну женщину, с которой провел время в гостинице, но домой провожать ее не стал. Она оделась, собрала свои вещи и ушла какая-то рассеянная, разбитая. А немного погодя раздался телефонный звонок: «Я бы на твоем месте все-таки проводила...»

Почему он ее вспомнил? Да и при чем тут Сона? «Я ведь люблю Сону, люблю!» Эти слова он может прокричать!

...Сона шла по горной стежке каким-то неровным шагом и показалась Левону чем-то похожей на ту женщину в гостинице. Вот так же одиноко и растерянно шла она по зеленой ковровой дорожке нескончаемого и ослепительно освещенного гостиничного коридора.

— Прости меня, Сона,— слова эти прозвучали искренне: сознание вины возникло у него с опозданием, но все-таки возникло.— У меня нет на свете человека ближе тебя.

Сона не слышала или просто не захотела отвечать? Она походила сейчас на Немую гору. Как хорошо — издалека донесся голос Красавицы.

У старого полуразрушенного моста они расстались.

— Я не хочу, чтобы ты поднимался в село,— сказала Сона,— мне надо побыть одной.

— Завтра приду, с отцом можно уже поговорить.

— Уже? Почему «уже»? — и вдруг поняла почему. Взгляд ее потух, и донимавший тело озноб утих.— Тебе не о чем говорить с отцом. Ни раньше, ни «уже».

Левон с изумлением посмотрел на девушку, которую знал почти двадцать лет, и вдруг увидел, что каменистой тропой от него уходит незнакомая красивая женщина.

— Сона, завтра в семь приду!.. Будьте дома!..

«Приду... будьте...» — отозвалась Немая гора.

Да нет, не отозвалась — это были собственные слова Левона, которые гора от себя отшвырнула.

Он всегда полагал, что женщина для него — открытая книга. Тем более Сона. Можно дочитать до желаемой строки, загнуть уголок страницы и продолжить чтение когда угодно. Но холодность девушки после всего, что между ними произошло, его поразила. Девчонки после такого обычно липнут как смола. Или же душат вроде веревки висельника. Сила женщины, ум женщины — в ее теле, думал он. Все в природе — и женщины, и прочее — создано для того, чтобы мужчина этим пользовался. И все следует оценивать с точки зрения этой самой пользы. Сона смотрит на водопад и любуется, а ведь водопад, это и школьник знает,— даром пропадающая энергия. Сона смотрит на гору и по-детски вос-

торгается ее причудливой формой. А для него, для Левона, гора — всего лишь тайник, в котором прячутся полезные минералы. Гора — враг, у нее следует отнять сокровища, которые ей не должны принадлежать. Сона часами, да, часами может слушать лесные звуки. А что там слушать — ветер перебирает листву, вот и все.

Однажды Сона вспомнила какого-то скучного поэта и сказала: «Жаль те леса, которые вырубают, чтобы печатать бездарные книжки». Ну, конечно, лес — это совсем не плохо, когда ты в нем с красивой девушкой и деревья — да здравствуют деревья! — скрывают тебя. Значит, лес — благо, прячет тебя от болтунов.

А Сона во всем ищет душу. «Да,— сказала она както,— лес без души — просто дрова, будущая бумага или кровать. Травы, если в них не видеть души,— только корм для скота и больше ничего».— «Это ты, наверно, вычитала у какого-нибудь философа-идеалиста. Душа! Даже человек — соединение различных химических элементов. Правда, гениальное соединение».— «Человек — прежде всего душа».— «Да человек, в конце концов, мешок с кровью, костями, мышцами. А душу придумали поэты и Исус Христос».— «Но человек без души — труп»...

«У меня с этой душой будет нелегкая жизнь»,— подумал Левон. Дорога была опасная, и он вел машину неспешно, осмотрительно, а голова его гудела, как улей. «Да, нелегкая будет жизнь...»

«В конце года пусть-ка главврач подыскивает себе место,— в мозгу был включен счетчик,— я защищу диссертацию, и ему просто-напросто некуда будет деваться. То-то он на меня зуб точит. Ничего, продержусь до осени. А потом, как говорится: король умер, да здравствует король!»

Левон прикинул свое и более отдаленное будущее: еще год-другой — и айда в столицу.

Ну а дальше?.. Ему почему-то вдруг вспомнилось: один его однокурсник недавно переехал во Францию. Женился на репатриантке. Недотепа, дурак дураком, а — на тебе! — разгуливает по Парижу. Ему ничего не стоит купить билет и сходить в «Олимпию» на концерт Шарля Азнавура... Собственно, ту девицу-репатриантку и Левон знал...

Стоп! Счетная машина отключилась, и двадцативосьмилетний парень из Лернасара, казалось, продрал глаза после изнурительного, беспокойного сна. Увидал расступающиеся перед ним горы, поглядел на синее небо, услыхал дыхание реки. Представилась Сона — беззащитная, растерянная... «Ты, дурень, и не ведаешь, какой ты счастливый»,— сказало небо. «Ты парень неплохой, да очень уж хочешь стать плохим»,— укорили его горы.— «Ты и недостаточно честен и недостаточно низок,— прошептала река,— тебе трудно будет жить».

В какое-то мгновение ему захотелось повернуть машину назад, поехать вслед за Соной. «Сона вполне современная девушка,— подумал он,— только вот одурманена отцом. Я должен ее спасти! — это уже была гордая мысль.— И спасу! Она мне потом благодарна будет. А пока что заморочена байками отца...» Левон испытал потребность и о Сааке Камсаряне хорошо подумать. «Если стану думать, и в нем хорошее отыщу — лучше уж не надо»,— улыбнулся он про себя.

На обочине дороги стояла маленькая девчушка — продавала фиалки. Левон ее заметил.

Под сень чинары сбегались в дождь, под нею прятались в полуденный зной и сидели вечерами, когда прохлада неспешно стекала с гор. Сколько ей лет — семьсот, тысяча, полторы тысячи?

Одни говорили, что чинару посадил легендарный полководец Вардан Мамиконян в утро перед Аварайрской битвой. Другие — что дерево посажено задолго до рождения полководца. Просто он всегда перед сражением сидел в его тени, глядя на горы.

В чинаре было огромнейшее дупло, и перед войной Епрем Дрноян в нем «кино» показывал. Епрем переселился в Лернасар из города Ван и привез с собой волшебную машину. Припадешь к стеклышку, Епрем накинет тебе на голову ветхую красную тряпицу, и одна за другой появляются картины, а на них — далекие города, далекие моря, незнакомые люди. Глядишь, а Епрем рассказывает, хотя это уже слыхано-переслыхано всеми. Забавное это было путешествие из села Лернасар в белый свет, от чинары Вардана в Лондон, Москву, Париж, Индию...

Сельские географы часто просили Епрема показать ребятишкам свое «кино», и тогда уж Епрем излагал все подробно и вдохновенно.

Месяца за два до начала войны Епрем Дрноян умер, и «кино», ясное дело, закрылось. Никто так и не узнал, что стало с волшебной машиной. Поговаривали, будто сын Епрема, сразу после его смерти переехавший в город, с «кино» не расставался. Даже на фронт с собой аппарат прихватил. И будто бы после войны видали его в Ереване, напротив рынка. Сидит, а вокруг толпа. Крутит он «кино» и говорит те же слова, что и отец когда-то: «Сперва Лондон, столица Англии...»

Было солнечно, знойно. Сона забралась в дупло чинары, задумалась. Отец много рассказывал про Епрема Дрнояна, и Сона даже лицо его представляла отчетливо — испещренное морщинами, глаза добрые, усталые. И руки видела, крутившие машину и увлекавшие в кругосветное путешествие удивленных, наивных сельчан.

Дупло пусто, Епрем Дрноян давным-давно на кладбище, и на могиле его нет даже самого простого надгробного камня — сын уехал и как в воду канул.

«Я заболеваю снами отца,— подумала Сона.— Нужно принять решение, а то живу в мире теней. Так и Левона однажды потеряю». Сона поняла, что думает чужими словами. Чужими? Но чьими же? Это были слова Армена, брата. И вдруг почувствовала, что теряет отца и еще что-то очень важное, чему нет имени — имя оно обретет только после того, как будет потеряно.

29

Оган стоял в задумчивости перед домом Асанет. Перед домом? Да нет, перед грудой камней. Там, где раньше были комнаты, кухонная пристройка, хлев, теперь вовсю зеленел кустарник и даже выросло ореховое деревце. Только одна стена все стояла и стояла — оказалась прочной на удивление. Местами на ней уцелела штукатурка, и можно было определить, где висело зеркало, где фотокарточки.

А ночью рухнула и эта стена.

«Камсарян увидит, расстроится,— подумал Оган.— Я ему не скажу. Может, не увидит». Как не увидит? Увидит, конечно.

Дом Асанет был первым опустевшим домом в селе. Геворг погиб на фронте в сорок втором. Мать всю войну ждала сына да еще год после войны, а потом стала быстро угасать и умерла на пороге своего дома.

Дом опустел. Держался, постепенно рушась, около тридцати лет, а этой ночью, стало быть, погиб окончательно. Знала бы Асанет... Оган втянул в себя темный горьковатый дым и закашлялся старческим длительным и беспомощным кашлем. Понял, что и сам он недолговечен и в нем самом осталась одна-единственная стена, которая вот-вот рухнет: дождик прольется, фундамент осядет... Развалины дома Асанет казались ему фотографией собственной жизни. Но в душе не родился крик: «Помедли, жизнь, не покидай меня!» А возносилась куда-то легкая, как дымок, боль и неутолимая тоска по покою. Все его родные, кроме дочки и сына, уже там...

Асанет, Асанет... Сколько носков связала она за войну? Последние дни свои спала на жестком паласе — ведь всю шерсть из тюфяка мало-помалу вынула, помыла, высушила на солнце, спряла и связала не одну дюжину носков, которые отправила на фронт. Весной сорок второго, когда получила от Геворга первое и последнее письмо («Мама, я чуток обморозил ноги»), она связала первые носки и отправила на фронт. А когда сообщили, что Геворг пропал без вести, переписала в военкомате множество фронтовых адресов и чуть не каждую неделю стала посылать носки. «Хоть одни да достанутся Геворгу». А Геворг погиб через неделю после того, как обморозил ноги, и носки ее не могли уже ни найти его, ни согреть его ноги...

Осталась могила Асанет Испирян — возле хачкара девятьсот восемьдесят первого года. А хачкар когда еще рухнет...

Остались имя, фамилия Геворга Испиряна, высеченные на красном — теперь уже темно-красном — туфе памятника. А после — лет через пять или десять — кто прочтет его? Разве что стадо баранов...

И еще осталась рухнувшая стена...

Оган, прислонившись к стволу орешины и глядя на эту стену, закурил. Пальцы его привычно перебирали четки. Он думал о прожитой жизни, о мире... И вновь — уже в который раз за эти годы — представил Карс. Он, гимназист, на площади в толпе народа, а с балкона произносит речь полководец Андраник. Он шел освобождать

Эрзерум, ему нужно было войско. «Кто со мной?» — бросил клич генерал. Затем медленно сошел вниз и стал посреди площади — спиной к народу. За спиной его собралось около тысячи человек. Андраник зашагал, и собравшиеся двинулись тоже, а вслед с шумом и гамом помчалась ребятня. И он, Оган Симавонян, был среди этой ватаги. Ах, не видать бы ему, как плакал на вокзале генерал. Обернулся: от тысячной толпы осталось человек... тридцать. Генерал все смотрел, не веря своим глазам, и вдруг заплакал. Было морозно, и слезы обледенели на его ресницах, на дымчатых усах. Андраник, гроза и ужас турок, полководец, которого не брала пуля, кто один мог выйти против сотни и тысячи врагов, не прятал слез. А на него во все глаза глядели ребятишки, и в их числе он, Оган Симавонян. Не видать бы ему этих слез, не пережить того дня...

Затуманенным старческим взглядом он видел сейчас лицо полководца и себя, десятилетнего мальчонку, жутко закоченевшего на карском вокзале. Оган хорошо, очень хорошо помнил, что Андраник плакал всего минуту, потом смахнул снег со златотканых погонов, стряхнул с усов сосульки и с двумя десятками парней вскочил в вагон. Да-да, не поднялся, а влетел, и два десятка карских парней влетели за ним. Все — в один вагон. Стояла лютая стужа...

Камсарян до горечи в сердце любил слушать эту историю. Каждый раз мрачнел, хмурился, когда Оган рассказывал ее, и каждый раз требовал подробностей: как выглядел полководец? Не запомнил ли Оган какого-нибудь его слова? В самом ли деле плакал он, или это вымысел Огана?.. Спрашивал Камсарян, выпытывал, как судья, потом вконец мрачнел, делался сгустком черной тучи, которая поглощает вспыхивающие в ней молнии.

«Слушай, Оган, ты эту печальную историю никому не рассказывай,— сказал он однажды,— когда же это было?» — и погрозил пальцем. Оган сник: «Кому надо было рассказать, рассказал. А теперь-то кому?..»

От дома Асанет Оган начал подниматься вверх по склону. Размик Саакян купал во дворе свиней. Они так визжали, словно он их не мыл, а тащил на бойню.

— Здравствуй, Размик, я тебе долг принес.

Тот взглянул на него удивленно:

— Ты ведь на три месяца брал. А еще двух недель не прошло. Зря спешишь. Я нынче в деньгах не нуждаюсь.

— А вот у меня есть нужда вернуть долг,— хмуро сказал Оган.

— На свадьбу небось порядком истратился.

— Свадьба сына — я и должен поистратиться.

— Ты что, с Еремом помирился? А?..

— Моя с Еремом ссора — это наше с ним дело.

— Потянули бы еще чуть-чуть,— глаза Размика были колючими,— на том свете бы мириться пришлось.

— Вот потому и не стали тянуть. На том свете все друг с дружкой в мире. На этом бы так.

— Ну и правильно сделали, Оган, что помирились. Погоди, закончу свинскую баню, зайдем в дом, опрокинем по стаканчику.

— Еще вот что тебе скажу. За Гаянэ тебя совесть не мучит?

— Она себе в Ереване живет припеваючи, а меня будет совесть мучить?.. Я на днях ее там на рынке видал. Намазана, расфуфырена, кажись, всю жизнь горожанкой была. Меня, видно, заметила — как от холеры убежала. А что я такого ей сделал?..

— Если хорошенько подумаешь, поймешь — что. Бери свои деньги. Десятки, считай. Денежки счет любят.

— А ты что — не считал? Мне-то зачем еще?

— Ну, воля твоя. Одним словом, туго пришлось, выручил, премного тебе благодарен.

Оган уже уходил, когда Размик жалко эдак спросил его:

— Ты, случаем, про эту историю с Гаянэ учителю не разболтал?

— У учителя других забот много. Его поберечь надо.

30

Половина «школы» Соны Камсарян — ребятишки Размика Саакяна. Трое. Двое из них погодки. Мануш девять лет, Ванушу десять, Ануш двенадцать. «Свою ребятню заберу, школа твоя закроется»,— шутил всякий раз Размик. Кроме этих школьников, было у него еще двое сыновей: один в армии, другой — студент Ереванского педагогического института. «Сын вот окончит, вер-

нется, станет над тобой директором,— говорил Размик.— Во главе школы мужчина должен стоять».

Размика Саакяна никто ни разу не видел бритым. Черные жесткие волосы почти полностью скрывали его лицо — только глаза поблескивали из зарослей, хитроватые и какие-то детские, «Ануш[1] из армии вернется, побреюсь». Ануш — конечно же парень, Анушаван, в отличие от двенадцатилетней Анушик.

У Размика есть дом и в Цахкашене. Жена, Арусь, в основном живет там. В прошлом году, после ликвидации колхоза, Размика официально назначили сторожем Лернасара. «Что ты сторожишь-то? — смеялись сельчане.— Воздух, что ли?» — «Нет,— защищался Размик.— Саака Камсаряна. Мало разве?..» Размик любил село, да и потом тут у него овцы, свиньи, ореховые деревья...

Другая половина «школы» — Аревик, внучка бабушки Маран, Вараздат и Каро — внуки Снгряна. Родители Вараздата и Каро — далеко. «Деньгу зашибают,— объясняет Каро товарищам.— А потом приедут, заберут нас отсюда».

Вот и вся «школа» Соны — с третьего по пятый класс.

Все занимаются в одной комнате, это и класс, и учительская, и кабинет директора. Остальная же часть школы медленно рушится. До войны школа была десятилеткой, в войну стала семилеткой, а потом опять десятилеткой. Десять лет назад она вновь уменьшилась до семи классов, а теперь...

Сона сидит у окна, а «школа» трудится. Третьеклассники решают задачку по арифметике, четвертый класс пишет изложение, пятый — сочинение на тему: «Радости этой весны». Вечером, дома, при свете, исходящем из-под мотылькового кладбища, Сона будет читать сочинение Аревик, и ей захочется плакать. «Эта весна для меня потому радостна, что я повидала отца. Я не видела его целых два года. И маму не видела. Семь месяцев назад она уехала искать папу и тоже пропала. Так в сказках бывает: средний брат отправляется за старшим и попадает в заколдованное царство... Мама с папой приехали на свадьбу Врама вместе. Значит, нашли друг друга. Мама меня целовала и плакала. «Заберу тебя скоро,— говорит.— А то бабушка еще помрет, не дай бог. Вот квартиру в Ереване получим, и заберу». А папа говорит:

---

[1] Ануш — женское имя.

«Да кто нам квартиру собирается давать? Сюда вернемся, я шофер, не пропаду. В крайнем случае к геологам подамся — они в этих местах что-то ищут. А дом у меня приличный — хорошо ли, худо ли, жить можно. Как-никак, я тут родился». Не знаю, что будет с нашей семьей. А бабушка мне приданое готовит. Бедная бабушка...»

— Вануш, не мешай сестре,— мягко укоряет мальчишку учительница, заметив, как он дернул Ануш за косу.

Брат в четвертом классе, сестра в пятом, сидят в разных рядах.

— Я решил,— поднял руку Вараздат.— А Каро списать хочет. Можно?

Вараздат из третьего «А». Они с Каро двойняшки, оба в третьем классе.

— Я в третьем «А», а Вараздат в «Б»,— говорит Кародат.

— Сам ты в «Б», потому что безголовый! — возмущается Вараздат.

— Очень надо! — морщит лоб брат.— Да если я захочу, лучше тебя решу. Просто я о другом думал.

— Аревик, звони,— говорит Сона Камсарян.— Большая перемена.

Аревик достает из парты старый медный звонок и изо всех сил трясет его. В школе поднимается гвалт.

После большой перемены уроки будет вести отец — сначала географию, потом историю. Остаются все ребятишки, хотя третьеклассники этих предметов не проходят.

— Ничего,— говорит Камсарян,— историю знать и вам не повредит.

В сентябре, по-видимому, школа закроется. Останутся только ребятишки Размика Саакяна — Мануш, Вануш и Ануш. А учительница?..

Запыхавшись, вбегает Аревик:

— Вас спрашивают. Какой-то бородач. По-русски хуже моего говорит.

Сона быстро вышла во двор — кто бы это мог быть?

Незнакомец разговаривал с Камсаряном, который, по всему видно, только что пришел сюда.

— Знакомься, Сона,— сказал отец.— Вольфганг Маер, из Берлина, учится в Ереване.— Потом обратился к молодому человеку: — Сона Камсарян. Ну, мне пора, а вы беседуйте.

— Звонок еще не прозвенел.

— Я уже второй раз ваше село,— с трудом подбирая русские слова, заговорил Вольфганг Маер,— а про школа не знал. Великолепно.

— Звонок, кажется, запаздывает,— сказал Камсарян.

— Великолепно,— повторил Маер.— Я мог бы писать про эта школа...

Сона засмеялась:

— Какая там школа! Просто мы с отцом...

— Они не будут забывать, фройлейн Сона, никогда не будут забывать. Я говорил с одна девочка.

— Это Аревик.

— Она имеет удивительный глаза. Печальный. Как у большой.

— Армяне рождаются такими. Это кто-то из наших великих сказал. Армяне не бывают молодыми... Так что Аревик получила свои глаза от дедов-прадедов. Мы еще не полностью истратили это грустное наследство. К сожалению, мы миллионеры по печали.

— Вы были Берлин?

— Да, три года назад. Жаль, нас в Ваймар не свозили.

— Ваймар — это великолепно. Говорите, фройлейн Сона...

Вдали, на высокой скале, отчетливо вырисовывалась Одинокая часовня.

31

Все оставшиеся в селе мужчины собрались возле кузницы. Даже Ерем Сиграян явился, а он редко показывался на людях.

— Председатель, мы с севом не запаздываем? — спросил Оган.

Восканян посмотрел на него мрачно.

— Сирак умер,— сказал Врам.

— Какой Сирак? — поднял голову Восканян.

— Агаян? Первый беглец? — спросил Камсарян.— Когда? Кто сказал?

— Сирак был старше меня.— Оган в уме произвел кое-какие подсчеты.

— Нет, младше,— сухо оборвал его старик Ерем.— Года на три младше.

— Может, скажешь, и ты младше меня?

— Нет, я старше тебя. При Андранике ты был от горшка два вершка, а я уже сражался.

Уж этот полководец Андраник! Чем бы хвастались шестьдесят лет армянские старики, если бы его не было? Если кто-нибудь вздумает заняться переписью их имен, число перевалит за пятьдесят тысяч. И каждый из этих пятидесяти тысяч расскажет о полководце свое, да еще такое, что с ним, рассказчиком, лично связано. («Однажды полководец говорит: «Слетай...», «Мы с Андраником Эрзерум осаждали...», «Генерал как-то ночью в Ван направился. И говорит: «Если враг нападет, сам знаешь, что делать, не мне тебя уму учить».) И каждый из них, если им верить, получил от полководца какой-либо подарок: коня, меч, сладкое или едкое словечко, улыбку или оплеуху.

Рассказывают, рассказывают, и конца тому нет...

Пятьдесят тысяч рассказчиков, а отряд Андраника состоял максимум из пяти тысяч человек.

— Захватили, значит, турки Гюмри...— старик Ерем уже не мог остановиться.

— В восемнадцатом году? — вмешался Камсарян.— Ты хочешь сказать: Александрополь? [1] И правильнее будет выразиться: не захватили, а вошли беспрепятственно. Потому что, когда говорят «захватили», подразумевается бой, сражение, сопротивление. А Гюмри твой ни разу по врагу не выстрелил.

— Пусть будет по-твоему,— Ерем Снгрян не лез на рожон, он знал, что учитель прав, но нить его мысли прервалась.— Так о чем я говорил?..

— Вот и Сирак ушел,— сказал Оган.— Умер наш односельчанин. А ведь не старый, мог бы еще годков двадцать пожить.

— Если б тут остался, сто двадцать лет бы прожил,— подтвердил Камсарян.— Так нет, первым село покинул. Первым...

— Уехал, а теперь вот возвращается,— невесело усмехнулся Врам.— Ведь привезут.

— А как же? Своя земля,— сказал Оган.

— Значит, земля, на которой мы сейчас сидим, ему принадлежит? — вспылил Камсарян.

— Тут ведь человек родился,— виновато объяснил Оган.— Я про это...

[1] Гюмри, Александрополь — прежние названия Ленинакана.

— Ну, если это земля Сирака, я пошел.

И действительно поднялся и пошел неровным быстрым шагом.

— Обиделся учитель,— сказал Восканян.— Вы уж его поберегите.

— Да что я такого сказал-то?

— Ну что бедный мой отец сказал такого? — вступился Врам.— Ушел, будто он князь, а мы его слуги. Село исчезло, а он крышу красит.

— Учителя учить вздумал, сопляк? — взорвался Оган.— Саака Камсаряна? Замолчи! Да, он мне князь, а я его слуга. А ты, стало быть, сын слуги!

— Прекратите! — сказал Восканян.— Нужно в Ереван ехать, Врам. Дело есть. Наверно, и на ночь там останемся.

— И меня возьмите,— впервые подал голос Размик Саакян.— У меня тоже в Ереване дело.

— У тебя там каждый день дело,— хмуро оборвал его Восканян.— Я еще в райцентр должен заехать за одним человеком.

— Ладно, и я с вами. Мне тоже кое-кого там повидать надо. А назад пешком вернусь. Или, может, подвезет кто-нибудь. А Ереван не убежит.

Восканян печально повторил:

— Ереван не убежит... Ну поехали.

Восканян, Врам и Размик поднялись и стали быстро спускаться вниз — к «виллису», стоявшему возле наскального хачкара.

— Да,— вспомнил наконец старик Ерем,— когда турки в Гюмри вошли, мы с Андраником в Лори были.

— Вдвоем? — поинтересовался Оган.

— Да нет же, и отряд с нами.

Ерем с Оганом впервые после примирения сидели рядом посреди села.

— Ты рассказывай,— сказал Оган,— а я почитаю и одним ухом тебя послушаю. Я до самого интересного места дошел.

Сирак Агаян покинул село в пятьдесят втором году. Оно еще было живым и многолюдным — домов в сто двадцать. Из труб дым валил, мельница работала, школа гудела от ребячьих голосов. «Эта дыра не для меня,— заявил Сирак.— Чем мои дети хуже других? Пусть уни-

версистет кончат». Летом, бывало, наезжали. А потом стали только осенью приезжать — собирать орехи. «Ребята твои университет окончили?» — спросил как-то Сирака Камсарян. «Да нет, оба по торговой линии пошли, любят это дело,— ответил Сирак.— Разве ж нынче родительское слово что-нибудь значит?..»

Сирак, значит, умер.

Камсарян сидел у водопада, и мелкие брызги долетали до него. Это было приятно — лоб его пылал. В пятницу он вызван в исполком. В пятницу. Стало быть, через пять дней. Что ему скажут? И кто скажет?

Пастух Сулейман курил, сидя на своем обычном месте и прислонившись спиной к хачкару. При виде Камсаряна быстро поднялся.

— Добрый вечер, маалум Камсарян.

— Добрый вечер, Сулейман. Как дела?

— Хорошо. Овцы наелись, напились. Я их в дома загнал, чтоб поспали. Какая тут трава, какая вода...

Из дома доносились детские голоса, какая-то женщина то входила в дом, то выходила.

— Твои, Сулейман?

— Да, маалум. Теплые дни наступили, решил привезти их сюда.

— Сколько у тебя ребятишек, Сулейман?

— Одиннадцать. Я их вчера привез. Дочке месяц.

— Да хранит бог твоих детей, Сулейман.

— Благодарю тебя. И брат хотел сюда перебраться. Я ему тут хороший дом подыскал. Так нет — в Сисиан[1] ни с того ни с сего подался. И там тоже, говорит, хорошие дома пустуют. Строите вы на совесть, маалум.

Камсарян не ответил. Помолчал, потом мягко сказал:

— Ты с этим камнем поосторожнее... Этому камню тысяча лет.

— Прости, маалум, прости. Лучше, чем за детьми своими, пригляжу за ним. Хорошо, что ты сказал, я ведь не знал, я пастух всего-навсего.

— Я как-нибудь загляну к тебе, Сулейман. Примешь гостя?

— Это будет самый великий день в моей жизни, маалум.

---

[1] Сисиан — район в Армении.

— Ну, я пошел.

— Ты большой человек, маалум. Не в селе этом тебе жить...

Но Камсарян уже не слыхал последних слов пастуха.

...Камсарян прошел в свою комнату. На стене висел большой белый ватман — перечень жителей села Лернасар. В тысяча девятьсот сорок шестом году здесь было тысяча восемьсот семьдесят шесть человек. Все записано честь по чести: имена, фамилии, год и место рождения. И так семья за семьей — с детьми, со снохами.

Камсарян подошел к ватману, отыскал имя Сирака Агаяна и поставил напротив него крест. Поглядел на кресты, тянувшиеся сверху вниз. Обширное кладбище. Тот, кто жил и умер в Лернасаре, был помечен красным. Красными были и кресты у тех, кто, по мнению Камсаряна, покинул село лишь потому, что того требовало дело. Ну а черные кресты означали кончину «беглецов». Сирак Агаян, понятно, получил черный крест. С грустью посмотрел учитель на список: черные кресты превосходили красные числом. И это кладбище учитель ненавидел. Горестно усмехнулся: кладбище с отметинами, под которыми нет людей. Где-то читал, что во Франции то ли в Италии есть приморский городок с кладбищем — крестами, склепами, надгробными надписями, но под могильными камнями нет покойников. Это кладбище не вернувшихся с моря рыбаков и моряков. Матери и вдовы приносят цветы и льют слезы возле этих надгробий. «Это самое святое кладбище»,— подумал Камсарян. И на его «настенном кладбище» нет покойников под черными крестами. Параллель показалась ему кощунственной — незнакомые рыбаки и моряки нахмурили свои благородные лбы.

— Саак! — это был голос Огана, ворвавшийся в комнату.— Саак, ты обиделся? Ну в чем моя ошибка? Ведь Сирака привезут сюда, а потом сын его, дочери, внуки станут сюда наезжать. Хоть и тонка, как ниточка, а всё ж таки связь.

— Человек не связан с той землей, в которой не лежат его родные,— задумчиво сказал Камсарян, глядя сквозь окно на Немую гору.

— Видишь,— обрадовался Оган,— и ты то же самое говоришь.

— Да это не я, это один испанский писатель, я просто повторил его слова.

— Ну еще лучше. Значит, и в Испании со мной согласны.

Камсарян стал нервно ходить взад-вперед по узкой комнате.

— Грош цена связи человека с землей, если она зиждется только на покойниках. Эта связь тоньше нитки, ты верно сказал, и через поколение оборвется. Предположим, сын Сирака Агаяна, дочери, внуки станут наезжать сюда раза три-четыре в год. А что дальше?

— Давай поговорим о другом, Саак. Размик видел Гаянэ. В Ереване. Вот ты ее обвиняешь, а я нет. Что было ей делать? Одинокая женщина, и каждый день ходи туда-сюда по десять километров.

Камсарян не отозвался. Уже в который раз за эти дни вспоминал он усталый и беззащитный взгляд Гаянэ и в который раз не мог найти ответа на простой, казалось бы, вопрос: почему Гаянэ не зашла в его дом?..

— Оставь меня одного, Оган.

Глубокой ночью Саак Камсарян прочтет строки средневекового армянского историка, которые перепишет в общую тетрадь: «Глядите, пренебрежители, и... дивитесь, когда я пред вами осмелюсь пробудить тот опасный и подвижный народ, который обращается к шири небес, дабы наследовать глубины, не ему принадлежащие. Он грозен и замечателен... Кони их быстроноги... и примчатся, как орлы с небес...»

...И вновь кузнецы воротились в село. Все трое: дед, его сын и внук. И опять пламя в горниле жарко пылало, а мехи дышали подобно легким мамонта. Но кузница — вот те чудо! — находилась почему-то возле Одинокой часовни. «И как ей удалось забраться на такую высокую гору?» — изумился учитель. Грох! Грох! — стучат кузнецы по железу, и гора вздрагивает от их ударов, а ущелье по самый край наполняется звуками стонущего металла. Кузнецы куют колокол. «А то что за часовня без колокола? — взглянул кузнец Согомон на сиротливый купол Одинокой часовни.— Зря только веревка болтается».— «Для Немой же горы мы язык выкуем,— добавил кузнец Гегам.— Может, она заговорит?..»

Все три молота, слив удар свой воедино, с силой опустились на наковальню. Колокол ширился, рос с каждым

ударом. «Где же будет висеть эта громадина?» — удивился учитель, обращая взор на кружево купола Одинокой часовни. «Мы повесим этот колокол в ухо Глухой горы,— объяснил кузнец Санасар.— Уж его-то звон она услышит».

И снова три молота слили воедино удар...

«А для Одинокой часовни мы замыслили другой колокол,— сказал кузнец Согомон.— Разукрасим его узором, ты не гляди, что пальцы у нас грубые».— «А из чего вы ковать станете его?» — спросил учитель. Кузнецы ответили: «Из надежд».

Три молота опустились на наковальню. Осторожно, как материнский поцелуй на чело спящего младенца. Послышался не грохот удара, а нежное щебетание птиц — у птиц было гнездо под куполом часовни.

Видимо, от тишины, услышанной во сне, Камсарян проснулся. Включил настольную лампу, но тут же опять выключил.

— Па,— позвала его Сона из соседней комнаты.

— Ты не спишь, Сона?

— Я голос твой услыхала и проснулась. Думала, меня окликнул.

— Это тебе приснилось. Спи, доченька.

— Па, я люблю Левона.

— Знаю, доченька.

— Сейчас темно, я и осмелилась признаться... И он меня любит.

— Не знаю, доченька, не знаю...

Замолчали. И молчали до самого рассвета, хотя никто из них больше не уснул: ни отец, ни дочь.

32

Когда проезжали мимо хачкара, Варужан попросил, чтобы Врам остановил «виллис»:

— Я на минутку...

— И я с тобой,— выскочила из машины Лусик.

Врам тоже вышел из машины, присел на камень, лежавший у обочины дороги, закурил. «Кто ее опекать будет? — подумал он о сестре.— Отец на ладан дышит...» — «Ты! — послышался ответ.— Кто же еще?» — «Да она меня слушаться не станет. С ума спячу, пока ее замуж выдам...» — «Кури, Врам, утешение в горечи сигаретного дыма».

— Поехали, ребята! — крикнул он.

Варужан прислонился к хачкару, раскинув руки. Лусик захохотала.

— Ты похож на распятого Христа, но чуть помоложе.

— Я непременно возвращусь в село,— сказал Варужан с серьезной задумчивостью, не меняя позы.

— И я,— вырвалось у Лусик.— Если... Если ты, принц, на мне женишься.

Парень будто не слыхал последних слов:

— Нет, ты не вернешься, Лусик.

Лусик приблизилась к хачкару:

— Знаешь, я в тот день прямо обалдела: как ты ружья не испугался?

До Варужана, казалось, только теперь дошли сказанные несколькими минутами раньше слова Лусик.

— А ты полюбила бы меня, если б меня в тот день убили? Или больше бы любила, если б я за тебя... умер?

Лусик закрыла ладонью Варужану рот:

— Сумасшедший принц...

— Быстрее же! Я спешу! — раздался голос Врама.

Они притворились, что не слышат. Вдруг загрустили, глядя друг на друга долгим безмолвным взглядом. Потом Лусик встала у хачкара и сказала:

— Я хачкар, защищай меня.

Юноша не понял, что ему следует делать. Лусик притянула его к себе:

— Прислонись ко мне спиной, как в тот день к хачкару...

Варужан подчинился. Его опалило огнем, и огонь этот был блаженным. Тело вдруг сделалось ватным, беспомощным — показалось, кости расплавились, растеклись, и осталось одно огромное беспокойное сердце, которое билось в каждой его жилке. А девушка стояла напряженная, подтянутая и была самым замечательным хачкаром на свете.

— Ты меня лучше бы защитил,— прошептала Лусик,— потому что роста у тебя хватает всю меня закрыть, а хачкар гляди какой высокий.

Дрожь обожгла его, но он все-таки сумел подобрать слова:

— Значит, пуля в меня бы попала, если бы... если бы я тебя защищал.

Лусик вдруг очень захотелось, чтобы Варужан повернулся к ней лицом и их волосы коснулись друг дру-

га, а сердца забились бы друг другу навстречу, но паренек не повернулся.

— Лусик! Варужан!..— опять раздался голос Врама, теперь уже злой.— Хватит вам жениxаться!

И в эту, и в последующие ночи в лихорадочных снах Варужана слились воедино хачкар и Лусик: то хачкар оказывался в ее бледно-розовом платье, то на теле Лусик появлялся каменный орнамент, а охотничья двустволка все стреляла, стреляла, но пули летели куда-то мимо...

33

Там, где пролегала граница села, дорога была завалена камнями. Вчера еще не было этой груды камней. Нет, не потоком их нанесло сюда — поток не мог нагромоздить их друг на друга и выстроить по линеечке.

Издали послышались надрывные автомобильные гудки. В село въезжала похоронная процессия, положено сигналить, таков обычай. Процессия двигалась медленно, машины — если смотреть на них сверху, с неба — могли показаться черепахами. Впереди ехал открытый «виллис», вез гроб с покойным и большой портрет — карточку успели увеличить за одну ночь — в обрамлении свежих гвоздик. За «виллисом» двигалось три «Волги» и несколько грузовиков. «Волги» шли как-то особенно осторожно: эта дорога не для них — для телеги и конного.

А перед каменной баррикадой застыли Саак Камсарян, Оган Симавонян, Размик Саакян и старик Ерем. Сбоку от дороги сидела на камне бабушка Маран. Еще дальше стояла школа Соны Камсарян. Никто не двигался, и люди тоже походили на каменные изваяния.

Процессия приблизилась, водители выключили моторы.

Из «виллиса» вышли несколько небритых мужчин.

— В чем дело? — спросил один.— Что-нибудь случилось?

— Камни,— сказал Оган.— Сами, что ли, не видите?

— Ну вот, работу нам подкинули. Откуда они тут взялись? Вчера вроде не было.

— Да, верно,— сказал Камсарян,— вчера не было.

Подошел сын покойного — Овсеп. Откуда-то появился лейтенант Антонян. Камсарян молча пожал Овсепу руку.

— Что тут? — удивился Овсеп.

Вопрос был лишним, и никто Овсепу не ответил.

— Кто бы мог это сделать, учитель? — спросил Антонян.

Вопрос не был лишним, но ни люди, ни камни не ответили на него.

— Тут что-то кроется,— мрачно заметил Антонян.— Это не поток их нанес. Я чую недоброе.

— Конечно, выстроить камни по прямой потоку не под силу,— глубокомысленно покачал головой щупленький старичок, бывший преподаватель геометрии.

— Что теперь делать будем? — с трудом удерживаясь от крепкого ругательства, хмуро спросил Овсеп.

— Значит, в село отца привез,— сказал Камсарян.

Это не было вопросом, но прозвучало как вопрос.

— Он так хотел. А ты против, учитель? Я что, не туда привез?

— Мы, жители села, можем ведь вопрос задать?

— Вы? Кто это вы? Раз-два — и обчелся.

— Мы — это Ерем, Оган, Размик, Маран, я, моя дочь, шестеро ребят... Хватило у тебя на руках пальцев?

— Ну и что?

— А вы нас спросили? Неплохо было бы спросить.

— Да кто вы такие? — Овсеп перешел на крик.— Власти? Милиция? Что мы у вас, невесту просим? В долг берем?..

— Не надо горячиться, сынок,— вмешался старик Ерем.— Мы те, что остались от целого села.

— Что тут за цирк?! — угрожающе крикнул Антонян.— Виновный будет держать ответ. Мы найдем на него управу.

И вдруг в разговор ворвались всхлипывания и причитания бабушки Маран:

— Святая дева Мария, образумь их! Пожалейте усопшего! Убойтесь Страшного суда!..

К Огану подбежал Врам, схватил отца за рукав, попытался оттащить в сторону:

— Пап, не вмешивайся, ступай домой, ты ведь еще в своем уме...

Но Оган стоял как вкопанный и сыну не ответил.

Глаза Овсепа налились кровью. Он понял, что правит в этом несуществующем селе Камсарян, которого отец не любил, он это точно вспомнил. И еще понял, что камни не потоком нанесло.

— Стало быть... выходит... ты считаешь, что отец мой не достоин владеть двумя метрами земли в этом безлюдном селе?

— Село — для того, чтобы в нем жить, а не для того, чтобы быть тут похороненным,— отрезал Камсарян холодно и сухо.

— Постой-постой, гражданин Камсарян,— Антонян напрягся и ощутил себя единственной властью возле этой каменной баррикады.— По какому такому праву? Есть разрешение на похороны покойного Сирака Агаяна в селе Лернасар!

— А кто дал... это разрешение?

— Я! Я дал!

— А кто ты такой, гражданин Антонян?

Сын покойного довольно отчетливо произнес сквозь зубы ругательство, плюнул и направился к «виллису». Из всех машин повыходили мужчины и пытались понять, что происходит и что следует делать им.

— Нужно собрать камни и скинуть в ущелье,— дал, наконец, команду Овсеп.— А потом я этого учителишку поучу азбуке. Он, видать, не все буквы знает.

Лейтенант Антонян попытался оттащить Камсаряна в сторону.

— А мне от людей таить нечего,— Камсарян не двинулся с места.

— Ладно,— процедил сквозь зубы Антонян,— поговорим в райцентре. Другим языком. Пошли, гражданин Камсарян.

— Куда?

— Я вас арестовываю, гражданин Саак Камсарян. За нарушение общественного порядка. За групповое хулиганство!

— Вы что — не армянин, не христианин? — мягко и как-то испуганно вмешался старичок, бывший преподаватель геометрии.— Разве можно мешать похоронам?

Теснее сжалось кольцо мужчин. Они поглядывали на Овсепа и, казалось, ждали одного его кивка. Камсарян почувствовал: стоит Овсепу шевельнуть пальцем, и не только камни будут скинуты в ущелье, но и сельчане — Оган, Ерем, Размик и даже Маран, Сона, ребятишки... Он взглянул на каменную баррикаду, которую всю ночь воздвигали они втроем — сам он, Оган и Размик — и пожалел Огана, Размика, себя.

— Закурить не найдется? — спросил он, ни к кому будто не обращаясь.

— Найдется,— кто-то из мужчин хмуро протянул ему пачку сигарет.

Камсарян закурил и попытался заговорить спокойно, не кипятясь и так, чтобы не выглядеть жалким.

— Может, оно нехорошо получилось, но поймите, мы не похоронам хотели помешать. А тому, чтобы село само однажды не оказалось погребенным. Поймите же, здесь тысячу лет жили люди, эта земля им принадлежит — тем, кто тут жил. Это не кладбище, а село.

— Села нет! — почти выкрикнул Антонян.— Село ликвидировано! Ты что — не знаешь?

— Пощади глотку, лейтенант. Все слова тебе известные ты уже произнес, так что помолчи.

— Нет, ты еще не слыхал, какие я слова знаю! Услышишь!

А мужчины уже сбрасывали в ущелье камни, и ущелье готово было разорваться от грохота. Камни скатывались вниз, подминая траву и цветы и увлекая за собой другие камни. Это было невообразимое зрелище.

— Говоришь, село не кладбище? — почти шипел Антонян — он терял голову, не зная, что предпринять.— Так я его в кладбище превращу, помяни мое слово!.. Будет кладбищесело!

«Кладбищесело?» Камсаряна пронзило это слово, сорвавшееся ненароком с уст лейтенанта. «Кладбищесело?» Как знать, не войдет ли когда-нибудь это слово в словарь? «Кладбищесело». Село — кладбище, на котором погребено село. Камсарян ослаб, и все показалось ему бессмысленным, нелепым, смешным и даже постыдным.

— Пошли, гражданин Камсарян, тебя ждет милицейская машина.

— Пошли,— обмяк вдруг Камсарян.

Обмяк, словно из фундамента вынули камень, державший стену, и стена накренилась, готовая рухнуть. Камсарян двинулся вслед за лейтенантом. Посмотрел в последний раз на покойного, лежавшего в черно-красном гробу, попытался вспомнить живое лицо Сирака Агаяна. «Что дал тебе город, Сирак? — хотелось ему спросить.— Ты что, каждую неделю в оперу ходил, в театр? Или дни и ночи просиживал над книгами в публичной библиотеке? Что ты взял от города?..»

Милицейский «виллис» свернул на повороте и заскользил к райцентру. А камни все продолжали, грохоча, обрушиваться в ущелье.

— Папа! — донесся в этом грохоте крик Соны.

Камсарян обернулся. Оган еще стоял. Ерем еще стоял. Размик стоял. А Сона, запыхавшись, бежала за машиной.

— Если хочешь, и дочь захватим.

— Нет нужды, лейтенант. Она не раз оставалась ночью одна.

— Ну, как знаешь.

34

Во дворе бывшего дома Сирака Агаяна устроили поминки. Мысль сделать это родилась в мозгу Овсепа внезапно, когда камни, перекатываясь, летели в ущелье, а Саак Камсарян садился в машину Антоняна. Овсеп смотрел вслед удалявшемуся «виллису» и в ярости сверкал глазами. Он сказал приятелю, стоявшему рядом:

— Садись в машину, слетай в райцентр за едой и выпивкой. Или можешь в ресторане все купить. И посуду там возьми.

— Так мы ведь все взяли,— не понял тот.— У нас все есть.

— Взяли для кладбища. А я поминки хочу устроить честь по чести.

— Где?

— Да в нашем доме... Я бы этого учителя!..

— А стол, стулья есть?

— У сельчан возьмем,— и тут, видно, подумал о каменной баррикаде.— Нет, ну их! Чтоб им ни дна, ни покрышки! Стол и стулья тоже вези. Заплати, сколько запросят. Скажи, на день.

Приятель стал быстро подсчитывать в уме:

— На сколько человек?

— Человек на пятнадцать — двадцать. Остальные с Багратом в Ереван поедут.— Баграт был его младшим братом.— Там на сто человек стол накрыт. А я тут останусь.— Потом вспомнил: — Из райцентра позвони Андо.— Андо был зурначом, его другом.— Пусть соберет музыкантов — и живо сюда.

— А вдруг его дома нет?

— Хоть из-под земли, а добудь. Я им вдесятеро больше заплачу.

Все получилось так, как задумал Овсеп.

Стол поставили во дворе.

— И дом вроде покойника,— сказал бывший учитель геометрии (и на что была Овсепу отрава этих слов?).— Только непохороненного. Я бы на месте Овсепа отремонтировал его, сделал дачу. Лучше места не найти: красиво, воздух чистый... (Зачем Овсепу и эти слова?)

Побоялись ставить стол под балконом — он мог обвалиться в любую минуту, или сверху балкой еще пристукнет. Поставили чуть поодаль от дома — среди камней и колючек.

— Не дай бог тут змеи водятся,— снова послышалось ворчание старичка-геометра.— Как раз потеплело, того и гляди...

«Ну, беззубый,— зло подумал Овсеп,— на что ты змее? Ужалит — сама подохнет. Сколько дней жить-то осталось? Что ты трясешься?»

А старичок — по праву старшинства — первым произнес слово об усопшем. Хвалил его за ум, за честность, хвалил весь его род и Овсепа в особенности. Потом выпили, поели ресторанную хашламу [1] без соли — соль забыли захватить.

— Чтоб ни у кого не просить,— предупредил Овсеп.— Да я их...

Овсеп не слышал речей, хотя в такт словам покачивал головой.

Посидели часа полтора, потом Овсеп поблагодарил всех и предложил ехать: сумерки сгущаются, а дорога опасная. Все быстро — словно только и ждали этих слов — поднялись.

— А вы останьтесь,— сказал Овсеп зурначам и вынул из кармана несколько десяток.

— Как тебе не совестно, Овсеп? — обиделся Андо.— Разве мы не люди? — но деньги в конце концов взял.

Зурна — инструмент мужского горя. Мужчина плачет незримыми слезами, стиснув зубы и не давая вырваться рыданиям наружу. Зурна не кричит. Слезы ее — родник, капля за каплей долбящий землю, пробивающийся из-под нее. Печальная, почти нереальная музыка повисла над безмолвием села подобно облаку, которое хоть и набухло, хоть и потемнело, сделавшись тучей, но дождем

---

[1] Хашлама — мясное блюдо.

не пролилось. А Овсеп выпил подряд несколько стаканов спиртного и помрачнел, став чернее тучи.

На дворе стемнело. Вынуждены были включить фары машин, и они теперь освещали поминальный стол. Все перемешалось в мозгу Овсепа, лишь одно виделось отчетливо: груда камней на дороге. И камни эти застили ему белый свет.

— Я прирежу этого учителишку! — хрипел он.— Как мне жить после такого?..

Плакала уже следующая песня, и Овсеп замолк, но про себя продолжал крепко ругаться. И вдруг встал:

— Ребята, умереть мне за вас, играйте, а я в дом войду. Я ведь тут родился, средь этих развалин...

Один из зурначей направился к машине:

— Я тебе фонарь дам, чешский, а то в доме темень.

В «доме»! Потолок давным-давно рухнул, а дверь унес, видимо, кто-то из сельчан. Овсеп взял фонарь и вошел. На полу валялись камни, бревна, а между ними росла высокая трава. Что это за комната? Овсеп попытался вспомнить, но не смог. Осветил фонарем одну стену, потом другую. Штукатурка обвалилась, доски пола прогнили и ломались при каждом шаге Овсепа. Все-таки вспомнил: это спальня родителей. Фонарь высветил угол, и Овсеп вдруг ясно увидел мать, которая любила вязать, сидя в этом углу. «Отдохни, сынок»,— послышался ее голос. И он съежился в материнском углу, как бесприютный сирота, и впервые за этот день ему захотелось заплакать. Вспомнил все свои неудачи, своих недругов, всех, кто не желает ему добра. Отсчитал их на нити памяти, как на четках, но слезы замерли в нем, не вытекли. Звук зурны тут еще сильнее надрывал душу — казалось, с небес эта музыка исходит. Звучала песня «Братец-охотник», его самая любимая песня. Но слез не было. Он протер глаза огрубевшими кулаками: неужто и впрямь сидит на материнском месте?

— Пусть душа твоя станет светом, мама джан...— голос его ясно прозвучал среди развалин.

Видно, стены истосковались по людским голосам и потому размножили его голос, отозвались эхом. И от этого эха дрожь пробежала по его телу. Овсеп выключил фонарь, и комната погрузилась в кромешную тьму. Исчезли стены, потолок, Овсепа обволокла густая, наподобие смолы, мгла, и на мгновение он ощутил блаженство. Вспомнил, как однажды в этой комнате отец отстегал

его ремнем. Привязал к кровати — ха-ха, его-то, Овсепа! — и отстегал. Спина у него заныла, словно его только что выпороли. Хоть бы сейчас уж заплакать, тогда-то ведь ревел.

Звуки зурны оборвались, и Овсеп услыхал шаги.

— Ты где, Овсеп? — раздался голос Андо. Ребята, оказывается, его уже ищут.

Овсеп нажал кнопку фонаря — свет, как меч, выхваченный из ножен, разрезал темноту на две равные части.

— Я тут, Андо. Иду,— поднялся и пошел, тяжело ступая.

— А мы-то испугались: что с ним? — сказал Андо.— Ты так не убивайся. Отца твоего, слава богу, честь по чести похоронили. Да и при жизни ты берег его как зеницу ока...

— Вы идите, ребята,— махнул рукой Овсеп,— идите, а я чуть-чуть побуду тут.

Парни еще поупрямились, пытаясь уговорить Овсепа идти с ними, но тот твердил свое:

— Останусь. Дорогу я хорошо знаю — как-никак, родные места, сколько бы я их ни клял.

Музыканты хотели было сказать: ты ведь много выпил, как машину поведешь? — но промолчали. Во дворе прощально зарыдала музыка. Овсеп осушил еще один стакан водки. Музыканты направились к машинам. А он с ожесточением подумал: «Я это село бульдозером с землей сровняю». И тут же вспомнил, что отныне ему сюда ездить и ездить, ведь отец остается здесь, отцу больше некуда деваться...

Опять увидал угол, где мать вязала носки... Ее похоронили в Ереване семь лет назад. Отец мучился сомнениями: не похоронить ли в деревне? «А зачем? — решил в конце концов.— Дом наш теперь — Ереван. Пусть поближе к нам будет».— «А ты зачем сюда приехал? — спросил он отца так, словно тот сидел рядом с ним.— Да, ты-то зачем приехал?» Но отца не было рядом, и ответа не последовало. Овсеп снова выпил и за себя, и за отца.

Небо было в крупных звездах, а полная луна висела так низко, что Овсепу показалось, она его слышит. Он совсем захмелел, опрокинул стол, и зазвенели пустые бутылки, а початые окропили траву водкой. «А вдруг и трава опьянеет? И змея какая-нибудь налижется, захмелеет и обовьет меня?» — он усмехнулся. Потом по-

рвалась нить — скатились воспоминания в траву подобно бусинкам и затерялись в хмельной траве и колючках.

В селе не слышно было ни звука, даже собаки не лаяли, и Овсепу почудилось, что он на кладбище. «А не поднять ли дом? — вдруг осенило его.— Раз в году приеду, покучу с приятелями. Может, отец для того и хотел в этой земле почивать? А, Овсеп?.. Да нет, сказал бы. Мол, так и так: отремонтируешь чин чинарем...»

Овсеп заплутался в вопросах, в голове его был туман. Решил встать — ноги подчинились с трудом. Шатаясь, направился к машине, сел за руль. Машина работала как здоровое сердце. Рука потянулась к кнопке магнитофона, но не нащупала ее. Голова тяжело опустилась на руль.

Он уснул.

Если бы Камсарян был дома, он бы увидел в окно, что в селе стало одним огоньком больше и горит тот огонек всю ночь напролет.

35

Сначала Вольфганг Маер пошел в школу. Но дверь оказалась заперта — ни Соны, ни учеников. Ноги сами привели его в кузницу. Она была пуста и безмолвна. Вольфганг сел на камень под орешиной, закурил. Сона рассказала ему о трех кузнецах, и он даже представил теперь их лица. Его кузнецы были почти немцами. Согомон, Санасар, Гегам... Трудные имена. Наверно, кто-нибудь из них сидел-дымил когда-то на этом камне. Но кто именно? И когда? Если бы камень мог помнить... В его расщелинах зеленел мох, на орешине уже появилась завязь. Календарь природы переворачивал свои страницы с прежним терпением, не гнушаясь повторами.

«Пойду поищу учителя, он, наверно, дома,— подумал Вольфганг.— Побеседуем об армянской истории, он расскажет мне легенды»,— и поймал себя на том, что больше всего хочет увидеть Сону. Засмеялся: «Осторожно, Вольфганг Маер, армяне — народ горячий, ревнивый, и даже святой закон гостеприимства не остановит их, намнут тебе бока». В тот день Сона беседовала с ним как с давним знакомым и была по-европейски раскованна, но не заблуждайся, Вольфганг Маер, не переходи незримой границы.

В доме учителя дверь тоже была заперта. Ему стало грустно. Он стал медленно взбираться на горный склон, где уже пробудились цветы, муравьи, бабочки, стрекозы. Изумительно хороша была зеленая трава... Вспомнил легенду о царе Артавазде. Интересно, три кузнеца ударили бы молотом по наковальне, чтобы сделать крепче цепи несчастного царя? Странная легенда: народ наказал своего сына, озабоченного народными тяготами и невзгодами. Может, легенду эту сочинил какой-нибудь придворный поэт? Нужно спросить у Соны или у ее отца... Взору его открылась обширная поляна — вся в маках. Вдали показались люди. Он ускорил шаг и увидал Сону, ребятишек и четырех мужчин. Они косили траву. И Варужан был в числе косарей. А ребятишки под предводительством Соны собирали траву охапками и расстилали на солнце.

Сона, заметив Вольфганга, пошла навстречу.

— Здравствуйте, фройлейн Сона.

— Здравствуйте, Вольфганг.

Сона в голубых джинсах среди алых маков и молодой травы показалась Вольфгангу чудом.

— А где ваш отец, фройлейн?

Сона с утра побывала в милиции, но отца повидать не удалось. Антонян сказал — он под следствием, завтра его вопрос решится. Сона позвонила из райцентра Армену. «Постараюсь сразу приехать»,— пообещал брат. Завтра... Значит, еще целую ночь отец проведет под арестом.

— Он поехал в Ереван, Вольфганг.

— Жаль, я хотел говорить с ним. Ваш отец удивительный человек, фройлейн.

Подошли к людям. Сона объяснила по-армянски Миграну Восканяну, Огану, Ерему и Размику, кто этот человек. Мужчины опустили наземь косы, представились. А ребятишки подошли и поздоровались как старые знакомые.

— Вся школа здесь,— сказал Вольфганг.

— У нас урок ботаники,— очень серьезно заметила Аревик.— Сейчас я прозвоню перемену.

У Миграна Восканяна кончились сигареты.

— У гостя твоего закурить найдется?

Он с какой-то злостью подчеркнул «у гостя твоего», и Соне стало смешно.

— Вольфганг, у вас есть сигареты?

— Да, но наши, из Берлина. Я один раз курил ваши, они очень крепкий. Я привык наши,— он протянул пачку Восканяну: — Я имею еще. Возьмите.

Восканян быстро зажег сигарету, затянулся.

— Куришь, как траву.— Обернулся к Соне: — Не переводи.

— Не переведу,— ехидно улыбнулась Сона.— Ему нравятся ваши сигареты, Вольфганг, а наш председатель — заядлый курильщик.

— Спасибо,— Восканян улыбнулся Вольфгангу.

Сона взглянула в помрачневшее лицо председателя, повернулась к Вольфгангу:

— Хотите, побродим по лугу. Видали, какие маки?..

— Мы ведь работаем,— прервал ее председатель и спросил Вольфганга: — Вы косить умеете?..

У Вольфганга радостно было екнуло сердце от предложения Соны, и он растерянно пробормотал:

— Я родился Берлин, косить не пробовал.

— Косить не вредно, даже если ты в Берлине родился,— сказал Восканян и протянул Вольфгангу косу: — Держи! Вот так.

Вольфганг взял косу. Почему ему вспомнилась легенда про царя Артавазда?

— Что я должен теперь делать? — спросил он.

Ребята засмеялись: он держал косу, как держат флаг на демонстрации.

— Самый старый косарь нашего села сейчас покажет. Смотри внимательно,— и подмигнул Ерему Снгряну.

Ерем принялся косить. Только что он косил с трудом, все тело ныло, а теперь орудовал косой, как в молодые годы. Вольфганг смотрел-смотрел на старого косаря, и косьба показалась ему легким делом. Он решительно взмахнул косой, и она тут же острием своим врезалась в землю. Дети дружно захохотали. Сона приструнила их взглядом.

— Не так, сынок.— Ерем Снгрян взял из его рук косу и преподал Вольфгангу Маеру первый урок косьбы на своем ванском наречии.

Другие тоже принялись косить. Ребята поваляются-поваляются на свежескошенной траве и только потом расстилают ее на солнышке.

Вольфганг мало-помалу стал улавливать ритм работы и приноравливаться к нему.

— В твоем хозяйстве, председатель, теперь одним косарем больше,— пошутил Размик Саакян.— Растем, как видишь, и процветаем. Стали интернациональной бригадой.

— Главное — ритм,— сказал Вольфганг.— Наверно, кузнецы в один ритм поднимут и опустят молот.

— Наверно,— отозвалась Сона, в руках которой тоже была коса.

— Красивые маки, фройлейн. Нельзя их не резать? Мне жалко.

— Красивые,— согласилась Сона и добавила: — Отец, наверное, сегодня не приедет.

— Жалко,— огорчился Вольфганг.— Немного будете проводить меня, фройлейн Сона?

— Мы сейчас все идем,— вмешался Восканян.

Они спустились в село, разговаривая о легенде про царя Артавазда. Сона звонко продекламировала:

Бейте, кузнецы, по наковальне,
Куйте прочно цепи для царя!

— Ритм прекрасный,— сказал Вольфганг.— Каждая строка как удар молот. Бедный царь...

— Артавазд не жалок, он просто несчастен. Непонятый всегда несчастен независимо от того, один человек его не понимает или целый народ. Артавазд — это великое непонимание в нашей истории.

У наскального хачкара они простились.

— На дороге будет машина,— сказал Вольфганг.— Водители сами останавливают. Позволите — я буду написать вам из Берлина письмо. Уже возвращаюсь, через два неделя. Я очень скучаю моя мама.

— Только по маме? — лукаво улыбнулась Сона.

— И еще Ваймар...

36

Асатур Саноян расстелил на письменном столе Соса Сафаряна свежий номер районной газеты. Заместитель председателя исполкома был занят обычными заботами-хлопотами и потому поначалу не придал этому значения. Потом вдруг заметил:

— Что тут?

На столе его лежала груда бумаг — доклады, списки, сообщения из сел. Он как-то сонно взглянул на редактора. Тот смотрел с самодовольной и наглой улыбочкой.

— Что это?

— Посмотри, как мы его разделали!

Сос Сафарян наконец отвлекся от своих бумажных забот, потер лоб и вспомнил:

— Ты про того сибиряка из Лернасара? Разделали, говоришь? Сядь, сейчас прочту.

Редактор уселся в одно из кресел, стоявших перед письменным столом. Они появились тут совсем недавно. «Кабинет есть кабинет,— сказал Сафарян.— Говорим с людьми жестко, так пусть хоть посидят на мягком».

Саноян уставился на недопитый стакан чая:

— Ты с сахаром пьешь? Не дело, товарищ Сафарян...

— Что? — поднял на него глаза Сафарян.— Что ты тут настрочил?

— Не нравится? — удивился Саноян.— Плохо разве, что мы взяли проблему в целом, масштабно? А с сахаром чай не пей, Сос. От сахара двадцать восемь болезней.

— Двадцать восемь? — повторил Сафарян машинально и вспомнил, что речь не о том: — Ты что, совсем спятил?

На третьей странице, внизу, было напечатано, что несколько человек из села Лернасар отлынивают от общественно полезного труда, отказываются уйти из фактически ликвидированного села, приросли к своим приусадебным участкам и, стало быть, тунеядствуют, а это никак не согласуется с нашими моральными устоями.

— Что ты понаписал? — перешел Сафарян на крик.— Я тебе разве это поручал?..

— Это будет в следующем номере. Нужно делать все постепенно, шаг за шагом.

Разбирались два «единоличника» — Оган Симавонян и Саак Камсарян. Каждому посвящался абзац. Мол, сад Камсаряна на столько-то метров больше, чем предусмотрено законом.

Сос Сафарян сжал ладонями голову.

— А чем, Сос, они не тунеядцы? Кому от них польза?

— Какой я тебе Сос? — вышел из себя Сафарян.

Саноян прикусил язык. Так, значит, все-таки в самом деле Сафаряна назначают председателем исполкома? В райкоме вчера об этом поговаривали.

— Помилуйте, товарищ Сафарян, но...

— Что «но»? — еще больше рассвирепел Сафарян.

— Разве вы против, чтобы газета выявляла тех, кто отлынивает от общественно полезного труда? Помните, в тот день в исполкоме...

— Хватит чепуху городить! — почти крикнул Сафарян.

Асатура Саноянa как ветром сдуло.

Сафарян заметил остывший чай, взял стакан и выпил залпом, как водку. «От этого двадцать восемь болезней,— усмехнулся он.— А двадцать девятая? Об этом ты не подумал, голова садовая!»

Почему ему вдруг опять представился Саак Камсарян? Он отчетливо разглядел его лицо на противоположной стене. Стена была голая, без портрета. «А надо бы,— подумал Сафарян.— Что за кабинет без портрета?» И вдруг увидал на стене почти фотографию: Саак Камсарян стоит возле памятника погибшим, стирает грязь с имен, а сам смотрит прямо в глаза Сафаряну. О чем говорить ему с учителем в пятницу, когда тот будет сидеть вот тут напротив — в мягком кресле? Поискал и нашел письмо Саака Камсаряна на двадцати страницах, которое Арам Вардуни переправил председателю, а тот — ему, Сафаряну. Вот оно, письмо «тунеядца» и «единоличника» Саака Камсаряна.

Сафарян не знал, что Камсарян арестован и находится сейчас в райцентре. Стиснув зубы, еще раз пробежал глазами по газетным строкам. А над статьей — фотография: «Пятый многоэтажный дом в Цахкашене,— стояла подпись под ней.— В этих домах созданы все удобства городского быта».

«Задрипанный трехэтажный домишко,— подумал Сафарян.— На третьем этаже свиней держат, куры в полночь залетают в постель к новобрачным. Городской быт!..»

37

— Садитесь. Кто вы? Из Еревана?

— Из Еревана. Армен Саакович Камсарян. То есть сын Камсаряна. Почему вы арестовали отца?

— Я не обязан отчитываться перед родственниками арестованного.

— Я могу и как журналист задать этот вопрос. Ответьте, лейтенант Антонян, за что арестован учитель Саак Камсарян?

— А у вас документы имеются, товарищ журналист?

— Имеются.

Антонян взял удостоверение Армена и долго его разглядывал: смотрел на печать, потом на фотографию, потом на лицо Армена — сравнивал.

— Кто подписывал?

— Редактор, кто же еще.

— Так вот мы твоему редактору и напишем, что его сотрудник использует государственный документ в корыстных, то есть личных, целях.

В этот момент вошел Левон.

— Что ты наделал, Антонян?

— Знаешь, доктор, этот вопрос ты должен был задать своему будущему тестю. Тебе, наверно, уже рассказали, что он натворил.

— Да, знаю.

— Я хочу немедленно видеть отца,— заявил Армен.— Власть на тебе, лейтенант, не кончается. Да и не с тебя начинается.

— Не понял,— пожал плечами Антонян.— Сложно выражаешься. Хочешь увидеть Камсаряна, находящегося в предварительном заключении? Подумаем.

— Можно позвонить? — Армен придвинул к себе телефон.

— Постой, Армен, не нужно горячиться,— сказал Левон.— Можем мы видеть Саака Камсаряна?

— Да кому он звонить собрался? Чего петушится? Начальника нет, я — начальник. Он что, не может себя как следует вести в государственном учреждении? Я только ради тебя, доктор, терплю это издевательство. А то ведь я не из тех, кто терпит. Ты сам знаешь.

— Послушайте! — снова взорвался было Армен, но все-таки удержался от горсти хлестких слов, которые готов был швырнуть Антоняну в лицо.— Вы... вы... Да если вас когда-нибудь вспомнят, то только потому, что вы арестовали Саака Камсаряна. Больше ничего памятного вы не сделали...

Армен представил отца. Тот неспешно поднимался вверх по склону, шел мимо брошенных домов, и глаза

его были подернуты печалью. «Бедный мой провинциальный философ, сражающийся с ветряными мельницами, Дон Кихот из Лернасара. О чем ты думаешь, сидя под арестом?» Нет, слово «бедный» отцу не подходило, и Армен посмотрел на сидящего перед ним человека с нескрываемым презрением.

— Мой отец из тех, которые делают эту землю страной, ее население народом! На таких людях, как он, мир держится. Такие люди тебе подобных кормят, а вы только пространство занимаете.

Армен яростно защищал отца, говорил его словами, приводил его доводы, с которыми он сам не соглашался, сам спорил уже много лет. Он вдруг увидел село глазами отца — с горами до небес, с мельницей, кузницей, с памятником погибшим парням. И вдруг встрепенулся: кому он все это говорит? «Самому себе»,— ответил внутренний голос.

— А вы... вы только пространство занимаете, а сами пустота в этом пространстве...

Антонян смотрел на него отрешенным, ничего не говорящим взглядом. Наконец повернулся к Левону:

— Доктор, по-каковски это он? Неужто по-армянски? Да скажи ты хоть слово так, чтоб тебя поняли!

Левон сделал примирительный жест:

— Он поэт, хороший парень. Не принимай близко к сердцу, лейтенант. У поэтов другой армянский язык, я сам его, случается, не понимаю.

— А! — вроде бы уразумел Антонян и весьма любезно обратился к Армену: — Я тебе, поэт, вот что скажу: если ты так кипятишься из-за села, что же сам-то в город удрал?..

Армен не ожидал подобного вопроса, а лейтенант, очень довольный собой, ждал ответа. Почему удрал? Учился, закончил — работу дали, книжка вот-вот выйдет. Что ему было делать? А спорить с лейтенантом — все равно, что спорить с этим письменным столом или с железным несгораемым шкафом.

— Я от таких, как ты, удрал,— холодно произнес Армен,— а не от села...

Удивительно, Антонян почему-то не обиделся.

— Понятно,— улыбнулся он.— Хочешь сказать, ты философ, почти Ованес Туманян, а мы — ноль, пустое место...

— Он не это хотел сказать, Антонян,— сделал Левон еще одну попытку примирить их.— Ну ладно, я прошу...

— Это другое дело, доктор, я тебя уважаю. А журналист что-то путаное плетет, ты ему то-сё разъясни. Он, видать, парень неплохой. Вы выйдите, я сейчас прикажу.— И крикнул в открытую дверь: — Мануш! Сержанта Амбарцумяна!

Армен и Левон прошли в приемную.

— Можно позвонить? — спросил Армен пожилую женщину, сидевшую у телефона, это была как раз Мануш.

— Звони, сынок.

Армен набрал номер.

— Товарища Вардуни, пожалуйста. Скажите, журналист из Еревана. Нету? А где он?.. Когда приедет из Еревана? А второй секретарь? И его нет?

— Что сказали?

— Сказали, завтра вернется.

Армен и Левон вышли в коридор. В приемной тут же появился Антонян.

— Это ты по телефону говорила, Мануш?

— Да нет, тот красивый паренек, что с доктором.

— Кому он звонил?

— В райком — Вардуни. Тот в Ереван уехал.

— Это все знают,— махнул рукой Антонян.

Так называемая арестантская была тесной комнатенкой на первом этаже здания милиции. Большей комнаты и не требовалось: во-первых, район маленький, а во-вторых, тут ведь долго не задерживаются.

Камсарян сидел на скрипучей кровати, а рядом с ним парнишка лет шестнадцати-семнадцати. Видно, учитель рассказывал что-то интересное, потому что паренек взглянул на вошедших с явной досадой — помешали.

— И здесь ученика завел, Месроп Маштоц,— подмигнул Армен.

— Армен? Здравствуй. Добрый день, Левон. Мы сейчас встанем, а вы, гости, садитесь.

Парнишка вскочил с места.

— Да нет, что ты, сиди, сиди, папа.

— Я теперь хоть день-деньской стоять буду, все равно «сижу». Помните анекдот? Заключенный ходит взад-вперед по камере, а сосед ему говорит: «Слушай, если ты ходишь, так думаешь, уже и не сидишь?..» Вот и я сейчас... Ну как, написал?

— Что, папа?

— «Лернасар — Гарни»... Собирался ведь вроде...

— Не получилось. Вернее, хотел описать один сельский день, да не тут-то было. Про Венгрию легче, там много чего есть.

Камсарян посмотрел на сына, потом на Левона. Оба были растерянны — особенно Армен. Они пришли спросить, что случилось. С Соной конечно же виделись, говорили. Но она, верно, больше всех напугана.

Ночь, проведенная в арестантской, как ни странно, внесла покой в душу Камсаряна. Словно выпал снег и скрыл под собою все мелкое, все подробности, и теперь видно только главное — главная боль и главная любовь. Он заново пережил за эту ночь всю свою жизнь, вспомнил людей, которые, казалось, были забыты им навек, и задал неумолимые вопросы жизни и себе...

— Я чувствую, сынок, у тебя на языке вопрос вертится. Что ж, скажу тебе: мы и верно поступили, и неверно. Рождение и смерть святы. Человек пришел, человек уходит — в этом великое таинство жизни. Я не имел права поступать так, как поступил. Но нам хотелось, чтобы людей что-то всколыхнуло. Жаль, перед нами были не те... Я знаю, что останусь в селе один. Оган умрет, Ерем умрет, Маран умрет, Сона выйдет замуж — ну конечно, ей нужно выйти замуж. Размик только вот, может, останется. И будет в селе шестьдесят две души: пятьдесят семь павших, три кузнеца и нас двое — я и Размик. Я приговорен жить долго, это вне моей воли — будь снисходителен, сынок.

Армен посмотрел на отца со страхом. Ему показалось, что отец обращается к тому свету из окна идущего поезда. Армен еще ни разу не видел его таким разбитым: Христос с распятия, да и только.

— Да будет тебе, папа. Завтра все выяснится. А потом погостишь у меня несколько дней в Ереване. Разве ты не хочешь взглянуть, как я живу?

— Знаешь, какой мне сон приснился сегодня? Благо кровать удобная. Будто в селе нашем собрались все, кто уехал, и даже те, кто умерли в последние годы. И Си-

рак, усопший на днях. В селе негде иголке было упасть, из труб дым валил, на мельницу очередь выстроилась, в кузнице плуг мастерили, хачкары поставили там, где им стоять положено. А крыши на всех домах были выкрашены...

Камсарян умолк на минуту, протер глаза: сочиняет он или в самом деле это все снилось? Картина эта была столь желанна его сердцу, так долго мечтал он о ней, что, может, и сочиняет. Но подобный сон он однажды уже видел.

— Надо бы мне в этом месте проснуться, не досматривать, но я не проснулся. Собрались, значит, все, и вдруг скала как загрохочет: «Иду на вас, иду на вас!..» Все переполошились. Песня осталась недопетой, мельничное колесо замерло на полуобороте, пересуды застряли у женщин в горле, поднятые молоты кузнецов не опустились на наковальню. Люди кинулись в панике бежать, и вдруг вижу: я один, и скала идет на меня. И я пустился наутек... Просто срам. Бегу, а скала за мной, я быстрее, и она с каждым мгновением делается огромнее, страшнее и, наконец, все закрыла собою: и село, и часовню, и водопад... Тяжелый сон. А Андока вот не вспомнил. Почему не вспомнил? Других наставляю, а сам удрал.

— Успокойся, отец. Давай поговорим о другом. Не хватало еще из-за сна переживать.

— Успокойтесь,— сказал Левон.— Сона на улице.

Вошел сержант Аматуни и виновато остановился у дверей.

— Здравствуй, учитель. Лейтенант Антонян сказал, что время свидания кончилось, но можете еще несколько минут поговорить.

Камсарян вспомнил ночную беседу с Антоняном.

«Обиделся, что я Лернасар назвал кладбищеселом? А что же оно еще такое? Сколько в нем домов осталось? Сколько человек?»

«Шесть домов. Двенадцать человек».

«Ну, вот видишь. Разве это село? Есть решение, учитель, так что все равно вас оттуда вытурят».

«Земля будет жаловаться».

«Земля?.. Вот это новость! Земля, стало быть, кляузница, строчить начнет кому следует?..»

«Кладбищесело?.. Нет, нет».— И вместо ответа рассмеялся в лицо Антоняну.

— Произошло недоразумение, учитель,— сказал сержант Аматуни.— Завтра все выяснится, и ты отправишься домой. Дочка тебе поесть принесла. Я сюда поставлю.

— Значит, вы сейчас не уйдете? — до слез обрадовался парнишка, про которого все забыли.

Он стоял у стены и во все глаза смотрел на Камсаряна.

— А ты почему тут, парень? — спросил Левон.

— Голубей держу. Я из Базмаберда. Пускаю голубей с крыши. Говорят, запрещено. Что я такого делаю?.. Голуби полетают-полетают и назад возвращаются. Я правду говорю.

— Вы идите,— сказал Камсарян.— Мы тут с Ваграмом недоговорили.

Аматуни, Армен и Левон вышли на улицу.

— Произошло недоразумение, большое недоразумение,— конфузился Аматуни.— А у Антоняна с сердцем плохо, только что лекарство пил. Он горстями таблетки глотает.

На улице, у газетного киоска, стояла Сона.

— Ну как отец? Не простыл, ненароком?

— Хорошо. Ночью сон видел. Рассказывал нам. Интересный сон.

Сона сама не захотела идти в милицию. Надеялась, что без нее мужчины легче договорятся с лейтенантом и отца отпустят. Она не представляла отца арестованным и видеть его униженным не хотела. Значит, еще ночь он пробудет тут. Сона посмотрела на огромное низкое солнце, и ей захотелось плакать. Вспомнила лицо отца, когда он смотрел на нее сквозь запыленное стекло удалявшегося «виллиса».

— Поехали в село,— предложила она.

— Поехали, я вас подвезу,— сказал Левон.— Потом вернусь, разыщу судью, он куда-то девался.

— Вы поезжайте,— Армен задумчиво посмотрел на дорогу,— а я пойду пешком. Хочу побыть один.

38

Остановив серый от пыли «виллис» возле ворот, Врам вошел во двор. Окликнул отца — ответа не последовало. Из глубины сада донесся собачий лай. «Ты счастливее меня,— подумал он о собаке.— Служишь одному хо-

зяину, есть у тебя тут несколько приятелей — живешь в свое удовольствие». Врам устал. Быть председателем четырех сел — пусть даже разрушенных — дело не легкое. А работать у такого председателя водителем — сущая каторга. Сколько километров в день делает этот многострадальный «виллис» по воде да по камням? И куда ездит, зачем ездит Мигран Восканян, чем он занимается — един бог весть. Сидел бы уж в Цахкашене, где его жена, дочь, или в Вардаблуре, где его кабинет. Так нет — прирос к этому селу. Теперь еще из-за хулиганов, избивших его сына, морока. Каждый день в милицию ездит. Восканян ругается, грозит. А завтра опять, говорит, в Ереван нужно.

Снова окликнул отца. Но на балконе вместо него появилась Мариам:

— Он в саду деревья прививает. Уже часов пять возится. Охота ж ему...

Врам нахмурился — уловил скрытую иронию в тоне жены: мол, гляньте-ка на него, всего ничего жить осталось, а он деревья прививает — что ж, трудись-трудись...

— Я схожу в сад, посмотрю, чем он занят. Да, теща привет передавала. Я ее звал к дочке в гости. Не поехала.

Ничего не ответив, Мариам резко повернулась и пошла к двери. Врам, махнув рукой, направился в сад.

Лусик сидела за столом и что-то писала. Хлопнула дверь — девочка подняла голову и с ухмылкой поддела Мариам:

— Что-то не в духе наша невестушка...

Мариам взорвалась:

— Только что брат твой насмехался, теперь ты! Всем не угодишь! — И ушла в спальню.

«Бедные родители,— подумала она,— забросила судьба вашу единственную дочку в дикие горы... С утра до вечера не с кем словом перемолвиться. Сона Камсарян ходит по селу задрав нос — в школу играет. Может, с золовкой дружить? Во-первых, возраст не тот, а во-вторых, у нее язык до самого Еревана дотянется... «Вижу, Мариам, измучилась ты,— услыхала она повторенные в сотый раз слова свекра,— потерпи еще, немного осталось...» Сколько же мне ждать-то? Что со свекром сделается, если он тут с дочерью останется, а мы у себя жить начнем? Ведь знает, что все равно уедем...»

— Из-за чего слезы льешь, невестушка? — появилась

Лусик в дверях спальни.— На какую тему? Скажи — вместе поплачем.

— Иди пиши свое сочинение! — холодно оборвала ее Мариам.— Дай бог, чтоб муж твой был такой же тряпкой, как брат! Тогда узнаешь, из-за чего плачут!

— Не выходила бы за него,— последовал вполне резонный ответ.— А про отца моего не смей говорить ни одного дурного слова.

После случая у хачкара Лусик изменилась, прежней сорвиголовы как не бывало. То в угол забьется, то выберет в саду местечко поукромнее — сядет на камень, задумается. Сомнения в ней гудят как пчелы в улье. А Вружан сделался мрачным, замкнутым. Они друг с другом почти не говорили. Столько всего в душе накопилось, а шли молчком, как враги.

— Вы, муж с женой, можете уезжать, а я отца не оставлю! — и хлопнула дверью.

«Гляньте-ка на эту дуреху! — вскипела Мариам.— Хочет стать барышней Камсарян номер два! Посмотрим, сколько ты тут выдержишь!»

Врам нашел отца под грушевым деревом.

— Чем занят, отец?

Оган поднял голову:

— Опоздали, Врам. Не знаю, привьется ли. На целую неделю опоздали.

— Не привьется — и не надо. Плакать, что ли? У тебя все только книги твои, деревья...

Отец улыбнулся виновато как-то, по-детски:

— А что ж мне еще осталось-то?..

— Хоть ел? — у Врама потеплел голос.— Мариам сказала, ты уже часов пять тут.

— Ел, ел, сноха недавно накормила... А тех крестоубийц не отыскали?

— Нет,— коротко ответил Врам.— Пошли в дом...

Отец с сыном неспешно поднялись по крутой садовой стежке.

Деревья были в цвету, ручей журчал, звенел, как стайка девчонок, и наступающий вечер наполнял стариковскую душу несказанной печалью. Каждый день был для него днем прощания: с этим дивным миром, с этими деревьями, с этим небом. Сын его не поймет. Поймет, да поздно...

39

На столе Соса Сафаряна лежала телеграмма из Новосибирска. В телеграмме сообщалось, что бывший житель села Лернасар Н-ского района Армянской ССР Саргис Арменович Мнеян скончался от сердечного удара в больнице на станции Михайловская Новосибирской области. Похоронен там же. Могила № 4828.

Кто такой Саргис Мнеян? И почему телеграфировали ему, Сафаряну? Вдруг на него нашло озарение: ну, разумеется, это тот самый патриот села, бывший лернасарец, который строчил письма из Иркутска, грозил из Сибири пальцем!

Сафарян быстро поднял трубку, набрал номер редактора.

— Асатур? Это Сафарян. Ты написал о том сибиряке из Лернасара?

— Пишу.

— Опоздал. Он в дороге умер. Телеграмма только что пришла.

— Я ведь говорил...

— Что ты говорил? Хорошо, что затянул со статьей, а то подвел бы нас под монастырь.— Он помолчал, взгляд его снова упал на телеграмму: — Могила номер четыре тысячи восемьсот двадцать восемь.

— Какая могила?

— Саргиса Мнеяна. Его похоронили на станции Михайловская Новосибирской области.

— Видно, крупная станция.

— Откуда знаешь?

— Так номер же могилы четыре тысячи с лишним...

— А, верно,— и положил трубку.

Вдруг Сос Сафарян вздохнул, подумав о бренности бытия, о добре и зле. Долго курил, смотрел в окно на горы-«сиротинки». Попытался представить, каким человеком был Саргис Мнеян, размяк окончательно, отыскал письмо Мнеяна, которое не давало ему покоя несколько дней подряд, и перечитал. Чего, в конце концов, он хотел? Тридцать лет назад зеленым юнцом покинул село, а в старости затосковал, решил вернуться, но возвращаться, оказалось, некуда. Интересно, есть у него родня? Надо бы сообщить... Могила номер четыре тысячи восемьсот двадцать восемь. Был человек, стал безликим номером могилы...

Дверь арестантской открылась. Вошли Арам Вардуни и Армен, а сержант Аматуни остался в коридоре.

— Папа, мы за тобой.

Вардуни подошел, протянул Камсаряну руку:

— Не думал, что придется познакомиться в такой обстановке.

— Я провел тут два хороших дня,— улыбнулся Камсарян.— Так что не жалуюсь... А я представлял вас старше. Вы моего письма не читали?

— Сам не читал, но существенные моменты мне пересказали. Оно передано в исполком. Подумал: я человек новый, они знают положение вещей лучше меня, пусть разберутся, а потом прочту. Я даже хотел сначала побывать в селе, потом уж встретиться с вами.

— В пятницу меня вызвали в исполком. Пойти?

— Конечно.

Армен нервно ходил взад-вперед по тесной комнате, а паренек-голубятник смотрел в окно.

Камсарян пристально вглядывался в секретаря райкома. Молод, но вид у него усталый. Лет сорок ему, не больше.

— Вы удивитесь, если я скажу, что решения о ликвидации вашего села не было. Это чья-то фантазия, разбухшая, как снежный ком. Так сказать, чиновничий фольклор. А решения не было.

— Как то есть? — растерялся Камсарян.

— А вот так. Я заставил перебрать все бумаги. Не нашли. Есть решение о создании села Цахкашен. Это решение, если взглянуть глубоко, вы должны приветствовать. Правда, построили Цахкашен из рук вон плохо — не село, а временное общежитие. Но речь сейчас не об этом. Да, вашим сельчанам было предложено переселиться в Цахкашен. Потому что они разбегаются кто куда. Когда началось это бегство?

— Лет двадцать, двадцать пять назад.

— Вот видите. Так что сделана попытка удержать людей хотя бы в районе. В этом — назначение Цахкашена. Роддом закрыли, потому что дети не рождались, школа фактически не существует, потому что нет ни учеников, ни учителей. Все произошло стихийно. Конечно, ошибки были, причем тяжелые ошибки — стихия подстегивалась психологическими факторами. Дело не только

в хорошей дороге. Она, конечно, нужна, но ведь бегут и из Вардаблура, а это село связано шоссе с самим Ереваном...

— Решения не было,— озабоченно повторил Камсарян.— Значит, против чего мы боролись?

— Извините,— суховато возразил Вардуни,— вы боролись не против решения. Цель у вас была другая: вы боролись со своим селом, а мишенью служили души ваших земляков. Доказательство тому — похороны, происходившие два дня назад. Вы боролись за людей, но это зачастую означает: против этих же самых людей.

— Вы интересно рассуждаете,—признался Камсарян.

— Я здесь всего несколько месяцев. Ни людей толком пока не знаю, ни край. Хотите, завтра же восстановим школу? Но где взять учеников, где взять педагогов?.. Восстановим роддом — для кого? Для одной лишь жены пастуха Сулеймана...

— Вы и Сулеймана знаете?

— Армен рассказал... Вот ведь оно как...

Беседа накалилась. Армен стоял в углу, слушал. Парнишка-голубятник больше не глядел на кусок неба, уместившийся в оконной раме. Вардуни и Камсарян закурили.

— Кого вы любите из наших поэтов? — спросил вдруг Камсарян.

— Как-то не задумывался. А вернее, читал недостаточно для того, чтобы ответить на этот вопрос.

— Простите,— сказал Камсарян.— Традиционный учительский вопрос.

— Честно говоря, мне теперешние поэты не очень нравятся. Кое-что иногда попадается, почитываю. Один копается в трагедии нашего народа, другой пишет о неверной жене, о неблагодарных детях. Каждая драма — рана, которая должна затянуться. Тем более рана, нанесенная народу. Это ведь наша с вами рана, она тянется с головы до ног. И шрам с головы до ног. Так вот поэты теперешние уже шрам расковыривают. Будто боятся, чтоб рана не зажила окончательно и шрам не исчез. Да шрам не исчезнет, останется.

— Народ не может жить без памяти — радостной или горестной. Наша-то очень горестная...

— А кто лишает народ памяти? Но мы не народ-пенсионер, чтобы предаваться одним лишь воспоминаниям. Дело делать надо!

— Очень хотелось бы вам верить...

Вардуни вдруг помрачнел, а потом вспылил:

— Хотелось бы? А почему бы вам не верить мне? Что, вы больше моего эту землю любите? Забот у вас больше?..— И вдруг сказал мягко: — Простите.

Камсарян растерялся, смутился, попросил еще сигарету. Помолчали.

— Уходишь, учитель? — раздался в тишине голос парнишки-голубятника.

Вардуни, казалось, только сейчас заметил его.

— А тебя за что сюда?

— Голубей держит,— сказал Камсарян.— Вот если бы он по хачкару стрелял, сейчас бы гулял на свободе.

Вардуни озабоченно взглянул на учителя:

— Злость вам не идет, учитель. А тех подонков ищут. Не думаю, что они долго будут пользоваться своей свободой.— И улыбнулся парнишке: — Значит, голубей держишь? И они к тебе возвращаются?

— Еще как! — оживился тот.— А говорят, по закону нельзя.

— Если говорят, значит, знают.

— Я больше не буду их выпускать,— почти со слезами пообещал парнишка.— Что они, бедняги, сейчас делают?

Арам Вардуни засмеялся:

— Что, не хочешь, чтобы учитель уходил?

— Не хочу,— сознался парнишка.— Если бы вместе нас отпустили, я бы пошел с ним в Лернасар. Он меня приглашает. Правда ведь, учитель?

Камсарян улыбнулся, а Вардуни сказал озабоченно:

— Ваши распрекрасные сельчане в пастухи идти не хотят, всем бы им быть поэтами, певцами, генералами. Представляете армию из одних генералов? Армии нужны один-два генерала, несколько офицеров и, понимаете ли, сол-да-ты! А они в солдаты идти не хотят. И вы, учитель, боретесь против этой тенденции, а не против несуществующего решения.

— Рыба ищет, где глубже, человек — где лучше...

— Эту пословицу рыбы придумали.

Камсарян весело рассмеялся — Арам Вардуни определенно начинал ему нравиться. Но сдаваться ему не хотелось:

— Есть еще и другая пословица, чисто армянская: иди туда, где еда.

— Отвратительная пословица,— тряхнул головой Вардуни.— Ее наши враги придумали и нам приписали! А вы сражаетесь именно с этой психологией.

— Это пословица печальных времен: история народа, судьба народа в ней заключена.

— Ну если бы народ руководствовался только ею, он бы сейчас и остался только... в исторических книгах.

— Были такие, которые следовали ей. И сейчас есть, вот как...

— И будут. Хлеб, конечно, тоже нужен...

— Много совершено ошибок,— прервал его Камсарян,— а ключ для их исправления не в моих руках — в ваших! Вы должны иметь не только внешний портрет народа, но, если хотите, его рентгеновский снимок: какие в нем хвори засели, какие кости повреждены.

И два человека, сидевшие по разным краям деревянной кровати, посмотрели друг на друга долгим, немигающим взглядом.

— А поэтов вы зря распекли,— вмешался Армен.— У нас есть хорошие поэты.

— Он сам поэт,— пояснил Камсарян.

Арам Вардуни улыбнулся:

— «Как лампа девушка — с глазами богоматери...» Прости, Армен, я твоих стихов не читал, а должен бы. Помню, поехал я в Шотландию, нас свозили на остров — самую северную точку страны. Небольшой совсем островок. У одного бородатого молодого человека на груди был значок с надписью. Перевели. Оказалось, что там написано: «Берегите местных поэтов»... Бородач был одним из четырех поэтов острова.— И засмеялся: — Не заказать ли такой значок для нашего района: «Берегите местных поэтов». Я с радостью прочту твои стихи, если ты мне журнал пришлешь.

...Той же ночью, когда Армен и Сона наконец заснут, Саак Камсарян выйдет в село и будет, подобно привидению, бродить по пустым улицам, поднимется в кузницу, засмотрится на темно-синий силуэт Одинокой часовни, на рухнувшую стену дома Асанет. Не будет литься свет ни из одного окна, и луны не будет, и звезды покажутся крошечными булавочными головками, но Камсарян станет бродить по селу подобно слепому и увидит все. Вернувшись домой, тихо включит свет — это окажется единственный огонек в селе — и напишет в общей тетради: «Каждое разумное существо должно хотя бы одну ночь

провести в арестантской, а после этой длинной ночи, наутро, с крыши своего дома либо из души своей выпустить голубей...»

Потом Камсарян закроет тетрадь, спрячет ее в ящик письменного стола и попытается уснуть. Сперва ему будет мешать суровое безмолвие села, а потом он услышит голоса. Кто бы это? И поймет, что его это голос. Его и Арама Вардуни. И начнет прислушиваться — как к чужой беседе. «Да, каждый человек должен быть предан тому роднику, из которого он впервые напился».— «Но, учитель, село нуждается и в водопроводе...» — «...И вы ликвидируете село только потому, что не можете провести водопровод?..» — «Да я же сказал: нет такого решения».— «Когда человек умирает, тут же выдается свидетельство о смерти — хоронить надо... Нет решения — будет».— «Не много ли вы на себя берете, учитель? Да я не только вас имею в виду. Разве некоторые не превращают проблемы народные в свой приусадебный участок? Окружат его частоколом — это мое! Одним словом, пытаются присвоить себе все народные беды, доход от них получать. Иные взвалят себе на плечи непосильную ношу народных забот и несут ее с одышкой, со стоном. И все увеличивают, увеличивают груз. Не надорвались бы, не получили бы национальную грыжу...» — «Национальная грыжа?.. Остроумно... Вы изъясняетесь психологически точно, но, простите, иной раз кажется, что это ответы счетной машины. А вы не чувствуете опасности: заботы народные превратить в свой приусадебный участок? Мол, вы, учителя, писатели, занимайтесь своими мелкими делами, а мы уж подумаем о крупных. Каждый человек так или иначе ответствен перед своим народом».— «Да не слишком ли много советчиков? Вот и вы...»

А продолжение беседы происходило в райкоме. Вардуни взял чистый лист бумаги, и на нем появились какие-то цифры, таблицы. Доводы его были убедительными, перспективы четкими. «Я побежден»,— подумал Камсарян, во всяком случае в противовес Вардуни ему было нечего сказать. И странное дело — поражение не огорчило его. Хотя тщеславие, что и говорить, было уязвлено. Раньше был некий, так сказать, монолог его борьбы — никто не читал его писем, не слушал его, не беседовал с ним с глазу на глаз. И он постепенно привык к мысли: я прав.

«Вы в более выгодном положении, учитель. Обо всем, что видите, чувствуете, вы можете сказать. А я обязан принимать решения. При этом должен учитывать все плюсы и минусы».— «И в этом участвует только ваш рассудок?» — «Сердце решений принять не способно. Даже в вопросах любви. Оно только подает сигналы».— «Не слишком ли вы удлиняете дорогу от сердца к мозгу? Достигнут ли сигналы сердца мозга?» — «Я вам доверяю, а вы во мне сомневаетесь».— «Да, не скрою, сомневаюсь. Но только мне не понятно, почему вы мне доверяете? Я, конечно, болтун-пенсионер, моя песенка спета».— «Пенсионер?.. Каждый человек только сам себя отправляет на пенсию. А в вас столько нерастраченного пыла, который вы можете употребить на борьбу с целым светом».— «А может, за целый свет? Простите, это звучит высокопарно».— «Во всех случаях, учитель, борьба с целым светом есть и борьба за него».

Закурили и надолго замолчали.

Он, Камсарян, терпит поражение? «В «Судебнике спарапета Смбата» [1] есть такие слова: кто срубил дерево, обязан посадить новое... А когда целое село рубят под корень?..» — «Справедливые слова».— «Впрочем, вы много новых сел строите. Я вчера как раз об этом в газете читал. Статья так и называлась: «Новое село на освоенной земле». А земля, которая тысячу лет приносила плоды, дичает».— «Новые села не должны мешать сохранению старых».— «Вы, наверно, знаете: чтобы создать слой земли в пятнадцать сантиметров, природа работает двадцать тысяч лет. Двадцать тысяч лет!.. Приедете в Лернасар, я покажу вам, как оголяются наши склоны и природа вынуждена наготу свою прикрывать колючками».— «Она защищается ими».

Саак Камсарян почти не спал. Стало быть, уже три ночи провел он под арестом. Лейтенант Антонян позлорадствовал бы. Интересно, он знает, скольких людей довел до болезни? Врачи пытаются помочь человеку, иногда вырывают его из когтей смерти, а какой-нибудь Антонян... Кто подсчитывал вред, наносимый подобными людьми? Вспомнил полные горечи глаза парнишки-голубятника: «Что я такого сделал, учитель? Ответьте, я пойму. Ведь голуби сами по себе летают туда-сюда...»

---

[1] Средневековый армянский судебник.

«Нет, Саак, так не годится — добавляешь к своей ноше новую тяжесть».

«Спи!» — приказал он себе.

41

А через три дня село Лернасар хоронило Огана Симавоняна.

Старик умер спокойно — лежал под орешиной и читал книгу, а сноха Мариам вдруг заметила, что он спит. Принесла из дому одеяло, укрыла его — пожилой ведь человек, не простыл бы. Но Огану Симавоняну в эту минуту уже достаточно было одного одеяла — синего одеяла небес, которое ночью украсили бы посверкивающие звезды.

Накануне, сидя под орешиной и попивая темной заварки чай, он признался сыну, что хочет, чтобы выбили на его надгробье: «Где родился, где жил и где умер — названия всех мест». Сын попытался возразить, но отец пресек это и, уставившись в одну неясную точку, разглядел сквозь туман времени свою жизнь. И принялся диктовать: «Родился в Ерзндже, Харбердского вилаета [1]. Потом в Карс бежали. А потом напишите: Приют. С большой буквы. Да-да, с большой буквы — Приют. Приют к месту отношения не имеет. Не имеет значения, в каком он городе. Приют сам и село, и город, и география, и история. Значит, с большой буквы. А потом напишите: Мартуни, Тали́н и в конце Лернасар, где я завтра или послезавтра умру...»

После он спокойно пил чай. Только попросил оставить его одного — очень уж книжка интересная.

Огана Симавоняна хоронило все село. Все двенадцать человек, если и ребятишек считать, выстроились у хачкара вардапета. Старика предали земле на второй день после кончины — он так просил. «Если умру утром, похороните после полудня, если вечером — на другой день». Потому и не успели дальней родне сообщить. Правда, из Цахкашена человек восемь приехало. «На седьмой день [2] все явятся»,— сказал Врам.

Над гробом убивалась только Лусик — сперва рыдала в голос, потом, почувствовав, что рыдания ее одиноко

---

[1] Вилает — уезд.
[2] Седьмой день — один из поминальных дней у армян.

врываются в общее безмолвие, заплакала беззвучно. И Саак Камсарян с горечью подумал: «Сироту и хоронят по-сиротски. Сирота и в семьдесят семь — сирота. Бедный Оган, и слез пролить над тобой некому: ни сестры, ни брата... Хоть бы жена была жива — оплакала бы тебя сегодня, а там и ей помереть можно. Печальные и какие-то жалкие похороны».

А через неделю Врам переселился в Цахкашен, где, выяснилось, несколько месяцев назад уже получил квартиру. На третьем этаже нового дома. Перед отъездом все запер, три замка повесил: на дверь дома, на дверь хлева и на дверь хацатуна. Так лучше: дом рухнет в свое время, как положено, и никто не сможет войти в него... через дверь. Жаль, на ореховые деревья замка не повесишь.

— Осенью приедем, соберем орехи,— сказала Мариам.

— Добро-то в руках унести можно,— сказал Врам.— Ничего не нажито. А насчет надгробья я с варпетом Суреном договорился, к сороковинам обещал сделать. Разве ж я допущу, чтобы исчезла память об отце?

Стояла весна, пышная, ослепительная... Солнце звенело в небесах, почки лопались, земля возрождалась еще раз.

А в селе Лернасар ручьи текли впустую, напрасно распускались цветы на деревьях, зря проливался дождь...

42

Секретарша сообщила — есть посетитель. Сафарян не поинтересовался, кто это:

— Пусть подождет.

У заместителя председателя исполкома голова шла кругом: полугодовой план по заготовке яиц вот-вот сорвется. Другие показатели еще куда ни шло, даже, можно сказать, неплохие. «Есть надежда получить переходящее Красное знамя,— размечтался Арам Вардуни.— Только бы по яйцам план дотянуть. Дело за тобой, Сафарян».

Не хватало двадцати тысяч яиц. С самого утра Сафарян обзванивал села — просил, увещевал, уговаривал, кричал, а результат... всего четыре тысячи. Да и то не

яиц, а обещаний. Арам Вардуни был озабочен — понятное дело, новый секретарь хотел в свой первый рабочий год добиться хороших показателей. Район отстающий, почти всегда был на последнем месте. Неужели невозможен перелом? Сафарян испытывал удовлетворение от того, что новый секретарь ему доверяет, надеется на него. «Я,— сказал он,— человек новый. А ты хорошо знаешь район, людей, знаешь скрытые возможности».

«Звонки звонками,— подумал Сафарян,— но этого мало. Нужно самому объездить все села. Глядя в лицо, отказать посовестятся. Неужели из-за нескольких сотен яиц переходящего знамени лишатся?.. Пусть в этом году яичницы не поедят,— он остался доволен своей остротой.— Завтра прямо с утра поеду»,— и тут вспомнил о посетителе.

— Если он еще здесь, пусть войдет,— сказал он секретарше.— Кто это?

— Саак Камсарян из Лернасара. Он ждет.

— Камсарян? — Ну конечно же он вызвал его именно в пятницу. Правда, думал, что после случая с похоронами и арестом не явится... Явился, значит.

Камсарян вошел, поздоровался.

— Садитесь,— сказал Сафарян.— Я думал, что мы должны встретиться позже. Извините, что заставил ждать. Как дела?..

Вопрос был пустой, копеечный, и Камсарян отвел глаза в сторону.

— Ничего,— сказал он неопределенно.— У меня большой опыт ожидания. Что такое час по сравнению с тем, сколько мне приходилось ждать.

— Меня — впервые,— Сафарян попытался настроить себя на дружеский лад, сознавая, что разговор предстоит тяжелый.— К тому же у меня и без того дел через край.

— Да, вас я жду впервые, а другие, бывало, вызовут в час, примут на следующий день в четыре, вызовут в пятницу, примут в следующую среду. А случалось, тянут-тянут, я туда-сюда езжу, а меня в конце концов так и не примут. У меня свой учет. Однажды я подсчитал, что просидел в ожидании у разных дверей полгода.

Сафарян засмеялся — он впервые слышал о подобных вычислениях. Видно, ехидный тип этот учитель, его ученикам не позавидуешь.

— Вы знаете, наше село имеет большую историю.

О нем есть упоминания еще у Мовсеса Каханкатваци [1].

— Да, разумеется,— кивнул Сафарян, хотя так и не сообразил, кто этот Мовсес... Может быть, Хоренаци [2] так называли? — Разумеется, древнее село, очень древнее.

— Потому и решили его списать со счетов,— сказал Камсарян, несмотря на то что Арам Вардуни утверждал другое. Кто его знает, он тут человек новый — может, от него скрыли.

— Это решение...

— Знаю, знаю, сейчас скажете, что вы не в курсе. Или в курсе, но что можете поделать... Не имеете права. А прав, между прочим, добиваются, их никто не подносит в подарок ко дню рождения... Это решение — своеобразное свидетельство о смерти, а село еще не умерло. Да, оно при смерти, но не умерло... Хороший врач и мертвого оживить может.— И вдруг спросил: — Вы это решение своими глазами видели?

— Говорят, у вас хорошая дочь,— перевел Сафарян разговор на другую тему.— Ее школа — это подвиг...— он не захотел отвечать на вопрос учителя, потому что решения и в самом деле не видел. Но оно ведь существует, это все знают.

— Подвиг — это то, что делал монах-армянин в пустыне Тер-Зор [3]: на песке показывал сиротам буквы, учил их армянской азбуке.

Нет, к этому человеку ни на какой козе не подъедешь. Сафарян расстроился, закурил.

— Я странный человек, знаю,— будто прочел его мысли Камсарян.— У вас полно забот, а я вам про свое село, про Каханкатваци, про Тер-Зор...

— Я не хотел этого сказать,— Сафарян сделал неумелую попытку защититься,— но у нас и в самом деле полно забот.

— У нас с вами должна быть одна забота,— сказал Камсарян, как точку поставил. И вдруг неожиданно спросил:— Вы вчера телевизор смотрели?

— Нет. А что?..

---

[1] Средневековый армянский историк.

[2] Знаменитый армянский историк V века.

[3] Тер-Зор — пустыня, в которую в 1915 году турецкие янычары согнали тысячи армян.

— Выступал один космонавт. Он поделился интересным наблюдением: чтобы заметить некоторые явления, происходящие на Земле, нужно удалиться от нее. Из космоса Землю лучше видно: куда движутся ледники, где земная кора дала трещину и тому подобное. Значит, чтобы все это разглядеть, нужно посмотреть издалека.

«К чему он клонит? — подумал Сафарян, и взгляд его почему-то упал на план по заготовке яиц.— Как бы там ни было, а двадцать тысяч яиц нужно собрать... Соберем! — В нем появилась самоуверенность.— Получим знамя — а тогда и яичницу жарьте, и яйца красьте, и гату пеките».

— Что я имею в виду,— Камсарян на мгновение замолчал, заметив, что Сафарян думает о чем-то своем.— Для того, чтобы увидеть кое-какие явления жизни, а тем более понять их, нужно удалиться — удалиться во времени. На сто лет назад, на сто лет вперед...

«На сто лет вперед,— усмехнулся про себя Сафарян.— Тут на полугодие никак не загадаешь».

— Если мы могли бы посмотреть вперед, может, и нашли бы средство спасти село. И не только село. Но мы не то что на сто — на двадцать лет вперед не заглядываем. А на маленьком отрезке времени опасность не так заметна. Если бы лет двадцать назад, когда всего несколько семей уехало из села, мы бы сели и подумали, может быть — да почему «может быть»? — наверняка беда бы нас миновала...

— Возможно...— уклончиво отозвался Сафарян.

— Вам известно, что в сорок шестом году в Лернасаре был собран самый высокий урожай пшеницы в Армении? Самый высокий! Понимаете?

— Что вы говорите? — неподдельно удивился Сафарян.— На вершине горы такой урожай получали?

— Получали. Да еще какой пшеницы!

— Я расскажу об этом товарищу Вардуни. Да разве мы можем голову от текущих дел поднять, чтоб вперед-назад посмотреть? Только под ноги себе смотрим.

— Это вы хорошо сказали,— заметил Камсарян.— Но ведь кому, как не вам, вперед смотреть? От моего смотрения толку мало. Хоть на полчаса в день можете оторваться от текучки и подумать, что будет после?

— Вот план по заготовке яиц не выполняем,— обратился неожиданно к своим заботам Сафарян.— Двадцать тысяч яиц недостает. А где их взять?..

Камсарян искренне рассмеялся.

— Вы вот смеетесь, а если яиц не получим, район так и будет в отстающих, и уж тогда вперед смотреть никто не позволит.

— Двадцать тысяч яиц одно село Лернасар могло дать.

— Могло! Нам сейчас нужно, в этом месяце, товарищ Камсарян.

— Об этом месяце не в этом месяце думают.

— У нас такая жалкая птицеферма, что с кур яйца спрашивать грешно...

— Дам вам один совет. Чтобы куры неслись лучше, пусть введут на ферме лампы дневного света, и всю ночь свет пусть горит. Куры начнут не два, а четыре яйца в день нести.

— Как так? — удивился Сафарян.

— Обманутся, примут ночь за день и займутся делом. Это не юмор, я читал об этом в одном научном журнале...

— Что-то мало верится.

— Напрасно. Правда, есть в этом деле одна сложность. Если куры будут бодрствовать день и ночь, их, сами понимаете, ненадолго хватит. Но вам-то что? Вам ведь нужны яйца в этом месяце, сегодня, сейчас. А потом — хоть трава не расти.

— Я вас давным-давно знаю и, честно говоря, уважаю, а то мог бы обидеться...

— Да на что вам-то обижаться? А земля не обижается? А вода не обижается? Живете так, будто на вас конец, точка,— после меня хоть потоп, лишь бы дать сегодня план, получить знамя... А у природы тоже свой план, потому она вас и наказывает, да еще как наказывает.

Сафарян смотрел устало и беспомощно. Видно, понимал, почему этого человека избегает районное начальство. А Вардуни сказал, что хочет с Камсаряном встретиться, поговорить. Бедный Вардуни... Сафарян не знал, что секретарь райкома уже виделся с учителем.

Заместитель председателя исполкома был для Камсаряна, так сказать, послом застарелых ошибок, и с него следовало спросить по-крупному.

— Вам, я слышал, пришлось провести ночь под арестом?

— Пришлось, а когда выпустили, читаю в вашей газете, что, мол, я тунеядствую все эти годы. Даже сад мой вымерили, сто двадцать лишних метров оказалось. Но... я ведь этому участку не даю погибнуть — обрабатываю, ухаживаю, подлечиваю его, деревья сажаю, камни убираю, получаю урожай. Значит, я на несколько метров увеличиваю страну. А вы? Сколько гектаров вы отняли у страны? Взять хотя бы погибшую землю нашего села... Над этим вы задумывались?..

— Статья в самом деле неудачная. Редактор получил по заслугам.

— Редактор тоже, наверно, из тех, кто только под ноги смотрит. Жили в нашем селе три брата: Арам, Саргис и Мамикон. Жили в доме отца. Женились — где жить? Упрашивали, писали, чтобы им участок выделили — дом построить. Так нет же, отказали. И они вынуждены были из села уехать. А земля в нашем селе вся камнями завалена — оттого, что ее не обрабатывают. Об этом редактор думал? Когда в последний раз вы были у нас?

— Года три назад. И на днях собираюсь снова поехать. Товарищ Вардуни хочет с вами встретиться. Я передам ему наш разговор.

— Увезли из села один хачкар — хачкар Смбата. В десятом веке Смбат княжил в этих краях. Редчайший хачкар. На подножии его написано: Смбат Великий. Говорят, в музей забрали. Это правда?

— Правда. Мы разрешили.

— Вы разрешили?.. Тысячу лет хачкар этот был частицей наших мест, как водопад, как Немая гора... Когда водопад вы заберете? А памятник погибшим?.. Или, может, его оставите на попечение овец, они-то уж его вычистят, вылижут.

Сафарян едва владел собой — Вардуни просил его быть с учителем выдержанным и вежливым.

В какой-то момент ему стали понятны действия лейтенанта Антоняна, он даже попытался мысленно оправдать его. Но ведь сидящий напротив человек не просит ни квартиры, ни должности, ни машины.

— Приеду в село — продолжим наш разговор,— сказал Сафарян.— Вы отлучаться оттуда не собираетесь? Дом ваш я сразу найду — говорят, вы крышу покрасили.

(Камсарян вспомнил, как его допрашивал лейтенант Антонян. «Крышу ты, говорят, заграничной краской выкрасил? Где купил?» — «В Ереване».— «В магазине или на руках?» — «В магазине».— «А бумага есть? Доказать можешь?» — «В магазине чеки дают».— «Чек есть?» — «Порвал, зачем мне его хранить?» — «А чтоб сейчас мне на стол положить! Чтоб я тебе поверил!»

Он грустно посмотрел на Антоняна, а потом оправдал его: не он ведь это выдумал, говорят, многие берегут чеки до смерти, Дверь купил — где? Известь купил — где? Где взял камни для дома? Бумагу покажи!.. Есть, конечно, и грязные махинаторы, а из-за них под подозрение попадают все подряд. Вот и хранят люди бумажки до самой смерти и даже перестают по этому поводу оскорбляться и огорчаться...)

— Мне из села отлучаться некуда. В селе буду.

43

Армен Камсарян получил гонорар и пил теперь с друзьями шампанское в кафе «Алый парус». Дело было утром — прямо отсюда он собирался идти на работу. В кафе пришел нехотя, но как было не прийти, раз обещал. Подумают, жадюга или мнит себя уже на Парнасе. Несколько прожитых в селе дней клином врезались в него, сделали рассеянным и безучастным к обычной беседе молодых людей — она ему очень скоро наскучила. Выпил несколько чашечек кофе, выкурил одну за другой несколько сигарет. Он толком и не слушал, кто что говорит: любую фразу мог произнести любой, словно она была записана на долгоиграющую пластинку.

— Фотография что надо, скоро начнешь от девиц письма получать...

— Хочешь сказать, стихи не те...

— ...Элиот, например.

— Аполлинер в одном стихотворении...

— В каком?

— Ну, если ты не читал, что с тобой разговаривать?

— Двухтысячелетний театр. А сейчас у нас театр есть?.. Есть?..

— Выпить бы холодного голландского пива. Слышал, у вас дома имеется.

— Откуда ему знать? Разве он дома бывает?

— Вчера тетя приехала из села, где отец жил. Целое ведро меда привезла, две бутылки домашней водки. Отцу говорит: дочку мою ты должен в медицинский институт устроить.

— Если это взятка, то мало, а если подарок...

— Ах, урбанист! Так ты, стало быть, деревенщина?

— По селу скучаешь?

— В стихах — тоскует. У каждого поэта должно быть свое село, по которому бы он тосковал и ругал при этом город.

— А мне что делать? У меня даже дед ереванец!

— Плохи твои дела, печатать не станут.

— Армен, ты в село ездил?

— Да.

— Одолжи мне немножко тоски по селу. Поэма того требует, а во мне нету.

— Ребята, видали, какая девушка?

— Джинсы — экстра. Американские, «левис».

— Маленькая поправочка: «вранглер».

— Ну как там в селе, Армен?

— Село живет себе...

— Ой, если нас в село отправят! Через неделю распределение. Армен, а как тебе удалось бросить якорь в городе?

— Вчера телевизор смотрели? Санасар Мелян целый час говорил. Поехал на Арпа-Севан, вошел в один конец туннеля, а из другого вышел. Месяц у него на это ушло. Потерся там парень. Теперь его всюду будут печатать.

— Целый месяц? Я бы чокнулся.

— Сегодня пойду в издательство. Редактор моей книжки — молодая незамужняя особа. Ей нравится, когда я с цветами прихожу. Уже целый год книжку редактирует. Я весь будущий гонорар на цветы потратил.

— Что ты говорил про Арпа-Севан? Вода уже идет?

— Если б шла, как бы он туннель одолевал?

— А вплавь.

— Если б вы только видели, с каким серьезным видом он выступал, как поучал молодежь.

— Сколько мы бутылок уговорили?

— Прямо не знаешь, что от скуки делать.

— В романе Маркеса сто лет живут в скуке, так что у тебя впереди еще восемьдесят.

Армен Камсарян ясно представил себе сестру, отца, увидел Одинокую часовню, а на ней каменное свидетельство: «Построили эту церковь всем селом Караглух, кроме Саргиса Назаряна».

Протер глаза, посмотрел на сидящих вокруг людей, на пустые бутылки из-под шампанского, на чашечки с кофейными разводами, сказал:

— Я ухожу,— и вышел быстрым взвинченным шагом.

Автор утверждает, что именно в это время шел по улице Абовяна исполинскими шагами Оган Горлан. Он проходил мимо кафе, битком набитых сильной плечистой молодежью, и всюду спрашивал: «Ребята, чем вы заняты? Ребята, что вы делаете?»

А на следующий день в газетах были всевозможные сообщения, но об этом происшествии — ни слова. Голоса Огана Горлана никто не слышал. Хотя, по утверждению автора, голос этот был громоподобным, таким, что волны его докатились до Лернасара и обломили ветви одинокой орешины.

44

Аревик позвонила.

Сона печально смотрела на свою «школу». Ребятишки сидели неподвижно, никому не хотелось вставать. Непривычное, какое-то не детское безмолвие было у них в глазах. Это повергло Сону в тяжелые раздумья: ребенок есть ребенок, нельзя, чтобы раньше времени пролегла морщинка на его чистом лбу. «Школа» замерла.

— Товарищ Камсарян, мы...— запнулась Аревик,— мы вас очень любим.

— И я вас люблю, Аревик. Я вас всех очень люблю.

— А кого больше всех? — спросил Libre Вануш.

— Больше всех... всех. Не забывайте нашу школу, ребята.

Сона испугалась, что не сумеет удержать слез.

— Ну, ребята, вот вы и стали старше на год. И все переходите в следующий класс. Я вами очень довольна.

— А вы в следующем году нам не будете преподавать? — сдавленным голосом спросила Мануш.

— Как знать — может, и буду.

Нет, детей обманывать не нужно, они смотрят на нее такими честными, такими распахнутыми глазами. Если уж правду сказать невозможно, лучше смолчать. Они знают: Аревик только что прозвонила последний звонок. На будущий год они, конечно, тоже услышат звонок. Только уже в другой школе. И другой звонок. Где они в это время будут?

— Я вам всем приготовила подарки,— сказала Сона.— Книгу Ованеса Туманяна. И всем написала письмо. Оно у каждого в книге. Дома прочитаете.

— А мы уезжаем...— Печально или радостно сообщил это Вараздат? — В субботу папа приедет и заберет нас. А бабушка с дедушкой весь день шушукаются — ехать не хотят.

— И я не хочу,— сказал Каро.— Но папа говорит, переедем. Он в Октемберяне новый дом купил.

— Октемберян — хороший город,— сказала Сона.

— Там магазины есть? — спросил Вараздат.— А кукольный театр?

— Магазинов там много. А кукольный театр в Ереване.

— Папа обещал мне велосипед купить. Говорит: я бы тебе и тут купил, да где кататься будешь?

— А я с бабушкой останусь, — сказала Аревик. — Только вот как со школой быть? Наверное, в райцентровский интернат меня отдадут. А на субботу-воскресенье буду в село приезжать.

— А мы? — почти одновременно спросили Ануш, Вануш и Мануш.— Нам что делать?

«А мы?..» Наивный детский вопрос острей ножа пронзил сердце Соны. Какой ответ найдет она? Трое ребятишек — суд, а она обвиняемая. Да, она, Сона Камсарян. Нет, нужно прекратить это самоистязание, а то можно довести себя до истерики. Сона поднялась и подошла к партам, чтобы раздать детям книги. Она не посмела погладить никого по голове, не посмела взглянуть ребятам в глаза. Они будут любить свое село и когда-нибудь в него вернутся, непременно вернутся. И когда-нибудь вновь оживет школьный звонок.

— Я напишу вам письмо,— сказала Аревик.— Только куда?..

— В наше село — куда же еще?..

— А в нашем селе нет почтальона.

— Будет, Аревик, и почтальон, и все остальное.

— Когда?

Нет, нельзя продолжать этот разговор.

— Пойдемте, ребята, уже каникулы. Ну, вставайте же. Хотите... хотите, поднимемся к Одинокой часовне? Сможете?

— Хотим! Сможем! — закричали ребята все разом. Все — то есть шесть человек.

— Ну, пошли.

45

Размик смотрел в небо, словно ждал самолета.

— Добрый день, дед Ерем.— Размика разморило на солнце, и белый свет в его глазах отливал зеленым цветом.

А Ерем вплотную подошел к нему и хмуро на него посмотрел:

— «Добрый день» себе оставь. Разве это по-соседски?..

— Ты про свиней, что ли? — лениво протянул Размик.— Говорят, эти твари проклятые в дом твой зашли? Ну и устроили они там, поди, цирк. Визжали здорово?

Дед Ерем весь напрягся, старческие руки его задрожали. Уж так хотелось ему двинуть клюкой по этой заросшей образине. Эх, ему бы сейчас да молодые годы!

— Ты еще насмешничаешь?..

А у Размика не было никакого желания скандалить. Камень, к которому он прислонился, согрел ему спину, и по всему телу растеклось благодушие. Анушаван скоро из армии воротится, а денежки на машину тут как тут, кругленькая сумма. От Арто вчера письмо пришло — мол, если ты, отец, не против, я обручусь с профессорской дочкой, и меня, само собой, в аспирантуре оставят. Ну а пока что... очень деньги нужны.

«Может, он, сукин сын, мне пыль в глаза пускает? — осенило Размика.— Чтоб деньги промотать. А потом скажет: не вышло, папаша, узнал профессор, что ты свиней держишь и... Нет, вся моя надежда — Анушаван,— подумал он.— Воротится, осядет в Цахкашене. Да и младшеньких туда к матери отправлю. А сам тут останусь со своими овцами, свиньями. Что мне стоит к ним сходить-то? Тут два шага».

Он лениво открыл глаза и опять сквозь туман увидел Ерема Снгряна.

— Ты что, немой? — почти закричал старик.— Свиньи твои дом мой испоганили, а он язык утрудить боится — сказать: прости, мол, сосед.

— Это пусть свиньи говорят,— развязно протянул Размик.— Они ведь в твой дом зашли...

— И ты из этих свиней, ничем их не лучше.

Размик очнулся, словно ему за шиворот холодной воды плеснули. Размечтался, надо же! Профессорский свояк, хозяин «Волги», а эта развалина что тут мелет?

— Ты попридержи язык, старый хрыч. Я твоему сыну-бродяге не ровня. А свиньи мои... и завтра придут. Лучше дом свой подальше от меня поставь.

У старика пересохло в горле, показалось — сейчас его хватит удар. Выругал про себя сына, который ездит черт-те где, и некому за отца вступиться. А кто его унижает-то? Кто его топчет? Боров грязный!

— Сын бы мой кабы тут был, уж он бы тебе ответил,— слова эти прозвучали жалко и беспомощно.

— Если бы да кабы...— Размик снова закрыл глаза.

Свояк профессора увидал себя выбритым, в костюме, с пачкой денег в кармане, в ресторане «Двин». Говорят, лучше его нету. Со свояком у них сплошная задушевность, водой не разлить.

Размик и не слыхал, когда, постукивая палкой оземь, с проклятиями и угрозами ушел Ерем Снгрян... Зря он все-таки влез в эту кутерьму с похоронами Сирака Агаяна. В тот день в Ереване Овсепа увидал, и глаза пришлось спрятать — вид сделать, что не заметил. Это всех учитель взбаламутил. Да сам в тюрьму и угораздил. Уважаемый человек, а две ночи на жесткой койке спал. Интересно, это будут за судимость считать?.. Нет, пожалуй. Говорят, первый секретарь райкома — ага, он самый, Вардуни — собственными ногами в милицию явился и его освободил. Нет, учитель, конечно, что там ни говори, а большой человек. Это уж точно.

Сона слушала песни Огана Симавоняна. Впервые после его смерти. У Лусик, сидевшей рядом с ней на стуле, глаза сразу наполнились слезами. Это были старинные песни Эрзерума и Муша. Некоторые из них Сона знала и раньше. Только слова там были чуть-чуть другие и мелодия чуток не та. «Сона джан, еще одну песню припомнил, тетя моя пела, — услыхала

Сона голос старика.— Спеть?..» Жаль, не все она записала. Думала выбрать как-нибудь свободное время и все записать с начала до конца, да не успела: ушел Оган Симавонян, и песни его теперь тоже под землей покоятся. Особенно хорошо пел он «Раскрылись розы алые, а в поле раны старые...». Жаль, не записала она эту песню.

Он пел хрипловатым надтреснутым голосом и почему-то закрыв глаза — только эту песню так пел,— а однажды не удержался, заплакал. «С этой песней связана одна история,— сказал он.— Я слыхал ее от слепой девушки на эрзерумском базаре. Потом как-нибудь расскажу тебе...» Да так и не рассказал. «А в поле раны старые...» — строка эта каждый раз заставляла Сону содрогаться.

— Хороший был человек твой отец, Лусик.

— Не от мира сего. Ему бы только книги да деревья.

— Как раз он-то и был от мира сего.

После случая у хачкара Лусик вдруг потянулась к Соне, ей хотелось сидеть с ней рядом, разговаривать, молчать. Она делилась с Соной своими переживаниями, советовалась. А потом пришлось ей переехать с братом в Цахкашен. Сегодня впервые после переезда появилась в селе.

— Скучаю по селу,— сказала она.— Каждый день его во сне вижу. А раньше я и не знала, что такое сны.

— Не влюбилась случайно?

Девочка покраснела до ушей, потом вдруг сказала очень серьезно:

— Я в Ереване дальше учиться собираюсь. Только боюсь, Ереван у меня отца отнимет. Я только теперь, когда отца не стало, поняла, как он был мне дорог.

— Каким образом Ереван его у тебя отнимет, Лусик?

— Это село слилось для меня в одно с отцом. Мне иногда кажется, что он дерево, родник или хачкар и родился одновременно с этим селом. Он всегда говорил: лелейте эту землю, берегите ее, вы еще не знаете, для скольких миллионов людей она Родина. Он все подсчитывал и подсчитывал, сколько бы миллионов было сейчас в Армении, если б не резня, если б не по-

гибали в войну, если б не рассеивались по свету, а жили на одном месте и растили потомство. Наша земля — родина для них всех, говорил он. Каждая пядь ее — золото и кровь. Я теперь вдруг начинаю все его слова вспоминать. А в то время, бывало, в одно ухо влетит, в другое вылетит.

— Значит, не все вылетело, Лусик,— мягко улыбнулась Сона.— И мой отец осиротел, когда твоего не стало.

Во дворе незаметно появился Левон.

— А вы весело живете,— сказал он, указывая на магнитофон.— Как дела, барышня? — обратился к Лусик.

От пристального колючего взгляда Левона Лусик сделалось не по себе.

— Ну, мне пора,— поднялась она.

— Я бы кофе выпил,—мечтательно произнес Левон.

— Сейчас,— Сона быстро вошла в дом,— выпьем все вместе.

— Влюбилась? — спросил Левон Лусик, и спросил совсем не так, как Сона.

В его вопросе был неприятный оттенок. А может, это только показалось шестнадцатилетней девушке? Она встала и быстро вошла в дом — к Соне.

— Ого! — потянулся Левон в кресле.— Барышня обиделась.

Во дворе своего дома лежал на тахте Варужан и, пригретый солнышком, читал книгу.

— Привет, принц!

Парень подскочил:

— Лусик?

— Не Лусик, а фея.

Было воскресенье, и Лусик сменила коричневое школьное платье на легкое багряное. Прическа у нее была вполне взрослая, а на руках маникюр. Ее фигурка полыхала огнем в этом платье. Щеки разрумянились, а на губах блуждала непостижимая улыбка. Паренек был околдован ею и не знал, что сказать, что сделать.

— Садись, Лусик.

Но она не села.

— Давай, принц, назначим друг другу свидание,— сказала она лукаво,— в кузнице.

— Но ты ведь уже пришла,— возразил Варужан бесхитростно.

— А я уйду.

«Нет-нет,— встревожился Варужан,— прекрасно, что Лусик пришла, мир просветлел и воздух зазвенел новыми переливами звуков».

— Нет, Лусик, ты меня не поняла.

— Ты что, не хочешь назначить мне свидание?..

Варужан был в растерянности — он смотрел на девушку наивным беспомощным взглядом.

— Тупица,— сказала она.— Сейчас пойдешь к водопаду, а уж оттуда подымешься к кузнице. Вроде бы мы сейчас друг друга не видали. А я приду туда другой дорогой. Теперь-то хоть дошло?..

— А ты не обманешь? — усомнился Варужан.

Девушка расхохоталась — это был смех прародительницы Евы.

— Пошли?

— Я... я сейчас... только туфли надену.

— Я пошла, принц.

Вокруг кузницы никого не было. Варужан беспокойно огляделся, потом вошел в кузницу. Там было стыло и пусто. Он почти бежал от водопада — боялся опоздать... Варужан вглядывался в темноту и не различал предметов — казалось, все заволок темно-синий туман. Вырвался на воздух — словно сбежал от тумана. Три ореховых дерева давно стояли зеленые и тосковали по человеку — Варужан их не заметил. Лусик все не было. Виднелись дома, покинутые и пока еще не покинутые; склон горы пестрел цветами; шмели и птицы наполняли воздух гулом и звоном.

С неба свисало горячее ослепительное солнце, и Варужану казалось, что оно над ним насмехается. Неужели обманула?.. Солнце столько всего перевидало на своем веку, и юноша взглянул на него враждебно. Обошел кузницу вокруг. Все то же: цветы, камни, горы. И никакого багряного пятна. Вон Одинокая часовня. Саак Камсарян говорит, что, по легенде, часовню построил вардапет — тот самый, что похоронен на сельском кладбище под знаменитым хачкаром. Варда-

пет был безнадежно влюблен в княжескую дочь, а ее выдали за другого. И в день ее свадьбы вардапет построил часовню. За одну ночь! Рано утром, когда пир в княжеском замке шел горой, отчаянно зазвонили колокола. Вардапета нашли повешенным — на колокольной веревке. Его бездыханное тело еще долго раскачивалось, а язык колокола касался металла, наполняя ущелье смертельным ужасом.

Варужан и сам не понял, отчего легенда воскресла в нем сейчас в таких подробностях. Нервы вдруг расслабились, и он в задумчивости растянулся под орешиной.

— Ты уже здесь? Ну что ж, девушка и должна опаздывать. Так было, так будет.

Варужан очнулся от дурмана. Белый свет в его глазах стал багряным.

— Пришла? А я уж думал...

— Думал, что не приду, обманула? Ты и должен был так думать. Только так.

Села возле него:

— Поцелуй мне руку, принц.

Варужан машинально склонился, поцеловал ей пальцы — они показались ему очень хрупкими. Ему не хотелось убирать своих губ с этих пальцев, его охватила дрожь, и на какое-то мгновение дрожь эта передалась девушке. Что это было — электрический ток? Волнение крови?

Лусик вскочила и посмотрела на Варужана почти обиженно. Некое шестое чувство ей подсказало: опасная игра, фея... Но пробудившаяся в ней женщина упорствовала — требовала первой победы.

— Отнеси меня, принц, на руках в кузницу...

Паренек с осторожностью и страхом поднял ее и вдруг почувствовал себя сильным — а она ведь легонькая, почти невесомая, его одноклассница Лусик Симавонян, дочка дяди Огана, сестра Врама.

В полумгле кузницы он тихо опустил девушку на землю.

— А где огонь, Варужан? Я хочу, чтобы горел огонь.

...Немного погодя в холодном, забытом всеми горне потрескивало оранжевое пламя, языческие языки этого пламени пытались вырваться наружу, а они, две очарованные души, молча сидели рядом.

46

Телефонный звонок прервал размышления Арама Вардуни. Звонила из Еревана жена, Анаит. «Когда ты приедешь?» — «Это вам надо сюда собираться. Сейчас как раз каникулы начинаются. Забирай детей и приезжай».— «В гостиницу?» — «В этом месяце здание, наверно, достроят. Квартира наша на третьем этаже».— «Приедешь — подумаем. Кури поменьше».

Он опустил трубку, взглянул на часы — семь минут первого.

Сегодня был тяжелый день. Утром бюро райкома, потом ездил в Гегарот — одно из покинутых сел, расположено еще выше, чем Лернасар, на самой вершине горы. Таких сел — пять... На письменном столе лежала карта района, разные списки, доклады. Население — по данным двадцатилетней давности — приближалось к тридцати тысячам. Сейчас в районе живет двенадцать тысяч семьсот двадцать человек. За последний год родилось восемьдесят четыре ребенка, умер сто семьдесят один человек. Стариков много. Раньше тут было полным-полно ореховых деревьев, пшатовых кустов. Деревья еще не все перевелись, пшата почти нет. Одно село даже так и называется — Пшатаван. Там, разумеется, тоже никакого пшата.

В голове Арама Вардуни рождались планы тревожно и быстро, как в воспаленном мозгу больного. В первый момент они казались удачными и легко осуществимыми и... тут же отметались другими, не менее удачными и легко осуществимыми.

Сос Сафарян показал ему сегодня письмо Саргиса Мнеяна. Вардуни поежился, прочитав телеграмму из Новосибирска: могила номер четыре тысячи восемьсот двадцать восемь. И о чем бы он сегодня ни думал, безликий Саргис Мнеян подходил и садился напротив — лицом к лицу. «Что вы сделали с моим селом? Верните мне село!..»

В Гегароте, по пустынным улицам которого он сегодня бродил, встретилась ему одна старуха. Сидя на камне у порога дома, она напевала какую-то песню. Не заметила Вардуни — ни как он подошел, ни как отошел. Может, слепая? В каждом из покинутых селений оставалось еще по пять-шесть дворов. В основном старики. Ему вспомнились слова Камсаряна: «До конца своих дней человек должен быть предан тому роднику, из которого впервые напился». Конечно, учитель, но вы не находите, что селу еще и водопровод нужен? Зеленая идиллия сельского пейзажа обязательно должна дополняться городскими удобствами. Не чересчур ли мы с этим опоздали? Где еда — иди туда... И привычные слова родного языка могут порой звучать отвратительно. О еде тут, понятное дело, говорится в переносном смысле: где удобно и легко, где

жить можно зажиточней, туда и отправляйся. Арам Вардуни не знал еще мрачного предания о том, как один выстрел заставил село опустеть. Он многого еще не знал.

На столе у него лежали старые и новые книги. Он листал их, читал, размышлял, на лбу его залегли морщины, карандаш легонько подчеркивал нужные строки. «Наше сердце обливается кровью,— это XIX век, Налбандян,— когда мы видим, что армянский крестьянин покидает горы и спускается вниз, в долину». Как еще Камсарян не привел эти строки? Стало быть, учитель, это застарелая боль. «Но вы-то,— нашел бы Камсарян тут же возражение,— сегодняшние хозяева, должны были знать, что болезнь старая, и найти средство для лечения. Разве его нет?» Учитель распалился бы, перешел бы на крик и, может, был бы прав. Мы эту болезнь пустили на самотек, не разобрались, какая внутри кость повреждена. Разве экономисты учитывают когда-нибудь в своих планах то, что народом пережито, разве учитывают аномалии его судьбы и характера? Наш народ в каждом своем поколении мечтал о лучших днях, тянулся к свету. И разве не естественно, что, дождавшись этих дней, он утратил терпение: вынь да положь все сегодня, сейчас! Тянется к свету, как подсолнух к солнцу. В нем пробудились при этом — да и как могли не пробудиться? — темные инстинкты. Это ведь тоже нужно учитывать. У нас есть фотография народа — маленькая, четкая, неестественная, как на паспорт. А нужна не фотография —нужен рентгеновский снимок!

Пепельница доверху наполнилась окурками, с потолка гостиничного номера свесилось настоящее живое облако, и Вардуни снова услышал песню старухи из Гегарота. Только вот ни одного слова не ухватила память. Что сейчас делает старая женщина? Хоть кто-нибудь еще открывает дверь этого дома? Или сыновья устроились в городе и у каждого на стене, в почетном углу, большой портрет матери? Может, под эту старинную песню она своих ребятишек баюкала или масло пахтала. Кто знает...

«Что, город у села только берет, ничего не давая взамен?» — «У нашего только брал»,— холодно отрезал Камсарян. «Вы человек широких взглядов, педагог и не имеете права смотреть с полуразрушенной колоколь-

ни своего села».— «Нужно уметь смотреть глазами опустевшей земли. Если даже один квадратный метр опустеет. Что, у нас земли много? Да даже если бы много было!»

Ему вдруг захотелось прямо сейчас, среди ночи, позвонить Камсаряну, поговорить с ним, поспорить. В Лернасаре он еще не был, все оттягивал поездку. Боялся, может быть, столкнуться с этим селом лицом к лицу?.. А чего ему бояться?

Арам Вардуни родился и вырос в Ереване, и родители его оттуда же. Сумеет ли он полюбить эту трудную землю, жить среди этой тишины, здешнего чистого воздуха? Нет, нужно немедленно, прямо завтра ехать в Лернасар.

«Говорите, стирается грань между городом и селом? Как, если не секрет?.. Может быть, выстроить в селе трехэтажные общежития, а стежки в лесу заасфальтировать? Так можно не грань стереть, а само село. Но оно еще необходимо, ой как необходимо. И не только для того, чтобы каждое утро поить город молоком, но и для многого другого».

Что на это ответишь? Он погасил свет.

47

— Ну, поехали в Лернасар,— сказал Антонян и, заметив недовольное выражение на лице водителя, строго сказал: — И чтоб не фыркал. Важные гости, из Ленинграда. Ясно?..

Овик удивленно взглянул на Орловых — отца и сына. Что чужаки потеряли в этом пустом селе? Едут и едут. Заметил, что и лейтенант помрачнел. Выйдя в тот день из райкома, он сказал Овику: «Лернасар для меня теперь — ноль, стер я его со своей карты».

— Трудная дорога, — сказал Антонян, — спуски, подъемы. Сядьте получше.

— Откуда тут столько камней? — удивился Геворг Орлов.

— Чего-чего, а этого добра хватает. По камням мы миллионеры,— ответил Овик.

В ущелье звенела весна, и камни вроде бы ожили, обрели дыхание, в речке вода сделалась светлее, прозрачнее, цветущий миндаль напоминал костры, горящие голубым пламенем.

На повороте они увидели грузовик, ехавший им навстречу. Кузов был наполнен разным скарбом. В кабине, рядом с шофером, сидели двое пожилых людей — видно, муж с женой. А в кузове притулились среди вещей двое мальчишек.

Грузовик остановился, отъехал чуть-чуть назад, давая «виллису» дорогу. Но и «виллис» остановился. Гости вышли.

— Изумительно, — сказал Геворг Орлов. — Давайте полюбуемся.

— Куда вы? Куда едете? — спросил Антонян пассажиров грузовика.

— Лернасарцы,— ответил за них Овик.— Я старика знаю. Это дед Ерем. А ты что, его не помнишь?

Антонян вспомнил — ну конечно же это Ерем Сргрян из «гвардии» учителя. А стоял-то как! Прямо как хачкар. Крепкий, видать, старикан. Проживет еще лет двадцать, а то и все тридцать.

— Мы в Октемберян едем,— подошел шофер отчитаться.— Путевка в порядке. Семью свою перевожу.

— Понятно,— сказал Антонян. — Люди в селе остались?

— Да. Учитель Камсарян.

— Ох уж этот учитель! — Овику хотелось подлизаться к лейтенанту.

— Чтоб об учителе никто не смел дурного слова сказать! — сердито вмешался дед Ерем.— А кто это с тобой, лейтенант?

— Русские люди, отец и сын. Отец дружил с Геворгом, сыном вашей Асанет. Вместе под Киевом сражались. Приехал на село друга взглянуть. И сына в его честь Геворгом назвал.

— А...— вздохнул старик.

— На что тут глядеть-то? — скривился Овик.— Как развалины Ани [1].

— Да брось ты. Садись, садись, поехали.

— Поехали,— сказал Антонян отцу и сыну Орловым, с непонятной грустью глядя вслед отъезжающему грузовику.— Езжай, Овик. И наша жизнь не жизнь.

Антонян был в недоумении — почему секретарь райкома именно его послал с гостями? Проверяет? Зачем он, Антонян, отправился в тот день — чтоб он был про-

---

[1] Ани — древняя столица Армении.

клят — на похороны? Секретарь с ним вежливо разговаривал, но в лицо ни разу не взглянул. «Вы приняли блестящее решение, товарищ лейтенант,— сказал он.— И часто вы принимаете подобные решения?» — «Я думал, что учителя лучше убрать с места происшествия».— «В этом вы, может быть, и правы. Но как же арест, две ночи под замком?..» — «Я думал, если учитель в село вернется, родные покойного черт-те что натворить могут. Вы знаете, кто его сын?..» Зачем он это-то ляпнул? «Знаю, мне сказали, кто его сын.— Потом, в первый раз прямо взглянув в глаза лейтенанту, спросил: — Вы участвовали в похоронах, потому что дружили с покойным, с его сыном? Или, так сказать, официально сопровождали процессию?..» Что было на это ответить? А Вардуни продолжал: «Я надеюсь, вы попросите у учителя прощения». Но Антонян с того дня учителя не видел. «Да, кстати,— сказал в конце разговора секретарь райкома,— вы не нашли тех типов, которые избили сына Миграна Восканяна?..» А на это что ответишь? «Но ведь, товарищ Вардуни, нет вещественных доказательств. У нас в руках лишь две пустые бутылки».— «Ну ты смотри, какие растяпы — забыли паспорта оставить возле хачкара»,— Вардуни невесело засмеялся. Нет, Антонян, не быть тебе начальником милиции. Если в заместителях оставят, и то скажи спасибо.

— Эх, Овик, горек наш хлеб.

— Поехали, товарищ лейтенант.

Возле одного из нижних домов увидали Размика Саакяна — третий дом был его.

— Здравствуй, лейтенант,— глаза его блестели. — Нас забрать приехал?..

— Гостей привез,— как можно мягче ответил Антонян.— А лишнего не болтай. Это друг сына Асанет. Из России.

Размик Саакян машинально поднес руку к небритому подбородку, потом подошел, представился гостям.

— Добро пожаловать. Я Геворга помню. Он рисовал хорошо.

— Да, да,— обрадовался Михаил Орлов.— И меня однажды нарисовал, очень похоже. Жалко, рисунок потерялся.

— А теперь вы куда? — перешел на армянский Размик Саакян.— Обедать будем у меня. Учителя кликнуть?

— Ты знаешь дом Геворга?

— Да что там осталось от дома-то? Знаю.

— Осталось не осталось, а они из-за этого две тысячи километров проехали.

— Давай сперва мы их к памятнику сводим.

— Верно говоришь.

Оттуда, где находился памятник, хорошо был виден дом Камсаряна — с яркой красной крышей, с оштукатуренными стенами. Странно выглядел тут этот живой дом — еще более подчеркивал покинутость села.

— Вот имя Геворга,— показал Антонян пальцем.— Смотрите, Геворг Испирян.

Отец с сыном подошли и молча встали перед памятником.

— Это все имена погибших?

— Пятьдесят семь парней,— сказал Размик Саакян.— И каких парней!

— Пятьдесят семь? Это сколько же народу из села ушло на фронт?..

— Много, очень много. До войны это было большое село.

— Не расходись,— по-армянски предупредил его Антонян.— О церкви расскажи.

— А что, они сами, что ли, не поймут? — обиделся Размик.

— Значит, на этом камне мое имя,— Геворг Орлов потрогал пальцами каменные буквы.— Красивые буквы.

...У дома Асанет долго не задерживались. Вид был угнетающий. Отец с сыном не проронили ни слова.

Дерево, выросшее в развалинах, печально покачивало зелеными ветвями, словно его специально посадили как надгробное. Надгробное дерево над мертвым очагом.

— У вас закурить не найдется? — спросил Михаил Орлов.

— Есть,— сказал Размик.— Эта стена несколько дней назад упала.

— Не надо курить, па,— попытался остановить отца Геворг, но взглянул в его замутненные глаза и замолчал.

Сели на камни, помолчали, покурили. Все курили. Даже юный Геворг Орлов.

На верху скалы виднелась Одинокая часовня, позолоченная ярким солнцем.

Михаил Орлов рассказал, как вскоре после гибели Геворга пришел на его имя пакет. Все знали, что они с Геворгом друзья, и пакет отдали ему. В нем было небольшое письмецо на армянском и пара белых теплых носков. Мать послала. Геворг много о ней рассказывал.

— Не машина вязала, мать вязала,— грустно произнес Михаил Орлов.— Интересно, на каком камне сидя?

— Камней много,— Размик Саакян попытался развеять грусть Орлова.— Необыкновенная женщина была. Зовет меня, помню, дает письма Геворга. Каждый раз заставляла их раз по десять перечитывать. Дома все распорола: одеяла, матрасы — вяжет день и ночь, вяжет. А в конце сама на жесткой тахте спала.

— Мать была,— подчеркнул Михаил Орлов слово «мать».— Когда она умерла?

— После войны. Года не прошло. Некому было за ней приглядеть... А стена эта на днях рухнула...

— Пошли,— сказал Михаил Орлов.

Геворг показал рукой в сторону Одинокой часовни.

— Сходим?

— Вы небось голодные,— сказал Размик Саакян.— Зайдем ко мне перекусим, а уж потом... Она там тысячу лет стоит, не уйдет.

— Лучше поднимемся,— сказал Михаил Орлов.— А поесть успеем, Размик Варданыч...

— Слыхал? — Размик подмигнул лейтенанту.— По батюшке меня величают...

Антонян только рукой махнул.

Размик Саакян направился к своему дому. Он давно собирался огородить участок металлической сеткой, чтоб его живность не разбегалась. Но все тянул, тянул и сегодня вдруг понял, отчего тянул. Знал, что не сегодня завтра приедет сын Ерема и заберет отсюда отца. Хорошо бы, конечно, чтоб не забирал, но это уж их дело. Короче, сегодня снялись с места, в Октемберян подались — в хороший, между прочим, город.

Сейчас можно измерить участок, а дня через два приняться за ограду. Границы он, конечно, чуть-чуть

подправит... за счет земли Ерема. Кому какое дело? Все равно земля бесхозная. Ему еще должны за это спасибо сказать. Он блаженно погладил свою щетину и самодовольно улыбнулся: а ты парень не промах...

48

Грузовик выехал на широкое шоссе и теперь мчался вовсю.

— Спешишь,— сердито одернул водителя отец.— Успеется, не торопись.

— Не переживай, отец. Чего нам куковать в пустом селе?

— Если бы Сирак тогда не уехал, не начали бы все бежать. Чтоб он ногу сломал,— и перекрестился.— Прости меня, господи.

Сирака давно похоронили. Овсеп успел уже надгробием увенчать его могилу. И как он умудрился так быстро? А камень высокий-высокий — выше хачкара вардапета. На камне выбито: «Незабвенному отцу от любящего сына Овсепа». И даже портрет Сирака выбит на граните. Когда все это успели сделать? «И ограду поставлю. Бронзовую,— сказал Овсеп.— Разве ж я позволю, чтоб могилу отца топтали?»

— Что, наше село одно такое? — сын смотрел хмуро и сосредоточенно на асфальт, убегающий из-под колес машины.— Столько горных сел как водой смыло. В долину народ переселился. Ничего, приживешься, пообвыкнешь. Чем мои дети хуже других? А школы нормальной нет. Один класс, один учитель.

— Два учителя,— поправил его отец.

— Пусть будет два.

— Эх, дед,— встряла и мать.— Снявши голову, по волосам не плачут. Как все, так и мы. Видно, у нас на роду написано.

Сын благодарно взглянул на нее.

— Скажи ему, мать, скажи. Что уж у меня совсем совести нет, чтоб я мать с отцом у черта на рогах оставил, где волки воют... Если б село осталось, так и мы бы остались.

— А село только с сельчанами — село. Если б ты не уехал, другой, третий, село бы и уцелело. Ведь тысячу лет стояло.

Показались огни города. Город был как огромная лампа, на свет которой слетались мотыльки, покидая горы, цветы, тишину.

Измученный, пропыленный грузовик остановился в конце концов перед одноэтажным домом. Женщина лет сорока пяти, стоявшая на пороге, бросилась к грузовику.

— Приехали,— сказал сын, выключая мотор.— Вот мы и дома.

«Нет уж, мой дом рухнул»,— вздохнул про себя Ерем Снгрян.

— Мама! — выпрыгнули из кузова Вараздат и Каро.— Мама!..

49

Арам Вардуни и Сос Сафарян засиделись в райкоме до глубокой ночи. Секретарь райкома внимательно прочитал письмо Камсаряна. «Дурацкий обычай мы завели,— подумал он,— переадресовывать письма другим. Человек-то знает и имя, и фамилию этого самого другого, но пишет ведь не ему, а тебе. Значит, ты и обязан читать».

Учитель обрисовал печальную картину. За последние десять лет исчезли с районной карты пять сел, находившихся друг с другом по соседству. Учитель приводил факты из средневековой истории, свидетельства различных путешественников, перечислил памятники — церкви, мосты, хачкары, старинные могилы, мельницу. («А почему, собственно, мы не причисляем кузницу и мельницу к памятникам? Это ведь памятники труду. Сколько народу кормила одна мельница? И почему она не охраняется?»)

Выходит, что на протяжении многих столетий в селе непрерывно (слово «непрерывно» написано с заглавных букв) продолжалась жизнь. Что касается Лернасара, село сменило много названий: Саратак, Караглух, Ванкадзор. Два года село было под турками и называлось по-турецки Чичаклу, то бишь цветочная поляна. Потом снова восстановили старое — Саратак, и только после войны его почему-то переименовали в Лернасар. Непонятно, чем их не устраивало название

Саратак? В Армении двенадцать Лернасаров. И вот в этом Саратаке — Караглухе — Ванкадзоре — Лернасаре есть удивительные памятники: развалины двух монастырей десятого — двенадцатого веков, часовня того же периода, асимметричные хачкары, выбитые в скале. («Подобные наскальные хачкары есть еще в Гегарде, другого места я не знаю»). Мельнице и кузнице примерно двести лет. Есть знаменитая чинара Вардана — ей не менее семисот лет. «Что послужило причиной опустения села: отсутствие дороги к долине и к городу или ошибки руководства? Видимо, и то, и другое, и еще сто причин. Но село даже в десять — двенадцать дворов можно было сделать специализированным хозяйством — скажем, ореховым. Знаете, почем орехи на рынке?..»

«Я — может быть, вам это не известно — по специальности агроном. Университет окончил позже, заочно. Так что хозяйство Лернасара знаю, как свой ревматизм. В свое время я предлагал, убеждал, спорил. Мне приводили один довод: нет дороги. Это, разумеется, причина, но ведь не причина же причин. Мне иногда кажется, что дорогу нарочно не построили, чтобы был повод ликвидировать село. Предложишь что-нибудь, а тебе в ответ: вот если бы была дорога... А пока суд да дело, село само собой начало разрушаться. Кому нужны были мои агрономические знания? Да никому. И я пошел в учителя, потому что их тоже становилось все меньше. Три года назад я ушел на пенсию...»

Учитель подсчитал: в селе растет тысяча двести двадцать ореховых деревьев. Из них триста — перед домами (частные), остальные никому не принадлежат (значит, принадлежат всем). Дальше следовали грустные строки: «Нам кажется, если ничьи, значит, общие. Но так ли это?.. «Частные» орешины живы-здоровы и приносят урожай. Даже те люди, что уехали из села более десяти лет назад, осенью приезжают урожай собирать. Орехи, надо сказать, отменные. Деревья даже оценены. Каждое — в тридцать рублей. Как мы дешево ценим природу... А «общие», то есть «ничьи», одичали, орехи с них осыпаются, гибнут... Ну разве нельзя было создать ореховое хозяйство: посадить новые деревья, за старыми ухаживать?

Раньше здесь были прекрасные резчики по камню. Об этом свидетельствуют памятники, наскальные хач-

кары. Почему прекратило свое существование это несравненное искусство?..

То и дело в село заглядывают любители природы и старины — у нас исключительная природа: речки, ручьи, водопады. Если бы построить хоть маленькую гостиницу, люди могли бы побыть тут подольше...

И опять вопрос упирается в дорогу. Неужели за двадцать лет нельзя было проложить десять километров асфальтированной дороги? Если бы в день по сантиметру асфальтировали, и то...

А почему бы не летать сюда вертолету? Хоть раз в неделю. Разве это такая уж фантастика?..»

«Я не противник города, не поймите меня превратно. В какой-то мере рост городов за счет сел — процесс естественный. Городу нужны люди, необходимы рабочие руки. Есть такие, которых я сам готов заставить переселиться в город — там они больше пригодятся. Но... не может ведь голова быть крупнее тела. Не может купол быть больше храма. Разве стены удержат такой купол? И сколько времени смогут они его удерживать?..

Мне жалко горы. И землю долин жалко. Разве много у нас земли?.. Я устал об этом кричать. Но вы тут человек новый, и я подумал: попытаюсь-ка еще...»

Арам Вардуни был поражен глубоким хозяйственным подходом учителя к делу. И этот человек уже столько лет пишет письма, обивает пороги. Но письма его передают нижестоящим, не читая, а потом они годами пылятся в ящиках. «Вот и я от одного такого письма отмахнулся».

В конце Саак Камсарян приводил список фамилий тех лернасарцев, что уехали из села, но готовы возвратиться. («Я привожу фамилии только тех людей, с кем лично говорил. Видимо, их гораздо больше»).

— Это обвинительный документ,— мрачно заключил Арам Вардуни.— И обвиняемые — мы.

Сос Сафарян не нашел подходящих слов ни для того, чтобы возразить, ни для того, чтобы согласиться.

На него произвели впечатление последние слова: «В Лернасаре и в других покинутых селах покоятся обломки нашей истории. Я имею в виду не только памятники. В этих местах тысячелетиями жил народ — обрабатывал землю, берег природу, сочинял песни, сказки, легенды. Такое-то слово только в нашем селе бытова-

ло — потеряем, забудем. Такое-то лекарственное растение применяли и знали, как нужно применять, только у нас — забудем...

Почему все это должно исчезнуть? Как расстаться с песнями, сказками, легендами? Нет села — ладно. Но как быть с историей? Прошлое народа — это не сельский дом. Тот закрыл на замок и гляди, как он рушится тебе под ноги. А уж если рухнет потолок истории, он рухнет нам на головы, и потомки нас не простят».

Арам Вардуни долго молчал, потом зажег сигарету и вдруг спросил:

— Орловы еще в селе?

— Да. Антонян говорит — там. Живут у учителя. Собираются восстанавливать дом Геворга Испиряна. Всем селом.

«Всем селом»... Это прозвучало невесело.

— Поедем послезавтра в Лернасар,— сказал Арам Вардуни.— Прошу тебя, сделай подробные хозяйственные подсчеты. Определи возможности покинутых сел. Прикинь хоть приблизительно... Я, по-видимому, поеду в Ереван с нашими предложениями. Возможно, придется созвать специальный пленум.

50

Завертелись мельничные жернова.

Орловы, старший и младший, Камсарян, Сона, Размик Саакян и даже Армен (он приехал накануне) от радости захлопали в ладоши. Они были на мельнице с раннего утра. Привели в порядок желоб, сменили вышедшие из строя лопасти, все почистили. И жернова пришли в движение. Молоть, само собой, было нечего, но грохота и скрежета хватало.

— Это дело надо обмыть,— Михаил Орлов улыбнулся.— А пшеница будет.

Не возражали — выпили.

— Вам не кажется все это немного смешным? — сказал Армен.— Мир движется вперед, а мы восстанавливаем мельницу.

— Мир? Да куда он, твой мир, движется? А, интеллектуал?

— Каждый год в свет выходят десятки романов о гибели человечества. А ты сделал всемирной проблемой

забытое богом село... Я как раз сейчас читаю один французский роман. Автор очень просто и буднично описывает взрыв ядерной бомбы. Во всей Франции чудом уцелело несколько человек.

— Несколько человек... А что делают эти спасшиеся?

Армена привел в замешательство бесхитростный вопрос отца.

— Принимаются плугом обрабатывать землю, разводят скот...

— Вот видишь, мельница, оказывается, может еще пригодиться. А твоему французу я бы в законном порядке запретил писать книги. Пусть становится генералом. Не бойся, мир не погибнет. Но каждую пядь земли мы должны лелеять... Я бы посоветовал тебе прочесть другую книгу. Автор русский. Живет, кажется, в Сибири. Михаил и Геворг наверняка его знают. Он с невероятной болью пишет о гибели маленького островка. Да, незаметный островок, а на нем двести лет жили люди, любили, детей рожали, землю обрабатывали... Какой писатель!.. А чем наше село не такой остров? Островочек в океане мирозданья...

— Наше село, наше село! Разве не оно пустилось наутек от одного выстрела?

— Это село — наше, что бы там ни было. Мое и твое... А тогда резня была, ужас.

— Ну а теперь-то — ни резни, ни ужаса, ни единого выстрела, а село твое опустело. Что ты на это скажешь?..

Что мог сказать Саак Камсарян? Он не нашел ответа, просто увидел внутренним взором полководца Андраника на вокзале в Карсе — стоял он перед пустыми вагонами и плакал. Отчаянный храбрец, которого не брала пуля, от которого в ужасе бежали турки, плакал от безнадежности, и армянские ребятишки, прижавшись к стене, смотрели во все глаза на него, чтобы на всю жизнь запомнить эту суровую картину, но петь, смирив слезы: «Бесстрашный герой Андраник...»

Слабость сильного длилась едва мгновение — он тоже, оказалось, не из железа. И он родился, чтобы быть отцом, сеятелем и поэтом. Но никто не представлял его лютого одиночества, его свинцового молчания, его бес-

сонных ночей... Нет, никто этого не видел, потому что народ своего полководца должен был знать сильным и несгибаемым. Однако настал момент, когда и он не выдержал: оглянулся и увидел, что из тысячной толпы осталось с ним всего-навсего два десятка человек. Как пронес эту боль сквозь всю свою жизнь Оган Симавонян? И как смог, спрашивается, жить после такого?

— Некоторые писатели не против, чтобы мир погиб — просто так, в порядке эксперимента. Потом можно будет писать поэмы о гибели мира. Да не рано ли они с этой мыслью смирились? Нет, мир не погибнет.

— Выпьем еще по стаканчику,— предложил Михаил Орлов.— Отец твой прав, Армен. Отец твой умный человек.

— А я, Михаил Егорыч, человек современный. Я не могу себя ощущать в семнадцатом веке.

— Современный, то есть принадлежащий времени. А какому? Этому месяцу? Этому году? Григор Нарекаци [1], живший за тысячу лет до нас, представляется тебе устаревшим и отсталым. Ты по сравнению с ним передовой, потому что летаешь на самолете и знаешь про атомную бомбу! Самолет не чудо, сынок. Чудо — ореховое дерево, пшатовый куст, абрикос, человек, который из мельчайшей клеточки превращается за девять месяцев в живое существо. Ты можешь с помощью новейших станков, с помощью вычислительных машин получить хоть один абрикос, хоть один орех? Пшат — вот чудо...

— Ты не прав, отец, ты ошибаешься.

— А куда ведет тебя твоя правда?.. Моя ошибка пытается сохранить землю... Слава богу, что не я один ошибаюсь...

А жернова все крутились.

— Пошли домой,— сказал Камсарян. — Я попросил Сону приготовить все к столу... А тебе, сынок, вот что скажу: ты живешь как пассажир, все время на колесах. Сойди на какой-нибудь станции, пусти корни, живи как дерево, разветвляйся...

— Я хочу посмотреть мир.

— Ветви твои его увидят. Но ветви живы лишь корнями. Не будет корней — ничего не увидишь, даже если весь свой век проколесишь.

---

[1] Нарекаци — великий армянский поэт X века.

— Ладно, отец,— засмеялся Армен,— стану деревом. Посоветуй каким: ореховым, абрикосовым?

— Только не фикусом,— вмешалась Сона.— Листва на нем роскошная, а плодов-то нет.

— Ладно, стану ореховым деревом. Цена моя — тридцать рублей. Трясите меня поосторожней.

— Зря шутишь, сынок. Кто-то из твоих дружков-поэтов написал: «Я откажусь от ценности страданий...»

Армен вспомнил кто:

— Способный поэт. Один из лучших.

— Не спорю,— вздохнул отец.— Но что за поэт без боли, без страданий? — И вспомнил народное: — «Дадена была боль горé — не выдержала гора, дадена была боль человеку — выдержал человек».

Армен снова попытался отшутиться:

— Я, например, от зубной боли свихнуться могу.

— Спор наш о серьезном, Армен.

И привел чью-то мысль: к боли равнодушны организмы примитивные — чем примитивнее, тем слабее реагируют на боль.

— А человек ведь самое сложное и чувствительное создание. Поэт же сложнее и чувствительнее других людей...

— Старое поколение победило,— сказал Михаил Орлов.

— Я был бы рад потерпеть поражение,— с грустью признался Камсарян.

...По дороге к дому Армен протянул отцу конверт:

— Какая-то женщина просила тебе передать. Зашла в редакцию, сказала, что из нашего села...— И улыбнулся не без лукавства: — Еще довольно хороша собой...

«Гаянэ!» — мгновенно осенило Камсаряна.

Ему захотелось тут же вскрыть конверт, но он взглянул на гостей и удержался — неудобно, уж лучше дома.

В конверте было двести рублей денег и письмо.

«Дорогой человек,— прочитал он.— Как хорошо, что я брала у тебя в долг. Есть повод написать. Знаю, что ты обо мне плохо думаешь. Но счастье уже одно то, что ты обо мне вообще думаешь, пусть даже плохо. Как бы ни думал, я заслужила — ведь удрала, как удирают из горящего дома. Побоялась сказать тебе о своем реше-

нии, потому что ты тут же бы его изменил — одним своим грустным взглядом. И не сказал бы ничего — просто бы посмотрел. Так ты смотришь на меня с фотокарточки, которая висит над моей кушеткой между карточками матери и Анушик...

Интересно, хоть раз еще я увижу тебя?

Соскучилась по нашему селу, по своему дому, который настоящим домом мне так и не стал. Соскучилась по Соне, пусть она скорее выходит замуж за кого хочет, ты ей не мешай... Знаю, что Оган помер. Бедный Оган. Знаю, что Врам с Мариам переселились в Цахкашен. Значит, остался ты почти совсем один. Как выносишь это? Ты выдержишь, ты сильный. Сердце у тебя огромное и ума палата. Ты — учитель. Но как всем-то учителями быть?

Не думай плохо об уехавших. Знаешь, я однажды во сне увидала, будто все, кто уехал, назад воротились. И будто бы я заведую роддомом. Ты — старый, седой, волосы длинные. А у Соны ребенок.

Не знала, как тебе письмо передать. И вдруг однажды прочла в газете статью Армена про заграницу, пошла в редакцию и узнала, где он работает.

Армена про тебя расспрашивать не стану, а то еще заплачу, чего доброго.

Вспоминай иногда Гаянэ».

Камсарян прочитал письмо, посуровел и, положив его в нагрудный карман, вышел во двор.

Сона накрыла стол прямо во дворе, но самой ее не было. Михаил Орлов и Армен сосредоточенно играли в шахматы.

— Сона с Геворгом в сад спустились,— сказал Армен.— Сейчас и Левон приедет.

Камсарян погрузился в глубокое кресло. Вспомнил: сегодня день рождения отца — тому исполнилось бы восемьдесят два года. Отец с сыном отправились на фронт вместе. Сын вернулся в сорок шестом — отца уже не было в живых. Войну отец закончил в сорок четвертом и тяжело раненный вернулся домой, чтобы всего год прожить под родимой крышей. Пять граммов свинца, застрявшие в ребре, тронулись к сердцу, и сердце не выдержало...

Значит, он сейчас старше ушедшего из жизни отца на целых семь лет...

Это любимое кресло отца, и никто в него не садил-

ся, даже когда не было отца дома. А еще вернее — это кресло деда.

Сам Саак Камсарян деда не видел. Говорят, он был искусным каменотесом, замыслившим восстановить в одиночку рухнувшую арку Одинокой часовни. И в отчаянии признался себе, что это ему не под силу. Потому и передал туфу крик своего честного отчаяния: «Я понял, что слаба моя вера, а умения — ничтожная капля».

Деду было в то время лет двадцать-двадцать пять. Это возраст безудержной самовлюбленности и веры в собственное могущество. Как же дед сумел взрастить в себе благородное семя сомнения? Через кровь или каким-то другим чудом тревога деда свила себе гнездо в его сыне, который до конца своих дней был учителем. За две недели до смерти он превратил спальню в классную комнату: «А то ребята отстанут...»

Однажды школьники, как обычно, явились к нему домой и узнали, что урока не будет — никогда больше не будет урока Армена Камсаряна.

На кладбище они пришли с тетрадками: учитель задал сочинение, но не успел его проверить. Может, именно потому он, Саак Камсарян, и продолжил дело отца — стал в конце концов учителем.

Саак Камсарян сидел в глубоком фамильном кресле, предавшись раздумьям. А вдруг отец спросит: «Ну как случилось, Саак, что село опустело? Значит, я был плохим учителем, и ты плохой учитель. Ведь это наши с тобой питомцы бегут отсюда...»

...Левон вошел во двор торопливым шагом, словно его вызвали к тяжелобольному и нужно оказать срочную помощь.

— Добрый вечер. А Соны нет?

— В саду,— сообщил Армен.— Шах!.. Подай голос, мы ведь только тебя ждали. Стол, видишь, накрыт.

Левон посмотрел на шахматистов, на Саака Камсаряна и крикнул:

— Сона! Где ты?

— Идем! — раздалось в ответ из сада.

Сперва послышался их звонкий смех, а потом уже и сами они показались — Сона и молодой Орлов. В голубых глазах Геворга Левон прочел нескрываемое восхищение, и это ему не понравилось. Он поздоровался с Геворгом весьма прохладно.

— Садитесь,— пригласила Сона.— Усаживайтесь за стол.

— Видимо, партию придется отложить,— сказал Михаил Орлов.

Армен недовольно поднялся. Его положение на шахматной доске было безнадежным. Через пару ходов Михаил Орлов мог объявить мат, но кольнул Армена игривой снисходительностью:

— Сдаюсь.

— В саду не холодно? — спросил Левон.

— Прохладно,— лукаво улыбнулась Сона.— Геворг накинул мне на плечи свой пиджак.

Уселись за стол.

Саак Камсарян поднялся с отцовского кресла и сел слева от Соны. Налил бокал и поставил его перед креслом. Затем разлил вино в остальные бокалы. Встал, помолчал мгновение, будто подыскивая слова или, напротив, стараясь удержать их, и спокойно сказал:

— За моего отца, учителя Армена Камсаряна, сегодня ему исполнилось восемьдесят два года.

51

Зашли в кузницу, огляделись, пошутили и вдруг сделались серьезными.

— Как тут здорово, Армен,— сказала Наринэ.— Давай отныне назначать свидания в кузнице. Разожжем огонь...

— Кто-то уже разжигал,— Армен помешал золу.— Зола свежая. Значит, в селе еще есть влюбленные. Интересно, кто же?..

— Наринэ, я тебя впервые вижу в платье, а не в джинсах, ты так изменилась. — Ваге подмигнул Армену.

— Боялась, в селе меня не так поймут. Тем более зайдем в дом Армена. А там отец, сестра-монахиня...

— Нашла тему! — рассердился Армен.— В нашем селе можешь хоть стриптиз устраивать — смотреть некому.

— Если смотреть некому, зачем устраивать? — звонко рассмеялась девушка.

— А мы? — сказал Манук с притворным возмущением.

— Что — вы? Ваге кибернетик, его интересуют только машины. Ты археолог — ничто позже десятого века тебя не волнует. А Армен... Армен меня и без того видел...

Армен хмуро зажег сигарету и вдруг вышел из кузницы. «Что со мной происходит? — подумал он.— Они все мне кажутся чужими...» Уселся под орешиной и стал искать глазами крышу своего дома. Нет, отсюда не видно. Зачем ему понадобилось показывать им Лер-

насар? «Что-то во мне вверх дном перевернулось»,— подумал он.

Одинокая часовня на месте, ореховые деревья на месте, слышится шум водопада — стало быть, и водопад на месте.

Вынул из портфеля полотенце, расстелил на траве. Достал вино, закуску. Всего три стакана захватили, дурачье. Ну ладно, по очереди пить будем.

— Идите сюда! — крикнул им.

Наринэ, Ваге и Манук вышли из кузницы.

— Усаживайтесь,— пригласил грубовато.

— Ты в своем селе сразу сделался крестьянином,— подкусила его Наринэ.

— Зато он в городе делается горожанином,— заключил Ваге.— Армянский народ состоит из трех миллионов полукрестьян и трех миллионов полугорожан.

— Выпьем,— тряхнул головой Манук.— Твое село мне нравится, Армен.

— Села больше нет,— Армен мрачно опорожнил свой стакан.— Осталось всего несколько дворов.

— Мне закурить можно, Армен?

— Мы еще не женаты, так что запрещать тебе я не вправе.

— А потом, значит, будешь вправе? О, меня ожидает блестящая перспектива.

— Не надо выглядеть хуже, чем мы есть на самом деле. Да и на самом-то деле мы не слишком...

— Ну знаешь ли, если б не твое село, я бы обиделась,— Наринэ все же не закурила.— Лучше подышать свежим воздухом — давно не дышала.

— Из каждых десяти человек семеро живут в городе,— сообщил Ваге.

— Это хорошо или плохо?

Армен испытующе посмотрел на Ваге и вдруг понял: отец задал бы этот вопрос, отец бы вот так посмотрел.

— Выбора нет,— невозмутимо ответил Ваге.— В двухтысячном году в селе, видимо, останется один из десяти.

— Если... если, конечно, человечество до того времени не спохватится,— сказал Манук.

Он разглядывал Одинокую часовню:

— Какого это века?

— Одиннадцатого,— ответил Армен.— Прадед мой пытался восстановить арку, не получилось.

— Да она еще лет триста выдержит.

— Если геологи не помогут ей... рухнуть. В этих местах ведутся взрывные работы.

— Нужно запретить.

— Да, говорят, в горе нашли золото.

— Золото — она, часовня.

— Часовню можно разобрать, перенести и поставить в более надежном месте,— сказал Ваге.— Это несложно. А вот золото в земле оставлять нельзя. Место золота в государственном банке.

Армену вдруг показалось: да, так оно и будет с часовней! Он представил гору без нее, и у него запершило в горле. Ореховые деревья нельзя разобрать и собрать — они останутся...

Разлил еще раз вино по стаканам.

— Ребята, давайте представим, что сейчас две тысячи двадцатый год, и мы — не мы, а наши внуки. Мой внук, значит, привез ваших внуков в село деда...

— Наш внук,— поправила его Наринэ.

— Во всех случаях ты старушка-бабушка,— засмеялся Ваге и добавил: — Между прочим, у наших счетных машин тоже уже есть бабушка. Третье поколение создаем. Как-нибудь я вас проведу к себе в институт, покажу. Они рядом стоят в нашем музее: бабушка, мать и дочь.

— А скучают друг по другу бабушка с внучкой?

— Сантименты поэта. Да и то не двадцатого века. Пощажу тебя, воздержусь от ответа.

Армен подыскивал фразу поостроумнее, но его опередил Манук:

— Как бы там ни было, Ваге, но и сегодня ребятишки видят во сне лошадь, а не вычислительную машину. Ребятишки двадцатого века!

— Мои дети не будут видеть во сне лошадей.

— Бедные дети...

— Итак, мы — наши внуки,— вернулась к игре Наринэ.— Как тебя зовут, Армен?

— Опять-таки Армен, Армен Саакович Камсарян. Меня назвали в честь деда, и я, разумеется, своего сына Сааком назову, а он, наверно, мое имя даст своему сыну.

— Ну а мой — сомневаюсь. Меня будут величать, скажем, Рудольфом.

— Думаю, что моя дочка даст все-таки своей мое имя... Значит, из нашей семьи в село приедут двое...

— Увидеть бы, что к этому времени от села останется,— вздохнул Армен почти со стоном.

— Кузница останется,— сказал Ваге.— Ее превратят в ресторан. Если найдут золото, тут построят поселок. Ну а кузница — экзотика. Вполне подходит для ресторана.

— И официанты будут входить с молотами в руках. Ах, тебе наш шашлык не понравился? И трах молотом по башке! А книга жалоб будет храниться в горниле. Если ты мужчина, сунь руку, достань.

— Часовню, значит, перенесут вниз. На ее месте построят гостиницу...

Над входом выбьют на мраморе: «Добро пожаловать. Мест нет».

Посмеялись. Потом стали серьезными.

— Что за дерево, Армен, на вершине горы?

— Орех.

— Под ним выстроят бар. Шик-модерн!

— Как ты туда забираться будешь?

— По канатной дороге.

— Прекрасно! — зааплодировала Наринэ.

— Что? — хмуро прервал ее Армен.— Что прекрасно?

— Ну ладно, пешком поднимемся,— сникла Наринэ.

Что происходит с Арменом? Откуда ей было знать, что творится в душе Армена, откуда было знать о спорах с отцом, а еще больше с самим собой?

— Вдруг внук твой будет еще более исконным-посконным? — добавила она.

— Да ладно вам,— примирительно сказал Манук.— Реальнее всего такая перспектива: не сегодня завтра отыщут золото, лет за десять с ним расправятся, а потом хоть трава не расти. Так что, когда лет через сорок придут сюда наши внуки, они увидят новые развалины: брошенный рабочий поселок, изрытый, изуродованный горный склон.

— Ты пессимист, Манук,— заметила Наринэ.— Я думаю, что в этих горах золота очень много — на сто лет хватит.

— Да, конечно, из-за нескольких граммов гору взрывать не станут,— согласился Ваге.

— Утешил! — бросил со злостью Армен.

— Я тебя не понимаю,— произнес Ваге очень серьезно.— Дома эти либо разрушат, либо они сами рухнут, здесь построят гостиницы, рестораны, проведут шоссе, будет работать завод по обработке золота. Разве плохо? Плюс — здешняя природа. Получится маленький швейцарский городок. А?

— Не нужна мне твоя Швейцария.

— Ты рассуждаешь в духе своего деда.

— А мой дед, между прочим, был учителем. Знал русский, французский, об армянском я уже не говорю. И при этом жил в селе.

— И ты живи,— съязвил Ваге,— хоть и не знаешь французского.

— Мой дед пятьдесят лет назад переводил Бодлера. Просто так, для себя. Однажды я эти переводы нашел среди бумаг... А ты откуда родом, Ваге?

— Предки из Лори. А я в Ереване родился. Беспартийный, не женат, судимостей не имею.

— Пока не имеешь,— вставил с полной серьезностью Манук.— Но есть еще Страшный суд!

— Ого! — удивился Ваге.— Куда я попал! Ну, поживем — увидим, кто из нас прав.

— Отец говорит, что в споре между добром и истиной он всегда на стороне добра. Истина, говорит он, не всегда добрая, но добро всегда истинно.

— А когда добро побеждало? — возразил Ваге жестко.— Оно только в книгах побеждает. В слабых, кстати, книгах. Победа за истиной! Выпьем!

— Выпьем,— отозвалась Наринэ.— Наши внуки будут умнее нас.

— Кто сказал? Разве мы умнее своих дедов?

— Да, ты, видно, не в деда. Он французский знал.

Засмеялись.

Автор утверждает, что именно в это мгновение возле одинокой орешины раздался голос Огана Горлана: «Ребята, чем вы заняты? Ребята, что вы делаете?»

Значит, с улицы Абовяна дошагал он до самого Лернасара.

Конечно же, и тут его голос никем не был услышан, хотя здесь нет многотысячной толпы, а царит прозрачная деревенская тишина, по которой ой как давно уже тоскует мир.

— О, вы отлично поработали,— заметил Арам Вардуни.

— Едва успели восстановить одну стену,— возразил Геворг Орлов.— Будущим летом я на месяц сюда приеду. Геворг Испирян погиб, а я ношу его имя, значит, хоть дом его восстановить обязан.

— Конечно,— одобрил Вардуни.— Это ваш дом.

Камсарян с дочерью провожали Орловых. Левон должен был довезти их до Еревана. У дома Асанет столкнулись с Вардуни и Сафаряном.

— Я им сказал, что село перестраивается,— перешел Камсарян на армянский.— Сочинил, что разрабатывается план перестройки; когда все будет закончено, сельчане сюда вернутся...

— Об этом мы поговорим еще. Вы провожайте гостей, а мы тут побродим...

— Папа, мы с Левоном...

— Левон мне уже сообщил, Сона. Правильно решили... Знаешь, что мне в тот день сказал Вардуни? Говорит: бог — величайший архитектор, потому что спроектировал человека. И, наверно, недаром он сердце вложил в грудную клетку, а мозг в голову. Подальше друг от друга. Значит, сердцем нужно чувствовать, а разумом решать...

— Папа...

— А нельзя, спрашиваю, исправить ошибку бога — приблизить сердце к разуму, чтобы решение их было единым, но продиктованным все же в первую очередь сердцем?.. Я тебя понимаю, дочка...

— Спасибо, папа...— Сона заплакала, уткнувшись лицом в плечо отца.

А несколько дней спустя, ночью, Саак Камсарян зажжет свет — и это будет единственный ночной огонек в селе — и напишет в школьной тетради: «Оган умер. Сын его Врам конечно же забрал жену и переселился в долину. Гаянэ исчезла, а почему — мне так и невдомек. Ерема и Сатеник сын увез в Октемберян, а с ними уехали внуки, Вараздат и Каро, самые ша-

ловливые и самые удивительные в школе мальчишки. Сону завтра увезет Левон, это должно было случиться... Они поедут путешествовать, а потом вернутся и будут жить в райцентре. Только сын Маран возвратился с женой и принялся отделывать дом. А дочка их, Аревик, наш «школьный звонок», вынуждена в сентябре оставить село, потому что школа, конечно, закроется. Уедут и ребятишки Размика Саакяна — станут жить с матерью в Цахкашене. Останется Размик, Маран — сколько она еще протянет? — и я... Останутся горы, им деваться некуда — городские потолки для них чересчур низки. Останутся кузнецы, имена на памятнике, все пятьдесят семь, мельница с жерновами, вращающимися впустую, и восстановленная стена дома Асанет... Каждой новой весной станут распускаться деревья, проливаться дожди и струиться вода родников. А для кого?..»

Сона высунулась из окна машины, оглянулась. Отец по-прежнему стоял на вершине скалы. Был он похож на дерево, окаменевшее дерево, которое является естественным продолжением горы. И еще был он похож на часовню, выстроенную из камня той же скалы. Ни одно землетрясение не смогло ее разрушить, разве что чуть-чуть колебало — вместе со скалой.

— Папа! — далеко долетел голос дочери, но отец не отозвался.

Не отозвалась и Немая гора.

И Соне на миг почудилось, что горы двинулись вслед за ней — Немая, Глухая, Печальная. Машина, вздымая пыль, мчалась к райцентру, а горы, казалось, не удаляются, а приближаются. Еще отчетливее проявились глубокие морщины вечности на них. А вдруг они встанут сейчас каменной стеной, преградят дорогу?

Ощущение, что горы бегут вслед за машиной, стало еще реальнее. Сона даже голоса их услышала:

— «Если бы ты в селе... кольцо забыла, вернулась бы, да?..»

«Если б туфли забыла...»

Грохот их голосов взрывался в голове Соны, и она зажала уши руками.

Когда машина уже спускалась в ущелье, Сона в последний раз различила силуэт отца, еще видневшийся на скале, подобно каменному крику Немой горы.

А может, отец — капитан тонущего судна: стоит в полный рост, когда корабль его идет ко дну? Или последний, самый последний житель земли?

— Что с тобой? — спросил Левон.— Уши болят? Хочешь, поедем помедленнее.

— Нет, гони быстрее! — почти крикнула Сона.— Быстрее!

Она перестала зажимать уши ладонями, опустила руки.

Стояла первозданная тишина. Может, чья-то незримая рука выключила все звуки мира?

Сона оглянулась.

Ни одна гора не двинулась вслед за ней.

— Что это за грохот? Неужели Немая в конце концов заговорила?..— Кого Сона спрашивала: Левона, село, весь белый свет? — Я слышала грохот, Левон. А ты?..

— Геологи производят тут взрывы,— ответил Левон.— Кажется, золото ищут... Ты что, не знала?..

И Камсарян тоже услыхал грохот.

Он стоял еще на выступе скалы, провожая глазами машину, которая увозила Сону. Машина ехала медленно и походила на большую черепаху. Потом черепаха все уменьшалась и, наконец, исчезла в облаке пыли. Когда облако развеялось, ее уже не было...

Камсарян знал, кажется, каждый миллиметр дороги. В этом месте она низвергается, круто обрывается вниз, так что отсюда больше не видна.

Грохот повторился.

Саак Камсарян посмотрел вверх — его горы, посмотрел вниз — его ущелье, огляделся вокруг — его село... Зелено и пустынно.

И вдруг на мосту показались тени.

Да, он не ошибся — кузнецы... Откуда они взялись? Шли, как всегда, втроем: Санасар, Гегам, Согомон. Дед, его сын и внук. И всем им было по двадцать лет. Кузнецы шли, подняв вверх молоты, как флаги. А вслед за ними — пятьдесят семь погибших солдат. В пропыленных гимнастерках, усталые. Камсарян пригляделся — и они все двадцатилетние.

Солдаты шли за кузнецами, и у каждого в руках не

знамя, а кусок черного туфа — из памятника! — с собственным именем.

Да, каждый нес свое имя.

Миновали мост, прошли мимо наскального хачкара.

Жалкая сельская улица казалась тусклой лентой безмолвия, и они давили тишину сапогами. Но шагов не было слышно. Куда они шли?..

Вместе с кузнецами было их шестьдесят человек. Шли они, не тревожа тишины — топкой, ирреальной...

Камсарян различил в их рядах Норайра Симоняна, который стал бы астрономом, если бы не... Вардана Мнояна, который мог с песней накосить за день два гектара травы... Геворга Испиряна, который, увы, не успел износить ни одной пары носков из той сотни, что связала мать... Отца своего, учителя Армена Камсаряна,— он тоже был в числе пятидесяти семи, хотя умер уже в селе...

Саак Камсарян всех до единого узнал. Лицо у каждого — знакомое, дорогое, и всем по двадцать лет. Даже отцу. Куда идут они?

Вот уже достигли склона Немой горы — скользят по воздуху, не касаясь колючего кустарника и камней. Немного погодя — и как это им удалось? — они уже были у одинокой орешины.

Остановились и все разом повернулись к селу.

Даже с такого расстояния Камсарян отчетливо увидел их лица с озабоченностью в глазах. Ему померещилось вдруг, что кузнецы и воины хотят покинуть Лернасар, потому что его предали жители... Сто двадцать глаз пронзало его, Саака Камсаряна. И во всех глазах был один вопрос, неумолимый и горький. Да, Камсарян правильно понял их взгляд — они уходят из села: кузнецы — забрав свои молоты, солдаты — унося свои имена.

— Куда вы? — крикнул Камсарян.— Стойте!

Его голос достиг их?.. Кузнецы и воины на мгновение застыли. Кузнецы опустили на землю молоты, воины поставили камень на камень, имя на имя, и памятник, целый и невредимый, в мгновение ока вырос опять на вершине Немой горы, возле одинокой орешины.

«Стойте!» — это было уже эхо: голос его, натолкнувшись на опаленный щит Немой горы, возвратился назад.

И Саак Камсарян сорвался с места, побежал. Он бежал задыхаясь к кузнецам и воинам, и ему чудилось,

что одинокая орешина машет ветвями, зовет, а из ее зеленого костра вдруг вырвались языки пламени.

Камсарян, усталый, взмокший, остановился, прислонясь к наскальному хачкару.

Видение рассеялось. В Лернасаре царило знойное безмолвие.

НЕСКОЛЬКО СТРОК ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Может, легенда об одинокой орешине и о старом мудреце, вещавшем истины, родилась не в Лернасаре? Видно, это отголосок австралийской легенды, вычитанной Соной в той же книге, где писалось о появлении бабочек.

А может, Сона и не читала нигде ничего подобного — к австралийским же аборигенам легенда, покочевав по свету, явилась откуда-то издалека.

Но и по нынешний день в Лернасаре, на самой макушке голой горы, живет одинокое странное дерево, которое в летний зной напоминает зеленый костер. Кажется, что безжалостный огонь, слизав на пути цветы и травы, добрался до вершины горы и вдруг замер, изменив свою окраску.

Высота горы (Немой — как ее окрестила Сона Камсарян) тысяча восемьсот тридцать пять метров. Но на самом дне ущелья из-под земли выбиваются корни, омываемые речной водой. Говорят, это корни одинокой орешины. Давным-давно некий скептик из Лернасара решил проверить, в самом ли деле это корни орешины. Он дотошно и терпеливо ковырял гору и шаг за шагом поднимался вверх. И только на высоте в тысячу метров признал свое поражение: корень, начинавшийся в ущелье, тянулся и тянулся ввысь, пробивая камни и опаленную красноватую землю. А на склоне не было больше ни деревца, ни кустика.

Даже ныне еще кое-где различимы следы лопаты скептика-лернасарца. В одном же месте, на высоте приблизительно восьмисот метров, довольно-таки глубокая яма. Нагнись — и увидишь крепкий, живой, полный соков корень, который тянется вверх.

Пусть этот феномен объяснят биологи, а в одной средневековой рукописи очевидец свидетельствует, что люди села Саратаг (одно из забытых названий Лернасара) любили собираться под огромной орешиной, ко-

торая росла на вершине горы. И в радостные дни собирались, и в горестные — сообщает старинный пергамент. Очевидец скуп в повествовании, но все-таки поражается: в тяжелые дни люди пели веселые, полные надежды песни, а в радостные — в напевах звучала тревога. По словам летописца, совесть их, наверно, была в бдении — они опасались стать рабами радости или горя. И того и другого боялись одинаково.

О старом же мудреце, вещавшем с орешины истины, в древней рукописи нет ни слова. Правда, летописец припоминает, что под орешиной была могила, увенчанная гладким продолговатым камнем без надписи.

Орешина высится и по сей день, а о безымянном надгробье никто не слыхивал — даже седовласые старцы и те не видали его и не слыхали о нем от дедов.

Ныне живая легенда об одинокой орешине принадлежит только ей, Соне Камсарян. Вернее, легенду эту, как жемчужину в раковине, получила она от отца и от бесконечной цепи своих безымянных предков, которые много столетий жили в этих суровых и дорогих сердцу горах.

А роман этот — с его обычными и необычными, печальными и радостными событиями, которые являются плодом воображения автора,— лишь попытка приоткрыть раковину и возвратить людскому сердцу и разуму жемчужину легенды.

Цепь не прервется на нас, и от каждого зависит, чтобы не закрылась раковина, а тайна живущей в ней жемчужины передавалась из поколения в поколение, из века в век.

1979—1980

РАССКАЗЫ

В ПУТИ

Шли всю ночь. Шагавший впереди был мал ростом и слегка сутул. На лице его единственно живыми казались синие глаза, остальное было сплошь серым от дорожной пыли, от забот и усталости. Тонкие, почти женские губы плотно сжаты, между бровями залегла, словно рубец, морщина. Ноги с трудом удерживали равновесие. Казалось, еще один шаг — и они откажутся повиноваться хозяину. Так казалось. Но человек все шел и шел, не разбирая дороги. Нужно было идти...

Тот, кто двигался следом, был худощав и высок. На ходу он тянул какую-то песню. Уже двадцать пятый километр все ту же песню. Неужели дорога не казалась ему от этого длиннее? Кто знает... Ведь песня всегда — это переложенное на звуки человеческое раздумье. А его песня, эта монотонная мелодия без слов, лучше всего выражала безнадежность пути, в который пустились они, полуголодные, не ведая, куда он их приведет.

Вдруг песня оборвалась. Это означало привал.

Шедший первым сел сразу же, не сделав больше ни полшага. Немного погодя рядом растянулся и Высокий. Вдалеке можно было различить какое-то темное пятно. То был третий.

— Устал, не выдержит,— сказал Синеглазый.

— Гм,— неопределенно хмыкнул Высокий. Отрезав третий ломоть хлеба потолще, он отложил его в сторону.

...Когда они сбились с пути и окончательно потеряли след своей геологической экспедиции, Высокий предложил объединить остатки съестных припасов и делить их поровну между всеми. Каждый выложил все, что имел, на траву. У третьего оказалось лишь несколько кусков сахару. Пряча взгляд, он сказал, что колбаса протухла и он ее выбросил, а хлеб давно уже кончился.

И вот, имея всего два с половиной килограмма хлеба, шестьсот граммов колбасы и восемьсот граммов са-

хару, начали они свой трудный путь по этому ужасному ущелью, у которого не было, казалось, ни конца, ни начала. Надо было снова найти товарищей. А для этого надо и выжить...

— Идем уже всю ночь, и сколько еще придется идти, не знаю,— проговорил Синеглазый, высказав то, о чем думали и двое других.

Подоспел, запыхавшись, третий и тут же повалился на землю.

— Сил нет больше,— протянул он, вялым движением беря предложенный Высоким кусок хлеба.— Спасибо...

Простая широкополая шляпа сидела глубоко на его голове, и нельзя было разглядеть ни глаз его, ни лба. В бледном молочном тумане, разлитом луной, виднелись одни только челюсти, они сжимались и разжимались с неприятным чавканьем. Казалось, он играет на сцене роль голодного человека. Играет впервые и поэтому слишком утрированно и неумело...

Они едва задремали, а Высокий уже поднялся на ноги.

— Осталось на каждого по куску хлеба,— спокойно сообщил он и пошел вперед.

И снова потянулась тоскливая дорога, будто начала разматываться нить огромного клубка, тонкая, серая и бесконечно длинная...

Чавкун опять брел в хвосте, даже не пытаясь подтянуться к товарищам. Ступал он тяжело, будто ноги налиты свинцом, понурив голову и глубоко упрятав руки в карманы. Как только Высокий и Синеглазый скрылись за холмом, руки его выскользнули из карманов. В одной из них был кусок хлеба, в другой — колбаса. В мгновенье ока челюсти его сжевали все до крошки. Потом появились еще два куска... Но в эту минуту голос Высокого прорезал ночную тишину:

— Э-эй! Где ты?

Руки поспешно нырнули в карманы, распрямившаяся было спина вновь согнулась, шляпа скользнула на квадрат лба.

— Иду, невмоготу мне,— протянул он.

Из-за скал появился Высокий.

— Держись за меня,— сказал он и, не дожидаясь, сам подхватил его под руку.

Пошли вперед, догнали Синеглазого.

— Ничего, держись,— промолвил тот, устремив свои ясные глаза на товарища.— Доберемся как-нибудь...

Чавкун шагал расслабленно и вяло, еле волоча ноги, временами тяжко вздыхал, жалуясь на сердце.

И так час, другой, третий...

— Привал,— проговорил Высокий.

Поделили последний хлеб.

Поели, вздремнули — и снова змеей извивается перед ними дорога. Высокий затянул свою песню.

Час, другой, третий...

А большака все нет, будто его и сроду не бывало. Ущелье, казалось, растворилось в молочном утреннем тумане — оторвалась длинная полоска неба и прикрыла его. Слились воедино очертания деревьев и скал, трав и цветов. В десяти — пятнадцати шагах ничего нельзя разглядеть.

Равнодушно и тупо голод сжимал их глотки мертвой хваткой.

Двое шагали в полном молчании. Казалось, они не видят в этом ничего из ряда вон выходящего, казалось, в эту минуту они способны думать обо всем, кроме хлеба. Но Чавкун поминутно вздыхал. Голод еще не вонзил в него свои когти, и он стонал:

— Ох, и чем это кончится? Не могу я больше...

Словно невзначай, встретились взгляды Синеглазого и Высокого и обратились на стонавшего. Спокойно высвободив правую руку, поддерживавшую Чавкуна, Высокий стал рыться в карманах. Наконец он выпростал руку, в ней был кусок хлеба с колбасой.

— Возьми,— протянул он Чавкуну,— ешь...

Это было сказано обыкновенным, даже несколько безразличным тоном.

Тот не заставил себя ждать, и тут же в тишине ущелья раздалось отвратительное чавканье. Он даже не заметил, как отвернулись в сторону Высокий и Синеглазый, с трудом преодолевая приступ голода, вспыхнувшего со страшной силой от слабого запаха еды. Это был их п о с л е д н и й кусок — Высокий, по привычке бывалого путешественника, припрятал его на самый крайний случай.

Наконец чавканье стихло, и шествие опять потянулось в своем гнетущем однообразии.

Час, другой, третий...

Солнце стало клониться к подножию старой горы, оно опускалось все ниже и ниже, а путь троих все тянулся вверх. И двое полуголодных людей, стиснув зубы, вели третьего, евшего в течение этого дня уже четыре раза.

Час, другой...

Опускался ночной мрак, он охватил не только окрестные холмы и скалы, но и душу Чавкуна. Голод и его вовлек в свой водоворот, который то втягивал его, то вышвыривал, непрерывно кружа.

Положение его было ужасным. Ведь так близко, в собственном кармане, оставались еще хлеб и колбаса. На минуту он подумал: что, если выложить их и поделить между всеми? Но как?.. Он боялся Высокого. И потом — что из такой малости перепало бы на его долю?

Чавкун выжидал удобной минуты. И честные дружеские руки, прилагавшие нечеловеческие усилия, чтобы поддержать его, казались ему железными тисками.

Они все шли и шли. Умолк Высокий. Не разжать ему было губ, ведь восьмой час уже как во рту не было ни крошки. А Синеглазый, как ни старался, не мог уже разогнуть совсем ссутулившуюся спину. Глаза выдавали его. Они поблекли, как цветы, сорванные небрежной рукой и оставленные без воды и солнца.

И вдруг снова вскинулась песня Высокого, а синеву глаз его товарища будто оросило благодатным дождем. Вдали показались огни большой дороги.

Лишь Чавкун глядел по-прежнему тупым, деревянным взглядом...

Наутро они были уже в экспедиции, а со следующим рассветом снова в дороге.

На этот раз Чавкун попал в другую группу.

Перед выходом Синеглазый и Высокий подошли к нему, попрощались.

— Знаешь,— проговорил Высокий,— жаль расставаться с товарищем трудных дней.

Это была самая длинная фраза, произнесенная им за последнее время.

А Синеглазый лишь улыбнулся Чавкуну своими добрыми глазами:

— Будь здоров...

Прозвучал сигнал, и группы тронулись. В трудный поход отправились разведчики недр и с ними те трое. Три человека, три сердца, три мира. И каждый из них снова пошел своим путем.

1957

ОТЧЕГО ЦВЕТЫ УМИРАЮТ РАНО

Рассказ этот о девушке, которая так и не узнала, что я ее люблю. Не удивляйтесь — сейчас расскажу вам, как я умер в тот знойный летний день, когда на улице нашей шелестели деревья...

...Вспоминаю последние дни своей жизни — они не походили ни на один из прожитых мною дней. Всем казалось, что я счастлив,— у меня были мать, братья, семья, малыш... Что еще нужно для счастья? Но, видимо, что-то нужно, потому что счастлив я не был. И вдруг жизнь мою наполнила она. С вами случалось такое — стоишь, разморенный летним зноем и собственными раздумьями, а какой-нибудь озорник вдруг окатит тебя от макушки до пят ледяной водой? Сперва подскочишь, пригрозишь озорнику, а потом вдруг почувствуешь, что и стоял-то ты на солнцепеке ради этого вот мгновения, может, всю свою жизнь его ждал... Она ворвалась в мою жизнь, удивительно неосторожная и не требующая ничего. Я уже не помню, была ли она красива. В глазах ее затаилась какая-то вопросительная печаль. Мне казалось, что глаза эти все время спрашивают: «Почему?» Но явилась она без спроса и обвила мои дни, подобно виноградной лозе, что поднимается по деревянным подпоркам. Взамен она ничего не потребовала. Ничего. Я так и не сумел заставить ее поверить в мою любовь. Наверно, тогда я и сам не верил в это, потому что ежеминутно напоминал себе: любить ее я не имею права. И, может, поэтому, когда она готова была пожертвовать жизнью ради меня, я смотрел на часы; она несла мне всю обнаженность своей юности, а я задергивал шторы и гасил свет. Я ни разу не вышел с ней на улицу, и никто никогда не узнал, что я все-таки был счастлив. Любовь наша походила на костер, который мы прикрывали ладонями, хотя пламя его было жарким и нетерпеливым...

Что-то затягивается начало.

Перед смертью я заболел. Возле меня круглые сутки находилась мать, братья, жена, грустная и побледневшая, хотя в последнее время мы уже не понимали друг друга. Не было только той, которую я больше всех ждал и любил. Она не могла прийти в мой дом. Братья знали, что я умру,— врач сказал. Они ему верили, возможно, даже ждали — печально и смиренно. Только мать не верила, но не потому, что не знала, что сказал врач...

Лучше расскажу о своем последнем дне. Я уже знал, что умру именно в этот день. Поэтому мне было смешно, когда врач пытался сделать мне укол, ощупывал живот, а потом выписал лекарство: «Принимать по два раза в день в течение недели». Я не винил его, этого человека со спокойными, теплыми руками. Просто он меня не понимал, да и ни один врач никогда не поймет, что люди умирают только тогда, когда устают. Один может устать в восемнадцать лет, другой — в семьдесят. Я устал. Но мне не было тоскливо. Прямо передо мной стоял мой книжный шкаф, а я не думал о том, что руки мои больше не коснутся этих книг. Знал, что чьи-нибудь руки да коснутся их, а книгам-то ведь все равно. Книги чем-то похожи на болтунов — они поверяют свои тайны каждому, значит, и после меня кому-нибудь откроются. С грустью я смотрел только на шелестящую за окном акацию и на небо, которое казалось далеким и равнодушным. Я хотел бы туда, под землю, унести с собой чуточку шелеста и полоску неба. И знал, что это невозможно.

— Схожу за сигаретами,— вдруг услышал я голос старшего, некурящего брата.

Он либо шел отправлять телеграмму нашей родне, либо просто не хотел видеть, как я умираю. Я понял его и попрощался с ним взглядом, потому что больше нам не суждено было видеться на этом свете. Он вышел. Я сказал жене, чтобы она вывела ребенка подышать свежим воздухом. «Хорошо»,— услышал я и догадался, что она и в этот, последний раз не поняла меня так же, как не понимала прежде, и не знает, что больше никогда не услышит моего голоса. Попытался и мать отослать, но она не ушла. Я очень огорчился и медленно закрыл глаза. Не помню, сколько прошло времени, только вдруг я услышал душераздирающий крик моей матери и понял, что уже умер. Из-

под полуприкрытых век мне было видно, как все вошли в комнату, как вывели мать, которая первая почувствовала мою смерть, хотя и была единственной, кто в нее не верил.

Потом все пошло своим чередом.

Два дня вокруг меня были люди, и я увидел многих своих знакомых, которых не встречал годы. Они плакали или же стояли, молчаливые, сумрачные, и уходили. Порой я уставал от голосов либо от молчания, хотел попросить, чтобы вокруг говорили или, наоборот, молчали, но во мне царил такой покой, что и глаз было не открыть. Я стал с удивлением смотреть на людей, многих из которых, казалось, хорошо знал. Они не догадывались, что я смотрю, и потому не притворялись. Я припоминал, что думал о них, когда был жив, и, честно говоря, иногда мне становилось стыдно за свое былое мнение. Но не это меня занимало больше всего — я искал ее, а она не приходила. Знал, что она не может прийти и молча встать у моего изголовья, как другие, ведь стоит ей войти — и сразу все всё узнают. Я очень по ней соскучился, очень ждал ее, хотел даже мать попросить, чтобы она позвала ее, но я очень устал и потому не мог открыть глаз. Зато впервые я мог спокойно думать о ней, сознавая, что никто не помешает ни телефонным звонком, ни взглядом, ни любовью, ни ненавистью. Я думал о ней даже тогда, когда меня несли на руках по моей улице, где я вырос, любил... Улица была залита солнечным светом, но мне не было жарко от солнца,— наоборот, хотелось, чтобы солнце стало еще больше и горячее. Я смотрел на свою улицу — трамваи, машины, люди остановились в какой-то печали, от которой душа моя устала. Я не хотел, чтобы люди печалились из-за меня, и потому совсем не огорчился, когда увидел под деревом юношу и девушку,— взявшись за руки, они с улыбкой смотрели в глаза друг другу. Сначала мне показалось, что они не заметили похоронной процессии, но потом девушка посмотрела прямо на меня и снова улыбнулась. И юноша тоже взглянул — добрыми глазами. И мне захотелось улыбнуться, даже помахать им рукой, но я так устал, и потом, если бы я поднял руку, цветы посыпались бы вниз. Я долго смотрел на свою улицу, на камни, по которым ходил, и мне было грустно. Я подумал, что улица опечалилась всего на одну минуту — мы

пройдем, и все будет прежним, машины и люди двинутся своей дорогой, так будет завтра, так будет всегда. Я знал, что и камни беспамятны, подобно людям, и камни забудут меня. Знал. Потом мы пришли на кладбище, и там я увидел ее и улыбнулся, вернее, улыбка все время была у меня на лице, потому что в последнюю минуту я думал о ней. Из-под прикрытых век я два дня видел, что никто не понимает этой улыбки — некоторые даже удивлены. А она на кладбище все поняла, я даже заметил, что она ответила мне улыбкой. Потом ее заслонили мои родные и близкие, и я вспомнил нашу последнюю ночь... Мы шагали сквозь тьму, только во тьме могли мы любить друг друга открыто и потому ненавидели не только электрические огни, но даже звезды, когда те светили слишком ярко. Мы шагали сквозь тьму, и она хотела, чтобы я сказал, что люблю ее больше всех на свете. Я молчал,— видимо, уже чувствовал, что устал не произносить этих слов, которые мне хотелось прокричать во все громкоговорители. Я устал от этой темноты, от огней, от всего, а она ждала. Потом, уже под землей, я очень пожалел, что не сказал ей тогда слов, которые принадлежали только ей. Но было поздно.

Пока я думал о нашей последней ночи, меня уже опускали. Среди людей, столпившихся у могилы, я в последний раз увидел ее. «Мне прийти?..— спрашивала она взглядом.— Мне прийти?..» — звучал раньше ее голос в телефонной трубке. В этот последний момент я почувствовал, что достаточно кивнуть головой — и она придет. Но я ответил: «Оставайся». Она и на этот раз поняла меня. Потом ее снова заслонили, и я услышал стук падающих камней и земли. А потом больше ничего уже не слышал — мне оставался только густой аромат цветов, который застыл в пространстве между мной и землей. Я уснул, думая о ней. Постарался запомнить день и число, но сумел вести календарный счет всего лишь в течение нескольких дней.

Так прошли дни, месяцы, наверно, даже годы. И я вспомнил слова, которые не сказал ей и миру, и потому зазвучала под землей моя запоздалая исповедь. Я начал жить этими невысказанными словами и вдруг подумал о том, как недолго длилась наша любовь, всего несколько — я даже не вспомнил, чего — месяцев? дней?..

И однажды я снова увидел небо: кладбище наше снесли, и на его месте теперь был сад — трава, цветы. Я стал цветком. С ликованием огляделся, радуясь тому, что теперь-то найду ее и отдам ей слова, которые принадлежали только ей... Но ее не было — вокруг меня росли другие цветы, я их не знал. Потом я вдруг понял, что она теперь тоже либо цветок, либо травинка, либо горсточка семян бог весть на каком поле земли... Я был готов обойти весь земной шар, чтобы разыскать ее, но ведь я был всего-навсего цветком и тут же умер, едва попытался вылезти из земли. Умер в последний раз. И в миг, когда я снова стал землей, лишь в этот миг я понял, отчего цветы умирают рано. Все цветы, наверно, когда-то были людьми; выйдя из земли, они ищут кого-то и, не найдя, тут же умирают — умирают в последний раз. И понял я — ничто на свете нельзя найти во второй раз.

Рассказ этот — для девушки, которую я так и не нашел. Поэтому отдаю его вам, люди,— ведь вы всегда теряете в жизни самое дорогое. Не теряйте же, люди!

1965

ДЛИННАЯ НОЧЬ И КОРОТКОЕ УТРО

1

> В первом классе мы выучили азбуку,— мы бы ее и потом выучили. Затем учительница арифметики велела нам вызубрить таблицу умножения, тогда как предстояли бесконечные расставания — с нашими близкими, с прожитыми нами годами... Нас учили древней и новой истории. Зачем?

Мы и в тот день могли бы не поздороваться. Могли бы взглянуть друг на друга или даже не взглянуть, могли бы разойтись, как разошлись несколько дней назад, как расходились уже многие годы... Но мы были в чужом городе, в чужой гостинице и поздоровались до того, как осознали это. Потом я поднялся по лестнице, а она ушла.

Когда-то я ее любил.

Потом потерял.

Мы были в том возрасте, когда влюбленные, живущие в одном городе, пишут друг другу письма, когда верят словам, сказанным шепотом в сумерках, и считают предательством забыть эти слова.

Она предала нашу любовь.

Вскоре я женился на другой. Я объясняю это горечью утраты, но, видимо, все было проще: в двадцать два — двадцать три года я не мог жить без поцелуев и без шепота о том, что меня любят... А она дважды была замужем, и я так и не понял, отчего она меня обманула. То, что она испытывала ко мне, очень походило на любовь, и я вправду ничего не понял.

Изредка я кое-что о ней слышал, несколько раз случайно встречал ее. А потом мы стали жить на одной улице, по соседству, и я ее видел каждый день. Все эти годы я хранил последние ее письма и свой дневник, который тогда пытался было сжечь, да огонь вдруг погас, и я почему-то передумал разжигать этот сентиментальный пожар.

Среди бумаг, в укромном месте, прятал я наши фотографии. Иногда доставал их и разглядывал. Странным, далеким и нереальным казалось мне то время, хотя грусти уже не было. Ничего уже не было.

И вдруг мы встретились.

Воспоминания мои промелькнули за те несколько секунд, что я поднимался на свой этаж. Я попросил у дежурной ключ, а дежурная сказала:

— Он дома.

Сурен, развалясь в кресле, читал.

— Пришел? — сказал он.

Как много лишнего говорит человечество! Я ничего не ответил и прошел в ванную. Стал бриться, брился долго, тщательно...

Да, мы писали друг другу. Когда дочке исполнится семнадцать, я дам ей прочесть эти выцветшие листочки. Она, наверное, будет их читать, как средневековый рыцарский роман... На последнем письме Лилит и сейчас видны следы слез: она писала химическим карандашом, а я плакал самыми натуральными слезами. Боже мой,

неужели было такое время? Вот посмеется моя дочурка! (Электробритва делала свое дело с назойливым шумом, как истинный брадобрей, которому не дано молчать.)

Я не слышу голоса Сурена, а ему лень подойти к ванной, потому что для этого надо расстаться с креслом. Зачем Лилит приехала в этот город? Ну, конечно, она тоже участвует в совещании, на которое прибыли мы с Суреном. В этом древнем русском городе, где так много церквей с золотыми куполами, где воздух словно нарисован акварелью и березки шагают рядами, я был впервые и успел всего несколько минут побродить возле гостиницы...

Школу она окончила через два года после меня, и я очень удивился, когда она решила стать архитектором. Мы познакомились, когда мне было восемнадцать лет, ей — шестнадцать, а расстались, когда мне было двадцать два года, ей двадцать. Значит, четыре года длилась наша любовь... Я все-таки решил сбрить бороду: в ней уже стали появляться седые волоски (Сурен называл их «белогвардейцами»). Только сейчас я заметил, что седины стало гораздо больше. Нет, пожалуй, не буду сбривать. Знакомые начнут спрашивать: «Зачем сбрил?», как три года назад докучали вопросом: «Зачем бороду отпустил?» Пусть остается...

Тогда, особенно в первое время, при мне не осмеливались даже заикнуться о Лилит... Вода была холодной, приятной, и я вымылся до пояса, освежился. Подумал о человеческой грусти... Да нет, как же можно думать о грусти?

— Слушай,— доносится наконец голос Сурена,— ты там не умер?

— Нет,— говорю,— кажется, не умер.

Сурен старше меня на двенадцать лет, у него три сына — рано женился. Мы с ним лет пять работали в одной архитектурной мастерской. Я долго смотрю на себя в зеркало, расчесываю бороду. Будь на свете комиссионные магазины грусти, все бы посдавали туда свою грусть. Интересно, покупатели нашлись бы?

Смеюсь.

— Сурен!

— Ну?

— Знаешь, о чем я подумал? Подумал: если б открылись комиссионные магазины грусти и мы продали свою грусть... Я, например, задешево бы отдал.

Сурен серьезно смотрит на меня. Это одна из тех редких минут, когда он осознает разницу в нашем возрасте и сокрушается, что он без пяти минут дедушка. Потом добавляет: «Это еще ничего, но как подумаю, что стану мужем бабушки, как подумаю, что со мной на одной подушке спит бабушка,— делается не по себе». А сейчас он долго смотрит на меня и говорит:

— Выпьем по рюмке коньяку?

— Выпьем,— говорю я.— Боюсь только, что не по рюмке...

И мы распиваем всю бутылку.

2

...И никто не научил нас понимать печаль ближнего, слушать молчание, страдать, не роняя собственного достоинства. Все это мы вынуждены были постигнуть сами.

Стояла темная ночь.

Машина неслась со скоростью сплетни.

— Потише гони,— снова сказал шоферу наш русский товарищ.

— Дорога неплохая,— буркнул шофер,— побыстрее доедем, будет время выспаться.

Мы сидим втроем на заднем сиденье. Сурен между мной и Лилит. И как это вышло? До сих пор в себя прийти не могу. Днем мы с Суреном вдруг встретили ее.

— Вы не знакомы? — спросил Сурен.

Я что-то промямлил: мол, в Ереване все друг друга в лицо знают. Она тоже что-то пробормотала.

— Ну, так познакомьтесь по-настоящему.

И она вынуждена была сказать:

— Лилит. Очень приятно.

И я вынужден был сказать:

— Ваан. Очень приятно.

В перерыве мы походили втроем, посетовали на то, что совещание скучное и утомительное, похвалили город, поговорили о том о сем: мол, в ресторане при гостинице кормят скверно, пива нет, и уже соскучились по дому. Я дважды украдкой взглянул на нее. Один раз поймал ее взгляд на себе.

А сейчас мы едем все в той же машине; наш русский друг непременно хочет нам показать редкой, по

его словам, красоты деревянную церковь. Правда, она в ста километрах отсюда, но зато в ней три иконы работы Андрея Рублева!

— Поехали? — спросил Сурен.

— Поехали,— непроизвольно сказала Лилит.

— Поехали,— непроизвольно сказал и я.

Сурен не умолкал всю дорогу. Он вообще был известным говоруном. Помню, как-то один мой приятель, которому очень уж хотелось рассказать анекдот, спросил Сурена: «Почем минута твоего молчания?» — «Пять рублей»,— ответил Сурен. Тот вынул двадцатипятирублевку. «Помолчи пять минут».— «Нет, столько не смогу. Самое большее — на десятку».

Вдруг слышу:

— Вадим, а ты знаешь, что я Ваана спас? Он операцию не хотел делать, а я заставил.

(Ну конечно, как он мог о таком умолчать...)

— Каким образом? — удивляется Вадим.

— Лилит,— оборачивается Сурен к ней,— ты тоже об этом не слышала? Нет?

Я чувствую, он рад тому, что Лилит не слышала и что шофер тоже не слышал, хотя шоферу, разумеется, наплевать и на мою операцию, и на все деревянные и каменные церкви — ему бы доехать поскорее, опрокинуть стаканчик да уснуть.

Мне хочется прямо сейчас выйти из машины и пройти оставшийся путь пешком. Но Сурен мой лучший друг, и спасения нет. Когда-то, наверно, этой дорогой шел и Андрей Рублев. Пешком или на санях, если дело было зимой. Смотрел на это же небо, слушал эту же тишину. Становлюсь сентиментальным. Просто хочется о чем-нибудь думать, только бы не слышать Сурена. А Рублев, может, ни разу не ходил этой дорогой и не писал тех икон, которые нам завтра покажут. Великое имя — мощный прожектор, и в его свете нам покажется замечательной и не очень хорошая картина, потому что мы озарим ее светом собственной души. Важно именно это.

А Сурен уже рассказывал о том, как он меня спас. Он подался вперед, склонился к Вадиму, и я вдруг почувствовал пальцы Лилит. Она взяла мою руку за спиной Сурена. Изумленно смотрю на нее — она плачет. Сурен рассказывает, а я смотрю на Лилит, я понимаю, что она все знает, что она просто вспомнила тот ужас-

ный день. Хрупкие женские пальцы сильно, по-мужски, сжимают мою руку.

— Потом...

Потом Сурен говорит о чем-то другом. Он кладет руку на плечо Лилит, а мне хочется, чтобы на земле стало еще темнее. Я вижу глаза Лилит, которые только что были влажными, я смеюсь над своими мыслями, над тем, что мне казалось истиной, над долгими годами своей ненависти. Значит, ничто не пропадает. Значит, мы притворялись, что не видим и знать не знаем друг друга... Лучше покурить. Хоть бы уж кончилась эта зыбкая дорога, ведущая нас в неизвестность. Нет во мне ни бури, ни сожаления, ни боли. Просто я был уверен, что пятнадцать лет назад с нашей последней встречей, с ее последним письмом, все кончилось. А выходит, все никогда не кончается. Правда и то, что мы любили друг друга, и то, что она предала меня, и то, что мне было очень больно. Но ведь правда и то, что не все кончилось в тот день, и, значит, все никогда не кончается. (Господи, она в самом деле плакала и так гладила мои пальцы, словно не предавала меня, словно не было этих пятнадцати лет, словно все эти годы мы ехали в этой машине и ночь была густой и таинственной.)

Все это длилось несколько мгновений, а потом опять оказалось, что она меня предала, что мы пятнадцать лет не здоровались, что я ее ненавидел. И слезы ее показались мне лицемерными. И то, что мы прожили эти годы вместе,— только вымысел. Потому что, увы, пленку времени назад не раскрутишь: что прожито, то прожито, что не прожито — не прожито. Сейчас Лилит что-то шепчет на ухо Сурену, и я чувствую, что мне стало свободнее сидеть. Возле них я чувствую себя одиноким и безразличным, и нет во мне никакого трепета.

— Приехали,— говорит Сурен,— просыпайся.

Я просыпаюсь, вернее — делаю вид, что просыпаюсь: пусть Сурен и Лилит думают, будто я спал. Мы выходим из машины и направляемся к гостинице.

— Вот тут посидите,— говорит Вадим, указывая на кресло в коридоре,— сейчас я все устрою.

Я плюхаюсь в кресло, закрываю глаза.

— А ночью что будешь делать? — слышу голос Сурена. Не отвечаю. И он продолжает, уже только для Лилит: — Хороший парень. Не смотри, что соня. Узнаешь его поближе, сама убедишься.

Закрыв глаза, я пытаюсь представить прежнюю Лилит. Не получается. Перед глазами всякая всячина, неизвестно что. Кресло черное, клеенчатое, холодное, пружины слабые, сижу, словно погруженный в ил, но все равно хорошо. Вспоминаю три могильные плиты, которые видел на нашем сельском кладбище. На одной я прочел: «Здесь покоится кузнец Оваким, сын кузнеца Аракела и отец кузнеца Геворга. Скончался в 1851 году». Потом разыскал я могилы кузнеца Аракела и кузнеца Геворга. Они находились по соседству... Почему я все это вспоминаю? Завидую тем людям, у которых были такие крепкие корни: сын кузнеца Аракела кузнец Оваким — отец кузнеца Геворга. И какая связь между теми могилами и этой длинной ночью? Не знаю. Клеенка холодная и скользкая. Вадима все не видать, а Лилит с Суреном в другом конце коридора, где темнее, чем тут, и где есть, видимо, еще одно кресло, такое же холодное, как это. А может быть, еще холодней. Ничего, согреют... Что мы такое? Что прочного в нашей жизни? Что напишут на наших могилах? Чья могила будет возле нашей? Я открываю глаза, потому что опасности нет. Я толком и не разглядел Лилит, а разглядеть хочется. Да, становлюсь сентиментальным, лучше уж закрыть глаза.

Наконец появился Вадим. Сперва он подходит к Лилит и Сурену, потом они втроем направляются к моему креслу.

— Уснул,— слышу голос Сурена.

— Дорога длинная,— говорит Вадим,— устали.

Я открываю глаза.

— Сон видел? — спрашивает Сурен.

Я смотрю только на Лилит, ее лицо сейчас освещено.

— Да,— говорю я.

Вадим сообщает, что кое-как удалось устроить номер для Лилит и две койки в трехместном номере для нас, а сам он поспит в кресле администратора.

— Хорошее кресло,— говорит Вадим (он отличный парень, это уж точно),— откидываешь спинку, и получается ложе Людовика Шестнадцатого.

3

> ...А еще вернее — самое главное мы должны постичь только ранами собственного сердца. Только вот от ран рубцы остаются.

Уже больше двух часов я лежу в темной комнате, а наш незнакомый сосед вовсю храпит. «Ты спи, я сейчас вернусь»,— сказал мне Сурен, когда Вадим ушел. «Ладно»,— ответил я, а он загадочно улыбнулся. «Не страшно одному?» — «Вадим сказал, у нас сосед есть». Этот сосед храпит сейчас монотонно и певуче, лица не видно, он повернулся к стене. Натягиваю одеяло на голову, смыкаю веки, спи, приказываю себе, спи, это самое что ни на есть прекрасное, и никто на свете не виноват, что не сложилась у тебя жизнь. И зачем я только приехал в этот город? За что я наказан этой ночью? Лежу, как в дурмане, потом встряхиваюсь, нащупываю на стуле сигареты. Спичка на миг освещает унылый гостиничный номер, в зеркале старомодного шкафа вижу свою кровать, свои ноги, торчащие из-под одеяла. Нет, простыня мне не кажется саваном, и я совсем не похож на труп. Может, именно поэтому. Огонек между моими пальцами сияет каким-то потусторонним блеском, и я вдруг вспоминаю, что обещал Араму, сыну, ружье... Один мой сосед — уж не знаю, откуда — привез удивительное ружье: оттягиваешь курок, раздается выстрел, а на конце ствола моментально вспыхивает огонек, вроде огонька сигареты. Но как достать такое ружье в городе, где только одно чудо — иконы Рублева, висящие на стенах деревянной церкви? Пружины кровати слабы настолько, словно они никогда и не были пружинами. И я зарываюсь в эти несуществующие пружины. Зарыться бы сейчас в траву, в свежескошенную траву... И чтоб сосед превратился в нашу речку. Сосед храпит, усталые пружины моей кровати скрипят, а в комнате темно... Хочу представить Сурена с Лилит, тут же гоню прочь эту картину, силюсь думать о другом. Нет, о другом думать я не в состоянии, не могу избавиться от этой реальной, грубой, осязаемой картины. Она, словно скульптура, валится на меня. Вижу, как Сурен целует губы Лилит. Сурен говорит: «Погасим свет», а Лилит спрашивает: «Погасим луну?» — потому что свет она давно погасила... Неправда... Потом я ощущаю только безмолвие. Потом

мне кажется, что я заглядываю через замочную скважину в чужую спальню. Спать, только спать! Сосед храпит. Утром он проснется, наверно, раньше меня, и я его никогда не увижу и не узнаю, кто он. Не заметил, как погасла сигарета, а в коробке ни одной спички. Сигарета — плохой товарищ, потому что и горит, и догорает сама по себе. Сигарета — товарищ на пять-шесть минут. Но, с другой стороны, за эти пять-шесть минут она отдает человеку всю жизнь. Хочется встать, одеться, найти комнату Лилит (номер помню — двадцать первый), взломать дверь, ворваться. А зачем? И по какому праву? И кто я такой? Как то есть кто? Ведь не умирают же чувства навсегда! И, значит, какой-то своей частицей Лилит продолжает принадлежать мне, как моя рука, мое горе, как седина в моих волосах. Нет, мне бы надо быть не архитектором, а плакальщиком. Им ведь все равно, кого оплакивать, кого отпевать, они умеют горевать именно тогда, когда требуется, минута в минуту, и глаза их высыхают мгновенно.

Наверно, засыпаю.

4

> ...Но лишь благодаря рубцам своим сердце есть сердце, благодаря тем рубцам, которые обычный комочек мышц делают свидетелем прожитой нами жизни и самым последним нашим собеседником.

Я проснулся. Теперь уже храпели двое — незнакомец и Сурен.

Стояло утро, чистое, красивое и привычное. Я поглядел на спящее лицо Сурена, поднялся и оделся. Коридор стал шире, или мне это показалось, потому что было светло. Обшарпанный коридор захолустной гостиницы: клеенчатые кресла, на стенах выцветшие картины, в левом углу которых значится выведенный масляной краской инвентарный номер. Я дважды прошел мимо комнаты Лилит. Обычная дверь, красной краской выведен номер — 21.

Вышел во двор.

После дождя во дворе была непролазная грязь, и средних лет женщина посыпала золой дорожку от гостиничной двери до прачечной, что находилась в другом конце двора.

— Потерпите чуть-чуть,— сказала женщина, видимо заслышав мои шаги, потому что на меня она не взглянула.

А я спросил:

— Вы в церковь ходите?

На этот раз женщина на меня посмотрела, даже совок опустила.

— Ходим, отчего ж не ходить?..

— Хорошая она? В смысле — здание?

Женщина, видимо, обратила внимание на мою бороду.

— Вы наш новый священник, да? — Потом лукаво рассмеялась.— Молоды больно, батюшка.— И поправила платок. Глаза у нее были голубые, грустные.

— А разве плохо, что молод? — Я молол чепуху и чувствовал отвращение к самому себе.

Женщина была уже немолодая, пожившая.

— Мне-то что до вашей молодости, батюшка. Мое дело — дорожку прокладывать, чтобы вы тут ненароком в грязь не шмякнулись. Потерпите чуток, батюшка, я сейчас.

Женщина больше не смотрела в мою сторону, а я больше не смотрел на небо. Оно было серым и унылым, как сорокалетняя старая дева, которая все еще гордится, что сумела соблюсти себя, но всякий раз вздыхает при виде мужчины.

Я поднял воротник дождевика и вышел со двора. Деревянные, похожие друг на друга дома выстроились по обе стороны улицы. На улице ни души. Сурен непременно потащит меня завтра по магазинам, и тогда мне вконец все осточертеет. Это уж точно. «Если хочешь считаться хорошим мужем,— скажет он,— в последний день командировки побегай по магазинам. Главное — не приехать домой с пустыми руками. Понял?» Эту заповедь я слышал уже тысячу раз и завтра, естественно, буду вынужден отправиться вместе с ним. Сурен набьет чемодан всякой всячиной и, довольный, вернется в гостиницу. Например, он спросит: «Есть у вас дамские туфли тридцать шестого размера на высоком каблуке?» — «Есть тридцать восьмой размер, на низком каблуке», — ответит продавец. «Ничего, — скажет Сурен,— выпишите.— Потом обернется ко мне: — Станет носить или не станет, это уже ее дело. Ты тоже купи».— «Гаянэ на низком не носит. И потом, у нее тридцать пятый».— «Ничего, послушай меня, бери»,

Я, конечно, не возьму, и он махнет рукой — пропащий, мол, человек. Когда прилетим в Ереван, Сурена придут встречать все — жена, дети, соседи, теща. А меня — никто. Он пойдет, окруженный родными, а я грустно побреду один с портфелем под мышкой и сяду в такси.

Дождь моросит с безнадежным упорством, а дома все одинаковые, и мне кажется, будто я еще возле гостиницы, марширую на месте, как в армии, в строю. Странный человек Сурен, счастливый человек. Даже сейчас, после этой ночи, я не могу думать о нем плохо. Да и почему, собственно, мне о нем плохо думать? Вот и церковь. Съежилась под дождем, а он лупит в ее деревянное тело. (Сколько тысяч дождей впитала она в себя! Дерево промокало насквозь, потом выходило солнышко, влага испарялась, а церковь старела.) Церковь походила на маленькую согбенную старушку, которую выгнали из дому и осталась она одна-одинешенька под дождем. Становлюсь сентиментальным, становлюсь коконом, в котором — невидимо для чужих глаз — какой-то червячок ткет шелк печали.

Во дворе церкви стоит старик и смотрит на небо. Наверно, сторож.

— Я не здешний, отец, посмотреть можно?

— Там темно.

Старик открывает дверь, и я вхожу. В церкви тепло и сыро. Воздух кажется таким густым, как высокая трава в степи. Хорошо.

— Проводка перегорела. Вчера должны были починить, да не пришли. Свечку хотите?

— Зажгите все, сколько есть.

Старик удивленно смотрит на меня.

— Две-три, чтоб было светло, а остальные — за упокой души Рублева. Я за все заплачу.

...Горит около сотни свечей, я один. Старик терпеливо, одну за другой, запалил все свечи и вышел. Чудесный свет излучают свечи, словно только-только расцветает утро, и воздух обретает краски, и полутьма наполняется видениями. Икон много, а те, что написал Рублев,— в центре, в золоченых окладах. Сурен, наверное, проснулся, меня ищет. Пусть ищет. Покорные, печальные богоматери и Иисусы смотрят на меня, друг на друга они не похожи. Здешний Христос русский, а

в Эчмиадзине он армянин, у богоматери голубые прозрачные глаза, пальцы у нее усталые, материнские, как у той женщины во дворе гостиницы.

Выхожу.

На улице свечей нет, то же серое небо, тот же дождь. Мое короткое утро кончается. В коконе червячок все ткет и ткет шелк печали.

5

Та же машина мчится сквозь другую ночь. Небо ясное-ясное. Если исполнишься великого терпения и если не умрешь, сможешь сосчитать все звезды до последней. Мы сидим так же, как и вчера ночью. Я курю. Лилит молчит, Сурен разговаривает с Вадимом, а шофер и теперь спешит — дома ждут его водка и жена.

Выдумываю. Шофер скорее всего еще не женат, а в этот час все магазины закрыты.

1969

СПИЧКИ

Ему шел уже семьдесят первый год. Жил он одиноденешенек, и в городе у него, видно, не было родственников. На похороны пришло мало народу, в основном товарищи по работе и соседи. За два часа до похорон из Махачкалы прилетел сын. Самолет, на котором он летел, в пути посадили в Тбилиси, так как Ереван был закрыт по случаю грозы...

Сыну было за сорок. Когда вернулись с кладбища домой, он спросил: «Кто оплачивал расходы по похоронам, кому я должен?» — «Никому,— ответила тетушка Мариам.— У покойного были сбережения, их мы и потратили, да еще немножко осталось на книжке. Он никому не был должен».— «Вот и хорошо,— сказал сын,— отец все делал с расчетом». За стол сели человек пять-шесть, сын покойного сам разлил водку по рюмкам, выпили. Поговорили о том о сем. Выпили по второй рюмке. Сын двадцать лет не видел отца: ушел в армию, потом женился, обосновался в Махачкале. «Жена неважно себя чувствовала, у нее диабет. Сына я назвал Гегамом, но зовем его Гугуш — имя Гегам трудно произносится». Гегам было имя покойного, а Гугушу, как сказал сын покойного, шестнадцать лет. «В этом году он заканчивает десятилетку, день и ночь занимается, очень похож на деда, а деда так и не увидел». Андраник, Сероб, Бениамин, тетушка Мариам посидели еще минут сорок с сыном покойного, поговорили, потом поднялись. «Завтра к часу дня придем,— сказала тетушка Мариам,— поедем на кладбище, такой обычай».

Затем дверь закрылась, и сын покойного, которого звали Вардан, по фамилии Ераносян, остался один на один с комнатой отца. Он выпил еще рюмку водки; водка была хорошая, посмотрел на этикетку: «Экстра». Отец неузнаваемо изменился, он бы никогда его не узнал: нос заострился, скулы выпятились, к тому же его чисто выбрили, порезав в нескольких местах лицо: это уже было неопасно. Волосы совсем седые; сын попытался вспомнить: когда видел отца в последний раз с черными волосами? Последний раз он видел отца в марте пятьдесят второго года; мать умерла перед его уходом в армию,— значит, в марте пятьдесят второго года; у отца тогда волосы еще были черными. Поднявшись со стула, он пересел в кресло; оно было старое, с продавленными пружинами, удобное. Что это за фотография на стене? И хотя глаза уже слипались, он все же встал: фотография казалась очень знакомой. Конечно же, это он сам с сержантскими погонами, посылал фото еще из армии. Он вновь погрузился в продавленные пружины, и сон сморил его. А когда проснулся, в комнате уже было темно. Он не сразу сообразил, где находится, а поняв, встал и, на ощупь отыскав выключатель, включил свет. Комната ожила. На столе только бутылка с водкой, его рюмка и немного солений. Кто убрал все остальное? А, так это, видно, тетушка Мариам! Значит, он был пьян, даже не помнит, что тетушка Мариам убрала со стола. В бутылке оставалось немного водки, он выпил. В углу стоял старый, обшарпанный письменный стол, на нем счеты, какие-то бумаги. Да, конечно же, ведь в последние годы отец работал кассиром, а раньше был бухгалтером. Вардан Гегамович Ераносян несколько раз прошелся по комнате, внимательно изучил свою военную фотографию. Рядом с ней висела фотография матери; такая же есть у него в Махачкале, а теперь нужно будет увеличить и фотографию отца. Завтра же он отдаст увеличить, говорят, в Ереване есть хорошие фотографы. Возле двери в ванную прикреплена какая-то бумажка. Он попытался прочесть. По слогам ему не удалось, попробовал по буквам: это «в», это «ы», а это? Да, да, «х», значит, «вых». Продолжил «о», «д», а это «я». И, наконец, прочел все слово — «Выходя», потом по буквам прочел остальные слова и, связав их, получил предложение: «Выходя из ванной, выключи свет». Свет был выклю-

чен. Вероятно, его выключил отец, кто же еще? Он зажег свет, вошел в ванную, открыл кран. Вода сначала пошла ржавая, потом очистилась. Увидел себя в зеркале; утром он не успел побриться, на глаза ему попалась электробритва, провел рукой по лицу — ничего, завтра побреется. Холодная вода приободрила Вардана Ераносяна, мыло запенилось на лице, и он поседел, стал похож на отца,— наверное, он бы и сам это заметил, если бы открыл глаза и посмотрел в зеркало. Но поскольку глаза у него были закрыты, он так и не узнал, что стал похож на отца. С закрытыми глазами, весь в мыльной пене, он стал пить воду из-под крана. Это получилось непроизвольно: он хотел плеснуть на лицо воду, которую набрал в ладони, но потом выпил ее. Затем, наклонившись к крану, сложил ладони в небольшой ковшик и долго, долго пил... Он пробудет здесь и завтра тоже, а послезавтра вылетит в Махачкалу — есть рейс, нужно будет утром взять билет. Ванная тесновата, санузел совмещенный, но чистенький, аккуратный. Неожиданно, стоя в тесной ванной, Вардан Ераносян впервые серьезно задумался: как же отец прожил все эти годы одиночества? Видимо, он был очень аккуратным человеком: белая эмаль ванной блестела, пол подметен, ничего лишнего. А он так и не научился, входя в дом, вытирать ноги. В детстве отец очень на него за это сердился, однажды даже дал шлепка, а мать каждый раз говорила: «Ничего, Гегам, я вытру, ничего». Тогда они жили в районе Конда, в старом доме; после дождя на улицах Конда стояла непролазная грязь. И почему мама умерла так рано?.. Умытый, посвежевший, он вновь посмотрел в зеркало и решил побриться, потому что ему захотелось выйти побродить. Дома, в Махачкале, он бреется безопасной бритвой, но один раз ничего, можно и электробритвой. Он включил ее, начал бриться, потом, бросив на половине, пошел в комнату, выдвинул средний ящик письменного стола. «Паспорт, бумаги, сберкнижка в ящике»,— вспомнил он слова тетушки Мариам,— и новое пальто он заказал в ателье, дней через десять было бы готово, квитанция там же, в ящике. Вот и паспорт, на фотографии он не узнал отца, поскольку она была новая — снимался, наверно, лет пять-шесть назад; эту фотографию и надо увеличить. Прочел: «Ераносян Гегам Васпуракович, родился в 1901 году в деревне

Ахбюрак Эрзерумской области». Где находится Эрзерумская область? В паспорт вложено свидетельство о смерти: 28 июня, сегодня 30-е, то есть два дня тому назад. Отчего? От сердечной недостаточности, то есть инфаркт, что же еще? Нынче просто даже неудобно умирать от другой болезни. Вардану неожиданно захотелось закурить, захотелось выпить, захотелось заплакать, но ничего подобного он не сделал. Отец однажды в письме пожаловался на больное сердце и упомянул какое-то лекарство, которое прописал ему врач. Вардану вдруг показалось, что отец просил тогда у него это лекарство, наверное, не достал его в Ереване и надеялся, что сын достанет. Почему ему вдруг так показалось? В холодильнике стоят три бутылки водки, он видел только что; вероятно, купили к завтрашнему дню. Нет, пить ему не хочется. На Конде была старая церковь, а вокруг нее кладбище. В детстве они играли на кладбище в прятки,— только днем, ночью боялись. Неожиданно ему послышался слабый звон колоколов этой церкви, нереальный звон. Церковь, должно быть, разрушили, почему он вдруг вспомнил о ней?..

Церковь не разрушили, но могильных камней осталось всего несколько. Дóма и даже улицы, на которой они жили, не было, гордо и одиноко на этом месте высились четыре многоэтажных дома из бетона. «Мы народ каменотесов,— вспомнил он слова отца,— мы любим противоборство с камнем». А сейчас строят из бетона, облицовывают туфовыми плитками. И очень хорошо получается. Вардан с высоты Конда посмотрел на незнакомый город. Однажды в журнале «Огонек» он прочел, что Ереван один из красивейших городов мира. Это написал какой-то армянин-архитектор. «Ну и хвастуны твои земляки,— добродушно иронизировала над ним жена,— хоть разок свозил бы нас туда, уличили бы мы их во лжи». Сын Гегам, которого звали Гугуш, возразил матери: «Так написано и в нашем учебнике географии». Интересно, в самом ли деле Ереван красив? Сейчас видны лишь ослепительные, разноцветные огни. Может, отец действительно просил лекарство, как он не понял этого? Один из прохожих спросил его о чем-то по-армянски. Вардан Гегамович Ераносян сказал: «Простите, я не понял». Прохожий повторил свой

вопрос по-русски. «Нет, извините, спичек нет, я вообще не курю». Прохожий уже ушел, не дослышав, что он вообще не курит, а он, вероятно, хотел бы еще что-то сказать. Хорошо, что отцу дали квартиру поблизости от старого дома, он привык к этому району, а потом — это центр, Ереван, говорят, очень разросся. Он попытался отыскать среди огней новый дом отца, конечно же не нашел. Долго бродил Вардан вокруг церкви, обошел ее раз пять-шесть. Нужно привезти как-нибудь Гугуша в Ереван, пусть посмотрит, погуляет в конце концов, это город его отца и деда. А в какой стороне Эрзерум, где родился отец? Этого он не сумел определить. Вероятно, неподалеку от Ленинакана... Он сел на одну из уцелевших могильных плит, усталость взяла свое — тоже ведь уже не молод, сорок четыре года. И одышка, и почки побаливают. В этом году Гугуш кончит школу, надо подумать, что делать дальше. «Может, послать его в Ереван?» — мелькнуло в голове Вардана Ераносяна, но он отбросил эту мысль: жена не позволит, и правильно сделает. Что делать мальчику в этом незнакомом городе? Церковь не такая уж старая, а может, ее реставрировали? Вот бы сейчас ударили в колокола! На фоне звездного неба четко обрисовался островерхий маленький купол. Днем отсюда хорошо виден Арарат. Вардан Гегамович стал медленно спускаться вниз по узкой улочке. Хорошо, что все заасфальтировали, подумал он, во время дождя не будет грязи.

С кладбища они прямиком поехали в винный погребок; Андраник настаивал на том, чтобы не возвращаться домой, лучше где-нибудь посидеть, поговорить. Тетушка Мариам с ними, конечно, не пошла, и они отправились вчетвером. Винный погребок находился в подвальном этаже старого черного дома. Они спустились туда по выщербленным ступенькам. В погребке было дымно и шумно. Где-то в дыму играл оркестр. Столы были простые, неструганные и скамейки тоже.

«Здесь ты лучше будешь себя чувствовать,— сказал Бениамин, обращаясь к Вардану Ераносяну.— Мы тут пару раз пили с твоим отцом. В последний раз сидели вон за тем столом». Тот стол, к сожалению, был занят, сели за два стола от него. Когда глаза Вардана привыкли к дыму, он осмотрелся, увидел музыкантов, пе-

ред которыми тоже стоял стол, уставленный закусками и вином; это удивило его. Официант принес вино в глиняном кувшине и закуски, Андраник поднял рюмку. «Выпьем за упокой души нашего Гегама, нашего старшего брата,— сказал он, затем обратился к Вардану Ераносяну: — Памяти твоего отца». Остальные приблизили рюмки, но звона не последовало, так как они касались друг друга только пальцами. Вардан Ераносян выпил со всеми, что-то сказал— вероятно, поблагодарил. «В прошлый раз, когда мы сидели за тем столом, Гегам много выпил,— продолжал свой незаконченный рассказ Бениамин.— И за твое здоровье тоже пили, Вардан. Отец тебя очень хвалил, говорил, что у него есть внук, а потом заплакал».— «Мягкое у него было сердце,— сказал Сероб.— Он был старше меня на четыре года, но держался так, как если бы был моложе меня. Стоит всего один стул — он предлагал сесть мне, спичку зажигал, чтобы я прикурил сигарету».— «Сам он не курил,— вставил Андраник,— и пил только по важному поводу. Но уж если пил, то как следует». Вардан Ераносян внимательно всматривался в сидящих рядом мужчин, о существовании которых до вчерашнего дня понятия не имел. Ему вдруг захотелось сказать друзьям отца что-то значительное, да не хватало армянских слов. «Вы уж простите,— сказал он,— если я не сумею сказать по-армянски...» — «Говори, Вардан-джан,— похоже на отца, может быть, даже его словами, сказал Бениамин, который был моложе Гегама Васпураковича на четыре года.— Выговорись, полегче станет, мы ведь понимаем, ты не стесняйся». Вардан Ераносян и выпил-то всего два бокала вина, но, не сумев сказать ничего вразумительного, поднял бокал за здоровье друзей отца — Андраника, Бениамина, Сероба. «Ты нарушаешь порядок,— выразил недовольство Андраник.— Положено сначала сказать тост за тебя».— «Ничего,— твердил свое Бениамин,— пусть выговорится, полегче станет». Но Вардан больше не говорил. Стоя с бокалом в руке, он внимательно, очень внимательно посмотрел на трех друзей отца и выпил до дна. «Как-то мне понадобились деньги,— заговорил Андраник,— собирался купить мебель в приданое дочери. Пятьсот рублей у меня было, а еще пятисот — нет. Пришел я к Гегаму. А это был день зарплаты, Гегам только что вернулся из банка, раскла-

дывал деньги перед раздачей. Я сказал: «Гегам, ты должен дать мне в долг на один день пятьсот рублей, завтра достану и верну». Он спросил, для чего они мне, немного подумал, затем отсчитал пятьсот рублей и протянул мне. «Скажу, что денег не дали. Ведь если одному выдам, а другому нет, нехорошо получится. И ты ничего не говори». Мебель я купил, дочь, конечно, обрадовалась, но когда я возвращал долг, Гегам был очень грустный. «Знаешь, нехорошо получилось,— сказал он,— я фактически обманул народ. На старости-то лет обманул. Надо было правду сказать...» Я понял, что на сердце у него неспокойно, взял да все сослуживцам и рассказал. Все пошутили, посмеялись, а Гегам так и не успокоился: «Нельзя было обманывать». Удивительный он был человек!» Андраник говорил долго, и Вардан не все понимал, только догадывался о смысле. Потом они снова выпили. Сероб, который был моложе всех, почти ровесник Вардана, пил мало. «Желудок у меня больной,— оправдывался он перед Варданом Ераносяном,— врачи не разрешают пить, особенно вино. Я свои сто граммов водки буду тянуть помаленьку. А твой отец совсем не пил водки».— «Сероб, скажи и ты что-нибудь,— вмешался Бениамин,— скажи, пока не кончилась твоя водка, тем более что покойный тебя очень любил».— «Он мне всегда давал в долг. Детей у меня много; случалось, увижу что-нибудь очень для них нужное, а денег нет. У него в тетрадке мне была отведена одна страница. Когда я возвращал долг, он вычеркивал, а потом я снова брал. «У армянина должно быть много детей,— говорил он.— Ты держись, когда надо, бери у меня и покупай, что необходимо детям, а я обойдусь. У армянина ребенок больше не должен видеть нужду».

Музыканты перестали играть и тихо о чем-то переговаривались, дым клубами поднимался к потолку, и Вардан Ераносян неожиданно сказал: «Вы знаете, вчера тетушка Мариам сказала, что все расходы покрыты из сберкнижки отца, но я посмотрел сберкнижку, все деньги целы. Завтра я еще здесь, хотел бы рассчитаться с вами, прошу вас...» Трое мужчин посмотрели на четвертого немного грустно и удивленно. Смотрели, может быть, полсекунды, может быть, полчаса: казалось, что дым улетучился из винного погребка и сейчас ясное, прозрачное утро. И Бениамин сказал:

«Выпьем за здоровье нашего Вардана, за его семью, за его детей».— «Выпьем,— сказал Андраник,— Гегам часто говорил о внуке, говорил, что мальчика назвали в его честь, верно?» Вардан Ераносян глядел помутневшими глазами на друзей отца и машинально отвечал: «Верно, но мы зовем его Гугушем».— «Он очень любил внука,— продолжал Андраник,— и фотографию его держал в сейфе. «Одна она у меня, боюсь потерять»,— сказал он как-то. Да продлятся дни Гегама, или, как вы его зовете, Гугуша...»

«Он на четыре года был старше меня,— повернул на свое Бениамин, — но уступал мне стул и давал прикурить сигарету».— «Он не курил! — будто вдруг сделал открытие Сероб.— Сам он не курил, но у него всегда бывали спички. Я как-то спросил, зачем они у него, а он отвечает: «Для курящего человека одна спичка целый клад, случается, нет у него спичек или кончились, и он обращается к тебе. Ну, я и держу коробок в кармане на такой случай, спички не много весят...»

В винном погребке стоял густой дым, насыщенный шумом и грустью.

Уже в самолете, который возвращал его в Махачкалу, Вардан Ераносян подумал, что отец хорошо прожил жизнь.

Он договорился, что приедет на сороковины отца, и тогда, вероятно, поедет из Еревана поездом: нужно увезти вещи отца, поскольку необходимо освободить его комнату, не будет же она пустовать...

Самолет летел над облаками. Неожиданно облака напомнили ему клубы дыма в винном погребке, только облака были внизу, а дым вчера поднимался вверх.

1974

ДОМ МАТЕРИ

У дверей я обычно не звоню: если мать спит, проснется, а бодрствует... ну, если бодрствует, разницы никакой — слышит она неважно. Ключ у меня есть, так что отпираю дверь сам. Мы с матерью не виделись месяца четыре, а то и пять. Москва, заграница, неотложные дела, пустяковые делишки. «Эх, время, времечко, где тебя взять?..» И так далее, и тому подобное. Переступаю

наконец порог. На дворе день, а лампочка в коридоре сияет ослепительной белизной.

— Мама...

Ни звука в ответ. Шагов тоже не слышно.

Вхожу в комнату: постель тщательно прибрана, взбитые подушки одна на другой, пол блестит, радио включено. Мать всегда держит радио включенным: «Все-таки человеческий голос. Иной раз возишься по хозяйству, говоришь сама с собой — вроде как тебе кто отвечает».

На кухне ее тоже нет и на веранде нет. Рука привычно тянется к репродуктору. Выдергиваю штепсель из розетки. Ложусь на старый, обтянутый зеленым бархатом диван. Хорошо. А что матери нет, так это, пожалуй, даже лучше.

Не найдется ли у мамочки выпить? Нехотя поднимаюсь, заглядываю в холодильник. Початая бутылка коньяку и две бутылки пива. Конечно, сперва открываю пиво. Поперхнулся первым же глотком — прокисшее. Смотрю на дату — ну, еще бы, чуть не месячной «свежести». Мать знает, что я любитель пива; тому уже месяца четыре-пять, как я не наведывался в деревню. Отгоняю эту мысль. Хочу сполна насладиться великим жизненным благом, которое зовется одиночеством, и ни о чем не думать, тем более что деревню обволокла тишина, лишь изредка нарушаемая ребячьими голосами да глухим, однообразным жужжанием мошкары. Материнский дом стоит особняком посреди садов; машины сюда не заезжают, а у меня машины нет, да и не будет. Растягиваюсь на диване, пытаясь ни о чем не думать.

Цель моего приезда сугубо деловая: убедить мать перебраться в город, на худой конец жить с нами хотя бы зимой. Речь я заготовил прямо-таки неотразимую. «Слушай, ма,— скажу,— стыдно. Хороший ли, плохой ли, я у тебя единственный сын, крыша над головой, слава богу, есть, три комнаты. Невестку свою ты вроде бы любишь, не совестно разве одной тут маяться?»

Резко звонит телефон. Ах, да, в деревне ведь тоже есть это окаянство. Приятное забытье мигом улетучивается. Как я устал от этого трезвона! Телефон и не думает умолкать. Подхожу не спеша, вразвалочку — авось замолчит. Беру трубку. «Тетя Ануш? — голос женский.— Не разбудила? Если ты в город, так Ара-

маис тоже едет после обеда.— Женщина тараторила без умолку.— Я скажу — обождет. Так как, едешь?»

«Матери нет дома,— говорю я,— это Ваан». Женщина только ойкнула. Тут-ту-ту, разговор обрывается. Внезапно на меня нападает смех, потом я по-настоящему злюсь: «Милая моя мамочка, не надоело тебе еще в этих четырех стенах? Не надоело всякий раз кого-нибудь просить-умолять подбросить до города?» Мысль о матери не дает мне покоя, и чем дольше я не приезжаю в деревню, тем основательнее в некоей клеточке моего мозга укореняется боль. И тут до меня доходит, что я хочу избавиться от нее, от боли, окончательно и бесповоротно удостоверившись: мать в Ереване, в нашей квартире. Чтобы в суматошной этой жизни стало одной заботой меньше. Я уже приготовился к перепалке. «Ну, все, едем! Нет у меня времени, пойми, на думы о том, как жить врозь с единственным родным человеком... Едем, собирайся».

Сколько еще жить матери, сколько лет написано ей на роду? Приехал я однажды — ключа у меня тогда не было,— соседи говорят: мать, дескать, дома. Постучал в дверь — никакого ответа. Постучал сильнее, уже волнуясь. Собрались соседи. Все в один голос утверждали, будто только что видели, как она входила в дом. Я высадил со страху окно, насилу взобрался вовнутрь. Лицо покрылось испариной, а воображение у меня всегда было необузданным: беда, мать лежит на полу, как раз подле репродуктора. Мать спала. Спала, даже не сняв с головы свою столетней давности шаль.

— Ма!..— В голосе поначалу опаска: а вдруг...— Ма! — Я разнервничался, схватил ее за руку, рука была теплая, пульс нормальный.

— Ой, никак, задремала? — вскинулась мать.— Вот беда-то! Ваан мой приехал, а я сплю.

С того самого дня я и обзавелся ключом. Москва, заграница, дела. «Эх, время, времечко, где тебя взять?..» — четыре месяца не видел мать.

А перекусить найдется? Молоко, жареная фасоль, любимое мое блюдо чечевица — и та есть. Все холодное, но я сильно проголодался. Лаваша нет, только городской хлеб, кто это ей покупал? Конечно, увезу. Асмик поедом ест: «Одну-одинешеньку в деревне бросил, соседи уже шушукаются... Совсем одну, беспомощную... Поживи так денек, попробуй, умом тронешься».

Фасоль вполне съедобна (хотя, пожалуй, суховата и попахивает холодильником). Разогреть? Времени в обрез. Выпиваю стопку коньяку. Коньяк разливается по жилам теплой истомой. Интересно, куда все же запропастилась моя мамаша? Видно, у племянницы: из всех моих родственников в деревне осталась одна только двоюродная сестра. Последний раз мы встречались то ли три, то ли четыре года назад. Звать ее, помнится, Вазгануш. Или Майрануш? Словом, как-то в этом роде. Детей у нее семеро. Это я помню точно, потому что шесть из них девочки.

Пронзительно и как-то тревожно звонит телефон. На сей раз беру трубку сразу же.

— Мамы нет дома, это Ваан.

— Ваан джан! С приездом, Аракел беспокоит.

— Аракел?

— Где уж тебе меня знать! Отца твоего товарищ. Я, твердолобый, уцелел да еще Арменак. Вот и все. Тот тоже в город перебрался. Не слыхал?

Откуда мне о нем слышать? Кто он — брат, сват?

— Здорово, дядя Аракел. Не скажешь случайно, где мать? Чуть не два часа дожидаюсь.— Непроизвольно скашиваю глаза на тикающие на стене мамины ходики.— Час с четвертью дома. Нет как нет.

— Скажу, Ваан джан.— Голос у Аракела хриплый: не иначе — заядлый курильщик или астматик.— Скажу. Либо у Седрака — они на днях свадьбу играют, внучку замуж выдают за хорошего парня, архитектор, из Ахалкалака родом. Либо на рынок пошла за орехами, пора уже суджух [1] готовить. Вчера еще говорила нашей Марьям, что придет и ей помочь, невестка эта моя, Марьям, в больнице медсестрой. Институт так и не кончила — шутка ли, четверо детей... А может, решила племянницу навестить. Вазгануш уже целый месяц болеет, люди уже всякое подозревают... Или к святому Саркису пошла, сегодня его день...

— Телефона там нет?

— У святого Саркиса?

— У Вазгануш.

— Положи трубку. Я сейчас разузнаю и перезвоню.

Кроме виноградных лоз, из окна ничего не видно.

---

[1] Суджух — особого приготовления орех в сладком виноградном соусе, засушенный на солнце; называют еще и чучхелом.

Поздняя осень. Листья пожухли, виноград собран — из него теперь делают вино, гонят водку. Внезапно меня осеняет: а вдруг в саду осталась хоть гроздь винограда. Самый вкусный виноград — последний. В детстве мы осенью ураганом налетали на сады, разведывали, где что осталось, выискивали укрытые от глаз гроздья, которые солнце успело уже превратить в изюм; виноград был — пальчики оближешь. Любопытно, осталось тут хоть что-нибудь? Выхожу из дому, углубляюсь в сад. Правду сказать, я не знаю наверняка границ материнского участка и запросто могу забрести на соседский. Ну да неважно, виноградники не делят межами. А если здесь собака? Вокруг миролюбивая тишина. Пускаюсь на поиски, пригибаю и поднимаю лозы. Поскальзываюсь на грязи, голова оказывается в просвете между желтыми, сухими листьями, и я широко раскрываю глаза. Вот оно! В укромном переплетении ветвей величественно покоится гроздь — янтарная, полная виноградин. Гроздь не отрывается, ножа я не захватил, отламывать не хочется — можно лозу повредить. Мать рассердится. Наконец изловчился — кисть на ладони и еще сильнее блестит под солнцем. Усаживаюсь прямо на землю, жадно поедая добычу. В винограде привкус детства, привкус давно минувших осеней. Или это мое воображение? Мать сама обрабатывает сад, разве что иной раз помогут ей вскопать или окучить.

Прошлой зимой в Париже, в итальянском ресторанчике, мне до смерти захотелось винограду. Виноградины оказались крупными, прозрачными, косточки виднелись в них, как рыбки в хорошем аквариуме. Безвкусный был виноград. Или это казалось, что безвкусный? Поглядела бы на меня сейчас мадемуазель Мари... Неужели уничтожил целую гроздь? А другой не отыщется? Вытягиваюсь на земле, смыкаю веки... Вчера оперировал одну старуху, удалил желчный пузырь. Так вот, когда больную укрыли белыми простынями, оставив только лицо, вдруг заметил, что она похожа на мать. Ах, да пустое все это, старуха как старуха — морщинистая, седая. Глаза у нее закрылись, я даже испугался, проверил пульс — сердце работало спокойно и размеренно. На сколько лет продлил я жизнь этой женщине? Как знать, может, и укоротил. На сколько же лет? В желчном пузыре были крупные камни. Вдали слышится чей-то голос: «Артавазд! Артавазд!» По-

том проносится самолет, довольно низко. «Як-40» — узнаю по звуку. Глаз я не открываю.

Мадемуазель Мари хирург (с чего это я вспомнил?), у нее собственная клиника в предместье Парижа. Замуж она не вышла, живет одна. «Мне хотелось бы умереть за операционным столом», — сказала она в тот вечер в итальянском ресторане,— вино ли на нее подействовало, взгрустнулось ли? Человеку должно умереть, как последнему, позднему винограду, притаившемуся среди лоз и мало-помалу засыхающему в солнечных лучах. Открываю глаза, гляжу на небо — голубизна, безоблачность.

— Ваан, ты?

Прямо надо мной стоит мужчина лет примерно сорока — сорока пяти. Пытаюсь сообразить, кто же это такой.

— Наша Марго и в этом году опять срезалась. Не попала в институт. Хорошо, что ты приехал, а то ума не приложу, как быть. А зятя заведующим пекарни назначают. Что посоветуешь?

— Не знаешь, где мать? — Я злюсь.— Не видал?

— Нет, не видал. Хотел было послать тебе персиков, того-сего, ну, в общем, да мамаша твоя адреса не дала. Хорошо хоть приехал, сам захватишь. Так что посоветуешь, идти зятю в пекарню?

— Я же не специалист по хлебопечению. Какой из меня советчик? Зять-то у тебя кто?

— Председатель райкоопа ведь твой приятель. Вы три года вместе учились, может, замолвишь словечко? Он тебе не откажет.

Внимательно, пристально смотрю на этого человека. Все еще сижу на земле, холодной и сухой. С благодарностью думаю о матери: «Адреса не дала». Потом сразу забываю про стоящего передо мной сельчанина, соседа матери, которого — вспомнил — зовут Артаваздом; в детские годы вместе, наверное, шастали по чужим садам. Прикрываю глаза — так я вижу все гораздо лучше, потому что не вижу Артавазда.

— Пойду соберу тебе гостинцев,— слышу я.— Персики, маджар у меня отменный, натуральный мед. В городе-то мед небось из сахара гонят, и смех и грех. Ну, что скажешь насчет Марго? Позвать мне ее? А может, председателю райкоопа записку напишешь? Саноян его фамилия, Врам Саноян. Помнишь его?

— Ступай, Артавазд! — Глаз я не открываю.— Дождусь матери, потом зайду к вам.

Артавазд, как ни странно, подчиняется, чуть погодя раздается звук его шагов, мало-помалу угасающий. Остается все та же тишина, исполненная однообразным жужжанием мошкары.

Выпиваю еще рюмку коньяку. Три дня назад во время операции одна студентка упала в обморок. Ах, боже ты мой, ну какой из женщины хирург?!

По нашему саду когда-то тянулась тропа. Интересно, есть она сейчас? Или заасфальтировали? Как-нибудь, только не сегодня, выберу время, спущусь по ней в ущелье. Там, над ним, на самой круче, стояла наша школа. Зимой добираться туда было трудно, тропа терялась в снегу. У нас был пес — как его звали? — который изо дня в день сопровождал меня до школьных дверей, славная такая псина. Случалось, я привязывал к его спине ранец и вышагивал следом налегке, будто князек. «Твой пес получил семилетнее образование,— пошутил как-то старший брат; когда же это было? — Он, говорят, отличник, а в твоем свидетельстве сплошь тройки...»

У мадемуазель Мари тонюсенькие пальцы; отчего она тогда захандрила? «Вы, восточные люди, напоминаете мне о детской поре человечества, вас тревожит чужое горе, вы стремитесь незамедлительно каждому помочь». Клиника мадемуазель Мари оценивается в миллион долларов.

На дверцах шкафа фотокарточки. Там, где обычно бывает зеркало, тоже. Мать убрала зеркало, взамен вставила стекло, а к стеклу приклеила фотографии. Обвожу их взглядом. Лицо сестры кажется мне незнакомым, я совсем позабыл, как она выглядела. По словам матери, сестра была голубоглазой; в те времена она считалась первой красавицей на селе. Единственная картина отпечаталась в памяти — проводы зятя в армию. Меня сестра тоже взяла на станцию. Зятя звали Арутюном. Стояли мы, помнится, втроем и знать не знали, что через два месяца начнется война и Арутюн погибнет в первые же дни.

Сестра и думать не думала в тот миг, что и ей суждено умереть еще год спустя, а ребенок, которого она ждала, появится на свет, чтобы пережить свою мать

только на шесть месяцев и снова уйти в небытие в одну из тяжких, студеных военных ночей. Никто ничего не знал, и в ту минуту мы все трое были счастливы: я — вокзальной суетой, сестра — ожиданием ребенка, зять — неоспоримостью своих мужских доблестей: в армию он идет, жена у него есть, ребенок у него будет.

Эта картина то и дело вспоминается мне, а вот сестру не помню, лица ее не помню, она осталась в памяти как окутанная синеватой дымкой безликая красота.

Снова телефонный звонок.

— Алло.

— Это Аракел. Номер Вазгануш один — семьдесят восемь, но твоя мать уже полчаса как ушла от нее. Я, кажется, сказал, что Вазгануш больна? Принесла ей поесть и ушла. Вроде бы в сельсовет. Потом, говорят, собиралась в Ошакан за орехами.

— Что ей в сельсовете делать?

— Не сидится старой на месте, ищет себе дело.— Он переводит дух.— Ваан, миленький, очень уж у меня кислотность высокая. В Японии, говорят, какое-то лекарство нашли, все как рукой снимает. Я мать твою просил, чтоб тебе сказала...

— Четыре месяца мы уж с ней не виделись. Я поинтересуюсь, что это за лекарство.

— Спасибо. Позвоню-ка в сельсовет, пускай найдут ее да скажут, что ты здесь.

— Спасибо, дядя Аракел.

Бросаю взгляд на мамины ходики. Через два часа мне надо быть в больнице. День как день, ничего чрезвычайного, а не прийти нельзя. Почему-то, совершенно механически, включаю радио — передают зарубежные новости. Послушать, что ли... Внезапно представляю себе сестру, нет, только ее фигуру — без лица, без глаз. Радио не помогает, перед глазами стоит сестра, и меня охватывает тоска. Почему вдруг проснулась непробудным сном спавшая эта тоска? Чего ради, подобно часовому механизму, застучали, забились воспоминания? Старшую дочь я назвал именем сестры. Но, окликая девочку, задумываюсь ли хоть иногда над тем, что ее имя — это имя моей сестры? Той самой, чей облик позабылся, растворившись в печали минувших лет. Что я, собственно, знаю о матери, которая живет неподалеку и с которой я вижусь в несколько месяцев раз? В груди остро, как скальпелем, кольнуло, и я принимаюсь

внимательнейшим образом изучать ее фотографии. Вот она в молодости, снята рядом с отцом в Ереване: отец небрит, а мать счастлива. На снимке, во всяком случае, счастлива; отчего вообще матери бывают счастливы и отчего несчастны? Это не поддающаяся разгадке тайна, ибо в материнском сердце неисчерпаемые запасы молчания. Давно уже я не говорил с ней по душам. Заскочу минут на десять — пятнадцать, тут же взгляну на часы, дам денег, а иногда еще привезу пару туфель или платье и помрачнею, заметив, что она этому вовсе не рада. Даже и не наденет ни разу — случалось и такое. Два года назад подарил ей шубу меховую. «Экую уйму денег ухлопал!» — всплеснула руками мать. Шуба так и висит в шкафу. Надела она ее раз-другой, да и то отправляясь в город, и все. Поначалу я сердился, а потом смекнул, что матери неловко носить шубу в деревне, хотя — дошел до меня слух — она зазывает всех сельчан подряд и показывает обнову, не иначе — хвалится: смотрите, люди добрые, какой у меня сын.

Только однажды мать всплакнула, жалуясь на свою долю, и сказала: «Я вот часто все думаю, в чем моя вина перед господом, за что он меня так покарал: отец твой помер, и сестра, и старший брат, осталась я одна как перст. В войну вино возила в Апаран — надо же было вас поить-кормить,— нет-нет да и подмешаю в бочку воды. За это, видно, и наказал меня бог. Да ведь отца-то твоего тогда уже не было, неужто отпустил бы он меня из дому, вином торговать?..»

Отец смотрит с фотографии, добрый и обросший. Теперь я на три года старше отца; отцово имя я дал сыну, а меня самого назвали в честь деда,— выходит, отец, можно сказать, воскрес в своем имени, и в отчестве, и в фамилии. Так-то оно так, однако что связывает внука, моего сына, с дедом? Ровным счетом ничего. «От моего имени нафталином пахнет,— сказал как-то этот сукин сын.— Полным-полно модерновых имен, а вы... В комиссионке, что ли, откопали?» Я влепил негодному мальчишке затрещину, а назавтра купил ему японский магнитофон.

Воспоминания пробудились, точно по сигналу.

Шла война, я стоял в очереди, хлеб только что получили, и вдруг парнишка лет четырнадцати — пятнадцати хвать буханку — и сиганул. Вдогонку кинулись продавец, стоявший поблизости милиционер, кое-кто из

очереди. Я тоже. Парнишку в конце концов поймали, но хлеба у него не было. Пока убегал, съел всю буханку до последней корочки. Все — продавец, милиционер, очередь — изумленно взирали на пацана. Тот стоял понурившийся и беспомощный, но в глазах у него так и светилось: поел хлебушка, тепленького, свежевыпеченного, поел! Когда я рассказал о происшествии дома, мать прослезилась: бедный ребенок, надо было привести его к нам, покормить горячим обедом. Почему не привел?..

...И вот грузно и как-то торжественно ко мне подсаживается отец, затем сестра и зять Арутюн, подсаживается ко мне и тот уворовавший хлеб парнишка; я вижу их всех совершенно отчетливо, и вижу себя, босого и печального, и вижу мать со счастливой улыбкой, оставшейся где-то там, в сорокалетней дали, в будке провинциального фотографа. Затем один из стульев занимает благовоспитанная и женственная парижанка мадемуазель Мари. Но все они молчат, вместо них говорит радио, передающее зарубежные новости. Сколько времени оно длится, это видение? А мать днями напролет живет среди таких вот видений.

Пора ехать: пока найдешь такси, пока доберешься до города...

С непривычной грустью прикрываю дверцы шкафа, с грустью кошусь на пластмассовую немоту телефона, гляжу из окна на чистое, промытое, как рана, осеннее небо.

Как ни странно, в связке ключей я с трудом отыскиваю ключ от материнского дома, хотя другого медного ключа у меня нет, медленно вставляю его в отверстие, и тут раздается звонок. Трижды, спокойно и неторопливо поворачиваю ключ в замочной скважине, легонько дергаю дверь — закрылась ли? Телефон все еще звонит. Наверное, Аракел или же мать, которую Аракел отыскал-таки.

1976

НАШИ МАТЕРИ

— Развожусь я с твоим зятем, — сказала тетушка Назели,— хватит с меня!

Сказала она это моей матери; что же до имени тетушки — Назели,— то так зову ее только я, остальные

обращаются к ней иначе: кто «тикин Назик», кто «тетушка Назо», кто «ахчи[1] Назик», а кто и вовсе «гей, Назан...»[2].

Назели...[3] Это имя и впрямь не очень-то вяжется с обликом моей дражайшей дебелой тетушки, весящей восемьдесят пять килограммов, имеющей семерых внуков и трех невесток, а однажды — дело было в автобусе — так хватившей незадачливого воришку-карманника, что того пришлось отправить сперва в больницу «скорой помощи» и только после в милицию.

— Ну-ка, выключи свою шарманку!

Я смотрю хоккей, и шарманка — это телевизор.

Через миг уже помягче мать говорит сестре:

— Ты, никак, умом тронулась?

— Сорок пять лет тронутой была! — отрезает тетя.— Уже и на работу поступила, на вечернюю. Подала заявление, приняли.

— Тетушка Назели,— спрашиваю я елейным голосом,— хорошо ли поживают твои невестки? — Это моя постоянная тема в разговоре с тетей, потому что, как мне известно, она терпеть не может своих снох.— Я вчера на симфоническом концерте видел Марго с подругой...

Я был уверен, тетушка скажет: «У нас дома, что ли, симфоний недостает, охота ей на билеты деньги переводить». Или: «Да уж, конечно, Марго не с мужем пойдет. Он, бедняга, о том только и печется, как бы побольше заработать, а она знай по концертам шастает...»

Но тетушка глядит на меня с невыразимой печалью, и мне сдается — она вот-вот заплачет. Маму так и подмывает хорошенько меня отчитать, да не до того, она передумывает и обращается к сестре:

— Хочешь кофе? — И потом ко мне: — Ведь сколько прошу снести кофе помолоть. Барчуками все заделались.

— Только вчера сказала, ма,— вкрадчиво уточняю я; яснее ясного: мама, как заправский шахматист, сделала ход конем, чтобы выпроводить меня из дому. Но где там, мне невтерпеж услышать тетушкин рассказ.— Сходить, тетушка Назели?

---

[1] Просторечное обращение к женщине или девушке.
[2] Строка из народной песни.
[3] Нежная, ласковая.

— Да сиди, Овик-джан. Все одно, сегодня не узнаешь, завтра по телевизору объявят.

Тетушка усаживается в мое любимое кресло-вертушку, у письменного стола; кресло жалобно скрипит, словно взывает ко мне о помощи. Тетушка хмурится, хочет что-то сказать, не находит слов и вдруг непроизвольно кладет палец на включатель магнитофона — комната наполняется звуками из «Иисуса Христа — суперзвезды».

— Это что за Содом и Гоморра?

— Вовсе не Содом и Гоморра,— говорю я спокойно,— а Иисус Христос. Опера про вашего спасителя.

— Господи! — крестится тетушка.— И его тоже на продажу пустили. Совестно ведь...— Она умолкает, потом внезапно распаляется: — Старики и те стыд потеряли, а о вас и говорить нечего.

Это уже что-то новенькое.

— О дяде Враме — ни слова,— торжественно заявляю я, выключаю магнитофон, снимаю «Иисуса Христа» и ставлю другую, неиспользованную кассету. — Дядя Врам — моя слабость. Ты же знаешь?

— А как же! Чтоб ты да за него не вступился! — напускается на меня тетушка.— Одного небось поля ягоды. Двадцать восемь лет балбесу, только шуры-муры на уме.

Из кухни выходит мать, сердито ставит чашечку с кофе на магнитофон, пододвигает стул и пристраивается подле сестры.

— Ты куда ездила? В Артик? — Мать, очевидно, хочет отсрочить главный разговор до тех пор, пока я не уберусь: знает, если история окажется занятной, раззвоню на весь мир.— Холодно в Артике-то?

— Отсохли бы мои ноги, не ездила б лучше.— Тетушка стучит ножом по столу.— В Артик, конечно, ездила, куда же еще. Где мне было узнать про этот позор, не из пальца же высосала.

— Да что за позор-то?

Мать уже распирает от любопытства. Вот и славно.

— Помнишь, в тридцать четвертом году Врам в Баку ездил? Месяцев пять там пробыл, помнишь?

Мать выразительно смотрит на меня, но взгляд ее мягчает. Понимаю, что мне не отделаться от вояжа в магазин.

— Овик-джан,— говорит она,— в доме не осталось

ни зернышка кофе. Сбегай, сынок, купи килограмм. Прямо сейчас. Иди, сынок, иди.

— Ладно, ма, гонишь, так уйду,— деланно надуваюсь я, а сам беру с магнитофона пустую кофейную чашку и незаметно нажимаю на клавишу — все сорок пять минут, пока не вернусь, разговор будет записываться. — И все же, досточтимые дамы, вы поступаете не совсем хорошо.

— Иди, иди! — сердится мать.— Деньги на кухне, в ящике стола.

У лифта сталкиваюсь с Ануш.

— Ты,— спрашиваю,— вверх или вниз?

— Выше некуда,— усмехается Ануш: мы живем на девятом этаже девятиэтажного дома.

— А небеса? — Я нажимаю кнопку, не заметив, что красный циклопов глаз уже горит: Ануш вызвала лифт, и он поднимается с невообразимым грохотом, наконец останавливается.— Сезам, отворись!— Двери открываются, мы входим в кабину, и я натужно острю: — Сказать бы, как космонавты: «Поехали!»

Ануш улыбается, а меня охватывает озноб; два кубических метра кабины разом заполняются этой девушкой — ее ароматом, ее взглядом, трепетом ее тела. Мне давно уже хочется поцеловать Ануш, я давно уже ее люблю; собственно говоря, что такое «давно» — еще год назад она была школьницей, и я, дипломированный архитектор, не считал возможным снизойти до какой-то там девчонки, хотя и ощущал на себе ее восхищенный (мне он, во всяком случае, казался восхищенным) взгляд. За год Ануш неожиданно превратилась в истинную барышню, и мы поменялись ролями: настал мой черед глядеть на нее восторженно и глуповато. Лифт сегодня спускается необыкновенно быстро.

— Не подняться ли нам разок? — нахожусь я.

— Поехали.— Недавнее мое словцо пришлось кстати, и Ануш нажимает кнопку.

Медленно, как бы жалуясь на судьбу, лифт снова принимается за сизифов свой труд, а я мечтаю о чуде — о том, чтобы отключилось электричество. В нашем доме. Или даже во всем городе, на всей земле. Не стало бы тока, и мы застряли бы между этажами. Говорят, что-то подобное приключилось однажды в

Нью-Йорке: около двадцати четырех часов в городе не работал ни один механизм. Вот чудо-то: воцаряется кромешная тьма, Ануш пугается, я ее успокаиваю и, словно бы нечаянно, прикасаюсь к ней, говорю: «Прости», она отвечает: «Ничего. Только, Овик, мне страшно», я приближаюсь к ней совсем вплотную, мы обнимаемся, отовсюду доносятся чьи-то голоса — нет ли, мол, кого в лифте? — но я поцелуем зажимаю губы Ануш, и мы остаемся немы, немы и безмолвны.

— Мы опять на земле, маэстро! — Ануш вмиг развеивает мои грезы — уставилась на меня огромными сияющими глазами, а в них и девичье кокетство, и женская умудренность: впечатление такое, что она прочла все мои мысли.— Если желаете, маэстро, слетаем в небо еще разок, у меня в запасе десять минут.

— Не желаю,— с удивлением слышу я собственный голос.— К сожалению, у меня, очаровательная барышня, нет десяти минут, у меня вообще нет времени.

Выходим на свет божий. Вокруг никого. Под огненного цвета платьем трепещет другой огонь — тело Ануш. Мне даже чудится, что багрянец платья вовсе и не цвет, а только отражение огненной ее плоти. Она смотрит на меня как-то выжидающе, а я ни с того ни с сего вопрошаю:

— Знаешь, что сказал о тебе Саят-Нова[1]?

— Саят-Нова? — удивляется она.— Когда? — Потом смеется: — И что же, интересно, сказал обо мне Саят-Нова двести лет назад?

Ты пламя и одета в пламя...

— И какое из них страшней? — подхватывает Ануш со смехом, потом любопытствует: — Куда путь держите, маэстро?

— В продовольственный магазин,— шмякаюсь я с седьмого неба прямехонько на наш двор.— Кофе надо купить.— И, простачок простачком, добавляю: — По воскресеньям я маменькин сынок.

— Мне скоро двадцать, а я так и не пробовала еще твоего кофе,— говорит Ануш, не отводя от меня громадных — ни дать ни взять прожектора — глаз. — Да, совсем из головы вон — с кем это ты был вчера на симфоническом концерте?

---

[1] Саят-Нова — армянский поэт XVIII века.

Ануш пропадает, словно улетучивается или испаряется в раскаленном ереванском воздухе, а я, глупый, никчемный, вступаю в преисподнюю продовольственного магазина. С кем я был?.. Ах, да, в антракте встретил Каринэ из конструкторского бюро, а вот Ануш-то, выходит, и не приметил. Дьявольщина... И тут мне хочется завопить от восторга: ревнует, значит? Ануш ревнует, коли приметила Каринэ...

— Вам что, молодой человек?

Ноги сами собой привели меня к прилавку бакалейного отдела. Какое-то мгновение бессмысленно взираю на продавщицу.

— Кофе,— говорю я,— килограмм кофе.

В комнате никого, видимо, ушли на кухню, а бобина все еще крутится — неужели не прошло сорока пяти минут? Быстренько перематываю пленку и, взяв магнитофон, отправляюсь в ванную.

— Кофе я принес, ма! — кричу из ванной.— Приму душ.

— Принимай, Овик-джан, принимай,— слышу в ответ.— Мы на кухне.

Открываю кран и включаю магнитофон. Запись удачная, без помех.

«— Ну, говори же! Говори, пока Овик не вернулся, что за кошка между вами пробежала.

— Помнишь, в тридцать четвертом году Врам в Баку ездил?

— Помню. Дальше что?

— В Баку он любовницу завел.

— Зачем ездил-то?

— Только-только поженились, двух лет не прошло. Съезжу, говорит, в порту поработаю, деньги, мол, там большие платят, одежи, мол, куплю, то да се. Чтоб ему пусто было с его одежей!

— А-а! И мне еще кашемировую шаль привез.

— Да уж, он всем тогда понавез всякой всячины. Теперь-то я понимаю: для отвода глаз. Поди знай, чего там своей Иветте надарил.

— Какой такой Иветте?

— Да говорю же — любовнице своей. Эх, влепить бы этой потаскушке оплеуху! Сорок лет как белка в колесе: детишки, внуки, дом да семья — на небе бог, на земле Врам... Одну только оплеуху, Иветточка.

— Полно-ка, возьми себя в руки, не девчонка ведь.

С минуты на минуту Овик вернется. Сорок лет спала — и вдруг проснулась?

— Да если только через сорок лет узнала?

— От кого узнала-то?

— Говорю же — в Артике. Сирануш рассказала да еще два письма показала, по-русски написаны, карточку — лицо дряблое, веснушчатое... Тоже мне, выискал, горе мое.

— Сирануш, говоришь, рассказала?

— Ну да, Сирануш, золовка моя, твоего зятя Врама родная сестра. Эта паскудница Иветта с твоим зятем на пароходе до Астрахани каталась...

— Ой, молоко убежало...»

И все, дальше только шорохи: должно быть, как ушли сестры на кухню, так и остались там. Ай да история, ай да дядя Врам!..

Выхожу из ванной, ставлю магнитофон на место, потом, будто и впрямь вымытый-распаренный, иду на кухню и с места в карьер пускаюсь в крестовый поход.

— Тетушка,— говорю,— а не махнуть ли нам в Баку, проведать тетю Иветту, шутка ли, двадцать восемь лет не видел ее.— Мне двадцать восемь лет. — Красивое имя: И-вет-та:

— Какая она тебе тетя! — взрывается тетушка Назели.

— А кем же мне приходится дядина любовница?

— Да ты не был, что ли, в магазине-то? — оторопело спрашивает мать.

— Вот твой кофе, ма.— Я бодренько кладу на стол пакет; мать приближается, разворачивает его, перебирает кофейные зерна, нюхает их, а я как ни в чем не бывало подсаживаюсь к тетушке.— Зря ты собираешься разводиться. Дядя Врам гениальный мужик.

Тетушка не в состоянии применить слово «гениальный» к моему злосчастному, моему великолепному дяде Враму; оно, видно, и вправду никоим образом не соотносится с ним. Тетушка перебирает в уме другие определения, по ее разумению более подходящие прелюбодею дону Враму: блудливый, распутный, развратный, бесстыжий...

— Нынче такие, как он, на целину подаются,— говорит тетушка.— Вон нашей соседки Елинэ муж четыре года уже туда-сюда ездит. Люди говорят, и там тоже домом обзавелся, семьей, детишками.

— Слушай, тетушка, а чего ради золовка нашептывает тебе сорокалетней давности сплетни?

— Золовка моя тоже от своего благоверного натерпелась. Он у нее главный бухгалтер в больнице, спутался там с какой-то медсестрой. Совсем они очумели в своем Артике. Кобель этот по ночам домой не является: то, дескать, дежурю, то то, то другое. Какое, спрашивается, у бухгалтера в больнице дежурство?!

— А дальше?

— Дальше золовка зовет меня, просит, чтоб малость мозги ему вправила. Ну, я и говорю: чего мучиться-то, возвращайся в Ереван — и все тут... Сходили в баню, поглядели на эту самую медсестру. Никудышняя рябая бабенка. Стриженая, безмужняя...

— А дядя Врам...

— Короче,— опять раздражается тетушка,— с нынешнего дня никакой он тебе не дядя. А золовка-то моя... «Собирайся, говорю, Сирануш, поехали в Ереван, детей-то у тебя, слава богу, нету». А она: «Затем ли я тебя звала, чтоб ты с ненаглядным моим мужем меня разводила? Какой мужчина без греха?» — «Мой», — говорю. Горе на мою головушку... Золовка-то мне все и выложи, да еще Врамовы письма из тайничка достала, да карточку ту...

— Иветтины письма?

— Не произноси имени этой шлюхи.

— Мам,— заявляю я вдруг матери,— а не жениться ли мне на соседской Ануш?

Вот что ее отрезвляет!

— На Ануш? Которая нагишом по городу расхаживает? — Мне вспоминается багряное платье Ануш и трепещущее в багрянце пламя — ее тело, мне вспоминаются ее глаза.— И не заикайся об этой бесстыднице! — Мама яростный враг мини-юбок.

— Она носит длинное-предлинное пальто, зимой увидишь. Но мать у нее бакинка.

— О господи! — Тут уж и тетушка впадает в отчаяние.— Овик-джан, родненький, не делай этого! Давай посватаем нашу Сусанну — работящая, обходительная, тише воды, ниже травы, чудо, а не девушка. Воспитательница она в детсадике. Уж коли с тридцатью или сорока сорванцами управляется, за своим-то дитем углядит. Не жаль тебе разве матери?

— Имя не годится, тетушка. Поженимся, дразнить начнут: Сусан и Сейран [1].

— Да ты ж Ованес.

Внезапно меня захлестывает волна нежности к моей смятенной, растревоженной тетушке, но я уже завелся и гну свое:

— Вот если б ее звали Кристина, или Мариэтта, или, на худой конец, Иветта...

— Ты опять...

— Так уходишь ты от мужа или нет?

— Вчера в суде была. Не готовлю ему, не стираю.

— Ну, знаешь ли!..— разводит руками мать, потом поворачивается ко мне:— А ты ступай к своей голоногой Ануш. Хороши, нечего сказать: Ануш и Саро... [2]

— Браво, ма!

А тетушка Назели еще не завершила своего монолога:

— У меня дом, крыша над головой. Пускай сам убирается в Баку, к своей крале...

— Ей ведь теперь тоже лет, наверно, шестьдесят. И муж тоже, квартира,— говорю я.

— Быть этого не может, чтоб муж ее бросил. Или помер, наверно... Жилось-то ему, поди, не сладко.

— Тем лучше,— продолжаю я.— Два сапога пара — Врам да Иветта. Хорошо звучит. Старая любовь — с ней, тетушка Назели, знаешь ли, шутки плохи.— Затем вполне серьезно спрашиваю: — Тетушка Назели, ты любила когда-нибудь? — И столь же серьезно обращаюсь к матери: — Ты прежде влюбилась в отца, а потом уж за него вышла?

Тетя Назели взирает на меня с печальным недоумением.

Так же печально-недоуменно смотрит на меня мать.

Затем обе они принимаются беззвучно плакать. Плача, тетя придвигает матери стул и сжимается, как ребенок, когда та кладет руку ей на плечо. Из потемневших глаз у них текут слезы смирения, а губы что-то шепчут. Молитву? Господи боже мой, что ж это я натворил!

— Тетушка Назели! Мам!..

---

[1] Герои романа Александра Ширванзаде «Намус».
[2] Герои поэмы Ованеса Туманяна «Ануш».

А сестрам не до меня, до них словно и не доходят звуки грешного этого мира. Они плачут — все так же смиренно и беззвучно.

И только тут я соображаю, как глубока их обида и как глупо, вздорно и бессердечно мое пересмешничанье...

Матери было лет пятнадцать — шестнадцать, когда ее выдали за отца, а тридцати двух лет она уже стала вдовой. Тете было столько же, когда ее обвенчали с Врамом. Любили ли они? Какой, в сущности, нелепый вопрос... И еще до меня доходит, что эти много пожившие и перевидавшие женщины, что они в каком-то смысле шестнадцати-семнадцатилетние девчонки, ведь в их душах непочатый край нерасплесканных, не испытанных ими чувств. Они не знали любви, не ведали ревности. Они остались столь же прекрасны, столь же непосредственны, как и Ануш, а может, еще прекрасней, еще непосредственней, и в их сердцах доныне живы семена хрупких девичьих тревог — любви, ревности, ожидания,— семена, которым никогда уже не суждено прорасти, которые вовеки пребудут неузнанными, безымянными. Тетушкина запоздалая, на сорок лет запоздалая ревность, минутой раньше казавшаяся мне смешной,— как она, выходит, естественна и неизбежна...

Постарайтесь же простить нас, мамы, ведь вам под силу все, коль скоро вы способны жить и рожать детей, способны ревновать шестидесяти четырех лет от роду, и страдать, и ждать без багряноцветных сказок любви.

...А история эта завершилась так. Тетушка Назели не ушла, разумеется, от своего дона Врама, погневалась с месяц, а то и меньше, и дело с концом. Помирились. Тетушка привезла из Артика и собственноручно сожгла над газовой конфоркой фотокарточку бакинской обольстительницы и ее письма. Но из театра, где приискала себе работу, так и не уволилась. Вот и теперь,— а с той поры минул уже не один год,— она все еще служит в театре гардеробщицей, и когда в зале, в последнем ряду, случается свободное местечко, особенно если спектакль про любовь, тетушка усаживается в кресло: смотрит и частенько плачет — самыми что ни на есть настоящими горючими слезами.

1976

ПОЛУНОЧНАЯ БЕСЕДА

Окна мало-помалу синели, и синева постепенно переходила в темно-фиолетовый цвет, который затем сгущался до черноты. Жил я высоко — на шестнадцатом этаже гостиницы, и городские огни плыли где-то внизу. Как это здорово! Мы тоскуем по самому разному, но более всего — задумался ли кто-нибудь над этим? — более всего тоскуем по себе. Да-да, по себе. Каким же сокровищем сделалось в наши дни уединение! И как приятно пользоваться им в далеком, почти незнакомом городе, когда рядом ни родных, ни друзей, ни врагов. Как приятно, запершись в гостиничном номере, смотреть в окно. Вот уже сколько лет я толком не видел заход солнца, а сегодня рассмотрел его во всех подробностях. Будь я писателем или художником, непременно бы его изобразил... Солнце выглядело сегодня вконец измотанным. Бедное солнышко — вставать ежедневно в один и тот же час и трудиться, трудиться, вкладывая в работу добросовестность вечности. Не так-то просто быть работягой мироздания. Кто знает, сколько еще миллионов лет ему предстоит вкалывать...

Уединение порождает в моем мозгу странные мысли, но в тот момент они мне кажутся гениальными. (Наверное, именно поэтому люди искусства так жаждут уединения.) В дверном просвете золотистая нить — это проникает ко мне свет из коридора. На столике телефон, и я знаю, что он будет молчать, если, конечно, какой-нибудь торопливый москвич не ошибется номером. А может, Ваге успел уже кому-нибудь сообщить наш телефон? Тогда придется взять трубку! «Ваге нет».— «А когда он придет?» — «Не знаю, он в библиотеке».

В дверь стучат. Кто бы это? Ну конечно же, официант. Как я мог забыть! Быстро включаю свет, и уединение мое улетучивается, подобно дыму сигареты. В комнате оживают вещи — мебель, картины.

— Входите, пожалуйста.

Вначале появляется столик-каталка, нагруженный закусками, бутылками, тарелками, а за ним — крашеная блондинка средних лет. Она внимательно оглядывает номер. Убирает со стола все лишнее — мой портфель, темные очки Ваге, пепельницу,— расставляет тарелки, бутылки. Я слежу за ее руками — движения быстрые, ловкие. Накрыв стол, она спрашивает:

— Что, опаздывает?

До меня не сразу доходит смысл вопроса.

— Вы ведь на две персоны заказали.

— Ах да,— наконец сообразил я,— опаздывает. Очень опаздывает. Не знаю, придет ли...

— Придет,— грустно улыбается женщина.— Раз обещала, придет.

— Обещал,— говорю.— А вы со мной не выпьете стаканчик?

— Спасибо,— отказывается женщина,— я на работе, мне не положено. Когда закончите, позвоните в ресторан по тому же номеру. Спросите Шуру. Я за посудой приду. Приятного вам вечера.

— Спасибо.

Официантка уходит, и я вновь гашу свет и зажигаю сигарету. Огонек-точка чуть-чуть оживляет мглу. Наливаю в стаканы красное вино. (Цвета не видно, но я заказывал красное, так что, по всей вероятности, красное.) Чокаюсь со стаканом, стоящим на противоположном конце стола, и слышу собственный голос:

— За тебя, отец...

Сегодня день рождения отца. Ему исполнилось бы семьдесят пять, но его нет на свете уже тридцать четыре года. Недавно мне исполнился сорок один год — стало быть, мы с отцом сравнялись летами. Я даже на пару недель постарше его. Так что мы с ним, как друзья-ровесники, можем посидеть, потолковать, выпить. А закуску я заказал его любимую — насколько это было тут возможно. Но она так и останется нетронутой, и добрая наивная Шура, придя за тарелками, удивится: так и не пришла?..

«А я, Шура, ждал отца...»

— За тебя, отец.

Звенят наши стаканы. Пью сначала свое вино, потом вино отца. Хорошее вино и холодное. И снова наполняю стаканы.

Я где-то вычитал, что человек после смерти продолжает жить минимум сто лет. Он жив, пока существуют люди, которые его знали, видели. И после — пока существуют люди, которые слышали о нем от тех, кто его видел. Значит, отец еще жив. И после меня будет жить — я много о нем рассказывал сыну...

— Знаешь, отец, когда Ваге был маленький, он звал тебя «дедушка с картинки». Однажды разревелся из-за

того, что ты не водишь его на карусель и не покупаешь ему игрушек, как положено дедам. «Не хочу дедушку с картинки! — заявил он.— Хочу настоящего дедушку!»

А теперь Ваге в Москву приехал, будет в университет поступать. Знаю, ты мечтал, чтобы я университет окончил, и непременно московский. Не вышло у меня... Ты не успел даже увидеть, как я вывожу свое первое «а». Выпьем, отец. За тебя!

Помню, как ты в нашем сельском дворе мял ногами виноград — образовывалась мутная зеленоватая жижа, ею наполняли карасы, и, перебродив в них, она делалась вином. А мы, дети, прозвали вино водой, «в которой отец ноги мыл». Помнишь? Я помню, как сейчас... Ты давил виноград осторожно, словно жалеючи,— с какой-то невыразимой грустью. Но жизнь винограда, видимо, может продолжиться только в вине — потому нужно его давить. И жизнь взрослого человека — то вино, которое получилось из виноградного детства. Давили детство, давили, да только не твоими, отец, добрыми ногами...

Нет, писателя из меня не вышло — я архитектор, проектирую высотные здания, приближаю людей к небу. А может, наоборот — удаляю их от неба. Ведь чем ближе человек к земле, тем он ближе к небу. А мы отрываемся от земли, отец. Как ты понял это еще в то время и остался ей предан?..

В нашем доме живут книги, которые ты читал. Со своим образованием, со своей начитанностью ты мог бы стать учителем, адвокатом, даже писателем, но ты вернулся в село и подновил дедову развалюху, нависшую над ущельем. Земли у тебя не было — кругом громоздились голые бесплодные скалы, срывавшиеся прямым отвесом к ущелью. А ты, едва воздвигнув стены дома, наносил неведомо откуда земли, покрыл ею скалы и посадил на той земле виноградные лозы, деревья, цветы. Теперь сад разросся — жаль, дом уже не наш. Ты мог бы, скажем, переводить стихи, но предпочел вырастить на скале виноград, абрикосы, персики, сливы. В том доме, отец, давно стерлись и наши и твои следы, но ты не горюй — деревья твои живы и по сей день плодоносят. Я часто бываю в селе и смотрю издали, со старого моста, на наш дом. А войти в него не могу, хотя его новый хозяин хороший человек и каждый раз зазывает меня в гости. Да, в гости, к себе в дом. Но мне кажется — если я войду в его дом, тут же потеряю наш дом,

твой дом. А деревья живы — что с ними сделается,— разве что отомрет старая ветка, а новые ее заменят и повторят. Дерево вернее своей природе, чем человек.

— За тебя, отец.

Вино пробуждает во мне грусть и воспоминания... Твой внук, мой сын, задумал стать писателем. Не знаю, удастся ли ему это. Он должен бы поначалу окончить университет деревьев и камней, а потом уж отправляться в Москву. Правда, парень он способный и начитанный — ему ничего не стоит с ходу описать город, природу, любовь, ненависть. Но сможет ли он стать писателем, не знаю...

Ты не успел увидеть, как я вывожу свое первое «а», а я вот, бросив все дела, прилетел с сыном в Москву, чтоб он не чувствовал себя одиноким и беззащитным. Разве так становятся писателями, отец? Разве вообще так кем-нибудь становятся? Дерево — то само должно выстоять в жизни: и с бурей справиться, и с жаждой, и с червями, которые подтачивают его корни. Да, само. А сын мой — начитанный и беспомощный мальчик. Сумеет ли он стать подобным дереву? Не знаю. Видишь, отец, я все понимаю, но прилетел с ним за две тысячи километров и завтра буду слоняться возле университета со сжавшимся от страха сердцем: что он получит?..

Ты очень рано ушел из жизни, отец. Я даже не понял, что ты уходишь. Да и можно ли понять смерть в шесть лет? Что ты так поспешил, отец? Представь, я завидую сыновьям, которые сами хоронят отцов — провожают их туда, откуда нет возврата... Через пару часов после смерти отца сыновья, одолевая горе, собираются с родней, с товарищами и решают, что делать. Отправляются на кладбище, своими руками роют могилу — последнее пристанище отца,— а потом идут гроб покупать...

Я только единожды в жизни ходил покупать гроб. Умер отец моего школьного приятеля, Армена. Мы пошли втроем — Манук, Рубен и я. Это ребята из нашего класса, ты их не знаешь. Я никогда не видел сразу столько гробов. Гробовщик — худой такой, тщедушный человек — сидит завтракает. Перерыв, говорит. Мы растерялись, опешили — стоим у него над душой, смотрим эдак жалко. И не знаем, какие слова подыскать, чтоб на него подействовали. Он, наверно, понял наше состояние и проникся сочувствием — ведь видно же: не профессиональные покупатели гробов. «Я,— говорит,— пока поем,

а вы выбирайте. Те четыре гроба, что у окна,— заказ, а остальные,— говорит,— милости прошу. Один другого лучше. У меня,— говорит,— худого товару не водится».

Товару! Гроб — товар, значит. Во мне что-то заныло, отец, и ребятам, смотрю, не по себе — переглядываются беспомощно, горько. Манук первый взял себя в руки, подошел к пирамиде гробов. «Вам за сколько требуется? — жуя хлеб, спросил гробовщик.— Тот, что ты тронул, сто пятьдесят стоит».— «А самый дорогой какой?» — со злостью спросил я. «Дорогие всё дорожают,— последовал философский ответ.— У людей деньжата водятся, люди не знают, во что их вложить. Потому и дорожают гробы. Нынче самый дорогой двести пятьдесят стоит. Я вам, так и быть, за двести уступлю. Вы, видно, хорошие ребята. А мой сын, к слову, вряд ли станет для меня гроб покупать. Я себе гроб своими руками сколочу, гвоздик к гвоздику... Чей отец-то помер?» — «Нашего друга»,— почему-то отчитался я перед гробовщиком, и тот глянул на меня как-то странновато. Зажег сигарету, глубоко затянулся, потом встал и еще раз обвел нас всех взглядом. Короче, выбрали мы самый лучший гроб, и гробовщик, которого, как выяснилось, звали Мисаком, даже на улицу вышел нас проводить и машину для нас раздобыл. Бережно положил в нее гроб, а потом очень долго пожимал нам руки. «Ежели, не приведи господь, понадоблюсь,— говорит,— милости прошу». Странный был человек...

Прости, отец, что вспоминаю грустное.

Ты теперь на целых сорок лет младше матери — не узнал бы ее. Мать утверждает, что я твоя копия. Когда смотрю на твою фотокарточку, мне и впрямь кажется, что я на тебя похож... Забавно — я, как и ты, терпеть не могу вареный лук. Каким путем проникла в меня эта твоя причуда? Я, как и ты, боюсь людской подлости — теряюсь. «Ты весь в отца,— ворчит мать,— мягкий, как вата. Тебя любой растоптать может». А что мне делать, отец? Камень в вату вложить? Старший брат, рассказывали, столкнулся как-то лицом к лицу с подлостью и пришел к тебе за советом. Ты и ответил: «Подлец хочет тебя на драку вызвать, чтобы ты с ним сравнялся. Но если ты с ним сравняешься, одним честным человеком на свете станет меньше. Ведь подлость только подлостью одолеть можно. Так что лучше не связывайся, сынок». Не знаю, эти ли слова ты произнес, но, когда смотрю на

твою фотокарточку, кажется — да, именно эти. Твои глаза всю жизнь смотрели на небо, на землю, на виноград. А на подлость они не то чтобы боялись, а просто не желали смотреть. Можно ли так жить, отец? Смею ли я дать подобный совет сыну, если однажды он лицом к лицу столкнется с подлостью? Не знаю.

Мать положила мне в портфель банку айвового варенья. Она никогда не забывает, что я его люблю, и, если я отправляюсь в командировку, непременно заставляет меня взять его с собой. «Пей побольше чаю,— говорит.— Кто знает, какая там вода». Ваге упаковывал вещи и смеялся — ему казалось странным, что кто-то помнит, что любит другой. А ведь это прекрасно, отец. Я помню, что ты любил читать мне стихи. Я, конечно, ничего не понимал, но ты читал мне их наизусть с какой-то подкупающей мягкостью. Мне было всего пять лет, а в тех стихах дышала печаль, страдание, радость, тоска. Наверно, потому я и не стал писателем, что не нашел ни разу таких мягких, удивительных слов.

Иногда я навещаю тебя, прихожу на твою могилу. И знаешь, что самое ужасное, отец? Когда бы я ни явился, ты всегда на месте, и, сколько бы ни прошло времени, ты будешь лежать все под тем же деревом, по соседству со своим отцом. Не встанешь, чтобы разбить виноградник (а твой виноградник давно уже не твой), не прочтешь мне стихотворение, не запустишь ласковые пальцы в мои поредевшие волосы. Я разъезжаю по стране, по миру, перелетаю из одной части света в другую, а ты все лежишь под своим деревом. Несправедливо это, ужасно несправедливо...

Чокаясь со стаканом отца, проливаю на скатерть вино. Шура рассердится. Ну да ладно. Не зажечь ли свет? В этот момент раздается телефонный звонок. Нехотя поднимаю трубку. «Это я, па. Я чуть-чуть опоздаю. Ничего, если приду не один?» — «Ничего,— говорю. Интересно, с кем же? — Приходи поскорее. Возьми такси».

Свет я так и не зажег: глаза мои уже освоились с темнотой, и потом — если зажечь свет, отец уйдет. Свет отнимет у меня отца, а ведь сегодня день его рождения.

— За тебя, лучший товарищ моего детства.

Неделю назад хоронили одного из моих друзей. Он умер внезапно, от инфаркта. Оставил из-за женщины семью, а женщина ему изменила. Получил письмо от сына — жестокое письмо. «Оно его и убило»,— сказал

один из нас. «Все мы его убили»,— сказал другой. И это в самом деле так. Мы до полуночи сидели в его пустой квартире и вспоминали, как в последние дни он жаловался нам на судьбу, без умолку говорил о своей жизни, а мы, отмахнувшись легким словом, шли по своим делам. В ночь смерти он позвонил мне и сказал, что хочет меня видеть. Я был занят — ответил, что утром позвоню ему, договоримся. Он сказал, что я ему нужен сейчас, сию минуту, но я выложил ему свежий анекдот и повесил трубку. Той же ночью он умер. Разве не мы его убили? Скажи, отец, отчего рушатся мосты, соединявшие людей?

Отцы умирают внезапно, матери — постепенно. Ведь отцы — мужчины, они должны быть сильными. Матери сетуют на отцов, на жизнь, плачут и за себя, и за отцов... Слезы отцов — они перегорают в душе, а это подтачивает, подтачивает изнутри. Что же подточило тебя, отец? Этого я не знаю и, наверно, не узнаю никогда.

Я беседую с тобой в далеком городе, в безмолвной полумгле гостиничного номера, и вино на исходе. Ты мало-помалу исчезаешь — растворяешься в дыму и в бликах света, выходишь в окно, в дверь. Постой, отец... Я тоже отец — для своего единственного сына, который сейчас явится беззаботный, шумный. И я должен выглядеть перед ним сильным. Но это еще немного погодя. А пока мне хочется побыть слабым, потому что я всего-навсего сын, хоть мы и сравнялись сегодня с тобой годами.

— За тебя, отец.

Тебе пора уходить, но мы еще не поговорили о самом главном — отчего рушатся мосты, соединявшие людей? Так, наверно, поставил бы вопрос никудышный писатель, а ты находил другие слова. Ты никогда не ныл, хотя был добрее и тоньше меня и тебя, наверно, топтали больше... Ноги твои в земле, как корни виноградной лозы. А где наши корни? Мы — комнатные растения: довольствуемся горшком земли и глотком воды, и потому нас нетрудно выдернуть из земли с корнем. Да нет, отец, не огорчайся, все у меня в порядке: работа, семья. Вот видишь — внук твой приехал в Москву в университет поступать и поступит, должно быть, и станет, кем задумал. И с женой мы живем в мире и согласии. У меня есть один приятель, он говорит — если хочешь, чтоб жена тебя любила, сделай так, чтоб она тебя жалела. И зна-

ешь, как он поступает? Возвращаясь из командировки, сует в чемодан кучу лекарств, некоторые баночки-скляночки уже пустые. Жена в панике, а он ее якобы успокаивает: «Ничего, просто сердце барахлило, головные боли донимали. Лекарства попил — прошло. Дай-ка чаю погорячее и покрепче...» И жена принимается вокруг него плясать, вопросов ему больше не задает. Смешно, правда? А я так не могу. Случается, ссоримся с женой. А ты с матерью ссорился? Из-за чего?

Интересно, произойди чудо и сфотографируйся мы, ровесники, нынче с тобой, сходство обнаружилось бы?.. Видно, вино делает свое дело... Не хочу, чтобы ты уходил. Я не сказал тебе самого главного.

Неделю назад сидел на нашем старом мосту и смотрел на другой мост, разрушенный. Прости за банальное сравнение, но иное не приходит в голову — недавно один из моих приятелей сподличал и разрушил мост, соединявший нас. Перед тем как его взорвать, он, наверно, и не взглянул, что взрывает. А взглянуть стоило на то, что сам строил, стоило измерить взглядом пространство, которое преодолел наш мост. Советуешь помириться? Мирятся враги, отец, а мы ведь друзья, оставшиеся на разных берегах, а между нами рухнувший мост. И мутная река. И мы можем только издали смотреть друг на друга. Потом эта мутная река высохнет, а над высохшими реками люди не возводят мостов.

Что, в дверь стучат?

Включаю свет, появляется Шура.

— В чем дело? — говорит.— Почему вы ничего не ели?

— Мы пили,— отвечаю.— Видите, все прикончено.

Шура смотрит на мой стакан, на стакан отца и качает головой, ничего не понимая.

— Я с собой еще две бутылки вина прихватила,— говорит она.— На всякий случай.

— И прекрасно сделали, Шура.

Она быстро убирает со стола, я расплачиваюсь и остаюсь один. Свет не гашу. В голове перекатывается расплавленный свинец, стены раскачиваются, как отцовы деревья под ветром, а душа спокойная, умиротворенная. Без стука входит Ваге. Только в коридоре раздается его голос: «Можно, па?» — «Можно»,— говорю. С ним светленькая девчушка, которая тут же представляется:

— Марианна. Мы с Ваге вместе будем экзамены сдавать.

Ваге смотрит на пустые бутылки и подмигивает Марианне:

— Отец тут кутил. Интересно, с кем?

— С твоим дедом,— говорю.— Сегодня день его рождения. Он недавно ушел.

— Кто?

— Твой дед, Ваге.

Ваге улыбается удивленно и снисходительно. Он меня не понимает. А разве сыновья когда-либо понимали отцов? Да и к чему им это? Вот отцы обязаны понимать сыновей — в этом их великая мука и великое счастье.

1977

ДЕНЬ И ЖИЗНЬ

> Море, тем оно и море, что, разбушевавшись, выходит из берегов, сметая все на своем пути. Если же оно всегда спокойно, то какое это море — так, болото или просто гигантская лужа.
>
> Человек, тем он и человек, что должен бунтовать, должен «выходить из берегов», восставать против несправедливости, выплескивать наружу то, что в остальные дни приходится таить в себе. Потом он, правда, успокоится, как море... до следующей бури.

Лучшее время рабочего дня — это перерыв. Всего сорок пять минут, но растягиваем мы их как тянучку — уже за десять — пятнадцать минут до звонка, которым у нас и начинается и заканчивается перерыв, откладываем свои карандаши и линейки. Ждем. Ненавижу я эти звонки. Словно в мире часов нет, одни звонки. Они — нововведение нашего шефа, будь его воля, все в мире он начинал бы и заканчивал звонками; со звонком бы рождались, со звонком грустили, плакали, женились и разводились. Последнее, очевидно, было бы не так уж плохо, если учесть, что многие давно решились, вот только звонка ждут.

Бросаю взгляд на часы — осталось минут десять — пятнадцать. Арам уже выложил перед собой на чертеж сигареты и спички. Он единственный в нашей комнате

мужчина и заядлый курильщик, а мы его «гарем» (утешение неудачника). Мери тоже курит, но она любит делать это только в обществе — в кафе или во время собраний. Дамам можно, не так ли,— говорит она кокетливо и демонстративно закуривает. Всегда у нее хорошие сигареты, как-то дала мне попробовать, назывались, по-моему, «Салем», ароматные сигареты, специально для женщин. Сейчас Мери сидит как на иголках, каждую секунду бросает взгляд на двери, ждет, видно, кого-то. Арамуи из нижнего ящика стола извлекла на свет божий потрепанную, видавшую виды хозяйственную сумку. Во время перерыва она побежит на базар, тут неподалеку от нашей мастерской. «Вечером опять гости,— шепчет она мне на ухо,— не знаю, смогу ли достать свежие виноградные листья?» Хорошая девушка Арамуи! Асмик и Седа у нас новенькие, работают всего два-три месяца, сидят целый день за чертежами, но пока и сами не знают, что делают. Сейчас они достали зеркальца, губные помады, карандаши для век и быстро-быстро приводят в порядок свои хорошенькие мордочки. У Седы помада ярко-красного цвета, для чего ей вообще нужна помада, непонятно! Стол Арама на другом конце комнаты, но я уже давно заметила, что он непрерывно наблюдает за мной, словно рентгеном просвечивает. За удивительную способность распознавать людские настроения мы прозвали его Рентген-Арамом. За мной он следит уже дня четыре, вот и сегодня, знаю, спросит: «Что с тобой происходит, ты сама на себя не похожа?!» «Пойдешь со мной? — спрашивает Арамуи,— случается, мы вместе ходим на базар.— Тысячу раз говорила мужу, хочешь пригласить гостей, предупреди меня заранее». Нет, я не пойду, хотя и знаю, что дома — шаром покати. «Мне в библиотеку нужно заскочить»,— говорю я. Арамуи смеется: «Представляешь, как было бы здорово и гостей своих потчевать книгами: почитали, поговорили, ушли». «Лучше всего дать им поваренную книгу,— пытаюсь острить,— выберут свои любимые блюда, глядишь, и сыты будут».

Вот и долгожданный звонок.

Все устремляются к дверям.

Арам долгим, испытующим взглядом рассматривает меня.

— Ты стала походить на дешевую восковую куклу. У вас в доме что, зеркала нет?

— Есть,— отвечаю,— целых четыре, смотреть просто не на что.

Бегу в туалет, что на четвертом этаже. Здесь уже собрались наши, примеряют какие-то тряпки. На ногах у Мери потрясающие красные туфли (хороши у чертовки ножки). Красуясь, она прохаживается перед зеркалом и, звонко смеясь (красивые у чертовки зубы), объявляет: «Чтобы носить такие туфли, женщина должна иметь богатого любовника».

Я подхожу к зеркалу: лицо мое и впрямь отсвечивается восковой бледностью, волосы взлохмачены, от помады не осталось и следа — дешевая восковая кукла. Со стороны может показаться, что недавно я с кем-то безудержно целовалась. Как в кино — сказал бы Ашотик. И пудры у меня тоже нет.

— Можно я возьму пудру, Асмик?

— Ого,— это уже Мери,— бывшая девица Анушик собралась на свидание. Шеф вызвал?

— Вызвал! — Молниеносно пудрюсь, выскакиваю в коридор и хлопаю дверями. Потрясающие туфли! Их приносит сюда одна женщина, знакомая Мери. Стоят они в магазине пятьдесят — шестьдесят рублей, у нас она их продает за сто — одна моя месячная зарплата. Почти. В коридоре, прислонившись к стене, стоит Арам и с жадностью втягивает темно-сизый дым.

— Курить хочешь? — протягивает он мне сигарету.— Тебя, кажется, шеф вызывал. Мадонна бегает, ищет.

Мадонна — это наша секретарша, некрасивая такая девчонка. Это последнее обстоятельство немаловажное. Секретарша должна быть некрасивой — принцип шефа,— во всех отношениях удобно: у жены не будет повода для сомнений, друзья не позавидуют, да и самому спокойнее работать. Да, для мужчины большое испытание знать, что за стеной всегда сидит хорошенькая женщина, обязанная войти по его зову.

Мадонна... Имя это мы дали ей в шутку, если до нее дойдет, может обидеться. По-настоящему звать ее Лусик, и за шефом она ухаживает лучше родной дочери.

— Ничего,— решаю,— подождет.— У меня и так всего-навсего один перерыв. Слушай, Арам, ты неправильно выбрал профессию, тебе бы психологом или психоаналитиком быть. И все-таки очень тебя прошу, оставь меня в покое, выбери себе другой объект для опытов.

— Кури,— снова предлагает он мне,— кажется, ты немного пришла в себя.

— Это все внешне,— говорю я и, медленно волоча ноги, иду прочь.

В библитеку сегодня уже не попаду. Ашотику обещала купить танк, давно обещала, времени в магазин зайти нет. А вчера он утащил танк из детского сада, так что сегодня купить просто необходимо. Его распрекрасный папочка, знаю, никогда игрушку не купит, на такой подвиг он просто не способен.

Арам — хороший архитектор, с шефом они однокурсники, но друг друга не любят. Арам с ним демонстративно разговаривает на «вы». Зачем он так много курит, зачем мужчины вообще курят? Ну вот, расфилософствовалась, тоже мне Фрейд новоявленный. Топай-ка лучше после работы в магазин за танком.

Дробно стуча каблучками, приближается Мадонна.

— Ануш, вас шеф вызывает. Вам не передавали?

— Передавали, Лусик.

— Сегодня он даже не отдыхал,— пожаловалась она,— завтрак, что я отнесла утром, так и не тронул.

— А сама ты ела?

Лусик что-то пробормотала, а потом стала показывать мне серебряное колечко.

— Красивое, правда? Вчера был мой день рождения.

— Красивое,— ответила я и посмотрела на нее с жалостью. Наверное, кто-нибудь из наших ребят подарил, теперь она несколько дней будет ходить счастливая. А потом разозлилась: «На себя оглянись, кто бы тебя пожалел!»

Шеф наш порядочный бабник. Бабник — наше слово, ему больше нравится «женолюб». На вечеринках, под влиянием выпитого вина и окружающих его женщин, он обожает повторять: «Настоящий мужчина должен любить женщин. Женщина — самое совершенное творенье божье. Я бы и сам с большим удовольствием проектировал женщин, а не здания». «Вы бы создавали типовые проекты,— как-то не упустил случая съязвить Арам,— а каждая женщина неповторима». Шеф не остался в долгу: «Твои женщины существуют только в твоем воображении, а для меня они реальны, даже если созданы, как ты говоришь, по типовому проекту...» Почему я так не люблю этого человека — сама не понимаю!

Три-четыре года назад, принимая меня на работу, он

сулил золотые горы, обещал помочь перевестись на заочный (я тогда ушла с третьего курса института, Ашотик только-только родился). Ничего не выполнил. Институт я, правда, кое-как закончила, но и по сей день сижу на своем старом-престаром стуле. Ни в одном более-менее приличном проекте не участвовала, пробавлялась мелкими поделками. Устала. И впереди — никакого просвета, словно иду по длинному темному коридору без конца.

...В кабинете шефа, на столе, был разложен какой-то чертеж. Сам он, склонившийся к чертежу, показался мне взбешенным, в левой руке дымилась сигарета.

— Ну что, Сафарян, явилась наконец? — сказал он, даже не поднимая головы.— Пока ты соизволишь закончить проект детского сада, дети этого района успеют пережениться. На что ты надеешься?

Он не то чтобы со мной говорил, нет, просто бормотал себе под нос. Обычно люди, разговаривая, смотрят пусть и не в глаза тебе, но хотя бы в твою сторону, предлагают сесть. А этот все ворчит. Причина здесь скорее всего не во мне, но он раздражен, а я удобный объект для разрядки. Сесть мне не предлагают. Вначале я теряюсь, но потом сама подвигаю к себе стул и усаживаюсь прямо против него в довольно вызывающей позе. Я люблю, когда женщины так сидят.

— Ты к тому же еще и онемела, Сафарян,— отрывается он наконец от своих бумаг и смотрит опять-таки не на меня, просто в мою сторону. И на том спасибо.

Смотрит холодно, невидяще.

— Чертежи, где чертежи детского сада? Нужно было всего лишь внутренние узлы подогнать, никакого полета фантазии не требовалось.— И снова повторяет фразу, как видно, очень понравившуюся: — «Пока закончишь, все дети переженятся...»

— А некоторые из них успеют даже развестись,— как можно ядовитее говорю я.

В глазах шефа всплеск удивления.

— Может, ты получила приглашение из Парижа, скажи. Когда едешь? Какой проект думаешь осуществить? Может, новое здание Комеди Франсез? Это будет большая честь для нас, я лично не возражаю. Так когда?..

Глаза его постепенно приобретают металлический блеск, и говорит он теперь прокурорским тоном.

— Даю тебе срок до конца месяца, Сафарян.

Сафарян, Сафарян, словно имени у меня нет, к тому же эта глупая фамилия принадлежит моему мужу (на сегодняшний день — это единственный и великодушный его подарок). Мне неудержимо хочется плакать, и слезы не заставляют себя ждать. Плачу и вижу, что шеф как будто немного смягчился, вот сейчас он произнесет какие-то теплые слова, утешит, поинтересуется моей жизнью.

— Ну, так до конца месяца,— более спокойно, без раздражения, но абсолютно безразлично говорит он,— можешь идти.

Такое ощущение, словно меня избили плетьми. Встаю и выкатываюсь из кабинета, позабыв даже утереть слезы.

Ну чего я хочу от этого человека? Работу свою, конечно же, я должна делать сама. Но я ведь помню — и зачем только помню,— как три-четыре года назад он принимал меня на работу. Добрых полчаса вышагивал по своему просторному кабинету, вкрадчиво задавал вопросы, оценивал меня с ног до головы. В глазах словно молнии сверкали, освещая меня со всех сторон. Сейчас я понимаю — меня оценивал бесстыдник. Затем предложил снять курточку, помог, медленно и торжественно повесил в шкаф, словно я собиралась здесь проводить всю ночь.

В кафе, куда я еле-еле добрела,— ни души, перерыв закончился. Беру чашку кофе, сигареты — тетя Сатеник удивленно протягивает мне пачку «Ахтамар». Молча расплачиваюсь и сажусь в угол. Мой супруг сейчас, конечно, валяется на диване, читает очередной французский роман. Вернусь домой, будет рассказывать, так сказать, делиться. Во мне словно землетрясение начинается. Напротив висит зеркало, в нем я вся — с ног до головы — жалкая, беспомощная, сигарета в моих руках выглядит смешно и нелепо. Раньше, увидев такую, я бы со смеху подавилась: что за прическа, одежда! Больше четырех месяцев хожу на работу в одном и том же платье, гладить и то ленюсь, да и времени нет. Сначала шеф оказывал мне знаки внимания, делал двусмысленные предложения, а как-то вечером даже пригласил для работы над проектом. Не пошла. Потом он забыл о моем существовании, словно мокрой тряпкой стер надпись с доски. А может, ничего двусмысленного не было в его предложениях? Просто он, как сам о себе говорит, же-

нолюб, только и всего. Ну и что такого, могла пойти, не съел бы!

И тут я совершенно отчетливо чувствую, как во мне начинает подниматься ядовитая змея, нашептывать, что жизнь прожита зря, сплошные ошибки, и надо срочно что-то предпринимать... Нет, во всем, конечно, виноват Ваге Сафарян, эта пестрая бумажная кукла, нашпигованная словесной шелухой. И если бы в голове его образовалась щель, то, ручаюсь, из нее посыпались бы слова, слова, слова... Господи, ведь я его и полюбила за эти самые слова! Какие мы вели беседы, гуляя по Еревану, просиживая часами в кафе, парках. Но из слов одних дома не построишь, и, насидевшись в кафе, наслушавшись умных речей, люди расходятся по домам. От нас самих зависело, чтобы наш дом не оставался карточным домиком. Может, я поспешила с Ашотиком? «Идиотка, дрянь,— разозлилась я,— Ашотика не трожь». Так разозлилась, словно это не я сама, а какая-то чужая женщина произнесла ужасные слова, я же, настоящая Анушик, словно львица, бросилась на защиту своего ребенка.

Ну что знает Ваге в жизни: ничего. В голове у него только слова, слова, слова. Всегда с иголочки одетый ходил он в школу, читал книги, выучил французский язык, немного английский. А для того, чтобы понимать язык жизни, ему необходим переводчик, гид, который, как маленького, вел бы его по жизни за руку. Роль эта была уготована мне. Иногда я его жалею, словно он мой второй ребенок. На самом деле Ваге — истое дитя своей матери. Она живет на пенсию, которую ей платит государство, он — на мою небольшую зарплату. Каждый день, уткнувшись друг в друга, они часами шушукаются о прелестях парижской жизни и моих недостатках. Как я любила, когда он мне читал по-французски Аполлинера! Не понимала слов, он мне переводил, а музыка стиха в переводе не нуждалась. Ушло, все ушло. Вместо обещанных радужных туманов жизнь моя наполнилась стирками, ворчанием, усталостью и бессонницей. Ваге уже больше года не работает. Правда, первое время после окончания института он искал подходящую работу, наконец устроился в какую-то школу, в пятом Норкском массиве. Что это была за школа, я так и не успела узнать. Несколько месяцев ходил туда, дома злился, ворчал и в один прекрасный день заявил, что уволился. «Стоит ли из-за ста двадцати рублей драть горло по четыре часа в

день, да еще, учтите,— это французский язык»,— говорил он. Потом пытался давать частные уроки. Девушки, с которыми он начал заниматься, готовились поступать в университет. «Дубиноголовые,— заявил он месяц спустя,— стопроцентные ослихи, с ними от скуки можно умереть. В конце концов и без меня, и без моего французского они прекрасно поступят, куда им нужно. Заплатят денежки и... «Сезам, отворись...».

В кафе появился Арам. Молча уселся напротив меня и тут же закурил. Затем поднялся, принес кофе.

— Я уже пила.

— Выпей еще, при землетрясении помогает.

— При каком землетрясении?

— Твоем собственном. У некоторых людей — собственные машины, у тебя — землетрясение.

— Ничего, я спроектирована на девять баллов, выдержу... Тем более что дома трясет каждый день.

Арам словно и не слышит моих слов о доме, деликатный человек!

— Шеф себе лишнего не позволил?

Я молчу, потому что чувствую, ему я хотела бы рассказать все, хотела бы заплакать, закричать... Спокойно придвигаю к себе чашку, подношу к губам. Может, Арам меня любит? Может, дома у него так же плохо, как у меня?..

— Наконец-то мадам изволила явиться.

Свекровь приоткрывает дверь ровно настолько, чтобы я могла протиснуться. Руки у меня заняты сумками и игрушкой для Ашотика.

— Пришла? — слышу я голос Ваге.

Свекровь продолжает кипеть, булькать, словно кастрюля на плите.

— Ребенок охрип от плача, муж сидит голодный!..

С работы я шла пешком, хотелось побыть одной, подумать. Впереди в новых красных туфлях шествовала Мери, а шеф смотрел бы на жабу с большим интересом, чем на меня. Я шла медленно, разглядывая прохожих, театральные афиши. Сколько времени не ходила по улицам, а мчалась: на работу, с работы, в детский сад, в магазин, на рынок. Как белка в колесе.

— Внуком, мадам, могли бы и сами заняться,— отвечаю я как можно спокойнее,— и сына бы покормили, не мой, кажется, сын?

Свекровь в изумлении уставилась на меня. Она пока еще не подозревала, что во мне начинается землетрясение, но женским чутьем поняла — лучше промолчать — и ретировалась на кухню.

— Ты читала что-нибудь Фолкнера? «Шум и ярость» читала?

Я вдруг почувствовала мучительное желание швырнуть нагруженную сумку в гениальную голову моего супруга.

— О каком Фолкнере изволите говорить, мосье?

Он смотрит на меня с неподдельным сожалением, даже грустью. И это меня обезоруживает.

— Эх, Анушик, Анушик, отстаешь. Непременно прочти, а сейчас давай обедать. Кроме духовной пищи, человеку необходима и материальная, особенно когда хочешь понять такого сложного автора, как Фолкнер.

— Иди и поешь, чего тебе хочется, я не голодна, пойду к ребенку. Твоя мать на кухне, так пусть каждый займется своим ребенком. Есть у тебя мать или нет?

Ашотик, к моему удивлению, спокойно спит. Я сажусь рядом с кроваткой на низенький детский стульчик. Вот и еще один день моей жизни ушел. Шум и ярость — это о нашем доме написал Фолкнер, шум у нас постоянно, а ярость я давлю в себе, глотаю с отвращением, как в детстве рыбий жир.

— И все-таки прочти,— слышу из кухни,— в конце концов книги ты приносишь, спросят как-нибудь о прочитанном, опозоришься.

— Она и книги? — подает свой голос свекровь.— Последняя книга, которую она читала, была «Всадник без головы».

Я привыкла к подобным «шпилькам» и сегодня бы промолчала,— но эти двое уже сели на любимого конька и продолжали разговор в том же духе. «Ну что ты терпишь,— словно взрывается во мне чей-то голос,— у тебя самолюбия нет, ты стол, деревяшка, бумага, на которой что захотят — напишут, что пожелают — вычеркнут?!» И неожиданно для себя самой кричу,— наверное, я и вправду кричу, потому что там, на кухне, смолкают.

— Не все, что к плечам крепится, голова, мадам! И каждую тряпку, валяющуюся на диване, мужчиной не назовешь, мосье!

Ашотик просыпается и начинает реветь. В дверях возникает физиономия Ваге.

— Шум и ярость,— смеется он,— а ты и впрямь истеричка. Обедать точно не будешь?

— Я была в ресторане.

Он смотрит на меня изумленно и исчезает. Немного спустя из кухни доносится звон ножей и вилок... и шушуканье... Мать воспитывает свое единственное чадо, читает нотацию. Скоро супруг мой очухается от своей, если так можно выразиться, интеллектуальной спячки, вспомнит, что он как-никак мужчина и еще, к примеру, что долг женщины — повиноваться,— и в нашем доме вспыхнет очередной скандал. Многосерийный, тоскливый. Сердце болит внутренней застарелой болью. Наверное, и вправду катастрофа приближается.

Ашотик вновь уснул, я осторожно целую его перепачканные чернилами пальчики (опять он нашел мой фломастер), целую и, странное дело, успокаиваюсь. А что, если Ашотик вырастет и как-нибудь спросит меня: «Мама, ты Фолкнера читала?» Что я ему отвечу? Нет, прочитать, конечно, придется.

Три дня назад у нас собрались друзья моего супруга, такие же, как он, интеллектуальные бездельники. Сто чашек кофе выхлестали, какие в доме были сигареты, все выкурили. Говорили, видите ли, о высоких материях, друг друга никто не слушал, да и не это для них важно. Главное — заумно говорить, козырять своими знаниями. Особенно ненавистен мне Виген. У него широкое, как блин, тупое лицо, узкая щель рта и редкая козлиная бородка. Какой же современный мужчина без бороды?

— Как ты думаешь, Анушик,— в тот день внезапно обратился он ко мне,— экзистенциализм применим в архитектуре? Хочу знать мнение специалиста.

Я удивленно уставилась на его помятое лицо.

— Принести кофе?

Супруг мой заржал.

— Браво, Анушик, а вино у нас осталось?

— Да,— машинально ответила я,— красное.

— Видишь, Виген, женщине надо задавать вопросы, на которые она может найти ответ. И, заметь, какой прекрасный ответ: красное вино в запотевшей бутылке.— А потом обернулся ко мне: — Сходи за вином, вечером, перед сном, я тебе доступно объясню, что это за растение такое, экзистенциализм.

— Уговорил,— осклабился Виген.

— Сам ты растение, только бесполезное,— не выдер-

жала я.— Как фикус, к примеру, листья широкие-преширокие, зеленые, но бесплодные.

— Ну, что, получил? — снова захохотал Виген.

— Анушик,— заскулил супруг,— ты ведь даже Сартра не читала.

Мне стало жаль его, наверное, не стоило говорить про фикус, да еще в присутствии этого сморщенного типа.

Ашотик глубоко спит, как я ему завидую! Пока завидую! Потому что дети должны гордиться своими отцами, а чем может гордиться мой ребенок?

— Я ухожу,— приоткрыв дверь кухни, объявила я.— Ребенка накормишь сам, интеллектуальный папочка, расскажешь ему что-нибудь из Фолкнера, Сартра, ты ведь сказки ни одной так и не выучил.

— Куда это? — удивляются они в один голос.

— В театр, новую постановку смотреть.

— Все старые ты, конечно, уже видела,— говорит свекровь.

— А кто выгладит мне брюки?

— Твоя экзистенциалистка мать. Позови Вигена, на его физиономии и погладите, очень удобная будет доска.

Хлопнула дверью, а на улице почувствовала, что впервые довольна собой. Парочку таких уроков получат, может, что и изменится. В театр идти поздно, я и не знаю, какой там спектакль. Когда в последний раз была в театре! Может, пойти к нашим? Мысль эта рождается и тут же умирает. Мама будет вздыхать, ахать и в конце концов скажет то, что говорит обычно: «Если хочешь, возвращайся к нам». Первые три года у нее была другая песенка: «Терпи, это твой муж, молодой, неопытный. Возьмет себя в руки, устроится на работу...» Как же, взял он себя в руки!

Я не заметила, как оказалась перед ярко освещенными окнами парикмахерской на улице Абовяна. Нашли же название: «Дом красоты». В витрине вижу свое отражение: жалкая провинциалка, впервые, казалось, попавшая в большой город из глухого Гукасяна. В парикмахерской большие узорные зеркала, перед которыми в удобных креслах сидят, похожие на космонавтов, женщины. Под круглыми цветными шлемами волосы их становятся блестящими, нежными, мягкими, тоскующими по мужским рукам. Профиль одной из женщин напоминает Нефертити. Наверное, она сама это знает, потому даже не моргает. Муж мой сейчас бы позлорадствовал:

«Тебе что, знакомо имя Нефертити? Трудное ведь имя!» Да, трудное. У женщины, я считаю, вообще имя должно быть трудным, не то что мое — Анушик,— мягкое, как резинка. Потому и треплете его языками, да что там имя — всю меня жуете, изо дня в день, а однажды возьмете и выплюнете.

— К вам можно?

— Пожалуйста,— отвечает мне парикмахер — женщина средних лет. Я не смотрю на нее, смотрю в зеркало. Свекровь моя каждый месяц красит волосы, а по утрам причесывает тщательно семь-восемь оставшихся волосков. Может, так и следует?..

Парикмахер вначале расчесывает мои волосы, и они тяжелой волной ложатся на плечи. «Хорошие у вас волосы...» Пальцы ее скользят по моему лицу, волосам. Зеркало мне кажется овальным холстом в золоченой раме, а женщина рисует меня на этом холсте, подбирает цвета, линии. Вскоре волосы мои приобретают золотистый оттенок. Я давно о таком мечтала. Что за чудо этот парикмахер, кажется, она угадывает мои желания — поднимает тяжелую копну волос и укладывает волосок к волоску! Как я буду спать ночью? Мать с сыном, знаю, сидят сейчас перед телевизором, смотрят вместе с Ашотиком мультфильм и по пунктам готовят обвинительное заключение. Прокурор, конечно, моя свекровь. Обычно Ваге в мое отсутствие пытается меня хоть как-то защитить: я подслушала однажды их разговор. Когда матери нет у нас дома (у нее своя квартира, куда она ходит ночевать), Ваге словно подменяют: становится мягче, добрее, все время старается прийти ко мне на кухню, помочь. Спокойно пересказывает прочитанные книги. Но как только появляется мать, вновь надевает свою маску. Ашотик, наверное, с упоением и восторгом следит за проделками смелого зайца и даже не подозревает, что его папочка не обладает даже малой долей заячьей смелости, не может защитить себя, нашу жизнь, нашу любовь... если таковая была.

Утром я надену абрикосового цвета платье, серьги с изумрудами (мое единственное украшение), подведу глаза и, чуть-чуть припоздав, войду в мастерскую. Пускай Мери лопнет от удивления, пускай Арам курит одну за другой свои сигареты. Минут десять спустя, знаю, шеф позовет меня к себе, и это будет совсем не похоже на нашу сегодняшнюю встречу.

— Мне хочется еще сделать маникюр, серебристый.

— Что с вами? — В зеркале видны мои глаза, накрашенные ресницы, на которых, как крупные серьги, повисли две слезы. Завтра я буду иной. Красивой, желанной... Но отчего я плачу? — Вам нехорошо?

— Нет, мне очень хорошо!

Женщина-парикмахер, наверное, всего лет на десять старше меня, но смотрит сейчас по-матерински участливо, так смотрела моя первая учительница. И вдруг чувствую, как волна стыда затопляет меня с ног до головы: за все подленькие желания, мысли, за гладкие обнаженные коленки, которые собираюсь завтра демонстрировать шефу...

— Все хорошо,— говорю я женщине,— просто мне очень нужно быть завтра красивой. Очень.

Женщина негромко смеется. Я снова с осторожностью крашу ресницы, мажу губы ярко-красной помадой, стираю следы слез и протягиваю руки маникюрше.

— Ой, мама какая красивая! — хлопает в ладоши Ашотик.

— Явление Христа народу! — объявляет свекровь. Она еще не успела уйти.

А Ваге внимательно смотрит на меня, потом спрашивает:

— Что ты смотрела?

— «Король Лир». Бесподобно говорит Корделия: «Я вас люблю, как долг велит, не больше и не меньше».

— Действительно, это слова Корделии,— искренне удивляется супруг.

— Пьеса была в новом переводе. Мне кажется, перевод Манасяна ближе к оригиналу.

— Ни в каком театре она не была, не видишь, что ли, как расфуфырилась! И когда только успела? — вступает свекровь.

— Интересный был спектакль, советую посмотреть,— говорю я, а сама как-то по-новому оглядываю комнату, не дом, а библиотека: везде книги, газеты, журналы.— Особенно удачно решена концовка.— Супруг мой от удивления проглотил язык, и тут я наношу последний удар: — Больше тебе книг приносить не буду, сам запишись в библиотеку, а когда будешь заполнять регистрационную карточку, не забудь указать место работы.

Ваге, полностью уничтоженный, устремляется к дверям. «Пойду подышу воздухом»,— говорит он матери. Ничтожество! Я мысленно собираю все, какие только знаю, злые, ядовитые слова и швыряю ему вслед.

Человек, о котором, умри он, и сказать будет нечего, кроме «пришел, прочитал, ушел». Да, прочитал, но кому все это нужно! С какой ненавистью я думаю сейчас о нем, мне отвратителен и он сам, и его книги, хоть они здесь и ни при чем. Наверное, потому я и перестала читать, назло, не хотела делать то, что делал он. В ярости я мечусь по комнате, и тут откуда ни возьмись комком к горлу подступают воспоминания о нашей первой встрече. Нет, я не хочу сдаваться. Прошлое мое — мертвый улей: ни пчел, ни меда.

Пойду примерю абрикосовое платье.

Зеркало у нас маленькое, я вижу себя до колен. Хоть бы ночь скорее прошла... Память мне услужливо подсказывает имя, отчество и фамилию шефа: Артур Арменакович Аракелян. Завтра он от растерянности проглотит ластик, который постоянно вертит в руках, оторвется от своих бумаг и предложит мне свое кресло, а я, ухмыляясь, спрошу его: «Ну, как дела, Артур?..» Но отчего я плачу... Прощаюсь с прежней Анушик? Не знаю... Со злостью вытираю слезы, я знаю, это следы тоски, горечи. Что поделаешь, все люди смертны, почему же не может умереть любовь? Это, как и людская смерть, естественный процесс. Из зеркала на меня смотрит красивая, решительная женщина. Я ее пока еще не знаю, мне с ней еще предстоит познакомиться.

— Здравствуй, Ануш.

Уже третий день Ашотик у нас дома. У нас — это у моей мамы. Сейчас я уложила свои немногочисленные вещи и собралась уходить. Чемоданчик у меня легкий. Завтра перевезу несколько кусков причитающихся мне деревяшек — мебели — и книг. В книгах, которые я перебирала, полно закладок — видно, начинала, но так и не успевала прочитать...

Итак, мне понадобилось каких-нибудь три-четыре часа, чтобы увязать в узлы всю свою пятилетнюю замужнюю биографию. Вот и такси. Останавливается передо мной, хотя руки я и не поднимала. «Куда поедем?..»

За эти три дня многое произошло. Я не стала ждать, чтобы шеф вызвал меня к себе, даже не попросила Ма-

донну доложить. Просто зашла к нему вчера и сказала: «Артур Арменакович, проект я успею закончить лишь через месяц. И потом, хорошо бы вы помогли». Шеф взглянул на меня — вначале удивленно, потом внимательнее, взгляд его подобрел. «Анушик,— сколько уж лет он не называл меня так,— о каком проекте ты говоришь? Ах, да, детский сад. Подождут, дети народ терпеливый». Я смотрела в его глаза, смотрела прямо и уверенно и уже готова была сказать: «Хорошо, Артур», но что-то меня удержало. Ничего, всему свое время. Болело сердце тупой, ноющей болью. «Я, наверное, отпуск возьму, если разрешите, конечно. Хочу отдохнуть».— «Ты уже решила, куда поедешь?» — «Не знаю, наверное, на море».— «Ну съездишь, отдохнешь, потом и займемся твоим проектом. Я тоже уже два года не отдыхал...» В этот момент я могла ему сказать: «Может, и ты поедешь на море?» Но во мне еще жила та, прежняя Анушик, и я испуганно поднялась. Он тоже встал, проводил меня до дверей. «Заходи иногда, и совсем не обязательно только по делу».

Сегодня в конце рабочего дня сам вызвал, предложил кофе, поговорили. У наших дам на работе, в особенности у Мери, глаза в эти дни просто позеленели. «Любовника завела,— утверждала она (ложь эту, знаю, вынашивала давно),— видели, какие серьги нацепила? Любовник, видно, из торговых тузов!» Я эти сплетни не пресекаю, ну их!

...Итак, сегодня я в последний раз вошла в свой дом! В последний! Не знаю... Сколько я выдержу эту новую роль?.. Когда я пришла, Ваге сидел перед окном и сам с собой играл в шахматы. Та, прежняя Анушик посмотрела на него с нежностью, Ануш — холодно и безразлично.

— Могу я забрать свои книги? Их немного, всего несколько штук. Я так и не успела их прочитать, сейчас, видимо, смогу.

— Бери, что тебе хочется.

Глаза у него были добрые, беззащитные.

— Знаешь, я, наверное, выйду на работу. Из школы звонили, зовут. Давно уж зовут, я забыл тебе сказать...

— Да, тебе нужно устроиться.

Когда я закончила укладывать вещи, в комнату вошла свекровь. Смерила меня уничтожающим взглядом, оглянулась на сына и протянула мне лист бумаги.

— Пиши, что больше к нам никаких претензий не имеешь, а комнату через пару дней мы вам снимем.

— Мама,— пытался было вмешаться Ваге,— стоит ли?..

— Замолчи, она испортила тебе жизнь! Впрочем, кто знает, может, все к лучшему.

Я машинально взяла у нее карандаш и что-то нацарапала внизу. Свекровь нацепила очки и стала читать с такой тщательностью, словно разбирала урартскую клинопись. Затем сказала: «На почерк взгляните! Да еще с ошибками пишет!» Я посмотрела на эту, так хорошо мне знакомую женщину, как смотрела бы на знойную бескрайнюю пустыню, из которой, уже перестав надеяться, случайно вырвалась. Если бы она нашла в своей душе хотя бы одно-единственное доброе слово, я, наверное, сразу бы растаяла, распаковала чемодан, подошла к Ваге, смешала все его шахматы, взлохматила волосы на голове и помчалась на кухню варить кофе. Как хорошо, что она его не нашла!

— Что ты стоишь как истукан,— обернулась она к сыну,— поговорите, решите, по каким дням ты будешь навещать ребенка. Сейчас договаривайтесь, ты ведь знаешь, что у них в доме нет телефона.

Ваге — что творилось в его душе! — жалко-жалко посмотрел на меня, на мать, потом взял у нее из рук бумагу и с тоской сказал: «Ошибки здесь нет, мама, правда нет, просто буква «д» у нее похожа на «г».

Я вижу, что водитель специально выбирает путь подлиннее, машина еле ползет. Я вижу. Даже счетчик не включил, знаю, денег не возьмет. Время от времени он поглядывает на меня в маленькое зеркало. Какие наивные большие дети эти мужчины! Я тоже нет-нет да и взгляну в зеркало, поправлю волосы. Помаду мне нужно сменить на ярко-красную. Ваге вышел меня проводить, но так и не сказал ни слова — ни до свидания, ни всего хорошего.

Ни до свидания, ни всего хорошего.

Машина увозит меня из моего дома в наш дом. Через некоторое время кто выйдет из машины — Анушик или надломленная, озлобленная, умудренная опытом Ануш? Не знаю...

1979

КОЛОКОЛ НАДЕЖДЫ

Вардгесу Петросяну недавно исполнилось пятьдесят лет. Он родился в древнем армянском селении Аштарак и учился там в школе, затем поступил на факультет журналистики ереванского университета и окончил его в 1954 году, работал в молодежной газете. В 1958 году он издал свой первый сборник документальных очерков, многие из которых с полным основанием могли именоваться и рассказами.

Журналист и писатель. Как неразрывно связаны и до сих пор эти две стороны творческой личности Петросяна! В своих художественных произведениях он систематически опирается на журналистский опыт, на многочисленные письма с разных концов земли, на памятные ему встречи с интересными собеседниками. Из реальной жизни черпает он материал для своих книг, стремится передать читателям свое неповторимое ощущение ценности каждого мгновения и вместе с тем мимолетной текучести бытия. Многие названия его произведений отражают эту авторскую тенденцию: «Незаконченные портреты», «Приоткрытые окна города», «Уравнение со многими неизвестными», «Армянские эскизы». О ней свидетельствуют и заголовки журнальных рецензий на книги Петросяна: «Когда оживают портреты», «Приемом скрытой камеры», «Мозаика Армении»... Тематика творчества писателя разнообразна, и прав был литературовед Л. Мкртчян, сказавший: «Воистину, Петросяну есть дело до всего, чем живут его современники!»

Однако можно ли в сложной мозаике произведений Петросяна найти какой-то общий замысел, выделить главные волнующие его проблемы и сформулировать предложенные им ответы? Попытаемся же хотя бы в общих чертах выполнить эту задачу.

«Умение видеть в старом жизнеспособное, отличить новое от новомодного, подметить противоречие и общность между отцами и детьми» — вот в чем видит основную тенденцию творчества писателя А. Сагиян, автор предисловия к вышедшему в 1975 году в Ереване сборнику произведений Петросяна. «Писатель остается верен главной теме своего творчества — теме молодежи»,—говорится в аннотации к тому же изданию.

Действительно, Петросян не расстается с молодыми героями уже на протяжении двух с лишком десятков лет. В то же время перед читателем предстает не абстрактная, неизменяющаяся «молодежь», а целый ряд ее поколений, точнее, модификаций. Проследим же за эволюцией решения этой темы, попробуем установить, чем отли-

чаются юные герои повестей 60-х — 70-х годов от их теперешних сверстников в последних произведениях писателя.

Герой его первой повести («Мама, я уже взрослый», 1961—1962 гг.), десятиклассник Арам — юный романтик, мечтающий стать геологом и бросающий для этой цели школу перед самым ее окончанием. Это юноша со светлой душой, ненавидящий всяческую несправедливость, заранее отказывающийся от помощи своего влиятельного отца для поступления в институт. Персонажи повести были охарактеризованы чрезвычайно прямолинейно, резко разделены на два лагеря — благородных мечтателей и приспособленцев. Однако в ней ощущалась и искренняя, животрепещущая симпатия ее автора к молодежи, его способность взглянуть на своих героев их собственными глазами.

Еще лучше это удалось Петросяну в следующей повести «Приоткрытые окна города» (1963). Согретая человеческим теплом и приглушенным юмором, она великолепно передает атмосферу той романтической поры, когда прорыв советского человека в космос окрылил молодых энтузиастов. Одного из юных героев повести, тоже Арама по имени, «тревожили все вопросы, какие только есть на этом свете». Он конструировал новую модель телескопа, чтобы «найти ту звезду, с которой некогда прилетали на Землю посланцы из космоса», обдумывал загадку Тунгусского метеорита, пытался найти доказательство теоремы Ферма, а заодно и узнать тайну происхождения этрусков...

Под стать Араму был и его старший друг, студент техникума Гагик, всегда помогавший людям, даже незнакомым, стремившийся «жить, как Солнце, которое расходует свою энергию, не требуя возмещения», веривший в неизменное благородство человеческой натуры. Своим безоглядным оптимизмом оба они напоминали героя первой повести, которому «земной шар иногда казался школьным глобусом, который можно крутить, сколько угодно».

Несомненно, автор догадывался об уязвимости своих персонажей и понимал, что чрезмерная широта мысли и души, не опирающаяся на конкретные знания и твердый характер, легко может обернуться беспомощностью, никчемностью. Однако он не торопится предупреждать их об этом, как бы призывая старшее поколение не гасить ни одного порыва формирующейся юной души, не отнимать у молодежи главного — способности любить Человека и верить в свою мечту. Как известно читателю, действующие лица более поздних произведений Петросяна повзрослеют и умом и сердцем. Однако огонь чистой юношеской любви и веры в будущее, пылавший в сердцах героев первых повестей, и двадцать лет спустя согревает творчество писателя.

Провозгласив свою принципиальную позицию в первых повестях и найдя в них прочную точку опоры, Петросян с неизбежностью обращается к следующей задаче — проверке убеждений и характеров своих героев на прочность. Первым крупным шагом в этом направлении была повесть «Прожитые и непрожитые годы» (1967).

Необычайное, глубоко трагическое событие, вокруг которого завязывается действие повести, производит на читателя ошеломляющее впечатление: в одном из сел, расположенных сравнительно недалеко от столицы республики, покончили с собой любящие друг друга девушка и юноша Асмик и Сероб. Двое семнадцатилетних. В середине двадцатого века, по соседству со строящейся атомной электростанцией... Чтобы разобраться в этом чудовищном парадоксе, ере-

ванская газета посылает в село своего сотрудника, тридцатитрехлетнего Левона Шагиняна.

Опытный журналист легко осознает, что причиной гибели современных Ромео и Джульетты была косность мышления их односельчан. Чистое юношеское чувство стало объектом сплетен, покатившихся, как снежный ком, по узким деревенским улочкам. «Только раз поцеловались и за это поплатились жизнью»,— думает Шагинян... Впрочем, в этом селе недовольные пересуды вызывала и современная одежда и даже прогулка мужа с женой по улице под руку.

Казалось бы, отношение к случившемуся могло быть только однозначным: в готовящейся газетной статье следовало открыто сказать о вреде домостроевщины, о коллективной моральной ответственности многих жителей села за случившееся, что и намеревался сделать Шагинян. Однако печатно высказать такую точку зрения оказалось далеко не просто: поступок погибших был осужден администрацией школы, их одноклассникам было запрещено присутствовать на похоронах. Задетыми оказались ведомственные интересы роно, райисполкома и других местных организаций.

Шагинян пытается осмыслить происшедшее в плане спора различных поколений. «Не знаю, не знаю, с кем мы, со старыми или с молодыми...» — раздумывает он. Однако автор смотрит на дело глубже, чем его герой. В действительности персонажи повести противопоставлены не по возрастному признаку. В строю молодежи стоит раненный в Белоруссии ветеран войны, а рядом со «стариками» оказывается начинающая приспособленка Нвард, чернившая память погибших при разборе их «антиобщественного поступка». И сразу после этого она звонила Шагиняну: «Не обижайся, пожалуйста, почеловечески я вполне согласна с тобой, но...».

Разумеется, автор не оправдывает безумного, импульсивного выбора, сделанного Асмик и Серобом, но сочувствует их готовности бросить вызов устаревшим обычаям и душевной косности, злопыхательскому недоверию к высоким человеческим чувствам. Только сражаться они должны были с высоко поднятым забралом, четко определив свою общественную позицию.

Повесть отличалась от предыдущих не только трагической напряженностью, но и более высоким художественным мастерством. Главную роль в развитии сюжета играет не столько поступок центральных героев, сколько поведение людей, их окружавших. Именно оно и является той лакмусовой бумажкой, на которой проверяется человеческая ценность персонажей повести и их способность бороться за свои убеждения. Многие из них не выдержали этой проверки — пошел на компромисс редактор газеты, отреклась от первого естественного порыва сочувствия уже упомянутая нами Нвард, послушно подчинилось приказу директора большинство одноклассников погибших. Однако два мальчика пошли на похороны. Нашла в себе мужество и подруга Асмик Гаянэ. «Если меня и надо проработать, то только за то, что я не была на похоронах»,— смело говорит она при разборе так называемого «дела» погибших. После некоторых колебаний выдержал испытание и Шагинян, написавший пылкую статью в их защиту.

Повесть свидетельствовала и о крепнущем мастерстве Петросяна-психолога. Живой диалог, тонкий внутренний монолог, точный повествовательный ряд — все здесь «работает» на главную цель: показать разнообразие характеров, их неоднозначность, неодномер-

ность. Немаловажную роль играют и символические детали, например розы, еще в начале повести мимоходом купленные и так же легко забытые Шагиняном.

Большую смысловую нагрузку несет в повести мимолетное упоминание о «Книге пути» — лебединой песне пламенного пролетарского поэта Чаренца, безвременно погибшего в конце тридцатых годов... Прожитые — и не прожитые годы... Этот грустный, стучащий в сердце мотив, напоминающий каждому человеку о том, что он должен прожить свою жизнь не напрасно, варьируется в судьбах и Асмик, и Сероба, и Левона Шагиняна, и его брата Ваграма, и Акопа, и Лилит, и редактора газеты. Все сюжетные линии повести подчинены этому мотиву, и это придает ей продуманность и цельность. «Прожитые и непрожитые годы» — это повесть-предупреждение, а вместе с тем и призыв к высокой гражданственности, к слиянию гуманизма с действием.

Повесть «Аптека Ани» (1972) стала следующим шагом в осмыслении писателем проблем жизни современной молодежи. В стремлении опровергнуть обвинения, предъявляемые порой молодому поколению: безыдейность, эгоизм, равнодушие,— пафос этого произведения. Эпиграфом к нему стало четверостишие замечательного армянского поэта Паруйра Севака:

Каждое новое поколение
в молчании мир познает.
Но лишь говорить начнет —
Старших вызовет раздраженье.

Молодые герои повести изображены как бы изнутри, с помощью внутренних монологов. По сути дела, это короткие отрывки из их ненаписанных дневников. «Аптека Ани» разделена на восемь небольших глав, каждая из которых названа по имени ее центрального персонажа.

Однако представление героев о самих себе далеко не всегда является объективным. Чтобы раскрыть их истинную суть, автор пересекает их судьбы, заставляет их вступать в конфликты между собой и выносить оценки друг другу. Таким образом, Петросян удачно развивает нащупанные им в «Прожитых и непрожитых годах» литературные приемы и создает в повести атмосферу жизненной естественности, достоверности описываемого, искренности. «Какая ты на самом деле, современная молодежь?» — спрашивает он и заставляет юных героев отвечать на этот вопрос их собственными устами и поступками.

Поначалу персонажи повести не вызывают особых симпатий. Некоторые из них не сумели поступить в институт и занялись случайной, мало интересующей их работой, другие — студенты, но и в них не чувствуется особого энтузиазма, любви к своей профессии. Из «толпы равнодушных», судя по их письмам, явно выделяются лишь проходящий военную службу Паруйр и уехавший на Север с геологами студент Саша. Жизнь остальных как будто замыкается на вечеринках, прослушивании магнитофонных записей концертов «битлов», ухаживании за девушками и планах женитьбы...

Однако не будем торопиться с выводами. Самой опасной ошибкой было бы предположить, что все эти юноши и девушки «на одно лицо». Замысел автора как раз и заключается в том, чтобы показать различия между героями и докопаться до самой глубины их

души. «Что там на самом деле? Какими они станут в будущем?» — вот вопросы, которые мучительно волнуют писателя.

Серьезную нравственную проверку выдерживает сначала казавшийся эгоистом Артур. Мы имеем в виду эпизод, когда один из его приятелей вместо портрета отца, героически погибшего в шахте при спасении товарища, пытается повесить портрет одного из «битлов». Артур внезапно преобразился. «Не смей! — кричу я... Фотография Джона Лэннона выпала из рук Мамбрэ, стекло разбилось, а я с яростью начинаю топтать осколки и, кажется, даже плачу»,— наедине с собой вспоминает он о происшедшем.

Скрытая духовная сила угадывается и в трижды неудачно поступавшем на филологический факультет Карене, ныне работающем корректором в газете. Он легко знакомится с девушками, но по-настоящему ему нравится только одна — Ани, неизменно присутствующая в его воспоминаниях. Это юноша с широким кругозором, размышляющий и об исторических судьбах своего народа, и о взаимоотношениях поколений, и о смысле жизни. Это герой мыслящий, страдающий, сомневающийся. Однако как легко может пройти мимо юношей, подобных Карену, человек с холодным сердцем, заранее убежденный в бездуховности нынешнего молодого поколения! Такой человек не остановит свой взгляд и на Ани — девушке с сильным характером, способной на прочное чувство, наблюдательной и остроумной.

Одним из достоинств Петросяна является умение показать, что современная молодежь — не единое целое. Далеко не все молодые действующие лица повести душевно близки писателю. Он осуждает и беспомощную Лилит («Зачем вы превращаете нас в тепличные растения? Выходит, и вы виноваты?» — мысленно вопрошает она родителей), и самовлюбленную Анаид, и расчетливую Асмик, предающую любовь Паруйра ради брака с будущим ловким дельцом Мамбрэ.

Вместе с Асмик и Мамбрэ в повесть входит важная тема, давно занимавшая Петросяна и снова напоминающая нам о Паруйре Севаке.

Вещи, созданные нами,
Не имеют права господствовать над нами.
. . . .
Осуществиться нам дано,
Или овеществиться?

— тревожился за свое и последующие поколения поэт. Петросян так же беспощаден к мещанам, как и Севак.

Несмотря на критическую авторскую оценку многих ее героев, «Аптека Ани» оптимистична. Мозаика созданных в ней портретов подчинена общему замыслу и освещена авторской верой в молодое поколение. Сквозь сумятицу зыбких впечатлений, сквозь нередко наплывающую на сердце грусть прорывается огонь неугасимого костра, зажженного неистовым Чаренцем, и звучат проникновенные слова Севака (из стихотворения «Мимолетность»):

И когда уже стихли все шумы дневные...
Я опять становлюсь наивным,
Проникаюсь трепетной верой
В справедливость.

Говоря о произведениях Петросяна, мы не раз вспоминали о его друге Севаке, которому он посвятил страстную, полную восхищения статью. Конечно, это не случайно. На наш взгляд, прозаик Петросян обладает поэтическим складом мышления, и ряд эпизодов его повестей легко мог бы быть развернут в самостоятельные стихотворения. Думается, что в подтексте многих произведений Петросяна лежат стихи Туманяна, Исаакяна, Чаренца, Терьяна, Сиаманто, Севака.

Большинство героев повести «Последний учитель» (1979) — десятиклассники одной из ереванских школ. Несмотря на свой возраст, они значительно взрослее персонажей предыдущих повестей. Новое поколение героев Петросяна смотрит на жизнь пристальнее и практичнее, а главное — оно научилось бороться за свою любовь, за друзей, за свои убеждения. «Вечная жажда возвышенных огненных слов» (в повести несет важную смысловую нагрузку эта строка из стихотворения Исаакяна) не покинула их, но они осознали, что эти слова требуют подтверждения действием. Герои «Последнего учителя» уже не ограничиваются разговорами и планами на будущее. Их поступки имеют гораздо большую общественную ценность, чем благородные, но недостаточно обдуманные и наивные, не приносящие серьезных результатов душевные порывы их предшественников.

Ученики десятого «Б» класса возмущены пренебрежительным отношением к ним некоторых учителей. И в самом деле, директор школы видит в каждом из них лишь нечто «среднее арифметическое», а преподаватель математики заявляет в учительской: «Не поколение, а уравнение с десятью неизвестными... Впрочем, я для себя уже давно его решил. В ответе нуль. Нуль!» Естественно, что симпатии ребят завоевывает уважающий человеческую индивидуальность учитель литературы Мамян, и в его конфликте с администрацией они дружно выступают в его защиту, и это помогает ему в его праведной борьбе.

Коллектив класса одержал и другую победу. Ему удалось отстоять Армена Гарасеферяна, которого родители хотели увезти с собой за границу. Благодаря поддержке друзей любовь к Родине, чувство товарищества взяли верх в Армене, и в последнюю решающую минуту он спустился по трапу самолета на любимую им землю. Правда, молодым героям повести одновременно пришлось вкусить и горечь разочарования в людях: их одноклассник Ашот по прозвищу Правдивый оказался анонимщиком, писавшим лживые доносы на учителей и товарищей. Герои повести мужают перед вступлением в большую жизнь, проходят и школу любви, и науку борьбы.

Значительную роль в становлении их характеров сыграл учитель литературы Мамян. Появление этого важного персонажа в творчестве Петросяна весьма знаменательно. Именно с его помощью писатель переходит к действительно глубокой разработке проблемы связи и преемственности поколений.

Его новый герой прежде всего искренне любит своих учеников. Он знает, что не только учителя они хотят видеть в нем, но в первую очередь человека. Его главная задача — не передать им определенный объем информации, а научить их самостоятельно мыслить, чувствовать, действовать. Мамян верит в своих воспитанников. За показной оболочкой их дерзости он угадывает смятение души и жажду самостоятельности. Он понимает, что несостоявшаяся

попытка стриптиза, предпринятая Мари Меликян в химическом кабинете школы, на самом деле объясняется не распущенностью, а трагедией девушки, у которой отец бросил семью. Теперь она «мстит за мать всем мужчинам», в том числе и любящему ее однокласснику Ваану, старается показаться хуже, чем она есть. Вспомним, что уже Артур в «Аптеке Ани» догадывался о скрытой пружине подобных поступков: «Вдруг мне приходит в голову, что мы вовсе не такие уж пошляки, а скорее стараемся казаться пошлыми».

Умение проникнуть в глубины сознания своих младших друзей, готовность на деле, в совершенно конкретной ситуации выступить в их защиту обеспечили Мамяну нравственную победу над равнодушно встретившим его классом.

Создавая портрет современного Дон-Кихота — упомянем это имя в его основном, гуманистическом звучании,— Петросян поставил перед собой не легкую цель. Образ Мамяна — это во многом удавшаяся попытка соединить в одном персонаже богатую фантазию и деловитость, широту мышления и глубину специальных знаний, гражданское мужество и нежность к людям. Благодаря этим качествам Мамяну и удается преодолеть барьер отчуждения, нередко существующий между недостаточно вдумчивыми и человечными учителями и их воспитанниками. Проблемы «отцов и детей» для него по сути дела нет, он порой кажется моложе, чем его ученики.

Теме взаимосвязи поколений в значительной степени посвящено и последнее произведение Петросяна — роман «Одинокая орешина» (1980). Однако теперь она рассматривается писателем в особом ракурсе — в связи с судьбой так называемых «неперспективных деревень», якобы обреченных самим ходом развития экономики республики на исчезновение.

Место действия романа — существующее уже тысячу лет горное село Лернасар (по-армянски это значит «гора и скала», название придумано автором). В 1946 году в селе насчитывалось почти две тысячи жителей, но ныне оно истаяло, растеклось по каплям. Жители разъехались по городам, и теперь их осталось меньше двух десятков. Руководство района уже стерло название села с карты и предписало оставшимся старикам и детям переселиться в райцентр, в удобные трехкомнатные дома.

Печален колорит начала романа. Едва теплятся ночные огоньки в окнах немногих строений, погасли горны в старой кузнице, не стучат жернова мельницы, не поют родники. А днем на иссохших склонах гор видны пустоши — место пшеницы заняли колючки и терновник. Умерли и жилые дома, еще недавно совсем прочные. Их обваливающиеся стены истосковались по людским голосам, по запаху хлеба. Только ученики полуофициально существующей школы, в которой по доброй воле преподает студентка пединститута Сона Камсарян, полны радости жизни и интереса к миру. Увы, в этой школе всего семь учеников...

Однако село не хочет умирать. Оно еще надеется на своего заступника — старого учителя Камсаряна, коренного жителя Лернасара, чьи предки испокон веков трудились на этой земле. В его образе мы узнаем многие черты героя предыдущей повести — Мамяна. Это человек гуманный и разносторонний, озабоченный не только судьбой родного села, но и гораздо более широкими проблемами современной жизни.

Не с патриархальных позиций вступает он в борьбу за Лернасар. «Я не противник города, не поймите меня превратно... В какой-

то мере рост городов за счет сел — процесс естественный... Но мне жалко горы. И землю долин жалко. Разве много у нас земли? Я устал уже об этом кричать»,— пишет он новому секретарю райкома партии Вардуни. Камсарян не только учитель, но и агроном, имеющий высшее сельскохозяйственное образование. К проблеме «неперспективной деревни» он подходит по-деловому, с подсчетами в руках. Он напоминает, что в 1946 году в Лернасаре были лучшие по республике урожаи высокосортной пшеницы, точно подсчитывает количество ореховых деревьев, ранее приносивших огромный доход колхозу, предлагает создать специализированное ореховое хозяйство. Не отсутствием хорошей дороги (ее вполне можно построить), а нерациональным ведением дел колхоза объясняет он медленное умирание Лернасара. В статье «Заколоченный дом. Почему покинули его хозяева?», опубликованной в «Литературной газете» в 1981 году, Петросян так пояснял «экономическую сторону» проблематики своего романа: «Порой мы вкладываем громадные средства в освоение новых земель и теряем, губим старое. Разве это нравственный подход?»

Поначалу кажется, что основные проблемы романа хотя бы теоретически благополучно решены, но оказывается, что на дне его лежит и другая боль, еще более глубокая. Впервые читатель встречается с Камсаряном, когда тот приводит в порядок обелиск, воздвигнутый жителями Лернасара в память пятидесяти семи погибших во время войны односельчан. Что станет с этим памятником героизма и самоотверженности, когда село исчезнет? Что ждет Одинокую часовню одиннадцатого века, которая без присмотра уже начинает разрушаться? Кому будут нужны древние хачкары — резные камни-надгробья, в которых пока еще дышит история не только села, но и всего армянского народа? Не исчезнет ли вместе с ними и живая душа людей, которая гибнет там, где кончается уважение к предкам?

Проблема исторической памяти, определяющей нравственный уровень сегодняшнего дня, оказывается в романе чрезвычайно существенной. «Ликвидировали село, ладно. Но как быть с историей? Прошлое народа — это не сельский дом. Тот закрыл на замок и гляди, как он рушится тебе под ноги. А уж если рухнет потолок истории, он рухнет нам на головы, и потомки нам не простят»,— говорит Камсарян в письме Вардуни. «Да, не простят»,— мысленно отвечает ему секретарь райкома.

«Одинокая орешина» — первый роман писателя. По-видимому, лишь в жанровой форме романа писатель мог осуществить свои замыслы во всей их полноте. Символические образы трех кузнецов, Немой горы, Одинокой часовни и ряд искусно введенных в ткань произведения легенд существенно углубили философскую проблематику творчества Петросяна. Затронутыми оказались и глобальные экологические проблемы, и перспективы духовного развития человечества в эпоху НТР. Неизбежно расширилась и моральная проблематика произведения.

В последних книгах писателя заметна и эволюция его художественных приемов. Стремясь в первую очередь сохранить естественность повествования и жизненность своих героев. Петросян находит такую интонацию, при которой повествователь как бы сливается с героями, а иногда словно растворяется в них. Кем написаны вступительные страницы «Последнего учителя»? Автором повести, или Мамяном, или кем-нибудь из его учеников? Кто пересказал старин-

ные легенды в «Одинокой орешине»? Сона Камсарян, ее отец или сам автор? На все эти вопросы ответить нелегко, да иногда кажется, что они и не нуждаются в ответе. Быть может, эта неопределенность и способствует эффекту сопереживания? По-прежнему удаются Петросяну непринужденные, искренние внутренние монологи его героев, а мастерство диалогов, пожалуй, окрепло. Вообще говоря, «Одинокая орешина» динамичнее других произведений, несмотря на ее насыщенность глубокой философской проблематикой. А может быть, именно благодаря ей?..

В заключение обратимся к «Армянским эскизам» Петросяна. Эта создававшаяся в течение 16 лет (1965—1981) книга путевых впечатлений и раздумий неразрывно связана почти со всеми его произведениями. «Какая ты, Армения?» — спрашивает писатель себя. Ответом служит мозаика коротких эссе. В них особенно полно обнаруживается способность Петросяна вести доверительный разговор с читателем, искренность его чувств и мыслей. Эти миниатюры полны нежности к людям, но вместе с тем насыщены и темпераментом спорщика, борца за свои убеждения.

Лишь поначалу кажутся они пестрыми бусами, произвольно нанизанными на нить воспоминаний. Стержневыми, организующими весь художественный материал «Эскизов» оказываются две уже известные нам проблемы — живой взаимосвязи поколений и исторической памяти. К ним присоединяется и третья — интернациональная, основанная на глубоких раздумьях о судьбе разбросанного по всему миру армянского народа, о месте и роли Советской Армении в братской семье народов.

Петросян начинает с самых истоков — с воспоминаний о многовековой борьбе армянского народа за свое существование. Мучительными, но вместе с тем необходимыми для проникновения в глубины армянского национального характера оказываются частые упоминания об «армянской резне», осуществленной в Османской империи в начале нашего века. Забыв об этой трагедии, нельзя понять душу многострадального и мужественного армянского народа.

Паруйр Севак в своей поэме о великом армянском композиторе Комитасе писал о кровавом решении «армянского вопроса», принятом главарями националистической партии «младотурков», захватившими власть в империи в 1908 году.

Мечом сразу целый народ истребить,
Лес целый под корень, под корень срубить...

В «Армянских эскизах» Петросян отчетливо указывает на социальные корни «армянской резни», задуманной как средство разрушения классовой солидарности трудящихся различных национальностей в Османской империи. Он говорит о преступных вождях «младотурков» как о предтечах Гитлера, Гиммлера, Геббельса и справедливо вопрошает: «А может быть, дата возникновения фашизма — 24 апреля 1915 года?» (В этот день Османская империя приступила к массовому геноциду армян на принадлежавшей ей в то время территории.)

Писатель, путешествовавший в 60-е годы с группой туристов по Ближнему Востоку, побывал и в Турции. В пустыне Тер-Зор (ныне Сирия), где в 1915 году были созданы концлагеря для обреченных на голодную смерть армянских «переселенцев», он проникающим сквозь пески взором видел кости тысяч и тысяч жертв геноцида,

проходил по еще пахнувшим кровью дорогам изгнания, в Карсе вспоминал о родившемся там Чаренце, с гордостью вглядывался в сирийскую гору Муса-даг, на склонах которой пять тысяч мирных жителей армян в 1915 году вступили в героическую битву против турецких воинских частей и жандармов. Он стоял на мосту через Евфрат, откуда бросались в воду армянские девушки, чтобы не стать жертвами насильников и садистов. Вот почему Петросян говорит в «Армянских эскизах» о «печальных глазах» своих соотечественников.

Могучий древний народ все-таки выжил «средь горя и тьмы», в периоды неслыханных испытаний. В значительной степени это объясняется поддержкой, оказанной ему Россией в начале прошлого и нынешнего веков и в особенности Россией послереволюционной. «Армянский народ может жить либо с Россией, либо не жить вовсе»,— писал Исаакян. «Наш народ выжил потому, что лучшие сыны его — армянские коммунисты — встали под знамя Октябрьской революции»,— пишет Петросян.

Очень важную роль в «Эскизах» играет вопрос о судьбах армян, живущих в настоящее время за рубежом. Знакомясь с ними в США, Канаде, Франции, Сирии и других странах, Петросян часто встречался с глубоко несчастными людьми, бережно хранящими горсть армянской земли, помещающими на стенах своих квартир фотографии Арарата и зданий Еревана, со слезами на глазах поющими на чужбине родные песни. Но он пишет и о людях, по сути дела классово ему чуждых, о тех, кому все одно — что Родина, что бейрутский или константинопольский рынок. Он пишет о приезжающих в Армению только для того, чтобы получить там бесплатное образование, а затем снова выехать за рубеж, о проживающем в США армянине, который в беседе с писателем сказал: «Если мне в случае войны прикажут бомбить Ереван, я без колебаний выполню эту задачу». Армянская эмиграция изображена писателем диалектически, как в национальном, так и в социальном аспекте.

Петросян чрезвычайно высоко ценит гуманность, мужество, духовную широту и трудолюбие своего народа. Однако слова одного из его собеседников: «Кто не любит свой народ больше других народов, тот не человек»,— вызывают в его душе живейшее сопротивление. «Для меня мой народ не выше других»,— говорит он своему оппоненту. Все творчество Петросяна подтверждает занятую им в этом споре позицию. Это творчество писателя-патриота и вместе с тем писателя-интернационалиста.

Трудно найти ключевое слово ко всему творчеству В. Петросяна. Мне кажется, что это слово — надежда... Поднимаются на Немую гору три давно умерших кузнеца сквозь сновидение учителя Камсаряна. Молоты с силой опускаются на наковальню, и под их ударами растет огромный колокол. «Для Немой горы мы язык выкуем. Может, она заговорит»,— говорит один из кузнецов. «А для Одинокой часовни мы замыслили иной колокол»,— говорит другой. «А из чего ковать станете этот колокол?» — спрашивает во сне учитель. «Из надежд»,— отвечают кузнецы.

Да, писатель глубоко уверен в том, что почерпнутые из самой жизни и поставленные в его произведениях трудные проблемы будут успешно разрешены. Колокол надежды все громче звучит в творчестве Вардгеса Петросяна.

Ю. ПЕТРОВСКИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Петросян В. А.

П80 Одинокая орешина. Пер. с армянск.— М.: Известия, 1984.— 640 с., ил.

Эта книга как бы состоит из двух частей: очерков-эссе «Армянские эскизы» и прозаических произведений — повестей и рассказов. Но при этом она — цельная: в ней отразилась многогранная жизнь Советской Армении. Многие темы, едва намеченные в «Эскизах», получили разработку в повестях и рассказах. Писателя волнуют нравственные проблемы, связанные с жизнью современного города и села, вопросы воспитания молодежи.

В «Армянских эскизах» читатель найдет и экскурсы в давнюю историю Армении, и зарисовки из жизни Армении современной, и рассказы о других странах.

П $\frac{4702080000—059}{074(02)—84}$—71—84 подписное

ББК84 Арм 7
С(Арм)2

Вардгес Амазаспович ПЕТРОСЯН

ОДИНОКАЯ ОРЕШИНА

Приложение к журналу «Дружба народов»

Оформление «Библиотеки» **Ю. Алексеевой**

Редакторы **Е. Мовчан, Л. Цуранова**

Художественный редактор **И. Смирнов**

Технический редактор **А. Гинзбург**

Корректор **Л. Григорьева**

●

ИБ № 802

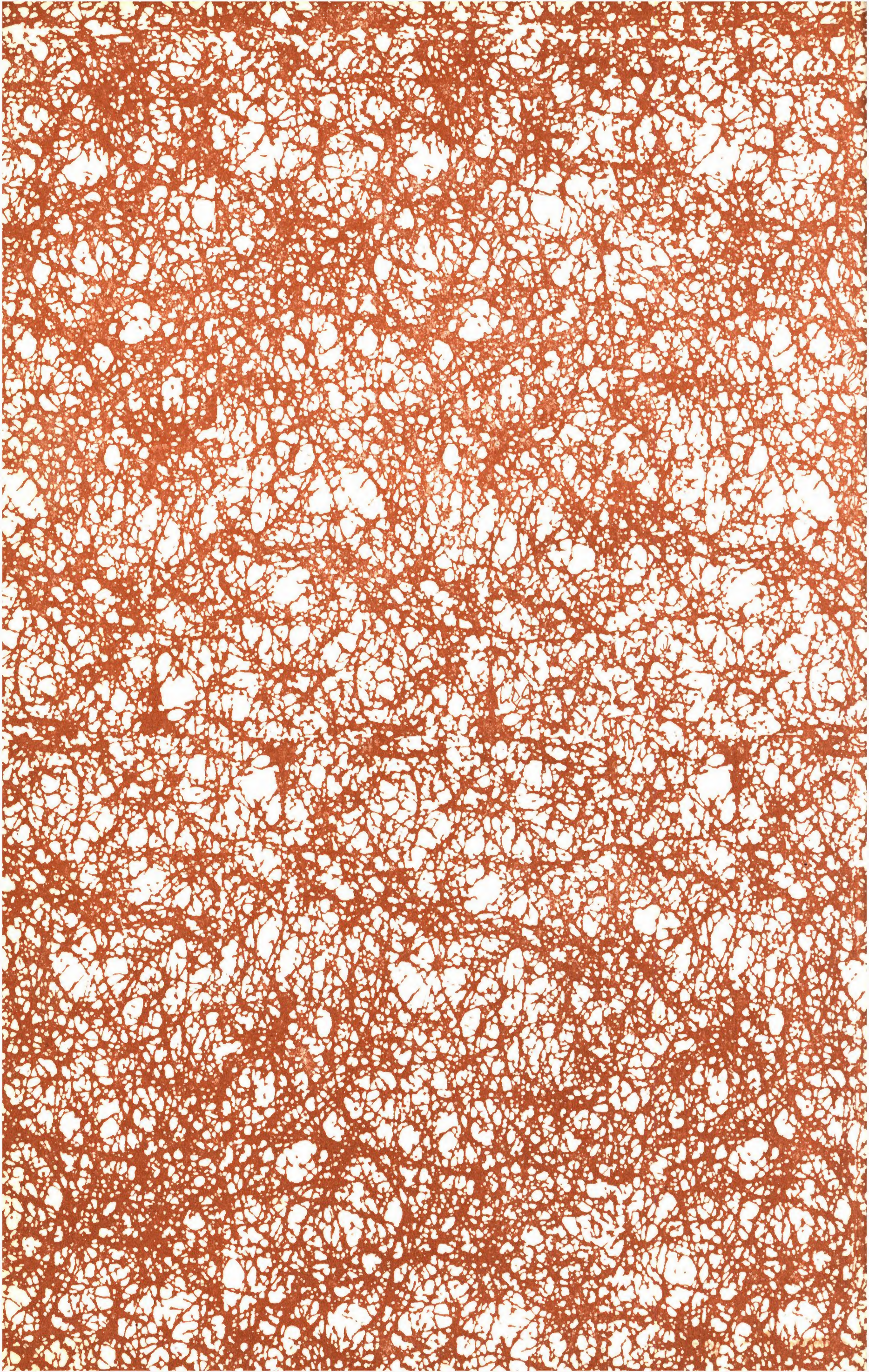
Сдано в набор 11.01.84. Подписано в печать 15.05.84. А 06061. Формат 84×108 1/32. Бумага кн. журн. импортная. Гарнитура «литературная». Печать высокая. Печ. л. 20,0. Усл. печ. л. 33,6. Усл. кр.-отт. 33,8. Уч.-изд. л. 35,06. Тираж 268.000 экз. Зак. 4—28. **Цена 2 руб. 50 коп.**

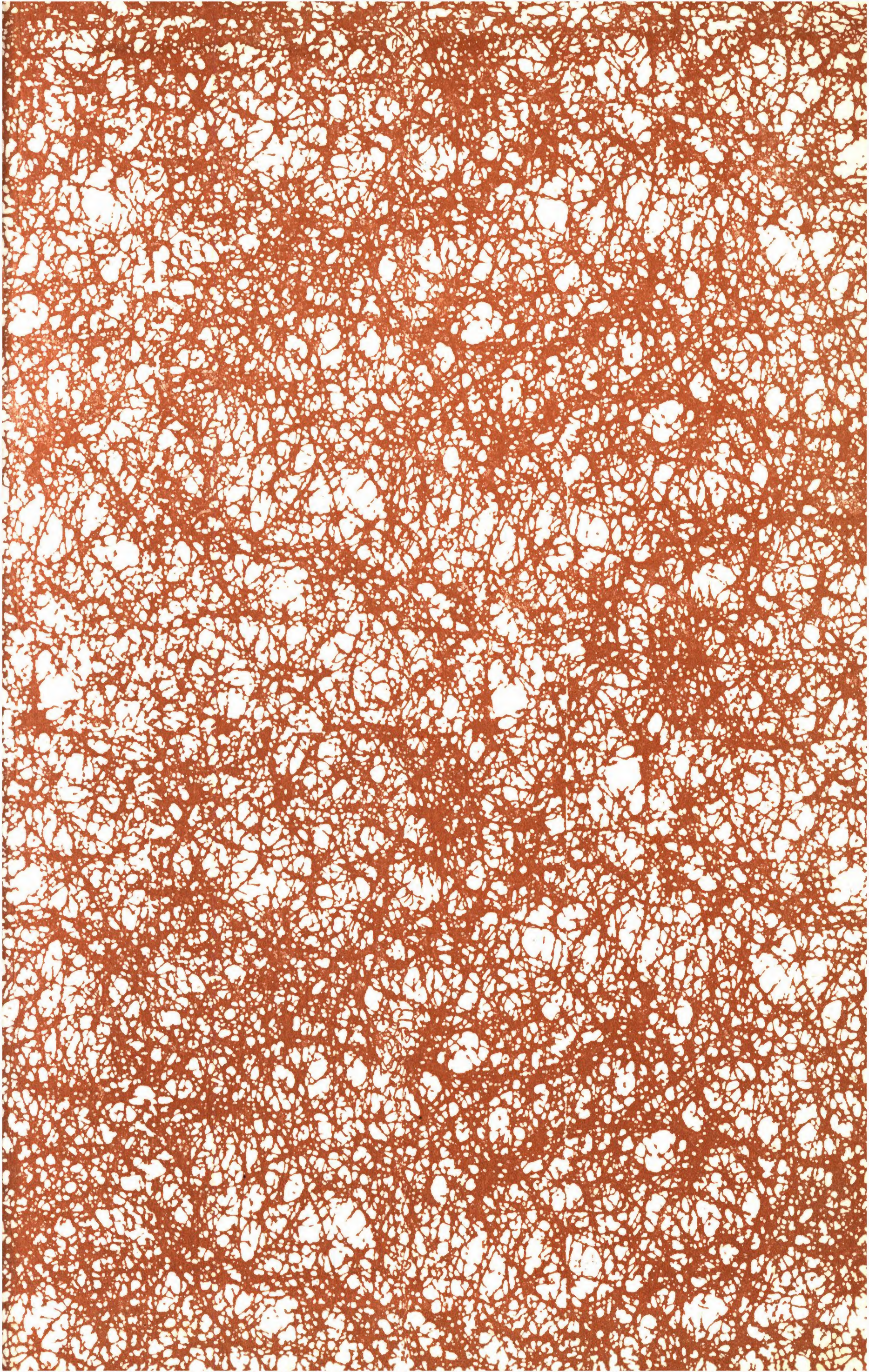
●

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР», 103791ГСП. Москва, Пушкинская пл., 5.

Набрано и сматрицировано в типографии ордена Ленина комбината печати издательства «Радянська Україна», 252006, Киев, Анри Барбюса, 51/2.

Отпечатано с матриц на Киевской книжной фабрике, 252054, Киев, ул. Воровского, 24.





В. ПЕТРОСЯН